Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ





СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ПЕРВЫЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р1
Д70

Вступительная статья,
составление и комментарии

К. ТЮНЬКИНА

Подготовка текста

К. ТЮНЬКИНА И М. ТЮНЬКИНОЙ

Оформление художника

В. МАКСИНА

Д $\frac{4702010101-222}{028(01)-90}$ 14-90

ISBN 5-280-01023-5 (Т. 1)
ISBN 5-280-01024-3

ДОСТОЕВСКИЙ. КТО ОН?

Однажды, уже в конце жизни, как бы подводя итоги всему тому, что было о нем сказано и написано, всему тому, что было им самим *выжито,* Достоевский заметил в записной тетради (слова эти хорошо известны, но вдумаемся в них еще и еще раз):

«Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» *.

Да, Достоевский изображал глубины человеческой души, проницал глубинную суть человеческой личности, как бы освобождая, очищая ее, эту суть, от «гнета обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков» ** и в то же время хорошо зная, какова сила этого гнета, застоя и предрассудков. Бездонны, бесконечны глубины человеческой души, не может иметь конца и их познание. Но именно на этот тяжкий путь познания «тайны человека» вступил Достоевский уже в первых своих произведениях.

И такой безмерно сложный, поистине тяжкий путь познания, избранный — сознательно или бессознательно — Достоевским, конечно, исходит из глубин его собственной личности. И тогда возникает перед нами задача огромной важности и в то же время трудности почти непреодолимой — проникнуть в тайны души, духа, сознания, в глубины личности самого Достоевского. Беспредельный в своем духовном пространстве, в своей безудержной смелости, порой фантастический и — на внешний, поверхностный взгляд — парадоксальный творческий мир Гения властно и неумолимо задает почти «непосильный», но неотступно требующий ответа вопрос: кто же он, творец этого мира?

Конечно, самый этот «художественный мир» — картин, образов, характеров, сложных и часто необычных ситуаций, борющихся идей — может по-своему ответить на такой вопрос, при всем том, что приобрел

---

* Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. XXVII. Л., 1984, с. 65.

** Там же, т. XX, с. 28.

особую самостоятельность, существует и движется как бы самопроизвольно, по своим собственным, внутренне присущим ему законам, будто бы независимо от своего создателя. И тем не менее «вторая действительность», действительность искусства, без всякого сомнения, являет собой продукт целенаправленной «личностной» деятельности, неотделима от творца, именно его узнаем мы в конце концов в этом бурном клубящемся потоке образов. Личность Достоевского прежде всего живет в созданиях его творящей фантазии, его всепроникающей мысли.

В поминальной речи поэта А. Н. Майкова, прочитанной в собрании С.-Петербургского славянского благотворительного общества 14 февраля 1881 года, через две недели после смерти Достоевского, встречаем такие слова: «...мы, бывшие близкие люди, получили особенное значение, мы вдруг очутились в совсем особенном положении. К нам предъявляются уже совсем новые для нас вопросы. От нас хотят услышать интимные подробности о покойном. От нас ждут множества ответов на множество вопросов, которые даже едва ли кто формулировать может. Все как будто вдруг открыли Достоевского, и все поскорей («главное, поскорей», как говорил покойный) хотят узнать и определить, чт*о* такое Достоевский? «Всё, всё скажите», говорят нам.

Но близкие люди, чт*о* они скажут, застигнутые врасплох? Спросите Анну Григорьевну о Федоре Михайловиче — она скажет: «Ах, какой это был муж! Как он меня любил, как я его любила!» Друзья чт*о* скажут? Их ответы будут детальные, отрывочные, анекдотические пожалуй, а никак уж не отвечающие на предъявленные вопросы. Словом, ответы неинтересные. Что до меня, по крайней мере, я бы никогда ими не удовлетворился.

О великих людях, о великих писателях мне не особенно интересно знать, в каком доме они жили, какое платье носили, видеть вещи, им принадлежавшие; в старину, бывало, ценились табакерки, из которых они нюхали табак, шляпы, чернильницы, перья и т. д. Вся мелочная обстановка их жизни — это только краски, штрихи, подробности. Для меня всегда важнее внутренний мир писателя, и особенно русского писателя, его идеалы — нравственные, философские, политические, его понимание России, ее значения в мире, ее истории; мне интереснее этот, так сказать, идеальный очерк писателя, его душевный и умственный портрет. Но дадут ли вам его близкие люди? И к ним ли надобно обратиться, чтобы его составить и нарисовать? Нет, всякий лучше может сделать это сам и обратиться не к приятелям, а к самому лицу, о котором хочешь узнать. А это лицо — не умерло. Писатель, художник, мыслитель живет в своих произведениях. Читайте их, вдумывайтесь в них, разгадывайте смысл выведенных ими образов, прочтите в них недосказанное — и вы войдете в самые тайники души писателя, и узнаете его, может быть, лучше, чем его близкие, узнаете из них более, чем из всей его обстановки, трудолюбиво составленной биографии, более

даже, чем из посмертной переписки, ибо в письмах человек пишет иногда под влиянием минуты...» *

Майков был прав — и не прав!

Ведь несомненно, что личность художника живет и в воспринимающем его творения сознании читателя, но также — и в реальном, конкретном живом образе его, запечатлевшемся в памяти современников, непосредственных свидетелей и, может быть, невольных участников творческого процесса, очевидцев поведения, поступков, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний; личность эта живет в многочисленных, иной раз мгновенных и даже случайных отражениях в личностях других, пусть далеко не равноценных, не конгениальных. Ведь личность Достоевского — это содержательнейшее и мощнейшее «биополе», втянутым в которое или, напротив, отторгнутым от которого оказывался каждый с ним общавшийся. И тут все имеет значение — пусть мимолетное, мгновенное, но яркое впечатление; «образы» вещей; детали быта; наконец, мысли и слова, высказанные в полемическом задоре или горячем споре, еще не до конца обдуманные, иной раз резкие до чрезвычайной заостренности или даже нетерпимости, но, может быть, именно по этой причине, и открывающие самое сокровенное, самое глубинное. Какие-то из записанных мемуаристами мыслей Достоевского, высказанных в устных разговорах и спорах неаргументированно и афористично, могут найти потом развитие и разъяснение в «полифонических» структурах романов или в столь же «многоголосой» публицистике. Но, может быть, важнее всего даже не сами эти мысли, а их, так сказать, сохраненная мемуаристами «достоевская» тональность, с одной стороны, а с другой — реально-жизненный или психологический контекст, в живой атмосфере которого эти мысли рождались и принимали ту или иную окраску и форму.

В воспоминаниях современников как бы сталкиваются разные времена — и прежде всего время описываемое и время писания. Эта временн*а*я дистанция может помогать, а может и мешать установлению истины. Яркое впечатление, тут же брошенное на бумагу, драгоценно своей сиюминутностью, своей непосредственной правдой. В этом смысле неоспорима достоверность, правдивость дневниковых записей, особенно если их автор лишен какой-либо предвзятости и, при всей неизбежной субъективности, простодушен, доброжелателен и, того лучше, умен. Образ, восстанавливаемый в воображении мемуариста через многие годы, может утратить непосредственность, но в благоприятных случаях — если вспоминает человек незаурядный, мыслящий, талантливый и, опять-таки, непредвзятый — приобрести другое важное качество — содержательность и силу обобщения, воссоздать «душевный и умственный портрет», о котором говорил А. Н. Майков. Еще лучше, если заметки, сделанные под прямым впечатлением, впоследствии,

* Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Приложения, с. 55—56.

в позднее написанных воспоминаниях, приобретают значимость такого «портрета».

Да, как и предполагал А. Н. Майков, Анна Григорьевна Достоевская, и в «Дневнике», и в «Воспоминаниях», главным нервом повествования сделала любовь — при всем важном различии «документальных» стенографических записей «Дневника» и целенаправленных обобщений «Воспоминаний» *. Но какие своеобразные краски и оттенки приобретает эта любовь в сделанных, по свежим следам записях двадцатилетней стенографистки!

Включенные в настоящее издание дневниковые записи А. Г. Достоевской ** не претендуют на какие-либо «проникновения» в идеи и творчество необыкновеннейшего из смертных — ее мужа, но особую напряженную, трудную и в то же время нередко очень радостную атмосферу первого года совместной жизни с таким человеком, чей сложный внутренний мир, по крайней мере поначалу, для нее почти закрыт (хотя ока самоотверженно делает все, чтобы понять и принять его), — эту атмосферу ее записи передают точно и внимательно. Но не только это. Анна Григорьевна с любовью и беспокойством следит за ходом и особенностями творческой работы мужа, находясь у самых ее истоков, хотя она и является пусть всего лишь «техническим» участником этой работы. (Она, например, отмечает «первотолчок» — дело Ольги Умецкой — и некоторые этапы создания нового романа «Идиот».) Любовь делает ее терпимой и проницательной. Она если не поняла, то почувствовала всей своей еще почти детской душой величие этого человека, мучительно страдавшего от часто оскорбительного и унижающего непонимания, от духовного одиночества; почувствовала огромную силу неизбывного стремления, если можно так сказать, к всепознанию (ведь именно ей диктует Достоевский свой роман «Игрок» — роман о безудержной страсти, и потом она с покорностью помогает ему исчерпать до конца его собственную страсть к игре). Болезненно замкнутый, «закрывшийся», страдающий от припадков падучей, расцветает вдруг Достоевский в воспоминаниях Анны Григорьевны редкой красотой ласки, любви, гармонии (и понятно, почему Анна Григорьевна так сочувственно приняла воспоминания Фон-Фохта о Достоевском в минуты веселости и спокойствия). Не всякий из мемуаристов умел «добраться» до этого внутреннего «душевного и умственного портрета» Достоевского. И наверное, есть какая-то закономерность в том, что сделать это чаще всего удавалось женщинам (таковы воспоминания В. В. Тимофеевой-Починковской, Е. А. Штакеншнейдер, А. П. Философовой и др.).

Духовно и жизненно чужд был Достоевскому его младший брат Андрей. Да и сам Андрей Михайлович, когда писал воспоминания, не

---

* См. об этом вступительную статью С. В. Белова и В. А. Туниманова к «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской (М., 1981).

** «Воспоминания» А. Г. Достоевской в настоящий сборник не входят поскольку они сравнительно недавно появились в двух изданиях.

претендовал на многое, замечая, что его «записки» «будут иметь интерес» только для близких ему, «то есть для жены и детей». И все же... Нравственный и «вещный» дух лекарской квартиры на Божедомке, да и вообще старой мелкодворянско-купеческой Москвы первой трети прошлого века; почти патриархальное существование пансиона Чермака, где учились братья Достоевские; простой захолустный быт бедного помещичьего дома в сельце Даровом... Что это, как не истоки «душевного портрета» Достоевского? Нервный, пылкий, порывистый фантазер Федя Достоевский, судьбу которого так нечаянно предсказал отец («быть тебе под красной шапкой», то есть в солдатах), не предвещает ли этот «детский» портрет того Достоевского, могучее поэтическое воображение которого создаст Раскольникова, Ставрогина, братьев Карамазовых? И наконец, вся история с убийством отца крепостными крестьянами. Трагический отсвет этой истории, пусть легендарной (Достоевский, судя по всему, все же не сомневался в ее истинности), лежит, конечно, на его позднейшем душевном состоянии и его творчестве. А Андрей Достоевский узнал о ней, так сказать, из первых рук...

Как складывалось в Достоевском то *свое*, что определило его личность, что сформировало его духовный облик, его непримиримую мысль, поистине бездонные глубины его души?

В этом смысле воспоминания тех, кто общался с Достоевским в сороковые годы, дают, за редкими исключениями, очень немного — по той прежде всего причине, что далеки были эти «воспоминатели», да и остались такими в то более позднее время, когда писали о нем свои воспоминания, от того «внутреннего человека», которого носил в себе Достоевский.

Конечно, необычайность, неординарность молодого писателя были замечены всеми, но эта неординарность иной раз вызывала и неприязнь, и отталкивание, и непонимание. В общем, если можно так выразиться, «уровень» понимания Достоевского лицами, с которыми он общался в сороковые годы и кто оставил о нем свои воспоминания, был недостаточно «высок» (при ценности многих сообщаемых фактов и впечатлений).

Речь идет не только о годах, проведенных в Инженерном училище (хотя некоторые примечательные детали — о поведении юноши Достоевского в товарищеской среде, о круге его чтения, о повседневном быте обитателей Инженерного замка — мы, например, узнаем из воспоминаний А. И. Савельева).

Две эпохи жизни Достоевского (пусть очень краткие по времени) представляют — в смысле *складывания*, *утверждения* его самобытного характера — особый интерес. Это — близость с кругом Белинского и участие в социалистическом кружке Петрашевского. Что касается первого, то самые яркие, можно даже сказать, захватывающие и в то же время точные и достоверные воспоминания об этой знаменательной эпохе его становления принадлежат самому Достоевскому, и возникают они по разным поводам уже начиная с первых глав

«Дневника писателя» за 1873 год. Особенно содержателен, психологически и художественно проникновенен включенный в настоящее издание фрагмент январского выпуска «Дневника писателя» за 1877 год о первой встрече с Белинским по прочтении критиком «Бедных людей». Свидетельства же о Достоевском тех, кто так или иначе входил в круг Белинского или был близок тогда «натуральной школе» (П. В. Анненков, А. Я. Панаева, И. И. Панаев, В. А. Соллогуб), в общем скудны и случайны, а иной раз заключают в себе оттенок недоброжелательства. Характерно, что в фундаментальном мемуарном труде П. В. Анненкова «Замечательное десятилетие» отведено Достоевскому столь мало места. Правда, Анненков сохранил нам отзыв Белинского о «Бедных людях» как «первой попытке у нас социального романа», то есть, в тогдашнем понимании Белинского, как романа с социалистическими тенденциями. Анненков отметил и первую непосредственную реакцию на второй роман Достоевского «Двойник». По отдельным заметкам воспоминаний Д. В. Григоровича и А. Я. Панаевой мы имеем возможность почувствовать, сколь непростым оказалось положение Достоевского среди друзей Белинского. Во всяком случае, время «отпадения» молодого писателя от круга Белинского было для него тягостным и смутным, хотя «социальная настроенность» его первого романа получила там твердую поддержку.

Эта же «настроенность», убеждение в том, что «обновление человечества должно быть радикальное, социальное» (июньский выпуск «Дневника писателя» за 1876 год, главка «Несколько слов о Жорж Занде»), сблизили Достоевского с ранними русскими социалистами, группировавшимися вокруг М. В. Петрашевского. О Достоевском-петрашевце рассказывают мемуаристы, знавшие его в это время, знавшие и о том, что происходило на «пятницах» Петрашевского.

Пожалуй, главное, чем ценны эти воспоминания, помимо некоторых фактов, это — эмоциональный, нравственно-психологический облик Достоевского, бегло, но выразительно нарисованный одним из петрашевцев, Ипполитом Дебу, по словам которого, в передаче О. Ф. Миллера («Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского»), «для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков взрывная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие». «Как теперь, говорит он <то есть И. Дебу>, вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Не менее живо помню его рассказывающего свою «Неточку Незванову» гораздо полнее, чем была она напечатана; помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному «проценту», олицетворением которого явилась у него впоследствии

Сонечка Мармеладова (не без влияния, конечно, учения Фурье). Понятно, говорит он, что Достоевским особенно дорожили и «фурьеристы», желая его видеть в числе своих. Рассчитывать на то, чтобы его перетянуть к себе, казалось возможным по особой его впечатлительности и неустановленности» *.

Итак, уже своими речами на собраниях петрашевцев Достоевский производил «ошеломляющее действие» (таким было, конечно, и его чтение у Петрашевского письма Белинского к Гоголю). Эта неотразимая сила слова, как бы излучающего особый эмоциональный импульс, скажется потом и в его многочисленных «чтениях» конца семидесятых годов, и в потрясшей слушателей речи на Пушкинском празднике.

Впечатлительность, страстность Достоевского доходили до высочайшего накала, до необыкновенных порывов вдохновения, но имели, по-видимому, и обратную сторону — болезненные, полуобморочные состояния, которые наблюдал в это время доктор С. Д. Яновский. Может быть, уже в этих состояниях, усиленных мнительностью, коренились истоки развившейся вскоре, под страшными впечатлениями обряда казни и каторжных лет, «священной» болезни — эпилепсии, «падучей», как тогда говорили. Яновскому рассказал Достоевский о подавляющем влиянии, испытанном им в это время, влиянии атеиста и революционера Н. А. Спешнева, пожалуй, самого радикального из петрашевцев. Правда, в изложении Яновского, это влияние выглядит чем-то демоническим, чуть ли не как продажа души черту. Может, в объяснении Яновскому своих отношений со Спешневым сыграла какую-то роль психологическая черта, названная Ипполитом Дебу «неустановленностью». Но в этой черте облика Достоевского могли отражаться те борения духа, борения мысли, которые казались «неустановленностью», некоторой незавершенностью убеждений, колебаниями и поисками. Однако уверенность в конечной правоте основных идей «теоретического социализма» (то есть французского утопического социализма) и в явной несправедливости русского социального строя (крепостничества) была у Достоевского в эти годы незыблемой. Больше того, Достоевский уже задумывает, не важно, под влиянием ли Спешнева или в силу этой уверенности, вполне определенные способы борьбы за свои убеждения. Можно ли эти способы назвать революционными? Мемуаристы этот вопрос ставят.

А. П. Милюков подробно описывает «мирный» литературно-художественный кружок С. Ф. Дурова, отпочковавшийся от «общества» Петрашевского. Но ведь именно в дуровский кружок входили и Спешнев и Достоевский, употребивший все свое красноречие, чтобы добиться от А. Н. Майкова согласия на участие в организации тайной типографии. По-видимому, именно этот «заговор» имел в виду Достоевский, когда, по прочтении вышедшей в 1875 году в Лейпциге книги «Общество

---

* Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 90—91 первой пагинации.

пропаганды в 1849 г.», утверждал, что книга эта «верна, но не полна. Я, — пояснял о н , — не вижу в ней моей роли»... «Многие обстоятельства,— прибавляет о н , — совершенно ускользнули; целый заговор пропал» *.

Чрезвычайно ценную информацию о лицах, составлявших то направление русской общественной мысли, которое было названо по имени Петрашевского, содержат воспоминания известного путешественника, исследователя Тянь-Шаня и видного деятеля крестьянской реформы П. П. Семенова (Тян-Шанского). Он, естественно, вспоминает и о Достоевском. С одной стороны, это, так сказать, его личное впечатление о психологическом облике Достоевского-петрашевца в связи с размышлениями о сути самого этого явления — «петрашевства» — как достаточно широкого общественного движения, го которого «почти случайно» была «вырвана» и присуждена к смертной казни группа лиц, «в действиях и убеждениях которых я не мог, по совести, найти ничего преступного», иначе говоря — революционного. И Достоевский, как член этой «группы лиц», по убеждению П. П. Семенова, *«революционером* <...> никогда не был и не мог быть, но, как человек чувства, мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными...». Правительству Николая, в горячей обстановке революционного брожения в Европе, таких «чувств» было вполне достаточно, чтобы усмотреть в них весьма опасное политическое преступление. Активный участник работ по отмене крепостного права, П. П. Семенов смотрит на «заговор» петрашевцев с иной исторической высоты.

Все же Достоевский был уже в эти годы не только человеком чувства, но и человеком убеждения или убеждений — сложных, полных внутренних борений и, разумеется, не во всем сходных с идеями и идеалами Белинского или Петрашевского. Был Достоевский и человеком практических действий. Ведь и сам он недаром говорит о «заговоре». И подобно другим петрашевцам, он всходил на эшафот, по его же собственным словам, ни в чем не раскаиваясь. Если б это было не так, Достоевскому не было бы причин определять свое последующее идейное развитие как «перерождение убеждений».

Еще одно воспоминание, идущее от самого Спешнева или Петрашевского, должно в этой связи привлечь наше внимание. В «Записке о деле петрашевцев» Ф. Н. Львова и М. В. Петрашевского, стоявших на эшафоте вместе с Достоевским, свидетельствовано: «Достоевский <перед казнью> был несколько восторжен, вспоминал «Последний день осужденного на смерть» Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал: «Nous serons avec le Christ». — «Un peu de poussières», — отвечал тот с усмешкою» **.

Из воспоминаний вырисовывается весьма непростой, сложенный из многих, иногда противоречивых элементов-кирпичиков, написанный раз-

---

* Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 90 первой пагинации.

** Литературное наследство, т. 63, кн. III, с. 188. Перевод: «Мы будем с Христом». — «Горстью праха» (*фр.*).

ными красками или просто набросанный отдельными штрихами — но в основе своей безусловно цельный нравственный, психологический, идейный облик Достоевского сороковых годов, выясняется и его место в общественном движении эпохи, в богатом ее мыслительном содержании.

Постепенно и подспудно высвечиваются три «непосильно» трудные проблемы, над которыми будет биться, которыми будет страдать и мучиться мысль Достоевского на протяжении всей его жизни: социализм, революция, христианство.

Потом была каторга, была солдатчина... Внешняя, бытовая сторона жизни Достоевского на каторге, в Омском остроге, и в солдатах, в Семипалатинске, изображена в целом ряде воспоминаний. Мы действительно видим Достоевского в каторжной среде, на работах, в больнице и т. п. Мы можем довольно наглядно представить себе его внешность каторжника и солдата, обстановку его неказистой хаты в Семипалатинске, простые отношения с простыми людьми. И сам он — в этих воспоминаниях (например, обстоятельных и, я бы сказал, «теплых» мемуарах А. Е. Врангеля, в мемуарной заметке З. А. Сытиной) — обыкновенный, простой человек. Врангель рассказывает и историю отношений Достоевского с М. Д. Исаевой, ставшей вскоре его женой. Но Достоевский — «внутренний человек» — в общем остается для нас как клад за семью печатями...

А ведь это были годы напряженнейшей работы мысли, тяжелых сомнений, открытия новых и беспощадных истин, трудных отказов от ранее исповедовавшихся идей, годы, когда перед ним предстала во всей наготе правда жизни «черного народа» — крестьянина-убийцы, беспощадного преступника-бродяги — и чистого сердцем, хотя и «преступившего» мужика Марея.

А. Е. Врангель и П. П. Семенов-Тян-Шанский свидетельствуют, что «Записки из Мертвого дома» писались Достоевским в годы солдатчины в Семипалатинске. В январе 1857 года во время встречи с П. П. Семеновым в Барнауле Достоевский читает ему «глава за главой» еще не оконченные «Записки», дополняя чтение устными рассказами. Впечатление было сильным, потрясающим. И последующая писательская судьба Достоевского определяется, по Семенову, итогами каторги. Мемуарист называет тягчайшие условия каторжной жизни «благоприятными» «для наблюдения и психологического анализа над самыми разнообразными по своему характеру людьми, с которыми ему <Достоевскому> привелось жить так долго одной жизнью». «Можно сказать,— заключает Семенов, — что пребывание в «Мертвом доме» сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога». Как бы ни относиться к такому категорическому суждению, несомненно, что «Записки из Мертвого дома» действительно знаменовали собой начало новой, несомненно более высокой стадии в творческом развитии Достоевского. Если воспользоваться словами Гете, применив их к этому

развитию, Достоевский именно в «Записках из Мертвого дома» прощался с ранней «манерой» и обретал свой высокий «стиль», со всей силой явленный в великом романном «пятикнижии».

«Не годы ссылки, не страдания сломили н а с , — писал Достоевский в главе «Одна из современных фальшей» «Дневника писателя» за 1873 год, разумея петрашевцев, стоявших на эшафоте «без малейшего раскаяния». — Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши. <…> Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его». Тут же Достоевский признается: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений...»

Действительно, «рассказать» истоки, историю и смысл такого «перерождения» совсем нелегко. В этом отношении, конечно, больше всего может дать внимательное прочтение романов, публицистики, записных тетрадей самого Достоевского, начиная с «Записок из Мертвого дома». Но какие-то «отзвуки» и ступени этой истории мы можем найти и в воспоминаниях современников, хотя в большей своей части эти воспоминания передают не столько историю перерождения убеждений, сколько, скорее, плод, итог такого перерождения.

Братское соединение с народом в общем с ним несчастии, — так определил Достоевский основу новых своих убеждений, в сути своей сложившихся к тому времени, когда писался его первый «Дневник писателя» (1873). Но эта формула представляет собой некий итог многолетних размышлений, наверное начавшихся еще в каторжном бараке в обстоятельствах, совсем не похожих на «братское соединение», размышлений, принявших в конце концов некую идеализированную, пожалуй даже, идиллическую окраску. И воспоминания, и письма самого Достоевского по выходе из каторги говорят скорее о тягостном, даже «невыносимом» одиночестве в среде каторжников. Само это одиночество, может быть, и указывает на истоки и начало «перерождения» — трагическую невозможность почувствовать себя «братом» находящемуся в «несчастии» народу («несчастному», по народному выражению, — то есть преступнику) и одновременно — столь же трагическое и трудно дававшееся переосмысление «сновидений» молодости (по выражению Салтыкова-Щедрина) — утопически-социалистических идей.

В первом же послекаторжном письме к брату, М. М. Достоевскому, да и в «Записках из Мертвого дома», еще не было позднейшей — положительной — оценки роли каторжных лет как такого перелома, который определил всю последующую жизненную и творческую судьбу писателя, хотя глубокий и мучительный кризис сознания уже явно ощутим, прежние упования и «сновидения» рушатся и исчезают перед лицом жизненных реальностей. «На бывших дворян в каторге вообще

смотрят мрачно и неблагосклонно» — этот мотив проходит через все «Записки». «Ненависть, которую я, в качестве дворянина, испытывал постоянно в продолжение первых лет от арестантов, становилась для меня невыносимой, отравляла всю жизнь мою ядом. <…> «Вы — железные носы, вы нас заклевали!» — говорили нам арестанты...» Эти слова арестантов в «Записках из Мертвого дома» — не вымысел, а повторение того, о чем писал Достоевский в упомянутом письме к брату: «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат с т а л », — вот тема, которая разыгрывалась четыре года». И Достоевский отвечал на эту «ненависть» «равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостию их воле» (то же письмо). Это была позиция гордости, отчаяния и... отчуждения, и еще далеко было до осмысления, точнее — переосмысления ее в духе необходимости единения с народом, «почвой», в духе философии «почвенничества».

Достоевский не нашел общего языка и с каторжанами-политическими, среди которых главную группу составляли участники польского революционного движения. Неоднократно в «Записках из Мертвого дома» Достоевский как бы подступает к рассказу о политических, но каждый раз разговор о них обрывается на полуслове, хотя и есть в «Записках» глава «Товарищи». Надо думать, судя по воспоминаниям А. П. Милюкова, что «эпизод» о политических был первоначально полнее: «По условиям тогдашней цензуры Федор Михайлович принужден был <…> выбросить из своего сочинения эпизод о ссыльных поляках и политических арестантах. Он передавал нам по этому предмету немало интересных подробностей». Из других источников мы знаем, что Достоевский разошелся в остроге с С. Ф. Дуровым, своим товарищем по петербургскому кружку. «...сознание безысходности своей доли как будто окаменяло е г о , — таким запомнился Достоевский свидетелям его острожной ж и з н и . — Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю. Каторга его не любила, но признавала нравственный его авторитет, мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась».

Труден был путь к познанию человека, и лежал этот путь через каторжный ад.

В сороковые годы «страстно принял» Достоевский, по его собственному признанию, учение Белинского о «социальности». Но была тут одна «заминка» (если воспользоваться словом Толстого), а именно: «сияющая личность» Христа. В Тобольске, по дороге на каторгу, «когда

мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, — вспоминал Достоевский, — жены декабристов <это были Н. Д. Фонвизина, П. Е. Анненкова, Ж. А. Муравьева> умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь», пожертвовавших всем «для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть». «Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно тс люди, которые, по вере Белинского, *не могли* не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский <…> В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться...» («Дневник писателя» за 1873 год, гл. «Старые люди»). Для Достоевского это, конечно, была мысль о нравственном долге, нравственной ответственности личности. Эту мысль он находил в христианстве.

По возвращении в Петербург, вспоминает А. П. Милюков, Достоевский о собственных своих «лишениях в остроге» говорил неохотно, горечь его вызывало только долгое отчуждение от литературы, но и тут он прибавлял, по словам Милюкова, что, «читая по необходимости одну Библию, он яснее и глубже мог понять смысл христианства».

В позднейшие годы Достоевский неоднократно, в беседах с разными людьми, возвращается к итогам каторжных лет и всегда видит в этих итогах положительное зерно, которое и дало плод именно в «перерождении убеждений». Он осмысливает свою каторгу и ссылку в новом свете. В речи, посвященной памяти Достоевского, в феврале 1881 года А. Н. Майков вспомнил разговор, в котором такая оценка выражена наиболее резко, наиболее полемически заостренно.

«— Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка, — говорил собеседник Достоевского.

— Нет, — коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ. Это я почувствовал там только, в каторге. И почем вы знаете, может быть там, наверху, то есть Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал, то есть узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием; ну-с, и чтобы это самое главное я вынес оттуда, потому что оно пока скрывается только в народе, хоть он гадок, вор, убийца, пьяница; так чтоб я вынес это оттуда и другим сообщил и чтоб другие (хоть не все, хоть очень немногие) лучше стали хоть на крошечку — хоть частичку бы

приняли, хоть бы поняли, что в бездну стремятся, и этого довольно. И этого уж много. И из-за этого стоило пойти на каторгу» *.

В марте 1874 года, то есть вскоре после того, как была написана глава «Дневника писателя» «Одна из современных фальшей», Достоевский говорил Вс. Соловьеву:

« . . . — Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа».

Достоевский испытывает «чувство благодарности к судьбе» (А. П. Милюков), осмысливает каторгу как решающий перелом всего своего жизненного пути, такой перелом, который привел его к новому пониманию и чувствованию жизни — полной высокого значения, плодотворной, хотя и трудной, деятельности, радости и счастья. В ответ на сетования Вс. Соловьева, что его «начинает одолевать невыносимая апатия», Достоевский говорил (состояние безразличия, равнодушия, апатии представлялось Достоевскому самым страшным, грозящим духовной катастрофой):

«— Так придумайте... придумайте, решитесь на какой-нибудь внезапный, отчаянный шаг, который бы перевернул всю жизнь вашу». (Так, как перевернула жизнь самого Достоевского каторга.) «Сделайте так, чтобы кругом вас было все другое, все новое, чтобы вам пришлось работать, бороться: тогда и внутри вас все будет ново, тогда вы познаете радость жизни, будете жить как следует. Ах! жизнь хорошая вещь; ах, как иногда хорошо бывает жить! В каждой малости, в каждом предмете, в каждой вещице, в каждом слове сколько счастья!»

Из мрака каторги, из неурядиц, слез и горя современной действительности, «лик» которой ему самому совсем не нравился, из своей губительной болезни выносит в конце концов Достоевский всеохватывающее чувство радости, которым дарит человека жизнь. Ощущением радости бытия наделяет Достоевский умирающего брата старца Зосимы, Маркела, такое, почти восторженное отношение к жизни кладет он в основу религиозной философии самого старца. Способность воспринимать жизнь как счастье и радость сопрягается Достоевским с высокими идеалами христианства — христианства, толкование которого оказывается у него в корне отличным от ортодоксально-аскетического (может быть, именно этим объясняются слова, сказанные однажды Л. Толстым: «...а Достоевский, ведь, не религиозен!» ** Впрочем, и сам Толстой был весьма далек от ортодоксальности).

---

* Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Приложения, с. 57.

** Панкратов А. С. Последний петрашевец. — Исторический вестник, 1914, № 8, с. 565.

А вот характерная запись в дневнике писателя Е. Н. Опочинина (20 января 1880 года) о его разговоре с русским священником-миссионером:

«— А что, отец Алексий, Достоевского вы читаете?

— Теперь нет, а раньше читывал, как же, как же. Помню, студентом будучи, даже увлекался, чуть не мудрецом считал.

— Ну, а теперь, что же, переменили мнение?

— Переменил. Вредный это писатель! Тем вредный, что в произведениях своих прельстительность жизни возвеличивает, и к ней, к жизни-то, старается всех привлечь. Это учитель от жизни, от плоти, а не от духа. От жизни же людей отвращать надо, надо, чтобы они в ней постигали духовность, а не погрязали по уши в ее прелестях. А у него, заметьте, всякие там Аглаи и Анастасии Филипповны. И когда он говорит о них, у него восторг какой-то чувствуется... Одно могу вам сказать: у писателя этого глубокое познание жизни чувствуется, особенно в темнейших ее сторонах. <…> И хуже всего то, что читатель при всем том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин и все его углубления (sic!) суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие. В «Дневнике» своем он весь высказался».

Конечно, это слова миссионера-фанатика, сходного своей нетерпимостью с ярым противником старца Зосимы отцом Ферапонтом («Братья Карамазовы»). Но они весьма показательны. Ведь и известный религиозный философ К. Леонтьев называл христианство Достоевского ложным, «розовым» *, писал о «поверхностном и сентиментальном сочинительстве Достоевского в «Братьях Карамазовых». «Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. отцов и старцев Афонских и Оптинских» **. А по рассказам Вл. Соловьева ***, посетившего в 1878 году вместе с Достоевским монастырь Оптина пустынь, тот возбужденно спорил с оптинскими старцами, среди которых был и знаменитый иеросхимонах Амвросий, спорил наверняка о своем понимании христианства. Тут, кстати, можно было бы напомнить и слова старорусского священника Иоанна Румянцева о том, что Достоевский «нередко ставил в тупик людей с высшим духовным образованием» ****.

В октябрьский выпуск «Дневника писателя» за 1876 год, под названием «Приговор», Достоевский включил «одно рассуждение одного самоубийцы *от скуки,* разумеется матерьялиста».

---

* Леонтьев К. Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882, с. 31.

** Леонтьев К. Собр. соч., т. 9, б. г., с. 13, 17.

*** Стахеев Д. И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний). — Исторический вестник, 1907, № 1, с. 84—85.

**** Круглов А. В. Поездка в Старую Руссу. — Исторический вестник, 1895, № 4, с. 135.

«Прочитав октябрьскую книжку «Дневника», а «Приговор» несколько раз, — рассказывает в своих воспоминаниях писательница Л. Симонова-Хохрякова, — я поехала к Федору Михайловичу за объяснением». И вот какой показательный разговор состоялся между ними:

«— Откуда вы взяли этот «Приговор» — сами создали или извлекли суть его откуда-нибудь? — спросила я его.

— Это мое, я сам написал, — ответил он.

— Да вы сами-то атеист?

— Я деист, я философский деист! — ответил он и сам спросил меня: — а что?

— Да ваш «Приговор» так написан, что я думала, что все вами изложенное вы пережили сами».

И нет никакого сомнения — в этом вся суть Достоевского-человека и Достоевского-художника — он и в самом деле пережил всю атеистическую аргументацию своего самоубийцы, как он пережил «теорию» Раскольникова или богоборчество Ивана Карамазова (это вовсе не значит, что он просто передал им свои мысли).

Этот диалог Достоевского с Симоновой-Хохряковой интересен самоопределением — определением философско-религиозного кредо писателя. Замечательно, что это также кредо одного из самых привлекательных высотой мысли и страстностью исканий героев-мыслителей Достоевского — Версилова из «Подростка».

Нарисовав перед взором сына-подростка удивительной красоты картину всечеловеческой гармонии, гармонии «без Бога», Версилов заключает: «...все это — фантазия, даже самая невероятная; но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю: вера моя невелика, я — деист, философский деист <…> но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей».

Достоевский любил жизнь и человека и потому во всяком случае верил в то, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» («Сон смешного человека»). Но прекрасны и счастливы они могут быть, лишь обретя «великую мысль». И это Достоевский не уставал повторять как в своих произведениях, так и в беседах с теми, кто так или иначе искал эту мысль.

Елена Андреевна Штакеншнейдер вспоминает о споре Достоевского с писателем Д. В. Аверкиевым. Достоевский высказал свою заветнейшую идею, которая поверхностному уму может показаться странной, парадоксальной и утопической: «Сознать свое существование, мочь сказать: я есмь! — великий дар,— говорил Достоевский, — а сказать: меня нет, — уничтожиться для других, иметь и эту власть, пожалуй, еще выше». Тут Аверкиев <…> сорвался с места и говорит: «Это, конечно, великий дар, но его нет и не было ни у кого, кроме одного, но тот был

Бог». Достоевский стал ему возражать. Аверкиев же, пишет Штакеншнейдер, «продолжал хрипеть, что кроме Христа никто не уничтожается для других. А он сделал это без боли, потому что был Бог». Нет, для Достоевского Христос был не только Бог, но и человек, подверженный боли и призванный испытать ее. И это человеческое, земное, единящее людей начало христианства было для Достоевского главным.

В. В. Тимофеева-Починковская, корректор редактировавшегося Достоевским еженедельника «Гражданин», трудившаяся бок о бок с ним в течение полутора лет, проникновенно и достоверно рисует психологический портрет писателя в процессе напряженной работы его вдохновенной мысли. И главное, что сумела увидеть Починковская и на что по-своему ответить пониманием и сочувствием — «духовное одиночество» Достоевского.

«Мы, — пишет В. В. Тимофеева-Починковская, разумея русскую радикальную молодежь начала семидесятых годов, — искали тогда — и в книгах и в людях, вообще на *чужбине,* вне нас самих — самого лучшего «лагеря» — не призрачного, не фальшивого и не противного сердцу, такого, где правда была бы не на словах, а на деле, где справедливость царила бы *всюду, всегда и везде* », искали, другими словами, твердой опоры, твердой почвы для своего нравственного поиска, нравственного порыва. «Но такого лагеря, — передает Починковская свое тогдашнее трагическое мирочувствование, — не существовало нигде. Или мы не знали его».

Так Починковская, для которой Достоевский — писатель «самый мучительный и самый любимый», была духовно-психологически подготовлена к тому, чтобы воспринять в Достоевском, с первой же встречи, необычную силу «внутреннего человека», хотя, как она признается, с начала совместной работы над корректурами «Дневника писателя» 1873 года самый дух «Дневника», дух, который она, вероятно, отождествляла с духом того журнала, где он печатался, — оставался ей «чужд и антипатичен». В Достоевском ей сразу же почувствовалось «что-то строгое, властное, *высшее,* какой-то контроль или суд над всем моим существом». Это «властное» захватывало и притягивало. Особенно велика и неотразима была эта власть в мгновения посещавшего писателя высокого вдохновения, когда, например, он писал страницы о картине Ге «Тайная вечеря» или читал свои любимейшие стихи: тогда его лицо говорило о нем больше, «чем все его романы». В такие мгновения — «это было лицо *великого человека,* историческое лицо».

Починковская подметила и другое: почти фанатическую нетерпимость Достоевского при несогласии и противоречии: «Ничего наполовину. Или предайся во всем его Богу, веруй с ним одинаково, йота в йоту, или — враги и чужие! И тогда сейчас уже злобные огоньки в глазах, и ядовитая горечь улыбки, и раздражительный голос, и насмешливые, ледяные слова...» Иногда антипатии Достоевского, как об

этом вспоминают многие мемуаристы, вызывали с его стороны тоже «ледяную» мрачную молчаливость. Но стоило возникнуть взаимной симпатии, как лед таял, неприязненный или даже грубый тон пропадал, и Достоевский «сиял» добротой и лаской... Об этой необычайной многосложности натуры, характера Достоевского пишут многие мемуаристы, — сложности, которая, однако, не могла скрыть от любящих и понимающих цельное и неизменное ядро этой «исторической» личности.

Достоевский глубоко и болезненно переживал глухое духовное одиночество среди тех, кто не желал или не мог понять главной цели и главного содержания его творчества — обретения и укоренения в умах прежде всего русских людей сознания необходимости для истинно человеческой жизни великой и непреходящей мысли. Для него это была мысль о «запредельной» высоте человеческого идеала, человеческого духа, лика человеческого, лишь в единстве «с мирами иными», «с бесконечностью бытия» обретающего истину. «Стремитесь всегда к самому высшему идеалу! — страстно и восторженно внушает Достоевский своей юной слушательнице. — Разжигайте это стремление в себе, как костер! Чтобы всегда пылал душевный огонь, никогда чтобы не погасал! Никогда!»

В первой главе январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год с беспокойством пишет Достоевский об участившихся случаях самоубийств среди молодежи.

«И при этом ни одного гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...»

«Самоубийца Вертер, — вспоминает Достоевский гетевские «Страдания юного Вертера», — кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. <…> Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастие чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому.*

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его».

И такова была молитва самого Достоевского, в этом был смысл его проповеди, пронизывающей все его творчество. Достоевский скорбит о том, что утрачено это огромное, всеобъемлющее и животворящее ощущение единства человеческого с мировым, забыта вечная истина: подлинно человеческое не укладывается в прокрустово ложе

индивидуального существования. Только такое единство рождает Свободу и открывает Истину.

Слияние, единение со всем Вселенским бытием — как потрясение, в котором постигается Истина, — переживает Алексей Карамазов после пророческого восторженного сна о Кане Галилейской у гроба старца Зосимы.

«Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. <…> Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». <…> Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга».

Восторг охватывает и Достоевского, когда он говорит о самом для себя Высшем, о божественном «лике человеческом», о слиянии тайны земной и тайны небесной. Только такое понимание человеческой жизни, «лика» человеческого и духа, его бесконечности и бессмертия, может сделать каждую отдельную жизнь осмысленной и радостной.

Достоевский жаждал быть и чувствовал себя пророком этой высокой мысли: «И какая это дивная, хотя и трагическая задача — говорить это людям! <…> Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много... Много мучений, но зато — сколько величия! Ни с чем не сравнимого... То есть решительно ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя!» — говорит он Починковской. И своей единственной и такой одинокой (это Достоевский сразу же проницательно понял) слушательнице читает он свои «любимейшие» стихи Огарева:

Я в старой Библии гадал
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...

Благоговея перед Достоевским, Починковская, близкая в это время к некоторым лицам из лагеря журнала «Отечественные записки» («они», в словоупотреблении Достоевского *), с настороженностью и внутренним сопротивлением внимает, однако, чуть ли не апокалиптическим «пророчествам» писателя. Уже после смерти Достоевского и Льву Толстому казалось «ложным» и «фальшивым» «возведение в пророка и святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник и поучение потомству нельзя человека, *который весь борьба*» **. Да, Достоевский — весь борьба. «До конца дней моих воевать буду...» — записывает Починковская его слова. «Борьба — борьба!» — говорит он Л. Симоновой-Хохряковой. Это была, конечно, и внутренняя борьба — хотя бы тот же процесс перерождения убеждений, — в общем мало понятая мемуаристами, но и борьба с враждебными идеями, которые, как «прорицает» Достоевский, могут привести человека и человечество к гибели. Такой — «прорицающий» — Достоевский представлялся иной раз собеседникам чуть ли не «юродствующим». Пусть, пусть, — отвечал Достоевский, — только бы не умирала великая мысль!

К таким «пророческим» можно отнести идеи Достоевского о призвании и судьбах России и русского народа.

Достоевский, конечно, никогда не был националистом (как называет его, например, в своих воспоминаниях А. Суворина). Но страстным проповедником возрождения русского национального самосознания он, конечно, был, ибо в таком возрождении виделся ему единственный путь к решению «больных» для современной России вопросов.

Уже первая поездка Достоевского за границу в 1862 году открыла ему двуликость социального бытия и культуры Западной Европы, невозможность в условиях современного Запада, распавшегося на «лучиночки», на отделившиеся, глубоко чуждые друг другу индивидуумы, с лицемерной «моралью», осуществить провозглашенный еще Великой французской революцией принцип «братства». Он обращает взоры к России, к русскому народу. Починковская записывает такой диалог с Достоевским:

«— *Они* там пишут о нашем народе: «дик и невежествен... не чета европейскому...» Да наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш

---

* Впрочем, судя по воспоминаниям Вс. Соловьева и Л. Симоновой-Хохряковой, «они» для Достоевского — это все непонимающие, не сочувствующие его идеям, или понимающие их однобоко, превратно, прежде всего либералы-западники. Кстати, задуманный уже в это время новый роман «Подросток» Достоевский предназначает именно для «Отечественных записок» и просит «узнать «как-нибудь» у знакомых мне сотрудников «Отечественных записок», — вспоминает Починковская, — найдется ли для такого романа свободное место в их журнале в будущем году». В ответ на вопрос Починковской Г. З. Елисеев сказал «самым доброжелательным голосом: «Пусть, пусть присылает. Место для него у нас всегда найдется».

** Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х томах, т. XIX. М., 1984, с. 25.

народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения — юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки — и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! *Весь* народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка — и больше ничего. И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца дней моих воевать буду с ними — не уступлю.

— Но ведь не *эту* же именно цивилизацию хотят перенести к нам, Федор Михайлович! — не вытерпела, помню, вставила я.

— Да непременно все ту же самую! — с ожесточением подхватил он. — Потому что другой никакой и нет. Так было всегда и везде. И так будет и у нас, если начнут *искусственно* пересаживать к нам Европу. И Рим погиб оттого, что начал пересаживать к себе Грецию... Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением...» Разумеется, горячо спорящий Достоевский выражает свою мысль с крайней, предельной резкостью, но, положа руку на сердце, нет ли в ней доли истины?

Достоевский не только знал, что Западная Европа создала и другую цивилизацию, точнее — культуру, представленную Рафаэлем и Клодом Лорреном, Бетховеном и Моцартом, Данте и Гете, Бальзаком, Диккенсом и Гюго. Подчас он прямо — лично и художественно — ориентируется на высшие творения европейского духа. Кто-то замечательно сказал, что это была «перекличка гениев на вершинах». Ведь, как говорилось, за несколько минут до казни он восторженно вспоминает «Последний день осужденного на казнь» Виктора Гюго, а «молитва великого Гете» вела его к собственным размышлениям о «божественном лике» человеческом. Примеры тут можно было бы многократно умножить. И свидетельства мемуаристов в этом отношении бесчисленны.

Для Достоевского эта тысячелетняя европейская культура — вовсе не «кладбище», как думается Ивану Карамазову. Однако, опасается Достоевский, не примет ли насаждение *современной* западной цивилизации, оказавшейся в конце века в состоянии социального и нравственного кризиса, форму насильственную, искусственную? Перенесение элементов этого кризиса — воинствующего индивидуализма и обусловленного им все углубляющегося нравственного распадения,— убежден Достоевский,— будет губительным для национальной русской культуры, вообще для судеб России.

Отвечая на сетования П. А. Вяземского по поводу того, что Томас Мур сжег «Записки» Байрона, Пушкин писал: «Он <то есть Байрон> исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом по-

эзии. <…> Мы знаем Байрона довольно», знаем из его творений (письмо от второй половины ноября 1825 года).

Пушкин справедливо опасался нездорового «обывательского» интереса к бытовой, повседневной, порой неприглядной и мелкой изнанке жизни гения, опасался низменного упрощения и огрубления в глазах тупых ничтожеств («подлецов») величественной и неоднозначной личности поэта: *«Он мал, как мы, он мерзок, как мы»*. «Врете, подлецы: — продолжает Пушкин, — он мал и мерзок — не так, как вы — иначе» (из того же письма).

Беспримерна смелость Достоевского в изображении глубин души человеческой — души борющейся, стремящейся к свету, но и погибающей, скрывающейся в нравственных подпольях и «закоулках», а то и прямо преступной. И все идеи и поступки героев Достоевского, если можно так сказать, «перегорали» в сознании и душе писателя, переживались им, может быть, с такой же силой, как его героями, иначе не было бы так могущественно и неотразимо их воздействие на читателей. Иной раз и в прямом смысле «мелочи» человеческого бытия и сильные, но не похвальные, а то и мелкие страсти охватывали его мятущуюся душу, не страшившуюся мрака и грязи реальности. И он бывал иной раз «мал» и вызывал отнюдь не дружелюбные чувства, казался чуть ли не «юродивым», был часто мрачно молчаливым, как бы скрывающим в себе некую тяжелую тайну. Но все это не дает нам никаких оснований видеть в Достоевском писателя сугубо субъективного, будто бы прямо и примитивно отдающего своим героям собственные поступки, мысли и чувства. В этом смысле показательно отношение к Достоевскому Н. Н. Страхова, признававшегося в своих воспоминаниях, что Достоевский слишком для него «близок и непонятен». Страхов, конечно, прав, когда утверждает, что «это был один из самых искренних писателей, что все, им писанное, было им переживаемо и чувствуемо, даже с великим порывом и увлечением». Но развитие этой справедливой мысли в том направлении, которое дает ей Страхов, могло привести и действительно привело его к ошибочным и опасным выводам. Все-таки Достоевский, при всем уме и проницательности Страхова, в чем-то главном остался ему непонятен. «Достоевский,— пишет он, — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему». И Страхов в его известном письме к Толстому, посланном 28 ноября 1883 года вместе с книгой «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», уже почти без оговорок приписывает Достоевскому злодейства его героев.

Другие современники в этом случае оказывались более прозорливы. Одна из чутких женщин-мемуаристок, Е. А. Штакеншнейдер, охарактеризовала Достоевского хотя и метафорически, но очень точно: «Причудливый и тонкий старик! Он сам весь — волшебная сказка, с ее чудесами, неожиданностями и превращениями, с ее огромными страшилищами и с ее мелочами».

Остановимся на этом. Мы не стремились к систематическому рассмотрению всех или даже наиболее значительных мемуарных текстов, посвященных Достоевскому. Думается, что и использованный в этой статье мемуарный материал дает достаточную возможность почувствовать, несмотря на всю неоднозначность и противоречивость его, неизменную суть, целостное «ядро» личности Достоевского, неистовые борения постоянно «горящей» мысли гениального художника и ее глубинный пафос. Об этом «ядре» и этом «пафосе», в той или иной мере открывавшихся его современникам, — настоящая статья. Все же представленные в сборнике воспоминания в их целом восполнят и, надо надеяться, подтвердят сказанное.

К. ТЮНЬКИН

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

КВАРТИРА ПЕРВАЯ

РОЖДЕНИЕ, МЛАДЕНЧЕСТВО И ОТРОЧЕСТВО, ПРОВЕДЕННОЕ В СЕМЕЙСТВЕ ОТЦА

(Московская Марьинская больница)

«Сретенского Сорока[1], Церкви Петра и Павла, что при больнице для Бедных, Тысяча восемьсот двадцать пятого года Марта пятнадцатого родился у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского сын *Андрей.* Молитвовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов, крещен того же месяца Шестнадцатого. Восприемниками были: Московский купец Федор Тимофеев Нечаев и Московского Именитого Гражданина Александра Алексеева сына Куманина жена Александра Федорова. Крещение совершал священник Василий Ильин с причтом».

Вот что гласит моя метрика о водворении моем на первую мою квартиру, в правом уличном флигеле Московской Марьинской больницы. Год, месяц и число приведены с точностию в этой метрике; к этому могу прибавить только то, что 15-е марта 1825 года приходилось в воскресенье. Следовательно, день моего рождения было воскресенье, а крестин — понедельник, и притом, что в этот 1825 год 15-е число марта было в воскресенье шестой недели Великого поста, то есть за две недели до Пасхи, которая тогда приходилась 29-го марта.

Это, так сказать, официальные сведения о моем рождении. В частности же могу присовокупить слышанное мною впоследствии об обстоятельствах, сопровождающих мое рождение.

Появления моего на свет Божий вовсе не ожидали так скоро, как оно совершилось. Это могло произойти или потому, что ошиблись в счете (что всего вероятнее), или потому, что я действительно поторопился (как и всегда

во всем при своем юрком характере), то есть был несколько недоношен, — каковая версия имеет подтверждение в том, что я в момент своего появления на свет был очень слаб, что заставило окрестить меня на другой день, 16-го марта, несмотря на приходившийся понедельник (день тяжелый). Какие бы причины ни были, но дело было в том, что знакомая акушерка, хотя и была приглашена, но не была еще водворена в доме; отец тоже не ожидал так скоро кризиса, продолжал спокойно выезжать к многочисленным своим больным. — Вот именно 15-го марта и случилось то, что отец был в отсутствии, когда мать мгновенно почувствовала приближение родов; акушерка жила очень далеко, и мать чувствовала, что уже некогда было посылать за ней. В таковом критическом положении к счастию мать вспомнила, что в больнице имеется доктор Гавриил Лукьянович Малахов, который по специальности был гинеколог и акушер, она сейчас же послала за ним, и только что он явился, как и я появился на свет Божий. Когда часа через полтора возвратился отец, то все было уже покончено и тогда только послали за акушеркой.

Впоследствии, когда я уже начинал себя помнить и с нянюшкою совершал свои прогулки по больничному саду или лужку, то няня Алена Фроловна, встречая доктора Гавриила Лукьяновича Малахова, кланяясь ему, всегда говорила мне: «Смотри, вот идет *твой бабушка!»,* и я никак не мог понять и сообразить, почему он, мужчина, Гавриил Лукьянович Малахов, приходится мне бабушкой, а не дедушкой...

После рождения каждый автобиограф, конечно, начинает историю своего младенчества с тех пор, как он начал чувствовать и помнить, что он живет. Но я, прежде нежели обращусь к этому, хочу сказать все то, что знаю о своих родителях, а также и вырисовать ту, так сказать, среду, в которой я начал себя помнить... Но к сожалению, я очень мало знаю подробностей о своих родителях. Вероятно, это произошло потому, что не только я остался слишком юн после их смерти, но и старшие мои братья и сестры тоже не могли быть допущены к серьезным разговорам с родителями о их прошедшем. Впрочем, это относится только до сведений об отце, об матери же я впоследствии мог собрать очень подробные сведения от ее сестры, а моей тетки — Александры Федоровны Куманиной.

Отец мой Михаил Андреевич Достоевский, окончив свою общественную деятельность, был коллежский советник и кавалер трех орденов. Он был уроженец Каме-

нец-Подольской губернии. Фамилия Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий; по крайней мере в родословной книге кн. Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям; однофамильцев же у нас не имелось и не имеется. Я слышал, что и по настоящее время в Каменец-Подольской губернии есть местечко Достоево, принадлежавшее когда-то нашим предкам[2]. Из некоторых бумаг покойного отца, случайно перешедших ко мне, видно, что отец моего отца, то есть мой дед Андрей, по батюшке, кажется, Михайлович, был священник. Про мать же свою мой отец, сколько я могу упомнить, отзывался с особенным уважением, представляя ее женщиной не только умною, но и влиятельною в своем крае по своему родству; девической фамилии ее, впрочем, я не знаю.

Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, а мой отец, пошел по его же стопам, то есть сделался священником, и так как отец мой не чувствовал к этой профессии призвания, то он, с согласия и благословения матери своей, удалился из отческого дома в Москву, где и поступил в Московскую Медико-хирургическую академию студентом [3]. По окончании курса наук в Академии, он в 1812 году был командирован на службу лекарем, первоначально в Головинскую и Касимовскую временные военные госпитали, а затем в Бородинский пехотный полк, где получил звание штаб-лекаря. Из Бородинского полка был переведен ординатором в Московскую военную госпиталь в 1818 году. Затем был уволен из военной службы и назначен лекарем в Московскую Марьинскую больницу [4], со званием штаб-лекаря, в марте месяце 1821 года, где я и родился и где отец мой, покончив свою служебную деятельность в 1837 году, прослужил все двадцать пять лет. Из разговоров отца с моею матерью я усвоил себе то, что у отца моего в Каменец-Подольской губернии, кроме родителей его, остался брат, очень слабого здоровья, и несколько сестер; что после окончания курса наук и, вообще, сделавшись уже человеком и общественным деятелем, отец мой неоднократно писал на родину и вызывал оставшихся родных на отклик и даже, как кажется, прибегал к печатным о себе объявлениям; но никаких известий не получал от своих родных. <...> В заключение к сведениям об отце я могу добавить следующее: хотя, как выше я высказал, дворянский род наш один из древних, но или вследствие того, что отец мой, оставив родину, скрылся из дому своих родителей, не имев при себе всех документов о своем происхожде-

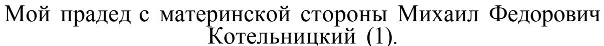
нии, или по другим каким причинам, он, дослужившись до чина коллежского асессора и получив орден (что давало тогда право на потомственное дворянство), зачислил себя и всех сыновей к дворянству Московской губернии и записан в 3-ю часть Родословной книги. Помню то, что когда ему говорили, зачем он не хлопотал о доказательствах своего древнего дворянского происхождения, то он с улыбкой отвечал, что он не принадлежит к породе *Гусей* (басня Крылова «Гуси» тогда была в большой моде)[5]. Но собственно-то он не хлопотал оттого, что это стоило бы больших денег.

Теперь расскажу все, что я знаю о происхождении и родстве моей матери.

Мать моя — Марья Федоровна, урожденная Нечаева. Родители ее были купеческого звания. Отец ее Федор Тимофеевич Нечаев[6], которого я еще помню в своем детстве как дорогого и любимого баловника-дедушку, до 1812 года, то есть до Отечественной войны, был очень богатый человек и считался, то есть имел тогдашнее звание именитого гражданина. Во время войны он потерял все свое состояние, но, однако же, не сделался банкротом, а уплатил все свои долги до копейки. Помню как сквозь сон рассказы моей матери, как она, бывши девочкой двенадцати лет, в сопровождении своего отца и всего его семейства, выбрались из Москвы только за несколько дней до занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вез их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая брод через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми, и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними лицами; что, вследствие того, что карета долгое время оставалась в воде, все ассигнации до того промокли, что оказались вовсе потерянными; что, приехавши на место, они долгое время старались сколь возможно *отделять* ассигнации друг от друга и просушивать их на подушках, но что из этого ничего не вышло. Равным образом, не удалось им этого сделать и по просушке пачек ассигнаций. Таким образом весь наличный капитал деда был тоже потерян.

Так как в продолжение всего описания моей жизни я часто буду упоминать о своих родных со стороны матери, то, чтобы яснее показать это родство, я изображу его здесь в таблице.

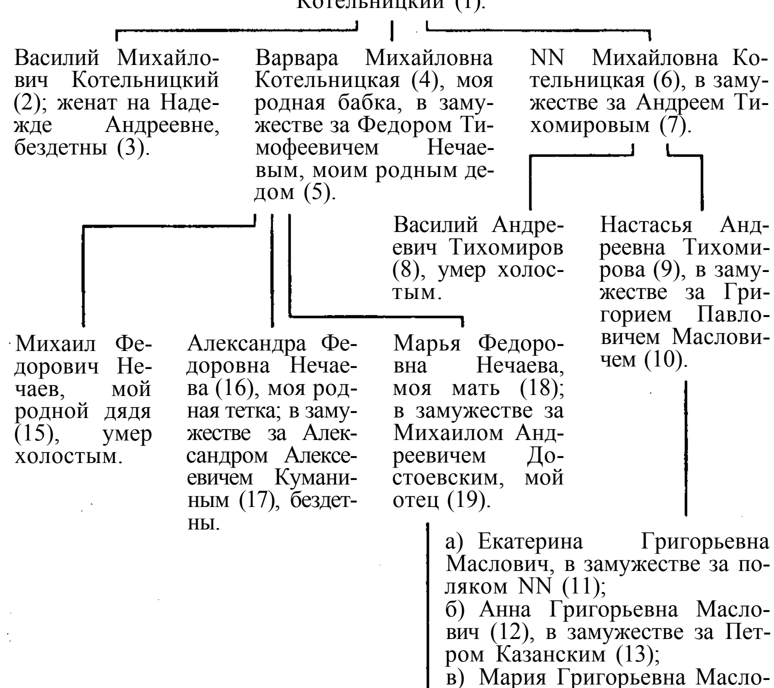
Мой прадед с материнской стороны Михаил Федорович Котельницкий (1).



Василий Михайлович Котельницкий (2); женат на Надежде Андреевне, бездетны (3).

Варвара Михайловна Котельницкая (4), моя родная бабка, в замужестве за Федором Тимофеевичем Нечаевым, моим родным дедом (5).

NN Михайловна Котельницкая (6), в замужестве за Андреем Тихомировым (7).



Василий Андреевич Тихомиров (8), умер холостым.

Настасья Андреевна Тихомирова (9), в замужестве за Григорием Павловичем Масловичем (10).

Михаил Федорович Нечаев, мой родной дядя (15), умер холостым.

Александра Федоровна Нечаева (16), моя родная тетка; в замужестве за Александром Алексеевичем Куманиным (17), бездетны.

Марья Федоровна Нечаева, моя мать (18); в замужестве за Михаилом Андреевичем Достоевским, мой отец (19).

а) Екатерина Григорьевна Маслович, в замужестве за поляком NN (11);
б) Анна Григорьевна Маслович (12), в замужестве за Петром Казанским (13);
в) Мария Григорьевна Маслович (14), осталась в девицах.

5) Федор Тимофеевич Нечаев женился на второй жене Ольге Яковлевне Антиповой (31); от этого брака:
а) Ольга Федоровна Нечаева (32), в замужестве за Дмитрием Александровичем Шер (33),
б) Екатерина Федоровна Нечаева (34), в замужестве за Дмитрием Ивановичем Ставровским (35).

а) Михаил Михайлович Достоевский, мой брат (20),
б) Федор Михайлович Достоевский, тоже (21),
в) Андрей Михайлович Достоевский — я (22),
г) Николай Михайлович Достоевский (23),
д) Варвара Михайловна Достоевская, моя сестра (24), в замужестве за Петром Андреевичем Карепиным (25),
е) Вера Михайловна Достоевская, сестра (26), в замужестве за Александром Павловичем Ивановым (27),
ж) Александра Михайловна Достоевская (28), в замужестве 1-м: за Николаем Ивановичем Голеновским (29) и вторым браком за Владимиром Дмитриевичем Шевяковым (30).

Из таблицы этой видно, что дед моей матери, а мой прадед, был Михаил Федорович Котельницкий (№ 1). Он принадлежал к дворянскому роду и в год замужества своей дочери Варвары Михайловны (моей бабушки), в 1795 году, был коллежским регистратором и занимал должность корректора при Московской духовной типографии *; по всей вероятности, личность эта была недюжинная. Это можно заключить из того, во-первых, что по должности своей он должен был знать в совершенстве русский язык и, по всем вероятиям, находился в близких соотношениях со всеми тогдашними литераторами (так как типографий тогда было немного), а судя по времени, мог быть в сношениях и с знаменитым в то время Новиковым. Во-вторых, косвенным образом об его развитости можно заключить и из того, что своего сына, Василия Михайловича, он повел так, что тот получил высшее образование и впоследствии был не только доктором, но и профессором Московского университета на одной из кафедр по медицинскому факультету. К сведениям о прадеде моем могу присовокупить, что портрет этой личности имеется у меня. Это — изящная по отделке миниатюра, рисованная по слоновой кости. Кстати сообщу здесь, как приобретен мною этот портрет. В 1865 году, когда я был в Москве, то тетка моя Александра Федоровна Куманина, не потерявшая еще тогда совершенно памяти, повела меня в свою спальню и, порывшись в своих комодах, вынула две миниатюры (вторая миниатюра была портретом моей бабушки Варвары Михайловны (№ 4), которая тоже в настоящее время находится у меня) и сказала: «Возьми это себе; это портреты моего дедушки и моей матери; передаю их тебе, потому что ты умеешь беречь и ценить вещи, в особенности относящиеся до своих родных...» [7]

У Михаила Федоровича Котельницкого был сын Василий Михайлович [8] (№ 2), как выше помянуто — профессор Московского университета; он был женат на Надежде Андреевне (№ 3), следовательно, Василий Михайлович был родным дядей маменьки, а мне приходился дедом. Они были бездетны; личности эти я знал и очень хорошо помню. Были дочери: Варвара Михайловна, моя бабка (№ 4), которая была в замужестве за купцом Федором

---

* Как это сведение, так и некоторые другие заимствованы мною из бумаг, приобретенных во время хлопот по наследству от тетки моей Александры Федоровны Куманиной. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

Тимофеевичем Нечаевым (№ 5), моим дедом, которого я тоже помню, и NN Михайловна (№ 6) (кажется, Анна), которая была в замужестве за Андреем Тихомировым (№ 7). Этих двух личностей я не застал и не знаю, но застал и помню их детей: Василия Андреевича Тихомирова (№ 8), двоюродного брата моей матери, и Настасью Андреевну, по мужу Маслович (№№ 9 и 10), двоюродную сестру моей маменьки.

От брака Федора Тимофеевича с Варварой Михайловной (это был первый брак Федора Тимофеевича) был один только сын Михаил Федорович (№ 15), оставшийся холостым, и две дочери: Александра Федоровна (№ 16), в замужестве за Александром Алексеевичем Куманиным (№ 17), то есть моя тетка, и Марья Федоровна (№ 18) — моя мать.

После смерти бабки моей Варвары Михайловны в 1813 году дед мой Федор Тимофеевич женился вторым браком на девице Ольге Яковлевне Антиповой (№ 31) в 1814 году. От этого брака было много детей, но в живых остались только две дочери — Ольга Федоровна (№ 32), впоследствии замужем за Дмитрием Александровичем Шер (№ 33), и Екатерина Федоровна (№ 34), впоследствии в замужестве за Дмитрием Ивановичем Ставровским (№ 35).

Итак, во время моего малолетства у нас были следующие родные со стороны матери: 1) отец ее Федор Тимофеевич Нечаев; 2) брат Михаил Федорович Нечаев; 3) сестра родная Александра Федоровна Куманина и ее муж Александр Алексеевич Куманин; 4) мачеха Ольга Яковлевна Нечаева; 5) сестра единокровная Ольга Федоровна 6) и таковая же Екатерина Федоровна; 7) родной дядя Василий Михайлович Котельницкий и его жена Надежда Андреевна; 8) сестра двоюродная Настасья Андреевна Маслович и ее муж Григорий Павлович; 9) двоюродный брат Василий Андреевич Тихомиров. — Все эти личности были родственно знакомы с нашим семейством и бывали в нашем доме, а потому я почти обо всех их не раз буду еще поминать в своих воспоминаниях.

Рассказавши все, что знаю, об отце и матери, их происхождении и родстве, я должен сообщить то же самое и о нашем семействе. Отец мой женился на моей матери в 1819 году. До рождения моего у родителей моих было трое детей, следовательно, я был четвертым. В 1820 году, октября 13-го, родился мой старший брат Михаил; 1821 года, октября 30-го, родился брат Федор;

1822 года, декабря 5-го, родилась сестра Варвара. После меня у родителей моих было еще четверо детей; а именно — сестры Вера и Любовь родились 22-го июля 1829 года близнятами; брат Николай родился <13-го декабря> 1831 года, и сестра Александра, родившаяся 25-го июля 1835 года.

Сестра Любочка жила только несколько дней и скончалась; и вообще эти две близнятки были очень слабы здоровьем и все предполагали, что они будут недолговечны, а между тем, благодаря Бога, сестра Вера Михайловна и теперь (1895 г.) еще здравствует, достигнув седьмого десятка лет! Здесь отмечу кстати то обстоятельство, что смерть сестры Любочки я помню совершенно ясно, хотя мне было тогда с небольшим четыре года. Помню очень хорошо, как отвезли маленький гробик в коляске, в которой сидел и я, и похоронили на Лазаревском кладбище, в ногах у бабушки нашей Варвары Михайловны Нечаевой.

Все мы родились в правом (при выходе из двора) трехэтажном каменном флигеле, состоящем при Московской Марьинской больнице, исключая старшего брата Михаила, родившегося в здании Военного госпиталя, где отец служил до марта 1821 года, брата Федора, который родился в левом трехэтажном флигеле Московской Марьинской больницы, в котором отец первоначально имел квартиру, и сестры Александры, которая родилась в нашей деревне Даровой в Тульской губернии Каширского уезда.

Окончив, таким образом, описание лиц, окружающих мое младенчество и мое детство, я невольно обращаюсь к местной обстановке и жилищу моего детства.

Квартира, занимаемая отцом во время моего рождения и младенчества, как выше помянуто, была в правом (при выходе из двора) каменном трехэтажном флигеле Московской Марьинской больницы, в нижнем этаже. Сравнивая теперешние помещения служащих лиц в казенных квартирах, невольно обратишь внимание на то, что в старину давались эти помещения гораздо экономнее. И в самом деле: отец наш, уже семейный человек, имевший в то время 4—5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую, собственно, из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась *передняя* в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней от-

делилось, помощию дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал, довольно поместительная комната о двух окнах на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира! Впоследствии, уже в 30-х годах, когда семейство родителей еще увеличилось, была прибавлена к этой квартире еще одна комната с тремя окнами на задний двор, так что образовался и другой черный выход из квартиры, которого прежде не было. Кухня, довольно большая, была расположена особо, через холодные чистые сени; в ней помещалась громадная русская печь и устроены полати; что же касается до кухонного очага с плитою, то об нем и помину не было! Тогда умудрялись даже повара готовить и без плиты вкусные и деликатные кушанья. В холодных чистых сенях, частию под парадною лестницею, была расположена большая кладовая. Вот всё помещение и удобства нашей квартиры!

Обстановка квартиры была тоже очень скромная: передняя с детской были окрашены темно-перловою клеевою краскою; зал — желто-канареечным цветом, а гостиная со спальной — темно-кобальтовым цветом. Обои бумажные тогда еще в употреблении не были. Три голландские печи были громадных размеров и сложены из так называемого ленточного изразца (с синими каемками). Обмеблировка была тоже очень простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами), хотя в карты у нас в доме никогда не игрывали. Помню, что такое беззаконие у нас случилось на моей памяти раза два, в дни именин моего отца. Далее помещался обеденный стол на средине залы и дюжины полторы стульев березового дерева под светлою политурою и с мягкими подушками из зеленого сафьяна (клеенки для обивки мебели тогда еще не было. Обивали же мебель или сафьяном или волосяною материею). В гостиной помещался диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки. Я сказал, что стулья и кресла были с мягкими подушками, но это вовсе не значит, что они были с пружинами, совсем нет — тогда пружин еще не знали. Подушки же у стульев, кресел и диванов набивались просто чистым волосом, отчего при долгом употреблении на

мебели этой образовывались впадины. Стулья и кресла, по тогдашней моде, были громадных размеров, так что ежели сдвинуть два кресла, то на них легко мог улечься взрослый человек. Что же касается до диванов, то любой из них мог служить двухспальной кроватью! Вследствие этого, сидя на стульях, креслах и диванах, никоим образом нельзя было облокотиться на спинку, а надо было всегда сидеть как с проглоченным аршином. Гардин на окнах и портьер при дверях, конечно, не было; на окнах же были прилажены простые белые коленкоровые шторы без всяких украшений.

Ясное дело, что при такой небольшой квартире не все члены семейства имели удобные помещения. В полутемной детской, которая расположена была в заду передней, помещались только старшие братья. Сестра Варя спала ночью в гостиной на диване. Что же касается до меня, а позднее до сестры Верочки, то мы, как младенцы, спали в люльках в спальне родителей. Няня же и кормилицы спали в темной комнатке, имевшейся при спальной родителей. Упомянув о кормилицах, я должен отметить, что маменька сама кормила только первого ребенка, то есть старшего брата Мишу. Всех же остальных кормили кормилицы, — потому что, верно, и тогда уже была обозначена у маменьки слабогрудость, впоследствии обратившаяся в чахотку.

Говоря о нашем семействе, я не могу не упомянуть об личности, которая входила в него всею своею жизнию, всеми своими интересами. Это была няня Алена Фроловна[9]. — Алена Фроловна была действительно замечательная личность, и, как я начинаю себя помнить, не только была в уважении у моих родителей, но даже считалась как бы членом нашего дома, нашей семьи! Она не была нашею крепостною, но была московская мещанка, и званием этим очень гордилась, говоря, что она не из простых. Поступила она к нам в няни еще к сестре Вареньке, следовательно до моего рождения, и потом вынянчила всех нас. Нянчить или смотреть за нами она начинала не со дня нашего рождения, но с отнятием нас от груди от кормилицы. Меня Алена Фроловна считала почему-то первым и настоящим своим пестуном, игнорируя в этом отношении сестру Варю, и это служило предметом частых наших детских споров. С того времени, как я начинаю ее помнить, ей было уже лет под пятьдесят. Она была для женщины довольно высокого росту и притом очень толста, так что живот ее почти висел до колен. Ела

она страшно много, но только два раза в день; чай же пила без хлеба вприкуску. Кроме обязанности няни, и то только чистой няни, так как стирка детского белья ею не производилась, она занимала еще обязанность ключницы, которую приняла на себя добровольно и постепенно, чтобы помочь маменьке по хозяйству. Она заведовала кладовою и отчасти погребом, выдавая кухарке всю провизию, а также и всеми закусками и десертом. Мы все называли ее нянюшкою и говорили ей «ты», но зато и она всем нам говорила тоже «ты» не только во время нашего детства, но и впоследствии, когда мы были уже совершенно взрослыми. Отец и мать называли ее всегда Аленой Фроловной, или просто Фроловной, а она их (единственная из прислуг) называла по имени и отчеству, то есть Михаилом Андреевичем и Марьею Федоровною. Вся же прочая прислуга называла их барином и барыней. Алена Фроловна как поступила в дом наш на жалованье в 5 рублей ассигнациями (ныне 1 р. 43 к.), так и оставила наше семейство после смерти родителей, прожив более пятнадцати лет, получая то же жалование. Но, впрочем, собственно говоря, она не получала его, говоря, что у родителей оно будет сохраннее; и затем после смерти их, опека должна была уплатить Алене Фроловне до 200 рублей серебром. Она была девицей и называла себя Христовой невестой. Никогда и никто не помнил, чтобы она засиживалась в кухне, объясняя это тем, что в кухне бывают различные разговоры, которые ей, как девице, слушать непристойно. Родители улыбались, слушая это, но сами были очень довольны такими поступками Алены Фроловны. Обедала и ужинала она всегда в детской, куда ей приносили всех кушаньев прямо со стола нашего.

Мы, дети, допускались к общему столу с тех пор, когда начинали уметь есть сами, без посторонней помощи, то есть владеть ложкою, вилкою и ножом. До приобретения же этих способностей мы обедывали постоянно с нянюшкой в детской; но чтобы она не обкормила нас, то маменька сама накладывала на тарелку для нас кушанье, сколько каждому было нужно, что всегда возмущало няню! Обучение и наставления ее по искусству владеть столовыми инструментами, вероятно, были успешны, потому что между тремя-четырьмя годами я помню уже себя за общим столом, хотя и на высоком стуле, но обедающим без всякой посторонней помощи. Постов Алена Фроловна очень строго не придерживалась, говоря, что она человек подневольный и что с нее за это не

взыщется, но зато она почитала страшным грехом есть что-нибудь без хлеба. По ее мнению, только кашу, и то гречневую, да пироги можно есть без хлеба, потому что это тот же хлеб; но при этом прибавляла, что греха большого не будет, ежели ошибкою поешь каши и пирога с хлебом. — «Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанье... так Бог велел!» — это было всегдашнее ее поучение. Помню, что я, бывши уже почти готовым к общему столу, евши суп или щи, заявил ей свое мнение, что я покрошу хлеб в суп и буду так есть. На это она сказала: «Ты покрошить-то покроши, оно вкусно бывает; а в ручку-то все-таки возьми хлеба, и употребляй как всегда, а то грешно будет, значит ты пренебрегаешь хлебом...»

Одну слабость имела нянюшка, и эта слабость была причиною еженедельных трат ее на целый пятачок!.. Она нюхала табак. К ней, я помню, всякую неделю, в один и тот же день, ходил табачник, у которого она приобретала недельный запас табаку. Табачник этот, как теперь помню, был очень невзрачный и неопрятный старикашка, но, производя у него покупку, няня всегда вступала с ним в разговоры, и это послужило поводом к тому, что папенька в шутку называл его женихом Фроловны. — «Тьфу, Господи прости! — возражала она на это, — мой жених — Христос, царь небесный, а не какой-нибудь табачник!» — Но, впрочем, за эту шутку на папеньку не сердилась, и он продолжал называть табачника женихом ее.

Как теперь помню один эпизод, случившийся по этому поводу: как-то я бегал в зале и, кажется, мешал отцу заниматься, и он спросил: «Да где же Фроловна?.. Пускай возьмет Андрюшу». — «Да к ним жених-с пришел», — ответила ему горничная. В это время вошла в залу няня и слышала последние слова горничной. Ничего не сказав, увела меня няня в детскую и была очень рассержена. Наконец, вечером явилась к маменьке и объявила следующий ультиматум: «Или меня рассчитайте или горничную, я вместе с ней не могу жить у вас». Это наделало больших хлопот маменьке; однако ей удалось заставить горничную в тот же день попросить прощения у нянюшки. Та, как добрая и хорошая девушка, сказавшая пагубное выражение не с целию обиды, исполнила желание маменьки и попросила прощения.

Долю ничего не говорила нянюшка на все извинения горничной, но, наконец, начала читать ей нотацию, про-

должавшуюся чуть ли не полчаса, и в конце концов смилостивилась и простила; при чем они обе поцеловались, и мир не был нарушен.

Со двора, то есть в гости, Фроловна почти никогда не ходила. Раз в год или в полтора года она получала известие о приезде в Москву родной сестры своей Натальи Фроловны, которая была монахиней в Коломенском женском монастыре и во время приездов своих в Москву останавливалась в каком-нибудь московском женском монастыре. Тогда нянюшка с раннего утра наряжалась и ехала к сестре в гости на целый день до вечера, и маменька в то время бывала (как говаривала сама) как бы без рук.

Через несколько дней сестра отплачивала няне визит, также проводя целый день в нашем доме. И этим и кончались все выезды и приемы нашей Алены Фроловны.

Одевалась Фроловна всегда очень чисто и ежедневно была в белых кисейных чепцах, а по праздникам и в тюлевых. Отличались эти чепцы громадными оборками; бывало, как она идет несколько скорее обыкновенного, то оборки эти так и поднимаются вверх.

Время от времени с няней по ночам случались оказии, — она во сне начинала кричать. Не знаю, как и выразиться, — это не был крик, а был какой-то неистовый вой... и тогда-то отец должен был сам вставать с постели и насилу-насилу удавалось ему привести в сознание Фроловну. На другой день всегда было отец спрашивает: «Что это опять случилось с тобою ночью, Фроловна?» — «Да что, Михайло Андреевич, опять домовой душил, такой страшный, с рогами» и т. д. — «Да ты бы, Фроловна, поменьше ела за ужином», — говорил папенька. — «Пробовала, по вашему совету, батюшка, — отвечала она, — да еще хуже... всё цыгане снятся, и всю ночь не спится... более все ходишь». — «Ну, уж как себе хочешь, — отвечал папенька, — но предупреждаю тебя, ежели опять ты завоешь, я велю выпустить из тебя фунта три крови!» — И, действительно, почти ежегодно ей кидали кровь, и день, в который это совершалось, был самым постным для Фроловны днем, потому что в этот день сам папенька следил за питанием Фроловны, и после этого она всегда говаривала, что *она исчезает,* желая высказать этим, что она похудела и отощала. Выражение это впоследствии сделалось обычным ее ответом на вопрос о здоровье. «Что, Фроловна, как поживаешь?» — спросит ее кто-нибудь из гостей. — «Да что, батюшка

(или матушка), — отвечала она всегда: — совсем исчезаю!» — И при этом начинала смеяться, колыхаясь всем корпусом.

Я описал, как умел, личность Фроловны, которая занимала видное место в нашем семействе во время нашего детства; о дальнейшей судьбе ее расскажу впоследствии в своем месте; а теперь кстати скажу и о нашей прочей прислуге, чтобы впоследствии (в этом описании) обращаться с ними как с лицами, вполне знакомыми.

Собственно, в доме у нас, кроме нянюшки и кормилицы, ежели время совпадало с кормлением кого-нибудь из новорожденных, были только одни прислуги — горничные. Они были наемные, но жили у нас очень по долгому времени; из них одну я помню хорошо, это *Веру*; она жила у нас несколько лет, лета два ездила с нами в деревню и вообще очень обжилась у нас; но, увы, в конце концов отошла от нас со скандалом, о котором расскажу тоже в своем месте. Теперь же скажу только, что она была дочь хорошего столяра, который с женою своею, как говорится, души не слышали в своей Верочке!.. После же нее наемных горничных у нас более не было, потому что маменька взяла из деревни трех сирот девочек, которые и исполняли все обязанности горничных, двух из них я помню — это *Ариша* и *Катя.* Первая, то есть Арина, впоследствии Арина Архипьевна, была очень скромная девочка, постоянно сидевшая за пяльцами или другою какою работою. Вторая же, Катя, была огонь-девчонка. Об них, однако, упомяну впоследствии.

Кухонную же нашу прислугу составляли четыре личности, а именно: а) Кучер *Давид Савельев,* или, как его называли, Давыд; он был, собственно, прислугою отца. Кроме своих четверки лошадей, Давид ничего не знал и не имел более никаких занятий; да, впрочем, выездов было много, а потому и работы ему было достаточно; он был крепостным еще до женитьбы отца и жил у нас бессменно по день смерти папеньки, а потом числился дворовым при нашей деревне, к которой, впрочем, не принадлежал родом. Личность эту папенька особенно любил и уважал против прочей кухонной прислуги; б) Лакей *Федор Савельев,* брат кучера. Я не понимаю, почему он назывался лакеем. По самому расположению нашей квартиры, он не мог быть в горницах и исполнять лакейские обязанности. Он скорее мог назваться дворником, и обязанности его состояли в том, чтобы наколоть дров, разнести их по печкам и наблюдать за самою

топкою печей; наносить воды, которая, собственно для чая, была ежедневно им приносима в количестве двух ведер с фонтана от *Сухаревой башни* [10]. Это по-московскому хотя и считалось близко, но, собственно, была даль порядочная (от Божедомки, где Московская Марьинская больница, до Сухаревой башни по плану города не менее двух верст, следовательно в два конца четыре версты). И только изредка, в том случае, когда маменька выходила одна пешком в город, Федор облекался в ливрею и трехугольную шляпу, сопровождал ее, шествуя гордо несколько шагов сзади. Или когда маменька выезжала одна, без отца, то Федор, тоже в ливрее, стоял на запятках экипажа. Это было непременным условием тогдашнего московского этикета! Обе эти личности, как кучер Давид, так и Федор, были родными братьями и были малороссы. Не знаю, как они сделались крепостными отца, но знаю только, что это было еще до женитьбы отца. Но ведь в то время крепостных можно было приобретать и без земли. К счастию, они были бобыли и никогда не вспоминали и не жалели о своей родине; в) Кухарка *Анна.* Обязанности ее ясны по самому названию ее профессии. Она тоже была крепостною с давних пор, то есть еще до покупки деревни, и была отличная кухарка и уже истинно могла заменять повара! г) Прачка *Василиса.* Обязанности ее состояли в том, чтобы каждую неделю, первые три дня ее, стоять за корытом, а последние три дня за катком и утюгом. Василиса тоже была крепостная, но впоследствии скрылась, или — говоря проще — сбежала. Этот побег был чувствителен для родителей моих не столько в материальном отношении, сколько в нравственном, потому что бросал тень на худое житье у нас крепостным людям, между тем как жизнь у нас для них была очень хороша. Но, впрочем, в тогдашнее время, когда крепостных приобретали без земли, подобные побеги случались нередко, что объяснялось, конечно, для некоторых личностей, тоскою по родине.

Описав весь штат прислуги, бывшей в доме родителей, я не могу удержаться, чтобы не сопоставить потребностей жизни прежней (в начале 30-х годов) с моею жизнию в начале 70-х годов. Семейство отца, по крайней мере до 30-х годов, было не более семейства моего, жил он тоже не лучше и не роскошнее, чем я, а должен был держать *семерых* прислуг, а впоследствии и более; тогда как у меня не было их никогда более трех, да и три-то прислуги бывало тогда, когда бывали грудные

дети; проживал же отец, по-видимому, менее, чем проживаю я! Этим сопоставлением объясняется, во-первых, потребность прежних времен иметь большее количество прислуги, а во-вторых, дешевое содержание ее.

Наши знакомые. Знакомые наши, то есть знакомые моих родителей, были очень немногочисленны, некоторые из них были знакомы только на поклонах, а другие же были знакомы и по домам, первых я только перечислю, а о вторых кое-что сообщу. Во-первых, все служащие в Московской Марьинской больнице были, конечно, нам знакомы, с них я и начну.

1) *Александр Андреевич Рихтер* и его супруга *Вера* (по батюшке не помню) был главным доктором Московской Марьинской больницы. Он держал себя по-начальнически и никогда не бывал у нас запросто, а в дни именин отца бывал по вечерам. У него был сын *Петя,* мой ровесник, но его держали слишком на аристократическую ногу, и он даже никогда не выходил в сад на прогулку, вследствие чего мы с ним не встречались. Раза два в год его приводили к нам, то есть ко мне для собеседования, и столько же раз я отплачивал ему визит. Этим наше детское знакомство и ограничивалось. Отца его, то есть доктора Александра Андреевича Рихтера, я помню почти ежедневно бывавшим у нас по утрам в первые два месяца 1837 года, то есть в то время, когда маменька была уже в последнем градусе чахотки и он в числе прочих докторов навещал больную и, кажется, значительно облегчил предсмертные страдания маменьки. Жена же его тоже держала себя важно и изредка менялась визитами с маменькою.

2) *Кузьма Алексеевич Щировский;* это был старейший врач в больнице, ему было и тогда лет под семьдесят, и он уже более тридцати пяти лет состоял на службе... Эта личность бывала у нас только по утрам, а в именины отца вечером, но зато его семья женского пола часто бывала у маменьки; она состояла: а) из жены его *Аграфены Степановны,* б) свояченицы *Марьи Степановны* и в) пожилой уже дочери *Лизаветы Кузьминичны.* Эти три личности очень часто бывали у маменьки по утрам на чашку кофе; придут, бывало, часу в 11-м утра и просидят до 1-го. Предметом разговора были базарные цены на говядину, телятину, рафинад и меласс и т. п., а далее про ситцы и другие материи и про покрой платьев. В то

старое патриархальное время дамы среднего сословия, и даже высшего, но незначительно богатые, шили и кроили все платья, даже и дорогие, шелковые, визитные, своими собственными руками, а швейных машин не было и в помине. Отдавать же платья на пошитье портнихам считалось даже зазорным. Я всегда, бывало, присутствовал при этих разговорах, и они крепко запали мне в память! Маменька в свою очередь часто хаживала на такую же чашку кофе к Щировским и меня брала каждый раз с собою. Прием и беседы были те же самые. Лизавете Кузьминичне было уже лет под сорок, и она нюхала табак. У Кузьмы Алексеевича, кроме дочери, были два сына: а) *Алексей Кузьмич,* уже врач, служивший сверхштатным ординатором при той же Московской Марьинской больнице и ждавший выхода в отставку своего папаши, чтобы преемственно занять его место, и б) *Николай Кузьмич,* или *Коля,* воспитанник Московского университетского пансиона. Этот юноша был старше моих старших братьев и редко удостоивал их своею беседою.

3) Доктор *Рединг-отец.*

4) Доктор *Рединг-сын.*

С этими двумя личностями мы были знакомы только на поклонах. Старик был вдовец и состоял с сыном в тех же отношениях, как и старик Щировский к своему сыну-врачу.

5) Доктор *Рожалин* был знаком на поклонах.

6) Доктор *Гавриил Лукьянович Малахов, мой бабушка,* и жена его *Устинья Алексеевна* были знакомы с нами по домам, но менялись визитами очень редко.

7) Аптекарь, кажется, *Шредер* и жена его *Мавра Феликсовна* и две взрослых дочери. Сам аптекарь редко бывал у нас, но семейство его часто хаживало по утрам к маменьке, и в свою очередь маменька со мною нередко хаживала к ним.

8) Священник *Иоанн Баршев.* Сам отец Иван бывал у нас только официально со Святом[11], что же касается до супруги его, то она изредка бывала у маменьки, и маменька же. Имя и отчество ее не помню, потому что маменька, да и все прочие знакомые, постоянно называла ее, как жену священника, — *матушкой.* У этого отца Иоанна были два сына — *Сергей Иванович* и *Яков Иванович Баршевы.* Они, после блестяще оконченного курса в Московском университете, были оба посланы на казенный счет за границу и, возвратившись в Москву, к отцу своему, были у нас с визитом. Я чуть помню этот их визит,

но очень хорошо помню, что папенька говаривал после их посещения: «Ежели бы мне не говорю уже дождаться, но быть только уверенным, что мои сыновья так же хорошо пойдут, как Баршевы, — то я умер бы покойно!» Эти слова папеньки у меня сильно врезались в память. Впоследствии эти Баршевы были известные профессора в Петербургском и Московском университете по кафедре уголовного права. Между студентами-юристами 40-х и 50-х годов сохранилось предание, что московский Баршев (Сергей Иванович) в одной из своих лекций всенепременнейше говаривал фразу: «Россия на поприще уголовной юриспруденции породила и воспитала два цветка: это брата Яшу в Петербурге и меня в Москве». Петербургский же Баршев (Яков Иванович) в свою очередь говорил: «Россия на поприще уголовной юриспруденции породила и воспитала два цветка — это брата Сережу в Москве и меня в Петербурге». Так их и окрестили: братом Сережей и братом Яшей!.. <...>

9) *Федор Антонович Маркус* [12] и жена его *Анна Григорьевна.* Он был экономом при Московской Марьинской больнице, и квартира его была в том же каменном флигеле, как раз над нашею квартирою, и такого же самого расположения. Это был родной брат Михаила Антоновича Маркуса, известного впоследствии лейб-медика. Женился он уже на моей памяти в начале 30-х годов. Он был симпатичнейший человек. Как ближайший сосед наш, он хаживал к нам, еще бывши холостым, и часто проводил вечера, разговаривая с папенькой и маменькой. Говорил он отлично, и я, бывало, уставлю на него глаза; только и смотрю, как он говорит, и слушаю его!.. Вообще он оставил в моем детском воспоминании самые отрадные впечатления! После женитьбы своей он тоже изредка продолжал свои к нам посещения, но жену свою не знакомил с маменькой; да, впрочем, и ни с кем из больничных дам. Когда умерла маменька, то Федор Антонович, по просьбе отца, был главным распорядителем похорон и после похорон почти ежедневно навещал папеньку, развлекая его своими разговорами, и в это время еще более сблизился с нами. Когда отец после смерти маменьки, подав в отставку, уехал в деревню, то Федор Антонович Маркус неоднократно брал меня из пансиона Чермака к себе на праздники. У него впоследствии был сын *Миша* (*Михаил Федорович*), но он не мог быть моим товарищем, потому что был гораздо моложе меня. <...>

Чтобы покончить со знакомыми, обитающими в Московской Марьинской больнице, я должен упомянуть 10) *Аркадия Алексеевича Альфонского* и жену его *Екатерину Алексеевну,* рожденную Гарднер. Этих двух личностей я помню чуть-чуть, потому что они оставили больницу чуть ли не в конце 20-х годов. Екатерина Алексеевна Альфонская была настоящим другом моей маменьки, и, по рассказам последней, они чуть не ежедневно видались. <...> Аркадий Алексеевич Альфонский из больницы перешел в профессора Московского университета по медицинскому факультету и был впоследствии деканом факультета [13]. Замечательно, что маменька похоронена возле бывшего своего друга Екатерины Алексеевны, на Лазаревском кладбище. У супружества этого в числе прочих детей был сын *Алеша,* впоследствии *Алексей Аркадьевич.* Этот сын их был моим товарищем по пансиону Чермака <...>

Наши гости. В дополнение к сообщенному мною о наших родных со стороны матери, я расскажу про них в отдельности о каждом как о наших гостях.

1) Первое место между ними, конечно, займет дедушка *Федор Тимофеевич Нечаев.* В то время, когда я начал его помнить, это был уже старичок лет шестидесяти пяти. Первым браком он женился июля 29 числа 1795 года на нашей бабушке Варваре Михайловне, и после смерти ее (8 июня 1813 года) дедушка женился второй раз 18 мая 1814 года на *Ольге Яковлевне Антиповой.* Сперва дедушка с женою и семейством жили в наемной квартире где-то на Басманной улице, но впоследствии переселились к старшему зятю *Александру Алексеевичу Куманину* [14]. Это переселение, кажется, состоялось после выхода в замужество моей матери, так что маменька выходила замуж еще из дома отца своего, а не из дома Куманиных. Дедушка всякую неделю приходил к нам к обеду и, кажется, всегда в один и тот же день, ежели не ошибаюсь, в четверг. По праздникам же он всегда обедал у старшего зятя своего, Куманина. В этот день мы, дети, еще задолго до прихода его, беспрестанно выглядывали в окна, и как только, бывало, завидим идущего с палочкой дедушку, то поднимался такой крик, что хоть образа выноси из дома!.. Но вот он входит в переднюю, тихонько раздевается... Маменька встречает его, и он, перецеловав всех нас, оделяет нас гостинцами; а потом садится в гостиной и ведет

разговор с маменькой. Он постоянно носил коричневый сюртук (и другого костюма его я не помню), в петличке которого висела медаль на аннинской ленте, с надписью: «Не нам, не нам, а Имени Твоему». Это все, что осталось у него после 1812 года!!! Через несколько времени возвращается с практики папенька, любовно и радушно здоровается с тестем, и мы садимся за обед, который в этот день у нас всегда был несколько изысканнее, хотя, впрочем, к слову сказать, обеды у нас всегда были сытными и вкусными. После обеда дедушка, посидев недолго, собирался домой и уходил, и мы не видели его до следующего четверга. Я не помню никогда, чтоб дедушка бывал у нас вместе с женой своей Ольгой Яковлевной. Вероятно, он чувствовал, что маменька не слишком-то была расположена к своей мачехе, а может быть и потому, чтобы предоставить себе возможность поговорить с глазу на глаз со своей дочерью!.. Таковые посещения деда продолжались аккуратно до начала 1832 года, когда он слег в постель. Он долгое уже время страдал грудною водянкой, и в начале 1832 года скончался. Помню, что маменька несколько дней сряду не ночевала дома, а была у одра умирающего отца. Наконец, в один день утром приезжает маменька домой вся в слезах и сообщает нам, что у нас нет более дедушки и что он скончался. Похороны были пышные из дома Куманиных. Мне сшили черную рубашечку с плёрезами, и я был на одной из панихид. Это был первый покойник, которого я видел вблизи в своем семилетнем возрасте. Правда, я видел умершую сестру Любочку, но это было в 1829 году, и тогда я меньше понимал.

2) Про второго из родственников я сообщу об дяде *Михаиле Федоровиче Нечаеве.* Он был одним годом моложе моей маменьки, следовательно, вероятно, родился в 1801 или в 1802 году. Маменька рассказывала, что они в детстве с братом были очень дружны. Эта дружба сохранилась и впоследствии. Он приходил к нам постоянно по воскресеньям, потому что в будние дни был занят, служа главным приказчиком в одном богатом суконном магазине и получая очень хорошее содержание. Его приход тоже был радостен для нас, детей, и большею частию сопровождался всегда маленьким домашним концертом. Дело в том, что маменька порядочно играла на гитаре, дядя же Михаил Федорович играл на гитаре артистически, и одна из его гитар всегда находилась у нас. И вот, бывало, после обеда маменька брала свою гитару, а дя-

дя — свою, и начиналась игра. Сперва разыгрывались серьезные вещи по нотам, впоследствии переходили на заунывные мелодии, а в конце концов игрались веселые песни, причем дядя иногда подтягивал голосом... И было весело, и очень весело. Папенька тоже всегда очень был радушен с дядей, хотя и негодовал на него, в особенности в последнее время, за то, что дядя стал покучивать и много пить, в чем, кажется, и выговаривал ему неоднократно!.. Но все это было ничто, и дядя всегда был нашим дорогим гостем! Как вдруг случился казус, вследствие которого дядя вовсе перестал бывать у нас. Казусу этому я частию был сам свидетелем, а частию в подробностях слышал, когда был уже взрослым, от тетушки Александры Федоровны. Вот в чем было дело. У нас жила горничная Вера, об которой я уже упоминал выше; она была очень красивая и нестарая девушка, и дядя Михаил Федорович завел с нею шашни, а она, как оказалось, этому не противилась. Маменька давно замечала что-то неладное и наконец была свидетельницею передачи из рук в руки записки. Маменька вырвала от Веры записку, в которой назначалось свидание... Родители пригласили дядю в гостиную, а я остался в зале. В гостиной, по словам тетушки, произошло следующее: маменька стала выговаривать брату, что он решился в семейном доме своей сестры делать скандал с ее прислугой, и проч., и проч.; а дядя, долго не рассуждая, обозвал ее *дурой.* За это разгоряченный отец ударил дядю, кажется, по лицу. Растворилась дверь гостиной, и дядя, весь красный и взволнованный, вышел из нашего дома и больше не появлялся в нем! Это было в 1834 году. Конечно, отец нехорошо поступил, ударив дядю; он должен был помнить, что сказал дерзость его жене не кто иной, как ее родной брат! Но дело было сделано, и дядя у нас более не бывал! Но и то правда, что подобный поступок и теперь бы показался неприглядным, но с лишком шестьдесят лет тому назад он был *из рук вон скандальным.* Конечно, горничная Вера была в тот же день рассчитана и от нас уволена. Чтобы покончить рассказ о дяде, скажу здесь, что после похорон маменьки, когда он бывал у нас на панихидах, я увидал дядю уже в 1838 году, когда он раза два или три приезжал от тетки в пансион Чермака, чтобы взять меня на какой-нибудь праздник. При этом замечу, что дядя жил тогда у дяди Александра Алексеевича, занимая одну комнатку в верхнем этаже дома, и что в этой же комнатке я имел свой ночлег в редкие пребывания свои у тетки.

Пагубную страсть свою к вину дядя не только не оставил, но даже усиливал, от чего преждевременно и скончался в рождественские праздники *с 1838 на 1839 год*[15], когда и я на праздниках находился у дяди. Похороны были довольно скромные, но из дома дяди.

Изредка, раза два в месяц, скромная улица Божедомки оглашалась криком форейтора: «Пади! Пади! Пади!..» — и в чистый двор Марьинской больницы въезжала двуместная карета цугом в четыре лошади и с лакеем на запятках и останавливалась около крыльца нашей квартиры; это приезжали:

3) тетенька *Александра Федоровна* и

4) бабенька *Ольга Яковлевна.*

Об них теперь я и поведу свою речь. Не было случая, как я запомню, чтобы тетенька приехала к нам одна, без сопровождения бабушки Ольги Яковлевны, так что, ежели бы сестры и хотели поговорить с собою по душам с глазу на глаз, то не могли, ввиду присутствия третьего лица, несимпатичного, кажется, обеим им.

Начну с тетеньки: тетенька Александра Федоровна Куманина[16] была родною сестрою моей маменьке и, родившись 15-го апреля 1796 года, была только четырьмя годами старше моей маменьки. Она вышла замуж за Александра Алексеевича Куманина 15-го мая 1813 года, то есть еще тогда, когда жива была ее мать, а моя бабушка, Варвара Михайловна Нечаева (которая, впрочем, умерла через несколько дней после свадьбы тетушки, а именно 8-го июня 1813 года). Хотя я сказал, что тетенька Александра Федоровна была только четырьмя годами старше маменьки, но должен прибавить, что моя маменька считала свою сестру более за мать, чем за сестру, она любила и уважала ее донельзя и эту свою любовь умела вселить и во всех нас. Тетенька Александра Федоровна была крестною матерью всех нас детей без исключения. В детстве своем я любил бессознательно тетеньку, а впоследствии, когда сделался взрослым, я благоговел перед этою личностию, удивлялся ее истинно *великому* практическому уму и уважал и любил ее, как мать! Я буду часто и много раз говорить о тетеньке в дальнейших своих воспоминаниях, а теперь только прибавлю, что и в младенчестве и детстве нашем приезд тетки был особенно радостным, потому что сопровождался привозом гостинцев в виде различных фрукт, смотря по сезону.

Про бабушку Ольгу Яковлевну могу сообщить, что она вышла замуж за моего деда (женившегося вторым

браком) 18-го мая 1814 года, то есть уже тогда, когда тетенька была замужем за Куманиным. Следовательно, маменька была тогда девочкою четырнадцати лет и с лишком пять лет до своего замужества с моим отцом проживала под надзором своей мачехи. Они жили тогда на Новой Басманной улице, в приходе Петра и Павла, но впоследствии, уже после выхода замуж моей маменьки, переехали на жительство к Александру Алексеевичу Куманину. Про эту личность, то есть про бабушку, я буду еще много раз говорить в своих воспоминаниях, теперь же сообщу только то, что мы, дети, не особенно любили ее, потому что она при всяком свидании умела или взглядом или словом сделать какое-нибудь замечание, не любезное к нам, детям. Впоследствии же я слышал, да и сам убедился, что эта женщина была хитра и без сомнения умна, но с умом, направленным не на одно доброе! Не знаю, как при деде, но по смерти деда бабушка заведовала хозяйством всего жившего на большую ногу куманинского дома. То есть она заведовала закупкою всех запасов для стола и десерта, заведовала погребом; одним словом, была тем, чем в больших домах бывают экономки или так называемые хозяйки.

5) Дядя *Александр Алексеевич Куманин.* Муж моей родной тетки Александры Федоровны. Эту симпатичную, хотя и не совсем красивую, личность я помню с самого раннего своего младенчества, когда он бывал у нас очень часто совершенно по-родственному. Но вдруг посещения его прекратились! Дело в том, что по какому-то незначительному случаю мой отец и дядя наговорили друг другу колкостей и окончательно разошлись! Первоначально, по рассказам маменьки и тетки, они жили душа в душу. Папенька был домовым врачом семейств Куманиных и Нечаевых, живших уже тогда в верхнем этаже куманинского дома. При одной очень опасной болезни дяди сей последний ни к кому более не обратился за советом, как к отцу, и папеньке удалось поставить его на ноги! Братья Куманины (их было двое, *Константин Алексеевич* и *Валентин Алексеевич,* и оба, кстати сказать, были московскими городскими головами) и все остальные родные покачивали головами по поводу такой доверчивости Александра Алексеевича Куманина к своему свояку-доктору; но зато после того как отцу удалось окончательно излечить очень серьезную болезнь дяди, папенька приобрел большую практику у московского купечества и сделался домовым врачом у обоих Куманиных. И после

подобной приязни — свояки совершенно разошлись! Оба они были слишком горды и честолюбивы, и ни один из них не хотел сделать первого шагу к примирению! Папенька перестал лечить в доме своего свояка Куманина, хотя и ездил по-прежнему *наверх* к Нечаевым, то есть к своему тестю. Так продолжалось до начала 1832 года, то есть до смерти деда Федора Тимофеевича. Он, бывши уже в агонии, увидев у своего одра обоих зятьев, соединил их руки и просил исполнить его предсмертное желание — позабыть взаимные обиды и быть по-прежнему в дружеских отношениях! Зятья обещались исполнить это желание и пожали друг другу руки и поцеловались; тогда дедушка плюнул, велел одной из дочерей растереть ногою этот плевок, сказав: *«Пусть так же разотрется и уничтожится ваша ничтожная вражда, как растерт и уничтожен этот плевок вашего умирающего отца!»* Причем обе жены примирившихся плакали навзрыд. Этот эпизод был мною неоднократно слышан как от маменьки, так и от тетки... Свояки примирились и по официальным дням бывали друг у друга, но прежней дружбы и симпатии в их отношениях уже не существовало! Дядя начал часто бывать у нас, но всегда как-то бывал по утрам, когда отец мой бывал в разъездах по больным (на практике, как мы говорили). Бывало, приедет или придет (чаще приходил пешком) и усядется на диване, и на вопрос маменьки: «Чем угощать вас, братец?» — всегда говаривал: «Велите подать мне сахарной воды, сестрица!» — И вот подавали графин с водою, стакан и сахарницу, и он, положив в стакан три-четыре куска сахару, наливал себе холодной воды, и когда сахар растаивал, то маленькою ложечкою он выпивал весь стакан, которого ему ставало на час или на полтора. Во время своего визита он не переставал разговаривать с маменькою очень дружелюбно и, посидев часа два, уходил от нас до следующего посещения, которые обыкновенно бывали ежемесячно, а иногда и чаще. Об этой светлой и во всех отношениях уважаемой личности я буду упоминать еще не раз в последующих своих воспоминаниях. Теперь же закончу тем, что дядя Александр Алексеевич сделал очень много добра нашему семейству, а по смерти папеньки он приютил нас, пятерых сирот (два старших брата были уже в Петербурге), и сделался так навеки нашим благодетелем, в особенности трех сестер, которым при замужестве их дал большие приданые <...>

6) Дедушка *Василий Михайлович Котельницкий.*

7) Его жена *Надежда Андреевна Котельницкая.*

Первый из них, то есть дедушка Василий Михайлович Котельницкий, был родным дядей моей маменьки, он был доктором и профессором Московского университета по медицинскому факультету, не знаю только, по какой кафедре. Это в начале 30-х годов был уже глубокий старец, очень уважаемый как моим отцом, так, кажется, и всем тогдашним медицинским миром. В день его именин (1-го января) в маленьком деревянном домике его *под Новинским* [17] перебывает, бывало, весь университет, как профессора, так и студенты-медики. Целая корзина визитных карточек и целая тетрадь с расписками были результатами этого дня. Старик в этот день никого не принимал, но зато следующий день бывал занят сортировкою визитных карточек и прочитыванием расписавшихся, которых фамилии он большею частью позабывал, но зато верно помнила его супруга, бабушка Надежда Андреевна, которая вообще, кажется, была главою дома! Замечательно, что, быв доктором, он, по его собственным словам, не написал в свою жизнь ни одного рецепта, по причине своей мнительности и боязни ошибиться! А потому, при самом пустяшном недуге своем или жены своей, он обращался за советом к папеньке, который и лечил как его, так и Надежду Андреевну. Он ежегодно, раз пять в год, бывал с своей супругой у нас. Приезжали они всегда к вечернему чаю и всегда в коляске с лакеем, проводили у нас в разговорах часа два-три и уезжали. Помню, что дедушка всякий раз сажал меня к себе на колени и, оттопырив два пальца правой руки (указательный и мизинец), бодал меня ими, приговаривая: «Идет коза рогатая... забодает Андрюшу, забодает!..» Господи, как боялся я тогда этой козы рогатой!! Только стыд удерживал меня от крика и плача! Мы, впрочем, любили дедушку, и он, как бездетный, тоже любил нас очень.

Родители, отдавая им визит, конечно, ездили к ним одни; только один раз, я помню, что маменька, поехав к ним одна, то есть без папеньки, взяла и меня к ним. Но зато каждую Пасху мы, трое старших братьев, в заранее назначенный дедушкою день обязаны были являться к нему на обед. Родители без боязни отпускали нас, зная, что дедушка хорошо досмотрит за нами, и вот, после раннего обеда, часу во втором дня, дедушка, забрав нас, отправлялся в балаганы. Праздничные балаганы в то время постоянно устраивались *под Новинским,* напротив окон дедушкиного дома. Обойдя все балаганы и показав нам различных паясов, клоунов, силачей и прочих балаганных

Петрушек и комедиантов, дедушка, усталый, возвращался с нами домой, где нас дожидалась уже коляска от родителей, и мы, распростившись с дедушкой, отъезжали домой, полные самых разнообразных впечатлений, и долгое время, подражая комедиантам, представляли по-своему различные комедии.

В половине тридцатых годов дедушка должен был выйти в отставку; но он долгое время не мог покинуть совершенно университет и ежедневно, бывало, хаживал в университетскую библиотеку, чтобы почитать газеты и повидаться с бывшими своими коллегами-профессорами. Конечно, все с удовольствием принимали старика! Оба старика умерли, кажется, один вслед за другим, когда я был уже в Строительном училище. <...>

В заключение сообщу следующее: много лет спустя, уже в шестидесятых годах, когда я служил губернским архитектором в Екатеринославе, я познакомился с доктором Иваном Петровичем Успенским, бывшим слушателем Василия Михайловича; он рассказывал между прочим, что Василий Михайлович читал свои лекции по книжке, причем добавлял, что книжка для него была только, так сказать, гидом, но что в большинстве случаев старик говорил сам от себя много дельного и интересного. Вот как-то студенты, у которых он оставил свою книжку, захотели сошкольничать и переместили сделанную профессором закладку на целую лекцию назад. Приходит Василий Михайлович на первую за тем лекцию, открывает книгу по сделанной заметке и начинает читать!.. Через несколько времени старик останавливается и говорит: — «Да об этом, кажется, я читал вам уже, господа!» — «Нет, господин профессор... Мы первый раз еще слушаем эту интересную лекцию». — «Гм, гм... как, однако же... того, память начинает, того, изменять мне!.. Ведь я, того, думал, что я читал уже вам об этом, а выходит, что я читал это в прошлом году вашим предшественникам!.. Да, того, память начинает изменять мне!» — При этом Успенский сообщил мне, что Василий Михайлович Котельницкий был очень любим и уважаем всеми студентами вообще, потому что он был всегдашним защитником и ходатаем за всех студентов в совете университета.

8) *Григорий Павлович Маслович.* Это был муж двоюродной моей тетки Настасьи Андреевны Маслович, рожденной Тихомировой; он был доктор и служил в Московском военном госпитале, и, по словам маменьки, он

был, так сказать, сватом моего отца. Служа с отцом вместе в Московском военном госпитале и узнав его за доброго и хорошего человека, Григорий Павлович познакомил его с домом моего деда Федора Тимофеевича Нечаева, с которым по жене своей Настасье Андреевне был в родстве. Следовательно, Григорий Павлович был, так сказать, поводом и причиною первого знакомства моего отца и матери. Как нашего гостя я помню Григория Павловича в самом раннем своем младенчестве, и именно в начале тридцатых годов. Помню, что он бывал у нас в своем мундире военного врача (тогда еще без эполет и погонов), помню его по странному, совершенно нерусскому выговору. Кажется, он был из *сербов.* Но затем он перестал бывать у нас, так как был разбит параличом и был прикован к своей постели, с которой не вставал до своей смерти... Впоследствии я увидал его, ходя к ним в дом из пансиона Чермака в учебный 1837/1838 год на праздничные дни. Он был все так же прикован к постели. Умер он в осеннее время 1840 года.

9) *Настасья Андреевна Маслович.* Эту свою двоюродную или лучше сказать троюродную тетку я помню очень хорошо как гостью наших родителей до самой смерти маменьки. Она обыкновенно приходила к нам почти каждое воскресенье к обеду, побывав предварительно в Екатерининском институте, где все три дочери ее преемственно получили образование; в последнее время, более мне памятное, она ходила туда к дочери своей Машеньке (Марье Григорьевне). Это была пожилая уже дама, вечно страдающая зубными болями и флюсами и вечно подвязанная белым платком. Особенного про нее нечего сказать, разве только то, что она постоянно курила трубку, вероятно, как помощь от зубной боли, но впоследствии привыкла к табаку. Курила она, конечно, табак американский (турецкий тогда не был в употреблении) или фабрики Фалера, или фабрики Жукова. Мне очень тогда казалось странным, что дама курит. Она курила всегда из папенькиного чубука, который, то есть папенька, а не чубук, тоже временами, и то изредка, выкуривал по одной трубке после обеда. Еще одну странность помню у тетеньки Настасьи Андреевны. У нее была очень дурная привычка долго оставаться в передней. Бывало, уже наговорится досыта, и последнее время уже молчит, но как только попрощается и наденет в передней салоп, то всегда у нее явится новая интересная тема для разговора и она держит провожающих ее в передней в стоячем

положении по целому часу. Папеньку и маменьку всегда это возмущало; сперва маменька, бывало, садилась на деревянный коник, бывший в передней, а папенька приносил стул; но увлеченная своим говором гостья этого не замечала; тогда папенька просто-напросто, бывало, говаривал: — «Вы бы, сестрица, скинули салоп и пожаловали опять в залу». — «Нет, братец, я спешу и сейчас ухожу». — И действительно, бывало, минут через пять, окончательно простившись, уходит.

У супружества Маслович было три дочери (сыновей не было).

10) Старшая, *Екатерина Григорьевна* <...>

11) Вторая дочь *Анна Григорьевна.* <...>

12) Третья дочь была *Марья Григорьевна* <...>

13) *Василий Андреевич Тихомиров,* двоюродный брат моей маменьки. <...>

14) *Дмитрий Александрович Шер.*

15) *Ольга Федоровна Шер* <...> была единокровная сестра моей матери, рожденная от второй жены нашего деда, Ольги Яковлевны. Она родилась в 1815 или 1816 году и была первым ребенком деда от второго брака. До осени 1832 года я помню ее девицею, проживающею при своих родителях в доме дяди Александра Алексеевича. <...> <Муж ее> был художник и назывался иногда техником, а иногда даже и архитектором. Я очень хорошо помню, как они оба были у нас с первым визитом как новобрачные, так как мне было уже тогда с лишком семь лет. С этих пор они, как новый родственный дом, очень часто стали бывать у нас и равно и мы у них. Дмитрий Александрович имел свою мастерскую, в которой делались иконостасы для церквей. Очень хорошо помню один случай, как он позвал папеньку и маменьку к себе на вечерний чай и на осмотр нового иконостаса, сделанного в его мастерской. <...> Ольга Федоровна Шер была очень похожа как лицом, так и нравственностию на свою маменьку и нашу бабулечку, то есть такая же была хитрая и нравная. Муж же ее Дмитрий Александрович был добряк и с головы до пяток москвич! Про него, в противоположность к супруге, можно было сказать, как говаривала одна московская кумушка-старушка: «Он такой добрый... такой добрый... совершенно *безнравственный».* <...>

16) *Дмитрий Иванович Ставровский* и

17) *Екатерина Федоровна Ставровская.* Екатерина Федоровна, урожденная Нечаева, была вторая единокровная

сестра маменьки от второго брака деда с Ольгою Яковлевною. Она родилась 18-го октября 1823 года, следовательно, была почти на год моложе сестры Вареньки и почти на 1¼ старше меня. Я помню ее девочкой, почти товаркой по летам мне. До самого замужества ее я называл ее просто *Катенькой,* а она меня Андрюшенькой. В детстве она была очень красивенькой девочкой, а когда подросла, сделалась просто красавицей. Не потаю греха, что как в детстве, так и в юности своей я был влюблен в нее без памяти! <...>

<Дмитрий Иванович Ставровский> был доктор-акушер и вообще гинеколог, на вид очень невзрачен и почти уже старичок. Впрочем, он на взгляд был очень тихонький и покладливый господин, но, говорят, как старик, очень ревнив. Вообще замужество Катеньки, кажется, было не из счастливых, и умерла она трагическою смертью 22-го мая 1855 года <...>

18) *Тимофей Иванович Неофитов* и

19) Жена его *Елисавета Егоровна Неофитова,* рожденная Куманина <...> У Ольги Федоровны Нечаевой, впоследствии Шер, была подруга в доме дяди Александра Алексеевича, а именно двоюродная племянница дяди Елисавета Егоровна Куманина. Эта молодая девушка вскоре после свадьбы Шер тоже была выдана (в тогдашнее время девицы замуж не выходили, а были выдаваемы) замуж за Тимофея Ивановича Неофитова. Это супружество вовсе уже не состояло с нами в родстве, но я упоминаю о нем, как о наших знакомых и родственниках наших родных.

Тимофей Иванович, по самой своей фамилии, несомненно происходил из духовного звания, что и было ясно отпечатано на всей его физиономии, и во всех его действиях живо проглядывало и высказывалось, что, дескать, я — семинарист!.. Это был человек довольно массивный, всегда гладко причесанный, с хохолком, и большой франт. Помню, что почти всегда он приезжал к нам во фраке светло-коричневого или кофейного цвета с металлическими золочеными пуговицами. Подобные фраки тогда только входили в моду, и я только не мог решить вопроса, какой фрак красивее и моднее: светло-коричневый ли Неофитова или светло-синий (почти голубой) тоже с золочеными пуговицами, в котором приезжал к нам иногда Шер. Тут кстати замечу, что папенька никогда не носил подобных фраков, и это происходило не от скупости или нежелания следовать моде, но от особого

пуританизма, существовавшего тогда в одежде доктора. По тогдашнему мнению, доктор не мог делать визиты к больным ни в каком другом костюме, как только в черном фраке, белом жилете и белом галстуке. Допускался также мундирный (тоже черный) фрак, но тоже с белым жилетом и галстуком. До начала тридцатых годов я едва-едва, но помню, что еще существовали черные шелковые чулки при коротких брюках с пряжками у колен, с лакированными башмаками; но с начала 30-х годов чулки и башмаки заменились просто сапогами. Хотя папенька в молодых годах и не прочь был пофрантить, но я не помню у него никакого другого костюма, кроме черного или мундирного (тоже черного) фрака с белым жилетом и галстуком, причем всегда с орденом. Когда же отец, вышедши в отставку, надел черный сюртук, то его не узнавали.

Заканчивая галерею лиц, родственных и знакомых в доме родителей, я не могу не упомянуть о некоторых, которых я знал очень мало или которых вовсе не знал, но только слышал о них, а именно: а) *Попов* — был в каком-то свойстве с нашею маменькою. Это был художник, и его карандашу принадлежат портреты родителей, писанные им в сентябре 1823 года пастелью. Портреты эти всегда висели в доме родителей в гостиной, в золоченых рамах. После смерти родителей портреты эти перешли во владение сестры Варвары Михайловны Карепиной и у нее во время пожара, бывшего в ее квартире в восьмидесятых годах, сгорели. Но, к счастью, я озаботился еще ранее, а именно 21-го июля 1866 года, бывши в Москве, снятием с портретов этих фотографических копий [18]. Так что ныне (1895 г.) копии эти есть единственные портреты моих родителей, и я очень их берегу. б) Помню какую-то *Евлампию Николаевну,* которая, кажется, была в родстве с Поповым и была вхожа в наш дом; в) помню каких-то *Фоминых,* которых я видел, но про которых ничего не знаю, в каких отношениях они были к родителям, и, наконец, помню некую *Ольгу Дмитриевну Умнову,* которая с сыном своим *Ваничкой (Иван Гаврилович)* часто хаживала к нам.

Моя детская жизнь и обстановка. Теперь приступлю к описанию своего детства.

С самого младенчества, как я начинаю вспоминать свою детскую жизнь, мне всегда рисуются следующие

члены семейства: отец, мать, старший брат Миша, брат Федя, сестра Варя и я. Мною кончается, так сказать, первая, старшая серия нас, детей. Хотя за мною и следовали еще сестра Верочка, брат Николя и сестра Саша, но они были еще так малы, что не могли принимать участие ни в наших занятиях, ни в наших играх и росли как бы отдельною от нас детскою жизнию. Мы же четверо постоянно тогда были вместе, и наши интересы, наши занятия и наши игры имели много общего. Я начал хорошо себя помнить, когда мне было три с половиной года. (Смерть сестры Любы в июле 1829 года я помню уже очень ясно.) Тогда брату Мише было восемь лет, брату Феде семь лет и сестре Варе 5¾ лет

Сестра, как единственная в то время из детей девочка, постоянно почти была с маменькой и сидела в гостиной, занимаясь или уроками, или каким-либо детским рукоделием. Мы же, мальчики, не имея отдельных комнат, постоянно находились в зале, все вместе. Упоминаю это для того, чтобы показать, что вся детская жизнь двух старших братьев, до поступления их в пансион Чермака, была на моих глазах. Все их занятия и все их разговоры были при мне; они не стеснялись моим присутствием и разве только в редких случаях отгоняли меня от себя, называя меня *своим хвостиком.* Оба старшие брата были погодки, росли вместе и были чрезвычайно дружны между собою. Дружба эта сохранилась и впоследствии, до конца жизни старшего брата. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно различных характеров. Старший брат Михаил был и в детстве менее резв, менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Федор, который был во всех проявлениях своих настоящий огонь, как выражались наши родители.

Рождение сестры Верочки. Кормилицы и их сказки. Выше я упомянул, что хорошо помню рождение сестры Верочки, но оговорюсь, собственно обстоятельств рождения ее я не помню, но помню смерть сестры Любочки, близнятки сестры Верочки, умершей через несколько дней после рождения, а также и то, как Верочку кормила грудью кормилица. Эту кормилицу, *Дарью,* как теперь вижу. Она была высокая, дородная, еще молодая женщина и, ежели можно так выразиться, была очень обильна на молоко. Бывало, как я и сестра Варенька придем смотреть, как питается грудью наша

новорожденная сестренка, то кормилица Дарья вынет свои две массивные груди и начнет, как из брандспойтов, обливать нас своим молоком, и мы мгновенно разбежимся в разные стороны. Эта кормилица Дарья постоянно, бывало, говорила, что ее муж *унтер* пошел с своим полком в Анапу *. Оттуда она во время пребывания у нас и получила два письма от мужа. Это, конечно, было первое географическое название, которое я усвоил себе в свой трех с половиной годовалый возраст. Упомянув о кормилице Дарье, я невольно вспоминаю и двух других кормилиц: Варину, которую звали *Катериной,* и свою кормилицу — *Лукерью.* Конечно, этих двух личностей я помню не тогда, когда они жили у нас, но в более позднейшее время, когда уже они приходили к нам в гости. Эти две бывшие кормилицы ежегодно (по преимуществу зимою) приходили к нам в гости раза по два. Приход их для нас, детей, был настоящим праздником. Они приходили из ближайших деревень, всегда на довольно долгое время и гащивали у нас дня по два, по три. Как теперь, рисуется в моих воспоминаниях следующая картина: одним зимним утром является к маменьке в гостиную няня Алена Фроловна и докладывает: «Кормилица Лукерья пришла». Мы, мальчики, из залы вбегаем в гостиную и бьем в ладоши от радости. «Зови е е », — говорит маменька. И вот является лапотница Лукерья. Первым делом помолится иконам и поздоровается с маменькой; потом перецелует всех нас; мы же буквально повиснем у нее на шее; потом обделит нас всех деревенскими гостинцами в виде лепешек, испеченных на пахтанье; но вслед за тем удаляется опять в кухню: детям некогда, они должны утром учиться. Но вот настают сумерки, приходит вечер. Маменька занимается в гостиной, папенька тоже в гостиной занят впискою рецептов в скорбные листы (по больнице), которые ежедневно приносились ему массами, а мы, дети, ожидаем уже в темной (неосвещенной) зале прихода кормилицы. Она является, усаживаемся все в темноте на стулья, и тут-то начинается рассказыванье сказок. Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шепотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского пера. И каких только сказок мы не слы-

---

* И действительно, в 1828 году наши войска заняли крепость *Анапу.* (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

хивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про *Жар-птицу,* и про *Алешу Поповича,* и про *Синюю бороду,* и премногие другие. Помню только, что некоторые сказки казались для нас очень страшными. К рассказчицам этим мы относились и критически, замечая, например, что Варина кормилица хотя и больше знает сказок, но рассказывает их хуже, чем Андрюшина, или что-то подобное.

Кстати о сказках. В наше время, то есть во время нашего детства, были очень распространены так называемые лубочные издания сказок про *Бову Королевича, Еруслана Лазаревича* и т. п. Это были тетрадки в четвертушку, на серой бумаге, напечатанные лубочным способом или славянскими, или русскими буквами, с лубочными картинками вверху каждой страницы. Таковые тетрадки и у нас в доме не переводились. Теперь же подобных изданий что-то не видать в продаже даже и на сельских ярмарках. Правда, теперь есть изящное издание *былин,* но это уже книга не детская, а ежели и детская, то для детей более зрелого возраста;[19] а малюток эта книга не привлечет к себе даже одним своим видом — форматом. Упомянув об этих лубочных сказках, я вспоминаю теперь, когда пишу эти строки (1895), сообщенное мне по поводу их братом Федором Михайловичем уже в позднейшее время, а именно в конце сороковых годов, когда он занимался уже литературою, следующее: один из тогдашних писателей (кажется, покойный Полевой) намеревался сделать подделку под язык и сочинить несколько новых подобных сказок и выпустить их в свет таким же лубочным изданием. По тогдашнему мнению брата Федора Михайловича, спекуляция эта могла бы, при осуществлении, принести большую денежную выгоду предпринимателю. Но, вероятно, затея эта и осталась только затеею.

Наш день и времяпровождение. День проходил в нашем семействе по раз заведенному порядку, один как другой, очень однообразно. Вставали утром рано, часов в шесть. В восьмом часу отец выходил уже в больницу, или в Палату, как у нас говорилось. В это время шла уборка комнат, топка печей по зимам и проч. В девять часов утра отец, возвратившись из больницы, ехал сейчас же в объезд своих довольно многочисленных городских пациентов, или, как у нас говорилось, *на практику.* В его отсутствие мы, дети, занимались уроками. В более же

позднее время два старшие брата бывали в пансионе. Возвращался отец часов около двенадцати, а в первом часу дня мы постоянно обедывали. Исключения были только в дни масленицы, когда в десятом часу утра накрывали стол и к приходу отца из Палаты подавались блины, после которых отец ехал уже на практику. В эти дни обед бывал часу в четвертом дня и состоял только из рыбного. Блины на масленице елись ежедневно, не так как теперь, ибо считались какою-то непременной принадлежностию масленицы. Сейчас же после обеда папенька уходил в гостиную, двери из залы затворялись, и он ложился на диван, в халате, заснуть после обеда. Этот отдых его продолжался часа полтора-два, и в это время в зале, где сидело все семейство, была тишина невозмутимая, говорили мало и то шепотом, чтобы не разбудить папеньку; и это, с одной стороны, было самое скучное время дня, но с другой стороны, оно было и приятно, так как все семейство, кроме папеньки, было в одной комнате, в зале. В дни же летние, когда свирепствовали мухи, мое положение в часы отдыха папеньки было еще худшее!.. Я должен был липовою веткою, ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя на кресле возле дивана, где спал он. Эти полтора-два часа были мучительны для меня! Так как я, уединяясь от всех, должен был проводить их в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте! К тому же, Боже сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего!.. А из залы слышишь шепотливые разговоры, сдерживаемые смехи!.. Как, казалось, было там весело! Но, наконец, папенька вставал, и я покидал свое уединение!..

В четыре часа дня пили вечерний чай, после которого отец вторично шел в Палату к больным. Вечера проводились в гостиной, освещенной двумя сальными свечами. Стеариновых свечей тогда еще не было и в помине; восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их, а у кого они и были, то освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и других горных масл тогда не было еще и в помине. Ежели папенька не был занят скорбными листами, то по вечерам читали вслух; о чтениях этих помяну подробнее ниже. В праздничные же дни, в особенности в Святки, в той же гостиной, иногда игрывали при участии родителей в карты, в короли. И это было такое удовольствие, такой празд-

ник, что помнилось об этом долго! Упомяну здесь кстати, что в Пасху практиковалась особая игра — катание яиц. В зале раскладывались ковры, или, попросту, ватные одеяла, и по ним с особых лубков катались яйца. Иногда к нам, детям, присоединялись и взрослые, посторонние, так что играющих было человек до десяти, следовательно, на кону яиц гораздо более. В девятом часу вечера, не раньше не позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. Посторонние, или так называемые гости, у нас появлялись очень редко, в особенности по вечерам. Все знакомство родителей ограничивалось большею частию утренними визитами. Впрочем, в более позднее время, когда я оставался с родителями один (братья и сестра были уже в пансионах), по вечерам очень хаживал Федор Антонович Маркус, об чем я уже упоминал выше. Я постоянно при этом торчал в гостиной и слушал разговоры их. Когда же изредка случалось, что и родители выедут из дому вечером в гости, то наши детские игры делались более шумными и разнообразными. Это случалось вовсе не оттого, что мы, дети, стеснялись в своих играх присутствием родителей, но оттого, что прислуга наша, конечно, стеснялась ими. С отъездом же родителей начиналось пение песен, затем начинались хороводы, игры в жмурки, в горелки и тому подобные увеселения, каковым способствовала наша большая зала и каковых при родителях не бывало. Но, впрочем, отсутствие родителей никогда не бывало продолжительным; в девять-десять часов вечера они непременно уже возвращались. Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которою, конечно, были более откровенны, о вчерашних играх во время их отсутствия; и я помню, что маменька всегда, бывало, говаривала, уезжая: «Уж ты, Алена Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились!»

Дни семейных праздников, в особенности дни именин отца, всегда были для нас очень знаменательными. Начать с того, что старшие братья, а впоследствии и сестра Варенька, обязательно должны были приготовить утреннее приветствие имениннику. Приветствие это было всегда на французском языке, тщательно переписанное на почтовой бумаге, свернутое в трубочку, подавалось отцу и говорилось наизусть. Помню даже, что один раз было

что-то сказано из «Генриады» [20] (единый Бог знает, для какой причины). Отец умилялся и горячо целовал приветствующих. В этот день бывало всегда много гостей, преимущественно на обед; впоследствии же, когда мы, дети, подросли, то помню, что раза два устраивались и вечерние приемы гостей на танцы. Но сколько запомню, ни один из нас, мальчиков, не танцевал охотно, а был выдвигаем, как на какую-то необходимую и тяжелую работу.

Летние прогулки и прочие увеселения. В летнюю пору в домашнем препровождении времени появлялись некоторые разнообразия, а именно — совершались семейные вечерние прогулки. Дом Московской Марьинской больницы находился на Божедомке, между зданиями двух женских институтов: Екатерининского и Александровского, и в недальнем расстоянии от Марьиной рощи. Эта роща была всегдашнею целию наших летних прогулок. Часу в седьмом вечера, когда палящая жара уже спадет, мы все, дети с родителями, и по большей части с другими обитателями Марьинской больницы (преимущественно Щировскими), отправлялись на эту прогулку. Проходя мимо часового, стоявшего неизвестно для каких причин при ружье и в полной солдатской форме у ворот Александровского института, принято было за непременную обязанность подавать этому часовому грош или копейку. Но подача эта делалась не в руку, а просто бросалась под ноги. Часовой находил удобный случай нагнуться и поднять копейку. Это вообще было в обычае у москвичей того времени. Прогулки происходили весьма чинно, и дети, даже за городом, в Марьиной роще, не позволяли себе поразвлечься, побегать. Это считалось неприличным и допускалось только в домашнем саду. В прогулках этих отец всегда разговаривал с нами, детьми, о предметах, могущих развить нас. Так, помню неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случалось почти на каждом шагу.

К числу летних разнообразий нужно отнести также ежегодные посещения Троицкой лавры[21]. Но это должно быть отнесено к самому раннему нашему детству, так как с покупкой родителями в 1831 году своего имения поездки к Троице прекратились. Я помню только одно такое

путешествие к Троице, в котором участвовал и я. Эти путешествия были, конечно, для нас важными происшествиями и, так сказать, эпохами в жизни. Ездили обыкновенно на долгих и останавливались по целым часам почти на тех же местах, где ныне поезда железной дороги останавливаются на две-три минуты. У Троицы проводили дня два, посещали все церковные службы и, накупив игрушек, тем же порядком возвращались домой, употребив на все путешествие дней пять-шесть. Отец по служебным занятиям в этих путешествиях не участвовал, а мы ездили только с маменькой и с кем-нибудь из знакомых.

В театрах родители наши бывали очень и очень редко, и я помню всего один или два раза, когда на масленицу или большие праздники, преимущественно на дневные спектакли (а не вечерние), бралась ложа в театре, и мы, четверо старших детей с родителями, ездили в театр; но при этом пьесы выбирались с большим разбором. Помню, что один раз мы видели пьесу «Жако, или Бразильская обезьяна». Не совсем помню сюжет этой пьесы, но в памяти моей сохранилось только то, что артист, игравший обезьяну, был отлично костюмирован (настоящая обезьяна) и был замечательным эквилибристом. Но ежели мы редко бывали в театрах, то зато в балаганах московских (у так называемых Петрушек) бывали по праздникам и на масленицу с дедушкой Василием Михайловичем Котельницким, о чем я уже упоминал, говоря об этой личности.

Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности маменька. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной. Исполнять это нам было весьма удобно, так как при больнице была очень большая и хорошенькая церковь.

При больнице находился большой и красивый сад, с многочисленными липовыми аллеями и отлично содержимыми широкими дорожками. Этот-то сад и был почти нашим жилищем в летнее время. Там мы или чинно прогуливались с нянею, или, усевшись на скамейках, проводили целые часы, делая различные *кушанья* из песку, смоченного водою. Играть же позволялось только в лошадки. Игры же в мяч, и в особенности при помощи палок, как, например, в лапту, — строго воспрещались как игры «опасные и неприличные». В больнице, кроме нас, было много жильцов, то есть

докторов и прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не было, кроме Петеньки Рихтер, которого в больничный сад гулять не пускали. А потому мы поневоле должны были довольствоваться только играми между собою, которые и были очень однообразны. Раз нам удалось видеть на каком-то гулянье *бегуна,* который за деньги показывал свое искусство бегать; причем, бегая, он во рту держал конец платка, напитанного каким-то спиртным веществом. И вот, подражая ему, мы все начали бегать по аллеям сада, держа во рту тоже концы своих носовых платков. И это долгое время служило нам как бы игрою.

В саду этом также прогуливались и больные или в суконных верблюжьего цвета халатах, или в тиковых летних, смотря по погоде, но всегда в белых, как снег, колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или туфлях без задников, так что они должны были шмыгать, а не шагать. Но, впрочем, присутствие больных нисколько не стесняло наших прогулок, так как больные вели себя очень чинно. Нам же, равно как и няне, строго было запрещено приближаться к ним и вступать с ними в какие-либо разговоры.

Покупка деревни, рождение брата Николи, смерть деда. Первая поездка в деревню и наши игры там. Пожар в деревне. Родители мои давно уже приискивали для покупки подходящего именьица не в дальнем расстоянии от Москвы. С 1830 же года желание это усугубилось, и я очень хорошо помню, как к нам являлись различные факторы, или, как они назывались тогда в Москве, сводчики, которые помогали продавцам и покупателям входить в сношения. Много различных предложений делали эти сводчики, наконец одно из них, сделанное в летнее время 1831 года, обратило внимание папеньки. Продавалось имение Ивана Петровича Хотяинцева в Тульской губернии Каширского уезда, в ста пятидесяти верстах от Москвы. Как по цене, так и по хозяйственному инвентарю именьице это обратило внимание отца, и он решился поехать сам на место для личного осмотра этого именьица. И вот, как теперь помню, после нашего обеда, часу в четвертом дня, к нашей квартире подъехала крытая циновкой повозка, или кибитка, запряженная тройкою лошадей с бубенчиками. Папенька, простившись с маменькою и перецеловав всех нас, сел в эту кибитку

и уехал из дому чуть не на неделю. Это было, кажется, первое расставание на несколько дней моих родителей. Но не прошло и двух часов, когда еще мы сидели за чайным столом и продолжали пить чай, как увидели подъезжающую кибитку с бубенчиками и в ней сидящего отца. Папенька мгновенно выскочил из кибитки и вошел в квартиру, а с маменькой сделалось что-то вроде обморока; она сильно испугалась внезапному и нежданному возвращению отца. К тому же тогда она была беременна братом Николею. Отец кое-как успокоил маменьку. Оказалось, что он позабыл дома свой вид, или подорожную, и что, подъехав к Рогожской заставе, не был пропущен через нее за неимением вида. Не правда ли, что в настоящее время это пахнет чем-то диким!.. А *64* года тому назад никого не пропускали без вида через заставы, разве только городские экипажи, следующие на загородные прогулки. Взяв с собою документы и успокоив маменьку, отец опять уехал, и на этот раз не возвращался домой дней пять-шесть. Эпизод этот, то есть внезапное возвращение отца, часто вспоминался в нашем доме в том смысле, что это худой признак и что покупаемая деревня счастия нам не принесет... Ежели сопоставить последующие обстоятельства, то, пожалуй, примета эта в сем данном случае и окажется справедливою, как увидим впоследствии.

Осмотр отцом именьица был поводом к тому, что родители наши приобрели покупкою это именьице в то же лето и сделались помещиками. Покупка имения ознаменовалась тем, как помню, что родители поехали к Иверской Божией матери и отслужили благодарственный молебен.

В декабре месяце в 1831 году, то есть 13-го декабря, родился брат Николенька. Помню, что нас, детей, на ночь удалили подальше от спальни и расположили на ночлег в зале на перинах, постланных на полу. Сказав *нас,* я подразумевал себя и сестру Варю. Старшие же братья оставались на своем месте, в детской около передней. Часов в шесть утра папенька прислал разбудить нас и, поцеловав меня, сказал, что у меня есть еще маленький братец Николенька. В это утро папенька сам напоил нас и чаем. И к моему удивлению, маменька не наливала нам чаю, но даже отсутствовала. Часов в девять утра нас повели поздороваться с маменькой. Ее мы застали в спальне лежащею на кровати; она поцеловала всех нас и позволила поцеловать и маленького братца Николеньку.

Как в этот, так и в последующие дни меня очень удивляло то, что маменька все лежит в кровати и не встает, чтобы посидеть с нами в зале. Но наконец маменька встала, и все опять пошло своим чередом.

Не успела маменька хорошенько оправиться от родов, как ее постигло горе. Дед наш Федор Тимофеевич Нечаев, после долгой болезни, умер в начале 1832 года. Маменька облеклась в глубокий траур, и это опять слишком занимало мой детский ум. После похорон, на которых присутствовали и мы, дети, в нашем семействе начали приготовляться к чему-то важному, вскоре предстоящему! Дело в том, что между родителями решено было, что всякое лето с ранней весны маменька будет ездить в деревню и там лично хозяйничать, так как папеньке нельзя было оставлять свою службу. С этою целию решено было, что вскоре после Пасхи (тогда она была довольно поздняя, 10 апреля) за маменькой приедут свои деревенские лошади, запряженные в большую кибитку (нарочно для сих путешествий купленную). Решено было: 1) что с маменькой поедут трое старших сыновей, то есть Миша, Федя и я; 2) что сестра Варенька на это время, то есть все лето, прогостит у тетушки Александры Федоровны; и 3) что сестра Верочка и новорожденный Николенька останутся в Москве с папенькой, няней Фроловной и кормилицей. Николину кормилицу, кстати сказать, я вовсе почти не помню, она была какая-то бесцветная личность и не оставила во мне никакого воспоминания.

Но вот наконец настал и желанный день; кибитка с тройкою хороших пегих лошадей приехала в Москву с крестьянином Семеном Широким, считавшимся опытным наездником и любителем и знатоком лошадей. Кибитку подвезли к крыльцу и уложили в нее всю поклажу. Оказалось, что это был целый дом — так она была вместительна. Куплена она была у купцов, ездивших на ней к Макарью [22].

Вот все готово! Приходит отец Иоанн Баршев и служит напутственный молебен; затем настает прощание, мы все усаживаемся в кибитку, кроме маменьки, которая едет с папенькой, провожавшим нас в коляске. Но вот и Рогожская застава! Папенька окончательно прощается с нами, маменька, в слезах, усаживается в кибитку, Семен Широкий отвязывает укрепленный к дуге колокольчик, и мы трогаемся, долго махая платками оставшемуся в Москве папеньке. Колокольчик звенит, бубенчики позвякивают, и мы по легкой дороге, тогда, конечно, еще не

шоссированной, едем, любуясь деревенскою обстановкою. Не одно это первое путешествие в деревню, но и все последующие туда поездки приводили меня всегда в какое-то восторженное состояние! Впоследствии, много лет спустя, когда я первый раз читал поэму великого Гоголя «Мертвые души», VI-я глава поэмы, начинающаяся словами: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства...» и т. д., всегда заставляла меня вспоминать свои первые путешествия в деревню, и всегда мне казалось, что я думал и испытывал то же самое, что описано на первых двух страницах этой главы!..

О впечатлениях своих во время неоднократных детских поездок из Москвы в деревню и обратно я этим и закончу.

Теперь, прежде чем мы водворимся в деревню, я сообщу кое-что, что знаю и помню об этом хорошеньком местечке, очень памятном мне по летним в нем пребываниям в течение *шести* лет, а именно в *1832, 1833, 1834, 1835, 1836* и *1838* годах.

Название деревеньки, которую приобрели наши родители, было *сельцо Даровое,* куплено оно было, как выше упомянуто, у помещика Ивана Петровича Хотяинцева. Это *сельцо Даровое* составляло одну малую частичку целого гнезда селений, принадлежащих родоначальнику, — вероятно, весьма богатому человеку, — Хотяинцевых. Так, в двух верстах в одну сторону от с. Дарового находилось село *Моногарово,* принадлежащее, кажется, старшему в роде Хотяинцевых, отставному майору Павлу Петровичу Хотяинцеву; а в полутора верстах в другую сторону от с. Дарового находилась *деревня Черемошня,* принадлежащая NN Хотяинцеву [23]. Эта последняя деревня Черемошня продавалась, об чем не знали наши родители, покупая сельцо Даровое.

К несчастию, случилось так, что вскоре по водворении нашем в деревне маменька принуждена была начать судебный иск об выселении из нашего сельца двух-трех крестьянских дворов, принадлежащих селу Моногарову, то есть Павлу Петровичу Хотяинцеву. Конечно, судебный иск со стороны маменьки возымел только тогда место, когда все личные словесные заявления маменьки были отвергнуты Хотяинцевым. Иск маменьки взбесил окончательно Хотяинцева, и он начал похваляться, что купит имение двоюродного брата, деревню Черемошню, и тогда будет держать в тисках Достоевских. Эти похвальбы,

конечно, дошли до сведения моих родителей и очень встревожили их, потому что действительно угроза Хотяинцева могла осуществиться, так как все земли соседних имений не были размежеваны, а все были так называемые *чересполосные.* Покамест П. П. Хотяинцев собирался, папенька успел достать нужную сумму денег, заложив Даровое и прихватив у частных лиц, и ему удалось купить деревню Черемошню не далее как в этот же год, или в 1832 году. Не знаю, сколько заплачено было за деревню Черемошню, но знаю по документам, что обе деревни, то есть сельцо Даровое и деревня Черемошня, стоили родителям сорока двух тысяч рублей ассигнациями, или двенадцати тысяч серебром. В обоих этих имениях числились *сто* душ крестьян (по 8-й ревизии, бывшей в 1833 году) и свыше *пятисот* десятин земли. Таким образом, угрозы П. П. Хотяинцева потеряли свою силу, и он сделался хорошим соседом нашим, не уведя, впрочем, принадлежащих ему крестьянских дворов из нашего имения вплоть до пожара, случившегося в 1833 году.

Это путешествие наше, равно как и все последующие, длилось каждый раз двое суток с лишком. Каждые тридцать — тридцать пять верст останавливались на отдых и кормежку лошадей, а проехавши две станции, останавливались на ночлег. Вспоминаю станции: Люберцы, Чулково, Бронницы, Ульянино, Коломна, Злобино и Зарайск. От Зарайска наше имение находилось только в десяти верстах. Впрочем, Семен Широкий останавливался на кормежку лошадей не во всех поименованных станциях, а строго наблюдал, чтобы всякий переезд был не менее тридцати или тридцати пяти верст. Проехав Коломну, мы переезжали реку Оку на пароме; в разлив она бывала довольно широка. Переправы этой мы всегда боялись и пригоняли так, чтобы совершать ее в утреннее время, а никак не вечером. Но вот, наконец, на третий день мы приближались к нашей деревне. За Зарайском мы едва-едва сидели на местах, беспрестанно выглядывая из кибитки и спрашивая у Семена Широкова, скоро ли приедем. Наконец мы своротили с большой дороги и поехали по проселку и через несколько минут были в своем Даровом.

Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой: Роща эта

через небольшое поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностию, изрытою оврагами. Лесок этот назывался *Брыково* *. С другой стороны помянутого поля был расположен большой фруктовый сад десятинах на пяти. Вход в этот сад был тоже из липовой рощи. Сад был кругом огорожен глубоким рвом, по насыпям которого густо были рассажены кусты крыжовника. Задняя часть этого сада примыкала тоже к березовому лесочку Брыково. Эти три местности: липовая роща, сад и Брыково были самыми ближайшими местами к нашему домику, а потому и составляли место нашего постоянного пребывания и гулянья. Около помянутого выше нашего домика, который был крыт соломою, были расположены два кургана, или две небольшие насыпи, на которых росло по четыре столетних липы, так что курганы эти, защищенные каждый четырьмя вековыми липами, были лучше всяких беседок и служили нам во все лето столовыми, где мы постоянно обедали и пили утренний и вечерний чай. Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединою рощею. Впрочем, маменька неохотно дозволяла нам гулять в этом леску, так как ходили слухи, что в тамошних оврагах попадаются змеи и забегают часто волки. В заду фруктового сада и лесочка Брыково находилась громадная ложбина, простирающаяся вдоль на несколько верст. Эта ложбина представляла собою как будто ложе бывшей когда-то здесь реки. В ложбине этой находились и ключи. Это обстоятельство подало повод вырыть в этой ложбине пруд, которого в деревне не имелось. В первое же лето маменька распорядилась вырытием довольно большого пруда и запрудить его близь проезжей усадебной улицы. В конце же лета образовался пруд довольно глубокий, с очень хорошею водою. Крестьяне были очень довольны этим, потому что прежний затруднительный водопой скота очень этим упростился. В ту же осень папенька прислал из Москвы бочонок с живыми маленькими карасиками, и карасики эти были пущены в новый пруд. Чтобы не было преждевременной ловли и истребления вновь насаженных карасей в пруде,

---

* Название это не раз встречается в многочисленных произведениях брата Федора Михайловича. Так, например, в «Бесах» местность поединка *Ставрогина* и *Гаганова* названа именем *Брыково.* (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

староста Савин Макаров посоветовал маменьке заказать пруд. Это значило обойти пруд крестным ходом с духовенством, хоругвями и образами, что и было исполнено. В последующие годы в пруде этом была устроена купальня, и мы летом ежедневно по три, по четыре раза купывались. Одним словом, летние пребывания наши в деревне были очень гигиеничны для нас, детей; мы, как дети природы, жили все время на воздухе и в воде. На этом же пруду в последующие годы мы часто лавливали удочкою рыбу, но все же попадались небольшие *карасики* и *гольцы;* откуда взялись последние — решительно недоумеваю! Но года через два от большого паводка немного прорвало и повредило плотину нашего пруда, и мы увидели, что в воде, переброшенной через плотину, было много золотистых карасей громадного размера. Это подало повод маменьке распорядиться закидыванием невода (который был уже давно изготовлен). И можно себе представить нашу радость, когда в неводе вытащили громадную массу карасей, и всё золотистых. Маменька велела отобрать несколько рыб для себя. Сотню или более велела распределить между крестьянами, а остальную велела пустить опять в пруд. С этого времени мы начали усердно заниматься ловлею на удочки. Рыбы попадались иногда очень большие, и это занятие было тоже одно из любимых нами. Но при этом ловля на удочку производилась всегда с раннего утра, так часу в пятом и не позже пяти; у всякого из нас было для этого занятия по своему адъютанту, то есть крестьянскому мальчику, который должен был нарыть в земле червячков и насаживать их на удочный крючок... Одним словом, барство было *препротивное!*

В липовой роще, с перебегами через поле в Брыково, происходили все наши детские игры. Из них опишу некоторые. Брат Федя, тогда уже много читавший, вероятно, ознакомился с описанием жизни дикарей. *Игра в диких* и была любимою нашею игрою. Она состояла в том, что, выбравши в липовой роще место более густое, мы строили там шалаш, укрывали хворостом и листьями и делали вход в него незаметным. Шалаш этот делался главным местопребыванием *диких племен;* раздевались донага и расписывали себе тело красками на манер татуировки; делали себе поясные и головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, производили воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы

нарочно помещенные там крестьянские мальчики и девочки. Их забирали в плен и держали, до приличного выкупа, в шалаше. Конечно, брат Федор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племени. Брат Миша редко участвовал непосредственно в этой игре, она была не в его характере; но он, как начинавший в то время рисовать и имевший в то время краски, был нашим костюмером и размалевывал нас. Особый интерес в этой игре был тот, чтобы за нами, дикими, не было присмотра старших и чтобы, таким образом, совершенно уединиться от всего обычного — не дикого. Раз, помню, что в отличную сухую погоду маменька, желая продлить нашу игру и наше удовольствие, решилась не звать нас к обеду и велела отнести дикарям обед на воздух в особой посуде и поставить его где-нибудь под кустом. Это доставило нам большое удовольствие, и мы поели без помощи вилок и ножей, а просто руками, как приличествовало диким. Но по пословице: «Ежели мед — так и ложкой», когда мы преднамеривались было провести и ночь в диком состоянии, то этого нам не дозволили и, обмывши нас, уложили спать по обыкновению.

Другая игра, тоже выдуманная братом Федею, была игра в Робинзона. В эту игру мы играли с братом вдвоем; и, конечно, брат Федя был Робинзоном, а мне приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести в нашей липовой роще все те лишения, которые испытывал Робинзон на необитаемом острове.

Практиковалась также и простая игра в лошадки; но мы умудрялись делать ее более интересною. У каждого из нас была своя тройка лошадей, состоящая из крестьянских мальчиков и при нужде и из девочек, которые, как кобылки, были допускаемы к упряжи впристяжку. Эти тройки были всегдашнею нашею заботою, состоящею в том, чтобы получше и посытнее накормить их. А потому всякий день, обедая, мы оставляли большую часть порции различных блюд каждый для своей тройки и после обеда отправлялись в свои конюшни под какимнибудь кустом и выкармливали приносимое. Езда на этих тройках происходила уже не в липовой роще, но по дороге из нашей деревни в деревню Черемошню, и часто бывали устраиваемы *пари* с каким-нибудь призом для обогнавшей тройки. При этом мы, наглядевшись в городе Зарайске, куда часто ездили на ярмарки и большие базары, как барышники продавали своих лошадей, устраивали и у себя продажу и мену их со всеми приемами

барышников, то есть смотрели воображаемым лошадям в зубы, поднимали ноги и рассматривали воображаемые копыта, и т. д. и т. д.

Вспоминаю еще игру, а скорее непростительную шалость. За липовой рощей было кладбище, и вблизи него стояла ветхая деревянная часовня, в которой на полках помещались иконы. Дверь в эту часовню никогда не запиралась. Гуляя однажды в сопровождении горничной девушки Веры (о которой я уже упоминал выше), которая была очень веселая и разбитная личность, мы зашли в эту часовню и, долго не думая, подняли образа и с пением различных церковных стихов и песней, под предводительством Веры, начали обход по полю. Эта непростительная проделка удалась нам раза два-три, но кто-то сообщил об этом маменьке, и нам досталось за это порядком.

Маменька каждую неделю два раза посылала в Зарайск как за письмами (из Москвы от папеньки), так и за покупками. Часто Вера вызывалась на исполнение этой порученности. Все лошади постоянно бывали заняты на полевых работах, а потому посыльные в Зарайск делали это путешествие пешком, конечно, не было исключения и для горничной Веры. Часто с Верой хаживал в Зарайск пешком и я. С ходьбою в городе этот променад составлял 23—24 версты; и я, бывало, *пробегал* это пространство очень мало уставая. На середине дороги, в небольшом лесочке, мы отдыхали и кое-что закусывали. Выходили, бывало, из дому часов в пять утра, а часам к двум-трем дня были уже дома. Раз как-то, отдыхая под кустиком в сказанном лесочке, мы заметили очень маленький грибок и обозначили его кругом воткнутыми в землю палочками. Возвращаясь назад и отдыхая на том же месте, мы увидели свой грибок уже очень солидных размеров и распирающим те палочки, которыми был огорожен. Тут я воочию убедился в том, что грибы растут очень скоро.

В деревне, как и сказано выше, мы постоянно были на воздухе и, кроме игр, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне, в особенности женщины, очень всех нас любили и, не стесняясь нисколько, вступали с нами в разговоры. Мы, с своей стороны, старались тоже угодить им всевозможными средствами. Так, однажды брат Федя, увидев, что одна крестьянка пролила запасную воду, вследствие чего ей нечем было напоить ребенка, немедленно побежал версты за две домой и принес воды, чем заслужил большую благодарность бедной матери.

Да, крестьяне нас любили! Сцена, с таким талантом описанная впоследствии братом Федором Михайловичем в «Дневнике писателя» с крестьянином Мареем, достаточно рисует эту любовь! [24] Кстати о Марее (вероятно, Марке); это лицо не вымышленное, а действительно существовавшее. Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в которую пробивалась уже седина. Он считался в деревне большим знатоком рогатого скота: и когда приходилось покупать па ярмарках коров, то никогда не обходилось без Марея. При воспоминании о Марее мне всегда вспоминается одно происшествие, ясно рисующее, до какой степени *детски-наивны* были тогда крестьяне нашей местности. Они, не стесняясь, называли вещи своими названиями, хотя таковые всеми другими почитаются неприличными и невежливыми. Раз как-то на ярмарке в Зарайске, уже в более поздние годы, маменька вместе с Мареем смотрела коров, которых нужно было купить. Я тоже был с маменькой. Маменьке понравилась очень одна корова своею красивостию, но, к несчастию, у нее был короткий хвост; долго маменька смотрела на нее; Марей же не обращал на нее внимания, верно зная, что она негодна. На выраженное желание маменьки купить эту корову, Марей ответил: «Что вы, матушка, Марья Федоровна, какая это корова... она для нас не подойдет... Что это за корова, ей и мух от ... отогнать нечем!» Другой подобный случай припоминаю со старостою Савином Макаровым. <...> Ясно, что в обоих этих случаях и самый взыскательный господин не заподозрит и тени *умышленной* неприличности или невежливости. Выражались же крестьяне так, как дети природы.

Я выше уже упоминал, что вслед за покупкой первой деревни, Даровой, была куплена и деревня Черемошня. В эту деревню мы очень часто хаживали по вечерам с маменькой, всем семейством. Сверх того, в *Черемошне* * была небольшая баня, каковой в Даровой не было, и вот в эту-то баню мы почти каждую субботу хаживали всем семейством уже по утрам.

Упомянул я также вскользь о пожаре, бывшем в деревне. Теперь же сообщу об этом несчастии несколько

---

* Название Черемошни встречается в последнем романе брата Федора Михайловича «Братья Карамазовы». Так названо имение старика Карамазова, куда он давал поручение второму своему сыну Ивану Федоровичу по поводу продажи лесной дачи [25]. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

подробнее. Это случилось ранней весною, то есть на Страстной неделе Великого поста в 1833 году, узнали же мы в Москве об этом на третий день Пасхи.

Как теперь помню, что мы проводили день по-праздничному, за несколько запоздавшими визитами обедали несколько позже и только что встали изо стола. Папенька с маменькой разговаривали о предстоящей маменькиной поездке в деревню, и мы заранее испытывали удовольствие дальнего путешествия и пребывания в деревне. Вдруг докладывают родителям, что в кухню пришел из Даровой приказчик Григорий Васильев [26]. Это, собственно, был просто дворовый человек и занимать место приказчика был не способен. Но он был грамотный и, как единственный письменный человек в деревне, носил кличку приказчика. Собственно же, он, по неспособности своей, ничем не распоряжался, а распоряжался всем староста Савин Макаров.

Сейчас же велели позвать пришедшего, и праздничное настроение, как бы в ожидании какого-либо несчастия, сменилось в тревогу. Через несколько минут в переднюю является Григорий в лаптях (хотя дворовые у нас никогда в лаптях не хаживали), в разорванной и заплатанной свитке, с небритою бородою и с мрачным лицом. Казалось, он нарочно старался загримироваться, чтобы сделать свой вид более печальным.

— Зачем ты пришел, Григорий?.. Что случилось в деревне?..

— Несчастие... вотчина сгорела! — ответил гробовым голосом Григорий.

Первое впечатление было ужасное! Помню, что родители пали на колени и долго молились перед иконами в гостиной, а потом поехали молиться к Иверской Божьей матери. Мы же, дети, все в слезах, остались дома.

Из дальнейших расспросов оказалось, что пожар случился от того, что один крестьянин, Архип, вздумал в Страстную пятницу палить кабана у себя на дворе. Ветер был страшный. Загорелся его дом, и от него сгорела и вся усадьба. В довершение несчастия сгорел и сам виновник беды, Архип, который побежал в горевшую свою избу что-то спасать и там и остался! [27]

Но, собственно говоря, обдумывая всё более хладнокровно, родители убедились, что это еще не очень большое несчастие, так как вся крестьянская усадьба была слишком ветха, и рано или поздно ее надобно было возобновлять. Григория отправили назад с обещанием от

родителей, что они последнюю рубашку свою поделят с крестьянами. Это, помню, были слова папеньки, которые он несколько раз повторял Григорию, велев передать их крестьянам.

Кажется, в этом несчастии помог родителям тоже добрейший дядя, Александр Алексеевич.

Дней через десять приехал за нами тот же Семен Широкий в кибитке, запряженной тройкою пегих лошадей, и мы с маменькой отправились в деревню. Вся усадьба представлялась пустырем, кое-где торчали обгорелые столбы. Несколько вековых лип около сгоревшего скотного двора тоже обгорели. Картина была непривлекательная. В довершение ко всему наша старая собака Жучка встретила нас, махая хвостом, но сильно воя.

Через неделю же закипела работа, и крестьяне все повеселели. Маменька каждому хозяину выдала на усадьбу по *пятьдесят рублей.* Тогда это деньги были очень большие. Свой скотный двор тоже поставили новый, и при нем людскую избу, и небольшой флигелек для нашего пребывания. Плетневая наша мазанка, окруженная двумя курганами, была защищена вековыми липами и не сгорела, но в ней всем нам помещаться было тесно.

Дочь сгоревшего крестьянина Архипа, *Аришу,* маменька очень полюбила и взяла к себе в комнаты, а потом она сделалась дворовою и постоянною была у нас прислугою в горницах в Москве.

К концу лета деревня наша была обстроена с иголочки, и о пожаре не было и помину. Помню, что, давая вспоможение крестьянам, маменька каждому говорила, что дает помощь ему взаймы и чтоб крестьяне, когда найдут возможность, уплатили бы этот долг. Но, конечно, это были только слова. Долгу с крестьян никто и никогда не требовал!!!

Все, что я описал выше про наше времяпровождение в деревне, относится, конечно, не к одному первому году нашего в ней пребывания, но и к последующим. Я еще раза два-три в дальнейших своих воспоминаниях буду возвращаться к деревне, теперь же, чтобы покончить с нею на этот раз, сообщу о наших деревенских соседях и знакомых.

Я уже упомянул выше о Павле Петровиче Хотяинцеве. Он с своею женою, кажется, Федосьею Яковлевною, жил в своем селе Моногарове. Большой деревянный дом его находился возле самой церкви, и мы с маменькой,

ходя всякое воскресенье в церковь, каждый раз были приглашаемы из церкви на чашку кофе. Но вместо кофе тут бывал целый завтрак с аппетитным пирогом с начинкою из яиц, зеленого луку и молодых цыплят. Кроме взрослого сына, который служил где-то юнкером, у них был четырехлетний сынок, родившийся после двенадцатилетнего перерыва, и в этом сынке родители не слышали и души. Любимою игрою мальчика было рядиться в священника, а потому у него было полное священническое облачение, и он постоянно что-нибудь служил. Хотяинцевы изредка бывали и у нас.

Вторая соседка была старушка Небольсина; ее деревенька тоже принадлежала когда-то отцу Хотяинцева и находилась по пути от нас к церкви. Старушка часто зазывала нас с маменькой к себе отдохнуть, но у нас она никогда не бывала, — по крайней мере, я не припомню, — вероятно, по своей старости.

Третьи соседи были помещики Еропкины. Эти представители древнего дворянского рода состояли из мужа и жены, уже пожилых, двух дочерей, уже невест, и одного сына. Сами родители были едва-едва грамотны, дочери же грамоте не обучались; сынок же, уже лет семнадцати — восемнадцати, ограничился обучением у дьячка. Это семейство раза три в лето бывало у нас и столько же раз и мы у них. У них были хорошие оранжереи и парники, и они, приезжая, всегда привозили нам то дыню, то арбуз.

Вот и все соседи... И вообще говоря, мы в деревне коротких знакомств не заводили, а ограничивались только визитами.

Кроме этих соседей к нам иногда являлось приходское священство, состоящее из священника, дьякона, у которого было двенадцать взрослых дочерей и ни одного сына, и дьячка. Все эти личности не много отличались от простых крестьян, и то только своим *полуобразованием,* в отношении же жизни они были те же крестьяне и столь же много работали своеручно, не имея у себя ни одного наемного рабочего. <...>

В заключение кратких своих воспоминаний о деревне я не могу не упомянуть о дурочке Аграфене. В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к какой семье; она все время проводила, шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой ее насильно приючивали к какой-либо избе. Ей уже было тогда лет двадцать — двадцать пять; говорила она очень мало, неохотно, непонят-

но и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое такое состояние, претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер. Читая впоследствии в романе брата Федора Михайловича «Братья Карамазовы» историю Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминал нашу дурочку Аграфену[28].

Наше первоначальное обучение азбуке и прочее. Приступлю теперь к воспоминаниям о нашем первоначальном домашнем обучении. Первоначальным обучением всех нас так называемой грамоте, то есть азбуке, занималась наша маменька. Азбуку учили не по-нынешнему, выговаривая буквы *а, б, в, г* и т. д., а выговаривали по-старинному, то есть: *аз, буки, веди, глаголь* и т. д. и, дойдя до *ижицы,* всегда приговаривалась известная присказка. После букв следовали склады двойные, тройные, четверные и чуть ли не пятерные, вроде: *бвгра, вздра* и т. п., которые часто и выговаривать было трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда приступали к постепенному чтению. Конечно, я не помню, как учились азбуке старшие братья, и эти воспоминания относятся ко мне лично. Но так как наша учительница была одна (наша маменька) и даже руководство или азбука преемственно перешла от старших братьев ко мне, то я имею основание предполагать, что и братья начинали учение тем же способом. Первою книгою для чтения была у всех нас одна. Это Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке (кажется, переведенная с немецкого сочинения Гибнера[29]). Она называлась собственно: «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета». При ней было несколько довольно плохих литографий с изображением Сотворения мира, Пребывания Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (то есть наш детский) и что он бережет его как святыню.

Я уже упомянул выше, что не мог быть свидетелем первоначального обучения старших братьев азбуке. Как

я начинаю себя помнить, я застал уже братьев умевшими читать и писать и приготовляющимися к поступлению в пансион. Домашнее их пребывание без выездов в пансион я помню непродолжительное время — год, много полтора. В это время к нам ходили на дом два учителя. Первый — это дьякон, преподававший закон Божий. Дьякон этот чуть ли не служил в Екатерининском институте; по крайней мере, наверное знаю, что он там был учителем. К его приходу в зале всегда раскладывали ломберный стол, и мы, четверо детей, помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел отличный дар слова и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа полтора-два, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Священного писания. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же приступит к рассказам — о Потопе, о приключениях Иосифа. О Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что, бывало, и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, тогда шестилетний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, нисколько не утомляясь их продолжительностью. Очень жалею я, что не помню ни имени, ни фамилии этого почтенного преподавателя, мы просто звали его отцом дьяконом. Несмотря на все это, уроки он требовал учить буквально по руководству, не выпуская ни одного слова, то есть, как говорится, «вдолбежку», потому что тогда при приемных экзаменах всюду это требовалось. Руководством же служили известные «Начатки» митрополита Филарета, начинавшиеся так: «Един Бог, во Святой троице поклоняемый, есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет»... и т. д. Это скорее философское сочинение, нежели руководство для детей. Но так как руководство это обязательно было принято во всех учебных заведениях, то понятно, что и сам отец дьякон придерживался ему.

Другой учитель, ходивший к нам в это время, был Николай Иванович *Сушард*; он был преподавателем французского языка в Екатерининском институте и ходил к нам давать уроки также французского языка. Он был

француз, но горячо желал сделаться чисто русским. Я помню рассказ папеньки, что в одно из посещений Екатерининского института императором Николаем Николай Иванович Сушард просил у государя, как милости, позволения, вывернув свою фамилию, прибавить к ней окончание «ов», что ему и было дозволено, вследствие чего он впоследствии и назывался Драшусов (Сушард — Драшус — Драшусов). Так как я был в это время еще слишком мал для французского языка, то я ничего и не могу сказать про его преподавание, хотя я обязательно и должен был садиться за тот же ломберный стол и сидеть смирно в продолжение всего урока. Помню только, что приветствия отцу ко дню его именин всегда составлялись Николаем Ивановичем и выучивались под его руководством.

Время для старших братьев начало уже подходить такое, что по возрасту их пора уже было отдавать куда-либо в пансион с гимназическим курсом, и одного чтения и письма, а равно закона Божия и французского языка было далеко не достаточно. Для подготовления к такому пансиону двух старших братьев отдали на полупансион к тому же Николаю Ивановичу Драшусову, куда они и ездили, кажется, в продолжение целого года или даже более, ежедневно по утрам и возвращались к обеду. У Драшусова был маленький пансион для приходящих, он сам занимался французским языком, два взрослых сына его занимались преподаванием математики и словесных предметов, и даже жена его, Евгения Петровна, кажется, что-то преподавала. Но в этом скромном пансионе некому было заниматься латинским языком, а потому подготовление старших братьев по этому предмету принял на себя сам папенька. Помню даже утро, в которое он, ездивши на практику, купил латинскую грамматику Бантышева[30] и отдал ее братьям (книга эта преемственно досталась впоследствии и мне). И вот с этого времени каждый вечер папенька начал заниматься с братьями латынью. Разница между отцом-учителем и посторонними учителями, к нам ходившими, была та, что у последних ученики сидели в продолжение всего урока вместе с учителем; у отца же братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди: mensa, mensae, mensae и т. д. или спрягая: amo, amas, amat. Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно

взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив. Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так сейчас разразится крик. Замечу тут кстати, что, несмотря на вспыльчивость отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях, даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания. Бывало, при этих случаях помню, что маменька только посматривает на меня и дает мне знаками намеки, что вот, мол, и тебе то же будет!.. Но увы, хотя грамматика Бантышсва преемственно и перешла ко мне, но начало латинской премудрости мне суждено было узнать не из уроков папеньки, а в пансионе Чермака.

Вероятно, это гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные пансионы. Наконец подготовление братьев было окончено, и они поступили в пансион Леонтия Ивановича Чермака, с начала учебного курса в 1834 году[31].

Поступление старших братьев и сестры в пансионы и распоряжения насчет моего обучения и приготовления. Наши литературные вечера с родителями. Литературные наклонности старших братьев. В это же время и сестра Варенька была отдана родителями в пансион, или школу, при лютеранской церкви Петра и Павла. Школа эта, с давних времен существовавшая, пользовалась в Москве заслуженною славою. Она находилась возле самого дома дяди Александра Алексеевича Куманина, в Козьмодемьяновском переулке, — это было причиною тому, что часто сестра не приезжала по субботам в родительский дом, в особенности в зимние трескучие морозы, а была брана тетушкою Александрою Федоровною к себе на дом. Бра-

тья тоже были отданы к Чермаку на полный пансион и приезжали домой только по субботам к обеду, а в понедельник утром уезжали опять на целую неделю. Следовательно, дома из старших подростков оставался только я.

Относительно меня папенька сделал следующие распоряжения. Он поручил старшим братьям и сестре заведовать моим обучением и задавать на целую неделю уроки, которые я и должен был сдавать в субботу. А в воскресенье обязан был снова выслушивать объяснения братьев и сестры насчет заданий на следующую неделю. Предметы были распределены следующим образом: брат Миша взял на себя арифметику и географию; брат Федя — историю и русскую грамматику, а сестра Варя — закон Божий и языки французский и немецкий.

С этих пор моя жизнь в родительском доме пошла гораздо скучнее. В доме сделалось гораздо тише, и я, понукаемый родителями, должен был по целым дням сидеть в зале за книгою, хотя мысли иногда порхали далеко от книги! Мне был уже десятый год, а сестре Верочке едва-едва шесть; следовательно, она не могла сделаться моею товаркою, тем более что я привык иметь товарищами старших себя. Зато весело было дожидаться субботы, и хотя день этот и был для меня днем расплаты, днем экзаменов, но я мало страшился их, а помышлял только о том, что целых полтора дня пробуду с братьями и сестрою. Учительские отношения ко мне братьев и сестры нисколько не изменили наших братских доселе существовавших отношений. В субботу с утра чувствовалось уже прибытие всей семьи в родной кров. И родители делались несколько веселее, и к столу прибавлялось коечто *лишнее*, — одним словом, пахло чем-то праздничным. В этот день и неизменяемый час обеда (то есть двенадцать часов) поневоле изменялся. Покуда лошади поедут с Божедомки в Новую Басманную, [32] покуда соберутся братья, покуда приедут, проходило добрых полтора — два часа, так что обед подавался в этот день к двум часам. За сестрой ездили большею частию по вечерам, уже в сумерки. Но вот приехали братья, не успели поздороваться, как и горячее уже на столе. Садимся обедать, и тут же, не удовлетворивши первому аппетиту, братья начинают рассказывать о всем случившемся в продолжение недели. Во-первых, отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжение недели по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей,

про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжается гораздо долее. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная! Вспоминаю, что отец ни разу не давал наставлений сыновьям при повествованиях о различных шалостях, случавшихся в классе; отец только приговаривал: «Ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» и т. п., смотря по степени шалости, но ни разу не говорил: «Смотрите, не поступайте-де и вы так!» Этим давалось, кажется, знать, что отец и ожидать не может от них подобных шалостей.

Пообедав и поговорив еще несколько, отбирался с грехом пополам от меня недельный отчет; и затем братья садились за свои ломберные столы и предавались чтению; так же проходило и воскресенье. Помню только то, что я редко видал, чтобы по субботам и воскресеньям братья занимались приготовлением уроков и привозили с собою учебники. Зато книг для чтения привозилось достаточно, так что братья постоянно проводили домашнее время за чтением. Такие субботы повторялись еженедельно, а потому я не буду на них долго останавливаться, тем более что за давностию лет я не могу припомнить особо выдающихся суббот. Замечу лишь то, что в последние годы, то есть около 1836 года, братья с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем [33]. Вероятно, это был учитель не заурядный, а вроде нашего почтенного отца дьякона. Братья отзывались об нем не только как об хорошем учителе, но в некотором отношении как об джентльмене. Очень жаль, что я не помню теперь его фамилии, но в мое пребывание у Чермака учителя этого, кажется, уже не было и в высших классах.

Выше я упомянул о семейных чтениях, происходивших в гостиной. Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения исторические: «История Государства Российского» Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние томы — IX, X,

XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; «Биография» Мих. Вас. Ломоносова Ксенофонта Полевого [34] и многие другие. Из чисто литературно-беллетрических произведений, помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина «Письма русского путешественника», «Бедную Лизу», «Марфу Посадницу» и проч., Пушкина преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы: «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских». Читались также сказки и казака Луганского. Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне более памятны. Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши семейные чтения в гостиной дома родительского. Выше я говорил уже, что старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всего видал Вальтер Скотта — «Квентин Дорварда» и «Веверлея»; у нас были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный перевод. Такому же чтению и перечитыванию подвергались и все произведения Пушкина. Любил также брат Федор и повести Нарежного, из которых «Бурсака» перечитывал неоднократно. Не помню наверное, читал ли он тогда что-нибудь из Гоголя, а потому не могу об этом и говорить. Помню только, что он тогда восхищался романом Вельтмана «Сердце и думка», «История» же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького. Я потому перечисляю названия некоторых литературных произведений, читавшихся тогда братьями (хотя далеко и не все), что с этими названиями и именами их авторов мне пришлось еще ребенком познакомиться со слов братьев. Появились в нашем доме и книжки издававшейся в то время «Библиотеки для чтения». Как теперь помню эти книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители их не читали.

Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи,

бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть, конечно, только то, что попадалось им в руки, так как полного собрания сочинений Пушкина тогда еще не было. Надо припомнить, что Пушкин тогда был еще современник. Об нем, как о современном поэте, мало говорилось еще с кафедры; произведения его еще не заучивались наизусть по требованию преподавателей. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского даже между преподавателями словесности; она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократные горячие протесты со стороны обоих братьев. Помню, что братья как-то одновременно выучили наизусть два стихотворения: старший брат «Графа Габсбургского», а брат Федор, как бы в параллель тому, — «Смерть Олега»[35]. Когда эти стихотворения были произнесены ими в присутствии родителей, то предпочтение было отдано первому, — вероятно, вследствие большей авторитетности сочинителя. Маменька наша очень полюбила два эти произведения и часто просила братьев произносить их; помню, что даже во время своей болезни, уже лежа в постели (она умерла чахоткой), она с удовольствием прислушивалась к ним.

Не могу не припомнить здесь одного случившегося у нас эпизода. Из товарищей к братьям не ходил никто. Раз только к старшему брату приезжал из пансионских товарищей некто Кудрявцев. Брату позволено было отдать ему визит, но тем знакомство и кончилось. Зато в дом наш был вхож один мальчик, Ваничка Умнов[36], сын Ольги Дмитриевны Умновой, о которой я упоминал выше, как о нашей знакомой. Этот юноша учился в гимназии и был несколько старше моих братьев. Этому-то гимназисту удалось где-то достать ходившую тогда в рукописи сатиру Воейкова «Дом сумасшедших» и заучить на память. Со слов его братья тоже выучили несколько строф этой сатиры и сказали их в присутствии отца[37]. <...> Выслушав их, отец остался очень недоволен и высказал предположение, что это, вероятно, измышления и проделки гимназистов; но когда его уверили, что это сочинение Воейкова, то он все-таки высказал, что оно неприлично, потому что в нем помещены дерзкие выражения про высокопоставленных лиц и известных литераторов, а в особенности против Жуковского. Эти пятнадцать строф сатиры были так часто повторяемы братья-

ми, что они сильно врезались и мне в память и сделались для меня как бы чем-то родственно-приятным. <...>

По рассказам того же Ванички Умнова мы познакомились со сказкою Ершова «Конек-Горбунок» и выучили ее всю наизусть.

Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностию детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже семнадцать, а брату Федору почти шестнадцать. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тороваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню, чтобы братья имели в своем распоряжении хотя несколько мелких монет, и, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге.

Я упоминал выше, что отец не любил делать нравоучений и наставлений; но у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертию его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину! Я припоминаю еще и другие слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее остановкою и предостережением. Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!» Привожу слова эти, вовсе не ставя их за пророческие, — пророчество есть следствие предвидения: отец же никогда и предположить не хотел и не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях своих уверен. Привел же слова эти в удостоверение пылкости братнина характера во время его юности.

Зима 1834—1835 годов. Седьмая беременность маменьки. Поездка весною 1835 года в деревню. Рождение сестры Саши, приезд в деревню Куманиных. Возвращение

в Москву. Зима 1834—1835 годов прошла для меня в тех же, раз установленных занятиях, о которых говорилось выше, то есть братья и сестра задавали мне уроки на целую неделю, а в субботу делали экзамен. Один выдающийся случай, которому я был свидетелем, сделал на меня сильное впечатление, и я никогда не забывал его и теперь помню очень хорошо, с лишком через шестьдесят лет! Дело было так:

Раз вечером, в зале, родители ходили вместе и о чем-то серьезно разговаривали. Маменька что-то сообщила отцу, и он сделался видимо очень удивлен и опечален. Потом маменька разразилась сильным истерическим плачем, и папеньке едва-едва удалось ее успокоить! Эта картина при вечерней обстановке, в полумрачной зале, оставила, как я и сказал выше, сильное во мне впечатление. И я недоразумевал, почему после спокойных разговоров родителей произошла беспричинно такая сцена.

Потом, со временем, когда я сделался взрослым и вспоминал эту сцену, то, сопоставив последующие обстоятельства, разгадал причину этой сцены. Дело, вероятно, было так: родители разговаривали и делали предположения на будущее лето о поездке в деревню и т. п., при чем, вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, а сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал свое неудовольствие, что вызвало со стороны маменьки истерический плач[38]. Эта моя разгадка подтверждается тем фактом, что, действительно, в лето 1835 года родилась моя сестра Саша.

Весною, после Пасхи, поездка маменьки в деревню состоялась, как и в прежние годы, но только при другой уже обстановке. Папенька не решился отпустить ее одну и притом в бричке. Поездка состоялась в двух экипажах, то есть в рессорной городской двуместной коляске, запряженной парою городских наших лошадей, управляемой кучером Давидом; ехали родители без всякой клади. Второй экипаж наш, троечная бричка, запряженная тройкой наших пегих деревенских лошадей и управляемая Семеном Широким, везла меня с женскою прислугою и всею кладью и чемоданами. Старшие братья и сестра оставались в пансионе, а сестра Верочка и брат Николя на попечении няни Алены Фроловны оставались в Москве. Поездка совершилась благополучно, и папенька, пожив в деревне дня два-три, уехал обратно в Москву, а мы

остались в деревне, то есть маменька и я. Младших сестру и брата, как видно, не брали в деревню потому, что помещение в деревне было очень маленькое, а в виду ожидаемого прибавления семейства, всякое свободное помещение делалось еще более необходимо!

Лето проведено благополучно. В начале июля папенька опять приехал в деревню вместе с старшими братьями, которые освободились из пансиона Чермака на начавшиеся каникулы. Сестра Варенька на каникулы осталась у тетеньки Александры Федоровны Куманиной. А вслед за папенькою приехала и новая гостья в деревню, а именно акушерка. На этот раз была не старая, бывавшая всегда у маменьки акушерка, но молоденькая девушка, только что вышедшая из повивального института и рекомендованная отцу, как настоящая ученая акушерка. Помню, что прогулки маменьки в последние дни были затруднительны и ее постоянно водили под руки папенька с одним из старших братьев. Помню, как в конце июля (25-го) всех нас не допускали целый день во вновь отстроенный флигелек, и мы все находились в мазанковом домике. Наконец явился туда же папенька и сообщил нам, что Бог послал нам маленькую сестричку. В тот же день приказчик Григорий Васильев отправлен был в Москву с известием об этом радостном событии к тетушке Александре Федоровне, которая обещалась, по благоприятном исходе, сама приехать к нам в деревню навестить маменьку и вместе с тем и окрестить новорожденную.

И действительно, не больше как через неделю ожидание наше исполнилось, и мы издали увидели, как спускался с пригорка в нашу деревню грузный экипаж с двумя дамами. Это была тетенька Александра Федоровна, с неизменной спутницей своей бабушкой Ольгой Яковлевной. Как случается часто, что иные детские воспоминания сохраняются долго и явственно, а другие вовсе исчезают бесследно из памяти, так случилось и с моими воспоминаниями по этому предмету. Приезд тетеньки и бабушки я очень хорошо и явственно помню, но время пребывания их, вероятно, дней до пяти, совершенно не оставило в моей памяти никаких воспоминаний. Помню только, что высокая дорожная коляска их стояла все время в липовой роще, так как в усадьбе нашей, после пожара, экипажных сараев устроено еще не было. И помню также, что я с большим удовольствием откидывал ступеньки высокой коляски, по несколько раз в день влезал в нее и опять вылезал. Наконец, после крестин,

тетенька с бабушкой уехали от нас, а вслед за ними уехала и акушерка. В начале августа уехали из деревни и папенька со старшими братьями, а вероятно в половине сентября и маменька со мной и новорожденной сестрой переехала в Москву. Только обстоятельства этого переезда я теперь совершенно не помню.

Отдача меня в пансион Кистера и мое пребывание в этом пансионе до июня 1836 года. Поездка на каникулы в деревню в 1836 году и возвращение в Москву. С осени 1835 года со мной случилась важная перемена. Меня отдали в пансион, и притом не на полупансион, как сперва отдавали братьев, а прямо, оторвав от всего родного, поместили меня на полный пансион к Кистеру[39]. Это случилось внезапно. Вероятно, папенька был приглашен в пансион Кистера годовым врачом, и, не желая получать гонорара, он предложил свои услуги взамен того, чтобы я был принят в пансион полным пансионером — без всякого подготовления в научном отношении к приемному экзамену (которого, впрочем, и не было). Мне сшили два костюмчика, и в один из вторников маменька сама отвезла меня в пансион и, посидевши несколько у m-me Кистер, оставила меня там до субботы; впрочем, папенька почти ежедневно бывал (как врач) в пансионе, но вызывал меня для свидания редко, вероятно, не желая нарушать моих серьезных научных занятий...

Федор Иванович Кистер имел ученую степень доктора и был лектором немецкого и, кажется, даже и французского языка при Московском университете. Он содержал пансион для мальчиков в Москве, и слава или известность его пансиона чуть ли не превосходила известности пансиона Чермака. И в самом деле, наружная его обстановка была виднее, показистее обстановки чермаковской. Пансион Кистера помещался в центре города, на Большой Дмитровке, в доме, который, кажется, принадлежит ныне *Благородному собранию.* Но главная суть состояла в том, что доктор Федор Иванович Кистер смотрел на свой пансион как на что-то придаточное и не главное. Еще старшие классы, из которых поступали в университет, обращали на себя его внимание. Что же касается до младших и низших классов, то те были решительно предоставлены им на произвол судьбы без всякого надзора. Отсутствие всякой заботы об низших классах с одной стороны, а с другой стороны страшное

присутствие скупости и расчетливости — было причиною тому, что в младших классах никогда не было своих гувернеров или надзирателей. Двадцать пять — тридцать мальчиков загонялись в класс и там оставались без присмотра, гувернеры же уходили для показа в старшие классы. В младший (мой) класс редко ходили и учителя, только посещал священник для закона Божия и сам Ф. Ив. Кистер для преподавания французского и немецкого языков. Других же учителей, по другим предметам, я что-то не припоминаю. И вот, значит, 9-ти — 10-летние мальчики, собранные из различных семейств и из различных слоев общества, соединялись вместе и оставлялись на большую часть дня без всякого присмотра. Понятно, что из этого могло произойти?! Нет тех гадостей, нет того гнусного порока, которому бы не были научены вновь поступившие из отчего дома невинные мальчики. Всеми гнусностями и всеми гадостями, которые могут только проявляться у испорченных детей, был научен я в 1835/1836 учебный год!

Еженедельно по субботам я являлся в родительский дом и имел истинное удовольствие, после недельного заточения в враждебном для меня пансионе, провести полтора дня в нашем святом семейном кругу!..

Явится вопрос, почему же я не был так откровенен, как братья, и не поведал родителям про порядки, существовавшие в моем пансионе, имея пример в братьях, которые ничего не скрывали от родителей?.. На это отвечу: что, во-первых, что как я ни был мал и неразумен, но все-таки я соображал, что порядки, практикуемые в низшем классе пансиона Кистера, — суть нехорошие порядки!.. А мне так хотелось подражать братьям и, в свою очередь, выставлять свой пансион в отличном виде, — ведь хвастовство присуще детям и не может быть поставлено наряду с пороком обмана. А во-вторых, про те дебоши, которые совершались между запертыми без всякого присмотра мальчишками, мне даже стыдно и совестно было рассказывать не только родителям, но даже и старшим братьям!

Весь учебный 1835/1836 год я провел как в чаду. Имея столь впечатлительный для своих лет характер, я не вынес в своей памяти ни одного приятного впечатления; да и вообще все то, что было со мною в этот год, я решительно позабыл, все происшествия как будто заволоклись туманом, тогда как более ранние впечатления рисуются в моей памяти очень рельефно. Я не помню за

весь год, чтобы на меня было обращено хоть какое-нибудь внимание, чтобы хоть один из учителей задал урок собственно мне или спросил меня выученное. Ежели я что-либо приобрел за этот год, то это во французском и немецком языках. Эти предметы, как я выше упомянул, преподавал сам Кистер и преподавал очень хорошо. Тогда только что вошла в употребление метода с картинами: на печатных раскрашенных картинах, наклеенных на картонные листы, изображались различные предметы, а равно животные и птицы, и к ним принадлежали печатные рассказы на французском, немецком и русском языках, различные признаки и свойства нарисованных на картинах предметов. Эти признаки и свойства разнообразились и дополнялись самим преподавателем, и мы прямо в классе, без всякого урока к приготовлению, занимались практическими рассказами про различные предметы на французском и немецком языках и заучивали это наизусть. Вот это только и осталось у меня в памяти!!

Но год скоро прошел, наступила весна. У Кистера в Сокольниках была своя большая дача, и он часто заставлял поочередно каждый класс водить на прогулку в Сокольники. Там на даче нам приготовляли ранний обед и чай, и избранный класс, погуляв в роще и пообедав и напившись чаю, возвращался в город. Помню, и я раза два-три участвовал в этих прогулках и вынес об них очень приятные впечатления.

Учебный год закончился в пансионе публичным актом. Экзаменов не было, по крайней мере в низшем классе, но на публичный акт задавалась на выучку какая-либо басня или стихотворение на русском, французском или немецком языках, и воспитанники вызывались поочередно и произносили заученное ими. В этом и состоял весь акт. Публики же, действительно, бывала масса и публика преимущественно дамская, великосветская. На акте этом предлагали гостям чай, прохладительные напитки и мороженое. Конечно, я не был избранником, удостоившимся что-нибудь произнести на акте, но помню, что на акте папенька был. Не это ли было причиною неудовольствия папеньки, вследствие которого я следующий год не был уже в пансионе Кистера. Это ли или какое другое обстоятельство было причиною, что я взят был из пансиона Кистера окончательно; но я считал себя очень счастливым этим решением родителей.

После нашего акта скоро окончились экзамены и у старших братьев и они были отпущены на каникулы.

И мы все трое братьев в скором времени поехали вместе с папенькой в деревню. Эта поездка была памятна для меня тем, что я первый раз ехал в деревню с папенькой и братьями, и мне казалось, что я еду не домой, а просто в гости к маменьке. Про пребывание свое в этом году в деревне я ничего не могу отметить особенного. Все воспоминания свои о деревне я сообщил уже выше и не могу подразделить, какие из них случились в какой год. Конечно, мы все уже подросли и игры наши не могли быть столь детскими, как прежде. Помню, что мы пробыли в деревне, по обыкновению, до осени и осенью возвратились из деревни в Москву вместе с маменькой.

Осень 1836 года и зима 1837. Я опять учусь у братьев. Болезнь маменьки. Смерть маменьки. Полный переворот в семействе. Известие о смерти Пушкина и болезнь брата Федора. С водворением нашим в Москву, я поступил опять под ферулу братьев и сестры. Опять начались занятия недельные и отчеты в них по субботам. Но скажу откровенно, что занятия эти были для меня очень полезны, и я, право, под надзором братьев успевал гораздо больше, нежели в пансионе Кистера.

С осени 1836 года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но видимо утешал себя надеждою на продление и поддержание ее. Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 года состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель. В это время квартира наша сделалась как бы открытым домом: постоянно у нас были посетители. С девяти часов утра приходили доктора во главе с Александром Андреевичем Рихтером. Из сочувствия к отцу, как к своему товарищу, они, навещая маменьку, каждый день делали консилиум. Склянки с лекарствами и стаканы с различными извержениями загромождали все окна и ежедневно убирались, сменяясь новыми. С полудня приезжала тетенька Александра Федоровна (в эти разы, то есть в сильную болезнь

маменьки, она приезжала, впрочем, одна, без сопровождения бабушки) и оставалась до вечера, а иногда и на ночь. Часов около четырех съезжались родные и полуродные, ежели не для свидания с маменькой,— к ней посторонние не допускались,— то для оказания сочувствия папеньке. Бывали Куманин Александр Алексеевич, Шер, Неофитов, Маслович Настасья Андреевна и многие другие. Вспоминаю, что посещения их не утешали, но только расстраивали папеньку, который, рассказывая каждому про течение болезни, только расстраивал себя. Мне кажется, и сами визитеры очень хорошо это понимали, но все-таки ездили для исполнения приличий и принятых обычаев. Вечером, часов в шесть, опять появлялись доктора для вечерних совещаний. Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И не мудрено! Мы готовились ежеминутно потерять мать! Одним словом, в нашем семействе произошел полный переворот, заключенный кончиною маменьки! В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно! Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька, вероятно перед смертною агонией, пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали. Вскоре после этого началась агония, и маменька впала в беспамятство, а в седьмом часу утра 27 февраля она скончалась на тридцать седьмом году своей жизни. Это было в субботу Сырной недели. Все приготовления к похоронам, троекратные в день панихиды, шитье траура и проч. и проч. были очень прискорбны и утомительны, а в понедельник 1 марта, в первый день Великого поста, состоялись похороны.

Спустя несколько времени после смерти маменьки отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы отвезти туда двух старших сыновей для помещения их в Инженерное училище[40].

Надо сказать, что гораздо еще ранее отец, через посредство главного доктора Марьинской больницы Александра Андреевича Рихтера, подавал докладную записку Виламову о принятии братьев в училище на казенный счет[41]. Ответ Виламова, очень благоприятный, был получен еще при жизни маменьки, и тогда же была решена поездка в Петербург. Осуществление этой поездки чуть-

чуть было не замедлилось. Но прежде, нежели сообщу причину замедления, расскажу о том впечатлении, которое произвела на братьев смерть Пушкина.

Не знаю, вследствие каких причин известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома были причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыша об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине. Конечно, до нас не дошло еще тогда стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина[42], но братья где-то достали другое стихотворение неизвестного мне автора. Они так часто произносили его, что я помню и теперь его наизусть. Вот оно:

Нет поэта, рок свершился,
Опустел родной Парнас!
Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас.

Север, Север, где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений?
Где наш Пушкин? — Он исчез!

Да, исчез он, дух могучий,
И земле он изменил!
Он вознесся выше тучей,
Он взлетел туда, где жил! [43]

Причина, которая чуть не замедлила поездку отца в Петербург, была болезнь брата Федора. У него, без всякого видимого повода, открылась горловая болезнь, и он потерял голос, так что с большим напряжением говорил шепотом и его трудно было расслышать. Болезнь была так упорна, что не поддавалась никакому лечению. Испытав все средства и не видя пользы, отец, сам строгий аллопат, решился испытать, по совету других, гомеопатию. И вот брат Федор был почти отделен от семейной жизни и даже обедал за отдельным столом, чтобы не обонять запаха от кушания, подаваемого нам, здоровым. Впрочем, и гомеопатия не приносила видимой пользы: то делалось лучше, то опять хуже. Наконец посторонние доктора посоветовали отцу пуститься в путь, не дожидаясь

полного выздоровления брата, предполагая, что путешествие в хорошее время года должно помочь больному. Так и случилось. Но только мне кажется, что у брата Федора Михайловича остались на всю жизнь следы этой болезни. Кто помнит его голос и манеру говорить, тот согласится, что голос его был не совсем естественный, — более грудной, нежели бы следовало.

К этому же времени относится и путешествие братьев к Троице. Тетенька Александра Федоровна, по обычаю, ежегодно весною ездила на богомолье в Троицкую лавру и на этот год упросила папеньку отпустить с нею и двух старших сыновей для поклонения святыне перед отъездом их из отчего дома в Петербург. Впоследствии я часто слышал от тетеньки, что оба брата во время путешествия услаждали тетеньку постоянною декламацией стихотворений, которых они массу знали наизусть.

Папенька, по возвращении своем из Петербурга, намеревался совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле нашей маменьки. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра...»[44] И эта прекрасная надпись была исполнена.

Наконец наступил день отъезда. Отец Иоанн Баршев отслужил напутственный молебен, и путешественники, усевшись в кибитку, двинулись в путь (ехали на сдаточных)[45], об котором хотя и мельком, но так поэтично упомянул брат Федор Михайлович сорок лет спустя в одном из нумеров «Дневника писателя»[46]. Я простился с братьями и не видался с ними вплоть до осени 1841 года.

По отъезде папеньки мы остались одни под присмотром няни Алены Фроловны; но, впрочем, существовал и высший надзор. Главою семейства осталась сестра Варенька: ей в это время шел уже пятнадцатый год, и она все время отсутствия папеньки занималась письменными переводами с немецкого языка на русский, как теперь помню, драматических произведений Коцебу, которыми ее снабжал Федор Антонович Маркус. Сей последний ежедневно заходил в нашу квартиру, чтобы узнать, все ли благополучно, и чтобы посмотреть всех нас, детей. Он же, кажется, ежедневно выдавал деньги на провизию для нашего стола и вообще был хозяином квартиры. Я позабыл сказать, что все хлопоты по похоронам маменьки тоже

принял на себя и исполнил этот истинно добрый человек. Кроме посещений его, очень часто навещала нас и тетенька Александра Федоровна вместе с бабушкой Ольгой Яковлевной. Тетушка при виде нас, и в особенности при виде Верочки, Николи и Сашеньки, всегда, бывало, горько расплачется. Прощаясь с нами, она, бывало, всех нас, отдельно каждого, перекрестит, чего прежде, при жизни маменьки, не случалось; этим она хотела, кажется, видимо заявить, что в отношении к нам принимает на себя все обязанности матери.

Отец пробыл в отсутствии с лишком полтора месяца и вернулся в Москву уже в июле месяце.

Помню я восторженные рассказы папеньки про Петербург и пребывание в нем: про путешествие, про петербургские деревянные (торцовые) мостовые, про поездку в Царское Село по железной дороге, про воздвигающийся храм Исаакия и про многие другие предметы.

С возвращением в Москву папенька не покинул своего намерения оставить службу и переселиться окончательно в деревню для ведения хозяйства[47]. Но покамест вышла отставка и пенсион, покамест он устроил свои все дела, наступил и август месяц. Для перевозки всего нашего скромного имущества приехали из деревни подводы. Сестра Варенька должна была ехать вместе с папенькой в деревню. Меня же решено было отдать в пансион Чермака, на место братьев. Не знаю, по какой причине, или тетенька Александра Федоровна считала для себя неудобным брать меня из пансиона Чермака по праздникам к себе, или сам папенька, не получая вызова со стороны Куманиных, не хотел их просить об э т о м, — только на счет меня было сделано распоряжение, чтобы троюродная тетка моя *Настасья Андреевна Маслович* брала меня по праздникам к себе. Мотивировано это было тем, что Масловичи будто бы ближе жили к пансиону, нежели Куманины. Две же младшие сестры, Верочка и Сашенька, равно как и брат Коля, конечно, тоже, должны были переселиться вместе с отцом и неизменною нянею Аленою Фроловною в деревню...

Но вот настал и день разлуки. Папенька в одно утро отвез меня в пансион Леонтия Ивановича Чермака и сдал меня на полный пансион с дозволением отпускать меня на праздничные дни к родственнице нашей Настасье Андреевне Маслович.

Этим фактом кончается первый акт, или, как я принял называть в группировке своих в о с п о м и н а н и й, — *первая квартира* моей жизни. То есть кончилась жизнь моя в доме отчем, а началась жизнь между чужими людьми,

начались неизбежные жизненные заботы, которых прежде я не знал и не испытывал. Но прежде нежели закончу этот период своей жизни, мне хочется более рельефно вырисовать личности моих родителей и их взаимного друг к другу отношения, равно как и отношения их к нам, своим детям. Этого я думаю достигнуть следующим образом. У меня каким-то образом сохранились четыре письма из переписки родителей во время их разлуки в летнее время, когда отец жил в Москве, а мать хозяйничала в деревне. Письма эти, мне кажется, вполне вырисуют как их, так и их взаимные отношения, а потому я и решился их с полною точностию поместить здесь, в своих воспоминаниях. Тем более мне хочется это сделать, что в настоящее время некоторые из этих писем начали истлевать, и мне хочется сохранить их для моих детей.

Вот эти письма:[48]

Письмо отца к матери из Москвы в с. Даровое от 9-го июля 1833 года.

«Любезнейший друг мой Машенька!

Во-первых, я уведомляю тебя, милый друг мой, что мы все слава Создателю здоровы. Коленька * наш слава Богу поправляется, но очень худ и бледен. Вареньку я отвез на Покровку **. Новостей у нас никаких не имеется, выключая, великий князь Михайло Павлович и великая княгиня Елена Павловна у нас в Москве. Дела мои по приезде *** очень тихи. До сих пор ни одного больного. Что делать, скучно на старость лет при недостатке; но Бог для меня всегда был милостив, — потерпим. Более всего меня угнетает дождливая погода. Здесь в Москве льют беспрестанные дожди; ежели и у вас такие же, то беда да и только! Ваза[49] пропадет! Сено у тебя в Даровой хотя и скошено, но наверно говорю, что сгниет, а все от того, что меня не послушались и не сложили в ригу. По приезде нашел, что нанятая моя услуга расстроилась, прачка без меня, взявши у няньки денег, пропадала целую неделю, а кухарка на другой же день сказалась больною — все время лежит и просит, чтобы ее отпустить; беда мне да и только! Старуха ****

---

* Брат Николай. (*Здесь и далее примеч. к письмам принадлежат А. М. Достоевскому.*)

** Т. е. к тетеньке А. Ф. Куманиной.

*** Т. е. вероятно по возвращении из деревни от маменьки.

**** Недоумеваю, про какую старуху здесь говорится, вероятно, была какая-нибудь приживалка, которую я позабыл.

дуется, собирается к своим, и как я подозреваю, она-то и причиною вымышленной болезни кухарки. — Письма твоего ожидаю с нетерпением. Жаль, друг мой, что я у тебя погостил не так, как мне хотелось, всё помехи, и я не только не повеселился с тобою, но даже не обласкал твоих певиц *, кланяйся им от меня и поблагодари их. Поверишь ли, что бытность моя у тебя представляется мне как бы во сне; в Москве же встретили меня хлопоты и огорчения; сижу подгорюнившись да тоскую, и головы негде приклонить, не говорю уже горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня; но Бог будет судить их за мои огорчения. Еще тебе скажу, что ямщик, который взялся доставить меня в Москву, при ряде отдал мне свой паспорт, но в Коломне при сдаче в суетах он, а равно и я, об нем позабыли, и таким образом билет остался у меня; то ежели, как я и полагаю, он станет спрашивать, то скажи ему, что на следующей почте я пришлю его в страховом письме. Илия Киселев его знает, только подтверди, чтобы ему лично отдали, и без него никому б не отдавали; а всего лучше, ежели ты его возьмешь к себе, и когда явится, сама ему вручи, только призови Илию и спроси, точно ли это тот самый ямщик. — Еще новость: в сегодняшних газетах напечатан манифест о ревизии, то ежели объявлят тебе из Нижнего Земского Суда об этом, то, смотри, будь осторожна. Перепиши все семьи и поверь несколько раз, чтобы кого-нибудь не пропустить, равным образом и дворовых, в числе коих надобно переписать и наших московских, как-то: Давида, Федосея (Федора), Семена и Анну, также не пропусти старика дворового, который проживает у матери Хотяинцева. Сию перепись сперва сделай для себя, а подавать не торопись, ибо срок назначен до мая 1834 года, а до тех пор, может быть, кто-нибудь родится или умрет из числа стариков. Затем только посмотри поприлежнее, друг мой, чтобы перепись была самая верная, чтобы кого не пропустить или прибавить, потому что за это определен большой денежный штраф. — Для сведения твоего я постараюсь прислать экземпляр книги, как в таком случае руководствоваться. — Насчет нашего дела с Хотяинцевым, поступай так, как между нами было условлено, а лучше, ежели ты будешь сообразоваться с обстоятельствами и в нужде советоваться с опытными в сем деле людьми, для чего советую тебе посылать почаще в Каширу и проси

* Деревенские девушки и бабы, которые по праздникам певали у нас в деревенском дому (как говаривал отец).

совета у Дружинина и ......кова *, которого, ежели мои обстоятельства улучшатся, надобно также поблагодарить. Насчет же его мнимой седьмой части, будь покойна, ибо мать его не предъявила при вводе во владение, а во-вторых, пропустила срок и не просила; о сем напишу тебе пространнее в следующем письме, сие я имею от Набокова, который сказал мне, что Небольсина разделилась с Конновой и получила все земли во владение на законном основании, хотя и с приплатою сверх 38 тыс. рублей. Старушка Небольсина не знаю где и каким образом тебя знает, очень превозносит твое хозяйство и очень желает быть с тобою знакома, и просила Набокова, чтобы он ее с нами познакомил; то не худо, ежели ты с ними ознакомишься, ибо они могут нам быть полезны насчет дележа, которого они усердно желают. Вот тебе, милый друг мой, письмо о всякой всячине, о приятном и неприятном, но не сетуй на меня, горе одолевает, но Бог милостив, всё поправится. Ты же сама меня просила, чтобы от тебя ничего не скрывать. Прощай, друг мой сердечный, будь здорова и сколько можно счастлива. Береги себя для моего спокойствия и счастия. Целую тебя до засосу. Детей наших за меня поцелуй, скажи от меня старшим, чтобы учились и не огорчали тебя; посылаю вам всем, милые моему сердцу, любовь мою и благословение. Кажется, что Черемошню нам надобно заложить в частные руки, известно тебе, по каким причинам. Прощайте, друзья мои, и не забывайте любящего вас всею душою и всем существом своим

Михайлу Достоевского.

Июля 9-го дня.
1833 г.»

На двух полях в виде постскриптума написано:

«Извести меня, нет ли каких-либо слухов насчет исков Хотяинцева, также и насчет Черемошни, постарайся узнать обстоятельно в Кашире. —

На всякий случай, ежели ты узнаешь что-нибудь неприятное для нас насчет Черемошни, то советую прислать ко мне как можно поскорее нарочного».

Вот и еще письмо от 6-го августа, год не обозначен, но вероятно, того же 1833 года, потому что ведется речь о тех же материях.

---

* Тут письмо истлело и несколько букв уничтожено, — вероятно, *Шиш*кова или *Набо*кова.

«Здравствуй, любезнейшая моя, ангел мой!

Рад, бесценный друг мой, что ты и дети, хвала Всевышнему, здоровы. Молю Его Всещедрого, что Он Всеблагий хранит вас, мои милые! Дай Бог, чтобы вы и впредь были здоровы и благополучны. О себе уведомляю тебя, что я и дети также по благости Божией здоровы, и отчасти покоен. Сестра А. Ф. тебя благодарит за письмо. Они все здоровы. Настасье Андреевне дал Бог внучку от Аннушки. Котельницкие тебе также кланяются. У нас опять со вчерашнего дня пошли дожди и до сих пор льют. Боюсь, друг мой, что он тебе помешает как в уборке овса, так и в посеве, но пусть будет все по воле Божией, возложим все наше упование на Него! В субботу утром я по обыкновению моему поспешил, во-первых, на почту, приезжаю, смотрю в реестр, нахожу 40 №, получаю письмо, сажусь в коляску, и не прочитавши всего на конверте, разламываю его, и во-первых попадается на глаза «Любезная сестрица» и проч.... Вот я стал втупик и начал тебя прославлять и величать сиречь тако: Ах, она некоштная и так дале, и как нечего было делать, то повез письмо на Покровку, отдал письмо с извинением, что по ошибке распечатал их письмо. Сижу подгорюнившись. И вдруг пришла мне мысль в голову, что может быть есть ко мне письмо особое. Вот я встаю, прощаюсь, и скачу на почту и наконец получаю твое письмо. Тут душа опять вскочила в свою перегородку, и я, разломавши конверт, начал алчными пробегать глазами. Жаль мне дочки *, она бедная душою тоскует; постарайся, друг мой, приготовить питьецо поснадобнее и подушистее, авось-либо поможет. Детей не торопись присылать, лучше устрой все надлежащим образом и тогда с Богом! Обо мне, друг мой, не беспокойся, я ожидал более, то и менее подожду. Я же полагаю, что этот мошенник ** их без денег вперед не возьмет. Насчет моей услуги не беспокойся, кухарка и прачка, кажется, обе порядочные, то есть лучше сказать смирные. Ежели Анна обещается вести себя получше, то мы, ей подтвердивши то же, можем прислать. Она же в деревне почти не нужна. Пишешь ты, что посылала в Каширу и получила всё тот же ответ; между прочим, ничего не упоминаешь о 7-й части, или ты, друг мой, до объявления тебе Указа из Нижнего

---

* Не могу разъяснить, про какую *дочку* здесь упоминается; вероятно, это какое-нибудь иносказание.

** Здесь под наименованием мошенника подразумевается Чермак.

Земского Суда решилась не напоминать Д. * об сем деле, или что он забыл тебя об этом уведомить, напиши мне, друг мой. —Пишешь ты, что соседка наша Небольсина вышла за князя Оболенского, и что они свадьбу пировали у Х. **, теперь у него живут, следовательно предполагаемое с ними знакомство не обещает ничего для нас хорошего; я говорю насчет дележа, но пусть будет все так, как Богу угодно, будем ожидать. В прошедшем письме я писал тебе коротко о 30 числе, по причине неприятностей, тебе известных, теперь же скажу тебе больше. Я таки, как быть водится, порядком начал трессировать нашего Геркулеса-доброхода. Во-первых, с тем намерением, чтобы ее поистощить, приказал ей пустить кровь с обеих рук, после через день начал ей давать кладь из глауберовой соли, сабура, скамониума, серы горючей, постного масла пополам с вином, разумеется простым, начал ее выдерживать голодною диетою, назначив в день по 3 фунта мякиша хлеба, по порядочной миске картофельной похлебки, с крепким говяжьим наваром, порядочную чашку каши с молоком, и наконец 50 блинцов или же тарелку макаронов, крепко поджаренных с маслом и с довольным количеством луку; ты, думаю, помнишь, что она до этого блюда охотница ***, и чтобы больше возбудить аппетит, то я посылал ее каждый день к Сухаревой башне за покупкою провианта, Марье же Ивановне **** вина не давал, и ставил перед нею штоф вина с намерением больше возбудить жажду к питию оного, и таким образом все было готово, а я в назначенный день, в сопровождении моих актрис, выступил с важностию, где уже зрителей было большое стечение; но для состязания было только двое, а именно старуха, подобная той, которую, помнишь, мальчишки дразнили жандармом, и один пьяный приказный с опухшею рожею. Слышал я, что было и более, но те, посмотрев на заготовленную провизию, стиснув плечами, удалились. Те же, кои остались двое, то больше для вина,

---

* Кто такой *Д.,* не могу сказать, вероятно, какой-нибудь каширский делец.

** *Х.* — это, конечно, Хотяинцев.

*** Не знаю, что должна обозначать эта аллегория. Только, думаю и знаю, что дело хотя частию идет о няне, Алене Фроловне; Геркулес-доброход — это, конечно, она, но дальнейшего смысла этой аллегории разъяснить не могу.

**** Кто эта Марья Ивановна, не знаю, вероятно, одна из приживалок у нас. Но, впрочем, таковой я не помню.

и я начал было уже торжествовать, но вдруг, к несчастию, нашли тучи, грянул гром, и все рушилось. Так-то, друг мой, все наши замыслы обращаются ни во что. Старухи все приготовленное одним вечером порешили, и я ни больше, ни меньше остался с пустым кошельком. За вареньице и за наливочку благодарю тебя, несравненная моя, медок с чайком кушай, друг мой, и поблагодари за меня старосту. — Прощай, душа моя, голубица моя, радость моя, жизненочек мой, целую тебя до упаду. Детей за меня поцелуй. Кажется, писать нечего, исполни только то, что в прошедших письмах было писано. Прощай, единственный друг мой, и помни навсегда, что я всегда есмь твой до гроба

М. Достоевский».

На полях в виде постскриптума написано:

«Дождь у нас от субботы и до сих пор, то есть до понедельника льет, беда да и только. Ежели и у вас тоже, то горе нам. Прощай, прекрасная моя».

Сверх этих двух писем в собрании моих писем имеется еще письмо папеньки к брату Федору в Петербург. Не знаю, как письмо это попало ко мне, но оно тоже представляет для меня большой интерес, а потому я и это письмо целиком помещаю здесь. Замечательно только то, что письмо это писано из деревни 27 мая 1839 года, то есть за несколько дней до смерти его. Вот это письмо:

«Милый друг Фединька!

Два письма в одном конверте я получил от тебя в прошедшую почту; а теперь, не теряя времени, спешу тебе отвечать. Пишешь ты, что *терпишь* и в лагерях будешь терпеть нужду в самых необходимейших вещах, как-то: в чае, сапогах, и т. п., и даже изъявляешь на ближних твоих неудовольствие, в коем разряде без сомнения и я состою, в том, что они тебя забывают. Как ты несправедлив ко мне в сем отношении! Ты писал, что состоишь должным и просил, чтобы прислать тебе для расплаты, а также и для себя хотя 10 р., вот твои слова. Я выслал тебе *семьдесят пять* рублей на имя Шидловского [50], что составляет с лажем 94 р. 50 к., я полагал, что сего на первый случай будет достаточно, ибо знаю, что и в Петербурге рубль ассигнации ходит выше своего

значения. Теперь ты, выложивши математически свои надобности, требуешь еще 40 руб. Друг мой, роптать на отца за то, что он тебе прислал сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим *, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось; теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы! Жара, ветры ужасные всё погубили. Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это по-видимому не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли роптать на отца за то, что тебе посылает мало. Я терплю ужаснейшую нужду в платье, ибо уже 4 года я себе решительно не сделал ни одного, старое же пришло в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду. Теперь посылаю тебе *тридцать пять* рублей ассигнациями, что по московскому курсу составляет 43 р. 75 к., расходуй их расчетливо, ибо повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать. Я, Николя и Саша, слава Богу, здоровы. От Вареньки получил недавно письмо, она пишет, что все здоровы. Брата ** за письмо не вини, я его в нескольких письмах разбранил, что он, ведя переписку с Шидловским, об тебе писал глухо, что ты здоров и не имеешь никаких неприятностей, не имея сам о тебе ни малейшего сведения; но я на него и сам сердит, что он употребляет время на пустое, на стихокорпание. Твой совет я ему передам. Андрюша, кажется, учится хорошо, но от него давно не получаю ни строчки. Вижу, друг мой, что вас солдаты-служители совершенно грабят;

---

* То есть братьям Федору и Михаилу.

** Брата Михаила.

посоветуйся с кем-нибудь, нельзя ли в лагерях устроить твои дела повыгоднее. Прощай, мой милый друг, да благословит тебя Господь Бог, что желает тебе нежно любящий отец

М. Достоевский.

P. S. Не скучает ли И. Николаевич нашими комиссиями *.

Мая 27-го
1839 г.
С. Даровое».

А вот и два письма маменьки. Оба они писаны в мае месяце 1835 года, то есть тогда, когда маменька была беременна сестрою Сашею.

«1835 г. Мая 3-го дня.

Здравствуй, бесценное сокровище мое, сердечный друг мой, здравствуй!

Милое писмецо твое я получила, за которое душевно тебя благодарю и посылаю бесчисленное множество поцелуев. Сердечно радуюсь и благодарю Бога, что вы, драгоценные мои, все здоровы и благополучны, а об нас не думай. Мы все, слава Создателю, здоровы, бока мои зажили, а кашля и следов не осталось. Напрасно ты себя беспокоишь такими мыслями; то правда, что в разлуке с милыми всего придумаешь, я это знаю по себе. Новостей у нас никаких нет, кроме того, что посев овса, благодаря Бога, вчера окончили; и сегодня и завтра крестьяне по одному брату на себя, а по другому, коекакие мелочные поделочки исправляют; а на будущей неделе примемся за что-нибудь посурьезнее, да надобно же и лошадям их дать вздохнуть, ибо подножный корм еще плох, а в доме у них нет ни сенца, ни соломки. Но теперь есть надежда, что пойдет и травка; вчера и нонче у нас дождички пребесподобные и довольно-таки наделали грязи и потеплело, только все ветрено. Я крайне трусила, что ржи наши опять засохнут, но теперь так все зазеленилось, что мило посмотреть. Подводу высылать не тороплюсь по тем же причинам, разве в конце будущей недели вышлю. Сегодня вздумалось мне пройтиться по

* И. Никол. *Шидловский,* знакомый братьев, с которым отец познакомился, бывши в Петербурге, и очень полюбил его.

грязи пешком в Черемошню, и что же, на дороге два раза мочил меня дождь, и там не удалось и на поля посмотреть, только и видела, что птиц, телят, да пошаталась по саду да с тем и домой пришла. Еще та новость, что Левон и староста просят у тебя невесту, хорошенькую Ульяну. Я Михайлу * спрашивала одного и не добилась толку: за которого угодно вашей милости, да и только; клянется, что для него оба жениха хороши, а сам он никак не может решительно сказать, а за кого мы благословим. Я, друг мой, не могу сама собою сего устроить, а оставляю до твоего приезда, чтоб при тебе и свадьбу сыграть.

Черемошенским беднягам я поделила овса, остального после посева в Черемошне: Исаю дала три четверти, Андрею — три, Михайле — на новое тягло две с половиною, Матвею — одну четверть, всего девять четвертей с половиною; что делать, не оставить же... ** Даровские же покуда еще не являлись за овсом. Душевно рада я, что вы все, мои голубчики, воскресенье провели денек у родных и от души благодарю их, что дали вам удовольствие быть всем вместе, я думаю, Варенька была вам очень рада, да к тому же и от меня весточка пришла кстати, как будто и я, мои милые, была с вами. А мне этот день очень было скучно, я все продумала об вас, и, разумеется, не придумала ничего хорошего для своего утешения. Прощай, дружочек мой, не взыщи, что в письме моем нет ни складу, ни ладу, пишу все, что на ум попало. Дети целуют твои ручки и радуются, что обещаешься скоро к нам приехать. 45-пудовая гиря *** свидетельствует тебе свое почтение и благодарит за память твою об ней, детям поручает сказать то же, прибавляя, что она исчезает. У ней кашель и она думает, что это чахотка. Прощай, сокровище мое, поцелуй за меня детей, не скучай, мой милый, и будь здоров и спокоен, а я пребуду до гроба верная, без границ любящая тебя подруга твоя

М. Достоевская».

В приписке:

«Милые дети, благодарю вас за ваши письма; верьте, что всякая строчка ваша в разлуке моей с вами утешает меня несказанно. Целую вас, прощайте».

---

* Михайло, отец Ульяны, а Левон и староста — два претендента на руку Ульяны для своих сыновей. А Ульяну, вероятно, и не спрашивали.

** Одно слово вырвано.

*** Речь идет о няне Алене Фроловне.

Еще приписка сбоку:

«Скажи мой поклон *Василисе* *, ежели она того стоит».

Еще приписка сбоку:

«Не пригласить ли тебе, друг мой, Евлампию Н. к себе погостить, тебе от скуки хоть было бы с кем слово сказать».

Вот второе письмо:

«Мая 31-го дня 1835 года.

От всей души радуюсь, единственный, милый друг мой, что Творец Небесный хранит вас здоровыми. О себе скажу так же, что и мы все здоровы, в деревнях твоих все благополучно, нового и у нас ничего нет, а все старое.

До сих пор, милый друг мой, я утешала тебя, сколько могла, в душевной грусти твоей, а теперь не взыщи и на мне. Последнее письмо твое сразило меня совершенно;[51] пишешь, что ты расстроен, растерзан душою так, что в жизни своей никогда еще не испытал такого терзания, а что так крушит тебя — ничего не пишешь. Неужели думаешь, что грусть твоя чужда моему сердцу; ответы твои на письмо мое столь холодны и отрывисты, что я не знаю, отчего такая перемена. Насчет моих денег — не удивляйся и не сумневайся, мой друг, они суть остатки моей сбережливости, а приобретать и я скажу так же, что не имею средств[52]. Расходам своим я веду счет, и при свидании ты его от меня получишь и не будешь удивляться моему богатству; своих же я никогда не имела от тебя скрытных и даже одной копейки. В прошедшем письме твоем ты упрекнул меня изжогою, говоря, что в прежних беременностях я ее никогда не имела. Друг мой, соображая все сие, думаю, не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, Самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастием и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред Святым алтарем в день нашего брака! Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей — любви чистой, священной, непорочной и страстной, не изменяемой от самого брака нашего! Довольно ли сей клятвы для

---

* Василиса — прислуга (прачка).

тебя, которой я никогда еще не повторяла тебе, во-первых потому, что стыдилась себя унизить клятвою в верности моей на шестнадцатом году нашего союза; во-вторых, что ты по предубеждению своему мало расположен был выслушать, а не только верить клятвам моим; теперь же клянусь тебе, щадя твое драгоценное спокойствие; к тому же и клятва моя, я полагаю, более имеет вероятности, судя по моему положению: ибо которая женщина в беременности своей дерзнет поклясться Богом, сбираясь ежечасно предстать пред Страшный и Справедливый суд Его! Итак угодно ли тебе, дражайший мой, поверить клятве моей или нет, — но я пребуду навсегда в той сладкой надежде на Провидение Божие, которое всегда было опорою моею и подкрепляло меня в горестном моем терпении! Рано или поздно Бог по милосердию Своему услышит слезные мольбы мои и утешит меня в скорби моей, озарив тебя Святою Своею истиной, и откроет тебе всю непорочность души моей! Прощай, друг мой, не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей; прости меня, друг мой, что не скрыла от тебя терзания души моей; не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей; что касается до меня, — повелевай мною. Не только спокойствием, и жизнию моею жертвую для тебя. Прощай, поцелуй за меня детей.

М. Достоевская».

В приписке:

«Ради самого Создателя прошу тебя, друг мой, не крушись; уж не болен ли ты, голубчик мой? не предчувствие ли меня терзает? Боже мой, Заступница Милосердная, Царица Небесная, сохрани и помилуй тебя, милого моего друга. Ах, когда бы дождаться воскресенья, не получу ли я какой отрады от тебя, души моей! Обо мне не беспокойся, я совершенно здорова, только грустно, мочи нет, грустно!..»

А вот еще приписка, написанная на отдельном листочке и приложенная к последующему письму (которого у меня нет), писанному, вероятно, вслед за приведенным выше, в начале июня 1835 года:

«Прости меня, дражайший, милый друг мой, что я моею грустию наделала тебе столько горя, но посуди и обо мне, голубчик мой, каково и мне было?.. Ты знаешь, что для меня всегда было невыносимо горько видеть тебя

в сей лютой и несправедливой горести, кольми же паче теперь, в разлуке, представлять тебя в своем воображении грустным, расстроенным даже до отчаяния, и отчего же?.. от ложного понятия, которое Бог знает отчего тебе приходит в голову. Не жалуйся, друг мой, чтоб я горячо приняла сие вдруг, судя односторонне, нет, друг мой, я, может быть, раз с 50 перечитала твое письмо, думала и передумывала, что бы такая за отчаянная грусть терзала тебя, которой ты в жизни своей не имел; наконец мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце. Горестное предчувствие утвердило меня в сей догадке, и поверишь ли, друг мой, я Света Божьего не взвидела; нигде не могла себе найти ни места, ни отрады. Три дни я ходила как помешанная. Ах, друг мой, ты не поверишь, как это мучительно! Еще ты пеняешь мне, что я неосторожно все доверила бумаге, что лежало на сердце. Но каково же бы было для меня оставить все на безотрадном моем сердце? Ты еще не испытал сего и потому так судишь. Я не сомневаюсь в любви твоей и чту твои чувствования, боготворю ангельские твои *правила*, — но сама, хотя и люблю еще более, люблю без всяких сомнений, с чистою, Святою доверенностию... и любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким под<озрением>, тогда как я дышу моею *любовью*. — Между тем, время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу; веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на Провидение, то конец судьбы моей самый бы был плачевный. Прости мне, что пишу резкую истину чувств моих. Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобою, другом моим единственным, все, что имею на сердце, прости, дражайший мой друг. Пишу на лоскутке особенно, чтобы кроме тебя никто не мог читать сего, только заклинаю тебя твоею же любовию, не огорчайся и не сокрушайся обо мне, я давно уже покорилась судьбе моей и *обтерпелась*. — Целую тебя без счету».

Приведя здесь эти письма моих родителей, я вполне убежден, что кому случится прочесть письма отца, тот верно не назовет его человеком *угрюмым, нервным, подозрительным,* как наименовал его покойный О. Ф. Мил-

лер в Биографии Ф. М. Достоевского (см. стр. 20 Первого тома, первого издания сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1883 г.) со слов и воспоминаний будто каких-то родственников![53] Нет, отец наш ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким-то *букой.* Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым. Кто же прочтет письма маменьки, тот, конечно, скажет, что эта личность была *незаурядная*! В начале тридцатых годов владеть так пером и излагать свои мысли не только красноречиво, но подчас и поэтично — явление незаурядное. Этак писать и нынешней высокообразованной светской даме не стыдно, а матушка моя была личность, получившая домашнее образование в двадцатых годах текущего столетия в одном из скромных и патриархальных московских купеческих семейств.

В заключение не могу не упомянуть о том мнении, какое брат Федор Михайлович высказал мне о наших родителях. Это было не так давно, а именно, в конце 70-х годов; я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..» Этим я и закончу свои воспоминания о детстве своем в доме родительском, то есть первую квартиру своей жизни.

КВАРТИРА ВТОРАЯ

В ПАНСИОНЕ ЧЕРМАКА

Пансион Леонтия Ивановича Чермака был одним из старинных частных учебных заведений в Москве, по крайней мере в то уже время он существовал более 20 лет. Помещался он на Новой Басманной, в доме бывшем княгини Касаткиной, возле Басманной Полицейской части, напротив Московского сиротского дома. В заведение это принимались дети большею частью на полный пансион, то есть находились там в течение целой недели, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздников.

Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их, и в то же время — присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, — вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л. И. Чермака был близок к этому идеалу. Говорю только *близок,* потому что совершенства нет ни в чем. Преподавателями в пансион избирались только лица, зарекомендованные казенными инспекторами; таковыми инспекторами в мое время были Ив. Ив. Давыдов, Дм. Матв. Перевощиков и Брашман — всё известные профессора Московского университета. В высших же классах даже и преподаватели были профессора университета, напр., Дм. М. Перевощиков по математике и Ив. Ив. Давыдов по русской словесности и другие. Уроки начинались ежедневно в 8 часов утра в следующем порядке: 1) от 8-ми до 10-ти час; 2) от 10-ти до 12-ти час. После этого урока следовал обед. Послеобеденные классы были: 3) от 2-х до 4-х, и 4) от 4-х до 6-ти час. вечера. Далее следовал чай и время для приготовления уроков. В 9 час. был ужин, после которого все шли в спальню. Сам Леонтий Иванович, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казенных учебных заведений. В начале каждого урока он обходил все классы, якобы для того, чтобы приветствовать преподавателей, если же заставал класс без преподавателя, то оставался в нем до приезда запоздавшего учителя, которого и встречал добрейшей улыбкой, одною рукою здороваясь с ним, а другою вынимая свою золотую луковицу, как бы для справки. При таких порядках трудно было и манкировать! Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыходно. Я сам испытал это в учебный 1838—1839 год, потому что отец тогда жил в деревне, к Масловичам я перестал ходить, а тетя Куманина брала меня очень редко. Отличных по успехам учеников, то есть каждого получившего четыре балла (пятичная система баллов тогда еще не существовала), он очень серьезно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и ученикам старших классов, но никогда ни один из них не принимал этого

с насмешкой, потому что всякий знал, что Леонтий Иванович — старик добрый и что над ним смеяться грешно! Ежели кто в пансионе заболевал, Чермак мгновенно посылал его к своей жене, говоря: «Иди к Августе Францовне...», но при этом впопыхах так произносил это имя, что выходило *к Капусте* Францовне, вследствие чего мы, школьники, и называли старушку Капустой Францовной, но все любили и уважали ее. Она сейчас уложит заболевшего и примет первые домашние меры, а затем пошлет за годовым доктором, которым в мое время был Василий Васильевич Трейтер. При этом не могу не сделать сопоставления между Чермаком и Кистером. Василий Васильевич Трейтер был годовым врачом у Чермака на тех же самых основаниях, как мой папенька был у Кистера, то есть Трейтер был годовым врачом в пансионе, а за гонорар в пансионе воспитывался его сын Александр. Чермак и виду не показывал, что он делает одолжение Трейтеру, напротив, оказывал особое внимание его сыну, как сыну хорошего своего знакомого. Что же касается Кистера, то он на меня не обращал никакого внимания, и как бы явно показывал, что я у него обучаюсь даром!.. А мальчики как хорошо и зорко могут это заметить и угадать!

Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. По праздникам же, вследствие небольшого количества остававшихся пансионеров, и весь женский персонал его семейства обедал за общим пансионским столом.

Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет; ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Федора и Михаила Михайловичей) я могу указать на Губера, Геннади, Шумахера, Каченовского и Мильгаузена (бывшего потом ректором Московского университета).

Я слышал впоследствии, что Л. Ив. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности. Ежели рассматривать это обстоятельство с коммерческой точки зрения, то Чермака нельзя отнести ни к неосторожным, ни к несчастным банкротам. Можно сказать, что все могущие быть сбережения (а они могли быть значительны) Леонтий Иванович Чермак принес в дар московскому юношеству!..

Итак, как выше упомянуто, я поступил в пансион Чермака в августе месяце 1837 года. Мне было уже двенадцать лет, но я поступил только в первый класс. Это было желание папеньки, чтобы я начал школу с самого начала. От этого я потерял один год, но оказался в выигрыше в том, что был в классе год ежели не первым, то из лучших. Кстати, об этом первенстве. В пансионе Чермака ни в одном классе не существовало пересадок учеников по баллам, и не было ни первых, ни последних. Каждый занимал в классе место, какое хотел, но, раз занявши, оставался на этом месте по всем урокам в течение всего года. Списки же учеников в тетрадях для проставления баллов велись в алфавитном порядке. Конечно, в первое время пребывания в пансионе мне казалось и дико и скучно! Мысль, что все близкое мне — стало далеким, не раз мелькала в моем детском уме. Но и тут нашлось утешение. Некоторые воспитанники старших классов, бывшие товарищами братьев, не раз останавливали меня вопросом: «Ну, что, Достоевский, как поживают твои братья, что тебе известно о них?..» Я отвечал, что знал, и вопросы эти очень утешали меня тем, что и здесь, в кругу всех чужих, имелись личности, которые знали и сочувствовали моим родным братьям.

Учителей в первом классе было немного. Во-первых, батюшка — священник, а затем учитель русского и латинского языков, а также арифметики. Новые языки преподавались гувернерами. Законоучителем у нас был священник из Петропавловской (на Новой Басманной) церкви Лебедев. Это в мое время был уже старичок. Для меня же он был замечателен тем, что он венчал моих родителей, и он же вместе с отцом Иоанном Баршевым и хоронил мою маменьку, следовательно, он был для меня как бы знакомою личностью. О нем, как о преподавателе, ничего сказать нельзя, это был учитель, задающий *отселе* и *доселе.* С третьего класса он уже не был моим учителем, да и вообще оставил пансион. На его место, по совету инспектора, взят был законоучитель 2-й московской гимназии (что на Разгуляе) священник Богданов из прихода Никола в Воробине; но о нем после. Учитель русского и латинского языка был один и тот же, это — Никанор Александрович Елагин. Для низших и средних классов это был учитель незаменимый! Не мудрствуя лукаво, он преподавал разумно и толково и заставлял учеников вполне понять то, что они заучивают! Грамматику этих двух языков он преподавал почти

параллельно. Переводили же мы в первых двух низших классах «Epitome Historiae Sacrae»[54] с латинского на русский язык; а когда несколько статей было переведено письменно, то мы в классе, при закрытом латинском тексте, силились переводить с русского на латинский. Конечно, сии последние упражнения были классные, в присутствии учителя. Как человек, он был большой оригинал. Во-первых, его хорошая сторона была та, что он никогда не манкировал и не опаздывал в класс. Это были ходячие часы. Когда он входил утром в переднюю, то было без 5-ти минут восемь, и ровно с последним звуком боя часов он входил в класс и садился на кафедру. У него был брат — часовой мастер, — а Никанор Александрович, бывая в пансионе каждодневно, взял на себя как бы обязанность проверять часы, стоящие в передней. С Чермаком он говорил почему-то всегда на немецком языке. Выйти из класса ранее хотя бы тремя минутами он не позволял себе. Часто после звонка о перемене Чермак отворял дверь класса и говорил: *«Никанор Александрович, ес ист шон цейт».* — *«Нейн, Леонтий Иванович, нох цвей минутен, мейн ур ист рихтиг»...* И никакие силы не могли выгнать его из класса! Еще особенность: он чрезвычайно не любил, когда в класс входили дамы; а это иногда случалось, потому что маменьки часто любопытствовали, где сидят их сынки. Не знаю, было ли это случайностью или это устраивалось нарочно, но только при появлении дам он всегда задавал вопрос о повелительном наклонении глагола scire (знать), и ежели ученик конфузился и отвечал тихо, то Елагин громогласно немного в нос и нараспев выкрикивал эти формы: sci, scite, scitote, sciunto *.

Учителем арифметики был некто старичок Павловский. Это, собственно говоря, не был учителем арифметики, а скорее учителем счисления. Никаких арифметических правил он не объяснял, говоря, что это будет в высших классах, а придя в класс, задавал каждому ученику цифровую задачу на первые четыре правила арифметики, и обращал только внимание на то, чтобы задача была сделана скоро и правильно. В его классе, то есть в продолжение 2-х часов, каждый ученик успевал сделать задачи по четыре, иной раз и по пяти больших, сдать их учителю для проверки и получить соответствующий

---

* Но сейчас же и переводил на русский язык: *знай, знайте, пусть они знают...,* чтобы дамы не подумали чего-нибудь неприличного. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

балл. Но зато же ученики, как говорится, и насобачились в этом искусстве.

Теперь следует упомянуть о двух надзирателях. Собственно надзирателей было до пяти человек, но эти двое постоянно бывали в 1-м классе и занимались в нем с учениками как учителя. Первый из них был француз m-r Манго. Это был мужчина лет 45-ти, очень добродушный, а главное, ровный господин, никогда он, бывало, не вспылит, а всегда хладнокровный и обходчивый. Обязанность его, кроме надзирательства, была читать с нами по-французски; действительно читал он мастерски, так что и в высших классах часто занимался этим, но по части грамматики был плоховат и не брался за нее. Он был барабанщиком великой наполеоновской армии; в 1812 году был взят в плен и с тех пор остался в Москве. Так как он очень правильно говорил по-французски и отлично читал, то ему и было дозволено быть надзирателем или гувернером. У Чермака он был уже очень давно и считался исправным надзирателем.

Другой надзиратель был немец г. Ферман. Этот, в свою очередь, занимался с нами чтением по-немецки. Его брат был учителем гимназии по немецкому языку и учил также и у нас, начиная со 2-го класса. <...>

Прошла уже целая неделя после экзаменов, и я каждый день поджидал или самого папеньку, или приезда за мною лошадей. Но день проходил за днем, а желание мое обрадовать папеньку полученною мною наградою не осуществлялось! — Наконец настал Петров день (29 июня). Я почти целый день проводил в тенистом саду, бывшем при пансионе. После обеда, часу в 5-м дня, вдруг меня зовут к Чермаку, говоря, что за мною кто-то приехал. Я мгновенно бегу в дом и в нижнем коридоре встречаю двух личностей: 1) дядю Дмитрия Александровича Шер и 2) Тимофея Ивановича Неофитова. Оба они встретили меня с какими-то постными лицами; но, не говоря уже об этих постных лицах, одно неожиданное появление обладателей этих лиц внушило во мне ожидание чего-то ужасного.

— Давно ты не получал известий от папеньки? — спросил меня после первого приветствия дядя Шер.

— Да, давно уже; здоров ли папенька, приехал ли уже в Москву? Я ежедневно ожидаю его!

— Твой папенька приказал тебе долго жить [55], — брякнул на это Шер.

Что со мною сталось — уже не помню. Знаю только, что меня нашли в дортуаре, в верхнем этаже здания, лежащим на чьей-то койке и истерически рыдающим. С Чермаком чуть не сделался удар, когда он увидел меня в таком положении. Наконец меня привели в сад и опять отвели к приехавшим двум господам. От них я узнал, что папенька умер уже несколько недель и что меня не извещали потому, что не желали тревожить меня во время экзаменов, что брат Николя и сестра Саша уже взяты из деревни и находятся теперь у дяденьки Александра Алексеевича и что меня теперь повезут туда же. Долго не мог я хоть сколько-нибудь успокоиться: но вот, наконец, собрали все мои вещи и книги, образовался узел порядочный; я распрощался с добрейшим Леонтием Ивановичем и поехал на одном экипаже с дядей Дмитрием Александровичем, а Неофитов поехал на отдельном экипаже.

Расплаканный и расстроенный донельзя, я достиг, наконец, куманинского дома. День был ясный и жаркий, было уже часов 6 вечера, и дядя, тетя и мои три сестры и брат все находились в саду. Повели и меня в сад. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что сестры и брат, а равно и весь дамский персонал были в трауре. Я подошел к дяде и весь в слезах и рыдая припал к его груди. Этим как будто бы без всяких слов и без всяких просьб поручал себя его доброте и покровительству [56]. Сцена произошла трогательная, даже дядя, человек крепкий и твердый, казалось мне, прослезился; тетка же и бабушка приняли меня в свои объятия и горько расплакались.

— Ну, полно, полно, — прервал эту сцену дядя, — иди к сестрам и брату и постарайся успокоиться.

Тогда только я бросился целовать сестер и брата, и вскоре первая жгучая боль обрушившегося на меня несчастия притупилась. Мы так долго не видались, что разговорам не было конца. Конечно, Шер и Неофитов отрапортовали дяде и тетке, как встречено было мною известие, а равно и то, что я учился хорошо и получил награду. Вскоре позвали опять меня и велели показать мою награду. Этим, кажется, окончательно горе мое притупилось; но мне ведь было всего четырнадцать лет!!! <...>

Сперва от меня как будто бы скрывали причину смерти отца, говоря, что он скончался в одночасье, скоропостижно,

ударом и т. п. Но из разговоров, высказываемых вскользь, которым я был свидетелем, я вскоре убедился, что сообщения эти неверны, и я начал приставать сперва к сестре, а потом и к тетушке, чтобы мне сказали всю истину, и в результате достиг того, что от меня перестали скрывать действительную причину смерти отца, то есть *что он был убит своими крестьянами.* Впоследствии я много слышал подробностей этого убийства как из уст сестры Варвары Михайловны, а главное, от девушки Ариши и от няни Алены Фроловны[57]. Но прежде нежели поведаю эти подробности, скажу несколько слов о последних двух личностях:

1) Ариша, или впоследствии Арина Архипьевна. Я говорил уже, что девушка эта ходила за больною маменькою и что маменька, кажется, и кончилась на руках Ариши. После смерти маменьки тетенька энергично настояла, чтобы папенька выдал Арише формальную вольную, что и было исполнено. Тетушка взяла ее к себе в услужение и приписала в московские мещанки. Во время описываемого Арина Архипьевна жила у тетушки и ходила за ней. Конечно, к ней приходили родные из деревни, и от них-то она слышала все подробности, переданные мне впоследствии. Арина Архипьевна жила у тетушки до самой ее смерти, то есть до 29-го марта 1871 года, после же смерти тетушки ее поместили в одну из московских богаделен, где она и жила, впрочем, не очень долго и там умерла.

2) Няня Алена Фроловна. Эта личность жила вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицею катастрофы, то есть видела труп отца. Она после смерти отца привезена была вместе с детьми в Москву. Но так как она была не нужна Куманиным, то ее поместили в богадельню. Сперва она очень боялась богадельни, но потом была очень довольна и говаривала, что и в Царстве Небесном лучше и спокойнее быть не может. Она ходила довольно часто к Куманиным, и тут-то во время каникул 1839 года я услышал от нее все подробности жизни отца в деревне и его убиение. Чтобы покончить с Аленой Фроловной, хотя, может быть, и придется о ней поговорить, — скажу теперь, что Алена Фроловна умерла в глубокой уже старости в 1850-х годах.

Теперь приступаю к описанию жизни отца в последнее время в деревне и к причине его смерти, то есть его убиению.

Из приведенной мною переписки моих родителей видно, насколько отец любил свою жену. Время с кончины

матери до возвращения отца из Петербурга было временем большой его деятельности, так что он за работою забывал свое несчастие или по крайней мере переносил его нормально, ежели можно так выразиться. Затем сборы и переселение в деревню тоже много его занимали. Но наконец вот он в деревне, в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены... После очень трудной двадцатипятилетней деятельности отец увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества! Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было сорок шесть — сорок семь лет. По рассказам няни Алены Фроловны, он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой, и отвечая себе ее обычными словами!.. От такого состояния, в особенности в уединении, не далеко и до сумасшествия! Независимо от всего этого, он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении кто особенно осудит его за это?! Все эти обстоятельства, которые сознавал и сам отец, заставили его отвезти двух старших дочерей, Варю и Верочку, в Москву к тетушке. Варя поселилась там жить с весны 1838 года, а Верочка в то же время отдана была в пансион, что при церкви лютеранской Петра и Павла, то есть туда же, где воспитывалась и Варенька. Во время пребывания моего в последний раз в деревне, то есть летом 1838 года, я ничего ненормального в жизни отца не заметил, несмотря на свою наблюдательность. Да, может быть, и отец несколько стеснялся меня. Но вот он опять остался один на глубокую осень и долгую зиму. Пристрастие его к спиртным напиткам видимо увеличилось, и он почти постоянно бывал не в нормальном положении. Настала весна, мало обещавшая хорошего. Припомним почти отчаянные выражения отца в письме к брату Федору от 27 мая 1839 года[58], то есть за несколько дней до его смерти, и мы поймем, в каком положении находился он!.. Вот в это-то время в деревне Черемошне на полях под опушкою леса работала артель мужиков, в десяток или полтора десятка человек; дело, значит, было вдали от жилья! Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, а может быть, только казавшимся ему таковым, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик силь-

ною грубостию и вслед за тем, убоявшись последствия этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!..» — и с этим возгласом все крестьяне, в числе до пятнадцати человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним!..

Как стая коршунов, наехало из Каширы так называемое Временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления! Не знаю, на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что Временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, причем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова.

Прошло, я думаю, не менее недели после смерти и похорон отца, когда в деревню Даровую приезжала бабушка Ольга Яковлевна, посланная дядею за оставшимися сиротами. Бабушка, конечно, была на могиле отца в селе Моногарове и из церкви заезжала к Хотяинцевым. Оба Хотяинцева, то есть муж и жена, не скрывали от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дело как ей, так и кому-либо другому из ближайших родственников. Причины к этому выставляли следующие:

а) отца детям не воротишь;

б) трудно предположить, чтобы виновное Временное отделение дало себя изловить; по всей вероятности и второе переосвидетельствование трупа привело бы к тем же лживым результатам;

в) что ежели бы, наконец, и допустить, что дело об убиении отца и раскрылось бы со всею подробностию, то следствием этого было бы окончательное разорение оставшихся наследников, так как все почти мужское население деревни Черемошни было бы сослано на каторгу.

Вот соображения, ежели только можно было допускать соображения по этому предмету, по которым убиение отца осталось нераскрытым и виновные в нем не потерпели заслуженной кары. Вероятно, старшие братья узнали истинную причину смерти отца еще ранее моего, но и они молчали. Я же считался тогда малолетним.

Наконец, каникулы закончились, и я был отвезен опять в пансион Чермака и начал учение уже в третьем классе.

В этом третьем классе я пробыл весь учебный 1839—1840 г.

Все порядки и обычаи пансиона оставались те же, что и в предшествующие годы. <...>

Я мечтал, что через один год я окончу курс в 5-м классе пансиона Чермака и затем поступлю в университет. Мечта моя была поступить на математический факультет. Но оказалось, что мечты мои были преждевременны и что им не суждено было осуществиться.

К концу каникул приехал в Москву в отпуск брат Михаил[59]. <...> Брат заявил тетушке, что, по его мнению, мне не следовало бы поступать в университет, а нужно бы меня отправить в Петербург для приготовления к поступлению в Главное инженерное училище, где учится и брат Федор, тогда уже тоже произведенный в прапорщики и перешедший в офицерские классы, причем сообщил, что я мог бы жить у брата Федора, который и приготовил бы меня к поступлению в училище. Тетушка была очень обрадована этим советом, и тут же было решено, что я отправлюсь вместе с братом Михаилом в Петербург и поселюсь на житье у брата Федора, который меня будет приготовлять к поступлению в училище. Сейчас же начались сборы и снаряжение меня в дальний путь. Признаться сказать, я был не очень доволен этим решением, потому что мысль об университете, столь мне симпатичная, этим решением совершенно рушилась, а будущее в Петербурге представлялось мне в тумане. Но, впрочем, перемена места жительства, перспектива пожить в Петербурге — вскоре примирили меня с этим решением. Но ежели бы и не так, то что мог бы я предпринять против этого проекта?.. Тетушка не иначе смотрела на предложение брата, как на святое с его стороны дело, прийти на помощь младшему брату, и всякий со стороны моей протест был бы принят за черную неблагодарность. Но, как выше упомянуто, я успокоился на соблазнительной перспективе жить в Петербурге. Отпуск брата приходил к концу, и вскоре был назначен день нашего выезда. Ежели не ошибаюсь, то это было в первых числах октября. Но, впрочем, достоверных сведений о времени выезда я не имею.

Тетушка снарядила меня очень приличной и полной экипировкой, благословила золотым образом и дала мне на руки, собственно на мои траты, рублей двадцать пять денег. Прощание с братом Николаем и сестрами было очень трогательное... Ехать мы решились в почтовой

карете или так называемом мальпосте. Эти кареты, по две зараз, отходили ежедневно из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву, по вечерам. Билеты на проезд брались заблаговременно, и в назначенный день и час пассажиры должны были приезжать со своею кладью в Почтамт и оттуда отправляться в дальний путь. Брат взял для себя и для меня два места спереди кареты, в так называемых передних колясках, тут же имелось и третье место, отгороженное от двух первых, для кондукторов. В день нашего отъезда нас провожали в Почтамт сестра Варенька и ее добрый муж Петр Андреевич. С большою скорбью я расстался в этот день сперва с тетушкой, а на месте самого отъезда и с сестрою и зятем. Кондуктор протрубил, и все пассажиры поспешили занять свои места. Мы с братом уселись в свою колясочку и, помню, еще долго сидели и разговаривали с сестрою. Разговоры не клеились, как обыкновенно, в минуту расставания. Наконец эта минута настала. С трубным звуком кондуктора карета двинулась, и мы, сказав последнее прости провожавшим, грузно покатились по улицам Москвы. Вскоре и улицы прекратились, и карета наша покатилась по гладкому и вполне исправному в то время шоссе. Я простился со своею роднею, со своим детством, и надолго распрощался с Москвою.

КВАРТИРА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. ЖИЗНЬ У БРАТА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Двух с половиною суточное путешествие в мальпосте было самое мучительное из всех путешествий, когда-либо мною испытанных. Много впоследствии, в продолжение своей жизни, я совершал путешествий и железнодорожных, и по воде на пароходах, и просто на перекладных лошадях, но ни один из этих способов путешествия не был так мучителен, как путешествие в мальпостах. Начать с того, что тут пассажир отрекается от своей свободы и подчиняется вполне правилам езды. Заболел ли кто из пассажиров, кондуктору нет дела, он мчит карету с тою же скоростью, лишь бы в назначенное время поспеть к известному месту. От постоянного сидения в одном положении ноги затекают, немеют, и человек чувствует себя совершенно связанным. К довершению благ наступили довольно значительные морозцы, и я чуть

не отморозил себе ноги. Еще днем хорошо, разнообразие открывающихся ландшафтов занимает путешественника, но ночью, в особенности вторую и третью ночь, когда утомишься от бессонницы, одолевают какие-то кошмары, являются какие-то видения и прочая чепуха. Никогда не любил я путешествий в мальпостах, хотя и приходилось раза четыре проехать это пространство. Наконец, на третьи сутки мы ввалились в Петербургский почтамт и оттуда на извозчиках проехали в квартиру брата Федора.

Переезд по видным улицам Петербурга — Большой Морской, Невскому проспекту и Караванной — в осенние петербургские сумерки не произвел на меня приятного впечатления, а водворение в мрачную и низенькую квартиру брата еще более разочаровало меня. Брат в то время жил в Караванной улице близ самого Манежа, так что ему близко было ходить в офицерские классы Главного инженерного училища. Он занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня; но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат — вторую, каждая комната была о двух окнах, но они были очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом. Мы ввалились в братнину квартиру в сумерки. Первая встреча с братом Федором была тоже не из особо теплых. Большее внимание было обращено на старшего брата, а я в первое время даже чувствовал себя в неловком положении. Меня представил брат Адольфу Ивановичу Тотлебену, который был так добр, что занялся мною. Два же старшие брата заперлись в комнату брата Федора, оставив меня в комнате Тотлебена. На ночлег тоже два старшие брата уединились, а я ночевал на турецком диване в комнате Тотлебена. Это продолжалось во все пребывание брата Михаила в Петербурге. По отъезде же его в Ревель я переселился на ночлег к брату Федору, но все-таки особо родственным вниманием брата не пользовался.

Обдумывая, как тогда, так и впоследствии, обращение со мною обоих братьев, я пришел к убеждению, что оно вызвано было с их стороны боязнью, чтобы я не поставил себя на одну равную ногу с ними, чтобы я не зазнавался, а потому и напускали на себя в отношении ко мне высокомерное обращение, казавшееся и тогда мне очень смешным, но которое все-таки отдалило и меня от них.

Не знаю, что сказать мне про первые впечатления жизни в Петербурге. Брат Михаил, спеша в Ревель, оставался в Петербурге несколько дней. В эти дни я с ним по утрам постоянно ходил по городу, как для того, чтобы немножко ознакомиться с ним, так и для помощи брату; брат был очень близорук и постоянно просил меня останавливать его при встрече с вит*о*й кокардой (генеральские кокарды на треуголках) для того, чтобы он мог отдать вовремя подобающую генералам честь. Эту честь в то время отдавали довольно оригинально, а именно, офицер, встретившись с генералом, должен был остановиться во фронт, сбрасывать с левого плеча шинель, чтобы показать или обозначить эполет, а правою рукой прикоснуться к треуголке (как нынче к козырьку; в то же время почти все офицеры носили треуголки). За соблюдением этого правила следилось очень строго, а потому, идя по Невскому и другим большим улицам, офицеры не могли застегивать воротника шинели, потому что почти беспрестанно приходилось сбрасывать шинель с левого плеча. Эта операция делалась очень ловко, и другие офицеры доводили ее до особой грациозности. Я же всегда удивлялся, как они во время грязи умудряются не запачкать левой полы шинели.

Первые мои впечатления были не в пользу Петербурга. Хотя Невский проспект и Морская прельщали меня своею красотою, но я, как истый москвич, на все смотрел как-то подозрительно, не доверяя сразу кажущейся красоте, а суетливая беготня прохожих положительно изумляла меня, и я, сравнивая это со степенною походкою москвичей, отдавал предпочтение московской степенности и неторопливости. Да сверх того два-три часа, проведенные на улицах, как бы они приятны ни были, не могли возместить страшной скуки, преследующей меня в доме.

Брат Михаил уехал в Ревель. Брат же Федор с раннего утра уходил в офицерские классы Инженерного училища; то же делал и сожитель его Тотлебен; а я на все утро оставался дома один. В первое время брат долго не собрался доставить мне руководств для приготовления; литературного же чтения тоже на квартире не имелось, и я пропадал со скуки. Наконец я догадался и на свои деньги записался в библиотеку для чтения, чтобы брать книги на дом. Месячная стоимость тогда за чтение книг была полтора рубля, и сверх того семь рублей задатку. С этих пор я постоянно занимался чтением журналов и книг. Из старых книг я, по совету брата, прочел всего

Вальтер Скотта. К Адольфу Ивановичу Тотлебену довольно часто приезжал его родной брат Эдуард Иванович, впоследствии знаменитый инженер, защитник Севастополя и герой Шипки, граф Тотлебен. В то же время, как я с ним познакомился, он был незаметным штабс-капитаном, мужчина лет тридцати и даже с хвостиком. Замечательно, что он, как я тогда слышал, окончив обучение в кондукторских классах Главного инженерного училища, по каким-то обстоятельствам не мог поступить в офицерские классы, а был командирован в саперные войска, в каковых и провел вплоть до чина генерал-майора. А потому, собственно-то говоря, и с ним случилась та аномалия, что он, сделавшись впоследствии великим и знаменитым инженером, должен был считаться не окончившим курс в Инженерной академии. <...>

Сожительство брата с Адольфом Тотлебеном было очень недолгое. Не припомню, когда именно они разошлись, знаю только, что в декабре месяце, когда я заболел [60], то мы жили уже с братом одни *.

Какая была у меня болезнь, теперь я не могу определенно сказать, кажется, я где-то простудился и у меня сделалась сильнейшая тифозная горячка; по крайней мере я долгое время лежал и наконец сделался в беспамятном состоянии. Брат ухаживал за мною очень внимательно, сам давал лекарства, предписываемые доктором, который ездил ежедневно. Но тут-то и случился казус, напугавший сильно брата и, кажется, бывший причиною моего очень медленного выздоровления. Дело в том, что одновременно с моею болезнию брат лечился сам, употребляя какие-то наружные лекарства в виде жидкостей. Раз как-то ночью брат, проснувшись и вспомнив, что мне пора принимать микстуру, спросонья перемешал склянки и налил мне столовую ложку своего наружного лекарства. Я мгновенно принял и проглотил его, но при этом сильно закричал, потому что мне сильно обожгло рот и начало жечь внутри!.. Брат взглянул на рецептурку и, убедившись в своей ошибке, начал рвать на себе волосы и сейчас же, одевшись, поехал к пользовавшему меня доктору. Тот, приехав мгновенно, осмотрел склянку наружного лекарства, которое мне было дано, прописал какое-то противоядие и сказал, что это может замедлить мое выздоровление. Слава Богу, что не произошло худшего,

---

* Впоследствии я ничего не слыхал об Адольфе Ивановиче Тотлебене: кажется, он умер в молодых годах. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

а что выздоровление действительно замедлилось, то в этом мы с братом убедились оба.

С началом моего выздоровления случился новый казус — заболел брат и должен был лечь в лазарет при Главном инженерном училище. Я же дома остался совершенно одиноким. Но как медленно было выздоровление мое вначале, так оно быстро восстанавливалось впоследствии, причем аппетит у меня сделался чисто волчий. Скоро я начал выходить, и это, конечно, опять стало развлекать меня. К числу своих развлечений отнесу и то, что я почти ежедневно описывал свои впечатления, адресуя их сестре Вареньке и мужу ее, но хотя я и писал ежедневно, но отсылал письма однажды в неделю, по несколько листков зараз. Это я не переставал делать до самого своего поступления в Строительное училище. Жалею очень, что этот мой дневник первоначального пребывания в Петербурге пропал, и хотя сестра Варвара Михайловна и передала мне впоследствии некоторые мои к ним письма из Петербурга, — но в этой пачке первоначальных моих писем не оказалось.

Как теперь помню одно поразившее меня обстоятельство. 2 февраля 1842 года, в день праздника Сретения, я, встав утром с постели, был удивлен сильным ливнем дождя, бывшим на дворе, хотя накануне было морозно и стояла совершенно зимняя погода. Я, живши в Москве, никогда не испытывал подобных быстрых перемен погоды, и это обстоятельство очень меня поразило, и я часто подходил к открытой форточке, чтобы полюбоваться на тихо и ровно падающий дождь. Брат же после сообщил мне, что этакие перемены в Петербурге не в диковинку, а составляют почти обычное явление.

С начала 1842 года брат начал подыскивать другую квартиру, находя прежнюю неудобною; после долгих розысков он остановился на квартире в Графском переулке, что близ Владимирской церкви, в доме Пряничникова, куда мы и перебрались в феврале или марте месяце. Квартира эта была очень светленькая и веселенькая; она состояла из трех комнат, передней и кухни; первая комната была общая, вроде приемной, по одну сторону ее была комната брата и по другую — очень маленькая, но совершенно отдельная комнатка для меня.

В эту квартиру к брату довольно часто ходили две новых для меня личности, с которыми я и познакомился.

1) *К. А. Трутовский*[61]. Это был тогда симпатичный юноша; он был тоже в Главном инженерном училище, на

один год, по классам, моложе брата; тогда он был еще в высшем кондукторском классе и часто ходил к брату. Он и тогда отлично рисовал и часто на клочках бумаги простым карандашом набрасывал различные этюды; у меня и теперь хранится где-то в бумагах его рисунок, сделанный им тогда у брата, изображающий шарманщика. Впоследствии Трутовский, кончив курс в офицерских классах Инженерного училища, вскоре покинул свою инженерную службу и поступил в Академию художеств, где серьезно занимался и достигнул впоследствии степени академика живописи. После знакомства 1842 года я не встречался более с Трутовским, но память о нем всегда была для меня симпатична. Он умер 17 марта 1893 года.

2) *Дмитрий Васильевич Григорович.* Эта личность была товарищем брата по Инженерному училищу. Он в это время начал часто бывать у брата, а впоследствии, когда я вступил в Строительное училище, он, кажется, был и сожителем брата[62]. В описываемое мною время Д. В. Григорович был молодой человек лет 21, то есть таких же лет, как и брат. Это был очень веселый и разговорчивый господин. В то время я узнал об нем следующее: Григорович, дойдя до старшего кондукторского класса, перестал вовсе заниматься науками, а всецело предался рисованию, и в то время, например, когда Остроградский читал лекции, он преспокойно снимал с него портрет. Ближайшие наставники и наблюдатели, после различных мер домашних, решились донести об этом великому князю Михаилу Павловичу, а тот на докладе, положив резолюцию: «Лучше быть хорошим художником, нежели плохим инженером», велел выпустить Григоровича вовсе из заведения. И вот в 1842 году он был уже в штатском платье и, кажется, занимался в Академии живописью. Это был брюнет очень высокого росту и весьма тогда тощий. Одно из отличнейших тогдашних свойств его была особая способность чрезвычайно верно и схоже подражать голосам хорошо знакомых ему личностей. Он был большой театрал и чрезвычайно верно и натурально говорил голосом различных тогдашних артистов. Бывало, как он начнет декламировать:

И в хаосе разрушенного мира
Могилу дочери возлюбленной найду...[63] —

то все невольно говорят, что это Каратыгин. Или когда начнет, бывало, крикливым и певучим голосом декламировать:

Полки российские, отмщением сгорая,
Спешили в те места, стояли где враги.
Лишь только их завидели — удвоили шаги.

Но вскоре туча стрел, как град средь летня зноя,
Явилась к нам — предвестницею боя...[64] —

то все, смеясь, кричали: «Толченов, Толченов...» И действительно, подражание было удивительное! Много он тогда воспроизводил мотивов и несколько пел из готовившейся тогда постановки новой оперы Глинки «Руслана и Людмилы».

Когда Григорович бывал у брата, то всегда время проходило очень весело, потому что он ни на минуту не переставал что-нибудь рассказывать из театрального мира и вообще чего-нибудь интересного. Со времени поступления в Строительное училище я перестал видеть Дмитрия Васильевича, но постоянно сохраняю об нем самые приятные воспоминания. Тут же написал об нем только то, что сам успел подметить. Дальнейшая же карьера этого выдающегося человека и его литературные труды известны всей России.

Упомяну также здесь о случившихся раза три-четыре вечеринках у брата, на которые собирались несколько офицеров (товарищей брата), с целию игры в карты; не знаю, как было впоследствии, но в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою в карты, причем преферанс или вист были только началом игры, но вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс. Помню, что в подобные вечера я занимался хозяйственною частию, наливая всем гостям чай и отправляя в комнату брата, где происходила игра, с лакеем Егором. После же чаю всегда подавался пунш, по одному или по два стакана на брата.

С переездом на новую квартиру я начал усиленно заниматься приготовлением к приемному экзамену в Главное инженерное училище. Брат достал мне все руководства, большею частью в виде литографированных записок. Предметы, требуемые по математическим наукам, то есть арифметика, алгебра и геометрия, были мне вполне знакомы по пансиону, брат сам убедился в этом, сделав мне экзамен. Но я все-таки прочитывал записки и по математике, чтобы на экзамене быть как дома, главнейшее же внимание обращал я на словесные предметы и преимущественно на историю и географию. Кроме того, брат мне показал способ черчения ситуации и принес несколько образцов для копирования и для навыка, потому что черчение ситуации было тоже в приемной программе. Одним словом, освоившись со всем,

что необходимо было приготовить к экзаменам — я вовсе их не страшился, этих предстоящих экзаменов.

Помню, что в это время я пристрастился к театру, конечно, к Александринскому, где тогда играли светила драматической труппы: Каратыгин, Сосницкие, Мартынов, Самойлов и прочие. Я ходил постоянно в так называемую галерею, стоимостью в 25 коп. Иногда этот четвертак презентовал мне брат, но чаще всего я прокучивал свой собственный капитал, то есть те 25 рублей, которыми снабдила меня тетушка и которых оставалось у меня еще половина.

Пасха 1842 года была довольно поздняя (19 апреля) и на Страстной неделе я говел, а заутреню и Пасху встречал в Казанском соборе. Хотя брат и предсказывал мне, что меня затолкают, но я все-таки пошел и забрался в собор чуть ли не с десяти часов вечера, чтобы занять хорошее место. Затолкать-то меня не затолкали, хотя было похоже и на это, но зато я чуть не сомлел, как говорится, от страшной жары и духоты. С одним из обходов по церкви архиерея я как-то за этою процессиею пробрался ближе к выходу и очень рад был, когда, не достояв утрени, очутился на улице, и, конечно, сейчас же отправился домой.

После Пасхи я начал еще усиленнее заниматься и только по вечерам позволял себе довольно отдаленные прогулки. Май месяц в Петербурге своими светлыми ночами делает на новичков-приезжих одуряющее впечатление. В особенности памятны мне вечера, проведенные в загородных гуляньях: 1-го мая в Екатерингофе, на день Св. Духа — в Летнем саду и 1-е июля — на Елагином острове. Это последнее гулянье произвело на меня большое впечатление, потому что на нем я увидел в первый раз грандиозный фейерверк. А еще более мне понравилось возвращение с этого гулянья в город после двух часов ночи, когда было уже совершенно светло. Массы народа отдельными группами при восхитительной летней погоде тянулись почти непрерывно, как будто в крестном ходу.

Наконец, настало время приемных экзаменов. Воспоминание об этом времени очень долго было для меня самым неприятным, самым удручающим воспоминанием. Даже и теперь мне больно рассказывать об этом происшествии, но, несмотря на это, приступлю к описанию его.

Еще с ранней весны я был записан кандидатом для держания вступительных экзаменов, а потому в конце июля я получил повестку явиться в училище на такое-то число (теперь я с точностью дня не помню, знаю только, что это было в начале августа) к девяти часам утра, причем

в повестке было обозначено, в какие дни какие будут производиться экзамены. Помню, что на первый день были назначены экзамены по алгебре и геометрии, на второй — по арифметике; а прочих экзаменов не припомню.

И вот, в назначенный для экзаменов день я за полчаса ранее явился в училище. Меня ввели в довольно большую комнату, где расставлены были черные доски, к которым вызывались экзаменующиеся. Вероятно, это был один из кондукторских классов. Тут уже было несколько человек кандидатов, таких же, как и я. Мне указали место возле них, и я уселся на скамейке. Ровно в девять часов утра пришли экзаменаторы, то есть военные инженеры, в числе двух человек. Помню, что оба были штаб-офицеры, то есть подполковники. Вероятно, вызывали по алфавитному списку, потому что мне пришлось не долго дожидаться. Я подошел к доске к одному из экзаменаторов.

— Ваша фамилия?..

— Достоевский.

После этого вопроса экзаменатор, вынув какую-то свою записочку и просмотрев ее, и вероятно не найдя моей фамилии, опять обратился ко мне:

— Да у кого же вы приготовлялись?..

— У брата, инженер-поручика Достоевского.

— А-а-а-а-а... Ну-с, приступим...

И с этими словами, действительно, приступил к экзаменовке. Это было по геометрии. Мне задано было два-три вопроса, на которые я отвечал безукоризненно. Потом он прошелся слегка по всему курсу и ответы тоже получил *без замедления*. — «Хорошо-с... довольно...» — проговорил он и указал мне перейти к другой доске, где был другой экзаменатор по алгебре.

Этот господин, вероятно, слышавший опрос о моей фамилии первого *экзаменатора*, — подобного опроса уже не делал, а пока был занят с моим предшественником, задал мне для решения алгебраическую задачу на уравнение 1-й степени на близ стоящей третьей доске. Я очень скоро решил эту задачу, даже проверил ее и убедился, что она решена верно. Когда же дошло дело до устного экзамена, то мне тоже предложено было несколько вопросов, на которые я отвечал тоже без запинки.

По окончании экзамена присутствовавший тут, вероятно, один из ротных офицеров сейчас же предложил мне идти домой. Вероятно, был заведен такой порядок для того, чтобы лишних глаз при экзаменах не было.

Всякий экзаменующийся, и экзаменующийся не первый

раз, конечно, есть лучший оценщик того, хорошо ли он сдал экзамен или не совсем удовлетворительно. Само собою разумеется, что оценка эта только тогда будет верна, когда экзаменующийся даст в этом отчет своей совести! И вот, помню, что тогда, давая отчет своей совести, я, возвращаясь домой, был уверен, что сдал два экзамена вполне благополучно, о чем и сообщил брату, рассказав все подробности экзаменов.

На второй день я явился в училище на экзамен по арифметике. Комната была уже другая, но обстановка та же и экзаменатор был только один.

Тот же вызов к доске, тот же вопрос о фамилии, та же справка со своим списочком, тот же возглас: «У кого же вы приготовлялись?» и то же: «А-а-а-а-а!..» — по выслушании моего ответа. Из двух-трех задач для решения по арифметике, помню, что на одной я несколько времени задумался. — «Подумайте, — сказал экзаменатор, — а я пока займусь другим». — Минуты через три я напал на правильное решение вопроса и сейчас же решил эту задачу, и решил верно, что высказал и экзаменатор. На вопросы же по теории арифметики я отвечал бойко и без заминки. По окончании этого экзамена я был сейчас же выпровожен по-вчерашнему из здания училища и возвратился домой с тем же убеждением, как и в предшествующий день, что экзамен сдан успешно.

На третий день был перерыв в экзаменах, и я в Инженерное училище не ходил. Но зато пошел в училище брат Федор, чтобы справиться о результатах трех главных (математических) экзаменов.

Возвращения его я дожидался с нетерпением и помню, что, завидя его в окно, я выскочил на лестницу, чтобы скорее узнать о результате трех выдержанных экзаменов.

Брат, очень серьезный, вошел в переднюю и, не отвечая на мои вопросы, прошел к себе в комнату. Через несколько минут он вернулся ко мне и сказал:

— Плохо, брат, дело прогорело; ты не выдержал экзамена!..

— Как не выдержал? — возразил я, — да этого не может быть!

— Выдержать-то выдержал, но не так успешно, чтобы быть принятым...

И тут брат рассказал мне все узнанные им подробности. Ему прямо сообщили, что, хотя отметки у меня и приемные, но что я далеко остался за флагом, ввиду того, что экзаменующихся было гораздо более, чем вакансий (экзамен конкурентный), и что я не могу и рас-

считывать на то, чтобы быть принятым в училище, и в силу этого брату сказали, чтобы он не трудился присылать меня для экзаменов по прочим предметам.

Можно себе представить мое положение! Целый год, проведенный в надежде поступления, прошел для меня бесследно!.. Ведь ежели бы я остался в пансионе Чермака, то я поступил бы уже в это время в университет. Все это я тогда же высказал брату, горько плача и рыдая.

Брат, видимо, был расстроен и начал утешать меня, что я еще молод, что можно поступить в какое-либо другое заведение и что вообще об этом деле надобно подумать, да и подумать!

Конечно, я сейчас же написал о своем горе в Москву Карепиным, ожидая с нетерпением ответа их, чтобы узнать, как отнесутся в Москве к моему горю.

Я очень горевал и между прочим и тогда и впоследствии и даже в настоящее время, когда пишу об этом (1896 г.), я неоднократно задавал себе следующие вопросы и соображения:

1) Зачем брат Михаил, вероятно, с согласия брата Федора, оторвал меня от пансиона Чермака?

2) Неужели им неизвестны были все порядки приемных экзаменов?

3) Ведь они сами были отданы отцом в 1837 году на приготовление к приемному экзамену к профессору училища Коронаду Филипповичу Костомарову.

4) Ведь они сами писали отцу от 6 сентября 1837 года следующее: «Всех кандидатов 43. Мы так рады, что так мало. Прошлого года было 120, а в прежние года 150 и более. И ученики Костомарова всегда были одни из первых. Что же ныне, когда так мало! Правда, комплект есть 25, но, кажется, довольно забракуют, ибо все, по-видимому, пустые люди, и все в 4-й класс. Они, по-видимому, чрезвычайно боятся учеников *Костомарова.* Всем нам такое уваженье. Что-то дальше?..»

5) Ведь странно было не понять, почему ученики Коронада Филипповича всегда были из первых и почему прочие кандидаты боялись этих учеников?..

6) Ведь брат Федор, ежели и не догадался об этом в первый год, то, быв свидетелем тех же порядков в последующие пять лет, должен был оказаться чистым младенцем, чтобы не понять самой сути дела.

7) А ежели он сознавал суть дела, то зачем вовремя не поместили меня для приготовления к одному из Коронадов Филипповичей?

8) Ведь дядя Александр Алексеевич, узнав о сути дела, вероятно, не отказал бы от единовременных пустяшных для него трат, чтобы окончательно довести меня до пути...

Соображая все это, невольно прихожу к убеждению, что я оторван был от пансиона Чермака и потерял целый год даром в Петербурге, заведомо для братьев, единственно в виду их денежных расчетов, потому что, как я узнал впоследствии, дядя сообщил брату Федору порядочную сумму денег за мое годовое содержание и приготовление и что за сумму эту меня можно было бы поместить для приготовления к любому из Коронадов Филипповичей. Да! Коронады Филипповичи — великое зло, которое существует и теперь, при всех конкурсных экзаменах в различные технические заведения, и зло это будет существовать всегда; его можно только избегнуть с уничтожением конкурсных экзаменов и приемом всех без ограничения выдержавших экзамен для поступления в технические высшие учебные заведения.

Вскоре пришел ответ из Москвы от Карепиных. Добрейший Петр Андреевич, утешая меня в неудаче и ободряя, посоветовал побывать у Ивана Григорьевича Кривопишина, у которого я уже неоднократно бывал в Петербурге, и, рассказав ему свою неудачу, просить его о помощи для поступления в какое-либо другое из технических училищ в Петербурге, при чем Петр Андреевич присовокупил, что он одновременно об этом пишет Кривопишину и сам.

Конечно, по совету этому я в первое же воскресенье пошел к Ивану Григорьевичу, и этот истинно добрый человек обласкал меня, как всегда, и обещал не только сам подумать обо мне, но и посоветоваться с другими знающими и опытными людьми о моей дальнейшей карьере, как выразился он.

Кстати об Иване Григорьевиче Кривопишине.

В биографии Ф. М. Достоевского, написанной профессором Ор. Фед. Миллером, которая вошла в состав 1-го тома полного собрания сочинений (первого посмертного издания), на странице 30-й сказано со слов доктора Ризенкампфа, что будто «Достоевский-отец (т. е. наш отец), определяя обоих сыновей в Инженерное училище, рассчитывал, между прочим, и на своего родственника генерал-лейтенанта Кривопишина, занимавшего влиятельную должность в инспекторском департаменте».

Это сведение, вошедшее в биографию Ф. М. Достоевского со слов Ризенкампфа — ошибочно. Никогда До-

стоевские не состояли в родстве с Кривопишиными, и отец наш не только не был в родстве, но даже и не знал о существовании Кривопишина. Знакомство же братьев и мое с этим истинно добрым и почтенным господином и покровительство его нам произошло следующим образом.

Зять наш, Петр Андреевич Карепин, женившись на нашей сестре Варваре Михайловне, был первоначально женат первым браком, и по этому первому браку он состоял свояком с Кривопишиным (то есть Карепин и Кривопишин были женаты на родных сестрах). Впоследствии как Карепин, так и Кривопишин овдовели оба, и вновь оба женились; но несмотря на это, не прерывали своих дружески-родственных отношений. И вот Карепин, породнившись с нами и зная, что в Петербурге воспитывается его шурин (Федор Михайлович Достоевский), рекомендовал его вниманию своего друга-родственника Ивана Григорьевича Кривопишина. Сей господин, как по доброте своей, так и по дружбе к Петру Андреевичу, нарочно ездил в Инженерное училище и там обласкал брата Федора, который был еще в кондукторских классах. Впоследствии, сделавшись офицером, он был очень радушно принимаем Кривопишиным, который и делал как ему, так и брату Михаилу значительные услуги, о чем ярко упоминается в письме Федора Михайловича к брату Михаилу от 27 февраля 1841 года *. Для меня же Иван Григорьевич Кривопишин сделал истинное благодеяние, потому что при его посредстве я поступил в Училище гражданских инженеров (впоследствии Строительное). Благодарную память к нему я сохраняю и доселе. <...>

Теперь сообщу об одном эпизоде, случившемся со мною именно в это время, то есть вслед за неудавшимися приемными экзаменами в Главное инженерное училище. Эпизод этот хотя и пустой в сущности, но мог гибельно повлиять на всю судьбу мою!

Еще летом я встретился в городе с одним кадетом Института путей сообщения Образцовым, он был москвич и первоначально учился в пансионе Чермака, быв моим товарищем по 3-му классу. Годом ранее он вышел из пансиона Чермака и, переселившись в Петербург, был пристроен и поступил в Институт путей сообщения. — В

* Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского (1-е посмертное издание). Т. 1, страницы 21—22 в отделе Писем [65]. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

описываемое время он целый год пробыл уже в институте и теперь переходил из 1-го класса во второй. Образцов, встретившись со мною в Петербурге, возобновил со мною знакомство и часто заходил ко мне.

В один из своих приходов он сообщил мне о себе следующее: 1) что он выдержал успешно переходный экзамен из 1-го класса во второй из всех предметов, кроме русской истории, из которой ко дню экзаменов он вовсе не был приготовлен, а потому, во избежание провала, ушел, якобы больной, в лазарет; 2) что теперь ему пора сдавать пропущенный экзамен из истории; 3) что у них в институте практикуется следующий способ для подобных экзаменов: кадету выдается из канцелярии института экзаменационный лист, с которым кадет и идет на дом к профессору, прося его проэкзаменовать (как не державшего по болезни экзамена) и проставить отметку в экзаменационном листе, и возвратить ему для представления в канцелярию; 4) что ему, Образцову, выдали уже этот экзаменационный лист и что ему надобно с этим листом идти к профессору истории капитану Баландину на дом и сдавать экзамен. Но что он и до сих пор из всего курса ничего не знает и наверняка провалится.

Сообщив все это, Образцов начал упрашивать меня сделать ему товарищескую услугу и проэкзаменоваться у капитана Баландина на дому вместо него, Образцова.

Несмотря на свою молодость и неопытность, я все-таки сознавал, что поступок этот, ежели я решусь исполнить просьбу Образцова, будет поступком нехорошим и что вообще это очень рискованный поступок, а потому по первому разу я наотрез отказал Образцову. Но тот настойчиво, в продолжение целой недели преследовал меня своими просьбами, уверяя честным словом, что ни о каком риске тут не может быть и речи, потому что Баландин не знает ни одного кадета по фамилии, что он чрезвычайный сибарит и кроме себя ни о ком и ни о чем не думает и т. п. В конце концов пришло к тому, что я, наконец, решился и дал слово. <...>

В назначенный день Образцов зашел ко мне часов в пять вечера, мы сейчас же вышли из дому и зашли в одну кондитерскую. Тут, взяв отдельную комнату, мы переменились костюмами. Образцов надел мою штатскую пару, а я его кадетский мундир, с тесаком на портупее и с кивером на голове. Но так как я шагу не умел ступить в кадетском платье, то решено было, что Образцов довезет меня до самой двери в квартиру Балан-

дина на извозчике. Так и сделали. Приехав на место, Образцов позвонил, а я несмело спросил у лакея, дома ли капитан Баландин, и на ответ его, что дома, я просил доложить ему, что пришел кадет Образцов (который между тем гулял по тротуару около дома в моем штатском платье) для сдачи экзамена, при чем вручил ему и экзаменационный лист.

Через несколько минут возвратившийся лакей ввел меня в залу, и туда вышел сам Баландин с моим экзаменационным листом в руках.

— Ваша фамилия Образцов и вы были больны во время экзаменов?

— Точно так, господин капитан.

Не задай он в такой форме вопроса, а спроси прямо: «Как ваша фамилия?» ... то я не ручаюсь за себя, чтобы не ответил «Достоевский» вместо «Образцов». Но, слава Богу, этого не случилось.

Задав мне вопроса три-четыре, не помню уже какие, он видимо остался доволен моими ответами <...>

Поставив в экзаменационном листе балл 7,75 (при полных 10) и подписав его, он, вручая его мне обратно, сказал, чтобы я его завтра же утром сдал в канцелярию.

Получив обратно лист и раскланявшись с капитаном Баландиным, я кое-как, дрожа всем телом, как преступник, вышел из квартиры, и тут меня принял в свои объятия Образцов, выслушав все мною рассказанное. Мы сейчас же заехали в ту же кондитерскую, где опять переменились костюмами, и затем только я совершенно успокоился. Напившись чаю в кондитерской, мы отправились в театр.

На другой день, когда я сообщил брату о случившемся, он просто ахнул, и тогда только я уразумел, чему подвергся бы в случае открытия обмана и подлога. Брат говорил мне тогда, что, в случае открытия обмана, нам обоим не миновать бы солдатчины, а в меньшей мере — распоряжения, чтобы меня не принимали ни в одно казенное учебное заведение.

Между тем, добрейший Иван Григорьевич Кривопишин не забыл своего обещания, и как-то брат, возвратившийся из классов (он тогда был в старшем офицерском классе), рассказал мне, что Кривопишин заезжал к нему в Инженерное училище и сообщил, что я могу быть определен в Училище гражданских инженеров [66], состоящее под ведением Главного управления путей сообщения, а потому и сказал, что ежели мы, а главное

я согласен поступить в сказанное училище, то чтобы я немедленно приходил к нему сообщить о своем решении. При этом, помню, брат расхваливал мне это училище, говоря, что будущность гражданских инженеров гораздо выгоднее в материальном отношении, чем будущность военных инженеров. Вообще я заметил, что брат очень желал, чтобы я принял сделанное мне предложение.

Я же, со своей стороны, с первых слов брата был крайне обрадован возможностью покончить свое неопределенное положение, а потому на другой же день утром и пошел к Ивану Григорьевичу.

— А, здравствуйте, мой дорогой! Ну, что надумали вы с братом?

— Я пришел благодарить вас за ваше милостивое ко мне внимание и доброту...

— Все это очень хорошо, но главное, мне надобно знать, желаете ли вы поступить в Училище гражданских инженеров?

— Желаю, и еще раз прошу ваше превосходительство посодействовать моему туда поступлению.

— Ну, вот, и отлично, очень рад, что могу устроить вас и обрадовать моего друга и брата Петра Андреевича. <...>

Я ушел от Ивана Григорьевича, вполне успокоенный, и с нетерпением поджидал от него известий о результате его ходатайства у Клейнмихеля. Брат Федор тоже был очень доволен таким скорым и благоприятным исходом моего неопределенного положения.

Между тем, приближаясь к концу повествования о пребывании моем в Петербурге у брата — не у дел, я, чтобы быть совершенно правдивым, должен упомянуть еще об одном эпизоде, случившемся со мною именно в это время.

Был уже сентябрь месяц, температура сделалась прохладною, и я, рыская по городу, не мог уже довольствоваться одним сюртуком с верхнею накидкою, но облекался в теплую шинель. Шинель эта, как теперь помню, темно-синего сукна на шелковой черной подкладке с бархатным воротником, была переделана мне из шинели дяди Куманина, которую он почему-то перестал носить. Шинель была совершенно новенькая и вообще довольно ценная вещь. Прогуливаясь часу во втором дня по солнечной стороне Невского проспекта, я натолкнулся на следующую сцену: идет навстречу мне какой-то оборва-

нец и, показывая мне открытый футляр с драгоценным перстнем, говорит:

— Барин, купите кольцо, кольцо дорогое, а продам за дешевую цену, деньги нужны.

Конечно, я не обратил почти вовсе никакого внимания на это предложение, но вслед за мною шел толстый, видимо богатый купец в лисьей шубе; поравнявшись со мною, он тоже обратил внимание на продавца кольца.

— Покажи, покажи, молодец, свое кольцо.

Осмотрев его тщательно, купец сказал:

— Иди за мною, я куплю твой перстень, — но продавец мгновенно исчез. Купец, обращаясь ко мне, проговорил:

— Убежал, побоялся идти со мною, а кольцо ценное... вещь тысячная, а можно бы купить задешево... Оно, видимо, или ворованное, или продавец сам не знает ему цены... Случается покупать за бесценок! — и прошел дальше.

Между тем оборванец-продавец опять вернулся ко мне и опять открыл футляр:

— Что же, барин, купите кольцо!

— Да у меня денег нет, — ответил я.

— Я и без денег продам, — приставал он ко мне, — может быть, есть часы?

— Часов нету, — ответил я.

— Ну, так вот шинелька, хотя и убыточно, а я променяться бы согласен...

Разгорелись у меня глаза. Я сейчас сообразил, что шинель мне скоро будет не нужна, потому что скоро облекусь в казенную форму, а отзыв купца о тысячной вещи соблазнительно подействовал!.. И вот я, как крыловская ворона, каркнул во все воронье горло[67], — то есть снял с себя дорогую шинельку и получил якобы тысячную вещь; налегке побрел домой, причем и дома не переставал любоваться блеском и игрою воды в дорогом камне.

Как только возвратился из классов брат, я не преминул похвастаться брату своею покупкою.

— Как купил?! Сколько заплатил? — спросил брат.

Тогда я рассказал брату всю сцену с продавцом и мимошедшим богатым купцом.

— Ну, брат, виноват, что не предупредил тебя: ведь и продавец, и купец — это одна шайка мошенников.

При этом он взял перочинный ножичек и выковырнул мнимый бриллиант, под которым оказалась светлая фольга, а самый бриллиант — стеклышком.

Горько было мне убедиться в том, что я так опростоволосился, но еще горше и досаднее было то, что я должен был на несколько дней покупать себе шинель, потому что не мог же я выходить на улицу без шинели, да и явиться в училище, когда буду принят, не мог я без шинели. И вот на толкучке я приобрел шинель за пять-шесть рублей, подержанную, камлотовую.

Между тем я был снова призван к Ивану Григорьевичу Кривопишину, который сообщил мне, что граф Клейнмихель принял его очень любезно и, взяв его докладную записку, обещал ему, что я буду принят немедленно. А потому Иван Григорьевич велел предупредить брата, что, вероятно, он скоро получит бумагу из училища о принятии меня.

И, действительно, через несколько дней брат получил официальную бумагу из канцелярии Училища гражданских инженеров, в коей значилось, что недоросль из дворян Андрей Достоевский, по распоряжению г-на главноуправляющего путями сообщения, зачислен кандидатом в Училище гражданских инженеров, с тем, чтобы немедленно был принят в училище, впредь до дальнейшего об нем распоряжения, а потому канцелярия училища и просит брата доставить меня немедленно в училище.

Получив эту бумагу, мы решили, что брат представит меня в училище завтра же утром. И, действительно, на другой же день брат, облекшись в полную парадную форму, повез меня в училище, и по справкам, собранным в канцелярии, мы узнали, что меня должно лично представить помощнику директора полковнику Мурузи, которого квартира была тут же, при училище, и которую нам указали.

Войдя в эту квартиру, мы увидели почти дряхлого на вид старика, в белой шерстяной фуфайке, таких же штанах и с белым колпаком на голове (было 10 час. утра). Личность эту очень легко было принять за старика-повара. К нему-то брат и обратился с вопросом.

— Полковник Мурузи дома?

— Я — полковник Мурузи... Што вам угодно? — проговорил он старческим голосом с сильно греческим акцентом.

Брат представил меня и объяснил, в чем дело.

— Какой вошпитанник, какой кандидат?.. Я ничего не жнаю... а вот я наведу шправку...

Пришедший из канцелярии чиновник объяснил полковнику, в чем дело.

— Да как же я его приму, ведь на него нынче и порции не готовят, ему кушать будет нечего... А, вот што! — нашелся старик полковник, — я на нынешний день отпушкаю вошпитанника Достоевшкого в отпуск до вечера, — а затем, обращаясь ко мне: — До вечера, батушка, до вечера, и ежели в восемь чашов вечера вы не явитесь, до будете штрафованы... а теперь прошайте.

Мы вышли с братом от чудака-полковника, сильно посмеиваясь над его скаредностью, потому что вполне понимали, что где готовится обед на сто человек, там не только один лишний, но и десять человек лишних найдут чем насытиться.

В этот последний день своей вольности я, во-первых, сходил в Штаб к Ивану Григорьевичу Кривопишину, которому рассказал все подробности явки моей в училище; еще раз поблагодарил его и, вышед от него, воротился домой и написал письмо в Москву к Куманиным, в котором порадовал их известием, что я уже принят и зачислен в училище. Затем много гулял. За обедом мы р*о*спили с братом бутылку вина в честь моего поступления, а в семь часов вечера я был уже по дороге в училище, куда и явился ранее назначенного мне срока, то есть ранее восьми часов вечера.

КВАРТИРА ЧЕТВЕРТАЯ

УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ, А ЗАТЕМ СТРОИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ДО ОКОНЧАНИЯ В НЕМ КУРСА

<...> Как только в Москве узнали о моем поступлении в Училище гражданских инженеров, то на радостях дядя Александр Алексеевич Куманин дал 100 рублей (ассигнациями) для пересылки мне, как он сказал, на пирог. Деньги эти почему-то были присланы не прямо мне, а Ивану Григорьевичу Кривопишину, о чем мне и было сообщено письмом из Москвы, да и сам Кривопишин передал мне об этом через директора Федора Карловича Притвица. Конечно, я не скрыл этого от брата Федора, который, постоянно нуждаясь в деньгах, забомбардировал меня своими записками. Записки эти сохранились у меня доселе, и я берегу их, как и все письма брата, как зеницу ока. Вот три записки, относившиеся к тому обстоятельству, передаваемые здесь в копиях с пунктуальной точностью:[68]

Первая в 1842 году: «Брат! Если ты получил деньги, то ради Бога пришли мне рублей 5 или хоть целковый.

У меня уж 3 дня нет дров, а я сижу без копейки. На неделе получаю 200 руб. (я занимаю) наверное, то тебе всё отдам. Если ты еще не получил, то пришли мне записку к Кривопишину; Егор * снесет ее. А я тебе пришлю сейчас же.

Достоевский».

Вторая в начале 1843 года: «Удалось ли тебе взять что-нибудь у Притвица **, брат? Если удалось, то пришли. У меня ничего нет. Да напиши, когда придешь, и если теперь не пришлешь, то непременно принеси. Ради Бога. Хоть сходи на квартиру к Притвицу. Пожалуйста.

Твой брат *Ф. Достоевский».*

Третья, тоже в 1843 году: «Писал ты мне, любезный брат, что не можешь достать денег ранее масленицы. Но вот что я придумал: с этим письмом я шлю тебе другое, в котором прошу у тебя взаймы 50 рублей, ты его и покажи сейчас генералу и попроси, чтоб тотчас же выдал тебе немедленно деньги, чтоб отправить сейчас с Егором. Разумеется, скажи ему, что ты мне дал честное слово и что твое желание мне помочь. Ради самого Бога, любезнейший, не откажи; а я только лишь получу от брата взаймы же, расплачусь с тобою; без денег сидеть не будешь. Из 50 рублей возьми себе, что нужно. А на масленице, честное слово, всё отдам, тебе же теперь не нужны деньги, а у меня, поверить не можешь, какая страшная, ужасная нужда. Помоги мне, пожалуйста.

Твой *Достоевский.*

P. S. Если к масленице не будет денег у меня, то я возьму вперед из жалованья и тебе отдам».

Я рассказал о присланном мне подарке дяди и привел записки брата Федора единственно для того, чтобы показать, до какой степени нуждался тогда в деньгах брат Федор. <...>

Брат Федор Михайлович занимался по-прежнему литературой, и в январе 1846 года вышло в печати первое его литературное произведение — роман «Бедные люди». Роман этот был напечатан в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым. Произведение это разом поставило Достоевского наряду выдающихся писателей, и об нем

---

* Человек, живший у брата для услуг. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

** Кривопишин передал деньги Притвицу, а потому получка их сделалась для меня еще затруднительнее. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

сильно заговорили, а Белинский превознес его. Материальные средства брата вследствие этого улучшились, но тратя много, он часто тоже сидел на экваторе. <...>

В родственном мне кругу произошло за это время много значительных перемен. Во-первых, начну с того, что брат Михаил Михайлович окончательно переселился в Петербург[69]. Сперва переехал он один, а вслед за ним приехала и вся его семья, и я познакомился со своей невесткой Эмилией Федоровной. Она показалась мне очень еще молодою, симпатичною и доброю немочкою, каковою, впрочем, она осталась и впоследствии; она очень любила брата и свое маленькое семейство, состоящее тогда из трех птенцов — Феди, Маши и Миши. Брат устроился на очень приличной квартире на Невском проспекте, и мы с братом Федором, не сговариваясь, сделали обычай всякое воскресенье и всякий праздник приходить к обеду к старшему брату, как к семейному, и обычай этот неуклонно исполняли до конца 1849 года, когда он нарушился по причинам, от нас не зависящим, которые объяснятся впоследствии. <...>

Братья Михаил и Федор Михайловичи на все лето наняли дачу в Парголове и проживали там не в таком страхе от холеры, как мы в Петербурге, ибо в Петербурге она свирепствовала в полном разгаре. <...>

На другой же или на третий день по получении известия о производстве[70] я, облекшись в штатское платье и надев пальто цвета вареного шоколада, поехал в Парголово, где брат Николя уже гостил. Там прогостил и я дня два, но, вероятно, приезд мой нанес несчастие Парголову, потому что на второй же день моего приезда случился в Парголове первый случай заболевания холерою. С больным случился припадок на улице, и брат Федор сейчас же кинулся к больному, чтобы дать ему лекарства, а потом и растирал, когда с ним сделались корчи. <...>

КВАРТИРА ПЯТАЯ

ЖИЗНЬ И СЛУЖБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРОЕКТОВ И СМЕТ ДО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДОВЫМ АРХИТЕКТОРОМ В Г. ЕЛИСАВЕТГРАД С АВГУСТА 1848 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 1849 ГОДА

<...> 22 апреля 1849 года, в пятницу вечером, часов в шесть, я вышел из дому и отправился на Литейную, чтобы побывать у своего товарища архитектора Григория

Ивановича Карпова, к которому я нередко хаживал. С ним жила его молоденькая сестра, и с нею очень приятно было проводить время. День был очень жаркий. Проходя по Загородному проспекту, я совершенно неожиданно встретился с братом Федором Михайловичем, близ церкви Введения (полковой Семеновского полка). Встреча эта и кратковременный разговор с братом глубоко врезались в моей памяти. Мы поздоровались и простояли минут пять. После встречных приветствий брат сказал:

— Скверно, брат, очень скверно! Чувствую, что болезнь подтачивает меня. Нужно бы отдохнуть, полечиться, куда-нибудь поехать на лето... а средств нет!.. Что ты не заходишь? Заходи как-нибудь.

— Да ведь послезавтра воскресенье, увидимся у брата...

— А ты будешь у брата?

— Непременно.

— Ну так до свидания!

Но в воскресенье нам обоим уже не удалось быть у брата Михаила Михайловича.

У Карповых я просидел целый вечер и очень приятно провел время. Обратный путь с Литейной, по наступившим уже петербургским белым ночам, я прошел пешком в очень приятном настроении духа. Воротился я домой часов в двенадцать ночи, довольно долго читал, лежа в постели, и когда погасил свечу, то сквозь щели внутренних ставен (квартира была в первом этаже) прорывался уже свет от утренней зари. Я заснул в самом спокойном настроении духа, никак не предполагая столь тревожного и ужасного пробуждения! Спать мне пришлось недолго. Часу в четвертом утра я сквозь сон услышал:

— Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, вставайте!

Очнувшись от сна и накинув халат, я вышел в среднюю общую комнату (гостиную), где ставни не были закрыты и где было уже совершенно светло. Взору моему представилось целое общество: жандармский штаб-офицер, жандармский поручик, частный пристав, жандарм и несколько полицейских, находящихся в соседней комнате (столовой). А позади всех их виднелась трепещущая и не совсем еще одетая Анна Ивановна и мой товарищ Авилов.

Жандармский штаб-офицер начал:

— Вы господин Достоевский?

— Я.
— Андрей Михайлович?
— Да.
— Архитектор?
— Да.
— По высочайшему повелению вы арестуетесь, — и при этом почти всовывал мне для прочтения бумагу об арестовании меня! Но мне было не до доказательств правильности моего ареста... Я был просто ошеломлен.

И в самом деле, не зная, почему, для чего и ничего не подозревая, спросонков и при такой обстановке — услышать подобные слова — было ужасно. Со мной сделалось какое-то нервное потрясение.

Начали меня собирать в путь; то есть разбирать все мои вещи и все увязывать в узел; при этом происходило все то же, что и при арестовании моего брата Федора Михайловича, так хорошо им самим описанного в 1860 г. в альбоме г-жи Милюковой *. Отмечу некоторые особенности.

При окончании связывания всех бумаг и книг и после обыска всех столов, комодов и прочих хранилищ оказался препорядочный узел. Жандарм, так же как и при арестовании брата, полез на печку, но не оборвался и не упал, а достал с печи большую связку, хорошо упакованную в газетную бумагу, и с торжеством отдал ее своему начальству.

— Что у вас в этом свертке?
— Спички, — с трепетом отвечал я.

Распаковали связку и действительно убедились, что в ней было большое количество спичек. Дело в том, что в начале 1849 года разнесся слух, что с июня месяца будет запрещена продажа спичек в том виде, как она совершалась; но что они будут продаваться под бандеролью в железных коробках и будут очень дороги. Многие по этому случаю делали большие запасы их — в том числе и я. Упоминаю об этом для того, чтобы показать, до какой степени я был нервно расстроен. Когда отыскали тюк, то мне показалось, что это-то и есть то преступление, за которое меня арестуют! Хотя это покажется и смешным, но чего не может прийти в голову в таком расстроенном и, можно сказать, болезненном состоянии?!

---

* «Русская старина». Т. XXX, страница 705 [71]. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

— Ну, это мы можем и не брать, — решил авторитетно жандармский полковник.

Товарищ мой Авилов, видя мое расстройство, вздумал ободрить меня словами: «Ну, что ты беспокоишься! Ты ни в чем не виноват, подержат, да и выпустят».

— Ну, *не скажите,* это иногда бывает не так легко.

Мне врезалось в память это как-то не по-русски построенное выражение. <...>

Сборы приходили к концу, и полковник объявил Авилову, что хотя он не уполномочен делать обыск в его квартире, но так как на самом деле квартира наша оказалась общею, то он считает необходимым как комнату, ему принадлежащую, так и стоящую в ней письменную конторку опечатать, оставив в его распоряжении только общие комнаты, в которых никаких вместилищ, кроме стульев, дивана и обеденных столов (тщательно осмотренных), не было. Конечно, против этого Авилов протестовать не мог, но при этом не пропустил случая, чтобы не сошкольничать:

— Я ничего не могу возразить против опечатания моей комнаты и конторки, но позвольте, господин полковник, просить вас об одолжении.

— Что прикажете, господин сотник?

— Позвольте мне внести в эту комнату прежде, нежели она будет опечатана, мое носильное платье.

— Для чего же это?

— Да я подам рапорт в департамент, в котором служу, об опечатании моего платья и получу возможность не ходить на службу и устрою себе маленькие каникулы.

— Это можно, препятствовать этому не могу.

Так Авилов и сделал и провел все время моего заключения в добровольном домашнем аресте.

Хотя я и получил порядочное по тогдашнему времени содержание, но к концу месяца (жалование выдавалось не двадцатого, а первого числа) у меня оставалось только несколько мелких монет, у Авилова тоже, — которые он и передал мне. Таким образом у меня образовался капитал до двух рублей.

При отъезде из дома я хотел было надеть легкое летнее пальто, так как день обещал с утра быть ясным и жарким.

— Я советовал бы вам надеть что-нибудь потеплее, — сказал полковник.

Я послушался и надел теплую шинель с меховым

воротником. Впоследствии, сидя в сыром и холодном каземате, я не раз мысленно благодарил полковника за данный мне совет, тем более что вскоре и погода изменилась к худшему.

Вышли на двор. Здесь стояла кучка жильцов из всего дома.

«Преступника ведут...» — шептали некоторые; женщины же вздыхали и крестились.

Меня посадили в карету, куда поместились также полковник, полицейский чиновник и жандарм. Разместились так: я и полковник в заднем месте, а двое остальных в двух передних местах. Захлопнули дверцы, опустили шторы в карете и затем тронулись. Жандармский же поручик с нами не поехал, а остался опечатывать конторку и комнату Авилова.

— Куда меня везут? — решился спросить я.

— Это вы узнаете после.

После получасовой езды карета остановилась и меня высадили. Осмотревшись, я узнал, что мы на Фонтанке, вблизи Летнего сада. Это было III Отделение собственной его имп. величества канцелярии. Узел с моими вещами унесли куда-то налево в дверь нижнего этажа, и я не видал его более вплоть до своего освобождения. В сенях я увидел несколько любопытных сцен. Являлись в парадную дверь несколько солидных особ, в темно-коричневых штатских шинелях, которые, распахивая шинель и снимая с шеи черные шейные галстуки, закрывавшие их шитые золотом по красному сукну мундирные воротники (форма тогдашней полиции), — оказывались полицейскими чиновниками. Это были чины тайной полиции.

Затем, оставив свою шинель в передней, я был поведен на верхний этаж и очутился в большой зале, которую впоследствии брат Федор Михайлович называл «Белою залою».

К немалому своему удивлению, я нашел в этой зале человек двадцать публики, которые, видимо, тоже были только что привезены сюда и которые шумно разговаривали, как хорошо знакомые между собою люди.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — слышалось от всякой вновь прибывающей в залу личности, при свидании с остальными. — Действительно, был Юрьев день (23 апреля).

Число вновь прибывающих с каждою минутою более и более увеличивалось, и все, видимо, были хорошо знакомы друг с другом. Один я стоял, как в воду

опущенный, никем не знаемый и никого не знающий. Говор и шум в зале увеличивались; кто требовал чаю, кто просил кофе и т. п. ...Вдруг вижу, ко мне подбегает брат Федор Михайлович.

— Брат, ты зачем здесь?

Но только и успел он это сказать. К нам подошли два жандарма, один увел меня, другой брата в разные помещения.

Это было мое последнее с ним свидание и последние слова, мною от него слышанные, на долгие и долгие годы. Мы свиделись после этого только в декабре месяце 1864 года, то есть более чем через пятнадцать лет! <...>

Целый день 23 апреля, вплоть до ночи, мы провели в III Отделении, нас разместили по отдельным залам по восемь—десять человек и обязали не разговаривать друг с другом. Это был очень томительный день неизвестности. Около полудня приехал князь Орлов (бывший тогда шеф жандармов). Он в каждой зале говорил арестованным маленькую речь, сущность которой, насколько припомню, была та, что мы не умели пользоваться правами и свободою, предоставленными всем гражданам, и своими поступками принудили правительство лишить нас этой свободы, и что по подробном разборе наших преступлений над нами будет произведен суд, а окончательная участь наша будет зависеть от милосердия монарха.

Нам подавали чай, кофе, завтрак, обед и все очень изысканно сервированное... одним словом, кормили на славу, как гостей в III Отделении.

Один из соседей моих, постоянно около меня сидевший на диване и очень симпатичный молодой человек, вынув клочок бумажки из своего кармана, написал на нем карандашом: «Как ваша фамилия и за что вы арестованы?» Бумажку эту он передал мне для прочтения.

Я написал на ней: «Фамилия моя Достоевский, а за что арестован — не ведаю». — В свою очередь, я сделал ему тот же вопрос, и таким же путем получил ответ, что фамилия его Данилевский и причина арестования ему тоже неизвестна.

Это оказался Григорий Петрович Данилевский, впоследствии известный писатель и главный редактор газеты «Правительственный вестник»[72]. С этим Григорием Петровичем Данилевским я впоследствии встретился в шестидесятых годах в Екатеринославе. Он у меня там бывал несколько раз и имел случай оказать мне маленькую услугу <...>

Медленно тянулся этот томительный день, и наконец вечером, уже в сумерки, стали долетать до нас отрывочные разговоры между проходившими беспрестанно жандармами:

— Что, наведен?

— Нет еще, наводят.

Это говорилось о мосте, по которому должно было препроводить нас в крепость и который по весеннему времени не был еще наведен; но для меня слова эти были тогда непонятны.

Когда уже совершенно стемнело, следовательно, часов уже в одиннадцать, нас начали поодиночке выкликать, и раз вызванный более уже к нам не возвращался. Наконец очередь дошла и до меня; меня вызвали и повели внутренними ходами в нижний этаж, — оказалось, что в кабинет Л. В. Дубельта.

В кабинете этом, за большим письменным столом, заваленным кипами бумаг, сидел седенький и худенький генерал в голубом сюртуке и белых генеральских эполетах. Это и был Л. В. Дубельт. Поглядев на меня пристально, он спросил, как мне показалось, довольно сурово:

— Достоевский?..

— Точно так, — отвечал я.

— Извольте отправляться с господином поручиком N N. — Он сказал и фамилию, но, конечно, я ее не помню, а может быть, и не разобрал тогда.

Я вышел с жандармским поручиком в переднюю, через которую проходил утром. Мне надели мою шинель и вывели не на улицу, а во двор, где дожидалась меня такая же, как утром, четырехместная карета. Меня посадили в эту карету, в которую сел рядом со мною и жандармский поручик, а напротив уселся жандармский унтер-офицер, закрыли дверцы кареты, опустили шторы, и карета двинулась.

На этот раз езда наша была гораздо продолжительнее. Странное дело, мне вовсе не приходило тогда в голову самого простого... то есть, что меня везут в крепость. Вероятно, вследствие моего нервного расстройства, мне все казалось, что меня вывезут за город, за заставу, и там пересадят на перекладную и прямо препроводят в Сибирь.

Наконец, после различных проездов под какими-то сводами (через несколько ворот в крепости) — карета остановилась, и меня заставили из нее выйти и ввели в небольшую комнату комендантского флигеля, где со

списком в руках принимал нас старый генерал. Это был комендант крепости генерал-от-инфантерии Набоков.

— Достоевский?

— Так точно, ваше высокопревосходительство, — отвечал привезший меня жандармский поручик.

— Отведите его в первый номер.

И вот опять повели меня, на этот раз через какой-то открытый двор; вошедши в какой-то темный не то коридор, не то сени, мы остановились перед одною дверью, которая со скрипом открылась перед нами, меня впустили в какую-то комнату, дверь мгновенно за мною затворилась, с шумом задвинули железные задвижки и заперли дверь двумя висячими замками.

Я очутился один...

Ощущения, испытанные во весь день, с раннего утра, тревожное состояние в продолжение целого дня, таинственность перевозки, темнота ночи, скрип двери и стук запираемых замков — все это вместе взятое окончательно расстроило мои нервы! Я все еще не мог сообразить в первое время, где я?.. и куда меня ввергнули?..

Комнату едва-едва освещала простая плошка, какие в старину употреблялись при уличных иллюминациях, поставленная на уступ оконной амбразуры. От нее чадило страшно, так, что ело глаза. Я хотел было затушить ее, но мне постучали в маленькое окошечко, устроенное в двери, и сказали, чтобы я не делал этого. Из этого я заключил, что за действиями моими ежеминутно наблюдают.

Осмотревшись немного, я заметил, что посередине стоит койка с простым тюфяком и подушкою, а в отдаленном углу необходимая мебель, то есть судно, и более ничего.

Расстроенный, измученный всеми происшествиями дня, я не раздеваясь кинулся на койку и мгновенно уснул как убитый. В последующие ночи мне уже не приходилось так спокойно спать.

Проснувшись на другой день, я долгое время не мог сообразить, где я. Наконец, припомнил все и покорился своей участи. Благовест церковного колокола в очень близком расстоянии, сперва к утрени, а затем и к ранней обедне; почти ежеминутный бой башенных часов с музыкальным наигрыванием через каждые четверть часа — заставили меня догадаться, что я нахожусь в Петропавловской крепости, в одном из ее казематов. Встав с койки, я начал подробно осматривать свой каземат № 1. Оказа-

лось, что это довольно большая и слишком высокая комната, покрытая сводом. Все стены были сырые, и чувствовался холод, проникавший до самых костей. Я все время не снимал теплой своей шинели, в которой и спал. На стенах ясно обозначались различные свежие царапины. Вероятно, незадолго перед ожиданием новых жильцов, соскабливали различные надписи, сделанные прежними жильцами. Окно было одно; но просвет его начинался так высоко от полу, что, встав на амбразурный уступ (аршина полтора от полу), нельзя было достать до подоконника, а, следовательно, ничего нельзя было и видеть. Полы, вероятно, были когда-то кирпичные, но от времени все выбились.

Было воскресенье. Часу в девятом утра со стуком отворились двери и вошел комендант крепости генерал Набоков со свитою плац-адъютантов и других офицеров. Осмотрев помещение, он проговорил:

— Да, здесь нехорошо, очень нехорошо, надо торопиться... надо сильно торопиться!

После мне объяснили, что слова «надо торопиться» относились к тому, что надо скорей отделывать новые временные казематы.

Я, не упуская первого случая, обратился к генералу и просил объяснить мне, за что я арестован. Набоков нахмурился и очень мрачно проговорил:

— Это вы должны сами лучше меня знать! Но, впрочем, при первом допросе вам это объявится.

И вот потекла моя жизнь изо дня в день в ничегонеделании. Ни книг, ни бумаги, ничего не было!.. Оставалось только мечтать и обдумывать, что может случиться вперед. Единственное занятие, которое я выдумал для себя, состояло в том, что, вставши с койки, я начинал ходить, считая вслух свои шаги, и, насчитав их тысячу, садился на койку отдыхать. Потом начинал снова то же занятие. Этим я немного отгонял от головы мрачные мысли.

В первый же день моего заключения мне объявил плац-майор, что я могу иметь за свои деньги два раза в день чай.

— А курить здесь можно? — спросил я.

— Сколько угодно.

Узнав это, я попросил плац-майора распорядиться покупкою мне табаку, сигар и спичек, а равно и чубук с двумя-тремя трубками, — (папирос тогда еще в продаже не имелось), на что и вручил ему имевшийся у меня весь свой капитал до двух рублей.

— На все? — спросил он.

— На в с е , — отвечал я, алчно помышляя о первой трубке.

И вот через несколько времени мне принесли курево, со всеми принадлежностями... но, ужас, табак был в тридцать копеек фунт, а сигары по семь с половиной копеек десяток. Когда я заявил, что нельзя ли переменить купленный товар на лучший, то старый служитель, исполнявший эту порученность, внушительно проговорил:

— Ничего, господин, привыкнете и к этому, зато на дольше хватит... Ведь неизвестно, как долго вы здесь пробудете!

Я подумал, согласился с его доводами и оставил купленное. Таким образом я был обеспечен большим запасом худого курева; но зато лишился возможности, хотя изредка, выпить стакан горячего чаю.

Двери моего каземата отпирались ежедневно по пяти раз, всегда в одно и то же время: 1) утром, часов в семь или восемь, когда приносили мне умыться и убирали комнату, то есть выносили из судна; 2) часов в десять — одиннадцать, при обходе начальства. Комендант почти ежедневно посещал казематы сам; 3) в двенадцать часов дня, когда приносили обедать; 4) в семь часов вечера, когда приносили ужин, и 5) когда стемнеет, чтобы поставить плошку.

Обед состоял всегда из двух блюд: щи или суп в виде похлебки с нарезанными мелко кусочками говядины, и каша, гречневая или пшенная, причем хлеба приносили вдоволь. Ужин же состоял из одного горячего. Для питья постоянно ставилась оловянная кружка с квасом или водою, по желанию. Как видно, пища была незатейливая, но жаловаться было нельзя, потому что она всегда была сытная и свежая. Ножа и вилки не полагалось, вероятно, опасались самоубийств.

Со второй же ночи я открыл новый сюрприз в своем каземате. Как только стемнело и внесли в каземат зажженную плошку, так мало-помалу начали появляться крысы огромной величины. Я всегда чувствовал и чувствую какую-то боязнь и какое-то отвращение не только к крысам, но даже и к мышам. И вот, теперь мне приходилось воевать с большими крысами. Их являлось иногда штук по десять одновременно, и я, боясь, чтобы они не забрались мне на койку, не спал до рассвета. Я не мог понять, откуда они появляются; вероятно, где-нибудь вблизи был мучной лабаз. При дневном свете их не было видно. Но, впрочем, в конце апреля и начале мая светало рано, и я успевал выспаться. Сверх того, спал всегда и днем после обеда.

Дни проходили за днями при совершенно одинаковой

обстановке. Впрочем, пятый день моего ареста прошел для меня несколько разнообразнее. Еще с утра я услышал праздничный церковный звон. Около полудня начался перезвон, как говорится, «во вся». Послышалось даже приближающееся пенье певчих и потом медленно удаляющееся. Долго я думал, что это значит; наконец рассчитал, что в этот день (27 апреля) церковный праздник *Преполовения поста* и что в этот день ежегодно совершается крестный ход по стенам крепости. Вспомнилось мне также, что в этот день в Строительном училище храмовой праздник (Симеона Сродника Господня) и что еще неделю тому назад я мысленно собирался в этот день в церковь училища, в первый раз по выходе из него, как частное лицо, а не как воспитанник заведения. При воспоминании об этом мне стало грустно, очень грустно!..

Всякий день я ожидал допроса, обещанного мне комендантом крепости еще в первый день моего заключения в каземат. Я предполагал, что он совершится, конечно, днем, но дни проходили за днями, и всякий вечер я с тоскою думал: «не завтра ли?»

Так прошло десять дней, то есть до понедельника 2-го мая. Вечером в этот день я потерял уже надежду, что мне дадут допрос, и думал, по обычаю, не завтра ли? Принесли и ужин; наконец стемнело и внесли зажженную плошку. Отбыв это последнее посещение, я начал, ходя, отсчитывать не помню которую тысячу шагов... Как вдруг послышался необычный в это время дня шум отпирающихся замков и отодвигающихся задвижек. У меня забилось сердце! Отворяются двери, и входит плац-майор:

— Пожалуйте к допросу!..

Я упал на колени и несколько минут горячо помолился Богу!

Выйдя на воздух, я, к изумлению своему, увидел всю землю покрытою только что выпавшим снегом. На меня пахнул свежий ветерок... и вдруг я почувствовал, что мне делается дурно, так что я чуть не упал. Плац-майор и конвойный остановились, я нагнулся к земле, взял горсть снегу и потер себе виски и голову. Мне стало лучше, и мы двинулись далее через двор к комендантскому флигелю, с тем чтобы более уже не возвращаться в каземат № 1.

Меня ввели сперва в приемную, небольшую, но ярко освещенную комнату. Там было большое зеркало, я взглянул в него... и удивился. Во-первых, я нашел, что очень похудел; во-вторых, я увидел при полном освещении свою сорочку... Она была черна, как сажа. Ведь почти

две недели я не переменял белья, а чад от ночной плошки довершил остальное. Брезгливо и наскоро я засунул воротнички сорочки за галстук и застегнул сюртук до верху.

Через несколько минут меня позвали в залу заседаний следственной комиссии.

Посередине довольно большой и ярко освещенной комнаты стоял большой продолговатый стол, покрытый сукном. На председательском месте сидел комендант крепости генерал Набоков. Первое место по правую руку от него занимал, как после узнал я, князь Павел Павлович Гагарин, впоследствии председатель комитета министров, второе — Леонтий Васильевич Дубельт. Первое место по левую руку председателя занимал князь Василий Андреевич Долгоруков, а второе Яков Иванович Ростовцев. Конец стола занимала канцелярия, то есть обер-аудитор, аудитор и секретарь.

Допрос начал князь Гагарин, обратившись ко мне приблизительно с следующими словами:

— Господин Достоевский, вы живете в свете не первый год, а потому должны знать, что лишать человека свободы — нельзя без достаточной причины. Вы лишены свободы вот уже, кажется, десять дней, а потому имели время и должны были обдумать и доискаться причины, за что вы лишены свободы? Вот чистосердечный и правдивый ответ на этот вопрос следственная комиссия и желала бы получить от вас. При этом предваряю вас, что комиссия делает этот вопрос, так сказать, для очищения совести... для формы... потому, что, собственно говоря, комиссии все уже давно известно.

— Вы упомянули, ваше превосходительство, — начал я свой ответ, не зная тогда, что спрашивающий меня был князь, — что я не первый год живу в свете. В этом первом своем мнении вы изволили ошибиться. Своею самостоятельною и вполне свободною жизнью я пользуюсь не года, а только несколько месяцев. До июля прошлого года я был в закрытом заведении — я учился. О моих действиях и поступках до июля месяца прошлого года вы можете справиться у начальства Строительного училища, и я уверен, что вы получите самый благоприятный обо мне отзыв, потому что моя фамилия, как первого по выпуску, помещена на мраморной доске училища. Получив воспитание на казенный счет, назначенный со школьной скамьи прямо на государственную службу, с вполне обеспеченным содержанием, я всем обязан правительству. Еще в первый день моего ареста, еще до каземата, его сиятельство граф Орлов в словах, обращенных к нам, арестованным, высказал, что

мы арестованы вследствие того, что не умели пользоваться правами и свободою, предоставленными всем гражданам, и своими поступками принудили правительство лишить нас свободы... Следовательно, и меня в числе прочих подозревают в противузаконных действиях, в действиях, противных правительству, которому я всем обязан! Что я мог сделать в последние восемь-девять месяцев своей жизни столь преступного, что лишен свободы? Сколько я ни думал об этом в дни моего заключения, но ни на чем не мог остановиться. Еще в первый день моего пребывания в каземате я обращался с просьбою к его превосходительству господину коменданту о сообщении мне причины, за что я арестован, — мне было сказано, что я должен знать об этом сам. Но при этом его превосходительство прибавил, что мне будет объявлено это при первом допросе меня. Не окажете ли вы мне милость, не объявите ли теперь причину моего арестования?

Я проговорил эту тираду горячо, с сознанием своей правоты.

— Все это — слова, и слова хорошие, ежели они правдивы и вами прочувствованы, но обратимся лучше к делу. Вот видите ли, господин Достоевский, часто вредные знакомства вовлекают молодых людей, подобных вам, не только в проступки, но даже в преступления! Подумайте-ка хорошенько, господин Достоевский, не имели ли вы таких знакомств?

— Все мои знакомства ограничиваются моими товарищами по выпуску и товарищами по службе. — Я назвал до десятка фамилий.

— Где вы бывали по пятницам?

— Пятница для меня такой же день, как и все остальные дни недели, ни у кого, в смысле постоянных еженедельных посещений, я по пятницам не бывал. Вот в последнюю пятницу, перед моим арестом, то есть 22 апреля, я был у своего товарища архитектора Карпова и в квартире его провел время в сообществе его сестры, часов до одиннадцати вечера.

— А с Буташевичем-Петрашевским вы не знакомы?..

— С Петрашевским?.. Нет, я Петрашевского не знаю; а как ваше превосходительство назвали другого?

Я действительно только тогда в первый раз услышал о Петрашевском и, не зная, что он носит двойную фамилию, думал, что спрашивают о двух лицах. Этот наивный вопрос поколебал, кажется, недоверие к моим

показаниям, потому что князь Гагарин, после непродолжительного совещания (шепотом) с председателем, обратился ко мне со следующим вопросом:

— Послушайте, господин Достоевский, вам не случалось слышать, что у вас есть однофамильцы?

— Я знаю, и мне не раз приходилось слышать от покойного отца, что мы не имеем однофамильцев. Все носящие в настоящее время эту фамилию — мои ближайшие родственники, мои родные братья.

— Вы сказали братья?

— Да.

— В день своего ареста вы встретились с своим братом в III Отделении собственной его императорского величества канцелярии; вы об этом не упомянули.

Об нашей мгновенной встрече уже сообщили следственной комиссии!

— Я не имел еще случая об этом упомянуть. Впрочем, встреча наша была только на одно мгновение, и мы не успели сказать друг другу ни одного слова.

— Так!.. Следовательно, кроме этого брата у вас есть еще брат?..

— Кроме брата Федора, у меня еще два брата: один младший, еще семнадцатилетний юноша, поступил на мое место в Строительное училище; а другой, старший нас всех, брат Михаил Михайлович.

— Какая профессия старшего вашего брата и где он живет?

— Он отставной военный инженер и живет здесь в Петербурге.

— Чем же он занимается?

— Он занимается литературой.

— Ааааааа!

Новый минутный шепот с председателем.

— Господин Достоевский, мы попросим вас удалиться на несколько минут в приемную.

Я вышел.

Через несколько минут меня снова позвали в залу заседаний комиссии, и начал опять князь Гагарин.

— Все сейчас показанное вами, господин Достоевский, комиссия считает и находит правдоподобным; но вы поймите, что комиссия не может основываться на одних ваших голословных показаниях; она должна их проверить; но, впрочем, мы вас долго не заставим ждать, завтра в это же время мы призовем вас опять, а до тех пор возвратитесь в свой каземат.

Я поклонился и хотел выходить, но генерал Набоков остановил меня и позвонил.

— Его каземат ужасный, надо перевести е г о . —(Вошедшему по звонку плац-майору:) — Отведите этого господина в новые помещения и устройте его в одном из лучших номеров.

Мы вышли, и я, не заходя в старый каземат, очутился на новоселье, куда мне перенесли и мое курево со всем прибором.

Новое мое помещение показалось мне раем после каземата № 1. Это была чистенькая комнатка, походящая более на отдельную больничную палату, нежели на каземат. Только железные решетки в окнах напоминали, что это арестантское помещение.

Было уже поздно. Теплое, чистенькое помещение, хороший воздух, новая железная кровать с новым же тюфяком, покрытым простыней и байковым одеялом... соблазнили меня, и я сейчас же лег на кровать, в первый раз со времени своего ареста без теплой шинели и сняв верхнее платье.

Весь следующий день я провел в ожидании вечера. За себя я был уже совершенно спокоен, но мне щемило сердце, что оба мои старшие братья замешаны в каком-то деле, о котором я, впрочем, не имел ни малейшего понятия.

Настал вечер, и часу в одиннадцатом меня действительно снова позвали; это было 3 мая во вторник. Я пошел в знакомую мне залу, и князь Гагарин объявил мне следующее:

— По собранным справкам, все показанное вами вчера оказалось совершенно справедливым. *Ваш арест произошел от ошибки, часто неизбежной при огромном механизме государственного управления* *. Но комиссия не может освободить вас теперь же: вы арестованы по высочайшему повелению, а потому и освобождение ваше должно быть разрешено высочайшей властью. Государь же в настоящее время в Варшаве, и комиссия уже послала туда представление об освобождении вас; вероятно, на днях получится разрешение, и тогда вы будете освобождены, а до тех пор вы должны провести еще несколько дней в каземате. Как молодой архитектор, силою своего творческого воображения, приведите мысленно свой каземат в изящное и уютное помещение и проведите в нем еще некоторое время...

---

* Подчеркнутые слова точны до последней буквы; они глубоко врезались в моей памяти, и я как будто сейчас их слышу. (*Примеч. А. М. Достоевского.*)

Последние слова князя пахли насмешкою и иронием. Но на этих словах прервал его генерал Набоков.

— Никогда я не допущу, чтобы совершенно невинный находился под арестом и сидел в каземате. Вы правильно сказали, князь, что комиссия не имеет права освободить господина Достоевского без разрешения государя, но я, как председатель комиссии и как комендант крепости, делаю его своим арестантом... — При этом он позвонил, и на зов этот вошел плац-майор.

— Это мой арестант, в моей квартире есть свободная комната, близ моего кабинета, поместите его туда; ни стражи, ни запоров не нужно, он не убежит! — (Обратившись ко мне и положив руку на мое плечо:) — Правду вы говорили, мой голубчик, что невиновны... — (плац-майору вполголоса:) — Сейчас же напоите его чайком, да с сухариками... да с сухариками!.. — (Мне:) — Ступайте, мой голубчик, отдохните!

Но я не сейчас вышел и обратился к комиссии со следующею просьбою:

— Хотя я был убежден в своей невиновности, но сейчас... здесь... я услышал официально, что арест мой есть арест ошибочный... Я только начинаю свою службу, и для меня очень важно, чтобы и во мнении моего начальства не осталось ни малейшего подозрения насчет моего арестования, а потому я покорнейше просил бы комиссию, не найдет ли она возможным известить мое начальство о случившейся ошибке относительно моего арестования?..

На эту мою просьбу ответил генерал Набоков, что комиссия уведомит об этом мое начальство, а генерал Яков Иванович Ростовцев при этом же заявил, что кроме уведомления комиссии он сам будет писать графу Петру Андреевичу Клейнмихелю и просить его, чтобы мой ошибочный несчастный арест не имел никакого влияния на мою службу.

Тогда я всем поклонился и вышел. <...>

Этот арест мой продолжался с лишком двое суток, то есть до утра 6 мая (пятницы). Но еще накануне, то есть в четверг 5 мая, около полудня, плац-майор, разговаривая со мною, дал мне понять, что разрешение об освобождении меня получено уже комиссиею.

— Так, значит, меня нынче же и освободят? — спросил я плац-майора.

— Нет, вас нынче не освободят, а освободят завтра утром.

— Почему же? Еще очень рано... Зачем меня удерживать? Я пойду к генералу и буду просить...

Но плац-майор меня перебил; он сказал мне, что получит большие неприятности, ежели узнают, что он передал мне это известие; конечно, я отказался от своего намерения, но при этом спросил, какие могут быть препятствия к моему немедленному освобождению.

— Да очень просто — не желают, чтобы вы встретились в городе с теми лицами, с которыми вы встречаться не должны.

Я понял, что не хотят, чтобы я виделся с братом Михаилом Михайловичем.

В ночь с 5 на 6 мая брат Михаил Михайлович был арестован, а утром 6 последовало мое освобождение.

Часов в восемь утра 6 мая, в пятницу, меня позвали в залу коменданта крепости. Меня повел плац-майор.

— По высочайшему повелению, вы освобождаетесь от ареста. — (Обратясь к плац-майору:) — Сделайте распоряжение об отправлении его на его квартиру.

Поклоном своим он дал мне знать, что я могу удалиться. Но я, несмотря на это, остановился и еще раз, очень растроганным голосом благодарил его за доброту ко мне.

— Не за что, не за что... Я очень рад, очень рад вашему освобождению... Желаю вам всего лучшего... Прощайте. <...>

КВАРТИРА ШЕСТАЯ

ПЕРЕЕЗД ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЕЛИСАВЕТГРАД. СЛУЖБА И ЖИЗНЬ ТАМ. ЖЕНИТЬБА И ПЕРВЫЕ ГОДЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ С ОКТЯБРЯ 1849 ГОДА ПО ИЮЛЬ 1858 ГОДА

<...> Все шло своим порядком, но я, мало привыкнув еще к новому своему положению, очень скучал в своем одиночестве. К тому же участь брата, Федора Михайловича, была еще не решена, и я часто обращался к мысли, что будет, что с ним будет!? Наконец эта неизвестность кончилась для меня в начале нового 1850 года. Помню, что, кажется на другой день Нового года, то есть 2-го января, приехал ко мне утром Ив. Прокоф. Федорченко, чтобы отдать новогодний визит, и между прочим сообщил, что в газетах напечатан приговор наказаний обвиненным по делу Петрашевского и что в приговоре этом в числе обвиненных значится и некто Федор Достоевский, причем полюбопытствовал — однофамилец этот господин мне или родственник... Конечно, я сейчас же заявил, что это мой родной брат,

и попросил у него сообщить мне эти газеты, что он и исполнил, вынув их из кармана. По отъезде Федорченко я сейчас же накинулся на газеты. Это был номер «Северной пчелы», издаваемой Булгариным, не помню от какого числа, но помню, что этот номер только что был получен в Елисаветграде. В газете был напечатан приговор, по которому: «Отставной инженер-поручик Федор Достоевский двадцати семи лет, за участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства — по заключению генерал-аудиториата подвергался смертной казни расстрелянием». По высочайшей же конфирмации приговорен: «к лишению всех прав состояния, к ссылке в каторжную работу в крепостях на четыре года, и притом к определению рядовым»[73]. И теперь, через сорок шесть лет спустя после этого происшествия, несмотря на то, что брат Федор после каторги был не только всепрощен, но и возвеличил имя *свое*, — я не мог написать этих строк, чтобы, как говорит жена, не подрал мороз по коже... Что было тогда со *мною*, — предоставляю судить каждому. Помню только, что в этот день я никуда не выходил из комнаты, читал и перечитывал всю газету, а сентенцию и приговор переписал для себя на бумагу, которая и теперь цела у меня.

Сведение о том, что я брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу, и, конечно, никто мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и при том во взглядах только меньшинства встречал сочувствие... Большинство же долгое время чуралось меня... <...>

Письма, полученные мною в 1854 году из Москвы и Петербурга, принесли мне много важных и большею частью хороших известий о случившемся с близкими моими родственниками. <...>

Варвара Михайловна сообщила: 1) что брат Федор Михайлович окончил свой четырехлетний срок каторги, поступил рядовым в 7-й батальон отдельного Сибирского корпуса и что с ним можно теперь вести переписку

В сентябре месяце <...> я был обрадован и получением письма от брата моего Михаила Михайловича. <...> Он <...> в письме сообщил также и точный адрес, по которому можно писать брату Федору Михайловичу.

Вслед за получением этого письма, я, не откладывая в долгий ящик, написал первое письмо к брату Федору Михайловичу и отправил его 14 сентября. Тогда же написала ему и Домника[74]. Чтобы письма эти вернее дошли, я послал его денежным, вложив десять рублей (10 р.), но ответ на эти письма мы получили уже в следующем 1855 году. <...>

Как-то в начале марта 1855 года, помню, что это было Великим постом, сидим мы втроем за обедом, — я как теперь помню, было подано блюдо раков, — и вслед за ним является почтальон и говорит: «К вам казенный пакет» — и предлагает расписаться в получении его в книге. Я посмотрел на огромную сургучную печать и сейчас же прочел на ней: «III Отделение собственной его императорского величества канцелярии». У меня так и екнуло сердце... Я знаком был уже с III Отделением!! Пока я расписывался в получении пакета, пока выпроводил почтальона, Домника и батюшка не отрывали от меня глаз, потому что, как говорили они, я был бледен, как полотно...

— Что с тобой?.. Что с вами?.. Откуда пакет?.. — был поспешный с двух сторон вопрос.

Я, не отвечая им, поспешил вскрыть большой пакет, и из него выпали два маленьких почтовых листочка. Это оказались письма брата Федора Михайловича из Семипалатинска, — одно ко мне, а другое к Домнике[75]. Я успокоился и, не читая еще писем, показал батюшке и Домнике пакетную печать. Все мы поняли тогда, что хотя переписка с ним и дозволена, но что его письма в Россию, а может быть, и наши письма к нему, идут через III Отделение, где вскрывают и прочитывают их. Письма брата были без его конверта, а прямо в конверте III Отделения. Успокоившись немного, я начал читать письма, писанные братом 6 ноября 1854 года и дошедшие до меня только в начале марта! Эти великолепные письма растрогали меня тогда до слез; они и теперь хранятся у меня, на пожелтевшей бумаге! Но, впрочем, они целиком напечатаны в первом томе 1-го издания полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в отделе «Переписка», на страницах 75, 76 и 77. — Слух, что я получил пакет из III Отделения, разнесся по всему городу, и я, чтобы уничтожить различные сплетни, рассказал двум-трем моим знакомым, что заключалось в пакете; и так как я рассказывал это по секрету, то через несколько дней все в городе знали, какого рода пакет получил я! <...>

КВАРТИРА ВОСЬМАЯ

ПЕРЕЕЗД В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКУЮ ГУБЕРНИЮ. СЛУЖБА И ЖИЗНЬ В Г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ С МАЯ МЕСЯЦА 1860 ГОДА ПО МАЙ МЕСЯЦ 1865 ГОДА

<...> Путешествие прошло весьма благополучно, и на другой день утром мы были на вокзале железной дороги в Петербурге [76]. Сейчас же запаслись извозчиком и поехали отыскивать себе пристанище. Тогда это было не так трудно, как теперь. Нам еще в Москве советовали одни меблированные комнаты, содержимые близ Казанского собора, куда мы и направились и там приютились, наняв номер из двух комнат за сравнительно очень недорогую цену, то есть за полтора рубля в день с самоварами. Устроившись кое-как в этом номере, я один поехал к своим родным. Сперва, конечно, разыскал помещение редакции журнала «Эпоха», где жило семейство покойного брата Михаила Михайловича, думая там застать и брата Федора. Но оказалось, что брата Федора не застал, он занимал комнату вблизи редакции, и как я справился, не был дома. Вдова брата, то есть моя невестка Эмилия Федоровна, приняла меня очень радушно и очень обрадовалась, узнав, что я приехал с семейством. Она пригласила нас в тот же день на вечер, уверяя, что и брат Федор Михайлович будет тогда у них. От невестки я поехал на Петербургскую сторону к Голеновским, которые тоже очень удивились и обрадовались моему приезду. К ним я обещал явиться с женою и детьми на следующий день. Тут же у Голеновских я увиделся и с братом Николаем Михайловичем. Он уже не состоял на службе и занимал квартиру в одном из флигельков сестриного дома. Увидев его, я был очень огорчен его положением. Молодой еще человек и так вдруг опустившийся! Руки у него тряслись. Все движения и походка были как у расслабленного! Бедный брат, вот что значит невоздержание! Но я нашел в нем того же добряка, как и прежде! [77]

Воротившись домой в номер и сообщив о своих встречах, мы, дождавшись вечера, — кажется, часов около семи, поехали на двух извозчиках к Эмилии Федоровне. Тут я представил свою жену и семейство, а затем вскоре, услышав о нашем приезде, явился из кабинета редакции и брат. И я свиделся с ним более чем через пятнадцать с половиной лет после нашей последней встречи в Белой зале III Отделения! Конечно, встреча была очень трогательная и радушная. Затем брат, посидев с нами недолго,

отправился опять в кабинет, где довольно долго занимался, а в более позднее время опять явился в гостиную, и мы провели вечер очень приятно.

На другой день было 31 декабря. Мы были у Голеновских и утром, были и вечером, где встречали Новый год все наши родные, то есть семейство брата Михаила и брат Федор, мы и брат Николай Михайлович. <...>

Встреча Нового года была очень оживленна. Брат Федор был в отличнейшем расположении духа, равно как и все присутствующие, и мы возвратились домой далеко за полночь, как и подобало при встрече Нового года. <...>

5-го числа во вторник мы посвятили день осмотру Эрмитажа, где долго пробыли, любуясь картинами и прочими редкостями; а в среду, в день Богоявления, мы делали прощальные визиты всем родным и обедали у Голеновских. Позабыл отметить также, что 4-го или 5-го мы были на довольно парадном вечере, который редакция «Эпохи» давала всем своим сотрудникам. Конечно, на вечер этот приглашены были и мы; тут я встретился и познакомился между прочим со Страховым, Полонским и некоторыми другими, которых не припомню. На вечере было человек до двадцати, и вечер прошел очень оживленно. Ужин был великолепный.

Брат Федор Михайлович, бывший у меня и ранее в номерах, отдавая мне как бы визит, 6-го, когда я был у него с прощальным визитом, обещался приехать ко мне вечером, чтобы окончательно проститься со мною и женою, так как мы предполагали выехать из Петербурга 7-го января. На этот вечер я запасся бутылкою шампанского, пирожными и фруктами. Кстати упомяну, что шампанское тогда было гораздо дешевле; в самом лучшем винном магазине я купил одну бутылку Редерера за три рубля серебром. Часу в восьмом вечера действительно приехал брат. Немного спустя после обычного чая, который за разговорами продлился долго, я велел подать шампанского, и мы за бутылкою просидели до первого часа ночи. Брат был очень любезен и разговорчив. Между прочим, он сообщил, как произошло запрещение журнала «Время» [78]. Вот рассказ этот, который сохранился совершенно ясно в моей памяти.

«В апрельской книжке журнала «Время» за 1863 год помещена была статья Страхова «Роковой вопрос». Статья более патриотическая, чем вольнодумная. Журналы тогда еще не выходили без предварительной цензуры, а все подвергались цензуре, да еще какой!! И, несмотря на

это, существовавшая строгая цензура того времени пропустила к печатанию как эту статью, так и всю апрельскую книжку. Кажется затем, какая могла быть причина к обвинению и преследованию редактора? Уже ровно никакой, а между тем, преследование, и жестокое преследование, совершилось через запрещение журнала, и запрещение не на время, а навсегда!

В Москве статью эту поняли не так, а приняли ее за вольнодумную, будирующую, да пресса, во главе с «Московскими ведомостями», нашла несвоевременною, ввиду не окончившегося еще польского восстания. Все это побудило Москву кричать о полонофильствующем направлении журнала «Время». В это время московский генерал-губернатор, кажется, Офросимов, вел довольно частую переписку с государем императором. В одном из своих всеподданнейших писем он между прочим прибавил: «Москва возбуждена статьею «Роковой вопрос», помещенною в петербургском журнале «Время». — Валуев, ничего не подозревая, в один из дней своего доклада государю, едет в Царское Село и на дебаркадере Царскосельской железной дороги встречается с каким-то тузом-москвичом. Встретившись, они разговорились, и москвич сообщил Валуеву, что Москва возбуждена статьею «Роковой вопрос». Валуев же ответил, что все это вздор, что статья очень благонамеренная и пропущена цензурой и что Москва вечно из мухи слона делает, лишь бы о чем-нибудь покричать. На этом они расстались, и Валуев отправился к государю. При окончании доклада государь вдруг сказал Валуеву: «Что это у тебя за «Роковой вопрос» появился, Москва возмущена им!» — «Журнал «Время» запрещен, ваше императорское величество», — поспешил ответить опешивший Валуев, удивленный, что и до государя дошел этот «Вопрос». — И вот, возвратившись в Петербург, Валуев делает распоряжение о закрытии задним числом журнала «Время». Он поступил как настоящий Виляев, как у нас теперь называют Валуева», — добавил при этом брат Федор Михайлович.

Мы распростились с братом на долгое время. Мне пришлось с ним вновь свидеться уже в сентябре месяце 1872 года, когда я по своим делам был в Петербурге и когда брат был снова уже женат. При расставании с братом я передал ему 16 рублей на высылку журнала «Эпоха» в 1865 году ко мне в Екатеринослав, но получил только две первые книжки, а затем журнал этот прекратил свое существование.

А. И. САВЕЛЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Я позволяю себе передать в «Русской старине» мои воспоминания о годах молодости Ф. М. Достоевского времени его пребывания кондуктором (воспитанником) в Главном инженерном училище, где я служил в должности дежурного офицера и знал Федора Михайловича близко и пользовался дружеским его расположением.

Ф. М. Достоевский, по конкурсному экзамену (1838 г.), поступил в Главное инженерное училище при мне, и с первых годов его пребывания в нем и до выпуска из верхнего офицерского класса (1843 г.) на службу он настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и так оригинальным и своеобычным, что сначала все это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности. Федор Михайлович вел себя скромно, строевые обязанности и учебные занятия исполнял безукоризненно, но был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. У него можно было видеть и Евангелие, и «Die Stunden der Andacht»* Цшокке, и др. После лекций из закона Божия о. Полуэктова Федор Михайлович еще долго беседовал со своим законоучителем. Все это настолько бросалось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием[1]. Невозмутимый и спокойный

---

* «Часы молитвы» (*нем.*).

по природе, Федор Михайлович казался равнодушным к удовольствиям и развлечениям его товарищей; его нельзя было видеть ни в танцах, которые бывали в училище каждую неделю, ни в играх в «загонки, бары, городки», ни в хоре певчих. Впрочем, он принимал живое участие во многом, что интересовало остальных кондукторов, его товарищей. Его скоро полюбили и часто следовали его совету или мнению. Нельзя забыть того, что в то время, в замкнутом военно-учебном заведении, где целую неделю жили сто с лишком (125) человек, не было жизни, не кипели страсти у молодежи. Училище тогда представляло из себя особенный мирок, в котором были свои обычаи, порядки и законы. Сначала в нем преобладал немецкий элемент, так как и начальство и воспитанники были большею частию немцы; впоследствии, в шестидесятых годах, наибольшее число воспитанников училища были уроженцы Польши. Федору Михайловичу приходилось часто мирить в его время эти два элемента. Он умел отклонять товарищей от задуманных шалостей (так называемых отбоев, бенефисов и пр.), но были случаи, где его авторитет не помогал, так, нередко, когда проявлялось своеволие товарищей его над «рябцами» (новичками) или грубое их обращение с служителями, Федор Михайлович был из тех кондукторов, которые строго сохраняли законы своей almae mater *, поддерживали во всех видах честность и дружбу между товарищами, которая впоследствии между ними сохранялась целую жизнь. Это был род масонства, имевшего в себе силу клятвы и присяги. Федор Михайлович был тоже врагом заискивания и внимания у высшего начальства и не мог равнодушно смотреть на льстецов даже и тогда, когда лесть выручала кого-либо из беды или составляла благополучие. Судя по спокойному, невозмутимому его лицу, можно было догадываться об его грустном, может быть, наследственном настроении души, и если вызывали его на откровенность, то он отвечал часто на это словами Монтескье: «Ne dites jamais la vérité aux dépens de votre vertu» **.

Посещая часто кондукторскую роту Главного инженерного училища, я мог заметить всю его внутреннюю жизнь, мог близко познакомиться с его воспитанниками (кондукторами), а при небольшой наблюдательности

---

* кормящей матери (*лат.*). Здесь: учебное заведение, где проходили юношеские годы воспитанников.

** Никогда не говорите правды в ущерб вашей добродетели (*фр.*).

и с их характером, наклонностями и привычками. Припоминая давно минувшее, могу только сказать, что многое, что было тогда замечено мною в бывших при мне воспитанниках, их душевных качествах и недостатках, сохранилось при них впоследствии и на жизненном поприще. Одно качество, которое не пропадало в кондукторах с летами, это любовь к училищу, где они учились, уважение к их воспитателям и взаимная между товарищами дружба.

Сказать, что эти качества были между молодежью, жившею вместе четыре года, без изменения, никак нельзя. Большая часть этой молодежи по свойствам характера, по воспитанию и образованию легко увлекалась общим настроением, товариществом, местными обычаями. Но было много молодежи, которых душевные свойства никогда не изменялись; они в дни юности и в преклонные года оставались без перемены. Таким был *Ф. М. Достоевский.* Он и в юности был по виду таким же стариком, каким он был в зрелом возрасте. И в юности он не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренно ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, *Бережецкого,* тоже кондуктора, хотя старшего класса[2]. Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любящий уединение, как говорится, человек замкнутый, особняк (homme isolé). Бывало, на дежурстве мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету «Северная пчела», или произведение тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского, или литографированные записки лекций, читанных преподавателями. Можно было видеть двух приятелей, Бережецкого и Достоевского, гуляющих по камерам, когда их товарищи танцевали во вторник в обычном танцклассе или играли на плацу. То же можно было видеть и летом, когда они были в лагере, в Петергофе. Кроме строевых и специальных занятий, в которых они обязательно участвовали, оба приятеля избегали подчиненности; в то время когда отправляли командами при офицере гулять в саду «Александрии»[3] или водили купаться, они никогда не были. Точно так же их нельзя было видеть в числе участвовавших на штурме лестниц Сампсониевского фонтана[4] и пр. Занятия и удовольствия летом у двух приятелей были те же, что и зимою.

Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в этих друзьях особенно выдающихся душевных

качеств, например, их сострадания к бедным, слабым и беззащитным, которое у Достоевского и Бережецкого проявлялось чаще всего зимою, нежели летом, когда они видели грубое обращение товарищей со служителями и с *рябцами* (только что поступившими в училище кондукторами). Достоевский и Бережецкий употребляли все средства, чтобы прекратить эти обычные насилия, точно так же старались защищать и сторожей и всякого рода служащих в училище. Достоевского и Бережецкого возмущали и всякого рода демонстрации, проделки кондукторов с учителями иностранных языков, особенно немцев. Пользуясь большим авторитетом у товарищей, они, Достоевский и Бережецкий, или прекращали задуманные проделки с учителями, или останавливали. Только то, что творилось внезапно, им нельзя было остановить, как, например, это случилось во время перемены классов, когда из четвертого класса (называвшегося Сибирью) вдруг, из открытых дверей, выбежал кондуктор О., сидевший верхом на учителе немецкого языка Н. Конечно, эта проделка не прошла даром. По приговору Достоевского и Бережецкого виновник проделки был порядочно товарищами старшего класса побит.

Сострадание к бедным и беззащитным людям у Федора Михайловича могло в нем родиться с летами очень рано, по крайней мере в детстве, когда он жил в доме своего отца, в Москве, который был доктором в больнице для бедных, при церкви Петра и Павла. Там ежедневно Федор Михайлович мог видеть перед окнами отца, во дворе и на лестнице бедных и нищих и голытьбу, которые сбирались к больнице, сидели и лежали, ожидая помощи. Чувства сострадания сохранились в Федоре Михайловиче и в училище. Состоя в нем воспитанником (кондуктором), ему приходилось видеть и другого рода бедняков — крестьян в пригородных деревнях, когда летом, идя в лагерь в Петергоф, кондукторская рота ночевала в деревне Старая Кикенка. Здесь представлялась картина нищеты в ужасающих размерах от бедности, отсутствия промыслов, дурной глинистой почвы и безработицы. Главной причиною всего этого было соседство богатого имения гр. Орлова, в котором все, что требовалось для графа или для его управляющего, все это делалось под руками, своими людьми. Поразительная бедность, жалкие избы и масса детей, при бескормице, увеличивали сострадание в молодых людях к крестьянам Старой Кикенки. Достоевский, Бережецкий и многие их товарищи устраивали денежную складку, сбирали деньги

и раздавали беднейшим крестьянам. Ничего нет мудреного, что бедность, которую видел Федор Михайлович в юности, была канва, по которой искусный художник создавал своих «бедных людей». Чувства уважения к боевым заслугам у молодых кондукторов развивались при виде георгиевских кавалеров, которые им служили и были при них каждый день; в особенности это было заметно 26 ноября, когда георгиевский кавалер Серков, по повелению государя, обедал вместе с кондукторами. Были особенно интересны его рассказы о войне 1828 года, когда Серков по службе сапера участвовал на штурмах Браилова и Шумлы и когда, будучи раненным, он вынес на себе тяжело раненного и лежащего во рву крепости офицера.

По службе посещая каждый день кондукторскую роту Инженерного училища и будучи немногими годами старше воспитывавшихся в нем юношей, я пользовался их расположением ко мне. Нередко они передавали откровенно свои минутные впечатления, свои радости и горе. Мне приходилось иногда останавливать шаловливых или лично, или с пособием старших кондукторов от задуманных ими шалостей (так называемых отбоев, отказов отвечать на заданный урок и проч.). Интереснее для меня на дежурстве были беседы со мною кондукторов *Григоровича* и *Достоевского*[5]. Оба были весьма образованные юноши, с большим запасом литературных сведений из отечественной и иностранной литературы; и каждый из этих юношей, по свойствам своего характера, возбуждал во мне живой интерес. Трудно было отдать преимущество в их рассказах кому-либо более, чем другому. Что-то глубоко обдуманное, спокойное видно было в рассказах *Достоевского* и, напротив, живое, радостное являлось в рассказах *Григоровича.* Оба они занимались литературою более, нежели наукою; Достоевского <более> занимали лекции истории и словесности Турунова и Плаксина, чем интегральные исчисления, уроки Тер-Степанова, Черневского. Сам Достоевский был редактором литографированной при училище газеты «Ревельский сняток». Григорович, с первых дней вступления в Инженерное училище, не любил, как он говорил, «considération calcul»* и боялся преподавателей математики; его занимали Виктор Гюго, m-me Сталь, Боккаччо, Дюдеван и пр. Владея отлично французским языком и даром слова

* расчетов (*фр.*).

и памятью, Григорович часто приводил изустно стихи в переводе из Байрона и др.

Будни в Инженерном училище проходили в известном установленном порядке: классные занятия были два раза в день, от восьми часов до двенадцати и от трех часов до шести. От семи часов до восьми кондукторы занимались повторением уроков, а от восьми до девяти часов были или гимнастика, фехтование, или танцы. В эти условные часы занятий Федор Михайлович или участвовал, а в некоторых его не видно было. В то время, когда кондукторы, его товарищи, каждый, сидя у своего столика, занимался подготовкою к следующему дню, Федор Михайлович с кем-либо из товарищей (Бережецким или Григоровичем) гулял по рекреационной зале или беседовал с дежурным офицером. Нередко можно было видеть его у кого-либо из товарищей, которому он объяснял какую-либо формулу или рисунок из начертательной геометрии, которым, как Шидловский * и др., эти чертежи были, что называется, китайской грамотой. Всего чаще можно было видеть Федора Михайловича, подготовлявшего товарищу сочинение на заданную тему [7]. До вечерней повестки нередко сбирались в рекреационной зале все, не исключая прислуги, послушать рассказы старшего писаря *Игумнова.*

Это был старший писарь кондукторской роты, человек, прослуживший долго в строю, в армейском полку; весьма честный, добрый, весьма любимый кондукторами, большой любитель литературы и обладавший отличной памятью. Он имел большое нравственное влияние на молодежь. Его рассказы исторические из русской старины были весьма интересны, в особенности об Инженерном замке, о жительстве в нем в 20-х годах секты «людей Божиих» [8], об их курьезных радениях (пляске, кружениях и пениях), о кастеляне замка Брызгалове, носившем красный камзол с большими золотыми пуговицами, треугольную шляпу и напудренный парик **. Игумнов в зимние вечера, по приглашению чаще всего Ф. М. Достоев-

---

* Шидловский, будучи очень тупым, отличался от товарищей только хорошей памятью. Он кончил образование в двух учебных заведениях, но своими поступками, будучи государственным сановником (губернатором, товарищем министра внутренних дел), назывался человеком с фаршированной головой (Щедрин) или, проще, назывался барабанщиком [6]. (*Примеч. А. И. Савельева.*)

** Брызгалов еще жив был в сороковых годах. (*Примеч. А. И. Савельева.*)

ским, приходил в рекреационную залу и становился посреди ее. Немедленно зала наполнялась всеми кондукторами, являлись скамейки и табуреты, и водворялась тишина. Игумнов, обладая хорошею памятью, изустно передавал целые баллады Жуковского и поэмы Пушкина, повести Гоголя и др. Присутствовавшие, приходившие в восторг от рассказов Игумнова, не ограничивались аплодисментами, но сбирали ему каждый раз обильное денежное вознаграждение.

Нельзя забыть того из времени пребывания Федора Михайловича в Инженерном училище, что на Федора Михайловича имели нравственное влияние тогдашние внешние и внутренние события и лица, его окружающие. Сохраняющий в сердце своем чувства высокой честности, он рассказывал мне свое глубокое негодование на некоторых начальников, грабивших и возмущающих солдат тогдашней продолжительной службы, например, генералов Батурина, Тришатного (впоследствии разжалованного в рядовые), кн. Дадьяна, зятя командовавшего войсками барона Розена, на Кавказе. Кн. Дадьян был разжалован в рядовые и посажен в крепость Бобруйск. Федора Михайловича возмущали проделки русских людей, братьев П. Одного из них — директора Североамериканской компании, продавшего Алеутские острова Америке, и другого брата, ограбившего инвалидный капитал. Федор Михайлович знал имена начальников в войсках на войне и на гражданском поприще, которые получали награды не по заслугам, а благодаря родству и связям с сильными мира сего. Он знал проделки бывшего инспектора классов Инженерного училища, как он помещал и поддерживал тех кондукторов, которых родители ему платили или делали подарки и пр. Кроме всего мною упомянутого и не сказанного, все было известно лучше меня одному из преподавателей Инженерного училища, г. *Толю* (известному энциклопедисту)[9]. Впоследствии, когда ему было отказано, кондукторы откровенно рассказывали про него много любопытного. Он был учителем русского языка и словесности в третьем кондукторском классе. На его лекции пробирались и кондукторы из старших классов. Ни Федор Михайлович, ни другие воспитанники не могли, рассказывая об нем, сказать, какой философской системе или кому из ученых социалистов он держался, достаточно того, что он говорил юношам о таких предметах (о настоящей, истинной религии, буддизме и даосизме, коммунизме и равенстве и пр.)[10], о которых

им не приходилось ни читать, ни слышать. При нем можно было сидеть в классе, где кому угодно и не застегиваясь на все крючки и пуговицы, и, что важнее всего, можно было курить. В предостережение того, чтобы неожиданно не вошел бы дежурный офицер в третий класс, в замочную скважину смотрел кто-либо из кондукторов или сам учитель Толь.

Теперь трудно сказать, чтобы эти лекции производили на слышавших их молодых людей, а в том числе на Федора Михайловича, вредное влияние; скорей всего возмущали тогдашнюю молодежь суровый старый режим военного-суда и расправы. Еще с юных лет Федор Михайлович не имел расположения к военной службе, хотя очень любило его училищное начальство (некто А. Ч. Фере), которое готовило его на «ординарца». Раз даже Достоевский, будучи ординарцем, представлялся великому князю Михаилу Павловичу, подходя к которому и сделав на караул, он оробел и вместо следующей фразы: «К вашему императорскому высочеству» — громко сказал: «К вашему превосходительству». Этого было довольно, чтобы за это досталось и начальству, и самому ординарцу. Возмущало Федора Михайловича на службе многое, и когда он был инженерным офицером в Кронштадте, и те домашние и судебные расправы. Он не мог видеть крепостных арестантов в кандалах на работах его дистанции, ни расправы, которые происходили в войсках, содержавших караулы в Кронштадте. Разрушали в чувствах Федора Михайловича и расположение к техническим работам. Нередко его чертежи (планы и фасады зданий, караульни с их платформами и пр.), составленные им неправильно, без масштаба, возвращались обратно в инженерную команду с выговором или с саркастической заметкой... их автору. Все это тревожило молодого инженера и охлаждало его к военной службе, и как ни старались я и товарищи его успокоить, помирить с испытываемыми им неудачами, а тут еще и удручающая его болезнь окончательно его свалили. Федор Михайлович подал в отставку [11].

К. А. ТРУТОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

В 1839 году я поступил в Главное инженерное училище (ныне Николаевское) в четвертый, младший, класс, тринадцати лет. Федор Михайлович в это время был во втором классе. Мы, воспитанники низшего класса, не имели ничего общего в то время с воспитанниками (как тогда называли, «кондукторами») высших классов, так как первый год поступления в училище был для новичка годом полного бесправия и подчинения старшим воспитанникам. Существовал обычай, что все старшие воспитанники имели полное право приказывать новичкам, а те должны были беспрекословно исполнять их приказания. Всякое сопротивление их приказанию или проявление самостоятельности было наказываемо ими подчас очень жестоко. Обычай дикий, который, слава Богу, теперь вывелся.

Я лично находился в этом случае в исключительном положении: так как я рисовал лучше других, то мне часто приходилось, по просьбе, а большею частью по приказанию, рисовать для старших воспитанников. Рисовал я или орнаменты для архитектурных проектов, или вырисовывал самые архитектурные проекты, или наконец делал просто рисунки. Офицеры «офицерских» классов (ныне академических) иногда также приносили мне свои архитектурные проекты, на которых я должен был вычерчивать капители и орнаменты на зданиях.

Как-то раз и Федор Михайлович попросил меня исполнить для него подобного рода работу, — и когда я сделал то, что он просил, то Федор Михайлович заинтересовался моими способностями и стал моим защитником против грубых наших повелителей из старших классов.

В то время Федор Михайлович был очень худощав; цвет лица был у него какой-то бледный, серый, волосы светлые и редкие, глаза впалые, но взгляд проницательный и глубокий.

Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили.

Нравственно он также резко отличался от всех своих — более или менее легкомысленных — товарищей. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него.

Добр и мягок он был всегда, но мало с кем сходился из товарищей. Было только два лица, с которыми он подолгу беседовал и вел длинные разговоры о разных вопросах. Эти лица были Бережецкий и, кажется, А. Н. Бекетов. Такое изолированное положение Федора Михайловича вызывало со стороны товарищей добродушные насмешки, и почему-то ему присвоили название «Фотия» [1]. Но Федор Михайлович мало обращал внимания на такое отношение товарищей. Несмотря на насмешки, к Федору Михайловичу вообще товарищи относились с некоторым уважением. Молодость всегда чувствует умственное и нравственное превосходство товарища — только не удержится, чтоб иногда не подсмеяться над ним.

Когда Федор Михайлович окончил курс в академических классах, то он поступил на службу в С.-Петербурге при Инженерном департаменте. Жил он тогда на углу Владимирской улицы и Графского переулка.

Как-то встретив меня на улице, Федор Михайлович стал расспрашивать меня, занимаюсь ли я рисованием, что я читаю? Потом советовал мне серьезно заниматься искусством, находя во мне талант, и в то же время заниматься и чтением произведений великих авторов, — при этом пригласил меня навестить его когда-нибудь в праздничное время. Я поспешил воспользоваться любезным приглашением и в первое же воскресенье отправился к Федору Михайловичу. Квартира его была во втором этаже и состояла из четырех комнат: просторной прихожей, зальца и еще двух комнат; из них одну зани-

мал Федор Михайлович, а остальные были совсем без мебели. В узенькой комнате, в которой помещался, работал и спал Федор Михайлович, был письменный стол, диван, служивший ему постелью, и несколько стульев. На столе, стульях и на полу лежали книги и исписанные листы бумаги.

Встретил меня Федор Михайлович очень ласково и участливо стал расспрашивать о моих занятиях. Долго говорил со мною об искусстве и литературе, указывал на сочинения, которые советовал прочесть, и снабдил меня некоторыми книгами. Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял глубину и значение произведений Гоголя. Мы, воспитанники училища, были очень мало подготовлены к пониманию Гоголя, да и не мудрено: преподаватель русской словесности, профессор Плаксин, изображал нам Гоголя как полную бездарность, а его произведения называл бессмысленно-грубыми и грязными. Но значение Гоголя было в то время уже так велико, а юность так восприимчива к новым великим талантам, что никакие профессора старого закала не могли затмить для нас образ великого Гоголя. Мы зачитывались его «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Конечно, на нас, юношей, действовала больше внешняя сторона его произведений — его юмор и лиризм.

Затем Федор Михайлович советовал мне читать и других русских и иностранных писателей, и Шекспира в особенности. По его совету, я усиленно занялся французским языком; читал и делал переводы. Одним словом, Федор Михайлович дал сильный толчок моему развитию своими разговорами, руководя моим чтением и моими занятиями.

В 1843 году я окончил курс в Инженерном училище, будучи семнадцати лет, и перешел в академические классы. Жил я тогда во все время моего пребывания в академических классах (в Петербурге) с товарищем, Безусом, и Федор Михайлович изредка посещал меня. В это время он оканчивал свою повесть «Бедные люди»[2]. Но об этом его произведении никто не знал, пока он его не напечатал, так как Федор Михайлович никому не говорил о своей работе.

В 1844 году мне было восемнадцать лет, и я, как водится, был влюблен, переписывался с предметом моей любви, писал ей стихи.

С юношескою откровенностью я передавал Федору Михайловичу все перипетии моего романа, с увлечением

описывал красоту моего предмета, ее действия, слова... Имя этой милой девушки было Анна Львовна И. Дома ее звали *Неточка.* Федору Михайловичу очень понравилось это название, и он озаглавил свой новый рассказ «Неточка Незванова».

По окончании курса в Инженерной академии в 1845 я оставлен был при Инженерном училище, несмотря на мою крайнюю молодость (19 лет), в качестве репетитора в классах рисования и архитектуры, так как начальство Инженерного училища желало дать мне возможность в то же время заниматься и в Академии художеств. В то время начальство этого училища, если видело в воспитаннике какое-нибудь дарование, то старалось дать возможность ему развиться, направляя его на то поприще, к которому у него были природные способности. Стоило только доложить покойному государю Николаю Павловичу или великому князю Михаилу Павловичу, что воспитанник обладает талантом, чтоб ему сделали всевозможные льготы, понимая, что всякий человек только тогда будет полезным деятелем, когда он будет работать на своем поприще.

Сколько в то время было военных, которые получали жалованье и в то же время были временно освобождены от службы и занимались или в Академии художеств, или занимались музыкой.

Прошу извинения за это отступление, но так как я сам испытал в высшей степени гуманное отношение ко мне, то и останусь всегда благодарен этим людям, столь отзывчивым на все хорошее...

До 1849 я изредка виделся с Федором Михайловичем, весь погруженный в свои художественные занятия. Посещая изредка Федора Михайловича, я встречал у него Филиппова, Петрашевского и других лиц, которые потом пострадали вместе с ним. О замысле их я не имел, конечно, никакого понятия, так как Федор Михайлович не считал нужным сообщать о своих планах такому юноше, каким я тогда был. Случилось как-то, что в 1849 году Федор Михайлович прожил у меня на квартире несколько дней и в эти дни, когда он ложился спать, всякий раз просил меня, что если с ним случится летаргия, то чтобы не хоронили его ранее трех суток. Мысль о возможности летаргии всегда его беспокоила и страшила.

В конце 1849 года[3] Федор Михайлович как-то заговорил со мной о том, что у него по пятницам собирается общество, что там читаются и объясняются литератур-

ные произведения, доступные пониманию народа, то есть тех мещан и мастеровых, которые бывали там, и звал меня на эти вечера.

Почему-то — я теперь не припомню — мне все не удавалось попасть на эти собрания, о которых я не имел никакого понятия. Наконец любопытство одержало верх, и я решил хотя раз пойти на один из этих вечеров. Но тут случилось событие, которое помешало мне исполнить мое намерение и в скором времени изменило всю мою жизнь. Я получил известие о смерти моей матушки; мне тотчас дали отпуск, и я уехал в Харьковскую губернию, в свое имение. По приезде в деревню я скоро поехал в Харьков (вследствие раздела имения) и там с ужасом узнал, что все общество было арестовано именно в ту пятницу, когда я собирался туда пойти.

В 1862 году Федор Михайлович вернулся из ссылки[4]. Я жил тогда в Петербурге. Велика была моя радость, когда я увидал его входящим ко мне на квартиру, свободным. Много рассказывал он мне о своей тяжелой жизни и о перенесенных им физических и нравственных страданиях. Несмотря на это, он казался здоровее, чем прежде. Вид его был бодрый, и он говорил, что припадки падучей болезни у него уменьшились. Взгляды его на многое радикально изменились... Но это было почти последнее свидание. Обстоятельства и жизнь совсем разлучили нас.

В последний раз я виделся с ним мельком в Москве, когда он приезжал на открытие памятника Пушкину.

А. Е. РИЗЕНКАМПФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Приступая к изложению моих воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском, я поневоле должен начать со старшего его брата, Михаила Михайловича, не только потому, что первоначальное мое знакомство было заключено с сим последним, но и потому, что влияние старшего брата на Федора Михайловича было огромное и жизнь их почти постоянно находилась в тесной связи, скрепившейся их неизменной дружбой и братскою любовью. Замечательно, что оба брата отличались в значительной степени друг от друга сложением, характером и типом физиономии. Михаил Михайлович на шестнадцатом году был таков же, каковым он остался во всю жизнь: невысокого роста, худощав, с несколько впалою грудью, лицо его было очень красивое, умное, продолговатое, слегка смуглое, осененное длинными каштановыми волосами; несмотря на постоянную бледность, цвет его был здоровый; глаза темно-голубые, открытые, весьма выразительные, часто оживленные, почти огненные; нос продолговатый, слегка сгорбленный; губы тонкие, подвижные, нередко сжимавшиеся в виде насмешки. Разговор его был при первой встрече, особенно в кругу незнакомых людей, сдержанный, осторожный; затем, коль скоро удалось возбудить его сочувствие или затронуть живую нотку по которому-нибудь из любимых предметов, например, литературе, музыке, он делался более сообщительным и, наконец, вдохновлялся; в декламации не было ему подобных.

Федор Михайлович, напротив, был в молодости довольно кругленький, полненький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом. Ростом он

был не выше брата; светло-каштановые волосы были большею частию коротко острижены; под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные, с веснушками, цвет лица болезненный, землистый; губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата, который при совместном жительстве нередко его удерживал от неосторожных поступков, слов и вредных знакомств; он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения; хватаясь за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, он, казалось, весь кипел; мысли в его голове родились подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то исступления, природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самообладания; сиплый от природы голос его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя. Притом ему вредили испорченные от постоянной привычки к курению трубки зубы. Михаила Михайловича я никогда не видел сердитым; в минуту неудовольствия он разве пустит, бывало, какую-нибудь тонкую, нередко едкую насмешку; это был человек общества, не увлекавшийся, большею частью ласковый, хотя часто и холодный, обходительный, вследствие природной доброты всегда склонный к оптимизму; Федор Михайлович был не менее добр, обходителен, но, будучи не в духе, он часто смотрел на все сквозь черные очки, разгорячаясь, он забывал приличие и увлекался иногда до брани и самозабвения. <...>

В июле месяце, после производства кондукторов Муселиуса (служившего впоследствии в Омске и покровительствовавшего там по возможности Федору Михайловичу во время его ссылки) и Ритчера в первый офицерский чин, Михаилу Михайловичу и мне предоставлено было занять обе кондукторские вакансии при ревельской Инженерной команде. Михаил Михайлович был годом старше меня (он родился в 1820 году). Я уже сказал, что он тогда занимал один обширную кондукторскую комнату в третьем этаже ревельского Инженерного дома на Новой улице (Neugasse). Служебные занятия предоставляли ему довольно свободного времени, чтобы предаться поэзии, и все его стихотворения, написанные чисто и четко

(красивым почерком, чрезвычайно сходным с почерком Федора Михайловича) на гладко и стройно обрезанных осьмушечках, лежали открыто на рабочем столе молодого поэта. Он тогда верил глубоко в свое поэтическое призвание и нередко повторял переведенные им стихи Гете:

Не знаю, чем бы я был, не имей я поэзии дара,
Но с ужасом вспомню о том, что тысячи суть без него.

Не мерещилось ему тогда, что через 15 лет ему придется поместить над одним из окон своего магазина у Банковского моста в Петербурге другие стихи:

Сей магазин открыт писателем одним,
Который, видя, что его творенья плоски,
А слава лишь мечта и дым,
Пустился делать папироски.

<...> Часы, проведенные в июле, августе и сентябре месяцах 1837 года[1] в обществе Михаила Михайловича Достоевского, останутся навсегда одним из приятнейших воспоминаний моей жизни. К сожалению, им суждено было скоро прекратиться. Михаил Михайлович был уже в июле месяце утвержден кондуктором <...>

В октябре я отправился в Петербург с целью поступления в императорскую Медико-хирургическую академию, и Михаил Михайлович, провожая меня до парохода, дал мне письмо к младшему брату с просьбой немедленно по прибытии в Петербург познакомиться с Федором Михайловичем. <...>

В ноябре месяце 1837 года [2] я посетил в первый раз Федора Михайловича в Инженерном училище. <...>

Свидания мои с Федором Михайловичем в конце 1838 и в начале 1839 года сделались довольно редкими. Но, к счастию, новый президент Шлегель по высокому своему просвещению и сердечной доброте был настоящим отцом для студентов; он был страстный любитель музыки; с целью распространения ее он дал в мое распоряжение отдельную комнату (24-й номер), в которой помещался рояль. Во время летних вакаций 1839 года Федор Михайлович нередко приезжал ко мне, и мы здесь восхищались вместе не только новостями литературы, но и музыки. Немало было любителей, присоединившихся к нашему времяпровождению. В числе их упомяну о незабвенном товарище, Станиславе Осиповиче Сталевском, искренно подружившемся с Федором Михайловичем.

В декабре 1840 года приехал в Петербург Михаил Михайлович держать экзамен на чин прапорщика полевых

инженеров. <...> Квартира его была на Васильевском острове (кажется, по 9-й линии) у вдовы Изуматовой <...> Здесь мы встречались часто с Федором Михайловичем. <Михаил Михайлович> <...> нам читал отрывки своих переводов шиллеровского «Дон Карлоса» и «Германа и Доротеи» Гете. Много было у него новых лирических стихотворений <...> Из них запечатлелись в моей памяти последние строфы одного:

Поэт! один лишь ты родишься без наследства,
И без защитников свершаешь жизни путь!
Приемыш мира ты; мир холит твое детство,
Чтоб после от груди тебя же оттолкнуть;

Чтоб омрачить твой дух холодностью, презреньем,
Чтоб ты весь век стонал под ношей адских мук.
Мир смотрит на тебя с улыбкой, с восхищеньем
Затем, что стон твой — песнь, а плач твой — райский звук.

<...> 16 февраля Михаил Михайлович, покончив с прощальными визитами, собрал немногочисленных своих знакомых и друзей на прощальный вечер. Здесь был и Федор Михайлович, который в первый раз нам читал отрывки из двух драматических своих опытов: «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». Михаил Михайлович читал нам довольно пространное стихотворение «Беседа двух ангелов» и некоторые другие. После дружного ужина мы распростились. Рано утром 17-го числа Михаил Михайлович уехал в Ревель [3].

После отъезда Михаила Михайловича мы в продолжение 1841 года с Федором Михайловичем виделись довольно редко. Я знал, что он готовился к выходному экзамену из училища и потому усиленно занят был изучением требовавшихся при этом экзамене предметов. По окончании экзамена он был выпущен в числе лучших офицеров. Два года оставалось ему еще пробыть в офицерских классах училища. <...>

Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 годах в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не бывал, но Федор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлении, которое на него производили танцовщицы Тальони, Шлефахт, Смирнова, Андреянова и танцовщик Иогансон. Преимущественно процветал тогда Александринский театр. Такие артисты, как Каратыгины, Брянский, Мартынов, Григорьевы, г-жи

Асенкова, Дюр и пр., производили неимоверное впечатление, тем более на страстную, поэтическую натуру Федора Михайловича. На французской сцене мы одинаково восторгались такими талантами, как супруги Алланы, Vernet и его сестра m-me Paul Ernest, Mondidier, Bressant (которого впоследствии заменил не менее даровитый Deschamps), Tétard, Dumenil, m-me Louisa Mayer, m-lle Mila, Malvina и пр. На немецком театре выдавались тогда двое: г. Кунст и г-жа Лилла Лёве. Впечатление, произведенное последней актрисою на Федора Михайловича в роли Марии Стюарт, было до той степени сильно, что он решился разработать этот сюжет для русской сцены, но не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно с данными истории. В 1841 и 1842 годах это была одной из главных его задач, и то и дело он нам читал отрывки из своей трагедии «Мария Стюарт».

Второе место в числе петербургских удовольствий занимала музыка. В 1841 году публика восхищалась концертами известного скрипача Оле-Буля. С 9 апреля 1842 года начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов (сначала по 25, после по 20 рублей ассигнациями), мы с Федором Михайловичем не пропускали почти ни одного концерта. Федор Михайлович нередко посмеивался над своими друзьями, носившими перчатки, шляпы, прическу, тросточки à la Liszt. После одного из концертов, в тесноте при выходе из залы, у него была оторвана кисточка от шпажного темляка, и с тех пор до самой отставки он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Федор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог, как память о концертах Листа. Впрочем, собственно к музыке Федор Михайлович никогда не относился с тем восторгом, как старший брат его. Михаил Михайлович во всю жизнь был страстным любителем музыки. <...> Кроме этих удовольствий молодые люди находили еще развлечение на вечеринках в частных домах. Но Федор Михайлович имел мало знакомств и вообще чуждался их, чувствуя себя в семейных домах не в своей сфере. Оставались балы и маскерады в Дворянском собрании — в соединенном обществе, в немецком собрании. Наконец, для так называемой jeunesse dorée* существовали еще танц-

* золотой молодежи (*фр.*).

классы с шпицбалами: Марцынкевича, Буре, мадам Кестениг, Рейхардта и пр., и в летнее время загородные гулянья. Понятно, что Федор Михайлович при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маскерадов и пр., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу и его приманкам. Непостижимы только были мне непомерные его расходы, несмотря на сравнительную умеренность в удовольствиях. <...>

Весною 1843 года здоровье Федора Михайловича стало поправляться. По-видимому, и материальные его средства улучшились; во время Великого поста он навещал концерты вновь прибывшего Листа, знаменитого тенора Рубини и кларнетиста Блаза. 18 апреля мы были на представлении «Руслана и Людмилы». С привычным увлечением он мне декламировал отрывки из сочинений Гоголя, также Ламартина «Le poète mourant» *, но более всего он занимался чтением французских романистов, особенно «Confession générale» ** Фредерика Сулье, «Les contes bruns» *** Бальзака, «Japhet à la recherche d'un père» **** Марриэта и т. п.

<...> Скажу несколько слов об обыкновенном ежедневном препровождении времени Федора Михайловича. Не имея никаких знакомств в семейных домах, навещая своих бывших товарищей весьма редко, он почти все время, свободное от службы, проводил дома. Служба ограничивалась ежедневным (кроме праздников) хождением в Инженерный замок, где он с 9 часов утра до 2-х часов пополудни занимался при Главном инженерном управлении. После обеда он отдыхал, изредка принимал знакомых, а затем вечер и большую часть ночи посвящал любимому занятию литературой. Какую ему принесет выгоду это занятие, о том он мало думал. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строчку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю, — авось и мне заплатят что-нибудь!» — так выражался он часто.

Когда были деньги, он брал из кондитерской последневышедшие книжки «Отечественных записок», «Биб-

---

* «Умирающий поэт» (*фр.*).
** «Полная исповедь» (*фр.*).
*** «Коричневые сказки» (*фр.*).
**** «Иафет, ищущий отца» (*фр.*).

лиотеки для чтения» или другого журнала, нередко абонировался в которой-нибудь библиотеке на русские и французские книги. У меня были из новейших немецких беллетрических сочинений творения Карла Бека, Фрейлиграта, Рюккерта, Ник. Ленау, Эм. Гейбеля, Ан. Грюна, Иммермана, Фёрстера, Гервега, Ланге, Г. фон Фаллерслебена, Гейне и Берне и пр. Федор Михайлович считал истраченные на эти сочинения деньги брошенными; единственные интересовавшие его стихи были: «Es kamen nach Frankreich zwei Grenadier» *[4] Гейне и «Janko, der ungarische Rosshirt» ** К. Бека[5]. Во время безденежья (т. е. всего чаще) он сам сочинял, и письменный стол его был всегда завален мелко, но четко исписанными цельными или изорванными листами бумаги. Как жаль, что он в хранении своих листков не соблюдал порядка и аккуратности своего старшего брата!

<...> Я старался познакомить его в некоторых семейных домах. Первым в том числе был дом почтенного бельгийца Монтиньи, служившего механиком при арсенале. <...> Монтиньи жил в соседстве с нами в Эртелевом переулке в доме аптекаря Фромма. <...> На Выборгской стороне была известная ситцевая фабрика швейцарца Шугарта. Еще будучи студентом, я нередко проводил праздничные вечера в этом прекрасном семействе, где, кроме образованнейших иностранцев, собирались и ученые люди, например, известный писатель доктор Максимилиан фон Гейне (брат поэта), профессор Хоменко, товарищ мой, живописец и скульптор Андерсон и пр. Служившие в фабрике брат известного естествоиспытателя и туриста фон Чуди и писатель Г. Фрей навещали меня нередко и познакомились с Федором Михайловичем.

Но будучи не совершенно тверд во французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться, и в один вечер разразился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то «enragé» *** и почли за лучшее ретироваться. Несколько дней сряду Федор Михайлович просил меня убедительно оставить всякую попытку к сближению его с иностранцами. «Чего *доброго*, — женят меня еще на какой-нибудь француженке

---

* «Во Францию два гренадера из русского плена брели» (*нем.*).
** «Янко, венгерский табунщик» (*нем.*).
*** одержимого (*фр.*).

и тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!»

Гораздо лучше Федор Михайлович сошелся с некоторыми товарищами моими из поляков. Первое место в том числе занимал выше уже упоминаемый незабвенный друг мой Станислав Осипович Сталевский. Он происходил из хорошего семейства Витебской губернии и провел юношеские лета в военной службе. Неудачи заставили его через покровительство своего дяди Гр. Солтана пристроиться к Медицинской академии, когда ему был уже 23-й год. Военная выправка, стройный высокий стан, красивое лицо с выразительно польским типом, в котором просвечивало истинное добродушие, соединенное с замечательным умом, приятные манеры — все это сделало Сталевского любимцем хорошего женского общества. Разговор его был увлекательный, но всегда обдуманный и осторожный. Опытность жизни отличала его перед товарищами, которые все были моложе его летами. Он был одинаково любим и уважаем равно своими товарищами, как и начальниками. Посещения его были Федору Михайловичу особенно приятны, так что, услышав голос его, он нередко бросал свои занятия, чтобы наслаждаться умною и приятною беседою. Сталевский знакомил нас обоих с сочинениями Мицкевича, и многие из прекрасных его сонетов тогда же были мною переведены на немецкий язык.

<...> Я выше говорил о постоянной болезненности Федора Михайловича. В чем состояла эта болезненность и от чего зависела она? Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь

за чтением, а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблаговоливших к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку. О болезненной его раздражительности, об опасении наступления какого-то летаргического сна пишет и брат его Андрей Михайлович в № 1778, 8 февраля 1881 года газеты «Новое время» [6]. Впрочем, и обстоятельства расстраивали его. То и дело он нанимал писарей для переписки черновых своих сочинений и выходил из себя, видя их ошибки и бесполезно им истраченные деньги.

Между тем время шло, и Федор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе еще ни одним печатным сочинением.

Друзья его, как то Григорович в 1844 году поставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом;[7] Патон оканчивал перевод «Истории польского восстания Смиттена», Михаил Михайлович оканчивал перевод «Дона Карлоса» Шиллера; я сам помещал разные статейки на немецком языке в «Магазине для немецких читателей в России» Л. Т. Эльснера, а Федор Михайлович, глубоко веривший в свое литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов[8], но не успел еще составить ни одного вполне оконченного литературного труда. Притом денежные его обстоятельства со дня на день более и более приходили в упадок. Все это расстроивало его нервы и производило припадки какого-то угнетения, заставлявшие опасаться нервного удара или, как он выражался, кондрашки. Я как врач давно заметил его расстройство, требовавшее необходимо деятельного медицинского пособия, но я приписывал все это неправильному образу жизни, бессонным ночам, несоблюдению диеты. Федор Михайлович любил скрывать не только телесные свои недуги, но и затруднительные денежные обстоятельства. В кругу друзей он казался всегда веселым, разговорчивым, беззаботным, самодовольным. Но немедленно по уходе своих гостей он впадал в глубокое раздумье, затворившись в уединенном кабинете, выкуривал трубку за трубкой, обдумывал печальное свое положение и искал самозабвения в новых литературных вымыслах, в которых главную роль играли страдания человечества.

<ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ В ЗАПИСЯХ И ПЕРЕСКАЗЕ О. Ф. МИЛЛЕРА>

В ноябре 1838 года посетил Федора Михайловича в Инженерном училище Александр Егорович Ризенкампф, приехавший для поступления в Медико-хирургическую академию из Ревеля, где познакомился с Михаилом Михайловичем, поручившим ему передать Федору Михайловичу письмо. «Здесь, — вспоминает г. Ризенкампф, — в приемном покое, находившемся на южном фасаде Инженерного замка, мы провели несколько незабвенных часов. Он продекламировал мне со свойственным ему увлечением стихи: из Пушкина «Египетские ночи» и Жуковского «Смальгольмский барон» и др., рассказывал о своих собственных литературных опытах и жалел только, что заведенная в училище строгость не позволяла ему отлучаться. Но мне это не мешало бывать у него по воскресеньям перед обедом; кроме же того по пятницам мы встречались в гимнастическом заведении шведа де Рона, помещавшемся в одном из павильонов Инженерного замка». <...>

В конце 1840 года Федору Михайловичу довелось увидеться с братом, приехавшим, по свидетельству г. Ризенкампфа, в Петербург держать экзамен на чин прапорщика полевых инженеров. Он и был произведен в офицеры в январе 1841 года и оставался затем в Петербурге до 17 февраля. Накануне отъезда он собрал к себе друзей на прощальный вечер.

Был тут, конечно, и Федор Михайлович и читал отрывки из двух своих драматических опытов (навеянных, надо думать, чтением Шиллера и Пушкина): «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». Что касается первого сюжета, то Федор Михайлович, по свидетельству г. Ризенкампфа, продолжал ревностно им заниматься и в 42 году, чему способствовало сильное впечатление, произведенное на него в роли Марии Стюарт немецкою трагическою актрисою Лилли Лёве. Достоевский хотел обработать эту трагическую тему по-своему, для чего тщательно принялся за приготовительное историческое чтение. Куда девались наброски его «Марии Стюарт», а равно и «Бориса» — остается неизвестным.

Как раз к первым годам жизни Федора Михайловича на свободе относится продолжительный перерыв в его переписке с братом.

Пробел, оказывающийся в письмах, до некоторой степени восполняется тем более драгоценными воспоминаниями доктора Ризенкампфа. Побывав в Ревеле в июле 1842 года и повидавшись там с Михаилом Михайловичем, Александр Егорович Ризенкампф, по возвращении своем осенью в Петербург, стал чаще навещать Федора Михайловича, о незавидном матерьяльном положении которого наслышался от его брата. На поверку в самом деле оказалось, что из всей занимаемой Федором Михайловичем квартиры отапливался только один кабинет. Федор Михайлович совершенно почти отказался от удовольствий, после того как немало потратился в 1841 и начале 1842 года на Александринский театр, процветавший в то время, отчасти и на балет, который он почему-то тогда любил, и на дорогие концерты таких виртуозов, как Оле-Буль и Лист. Теперь, после утреннего посещения офицерских классов, он сидел запершись в своем кабинете, предавшись литературным занятиям. Цвет лица его был какой-то земляной, его постоянно мучил сухой кашель, особенно обострявшийся по утрам; голос его отличался усиленною хрипотой; к болезненным симптомам присоединялась еще опухоль подчелюстных желез. Все это, однако же, упорно скрывалось от всех, и даже приятелю-доктору насилу удавалось прописать Федору Михайловичу хотя какие-нибудь средства от кашля и заставить его хоть несколько умереннее курить жуковский табак. Из товарищей часто навещал тогда Достоевского только Дм. Вас. Григорович, представлявший во многих отношениях прямую противоположность Федору Михайловичу. «Молодой, ловкий, статный, — вспоминает доктор Ризенкампф, — светский, красивый и живой, сын богатого гусарского полковника и его жены, француженки-аристократки, друг поручика Тотлебена, тогда уже обнаруживавшего задатки будущей своей известности, и артиста Рамазанова, любимец и поклонник прекрасного пола, вращавшийся постоянно в лучшем петербургском обществе, Григорович привязался к нелюдиму и затворнику Достоевскому по врожденной ему страсти к литературе». Тогда он, сколько помнится г. Ризенкампфу, переводил с французского какую-то пьесу из китайского быта, а Достоевский, отказавшись от продолжения своей «Марии Стюарт», усердно принялся за «Бориса Годунова», также оставшегося неоконченным. Кроме того, Федора Михайловича тогда уже занимали различные

повести и рассказы, планы которых так и сменяли друг друга в его плодовитом воображении. Подобного рода производительность поддерживалась в нем постоянным литературным чтением. (О том, будто Федор Михайлович еще в Инженерном училище писал своих «Бедных людей», доктор Ризенкампф ничего не знал[9].) Из русских писателей он особенно охотно читал тогда Гоголя и любил произносить наизусть целые страницы из «Мертвых душ». Из французских писателей, кроме прежде уже ему особенно полюбившихся Бальзака, Жорж Занд и Виктора Гюго, — он, по свидетельству г. Ризенкампфа, читал Ламартина, Фредерика Сулье (особенно любя его «Mémoires du diable» *), Эмиля Сувестра, отчасти даже Поль де Кока. Понятно, что при все более и более развивающихся литературных наклонностях Достоевский должен был тяготиться посещением офицерских классов. Он бы давно бросил их, если бы не угроза опекуна прекратить в таком случае выдачу ему денег. А Федор Михайлович в них постоянно нуждался!

В ноябре 1842 года получено было из Ревеля известие о рождении у Михаила Михайловича сына. Федор Михайлович был его крестным отцом и, по замечанию г. Ризенкампфа, проявил по этому случаю свою обычную щедрость. В декабре младший брат, Андрей Михайлович, живший, как мы знаем из писем, с 1841 года у Федора Михайловича, поступил в Строительное училище. Оставшись один, Федор Михайлович стал тем усиленнее готовиться к экзамену из офицерских классов. В то же время и г. Ризенкампфу пришлось серьезно думать о выпускном экзамене из Медицинской академии. Поневоле они стали видеться реже.

В Великом посту 1842 года, запомнил, однако, г. Ризенкампф, Федор Михайлович, у которого вдруг оказался опять прилив денег (расщедрился, может быть, опекун, чтобы поощрить его усидчивые занятия инженерными науками), позволил себе отдыхать от трудов на концертах вновь прибывшего Листа, а также знаменитого певца Рубини и кларнетиста Блаза. После Пасхи, в апреле, он сошелся с доктором Ризенкампфом на представлении «Руслана и Людмилы»[10]. Но уже с мая Федор Михайлович опять отказался от всяких удовольствий, чтобы вполне отдаться приготовлениям к окончательному

---

* «Записки дьявола» (*фр.*).

экзамену, продолжавшемуся с 20-го мая по 20-е июня. В то же время держал свой выпускной экзамен и доктор Ризенкампф. От усиленных занятий он заболел и еще 30-го июня лежал в постели. Как вдруг в этот день приезжает к нему Федор Михайлович, которого нельзя было и узнать. Веселый, с здоровым видом, довольный судьбой, он возвестил о благополучном окончании экзаменов, выпуске из заведения с чином подпоручика (в полевые инженеры), о получении от опекуна такой суммы денег, которая дала ему возможность расплатиться со всеми кредиторами, наконец о получении двадцативосьмидневного отпуска в Ревель и о своем намерении отправиться туда на другой же день. Теперь же он силою стащил приятеля с постели, посадил его с собой на пролетку и повез в ресторан Лерха на Невском проспекте. Тут Достоевский потребовал себе номер с роялем, заказал роскошный обед с винами и заставил больного приятеля есть и пить с собой вместе. Как ни казалось это сначала невозможным для больного г. Ризенкампфа, но пример Федора Михайловича подействовал на него заразительно; он хорошо пообедал, сел за рояль — и выздоровел.

На другой день, в десять часов утра, он, как ни в чем не бывало, проводил Федора Михайловича на пароход, а через три недели и сам отправился в Ревель[11], где нашел его вполне наслаждающимся свободой в семействе брата. Пришлось, однако познакомиться и с ревельским обществом, и оно, по свидетельству доктора Ризенкампфа, «своим традициональным, кастовым духом, своим непотизмом и ханжеством, своим пиэтизмом, разжигаемым фанатическими проповедями тогдашнего модного пастора гернгутера Гуна, своею нетерпимостью особенно в отношении военного элемента» произвело на Достоевского весьма тяжелое впечатление. Оно так и не изгладилось в нем во всю жизнь. Он был тем более поражен, что ожидал встретить в культурном обществе здоровые признаки культуры. «С трудом я мог убедить Федора Михайловича, — говорит доктор Ризенкампф, — что все это — только местный колорит, свойственный жителям Ревеля... При своей склонности к генерализации он возымел с тех пор какое-то предубеждение против всего немецкого».

Между тем Михаил Михайлович, с помощью жены, снабдил брата полным ремонтом белья и платья, столь дешевого в Ревеле. Уверенный в том, что Федор Михайлович никогда не знает, сколько у него чего, он, по словам

г. Ризенкампфа, просил последнего поселиться в Петербурге вместе с Федором Михайловичем и, по возможности, подействовать на него примером немецкой аккуратности. Вернувшись в Петербург в сентябре 1843 года, доктор Ризенкампф так и сделал. Застал он Федора Михайловича без копейки, кормящимся молоком и хлебом, да и то в долг из лавочки. «Федор Михайлович, — говорит он, — принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью». Самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя. «Принявшись за описание быта бедных людей, — говорил он как бы в оправдание, — я рад случаю ближе познакомиться с пролетариатом столицы». На поверку, однако же, оказалось, что громадные счеты, подававшиеся в конце месяца даже одним булочником, зависят не столько от подобного гостеприимства Федора Михайловича, сколько от того, что его денщик Семен, находясь в интимных отношениях с прачкой, прокармливал не только ее, но и всю ее семью и целую компанию ее друзей на счет своего барина. Мало того: вскоре раскрылась и подобная же причина быстрого таяния белья, ремонтировавшегося каждые три месяца, то есть при каждой получке денег из Москвы. Но точно так же, как в денщике, пришлось разочаровывать Федора Михайловича в его портном, сапожнике, цирюльнике и т. д., а равным образом доводить его до сознания, что и в числе угощаемых им посетителей далеко не все заслуживали участия.

Крайнее безденежье Федора Михайловича продолжалось около двух месяцев. Как вдруг, в ноябре, он стал расхаживать по зале как-то не по-обыкновенному — громко, самоуверенно, чуть не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы тысячу рублей. «Но на другой же день утром, — рассказывает далее доктор Ризенкампф, — он опять своею обыкновенною тихою, робкою походкою вошел в мою спальню с просьбою одолжить ему пять рублей». Оказалось, что большая часть полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частию проиграно на бильярде, частию украдено каким-то партнером, которого Федор

Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали незапертыми последние пятьдесят рублей.

По всей вероятности, зазванный Федором Михайловичем незнакомец в свою очередь показался ему любопытным субъектом для наблюдений. Особенное его внимание остановил на себе один молодой человек, более долгое время пользовавшийся советами г. Ризенкампфа, — брат фортепьянного мастера Келера. Это был, рассказывает доктор, вертлявый, угодливый, почти оборванный немчик, по профессии комиссионер, а в сущности — приживалка. Заметив беззаветное гостеприимство Федора Михайловича, он сделался одно время ежедневным его посетителем — к чаю, обеду и ужину, и Федор Михайлович терпеливо выслушивал его рассказы о столичных пролетариях. Нередко он записывал слышанное, и г. Ризенкампф впоследствии убедился, что кое-что из келеровского материала отразилось потом на романах «Бедные люди», «Двойник», «Неточка Незванова» и т. д.

В декабре 1843 года Федор Михайлович опять дошел до крайнего недостатка в деньгах. Дело дошло до займа у одного отставного унтер-офицера, бывшего прежде приемщиком мяса у подрядчиков во 2-м Сухопутном госпитале и дававшего деньги под заклад. Федору Михайловичу пришлось дать ростовщику доверенность на получение вперед жалованья за январскую треть 1844 года, с ручательством казначея Инженерного управления. При этой операции вместо трехсот рублей ассигнациями Федору Михайловичу доставалось всего двести, а сто рублей считались процентами за четыре месяца. Понятно, что при этой сделке Федор Михайлович должен был чувствовать глубокое отвращение к ростовщику. Оно, может быть, припомнилось ему, когда, столько лет спустя, он описывал ощущения Раскольникова при первом посещении им процентщицы. В единственном дошедшем до нас письме 1843 года, относящемся к его последнему дню, сам Федор Михайлович говорит о своих долгах, хотя опекун и не оставляет его без денег [12]. Он подбивает брата общими усилиями перевести «Матильду» Евгения Сю, причем молодое, разыгравшееся воображение сулит ему огромный барыш для поправления их запутанных денежных обстоятельств.

К 1-му февраля 1844 года Федору Михайловичу выслали опять из Москвы тысячу рублей, но уже к вечеру в кармане у него, по свидетельству г. Ризенкампфа, оста-

валось всего сто. На беду, отправившись ужинать к Доминику, он с любопытством стал наблюдать за биллиардной игрой. Тут подобрался к нему какой-то господин, обративший его внимание на одного из участвующих в игре — ловкого шулера, которым была подкуплена вся прислуга в ресторане. «Вот, — продолжал незнакомец, — домино так совершенно невинная, честная игра». Кончилось тем, что Федор Михайлович тут же захотел выучиться новой игре, но за урок пришлось заплатить дорого: на это понадобились целых двадцать пять партий и последняя сторублевая Достоевского перешла в карман партнера-учителя.

На другой день новое безденежье, новые займы, нередко за самые варварские проценты, чтобы только было на что купить сахару, чаю и т. п. В марте доктору Ризенкампфу пришлось оставить Петербург, не успев приучить Федора Михайловича к немецкой аккуратности и практичности.

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Первый год в училище был для меня сплошным терзанием [1]. Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полустолетия, не могу вспомнить о нем без тягостного чувства; и этому не столько способствовали строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружьистика, не столько даже трудность ученья в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, спать в одних комнатах. Представить трудно, чтобы в казенном, и притом военно-учебном, заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе. Начальство не могло этого не знать; надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы, заботясь, главным образом, о том, чтобы внешний вид был исправен и высшая власть осталась им довольна.

Комплект учащихся состоял из ста двадцати воспитанников, или *кондукторов,* как их называли, чтоб отличать от кадет. В мое время треть из них составляли поляки, треть — немцы из прибалтийских губерний, треть — русские. В старших двух классах были кондукторы, давно брившие усы и бороду; они держали себя большею частию особняком, присоединяясь к остальным в крайних только случаях. От тех, которые были моложе, новичкам положительно житья не было. С первого дня поступления новички получали прозвище *рябцов* — слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов, как на

парий, было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям.

Новичок стоит где-нибудь, не смея шевельнуться; к нему подходит старший и говорит задирающим голосом: «Вы, рябец, такой-сякой, начинаете, кажется, кутить?» — «Помилуйте... я ничего...» — «То-то, ничего... Смотрите вы у меня!» — и — затем щелчок в нос, или повернут за плечи и ни за что ни про что угостят пинком. Или: «Эй вы, рябец, как вас?.. Ступайте в третью камеру; подле моей койки лежит моя тетрадь, несите сюда, да, смотрите, живо, не то расправа!» Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды, налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив и маменькин сынок.

В классах, во время приготовления уроков, как только дежурный офицер удалялся, поперек двери из одного класса в другой ставился стол; новички должны были на четвереньках проходить под ним, между тем как с другой стороны их встречали кручеными жгутами и хлестали куда ни попало. И Боже упаси было заплакать или отбиваться от такого возмутительного насилия. Сын доктора К., поступивший в одно время со мною, начал было отмахиваться кулаками; вокруг него собралась ватага, и так исколотили, что его пришлось снести в лазарет; к его счастью, его научили сказать, что он споткнулся на классной лестнице и ушибся. Пожалуйся он, расскажи, как было дело, он, конечно, дорого бы поплатился.

И все это происходило в казенном заведении, где над головой каждого висел дамоклов меч строгости, взыскательности самой придирчивой; где за самый невинный проступок — расстегнутый воротник или пуговицу — отправляли в карцер или ставили у дверей на часы с ранцем на спине и не позволяли опускать ружье на пол.

В одном из помещений училища находилась канцелярия, сообщавшаяся с квартирой ротного командира Фере; в канцелярии заседал письмоводитель из унтер-офицеров, по фамилии Игумнов. Зайдешь, бывало, в канцелярию узнать, нет ли письма, не приходил ли навестить родственник. Случайно в дверях показывался Фере; он мгновенно указывал пальцем на вошедшего и сонным голосом произносил: «Игумнов, записать его!» Игумнов исполнял приказание, и вошедший ни за что ни про что должен был отсиживать в училище праздничный день.

Безусловно, винить начальство за допущение своеволия между воспитанниками было бы несправедливо. Не надо забывать, что в то время оно находилось, более чем мы сами, под гнетом страха и ответственности; на шалости, происходившие у себя дома, в закрытии, смотрели снисходительно, лишь бы, как я уже заметил, в данный момент воспитанники были во всем исправны: не пропустили на улице офицера, не отдав ему чести, выходной билет был бы на месте между второй и третьей пуговицей, отличились бы на ординарцах или на разводе или молодцами прошли бы на майском параде. Надо сказать также, начальство ничего не знало о том, что происходило в рекреационной з а л е , — оно туда почему-то редко заглядывало. Там, между тем, помимо истязания рябцов, совершались другие предосудительные сцены; распевались песни непристойного характера, и в том числе знаменитая «Феня», кончавшаяся припевом:

Ах ты, Феня, Феня,
Феня ягода моя!..

Раз в год, накануне Рождества, в рекреационную залу входил письмоводитель Игумнов в туго застегнутом мундире, с задумчивым, наклоненным лицом. Он становился на самой середине залы, выжидал, пока обступят его воспитанники, кашлял в ладонь и, не смотря в глаза присутствующим, начинал глухим, монотонным голосом декламировать известное стихотворение Жуковского:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали... и т. д. [2].

Покончив с декламацией, Игумнов отвешивал поклон и с тем же задумчивым видом медленно выходил из залы.

Всякий раз после этого собиралась подписка в пользу Игумнова; одному из старших поручалось отдать ему деньги.

Разноплеменность в составе персонала училища не давала себя чувствовать или, по крайней мере, настолько слабо выражалась, что была почти незаметна; ее сглаживали чувство строгой зависимости, распространявшейся на всех одинаково, труд и сложность занятий в классах, отчасти также общий гонор, царивший в мое время в училище; гонор основывался на преимуществе перед другими военно-учебными заведениями, не допускавшем в училище телесного наказания. Такое преимущество в значительной степени приподымало дух каждого, составляло его гордость.

Обращение с жалобой к дежурному офицеру за дурное обращение старших считалось равносильным фискальству, шпионству. В течение четырех лет, как я находился в училище, раз был такой случай, и тот, сколько казалось, основывался больше на догадках, чем на факте. Один из кондукторов, прежде меня поступивший в училище, сделался любимцем ротного командира Фере, которого все боялись и огулом не любили. Вопреки привычке Фере — никогда почти не говорить с воспитанниками, он стал часто звать к себе на квартиру любимца; спустя несколько времени любимцу нашили унтер-офицерские нашивки, что делалось за особенные успехи по фронтовой части и отличное поведение. Этого достаточно было, чтобы возбудить подозрение; стали распространять слухи, что любимец ничего больше, как фискал и доносчик. Не помню, как составился и созрел против него заговор; я в нем не участвовал. Помню только следующую сцену. Это было ночью. Любимец, в качестве унтер-офицера, был дежурным; он проходил через большую камеру, где спало нас шестьдесят человек; зала тускло освещалась высокими жестяными подсвечниками с налитою в них водою и плавающим в ней сальным огарком. Едва показался любимец, огни мгновенно были погашены; несколько человек, ждавших этой минуты, вскочили с постелей, забросали любимца одеялами и избили его до полусмерти. На шум и крик вбежал дежурный офицер; со всех концов посыпался на него картофель, без сомнения заранее сбереженный после ужина. «Господа, — кричал офицер, — я не под такими картофелями был, под пулями — и не боялся!..» Снаряды продолжали сыпаться. Офицер побежал к ротному командиру, который, от страха вероятно, не явился, но отправился будить начальника училища Шаренгорста. На следующее утро всю роту выстроили по камерам; пришел генерал Шаренгорст и, по обычаю, начал здороваться; ему не отвечали. Вскоре за ним приехал начальник штаба военно-учебных заведений генерал Геруа. Проходя по камерам, он начал также здороваться; никто не откликнулся. Не ожидая, вероятно, такого упорного неповиновения и приписывая его опасной стачке, он, не дойдя до последней камеры, круто повернулся на каблуке и вышел, сопровождаемый начальством училища, которое шло повеся нос и как бы пришибленное. Результат был тот, что всю роту заперли в училище на неопределенное время. Арест разрешился только необходимостью выступать в лагерь.

Коснувшись дикого обычая истязать рябцов, не могу пропустить случая, до сих пор живо оставшегося в моей памяти. Один из кондукторов старших двух классов вступился неожиданно за избитого, бросился на обидчика и отбросил его с такою силой, что тот покатился на паркет. На заступника наскочило несколько человек, но он объявил, что первый, кто к нему подойдет, поплатится ребрами. Угроза могла быть действительна, так как он владел замечательной физическою силой. Собралась толпа. Он объявил, что с этой минуты никто больше не тронет новичка, что он считает подлым, низким обычай нападать на беззащитного, что тот, кому придет такая охота, будет с ним иметь дело. Немало нужно было для этого храбрости. Храбрец этот был Радецкий, тот самый Федор Федорович Радецкий, который впоследствии был героем Шипки. На торжественном обеде, данном в его честь, в речи, которую я сказал ему, было упомянуто об этом смелом и великодушном поступке его юности[3].

В числе воспитанников моего времени, также отличившихся впоследствии, были: Тотлебен, К. П. Кауфман, Достоевский и Паукер.

Умягчению нравов в училище много также способствовал новый ротный командир барон Розен, сменивший Фере.

Барон Розен служил на Кавказе, был храбрый боевой офицер с Георгием в петлице. Одного этого было довольно, чтобы воспитанники отнеслись к нему сочувственно. Он заслуживал также сочувствие своим смелым, но откровенно добродушным отношением с нами. Он то и дело заходил в роту, был весел, говорил со всеми, шутил. «Господа, — повторял он часто, — мы служим вместе, должны отвечать друг за дружку; будьте исправны, будьте молодцы; вы меня не выдавайте, я вас не выдам!» Он сделался вскоре до такой степени любимым и популярным, что, стоило ему приказать что-нибудь, все беспрекословно исполнялось. Между дежурными офицерами у нас тоже были два любимца: Д. А. Скалон, ворчливый, но добрейший человек, и еще А. И. Савельев, сделавшийся впоследствии известным ученым-нумизматом[4].

Барон Розен сильно подтягивал училище только во фронтовом отношении. Мы, впрочем, мало этим тяготились. Сначала очень были скучны первые приготовительные приемы к маршировке, так называемая *выправка.* Нас ставили в ряд; унтер-офицер становился впереди и командовал: «Ра-а-з!» — мы должны были вытягивать правую ногу

и носок; затем шла команда: «Два-а-а!» — следовало медленно подымать ногу и стоять в таком журавлином положении, пока не скомандуют: «Три!» При малейшем колебании туловища унтер-офицер кричал: «Отставь!» — и снова начиналось вытягивание ноги и носка. Но когда нам дали ружье, мы все — и я в том числе — были очень довольны и с увлечением принялись выделывать ружейные приемы. Ученье часто происходило на плацу перед Михайловским замком. Барон Розен всегда присутствовал, но предоставлял командовать офицерам, ограничиваясь короткими замечаниями. Более всех горячился добрейший Д. А. Скалон. Когда фронт становился лицом к солнцу, глаза начинали щуриться и штыки колебаться, он положительно выходил из себя, топал ногами и кричал с пеной у рта: «Смирно! Во фрунте нет солнца!.. Нет солнца во фрунте! Смирно, говорю вам!..»

Прошел год, я держал ружье, выделывал артикулы и маршировал не хуже других. После майского парада и окончания экзаменов все нетерпеливо ждали выступления в лагерь.

Переход из Петербурга в Петергоф, несмотря на ранец, лядунку, кирку и лопату (необходимые доспехи сапера), которые при каждом шаге немилосердно били по ляжке, можно было бы назвать прогулкой, если б не носили тогда на голове огромных киверов, украшенных на макушке красным помпоном; но и с кивером можно было бы примириться, если б во время этого перехода он не служил кладовой, доверху набитой апельсинами, пирожками, булками, сыром, леденцами и другим съестным снадобьем; от этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.

В лагерное время прекращались всякие классные занятия. Занимались только шагистикой, военными эволюциями, приготовлением к линейным учениям и маневрам, которыми командовал обыкновенно сам государь Николай Павлович. Свободного времени оставалось много; нам давали волю гулять по всему лагерю. Некоторые были посмелее, переходили границы лагеря, украдкой бегали купаться на шлюзы под Бабьими-гонами, тогда еще не имевшими вид болота; знаменитые «Озерки» только что начинали строиться; архитектор Штакеншнейдер не приступал еще к постройке бельведера[5].

В этих прогулках и вообще других п о х о ж д е н и я х, — помню очень х о р о ш о, — никогда не принимал участия Тотлебен[6]. Он готовился тогда переходить в старший класс. Его во всякое время можно было застать сидящим на валу канавки, огибавшей нашу палатку, с книгой в руке

или с кусочками дерева, из которых он искусно вырезывал перочинным ножом маленькие модели брустверов. Он, говорили, учился вообще туго; ему немало также стоило труда овладеть вполне русским языком; ему помогали в этом твердость характера, упорство и усердие. Я был товарищем его брата Адольфа, поступившего в училище; в один год со мной; два года спустя я ездил с ним к старшему брату, уже произведенному в офицеры, в саперы, и жившему в Царском Селе на скромной, бедной квартире. Любимым его занятием было тогда играть на гитаре и, сколько помню, постоянно разыгрывать одну и ту же пьесу: финал из оперы «Жизнь за царя» — «Славься! Славься!»[7]. Шум толпы и звук колоколов он довольно искусно изображал, стукая суставами пальцев в коробку гитары. С тех пор мы встретились всего раз, уже тридцать лет спустя, и оба значительно уже поседевшие.

В бытность нашу в кадетском лагере нас иногда выравнивали по взводам и вели в нижнюю часть петергофского парка к Самсону; там устанавливали нас в том же порядке против одного из бассейнов, куда стекает вода, ниспадающая по ступеням мраморной лестницы; на верхней площадке, перед дворцом, помещались придворные, окружавшие государыню Александру Федоровну. Несколько минут спустя выходил государь и здоровался с нами. Выровняв наши ряды, он отходил в сторону и командовал: «Раз! Два! Три!» По третьей команде мы бултыхались в бассейн и, цепляясь друг за дружку, сбиваемые водой, старались взобраться по ступенькам каскада до верхней площадки; первым трем, опередившим других, императрица собственноручно дарила призы, состоявшие большею частью из изделий петергофской гранильной фабрики. Возвращались мы в лагерь уже не в том виде и порядке, как шли оттуда, а вразброд, кому как вздумается, лишь бы скорее прийти в палатку и переодеться.

Помню очень хорошо, я всегда с сожалением расставался с лагерною жизнью. Маневры, линейные ученья, вообще фронтовая часть были для меня приятною забавой сравнительно с предстоящим принуждением сидеть в классах, приготовляться к лекциям и экзаменам. Я все еще не выходил из полусознательного туманного состояния ума, мешавшего быстро и ясно схватывать то, что читал преподаватель с кафедры; любопытство мое гораздо больше возбуждали наружность преподавателя, его голос, движения, манера, чем то, о чем он говорил. Многие из них требовали, чтобы ученики записывали за

ними лекции; я положительно не мог этого делать по непривычке скоро писать и отчасти по нетвердости в русской грамоте. Предметы сколько-нибудь положительные, наглядные, осязательные, как, например, фортификация, артиллерия, география, давались мне очень легко; я отвечал на них иногда весьма изрядно и получал хорошие баллы; но едва касалось какой-нибудь математической выкладки, вычисления, мозг мой словно вдруг застилался туманом, чем-то придавливался. При одном появлении преподавателя математики, Л. М. Кирпичева, сердце мое замирало; я наклонялся к столу и едва смел перевести дух от страха: нет-нет и — вдруг он меня вызовет к доске! Каждый раз, как это случалось, я ни жив ни мертв подходил к доске, старательно вытирал ее губкой, не забывая самых дальных углов; Кирпичев диктовал задачу; я каллиграфически ее вырисовывал, но, когда дело доходило до решения, я смиренно признавался, что не могу этого исполнить, и получал нуль, за что в следующее воскресенье не выпускали меня в наказание из училища.

Самое страшное время, не только для меня, но и для всех нас, были годичные экзамены; сколько помнится, они происходили в мае. В училище преподавалось около пятнадцати самых разнородных предметов; каждый из них надо было пройти от начала до конца за весь год и приготовиться к нему в течение двух, иногда одного дня. Чрезмерное умственное напряжение, просиживание ночи без сна, без сомнения, действовали крайне вредно на здоровье. В течение этого времени никто почти не говорил друг с другом, ходили все как шальные или сидели не двигаясь, придерживая в ладонях голову, наклоненную над книгой. От экзамена зависел переход в следующий класс, — переход, приближавший к освобождению из училища, к свободе, и это, вероятно, придавало силы побеждать трудность.

Как результат первого года, проведенного в училище, должен сказать, решительно не понимаю, как я, мальчик по природе в высшей степени нервный, впечатлительный, робкий, мягкий, как воск, с развитием крайне запоздалым, — как мог я пережить в этой атмосфере, где товарищи были суровее, беспощаднее, чем само начальство.

Раз в воскресенье отправился я из училища, желая навестить бывшего моего наставника К. Ф. Костомарова. Я пришел утром, в то время, когда его питомцы (их был новый комплект, и по-прежнему человек пять) не

занимались. Меня тотчас же все радостно обступили; я был для них предметом живейшего любопытства, мог сообщить о житье-бытье училища, в которое они должны были вступить будущею весной.

В числе этих молодых людей находился юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненною бледностью. Юноша этот был Федор Михайлович Достоевский. Он приехал из Москвы вместе с старшим братом, Михаилом Михайловичем. Последний не держал экзамена в Инженерное училище, определился в кондукторскую саперную роту, был произведен в офицеры и отправлен на службу в Ревель. По возвращении оттуда, спустя уже несколько лет, Михаил Михайлович вышел в отставку, открыл папиросную фабрику, занимался одновременно переводами сочинений Гете, написал комедию «Старшая и меньшая» и после возвращения из ссылки Федора Михайловича сделался редактором журнала «Эпоха» [8].

Сближение мое с Ф. М. Достоевским началось едва ли не с первого дня его поступления в училище. С тех пор прошло более полустолетия, но хорошо помню, что изо всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и ни к кому так не привязывался, как к Достоевскому. Казалось, он сначала отвечал мне тем же, несмотря на врожденную сдержанность характера и отсутствие юношеской экспансивности — откровенности. Ему радостно было встретить во мне знакомого в кругу чужих лиц, не упускавших случая грубо, дерзко придираться к новичку. Федор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти, и всегда с книгой.

С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера, я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. До него я и большинство остальных наших товарищей чита-

ли специальные учебники и лекции, и не только потому, что посторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе.

Кончина Пушкина в 1837 году была чувствительна между нами, я убежден, одному Достоевскому, успевшему еще в пансионе Чермака (в Москве) прочесть его творения; предосторожности, принятые во время перенесения тела великого поэта из его квартиры, легко могло статься, приняты были также по отношению к учебным заведениям: приказано было, по возможности, скрыть событие и наблюдать, чтобы меньше о нем говорили[9].

Мне потом не раз случалось встречаться с лицами, вышедшими из пансиона Чермака[10], где получил образование Достоевский; все отличались замечательною литературного подготовкой и начитанностью.

Первые литературные сочинения, читанные мной на русском языке, были мне сообщены Достоевским; это были: перевод «Кот Мур»[11] Гофмана и «Исповедь англичанина, принимавшего опиум» Матюрена[12] — книга мрачного содержания и весьма ценимая тогда Достоевским. «Астролог» Вальтер Скотта и особенно «Озеро Онтарио» Купера[13] окончательно пристрастили меня к чтению. Читая в «Озере Онтарио» сцену прощания Патфайндера с Маделью, я заливался горькими слезами, стараясь отворачиваться и украдкой утирать слезы из опасения, чтобы этого не заметили и не подняли меня на смех. Литературное влияние Достоевского не ограничивалось мной; им увлеклись еще три товарища: Бекетов, Витковский и Бережецкий; образовался, таким образом, кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная минута. Любовь к чтению сменила у меня на время страсть к рисованию, которым я усердно занимался до того времени. Читалось без разбору все, что ни попадало под руку и что тайком приносилось в училище. Раз, помню, я имел даже терпение прочесть до конца всего «Josselin», скучнейшую и длиннейшую поэму Ламартина, и не менее скучный переводный английский роман «La Mapelle d'Dayton». Описание жизни знаменитых живописцев, помещенное в одном из сочинений Карамзина[14], привело меня в восторг. Я вступал в горячий спор с Достоевским, доказывая, что Рафаэль Санцио значит Рафаэль *святой,* так прозванный за его великие творения; Достоевский доказывал, что *Санцио* обозначает только фамилию художника, с чем я никак не хотел

согласиться. Воображение, более и более увлекаемое чтением, не могло им ограничиться.

После чтения пьесы Шиллера «Разбойники» я тотчас же принялся сочинять пьесу из итальянских нравов; прежде всего я позаботился приискать название: «Замок Морвено». Написав первую сцену, я тут же остановился: с одной стороны, помешало бессилие воображения, с другой — неуменье выражать на русском языке то, что хотелось.

Чтение и мысли, которые оно пробуждало, не только мешали мне следить за уроками, но заметно охлаждали к классным занятиям. Достоевский, сколько помнится, учился также неважно; он приневоливал себя с тем, чтобы окончить курс и переходить из класса в класс без задержки. Последнее не удалось ему, однако ж; при переходе в один из классов он не выдержал экзамена и должен был в нем остаться еще год; неудача эта потрясла его совершенно; он сделался болен и пролежал несколько времени в лазарете[15].

В 1839 или в начале сорокового года находились мы в рекреационной зале; вошел в нее дежурный офицер Фермор[16], придерживая в руках пачку тоненьких брошюр в бледно-розовой обертке. Предлагая нам покупать их, он рассказывал, что автор стихов, заключавшихся в брошюрах, молодой поэт, находится в стесненном денежном положении. Брошюра имела такое заглавие: «Мечты и звуки», имя автора заменялось несколькими буквами[17].

Это происходило в самый разгар моего литературного увлечения. Стихи неизвестного писателя, сколько помнится, не произвели на меня и Достоевского особенного впечатления. Но для меня довольно было тогда слова «поэт» и знать, что такой поэт существует здесь, в Петербурге, чтобы пробудить любопытство, желание хотя бы глазком взглянуть на него. Последнее, к великой моей радости, не встретило затруднения. Один из моих товарищей, Тамамшев, племянник Фермора, знаком был с поэтом; он сообщил, что настоящее имя поэта «Некрасов», и обещал свести меня к нему в первый свободный праздник. Можно себе представить, как радостно было принято предложение. Мы отправились в первое воскресенье. Что-то похожее на робость овладело мной, когда мы стали подходить к дому, где жил Некрасов. Дом этот находился на углу Колокольной улицы и Дмитровского переулка; надо было проходить через двор и под-

няться по черной лестнице. На звон дверь отворил нам слуга, довольно чисто одетый; мы вошли в небольшую светлую прихожую, перегороженную стеклянною перегородкой, за которой помещалась кухня. В следующей комнате, довольно просторной и светлой, бросался прежде всего в глаза беспорядок; подоконники, пол, кровать, небольшой стол были завалены ворохом бумаг, газет и книг; на одном из подоконников из-под газет выглядывало несколько тарелок. Нас встретил молодой человек, среднего роста, худощавый, говоривший глухим, сиплым голосом; он был в халате; на голове его красовалась шитая цветными шнурками ермолка, из-под которой свешивались длинные, жиденькие волосы каштанового цвета.

Чем объяснил я ему наш неожиданный приход, как принял нас Некрасов, что говорилось при этом, — решительно не помню; надо думать, впечатление не настолько было сильно, чтобы врезаться в памяти.

Кроме стихов в известной брошюре, Некрасов успел уже тогда написать несколько рассказов, в числе которых повесть «О пропавшем без вести пиите»[18]. Но гонорар в то время платили только известным литераторам; остальные должны были считать за счастье, когда удостоивали печатать их произведения; если им платили, то настолько скудно, что жить одним литературным трудом едва ли было возможно. Практический ум Некрасова помог ему обойти затруднения: он свел знакомство с Куликовым, главным режиссером русской труппы, и стал работать для театра. Из пьес его помню только водевиль: «Шила в мешке не утаишь, — девушку под замком не упрячешь». Он тогда же перевел пятиактную драму: «La nouvelle Fanchon» под названием: «Материнское благословение»[19]. Каким образом ухитрился он это сделать, не зная буквально слова по-французски, остается непонятным. Сколько нужно было воли, терпения, чтобы, частью пользуясь объяснениями случайно заходивших знакомых, частью по лексикону, довести до конца такую работу.

По странному сцеплению случайностей и аналогий в том самом доме, на углу Колокольной и Дмитровского переулка, где жил Некрасов, помещалась пятнадцать лет спустя, в бельэтаже, редакция журнала «Современник», которого Некрасов был тогда полным хозяином.

Знакомство мое с Некрасовым и рассказы о моем свидании с ним встречены были Достоевским с полным

равнодушием; ему, вероятно, не нравились его стихи в известной брошюре; он находил, что не из чего было мне так горячиться. <...>

Около этого времени в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим названием «Физиологии»; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило известное парижское издание: «Французы, описанные сами собою»[20]. У нас тотчас же явились подражатели. <...>

Некрасову, практический ум которого был всегда настороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга». Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко мне, прося написать для первого тома один из таких очерков.

Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое внимание не раз приковывали эти люди, — итальянцы по большей части, — добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга; они являлись с шарманками, с кукольною комедией, собиравшею вокруг себя детское население дома, с певцами, плясунами и акробатами, ходившими на руках и делавшими salto-mortale на голой мостовой; сколько помнится, они тогда никому не мешали — ни жителям, ни общественному порядку, — напротив, много прибавляли к одушевлению серого, унылого города. Следя за ними глазами, я часто спрашивал себя, какими путями могли они добраться до нас из Италии, сколько должны были перенести лишений в своем странствовании, как они у нас устроились, где и как живут, довольны ли или с горечью вспоминают о покинутой родине и т. д. Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «И так сойдет!» — казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется,

как описывает ее Гоголь в «Шинели» — повести, которую я с жадностью перечитывал. Я прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию.

Около этого времени я случайно встретился на улице с Достоевским, вышедшим из училища и успевшим уже переменить военную форму на статское платье[21]. Я с радостным восклицанием бросился обнимать его. Достоевский также мне обрадовался, но в его приеме заметна была некоторая сдержанность. При всей теплоте, даже горячности сердца, он еще в училище, в нашем тесном, почти детском кружке, отличался не свойственною возрасту сосредоточенностью и скрытностью, не любил особенно громких, выразительных изъявлений чувств. Радость моя при неожиданной встрече была слишком велика и искренна, чтобы пришла мне мысль обидеться его внешнею холодностью. Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных знакомствах и попытках и просил сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть ему теперешнюю мою работу, на что он охотно согласился.

Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не т о , — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звеня* и *подпрыгивая...*» Замечание это — помню очень хорошо — было для меня целым откровением. Да, действительно: *звеня* и *подпрыгивая* — выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; выражение: пятак упал не просто, а *звеня* и *подпрыгивая,* — этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом[22]. <...>

В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить

вместе, каждый на свой счет. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами.

Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Бальзак был любимым нашим писателем; говорю «нашим» потому, что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей. Не знаю, как потом думал Достоевский, но я до сих пор остался верен прежнему мнению и часто перечитываю некоторые из творений Бальзака. Не могу припомнить, каким образом, через кого перевод «Евгении Гранде» попал в журнал «Библиотека для чтения»;[23] помню только, когда книга журнала попала к нам в руки, Достоевский глубоко огорчился, и было отчего: «Евгения Гранде» явилась едва ли не на треть в сокращенном виде против подлинника. Но таков уж, говорили, был обычай у Сенковского, редактора «Библиотеки для чтения». Он поступал так же бесцеремонно с оригинальными произведениями авторов. Последние были настолько смирны, что молчали, лишь бы добиться счастья видеть свою рукопись и свое имя в печати.

Увлечение Бальзаком было причиной, что Белинский, к которому в первый раз повел меня Некрасов, сделал на меня впечатление обратное тому, какое я ожидал. Настроенный Некрасовым, я ждал, как счастья, видеть Белинского; я переступал его порог робко, с волнением, заблаговременно обдумывая выражения, с какими я выскажу ему мою любовь к знаменитому французскому писателю. Но едва я успел коснуться, что сожитель мой, — имя которого никому не было тогда известно, —

перевел «Евгению Гранде», Белинский разразился против общего нашего кумира жесточайшею бранью, назвал его мещанским писателем, сказал, что, если бы только попала ему в руки эта «Евгения Гранде», он на каждой странице доказал бы всю пошлость этого сочинения. Я был до того озадачен, что забыл все, что готовился сказать, входя к Белинскому; я положительно растерялся и вышел от него как ошпаренный, негодуя против себя еще больше, чем против Белинского. Не знаю, что он обо мне подумал; он, вероятно, смотрел на меня как на мальчишку, не умевшего двух слов сказать в защиту своего мнения[24].

Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. Такой почерк видел я впоследствии только у одного писателя: Дюма-отца. Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье, особенно восхищали его «Записки демона». Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три[25].

Раз утром (это было летом) Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанная.

— Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай, — сказал он с необычною живостью.

То, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь, явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди»[26].

Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части? С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.

Результат этого чтения более или менее известен читающей публике. История о том, как я силой почти взял рукопись «Бедных людей» и отнес ее Некрасову, рассказана самим Достоевским в его «Дневнике»[27]. Из скромности, вероятно, он умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа.

Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились.

Должен признаться, я поступил в настоящем случае очень необдуманно. Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его, не тревожить неожиданною радостью и вдобавок не приводить к нему чуть ли не ночью незнакомого человека; но я сам был тогда в возбужденном состоянии, в такие минуты здраво рассуждают более спокойные люди.

На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность; но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа.

После знакомства с Некрасовым и через него с Белинским, который прочел рукопись «Бедных людей», с Достоевским произошла заметная перемена. Во время печатания «Бедных людей» он постоянно находился в крайне нервном возбуждении. Со свойственною ему несообщительностью, он не говорил мне о том, как сошелся с Некрасовым и что дальше было между ними. Стороною только доходили до меня слухи о том, что он требовал печатать «Бедных людей» особым шрифтом и окружить рамкой каждую страницу; я не присутствовал при этих разговорах и не знаю, справедливо это или нет; если и было что-нибудь похожее, тут, вероятно, не обошлось без преувеличения[28].

Могу сказать только с уверенностью, что успех «Бедных людей» и еще больше, кажется, неумеренно-восторженные похвалы Белинского положительно вредно отразились на Достоевском, жившем до той поры замкнуто, в самом себе, встречавшемся, да и то нечасто, с немногими товарищами, не имевшими ничего общего с литературой. Возможно ли было такому человеку, даже при его уме, сохранить нормальное состояние духа, когда с первого шага на новом поприще такой авторитет, как Белинский, преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе?[29] Вскоре после «Бедных людей» Достоевский написал повесть «Господин Прохарчин» или «Господин Голядкин», не помню хорошо названия. Чтение назначено было у Некрасова; я также был приглашен. Белинский сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей[30].

Увлечение Белинского не сделало бы еще, может быть, такого действия на Достоевского, как тот внезапный, резкий поворот на его счет в мнении Белинского и его кружка. Вот что около этого времени писал

Белинский к Анненкову: «Не знаю, писал ли я вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка», — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подбавивши немного Гоголя. Он еще написал кое-что после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях», я трепещу при мысли перечитать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!»[31] Писал это Белинский, честнейший из людей, но склонный к увлечению, — писал совершенно искренно, как всегда, по убеждению. Белинский не стеснялся громко высказывать свое мнение о Достоевском; близкие люди его кружка ему вторили.

Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что, дай только время, он всех их в грязь затопчет. Не помню, что послужило поводом к такой выходке; речь между ними шла, кажется, о Гоголе.

Во всяком случае, я уверен, вина была на стороне Достоевского. Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора; его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости. После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал[32]. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю, которому он должен был бы в ножки кланяться, потому что в самых хваленых «Бедных людях» чувствовалось на каждой странице влияние Гоголя.

В последнем обвинении, — если можно это считать обвинением молодому начинающему литератору, — была доля правды. Лицо старика Девушкина в «Бедных людях» невольно приводит на память чиновника Поприщина в «Записках сумасшедшего»; сцена, когда дочь директора роняет платок и Поприщин, бросившись подымать его, скользит на паркете и чуть не разбивает себе нос,

напоминает сцену, когда у Девушкина, в присутствии начальника, отрывается пуговица, и он, растерявшись, старается поднять ее. Не только в приеме частого повторения одного и того же слова, но в постройке самих фраз, в их духе заметно проглядывает влияние Гоголя. «Также читал очень приятное изображение, описанное курским помещиком; курские помещики хорошо пишут!» — «Хотел бы рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки, как они, что они» и т. д. «Хотелось бы быть генералом для того, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные экивоки...» — «Настасья Петровна; хорошее имя: Настасья Петровна; у меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна» (Чичиков у Коробочки). — «Не то я тебя, знаешь, березовым веником, чтоб для вкусу-то... Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтоб еще был получше...» (Плюшкин). — «А вот черти-то тебя и припекут, и припекут! Скажут: а вот тебе, мошенница, за то, что барина обманывала, и припекут, припекут!..» и т. д. Склад этих фраз, их дух, если можно так выразиться, часто встречаемый в первых произведениях Достоевского, не может служить ему большим упреком. Следовало бы тогда винить все тогдашнее литературное молодое поколение; все в одинаковой степени были увлечены Гоголем; почти все, что писалось в повествовательном роде, было отражением повестей Гоголя, преимущественно повести «Шинель». В последующих произведениях Достоевского не заметно уже тени подражания; он становится совершенно самостоятельным.

Не помню, о чем-то раз зашел у меня с Достоевским горячий спор. Результат был тот, что решено было жить порознь. Мы разъехались, но, однако ж, мирно, без ссоры[33]. Бывая оба часто у Бекетовых, мы встречались дружелюбно, как старые товарищи. Около Бекетовых мало-помалу образовался целый кружок; мы вступили в него благодаря старшему из братьев, А. Н., бывшему нашему товарищу по училищу. Братья его, Н. Н., известный теперь профессор химии, и А. Н., не менее известный профессор ботаники, были тогда еще студентами. Всякий раз встречалось здесь множество лиц, большею частью таких же молодых, как мы были сами; в числе их особенно часто являлся А. Н. Плещеев, тогда также студент.

Я видел на веку своем немало людей просвещенных, любезных, приветливых, выбивавшихся из сил, чтобы составить у себя кружок, и им это не удавалось; Бекетовы

не прикладывали никакого старания, кружок был им даже в тягость, потому что мешал занятиям, тем не менее кружок составился. Всех в равной степени притягивала симпатия к старшему брату, Алексею Николаевичу. Это была воплощенная доброта и прямодушие в соединении с развитым умом и горячею душою, возмущавшеюся всякою неправдой, отзывавшеюся всякому благородному, честному стремлению.

Собирались большею частью вечером. При множестве посетителей (сходилось иногда по пятнадцати человек), беседа редко могла быть общею; редко останавливались на одном предмете, разве уж выдвигался вопрос, который всех одинаково затрогивал; большею частью разбивались на кучки, и в каждой шел свой отдельный разговор. Но кто бы ни говорил, о чем бы ни шла речь, касались ли событий в Петербурге, в России, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопрос, во всем чувствовался прилив свежих сил, живой нерв молодости, проявление светлой мысли, внезапно рожденной в увлечении разгоряченного мозга; везде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости. Споры бывали жаркие, но никогда не доходило до ссоры благодаря старшему Бекетову, умевшему тотчас же примирить, внести мир и согласие. Многому помогала также молодость, с одинаковою легкостью воспламеняющаяся и забывающая свои увлечения. Часто, наговорившись и накричавшись досыта, кто-нибудь предлагал прогулку; все радостно принимали предложение. Раз мы всею компанией согласились сделать большую экскурсию — отправиться пешком в Парголово и провести ночь на Поклонной горе над озером; каждый должен был запастись каким-нибудь провиантом; на долю Бекетовых пришлось нести медный чайник для варки кофе и принадлежности.

Мне до сих пор памятно это похождение. Во все время пути и в течение всей ночи, проведенной на берегу озера, веселость била ключом, счастье было в сердце каждого. Оно высказывалось песнями, остротами, забавными рассказами, неумолкаемым хохотом. Парголовское озеро, я думаю, никогда не видало с тех пор такого ликования.

Участие в общественной беседе всегда существеннее в пользу умственного развития, чем разговоры вдвоем, как бы ни был умен собеседник и внимателен слушатель. Главным двигателем служит здесь личное самолюбие; необходимость постоянно держать ум настороже, не ка-

заться глупее других, следить за мыслью, готовиться в присутствии других поддержать ее или оспорить — все это в значительной степени пробуждает сознание, обостряет ум, «встряхивает мозги», как говорится.

Кружку Бекетовых я многим обязан. До того времени, как я сделался постоянным его членом, мои мыслительные способности облекались точно туманом. Беседы с Достоевским никогда не переходили пределов литературы; весь интерес жизни сосредоточивался на ней одной. Читал я, правда, много, но читал без всякого выбора, все, что попадало под руку, читал исключительно романы, повести, жизнеописания художников. Я ни над чем не задумывался сколько-нибудь серьезно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я очертя голову бросался в жизнь, отдаваясь минутному увлечению. Многое, о чем не приходило мне в голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее ум от легкомыслия, я впервые услышал только здесь, в кружке Бекетовых[34].

П. В. АННЕНКОВ

ИЗ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость...» «Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит[1]. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевский, а образцы его мотивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей. Так встретил он первое произведение нашего романиста *.

---

* Во время вторичного моего отсутствия из России, в 1846 году, почти такое же настроение охватило Белинского, как рассказывали мне, и с рукописью «Обыкновенная история» И. А. Гончарова — другим художественным романом. Он с первого же раза предсказал обоим авторам большую литературную будущность, что было не трудно, но он еще предсказал, что потребуется им много усилий и много времени, прежде чем они наживут себе творческие идеи, достойные их таланта. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

И этим еще не кончилось. Белинский хотел сделать для молодого автора то, что он делал уже для многих других, как, например, для Кольцова и Некрасова, — то есть высвободить его талант от резонерских наклонностей и сообщить ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладевать предметами прямо, сразу, не надрываясь в попытках, но тут критик встретил уже решительный отпор. В доме же Белинского прочитан был новым писателем и второй его рассказ: «Двойник»;[2] это — сенсационное изображение лица, существование которого проходит между двумя мирами — реальным и фантастическим, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни к одному из них. Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально странной темы, но мне, присутствовавшему тоже на этом чтении, показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость *набить руку,* что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения. Белинский, видимо, не мог освоиться с тогдашней, еще расплывчатой, манерой рассказчика, возвращавшегося поминутно на старые свои фразы, повторявшего и изменявшего их до бесконечности, и относил эту манеру к неопытности молодого писателя, еще не успевшего одолеть препятствий со стороны языка и формы. Но Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора, обладающего потому и закоренелыми привычками работы, несмотря на то, что он являлся, по-видимому, с первым своим произведением. Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он еще принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии. Так, решаясь отдать роман свой в готовившийся тогда альманах, автор его совершенно спокойно и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например — каймой[3].

Впоследствии из Достоевского вышел, как известно, изумительный искатель редких, поражающих феноменов человеческого мышления и сознания, который одинаково прославился верностию, ценностию, интересом своих психических открытий и количеством обманных образов и выводов, полученных путем того же самого тончайшего, хирургически острого, так сказать, психического анализа, какой помог ему создать и все наиболее яркие его типы. С Белинским он вскоре разошелся — жизнь развела их в разные стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцание их были одинаковы[4].

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ»

Надобно сказать, что первый узнавший о существовании «Бедных людей» был Григорович. Достоевский был его товарищем по Инженерному училищу.

Он сообщил свою рукопись Григоровичу, Григорович передал ее Некрасову. Они прочли ее вместе и передали Белинскому как необыкновенно замечательное произведение.

Белинский принял ее не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался за нее.

Он в первый раз взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но с первой же страницы рукопись заинтересовала его... Он увлекался ею более и более, не спал всю ночь и прочел ее разом, не отрываясь.

Утром Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии.

В таком положении он обыкновенно ходил по комнате в беспокойстве, в нетерпении, весь взволнованный. В эти минуты ему непременно нужен был близкий человек, которому бы он мог передать переполнявшие его впечатления...

Нечего говорить, как Белинский обрадовался Некрасову.

— Давайте мне Достоевского! — были первые слова его.

Потом он, задыхаясь, передал ему свои впечатления, говорил, что «Бедные люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя, и прочее. «Бедные люди», конечно, замечательное произведение и заслуживало вполне того успеха, которым оно пользовалось, но все-таки увлечение Белинского относительно его доходило до крайности.

Когда к нему привезли Достоевского, он встретил его с нежною, почти отцовскою любовью и тотчас же высказался перед ним *весь,* передал ему вполне свой энтузиазм [1].

А. Я. ПАНАЕВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Панаев в своих «Воспоминаниях» рассказывает об эффекте, произведенном «Бедными людьми» Достоевского, и я об этом не буду распространяться[1]. Достоевский пришел к нам в первый раз вечером с Некрасовым и Григоровичем, который только что вступал на литературное поприще[2]. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались.

Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он, видимо, был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно из одного упрямства противоречил другим. По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте[3]. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его само-

любие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался.

У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его «Бедных людях»[4]. Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду.

Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками.

Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его «Бедных людях».

— Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты!.. а он сидит по два и по три часа! — говорил Достоевский с каким-то озлоблением. — Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени!

Белинский избегал всяких серьезных разговоров, чтобы не волноваться. Достоевский приписывал это охлаждению к нему Белинского, который иногда, слыша разгорячившегося Достоевского в споре с Тургеневым, потихоньку говорил Некрасову, игравшему с ним в карты: «Что это с Достоевским! говорит какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом». Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал:

— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит.

Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжелое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так, чего доброго, все поголовно будут психически больны!

Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто «маточка»[5].

С этого вечера Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из кружка. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перебежал на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке[6], и тот сообщал, что Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомства, что он разочаровался во всех, что все завистники, бессердечные и ничтожные люди.

В 1848 году мы жили летом в Парголове; там же на даче жил Петрашевский, и к нему из города приезжало много молодежи. Достоевский, Плещеев и Толь иногда гостили у него. Достоевский уже не бывал у нас с тех пор, как Белинский напечатал в «Современнике» критику на его «Двойника» и «Прохарчина». Достоевский оскорбился этим разбором[7]. Он даже перестал кланяться и гордо и насмешливо смотрел на Некрасова и Панаева; они удивлялись таким выходкам Достоевского.

Петрашевский не бывал у нас, но знал Панаева и иногда при встрече разговаривал с ним. Петрашевский имел

всегда вид мрачный; он был небольшого роста, с большой черной бородой, длинными волосами, всегда ходил в плаще и в мягкой шляпе с большими полями и с толстой палкой. Дачников тогда в Парголове проживало немного, так что все знали не только друг друга в лицо, но и образ жизни каждого. Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Петрашевского часто можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми.

Однажды явился в редакцию Достоевский, пожелавший переговорить с Некрасовым. Он был в очень возбужденном состоянии. Я ушла из кабинета Некрасова и слышала из столовой, что оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии.

— Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. — Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере[8]. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах![9] До бешенства дошел.

В апреле месяце, не могу припомнить какого числа, я была с Панаевым в гостях у одних приезжих знакомых; там между прочими лицами был Спешнев. Я его мало знала, но здесь долго разговаривала с ним. Из гостей мы втроем отправились домой, часу во втором ночи; мы шли пешком, весело разговаривая; ночь была светлая, и уже начинало всходить солнце. Спешнев был в очень веселом настроении духа и проводил нас до самого нашего дома; мы были уверены, что скоро увидимся, потому что он обещался прийти обедать к нам на неделе. Но на другой же день мы узнали, что Спешнев в эту самую ночь был арестован[10], следовательно, как только вернулся домой, проводив нас. Одновременно с ним были взяты Петрашевский, Достоевский, Плещеев и Толь. Каждый день мы узнавали о новых арестах. Ходили слухи, что у Петрашевского нашли документы и письма, сильно компрометирующие его самого и всех его приятелей.

Я уже говорила раньше, что еще в Париже В. П. Боткину всюду мерещилось, что за ним следят подозрительные личности. Можно судить, что с ним происходило теперь. Он, по обыкновению, остановился у нас и надоедал своими наставлениями, что мы слишком неосторожно говорим при прислуге. Вдруг ему вообразилось, что Достоевский непременно запутает его, что в бумагах Достоевского могут найти какую-нибудь записку, писанную к нему года два тому назад, и Боткин озлобленно говорил:

— Нечестно, подло не уничтожать записок знакомых. Можешь рисковать собой сколько угодно, но других обязан не вмешивать в свое дело[11].

В. А. СОЛЛОГУБ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Один, всего один раз мне удалось затащить к себе Достоевского. Вот как я с ним познакомился.

В 1845 или 1846 году я прочел в одном из тогдашних ежемесячных изданий повесть, озаглавленную «Бедные люди». Такой оригинальный талант сказывался в ней, такая простота и сила, что повесть эта привела меня в восторг. Прочитавши ее, я тотчас же отправился к издателю журнала, кажется Андрею Александровичу Краевскому, осведомиться об авторе;[1] он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я — этим я всегда грешил. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать.

Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Федор Михайлович, — мы с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным и только месяца два спустя решился однажды появиться в моем зверинце. Но скоро наступил 1848 год, он оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь, в каторжные работы.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА 1877 ГОД

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок»[1]. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне[2] — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения[3], но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни[4]. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, *хорошее*, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями[5]. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши[6]. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не

написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник[7]. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись (сам он еще не читал ее)[8]. Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу»[9]. Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии «Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих «Бедных людей»!» — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда

они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, *это* выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитуя из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот в познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре, через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с шестнадцати лет[10]. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень

поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упо-

ении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А всё говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о, к ним, с ними!»

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, чт*о* были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его. «Это я об вас тогда написал», — сказал он мне[11]. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен[12].

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно.* Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..[13]

С. Д. ЯНОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ

Я познакомился с Федором Михайловичем Достоевским в 1846 году. В то время я служил в Департаменте казенных врачебных заготовлений Министерства внутренних дел. Жил я между Сенною площадью и Обуховским мостом, в доме известного тогда доктора-акушера В. Б. Шольца. Так как на эту квартиру я переехал вскоре после оставления мною службы в Лесном и Межевом институте, где я состоял врачом и преподавателем некоторых отделов естественной истории, то практики у меня в Петербурге было еще немного. В числе моих пациентов был В. Н. Майков; я любил беседовать с ним, и меня очень интересовали его рассказы о том интеллигентном и артистическом обществе, которое собиралось тогда в доме их родителей[1]. Имя Ф. М. Достоевского в то время повторялось всеми и беспрерывно, вследствие громадного успеха первого его произведения («Бедные люди»), и мы часто о нем говорили, причем я постоянно выражал мой восторг от этого романа. Майков вдруг однажды объявил мне, что Федор Михайлович просит у меня позволения посоветоваться со мною, так как он тоже болен. Я, конечно, очень обрадовался. На другой день в десять часов утра пришел ко мне Владимир Николаевич Майков и познакомил со мною того человека, с которым я впоследствии виделся ежедневно до самого его ареста.

Вот буквально верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности

широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одет он был чисто и, можно сказать, изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный казимировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр; если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы. Легкие при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми, но удары сердца были не совершенно равномерны, а пульс был не ровный и замечательно сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента.

В первый и следующие за ним три или четыре визита мы находились в отношении пациента и врача; но затем я просил Федора Михайловича приходить ко мне раньше, чтоб иметь возможность как можно долее побеседовать с ним о предметах, к болезни не относящихся, так как Федор Михайлович и в это короткое время наших свиданий подействовал на меня обаятельно своим умом, чрезвычайно тонким и глубоким анализом и необыкновенною гуманностию. Просьба моя была уважена. Федор Михайлович приходил ко мне всякий день уже не в десять, а в восемь с половиной часов, и мы вместе пили чай; а потом, чрез несколько месяцев, он стал приходить ко мне еще в девять часов вечера, и мы проводили с ним время в беседе до одиннадцати часов, иногда же он оставался у меня и ночевать. Эти утра и вечера останутся для меня незабвенными, так как во всю мою жизнь я не испытывал ничего более отрадного и поучительного.

Лечение Федора Михайловича было довольно продолжительно; когда местная болезнь совершенно была излечена, он продолжал недели три пить видоизмененный декокт Цитмана, уничтоживший то золотушно-скорбутное худосочие, которое в сильной степени заметно было в больном. Во все время лечения, которое началось в конце мая и продолжалось до половины июля, Федор

Михайлович ежедневно посещал меня, за исключением тех случаев, когда ненастная погода удерживала его дома и когда я навещал его. В это время он жил в каком-то переулке между Большою и Малою Морскими в маленькой комнатке у какой-то хозяйки, державшей жильцов. Каждое утро, сначала около десяти часов, а потом ровно в половине девятого, после звонка, раздавшегося в передней, я видел скоро входившего в приемную комнату Федора Михайловича, который, положив на первый стул свой цилиндр и заглянув быстро в зеркало (причем наскоро приглаживал рукой свои белокурые и мягкие волосы, причесанные по-русски), прямо обращался ко мне: «Ну, кажется, ничего; сегодня тоже не дурно; ну, а вы, батенька? (это было любимое и действительно какое-то ласкающее слово Федора Михайловича, которое он произносил чрезвычайно симпатично) ну да, вижу, вижу, ничего. Ну, а язык как вы находите? Мне кажется, беловат, нервный; спать-то спал; ну а вот галлюцинации-то, батенька, были, и голову мутило».

Когда, бывало, после этого приступа я осмотрю подробно и внимательно Федора Михайловича, исследую его пульс и выслушаю удары сердца и, не найдя ничего особенного, скажу ему в успокоение, что все идет хорошо, а галлюцинации — от нервов, он оставался очень доволен и добавлял: «Ну, конечно, нервы; значит, кондрашки не будет? это хорошо! Лишь бы кондрашка не пришиб, а с остальным сладим».

Успокоившись, он быстро менял свою физиономию и свой юмор: сосредоточенный и как бы испуганный взгляд исчезал, сильно сжатые в ниточку губы открывали рот и обнаруживали его здоровые и крепкие зубы; он подходил к зеркалу, но уже для того, чтобы посмотреть на себя как на совсем здорового, и в это время, взглянув на свой язык, говорил уже: «Ну, да, конечно, нервный, просто белый без желтизны, значит — хорошо!»

Потом мы усаживались за чайный столик, и я слышал обычную фразу: «Ну, а мне полчашечки и без сахару, я сначала вприкусочку, а вторую с сахаром и с сухариком». И это повторялось каждый день. За чаем же мы беседовали о разных предметах, но более всего о медицине, о социальных вопросах, о вопросах, касавшихся литературы и искусств, и очень много о религии.

Во всех своих суждениях Федор Михайлович поражал меня, равно как и других в то время наших знакомых, особенною верностию своих взглядов, обширною, срав-

нительно с нами (хотя все мы были с университетскою подготовкой и люди читавшие), начитанностию и до того глубоким анализом, что мы невольно верили его доказательствам как чему-то конкретному, осязаемому.

В конце 1846 года знакомство мое с Федором Михайловичем перешло в близкую приязнь, и беседы наши приняли характер самый искренний и задушевный. Сближению нашему весьма много содействовало, во-первых, наше сверстничество: мне было 28 лет, а Федору Михайловичу 24 года. Я от природы был человек увлекающийся, крайне любознательный, патриот что называется до мозга костей, и любил чтение до опьянения, притом человек, верующий в Откровение; Федор Михайлович был человек сосредоточенный, мыслитель глубокий, наблюдатель или, лучше сказать, нравственный химик-аналитик неудовлетворимый, писатель самолюбия большого и в то же время патриот из патриотов и верующий. Ему нужен был человек, который понимал бы его вечно роющийся в анализе ум и, сочувствуя его неутомимой работе, ценил бы ее по достоинству. Я с моею профессией и мой маленький в то время кружок знакомых в этом отношении удовлетворяли его вполне.

Сойдясь со мной на дружескую ногу, вот что доверил мне Федор Михайлович. Он говорил мне, что он человек положительно бедный и живет своим трудом как писатель. В это время он сообщал мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сестрах и о брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать, а также мало говорил о брате Андрее Михайловиче[2]. Когда я однажды спросил у него, почему он не служит и зачем оставил свою специальную карьеру, он дал мне тот ответ, который я сообщил уже в письме моем к Оресту Федоровичу Миллеру и достоверность коего утверждаю и в настоящую минуту, несмотря на изложенный г. Миллером в биографии Федора Михайловича вариант. Почему я с такой уверенностью поддерживаю ту причину выхода в отставку Федора Михайловича, какую я сообщил, то есть неблагоприятный отзыв императора Николая Павловича об одной из чертежных работ Достоевского, а не ординарчество у великого князя, на это отвечу коротко: потому что все мною сказанное я слышал из уст самого Федора Михайловича и рассказ записан был мною тотчас в моем «Дневнике»[3].

Первая болезнь, для которой Федор Михайлович обратился ко мне за пособием, была чисто местною, но во время лечения он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная много из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в его детстве, а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь. До какой степени иногда сильно обнаруживались у него припадки головной дурноты, это лучше всего покажет следующий случай, умолчать о котором я не могу еще и потому, что в нем есть нечто подтверждающее веру Федора Михайловича в предчувствие.

На другой год знакомства моего с Федором Михайловичем летом я жил в Павловске, а Федор Михайлович на даче в одном из Парголовых. В это время у нас было условие, что так как три раза в неделю я непременно должен был приехать в Петербург по делам службы, то Федор Михайлович в эти дни мог со мною видеться в моей квартире от трех и до шести часов вечера. Несколько раз мы с ним так и виделись. Но однажды, проведя ночь с понедельника на вторник чрезвычайно тревожно и чувствуя какую-то неодолимую, хотя и беспричинную, потребность побывать в Петербурге, я как ни старался успокоить самого себя и отложить поездку на завтра, когда и был обычный день моей поездки на службу, но не мог преодолеть себя, напился рано чаю и отправился в Петербург. Приехав в город без дела, я зашел в департамент; а в три часа отправился на Малую Морскую в Hôtel de France, хотя одни мои знакомые звали меня обедать к ним. Обедал я без аппетита и все куда-то торопился, а около четырех часов, выйдя на улицу, вместо того чтобы взять из Морской налево и идти домой к Обуховскому проспекту или на Царскосельскую железную дорогу, я совершенно инстинктивно, безотчетно, под влиянием какого-то тревожного чувства повернул направо к Сенатской площади, и, как только дошел до нее, я увидал посреди площади Федора Михайловича без шляпы, в расстегнутом сюртуке и жилете, с распущенным галстуком, шедшего под руку с каким-то военным писарем и кричавшего во всю мочь: «Вот, вот тот, кто спасет меня» и т.д. Случай этот по отношению его к болезни Федора Михайловича описан мною в письме к А. Н. Майкову и был напечатан в одном из нумеров

«Нового времени»[4]. Федор Михайлович называл случай этот знаменательным, и когда приходилось нам вспоминать о нем, то он каждый раз приговаривал: «Ну, как после этого не верить в предчувствие?» Федор Михайлович хотел рассказать его в одном из нумеров своего «Дневника», в особенности в то время, когда и он было заговорил о спиритизме; но спириты очень уж ему пришлись не по сердцу, он так и не рассказал случая[5].

До ареста Федор Михайлович больших писем не любил, а если иногда и писал к кому-нибудь, то укладывал все на маленьких лоскутках бумаги. Изо всех записок, мною полученных от Федора Михайловича, в особенности интересна была одна, в которой он из Парголова уведомлял меня, проживавшего в Павловске, о том, что теперь ему не до кондрашки, так как он сильно занят сбором денег по подписке в пользу одного несчастного пропойцы, который, не имея на что выпить, а потом напиться и, наконец, опохмелиться, ходит по дачам и предлагает себя *посечься* за деньги. Рассказ Федора Михайловича был верх совершенства в художественном отношении; в нем было столько гуманности, столько участия к бедному пропойце, что невольно слеза прошибала, но было не мало и того юмора и той преследующей зло беспощадности, которые были в таланте Федора Михайловича.

В роковом auto da fe записка эта погибла...

Федор Михайлович как в то время, когда познакомился со мною, так и после, когда возвратился из Сибири и жил своим домом, даже и тогда, когда Михаил Михайлович действительно имел хорошие средства и, по-видимому, брату ни в чем не отказывал, Федор Михайлович все-таки был беден и в деньгах постоянно нуждался. Когда же вспомнишь то, что плату за труд Федор Михайлович получал постоянно хорошую, что жизнь он вел, в особенности когда был холостым, чрезвычайно скромную и без претензий, то невольно задаешься вопросом: *куда же он девал деньги?* На этот вопрос я могу отвечать положительно верно, так как в этом отношении Федор Михайлович был со мною откровеннее, чем с кем-либо: он все почти свои деньги раздавал тем, кто был хоть сколько-нибудь беднее его; иногда же и просто таким, которые были хотя и не беднее его, но умели выманить у него деньги как у добряка безграничного. В карты Федор Михайлович не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре и ненавидел игру. Вина и кутежа он

был решительный враг; притом же, будучи от природы чрезвычайно мнительным (что у него было несомненным признаком известных страданий мозга и именно такого рода, которые впоследствии обнаружились чистою формой падучей болезни) и состоя под страхом *кондрашки,* он всячески воздерживался от всего возбуждающего. Эта мнительность доходила у него до смешного на взгляд людей посторонних, чем он, однако же, очень обижался; а между тем нельзя было иногда не рассмеяться, когда, бывало, видишь, что стоило кому-нибудь случайно сказать: «Какой славный, душистый чай!» — как Федор Михайлович, пивший обыкновенно не чай, а теплую водицу, вдруг встанет с места, подойдет ко мне и шепнет на ухо: «Ну, а пульс, батенька, каков? а? ведь чай-то цветочный!» И нужно было спрятать улыбку и успокоить его серьезно в том, что пульс ничего и что даже язык хорош и голова свежа.

Единственное, что любил Федор Михайлович, это устройство изредка обедов в Hôtel de France, в Малой Морской, целою компанией близких ему людей. Обеды эти обыкновенно обходились не дороже двух рублей с человека; но веселья и хороших воспоминаний они давали каждому чуть не на все время до новой сходки. Обед заказывался всегда Федором Михайловичем и стоил рубль с персоны; из напитков допускались: пред обедом рюмка, величиною с наперсток, водки (при одном виде которой Яков Петрович Бутков делал прекислую гримасу) и по два бокала шампанского за обедом, да чай à discrétion * после обеда. Федор Михайлович в то время водки не пил, шампанского ему наливали четверть бокала, и он прихлебывал его по одному глоточку после спичей, которые любил говорить и говорил с увлечением. Чаепитие же продолжалось до поздней поры и прекращалось с уходом из гостиницы. Обеды эти Федор Михайлович очень любил; он на них вел задушевные беседы, и они составляли для него действительно праздник. Вот как он сам объяснял мне причину его любви к этим сходкам: «Весело на душе становится, когда видишь, что бедный пролетарий (пролетарием он называл каждого живущего поденным заработком, а не рентой или иным каким-нибудь постоянным доходом, например, службой) сидит себе в хорошей комнате, ест хороший обед и запивает даже шипучкою, и притом настоящею». По оконча-

* вволю (*фр.*).

нии этого праздничного обеда Федор Михайлович с каким-то особенным удовольствием подходил ко всем, жал у каждого руку и приговаривал: «А ведь обед ничего, хорош, рыба под соусом была даже очень и очень вкусная». Якова Петровича Буткова он при этом еще и целовал.

К слову об особенно гуманных отношениях Федора Михайловича к Буткову, который даже между нами, далеко не богатыми людьми, отличался своею воистину поразительною бедностию, мне пришло на память одно обстоятельство. Однажды Федор Михайлович, сообразив, что он получит деньги из конторы «Отечественных записок» в такой-то день, задумал в этот именно день устроить обед в Hôtel de France. Накануне все мы получили оповещение, а на другой день к трем часам были уже в сборе. Между тем пробило три и три с половиной часа, а за стол мы не садились, и даже закуска не появлялась. Само собою разумеется, мы обратились к Федору Михайловичу с вопросом, отчего не дают есть. На это Федор Михайлович как-то сконфуженно, а в то же время и жалобно ответил нам: «Ах, Боже мой, разве не видите, что Якова Петровича нет», — и, схватив шляпу, побежал на улицу. Александр Петрович Милюков при этой сцене что-то сострил очень мило и весело, вечно серьезненький В. Н. Майков и А. Н. Плещеев пробормотали что-то вроде того, что хоть бы закуску подавали. Наконец в дверях явились Федор Михайлович и Бутков; первый был очень взволнован, а второй, пожимая своими широкими плечами, все повторял: «Да вот пойди ты с ним и толкуй, говорит одно, что книжка журнала не вышла, да и баста». — «Ну, да вы попросили бы хоть половину, понимаете ли, ну, хоть чуточку бы; а то как же теперь быть? А я пообещал еще двоим заплатить за них; ну вот вы и попросили бы хоть красненькую; а то как же теперь?..» Когда же мы пристали к Федору Михайловичу, чтоб он нам объяснил: почему мы не обедаем и тогда, как Яков Петрович обретается среди нас, то Федор Михайлович рассказал нам, в чем дело, а мы, узнав причину, приказали подавать обед. Дело же заключалось в том, что в конторе «Отечественных записок», по случаю запоздания выходом номера журнала, в котором был помещен рассказ Федора Михайловича, денег Буткову, явившемуся с запиской от автора, не дали. Этот обед прошел как-то особенно весело; Александр Петрович острил много и чрезвычайно удачно; Михаил Михайлович Достоевский

и Аполлон Николаевич Майков тоже были в хорошем настроении духа и много говорили хорошего и интересного, а Федор Михайлович, воспользовавшись случаем с Яковом Петровичем, сказал такую речь об эксплуатации литературного труда Павлом Ивановичем Чичиковым[6], что все мы поголовно были в восторге и отвечали рукоплесканиями и долго не умолкавшими *браво!* Но как ни весел был этот обед и как ни задушевно воспоминание о нем... у меня и теперь чуть не спирается дыхание, когда я заговорю о нем: он был последний, за ним вскоре последовала катастрофа с арестами, а потом и тяжелая для всех членов нашего кружка разлука.

Припоминая себе те часы, которые я проводил каждодневно с незабвенным Федором Михайловичем, я не могу пройти молчанием бесед о литературе, которые он вел со мною иногда один на один, а иногда и в присутствии других общих наших приятелей. Само собою разумеется, что Пушкина и Гоголя он ставил выше всех и часто, заговорив о том или другом из них, цитировал из их сочинений на память целые сцены или главы. Лермонтова и Тургенева он тоже ставил очень высоко; из произведений последнего особенно хвалил «Записки охотника». Чрезвычайно уважительно отзывался о всех произведениях, хотя по числу в то время незначительных, И. А. Гончарова, которого отдельно напечатанный «Сон Обломова»[7] (весь роман в то время напечатан еще не был) цитировал с увлечением. Из писателей эпохою постарше он рекомендовал Лажечникова. О других же наших беллетристах, как, например, о гр. Соллогубе, Панаеве (Ив. Ив.), он отзывался не особенно одобрительно и, не отказывая им в даровании, не признавал в них художественных талантов. У меня в то время была порядочная библиотечка, и я часто, возвратясь домой, заставал Федора Михайловича за чтением вынутой из шкафа книги, и чаще всего с Гоголем в руках. Гоголя Федор Михайлович никогда не уставал читать и нередко читал его вслух, объясняя и толкуя до мелочей. Когда же он читал «Мертвые души», то почти каждый раз, закрывая книгу, восклицал: «Какой великий учитель для всех русских, а для нашего брата писателя в особенности! Вот так настольная книга! Вы ее, батюшка, читайте каждый день понемножку, ну хоть по одной главе, а читайте; ведь у каждого из нас есть и патока Манилова, и дерзость Ноздрева, и аляповатая неловкость Собакевича, и всякие глупости и пороки».

Кроме сочинений беллетристических, Федор Михайлович часто брал у меня книги медицинские, особенно те, в которых трактовалось о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галла[8]. Эта последняя книга с рисунками занимала его до того, что он часто приходил ко мне вечером потолковать об анатомии черепа и мозга, о физиологических отправлениях мозга и нервов, о значении черепных возвышенностей, которым Галл придавал важное значение. Прикладывая каждое мое объяснение непременно к формам своей головы и требуя от меня понятных для него разъяснений каждого возвышения и углубления в его черепе, он часто затягивал беседу далеко за полночь. Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазницы, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову. Он сходством этим был очень доволен, находил его сам и обыкновенно, говоря об этом, добавлял: «А что нет шишек на затылке, это хорошо, значит, не юпошник; верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юпку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна (мать Аполлона Николаевича и других Майковых, которую Федор Михайлович, да и все мы глубоко почитали и любили), больше ничего; ну и, значит, верно».

Когда я припоминаю себе все, что воскресает во мне с именем Федора Михайловича, то есть его беспредельную гуманность, его неудержимую страсть к анализу, в самую душу забиравшемуся; когда я вспоминаю о том, как он любил ближнего и как постоянно стремился быть ему полезным своим разумным и честным словом; наконец, когда я представляю себе его кроткий, со сжатыми вплотную губами образ, похожий на Сократа, я более и более убеждаюсь в том, что Федор Михайлович от природы был назначен отнюдь не в инженерное или какое-нибудь техническое ведомство. Любимый им предмет изучения был душа человека. Стань он сразу на эту дорогу, он дал бы психиатрии такое движение, пред которым благоговели бы все Шарко, Сигмунты и Вестфали. Ведь когда, бывало, слушаешь Федора Михайловича, как он определяет какое-нибудь побуждение страсти

и как он роется во глубине души человека, чтоб определить причину причин какого-нибудь явления, то невольно верилось лишь в тот диагноз, который он давал вам.

Некоторые из знакомых Федора Михайловича, зная, что он любил, бывало, бегать на тот или другой конец Петербурга, чтобы полюбоваться каким-нибудь зданием или целою группой домов, приписывали это его страсти к бывшей специальности. Это мнение положительно неверное. Во-первых, он сам говорил мне, что делает это по любви его не к искусству, а к природе, что он любуется не столько техникой здания, сколько прелестию его освещения, например, заходящим солнцем, а во-вторых, я сам многократно был свидетелем, как он сегодня днем спокойно проходил мимо тех же Конногвардейских казарм и той же группы домов в Малой Подьяческой, которыми вчера любовался при закате солнца. Понимая его таким всегда, то есть инженером без призвания, я никогда не сомневался в том, что он мог начертить план крепости, не указав место для ворот, и я вполне сочувствовал тому равнодушию, с каким сам Федор Михайлович относился к выходу в отставку, причем он ни разу не намекнул даже, что ему обидна главная причина этой отставки. Но если б он вместо задачи построить крепость получил какую угодно задачу из психиатрии, то я уверен, что он разработал бы ее в совершенстве, как все подобные задачи разработаны в его романах. Само собой разумеется, что и врачом Федор Михайлович не остался бы в силу его художественного таланта, но я говорю об этом единственно для того, чтобы показать, как он чужд был призвания, в которое его сунули.

Федор Михайлович и в первое время знакомства со мною был очень небогат и жил на трудовую копейку; но потом, когда знакомство наше перешло в дружбу, он до самого ареста постоянно нуждался в деньгах. Но так как он по натуре своей был честен до щепетильности и притом деликатен до мнительности, то не любил надоедать другим своими просьбами о займе *. Он часто, бывало, и мне говорит: «Вот ведь знаю, что у вас я всегда могу взять рублишко, а все-таки как-то того... ну да у вас возьму, вы ведь знаете, что отдам». Но так как нужда пришибала его часто, да притом и не его одного, а и многих других ему близких людей, то раз он заговорил со

---

* Что впоследствии-таки проявлялось у него. (*Примеч. С. Д. Яновского.*)

мною о том: «Как бы нам составить такой капиталец, ну хоть очень маленький, рублей в сотняжку, из которого можно было заимствоваться в случае крайности, как из своего кошелька?» Я согласился на это его предложение, но с условием сформировать запас в течение четырех месяцев, для чего я буду откладывать из моего жалованья и дохода от практики по двадцать пять рублей в месяц. Капитал этот у нас оказался ранее, так как один из моих приятелей, Власовский, дал мне сто рублей с уплатой ему по частям. Федор Михайлович тотчас написал правила, которыми должны были руководиться те, кто заимствовался из этой кассы, и мы их сообщили другим. Правила эти долго хранились у меня, но в период паники, охватившей нас всех по случаю неожиданных арестов, они вместе с другими бумагами, по существу столь же невинными, были истреблены в огне. Как и почему произошло это auto da fe, я скажу после, но здесь не могу не заявить, что вся драгоценная для меня переписка с Федором Михайловичем, а также письма ко мне его брата Михаила Михайловича и Аполлона Николаевича Майкова были брошены в нарочно затопленную печь собственными руками Михаила Михайловича Достоевского.

Общая касса хранилась у меня; помещалась она в одном из ящиков моего письменного стола, ключ от которого висел над столом. В ящике же лежал лист бумаги, на котором были написаны рукой Федора Михайловича правила: сколько каждый может взять денег, когда и в каком расчете взятая сумма должна была быть возвращена, и, наконец, было оговорено, что нарушивший хоть раз правила взноса мог пользоваться ссудой не иначе как с ручательством другого; если же кто и после этого оказывался неаккуратным, таковому кредит прекращался. Многие пользовались этим оборотным капиталом и признавали помощь от него существенною. Бывшая у меня библиотечка подведена была под подобного же рода правила общего пользования.

В устройстве кассы и библиотеки не было ничего общего с идеями Фурье или Луи Блана. Федор Михайлович хотя и знал как до ссылки его в Сибирь, так и по возвращении из нее то, что писалось и говорилось о социализме, но учению этому он не сочувствовал[9].

Кроме главной кассы с капиталом во сто рублей, у нас была еще маленькая копилка, в которую мы опускали попадавшиеся нам серебряные пятачки; эти деньги

предназначались, собственно, для тех нищих, которые отказывались брать билеты в существовавшие тогда в Петербурге общие столовые. Однажды из этой копилки пришлось взять несколько пятачков самому Федору Михайловичу, и взять так, что не довелось ему, бедному, возвратить их. Дело было так: в одну пятницу, то есть в тот день, когда известный кружок молодых, а может быть, в числе их и немолодых людей, — верно сказать не могу, так как я к нему не принадлежал, — собирались у Петрашевского, Федор Михайлович совершенно неожиданно посетил меня. День был с утра пасмурный, а к вечеру пошел такой сильный дождь, что я остался дома. В семь часов, когда я собирался пить чай, вдруг раздался звонок, и я услыхал в передней голос Федора Михайловича. Я тотчас выбежал к нему навстречу и увидал, что с него вода течет ручьем. С первым словом он объявил мне, что по дороге к Петрашевскому увидал у меня огонь, зашел, да, кстати, нужно пообсушиться. Обсушиться ему было невозможно, так как он промок, что называется, до костей, а потому он надел мое белье, сапоги поручили человеку просушить у плиты, а сами уселись пить чай. К девяти часам сапоги просохли, и Федор Михайлович стал собираться к Петрашевскому. Но дождь лил как из ведра, и я спросил: «Да как же вы пойдете в такую погоду? От Торгового моста (где я жил тогда) до Покрова хоть и близко, но на ходу дождь вас еще раз промочит?» На это Федор Михайлович мне ответил: «Правда, но в таком случае дайте мне немножко денег, и я доеду на извозчике». Денег у меня не оказалось ни копейки, а в пакете общей кассы мельче десятирублевой бумажки не было. Федор Михайлович поморщился и, проговорив «скверно», хотел уходить. Тогда я предложил ему взять из железной копилки; он согласился и взял шесть пятачков. На эти деньги он, вероятно, доехал до Петрашевского, но достало ли их на то, чтобы возвратиться к себе на квартиру, я не знаю, так как на другой день ровно в одиннадцать часов утра прибежавший ко мне бледный и сильно растерявшийся Михаил Михайлович объявил, что Федор Михайлович арестован и отвезен в III Отделение[10]. В это время и произведено было сожжение бумаг и писем, о котором я упоминал выше. Федора Михайловича я после уже не видал до той встречи с ним в Твери, которая описана мною в статье по поводу *падучей болезни*[11].

Федор Михайлович очень любил общество, или, лучше сказать, собрание молодежи, жаждущей какого-ни-

будь умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал себя как бы на кафедре, с которой мог проповедовать. С этими людьми Федор Михайлович любил беседовать, и так как он по таланту и даровитости, а также и по знаниям, стоял неизмеримо выше многих из них, то он находил особенное удовольствие развивать их и следить за развитием талантов и литературной наметки этих молодых своих товарищей. Я не помню ни одного из известных мне товарищей Федора Михайловича (а я их знал почти всех), который не считал бы своею обязанностию прочесть ему свой литературный труд. Так поступали А. У. Порецкий, Я. П. Бутков, П. М. Цейдлер; об А. Н. Плещееве, Крешеве и о М. М. Достоевском я уже не говорю, так как последний и в особенности А. Н. Плещеев получали от Федора Михайловича темы для работ и даже целые конспекты для повестей. Если решение полученных задач оказывалось неудовлетворительным, то таковые рассказы и повести тут же самими авторами торжественно уничтожались.

В подтверждение этого моего сообщения приведу два случая; один из них был с Я. П. Бутковым. Федор Михайлович, зная хорошо особенности таланта описателя *Петербургских углов* [12], предложил ему написать рассказ на тему какого-то анекдота или фантастического случая, измышленного Федором Михайловичем. Яков Петрович задачу исполнил и, по назначению Федора Михайловича, должен был в первый вторник прочесть его у меня. Я в это время жил на Торговой улице, в доме католической церкви Сестренкевича. В восемь часов вечера все мы, собравшиеся в этот день, уселись вокруг стола со стаканами чая; Яков Петрович начал со свойственными ему откашливаниями, отплевываниями и преуморительными подергиваниями плечом чтение, но не успел он дойти и до половины своего рассказа, во время которого мы все смеялись и хохотали, как вдруг слышим, что Федор Михайлович просит автора остановиться. Бутков взглянул только на Федора Михайловича и, заметив побледневшее его лицо и сжатые в ниточку губы, не только чтение прекратил и тетрадку упрятал в карман своего пальто, но и сам очутился под столом, крича оттуда: «Виноват, виноват, проштрафился, думал, что не так скверно!» А Федор Михайлович, улыбнувшись на выходку Буткова, с крайним благодушием ответил ему, что писать так не только скверно, но и непозволительно, потому что «в

том, что вы написали, нет ни ума, ни правды, а только ложь и безнравственный цинизм». Потом Федор Михайлович указал нам недостатки того, что написал Яков Петрович, и произведение было уничтожено.

Еще случай с А. Н. Плещеевым, который в то время был еще юношей, без бороды и усов; кажется, ему было не более восемнадцати—девятнадцати лет [13]. Как теперь помню, в одно воскресенье Федор Михайлович, уходя от меня утром в одиннадцать часов, прощаясь, пригласил меня к себе на новоселье. В это время Михаил Михайлович, выйдя в отставку, приехал один без семейства и поселился вместе с Федором Михайловичем в Петербурге [14]. Согласно приглашению, я прибыл к Достоевским с моим приятелем Власовским к пяти часам утра и застал у них Плещеева, Крешева, Буткова, одного инженерного офицера (фамилию не помню) и Головинского. У Достоевских в это время проживал уже в качестве слуги известный всем нам и нами очень любимый отставной унтер-офицер Евстафий, имя которого Федор Михайлович отметил теплым словом в одной из своих повестей [15]. Когда Евстафий дал нам каждому по стакану чаю, Федор Михайлович обратился к А. Н. Плещееву и сказал: «Ну, батенька, прочтите нам, что вы там сделали из моего анекдотца?» Тот начал тотчас читать; но рассказ был до того слаб, что мы еле-еле дослушали до конца. Плещеев сам как будто сочинением был доволен, но Федор Михайлович прямо сказал ему: «Во-первых, вы меня не поняли и сочинили совсем другое, а не то, что я вам рассказал; а во-вторых, и то, что сами придумали, выражено очень плохо». Плещеев после этого приговора уничтожил сочиненный им рассказ.

Я рассказал два простые случая, характеризующие отношения Федора Михайловича к своим товарищам, друзьям литературным, но подобных в жизни его было не два, а десятки.

Его любовь, с одной стороны, к обществу и к умственной деятельности, а с другой — недостаток знакомства в других сферах, кроме той, в какую он попал, оставив Инженерное училище, были причиной того, что он легко сошелся с Петрашевским [16]. Когда я, бывало, заводил речь с Федором Михайловичем, зачем он сам так аккуратно посещает пятницы у Покрова и отчего на этих собраниях бывает так много людей, Федор Михайлович отвечал мне всегда: «Сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у дру-

гих знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно, притом же он всегда предлагает ужин, наконец, *у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда выпьет рюмочку винца;* а его Петрашевский тоже дает, правда кислое и скверное, но все-таки дает. Ну, вот к нему и ходит всякий народ; *но вы туда никогда не попадете — я вас не пущу»,* и не пустил, за что я ему, как истинному моему другу и учителю, во всю мою жизнь был и до сих пор остаюсь душой и сердцем благодарен. Любовь Федора Михайловича к обществу была до того сильна, что он даже во время болезни или спешной какой-нибудь работы не мог оставаться один и приглашал к себе кого-нибудь из близких. Но, посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собою нравственное развитие человека, в основание чего клал только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический устав 1848 года. Федор Михайлович любил ближнего, как только можно любить его человеку верующему искренно, доброты был неисчерпаемой и сердцеведец, которому подобного я в жизни моей не знал. А при этих его качествах можно ли допустить мысль о том, что он был заговорщиком или анархистом?[17] Да и каким образом мог Федор Михайлович, будучи от природы чрезвычайно нервным и впечатлительным, удержаться от того, чтобы не проговориться в беседах с нами о его сочувствии социализму. А между тем я видал Федора Михайловича и слушал его почти каждый день, встречал его у Майковых по воскресеньям и у Плещеева, у которого бывали (за исключением гимназистов, семинаристов и каких-то черкесов[18]) почти все бывавшие и у Петрашевского, — но ни я, ни кто из близких мне никогда не слыхали от Федора Михайловича ничего возбуждающего к анархии. Правда, он везде составлял свой кружок и в этом кружке любил вести беседу своим особенным шепотком; но беседа эта была всегда или чисто литературная, или если он в ней иногда и касался политики и социологии, то всегда на первом плане у него выдавался анализ какого-нибудь факта или положения, за которым следовал практический *вывод,* но такой, *который не шел вразрез с Евангелием.* Говорят: да ведь Достоевский был, как заговорщик, сослан в каторгу. Что он был сослан, это, к несчастию, правда; *но был ли он*

заговорщик, это не доказано и неправда. Хотя Федор Михайлович, бывая в собраниях Петрашевского, может быть, что-нибудь противное тогдашнему строю государственному и говорил, в особенности если мы не упустим из виду того, что это было до освобождения крестьян, но заговорщиком и бунтарем он не был и не мог быть.

Федор Михайлович не был и народником в том смысле, как толковали тогда это слово, например, Цейдлер, Порецкий и др., сосредоточивавшие все свои думы и действия на улучшении положения простолюдина, которого называли мальцом. Федор Михайлович всегда был печальником, утешителем и защитником бедных; призванием его было изучать болезнь души и помочь ей стать в здоровые условия; вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников.

Федор Михайлович никогда, даже в шутку, не позволял себе не только солгать, но обнаруживал чувство брезгливости ко лжи, нечаянно сказанной другим. Я помню, как-то раз весь кружок близких Федору Михайловичу людей собрался вечером у А. Н. Плещеева. Федор Михайлович, по обыкновению, был в хорошем расположении духа и много говорил. Но за ужином зашла речь о том, как бы достигнуть того, чтобы ни Греч, ни Булгарин и даже сам П. И. Чичиков (так прозван был нами один из издателей) никогда не лгали. Во время этого разговора кто-то в совершенно шуточном тоне, защищая последнего, сказал: «Ну, ему можно извинить, так как он хоть и прижимает нашего брата сотрудника, но все-таки платит и не обсчитывает, а что иногда солжет, то это не беда, так как и в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение». Услыхав эти слова, Федор Михайлович тотчас замолчал, сильно сосредоточился и во все остальное время только и повторял нам, близко к нему находившимся: «Вот оно что, даже и на Евангелие сослался; а ведь это неправда, в Евангелии-то этого не сказано! Когда слышишь, что человек лжет, то делается гадко, но когда он лжет и *клевещет на Христа, то это выходит и гадко и подло»*[19].

Федор Михайлович, искренно любя общество, любил и некоторые из его удовольствий и развлечений. Так, например, в то время, то есть до ареста, он любил музыку[20], вследствие чего при всякой возможности посещал итальянскую оперу, а по временам, когда у Майковых устраивались по воскресеньям танцы, он не только любил смотреть на танцующих, но и сам охотно танцевал. Из опер особенное предпочтение он отдавал «Виль-

гельму Теллю», в котором трио с Тамберликом приводило его в восторг, с наслаждением слушал «Дон-Жуана» Моцарта, в котором роль Церлины ему нравилась всего более, и восхищался «Нормой», сначала с Джулиею Борзи, а потом с Гризи; когда же в Петербурге была поставлена опера Мейербера «Гугеноты», то Федор Михайлович положительно от нее был в восторге. Певицу Фреццолини и тенора Сальви недолюбливал, говоря, что первая — кукла с хорошим голосом, а второй ему казался очень уж слащавым и бездушным. Танцы Федор Михайлович любил как выражение душевного довольства и как верный признак здоровья, но никогда к ним не примешивал ни вопроса о сближении с женщиной благодаря возможности, танцуя, перекинуться с нею живым словом, ни вопроса о грации и ловкости танцующих. О балете знал только понаслышке, но никогда, в то время, его не посещал.

Здесь же кстати я позволю себе сказать слово о том, что во все время моего знакомства с Федором Михайловичем и во всех моих беседах с ним я никогда не слыхал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил бы какую-нибудь женщину страстно. До ссылки Федора Михайловича в Сибирь я никогда не видал его даже «шепчущимся», то есть штудирующим и анализирующим характер которой-либо из знакомых нам дам или девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири, составляло одно из любимых его развлечений. Вообще Федор Михайлович во всю свою жизнь глубоко уважал призвание женщины и высоко ценил ее сердечность; но когда заходила речь на модную в то время тему о ее полной эманципации, то он обыкновенно выражался так: «Желать-то мало ли чего можно, но вот в чем дело, не будет ли от такой эманципации самой женщине хуже и тяжелее? Я думаю, что да!»

До сих пор я старался изобразить вернейший портрет Федора Михайловича, каким он был в период нашего знакомства с 1846 по 1848 год; надеюсь, что никто из самых даже близких к нему людей, знавших его в это время, не отметит в моих рассказах ни одного неверного штриха.

Теперь я приступлю к характеристике того Федора Михайловича, который явился и предо мною в конце 1848 года как будто иным *если не по существу, то,* по крайней мере, *по внешности.* В чем заключалась эта перемена? как она совершилась и что было ее причиной? Вот вопросы, на которые я постараюсь дать по возможности близкие к истине ответы.

Вся перемена Федора Михайловича, по крайней мере в моих глазах, заключалась в том, что он сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты.

Совершилась эта перемена если не вдруг и не неожиданно, то и не в очень длинный промежуток времени, а так примерно в течение двух-трех недель.

Причиной же всего этого было, как впоследствии он сам мне это сказал, сближение со Спешневым, или, лучше сказать, заем у него денег [21]. До этого обстоятельства Федор Михайлович, разговаривая со мною о лицах, составлявших кружок Петрашевского, любил с особенным сочувствием отзываться о Дурове, называя его постоянно человеком очень умным и с убеждениями, нередко указывал на Момбелли и Пальма, но о Спешневе или ничего не говорил, или отделывался лаконическим: «Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому». Я знал, как Федор Михайлович был самолюбив, и, объяснив себе это нерасположение тем, что, знать, нашла коса на камень, не настаивал на подробностях. Даже и в то время, когда я видел, что совершившаяся перемена в характере Федора Михайловича, а особенно его скучное расположение духа должны иметь какую-нибудь причину, я не обнаруживал желания прямо узнать ее, а говорил только, что я не вижу никакого органического расстройства, а следовательно, старался и его уверить в том, что это пройдет. Но на эти-то мои успокоения однажды Федор Михайлович мне и ответил: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я *с ним* и *его.* Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад; такой уж он человек». Вот разговор, который врезался в мою память на всю мою жизнь, и так как Федор Михайлович, ведя его со мною, несколько раз повторил: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель», то я невольно ему и теперь даю такое же фатальное значение, какое он заключал в себе и в то время. Я инстинктивно верил, что с Федором Михайловичем совершилось что-то особенное. На беду мою, я знал, что он в последнее время сильно жаловался на безденежье, и когда я говорил ему, что я, кроме копилки, могу ему уделить еще своих рублей пятнадцать—двадцать, то он замечал мне:

«Не двадцать или даже пятьдесят рублей мне нужны, а сотни: я должен отдать портному, хозяйке, возвратить долг Mich-Mich (так он звал старшего своего брата), а все это более четырехсот рублей». На удовлетворение всех этих нужд он и взял у Спешнева деньги. Получил он их в одно воскресенье, отправившись от меня около двенадцати часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать. После этого факта я заметил только одно новое для меня явление: прежде, когда, бывало, Федор Михайлович разговаривает со своим братом Михаилом Михайловичем, то они бывали постоянно согласны в своих положениях и выводах, но после визита Федора Михайловича к Спешневу Федор Михайлович часто говорил брату: «Это не так: почитал бы ты ту книгу, которую я тебе вчера принес (это было какое-то сочинение Луи Блана), заговорил бы ты другое». Михаил же Михайлович на это отвечал Федору Михайловичу: «Я, кроме Фурье, никого и ничего не хочу знать, да, правду сказать, и его-то, кажется, скоро брошу; все это не для нас писано». Федор Михайлович так сильно любил своего брата, что на последнюю фразу не только не сердился на него, но даже и не возражал ему.

Я знаю, что Федор Михайлович, по складу его ума и по силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету, вследствие чего он нередко даже о Белинском выражался так: «Ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь; придет время, что и вы заговорите (это он говорил так по поводу того, что Белинский, расхваливший его «Бедных людей», потом как бы игнорировал его произведения, а Федору Михайловичу молчание о его творениях было горше брани); после же займа денег у Спешнева он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист.

Не мудрено, что у нас до сих пор еще многие думают, будто Федор Михайлович был взаправду какой-то красный социалист, а по мнению некоторых, даже руководивший каким-то тайным обществом, которое угрожало опасностию государству. На самом же деле деятельность Федора Михайловича, включая в нее даже посещение собраний Петрашевского и принадлежность к так называемому тайному обществу Дурова и К°, ничего подобного не представляла. Стоило вглядеться в состав этих сборищ и общества, сообразить идею заговора с теми средствами,

какие были в руках этих мнимых заговорщиков, и, наконец, обдумать хорошенько, что они читали и о чем толковали, и вся иллюзия заговора разлетелась бы в прах. Все собрания Петрашевского и Дурова представляли собою такое незначительное число людей, что оно положительно терялось в Петербурге, как капля воды в быстротекучей Неве. Небольшая кучка этих людей была такою разнокалиберною смесью званий, сословий, профессий и возрастов, что одна уже эта пестрота состава показывала, что они не имели, да и не могли иметь, никакого влияния на массу общества. Денежных средств у этой кучки не было никаких, так как, за исключением Спешнева, Петрашевского, Дурова и Григорьева, все ее члены были бедняки; оружия, за исключением носимого свирепыми по виду черкесами и злосчастного с кремневым курком пистолета, который носил с собой постоянно излюбленный друг Петрашевского, Ханыков, у этой кучки тоже не было. Многие, по крайней мере в конце сороковых годов, старались придать какое-то особенное значение тому, что в сходках Петрашевского участвовали некоторые офицеры гвардии, говоря при этом, что одно это обстоятельство придавало их делу серьезное значение. Но едва ли несколько единиц из двух полков гвардейской пехоты и одного кавалерийского, безо всякой связи и единомыслия ни с другими товарищами, ни с нижними чинами, представляли собой что-либо серьезное. Я и теперь помню, как сам Федор Михайлович критически и с полным недоверием относился к подобного рода рассуждению. Более же опытные и умные товарищи по полкам, например капитан Московского полка М. Н. Ханыков, штабс-капитан конногренадерского полка Власовский, Зволянский и др., просто смеялись над увлечением товарищей и называли их сумасшедшими. Сам Федор Михайлович сходкам у Петрашевского не придавал никакого значения. Он начал свое посещение их, а потом продолжал единственно по тем причинам, которые я уже указал, то есть благодаря тому, что его там слушали. Бывая постоянно у Петрашевского, он не стеснялся высказывать многим из близких своих приятелей его неуважение к Петрашевскому, причем обыкновенно называл его агитатором и интриганом; над широкою шляпой Ханыкова и над его фигурой, завернутою всегда в альмавиву, и особенно над его пистолетом с кремневым курком он постоянно смеялся. Все это я говорю положительно и с уверенностию, так как все это я слышал от самого Федора Михайловича.

Конечно, на это мое мнение многие могут мне возразить: как же вы не придаете никакого значения тем сборищам, на которые сам Федор Михайлович указывает как на организованное тайное общество, причем желая выгородить из него своего брата Михаила Михайловича, говорит, что сей последний в тайном обществе Петрашевского и Дурова не участвовал (см. «Дневник писателя» 1876 года, статья «За умершего»). Вот для меня самое прискорбное и самое тяжелое изо всех возражений; но что делать, буду и в этот раз так же искренен, как всегда, и скажу все, что я знал и знаю о Федоре Михайловиче. Да, он это сказал в своем «Дневнике», и сказал не потому, что верил в важность этого общества, а потому что он, по возвращении из Сибири, явно обнаруживал два свойства, которые мы все заметили в нем: беспримерное самолюбие и страсть порисоваться. Он это сказал в то время, когда он знал, что «Дневник» его читается нарасхват, когда молодежь атаковала его своими сочувственными обращениями в массах (это он писал ко мне за границу), и что он в некотором отношении может порисоваться мученичеством[22]. Зная, до какой степени иногда Федор Михайлович по возвращении его из ссылки казался иным против того, каким мы, самые близкие к нему люди, знали до его ареста, я говорю, что несправедливо поступят те люди, которые, задавшись написать биографию Федора Михайловича, опишут нам то, что он представлял собою со дня возвращения своего в Петербург и до дня его кончины. У них не будет того кроткого, умного, веселого и снисходительного человека, каким я до сих пор представляю его себе.

В заключение позволяю себе сказать еще несколько слов. Приступая к изложению моих воспоминаний о Федоре Михайловиче, я имел в виду одно: представить черты, обрисовывающие его доброе, чистое сердце, его ум и благородный характер; все же относящееся до его литературных произведений и до определения значения сих последних в нашей умственной жизни я, как не специалист этого дела, предоставляю людям более компетентным в этом отношении.

Достиг ли я в моей статье желанной цели изобразить Федора Михайловича как человека, об этом предоставляю судить тем, которые удостоят прочесть мною написанное; на себя же беру ответственность пред собственною совестию и пред судом всех честных людей в том, что все мною сказанное есть истина.

А. Н. МАЙКОВ

<ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВИСКОВАТОВУ>

К делу Петрашевского действительно я был прикосновен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний — все вздор; главное, что в нем было серьезного, до Комиссии и не дошло [1]. Да я Вам, кажется, рассказывал. С Петрашевским я познакомился в университете, и потом изредка ходили к нему, во-первых, потому, что были всё юноши знакомые, а потом — еще и потому, что было забавно. По смерти же брата (1847 года летом), глубоко меня потрясшей, да притом тогда же был в самой горячей завязке мой роман с Анной Ивановной — я был у Петрашевского всего раз, в декабре 1847. Брат [2] еще раньше тоже отвлекся от кружка Петрашевского, приняв критику в «Отечественных записках», и около него составился его кружок: Влад. Милютин, Стасов, еще человека три-четыре. Я же, занятый своим романом, а именно тем, что в него входило — как бы побольше добыть денег, то я сидел, писал итальянские рассказы, а потом критики в «Отечественные записки», ото всех был в стороне. Раз, кажется в январе 1848 года [3], приходит ко мне Ф. М. Достоевский, остается ночевать — я жил один на своей квартире — моя кровать у стены, напротив диван, где постлано было Достоевскому. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Пав. Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу,

как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. Я доказывал легкомыслие и беспокойность такого дела и что они идут на явную гибель. Да притом — это мой главный аргумент — мы с вами (с Федором Михайловичем) поэты, следовательно, люди непрактические, и своих дел не справим, тогда как политическая деятельность есть в высшей степени практическая способность и пр. И помню я — Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр. — так что я наконец стал смеяться и шутить. «Итак, — нет?» — заключил он. «Нет, нет и нет». Утром после чая, уходя: «Не нужно говорить, что об этом ни слова». — «Само собою». Впоследствии я узнал, что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М<ордвино>ва, которого я, кажется, и не знал; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе Комиссии и по уводе М<ордвино>ва домашние его сумели, не повредив печатей, снять двери с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена [4]. Обо всем этом деле Комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех избегших ареста только я один и знал. И если что меня тяготило в ожидании, когда меня арестуют [5] (а этого я ждал по близким связям с Достоевскими и Плещеевым), а потом чего более я боялся уже на допросе в крепости — это именно этой тайны посещения Достоевского и того, что он мне сообщил. Но на допросе об этом не спрашивали, и я весьма свободно и развязно отвечал об теории Фурье и фаланстериях, даже не без юмора, члены смеялись, когда я рисовал, какие это будут казарменные жилища, где будет и мой нумер, и вся жизнь будет на глазах и никаких амуров не останется в тайне. Распространялся о неуживчивости Достоевского, который перессорился со всеми, кроме меня, но, наконец, в последнее время охладел и ко мне и мы видались реже. С Петрашевским поддерживал знакомство из учтивости, да и забавно было. Когда же наконец мне сказали «можете идти — вы свободны», я наконец вздохнул легко, мне стало ужасно весело именно оттого, что не спросили

ничего о «той ночи». Помню, когда я вышел из светлой комнаты, где сидела Комиссия, в темный коридор, я вдруг очутился один в темноте, пошел наудачу и думал уж назад вернуться к генералам, попросить, чтобы указали мне, как выйти, но вдруг наткнулся на идущего человека и рукой, которую держал вперед, ощупал что-то металлическое вроде звезды, и вдруг слышу строгий голос: «Кто такой? куда?» Явилась откуда-то свеча — я вижу, что прошел мимо часового, а передо мной генерал в мундире — то был, я узнал после, комендант Набоков: «Я из Комиссии, мне сказали, я свободен, — я и пошел, но не знаю, куда идти». Он указал, и я очутился на крепостном дворе, ярко озаренном луной, — и ни души! Опять не знаю, куда направляться. Постоял, посмотрел на собор. Тихо, а кругом в стенах — знакомые, — и что с ними? Я все-таки ничего не знал, что они наделали. Слава Богу, что не спрашивали о типографии: что бы я сказал? Надо сказать, в моих ответах не было никакой лжи и ничего бросающего на кого-нибудь обвиняющую тень. Сразу Дубельт меня поставил так, что я почувствовал себя развязно, а первая его улыбка развязала мой юмор — о Петрашевском, например, я говорил, как он нас всегда смешил: раз явился на дачу ночью в грозу — мы уж раздевались — в испанском плаще и в бандитской шляпе. О Достоевском говорил с чувством и сожалением, что разошелся с ним, что расходился он вообще из огромного самолюбия и неуживчивости. Наконец, в крепости-то, увидел того же жандармского офицера, из простых, который меня привез из Третьего Отделения в крепость и который до призыва меня в Комиссию караулил меня в комендантской комнате и, когда я там, смотря на висящие на стенах виды Венеции, стал ему рассказывать, что вот, мол, чудн*о*й город, лошадей нет, улиц нет, а только каналы, и кухарки за провизией или ездят на лодках, или купцы подъезжают на лодках, а к ним спускают корзины с деньгами, и они накладывают провизию, — смотрел на меня как на враля, и, может быть, опасного. «Ну вот, вы меня сюда привезли, покажите теперь, как выйти», — сказал я ему. Он обрадовался как родной: «Пойдемте, пойдемте!» У него был извозчик. «Ну что, — говорю, — везли, думали Бог знает какого преступника, а вот теперь сами рады». — «Должность такая — везешь, не знаешь, боишься, а теперь другое дело. Не хотите ли ко мне — чайку и закусить, время позднее». — «Нет, покорнейше благодарю, — дойдем до извозчика, а там надо успокоить родителей». И разумеется, сейчас к родителям, а чем свет — записку к Анне Ивановне.

Однако, садясь Вам писать письмо, я совсем и не думал, что наткнусь на это повествование. Меня все еще как будто связывает слово, данное в «ту ночь» Достоевскому. Впрочем, когда-нибудь это опишу все порядочнее и подробнее.

<РАССКАЗ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ И ПЕТРАШЕВЦАХ В ЗАПИСИ А. А. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА>

Был у Майкова (Ап. Ник.) и слышал от него рассказ об его участии в деле Петрашевского (1849).

Вот этот рассказ.

«Лежу я утром в постели. Является жандармский офицер и штатский какой-то. Спрашивает:

— Вы А. Н. Майков?

— Я.

— Извольте одеться. Мы сделаем сперва обыск, а затем попросим вас ехать с нами. Avez-vous des livres défendus?

— Probablement.

— Ou sont-ils?

— Mais voilà toute ma bibliothèque, cherchez *, и проч.

Напились чаю; перебрали книги, забрали тетради и бумаги и отправили в карете в III Отделение. Там отвели комнату, очень любезно обращались, подали обед. Затем я преспокойно заснул. А в десять часов вечера меня разбудили и повезли в крепость под охраной. Вез какой-то офицер из бурбонов и все время молчал. Привезли в крепость, повели по темным коридорам, наконец ввели в просторную освещенную комнату со столом, покрытым красным или зеленым сукном (не помню), за которым сидели генералы. Дубельт очень любезно предложил сесть и предложил вопросные пункты:

— Были ли знакомы с Петрашевским?

— Был. Он кончал курс в университете вместе со мной, и я его знал, как и всех прочих студентов-товарищей.

— Так и пишите — да покороче, например, *знаком по университету.* Продолжали ли знакомство потом?

---

* — Имеются ли у вас запрещенные книги?
— Вероятно.
— Где они?
— Вот вся моя библиотека, ищите (*фр.*).

— Сначала нет, ибо уезжал из Петербурга, был за границей, а по возвращении мы встретились, и он меня пригласил на свои пятницы. Я не имел никакого повода уклоняться. У Петрашевского собиралось разнородное общество; было довольно приятно и даже подчас забавно, ибо Петрашевский, vive farceur *, придавал своим пятницам вид каких-то заседаний.

— И даже председательствовал с колокольчиком?

— Да. Мы с братом там бывали и часто смеялись над ними, но продолжали ходить из любопытства и чтобы не обидеть старого товарища.

— Так и напишите коротко. *Продолжал знакомство из вежливости.* Знаете ли вы учение Фурье и одобряете ли его?

— Конечно, знаю, но больше понаслышке. А одобряю ли? — конечно, нет. Фаланстеры представляются мне чем-то весьма скучным, некрасивым и неудобным. Во-первых, жаль было уничтожать города, а затем жить в казарме, в коридоре, в номере — нет, покорно благодарю; не иметь своего дома — да это все равно что жить на улице! Молодому человеку весьма неприятно, чтобы все знали, кто у него бывает!

Общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне.

Но затем мне предложен был самый трудный, тяжелый и щекотливый для меня вопрос.

— Знакомы ли были с Достоевским (Фед. Мих.) и какие имели с ним сношения?

Вопрос был тяжел потому, что я решительно не знал, до какой степени он компрометирован, что он показал, а между тем с Достоевским был у меня один очень важный разговор.

Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру в дом Аничкова, — приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение.

— Вы, конечно, понимаете, — говорит он, — что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюби-

* о, лицедей (*фр.*).

вы... (это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)

— Как так?

— А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым (проповедовавшим фурьеризм).

— Полит<ической> эконом<ией> особенно не интересуюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?

— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин[6] и я — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

— Но с какою целию?

— Конечно, с целию произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок; его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; все готово.

— Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом.

Мы спорили долго, наконец устали и легли спать.

Поутру Достоевский спрашивал:

— Ну, что же?

— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю, и, *повторяю*, — если есть еще *возможность*, — бросьте их и уходите.

— Ну, это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера <сказанном> знают только семь человек. Вы восьмой — девятого не должно быть!

— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать.

Вот какой у нас был разговор, и вот почему мне трудно было отвечать.

Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люблю, что он человек и товарищ хороший, но страшно самолюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми <после> успеха своих «Бедных людей» и — что единственно со мною не было положительно ссоры, но что в последние годы (я нарочно распространил несколько время, ибо, действительно, после этого разговора мы почти

не видались) Достоевский ко мне охладел и мы почти не видались.

После этого мне предложили еще несколько незначительных вопросов и объявили, что я свободен и могу идти домой. Я вышел в темный коридор и, заблудившись, наткнулся на кого-то, который вдруг грозно спросил: «Кто тут?» Отворилась какая-то дверь, и появился генерал Набоков (добрый, но суровый старик).

— Вы зачем здесь?

Я объяснил, и меня вывели на улицу. Там я встретил провожавшего меня бурбона, который, узнав, что меня освободили, оказался очень разговорчивым и добродушным человеком, искренно радующимся моему освобождению. Я вернулся на квартиру, и вскоре мне вернули мои бумаги и книги.

Знала ли Следственная комиссия об этой фракции общества Петрашевского — не знаю. В приговоре Достоевского было сказано, между прочим: «за намерение открыть тайную типографию». При обыске у Мордвинова, у которого стоял станок, на него не обратили внимания, ибо он стоял в физическом его кабинете, где были разные машины, реторты и проч. Комнату просто запечатали, и родные сумели, не ломая печати, снять дверь и вынести злополучный станок.

Эпилог. В 1855 году, после вступления на престол Александра II-го, в один прекрасный день является ко мне какая-то странная и довольно неблаговидная личность и с чем-то меня поздравляет.

— Кто вы и с чем поздравляете?

— Я агент тайной полиции и поздравляю вас со снятием с вас полицейского надзора.

— Разве я был под надзором?

— Конечно-с: мы об вас всё писали.

— Да что же вы писали?

— Да всё-с, изо дня в день, нам все было известно.

— И вы были довольны мною?

— Помилуйте-с, уж чего же довольнее?

Я дал ему рубль; он скрылся, и тем окончилось все дело о прикосновенности моей к заговору Петрашевского».

А. П. МИЛЮКОВ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

I

<...> Познакомился я с Ф. М. Достоевским зимою 1848 года. Это было тяжелое время для тогдашней образованной молодежи. С первых дней парижской февральской революции самые неожиданные события сменялись в Европе одни другими. Небывалые реформы Пия IX отозвались восстаниями в Милане, Венеции, Неаполе;[1] взрыв свободных идей в Германии вызвал революции в Берлине и Вене. Казалось, готовится какое-то общее перерождение всего европейского мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь зачиналась во всей Европе. Но в то же время в России господствовал тяжелый застой; наука и печать все более и более стеснялись, и придавленная общественная жизнь ничем не проявляла своей деятельности[2]. Из-за границы проникала контрабандным путем масса либеральных сочинений, как ученых, так и чисто литературных; во французских и немецких газетах, несмотря на их кастрированье, беспрестанно проходили возбудительные статьи; а между тем у нас, больше чем когда-нибудь, стеснялась научная и литературная деятельность, и цензура заразилась самой острой книгобоязнью. Понятно, как все это действовало раздражительно на молодых людей, которые, с одной стороны, из проникающих из-за границы книг знакомились не только с либеральными идеями, но и с самыми крайними программами социализма, а с другой — видели у нас преследование всякой мало-мальски свободной мысли; читали жгучие речи, произносимые во французской палате[3], на франкфуртском съезде[4], и в то же время понимали, что легко можно пострадать за какое-нибудь недозволенное сочинение, даже за неосторожное слово. Чуть не каждая заграничная почта приносила известие о новых правах, даруемых, волей или неволей, народам, а между тем в русском обществе ходили только слухи о новых ограниче-

ниях и стеснениях. Кто помнит то время, тот знает, как все это отзывалось на умах интеллигентной молодежи.

И вот в Петербурге начали мало-помалу образовываться небольшие кружки близких по образу мыслей молодых людей, недавно покинувших высшие учебные заведения, сначала с единственной целью сойтись в приятельском доме, поделиться новостями и слухами, обменяться идеями, поговорить свободно, не опасаясь постороннего нескромного уха и языка. В таких приятельских кружках завязывались новые знакомства, закреплялись дружеские связи. Чаще всего бывал я на еженедельных вечерах у тогдашнего моего сослуживца, Иринарха Ивановича Введенского, известного переводчика Диккенса[5]. Обычными посетителями там были В. В. Дерикер — литератор и впоследствии доктор-гомеопат, Н. Г. Чернышевский и Г. Е. Благосветлов, тогда еще студенты, и преподаватель русской словесности в одной из столичных гимназий, а потом помощник инспектора классов в Смольном монастыре, А. М. Печкин. На вечерах говорили большею частию о литературе и европейских событиях. Те же молодые люди бывали и у меня.

Однажды Печкин пришел ко мне утром и, между прочим, спросил, не хочу ли я познакомиться с молодым начинающим поэтом, А. Н. Плещеевым. Перед тем я только что прочел небольшую книжку его стихотворений, и мне понравились в ней, с одной стороны, неподдельное чувство и простодушие, а с другой — свежесть и юношеская пылкость мысли. Особенно обратили наше внимание небольшие пьесы: «Поэту» и «Вперед». И могли ли, по тогдашнему настроению молодежи, не увлекать такие строфы, как, например:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я.
Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!

Разумеется, я ответил Печкину, что очень рад познакомиться с молодым поэтом[6]. И мы скоро сошлись. Плещеев стал ездить ко мне, а через несколько времени пригласил к себе на приятельский вечер, говоря, что я найду у него несколько хороших людей, с которыми ему хочется меня познакомить.

И действительно, я сошелся на этом вечере с людьми, о которых память навсегда останется для меня дорогою. В числе других тут были: Порфирий Иванович Ламанский, Сергей Федорович Дуров, гвардейские офицеры — Николай Александрович Момбелли и Александр Иванович Пальм — и братья Достоевские, Михаил Михайлович и Федор Михайлович. Вся эта молодежь была мне очень симпатична. Особенно сошелся я с Достоевскими и Момбелли. Последний жил тогда в Московских казармах, и у него тоже сходился кружок молодых людей. Там я встретил еще несколько новых лиц и узнал, что в Петербурге есть более обширный кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, где на довольно многолюдных сходках читаются речи политического и социального характера. Не помню, кто именно предложил мне познакомиться с этим домом, но я отклонил это не из опасения или равнодушия, а оттого, что сам Петрашевский, с которым я незадолго перед тем встретился, показался мне не очень симпатичным по резкой парадоксальности его взглядов и холодности ко всему русскому[7].

Иначе отнесся я к предложению сблизиться с небольшим кружком С. Ф. Дурова, который состоял, как узнал я, из людей, посещавших Петрашевского, но не вполне согласных с его мнениями. Это была кучка молодежи более умеренной. Дуров жил тогда вместе с Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым на Гороховой улице, за Семеновским мостом. В небольшой квартире их собирался уже несколько времени организованный кружок молодых военных и статских, и так как хозяева были люди небогатые, а между тем гости сходились каждую неделю и засиживались обыкновенно часов до трех ночи, то всеми делался ежемесячный взнос на чай и ужин и на оплату взятого напрокат рояля. Собирались обыкновенно по пятницам[8]. Я вошел в этот кружок среди зимы и посещал его регулярно до самого прекращения вечеров после ареста Петрашевского и посещавших его лиц. Здесь, кроме тех, с кем я познакомился у Плещеева и Момбелли, постоянно бывали Николай Александрович Спешнев и Павел Николаевич Филиппов, оба люди очень образованные и милые.

О собраниях Петрашевского я знаю только по слухам. Что же касается кружка Дурова, который я посещал постоянно и считал как бы своей дружеской семьей, то могу сказать положительно, что в нем не было чисто революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писаного устава, но и никакой определенной

программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом. В кружке получались только и передавались друг другу недозволенные в тогдашнее время книги революционного и социального содержания, да разговоры большею частию обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего занимал нас вопрос об освобождении крестьян, и на вечерах постоянно рассуждали о том, какими путями и когда может он разрешиться. Иные высказывали мнение, что ввиду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти. В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф. М. Достоевский. Я помню, как однажды, с обычной своей энергией, он читал стихотворение Пушкина «Уединение»[9]. Как теперь, слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ не угнетенный
И рабство падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит.

Другой предмет, на который также часто обращались беседы в нашем кружке, была тогдашняя цензура. Нужно вспомнить, до каких крайностей доходили в то время цензурные стеснения, какие ходили в обществе рассказы по этому предмету и как умудрялись тогда писатели провести какую-нибудь смелую мысль под вуалем целомудренной скромности, чтобы представить, в каком смысле высказывалась в нашем кружке молодежь, горячо любившая литературу. Это тем понятнее, что между нами были не только начинавшие литераторы, но и такие, которые обратили уже на себя внимание публики, а роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» обещал уже в авторе крупный талант. Разумеется, вопрос об отмене цензуры не находил у нас ни одного противника[10].

Толки о литературе происходили большею частию по поводу каких-нибудь замечательных статей в тогдашних

журналах, и особенно таких, которые соответствовали направлению кружка. Но разговор обращался и на старых писателей, причем высказывались мнения резкие и иногда довольно односторонние и несправедливые. Однажды, я помню, речь зашла о Державине, и кто-то заявил, что видит в нем скорее напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэта, каким величали его современники и школьные педанты. При этом Ф. М. Достоевский вскочил как ужаленный и закричал:

— Как? да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?

И он прочел на память стихотворение «Властителям и судиям» с такою силою, с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментарий поднял в общем мнении певца Фелицы [11]. В другой раз читал он несколько стихотворений Пушкина и Виктора Гюго, сходных по основной мысли или картинам, и при этом мастерски доказывал, насколько наш поэт выше как художник.

В дуровском кружке было несколько жарких социалистов. Увлекаясь гуманными утопиями европейских реформаторов, они видели в их учении начало новой религии, долженствующей будто бы пересоздать человечество и устроить общество на новых социальных началах. Все, что являлось нового по этому предмету во французской литературе, постоянно получалось, распространялось и обсуживалось на наших сходках. Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и об Икарии Кабэ, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера [12]. Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако ж, считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне или

фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги [13]. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним.

Не меньше занимали нас беседы о тогдашних законодательных и административных новостях, и понятно, что при этом высказывались резкие суждения, основанные иногда на неточных слухах или не вполне достоверных рассказах и анекдотах. И это в то время было естественно в молодежи, с одной стороны, возмущаемой зрелищем произвола нашей администрации, стеснением науки и литературы, а с другой — возбужденной грандиозными событиями, какие совершались в Европе, порождая надежды на лучшую, более свободную и деятельную жизнь. В этом отношении Ф. М. Достоевский высказывался с не меньшей резкостью и увлечением, чем и другие члены нашего кружка. Не могу теперь привести с точностью его речей, но помню хорошо, что он всегда энергически говорил против мероприятий, способных стеснить чем-нибудь народ, и в особенности возмущали его злоупотребления, от которых страдали низшие классы и учащаяся молодежь. В суждениях его постоянно слышался автор «Бедных людей», горячо сочувствующий человеку в самом приниженном его состоянии. Когда, по предложению одного из членов нашего кружка, решено было писать статьи обличительного содержания и читать их на наших вечерах, Ф. М. Достоевский одобрил эту мысль и обещал с своей стороны работать, но, сколько я знаю, не успел ничего приготовить в этом роде. К первой же статье, написанной одним из офицеров, где рассказывался известный тогда в городе анекдот, он отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы. Я, с своей стороны, прочел на одном из наших вечеров переведенную мною на церковнославянский язык главу из «Paroles d'un croyant» * Ламеннэ, и Ф. М. Достоевский сказал мне, что суровая библейская речь этого сочинения вышла в моем переводе выразительнее, чем в оригинале. Конечно, он разумел при этом только самое свойство языка, но отзыв его был для меня очень приятен. К сожалению, у меня не сохранилось рукописи [14]. В последние недели существования дуровского кружка возникло предположение литографировать и сколько можно более распространять этим путем статьи, которые будут одобрены по общему соглаше-

* «Слова верующего» (*фр.*).

нию, но мысль эта не была приведена в исполнение, так как вскоре большая часть наших друзей, именно все, кто посещал вечера Петрашевского, были арестованы.

Незадолго перед закрытием кружка один из наших членов ездил в Москву и привез оттуда список известного письма Белинского к Гоголю, писанного по поводу его «Переписки с друзьями» [15]. Ф. М. Достоевский прочел это письмо на вечере и потом, как сам он говорил, читал его в разных знакомых домах и давал списывать с него копии. Впоследствии это послужило одним из главных мотивов к его обвинению и ссылке. Письмо это, которое в настоящее время едва ли увлечет кого-нибудь своей односторонней парадоксальностью, произвело в то время сильное впечатление. У многих из наших знакомых оно обращалось в списках вместе с привезенной также из Москвы юмористической статьею А. Герцена, в которой остроумно и зло сравнивались обе наши столицы [16]. Вероятно, при аресте петрашевцев немало экземпляров этих сочинений отобрано и передано было в Третье Отделение. Нередко С. Ф. Дуров читал свои стихотворения, и я помню, с каким удовольствием слушали мы его перевод известной пьесы Барбье «Киайя», в которой цензура уничтожила несколько стихов [17]. Кроме бесед и чтения, у нас бывала по вечерам и музыка. Последний вечер наш заключился тем, что один даровитый пианист, Кашевский, сыграл на рояле увертюру из «Вильгельма Телля» Россини [18].

II

Двадцать третьего апреля 1849 года, возвратясь домой с лекции, я застал у себя М. М. Достоевского, который давно ожидал меня. С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен.

— Что с вами? — спросил я.

— Да разве вы не знаете! — сказал он.

— Что такое?

— Брат Федор арестован.

— Что вы говорите! когда?

— Нынче ночью... обыск был... его увезли... квартира опечатана...

— А другие что?

— Петрашевский, Спешнев взяты... кто еще — не знаю... меня тоже не сегодня, так завтра увезут.

— Отчего вы это думаете?

— Брата Андрея арестовали... он ничего не знает, никогда не бывал с нами... его взяли по ошибке вместо меня [19].

Мы уговорились идти сейчас же разузнать, кто еще из наших друзей арестован, а вечером опять повидаться. Прежде всего я отправился к квартире С. Ф. Дурова: она была заперта и на дверях виднелись казенные печати. То же самое нашел я у Н. А. Момбелли, в Московских казармах, и на Васильевском острове — у П. Н. Филиппова. На вопросы мои денщику и дворникам мне отвечали: «Господ увезли ночью». Денщик Момбелли, который знал меня, говорил это со слезами на глазах. Вечером я зашел к М. М. Достоевскому, и мы обменялись собранными сведениями. Он был у других наших общих знакомых и узнал, что большая часть из них арестованы в прошлую ночь. По тому, что мы узнали, можно было заключить, что задержаны те только, кто бывал на сходках у Петрашевского, а принадлежавшие к одному дуровскому кружку остались пока на свободе. Ясно было, что об этом кружке еще не знали, и если Дуров, Пальм и Щелков арестованы, то не по поводу их вечеров, а только по знакомству с Петрашевским. М. М. Достоевский тоже бывал у него и, очевидно, не взят был только потому, что вместо его по ошибке задержали его брата, Андрея Михайловича. Таким образом, и над ним повис дамоклов меч, и он целые две недели ждал каждую ночь неизбежных гостей. Все это время мы видались ежедневно и обменивались новостями, хотя существенного ничего не могли разведать. Кроме слухов, которые ходили в городе и представляли дело Петрашевского с обычными в таких случаях прибавлениями, мы узнали только, что арестовано около тридцати человек, и все они сначала привезены были в Третье Отделение, а оттуда препровождены в Петропавловскую крепость и сидят в одиночных казематах. За кружком Петрашевского, как теперь оказалось, следили давно уже, и на вечера к нему введен был от министерства внутренних дел один молодой человек, который прикинулся сочувствующим идеям либеральной молодежи, аккуратно бывал на сходках, сам подстрекал других на радикальные разговоры и потом записывал все, что говорилось на вечерах, и передавал куда следует [20]. М. М. Достоевский говорил мне, что он давно казался ему подозрительным. Скоро сделалось известно, что для исследования дела Петрашевского назначается особенная следственная комиссия, под председательством коменданта крепости генерала Набокова, из князя Долгорукова, Л. В. Дубельта, князя П. П. Гагарина и Я. И. Ростовцева.

Прошло две недели, и вот однажды рано утром прислали мне сказать, что и М. М. Достоевский в прошлую ночь арестован. Жена и дети его остались без всяких средств, так как он нигде не служил, не имел никакого состояния и жил одними литературными работами для «Отечественных записок», где вел ежемесячно «Внутреннее обозрение» и помещал небольшие повести. С арестом его, семейство очутилось в крайне тяжелом положении, и только А. А. Краевский помог ему пережить это несчастное время. Я не боялся особенно за М. М. Достоевского, зная его скромность и сдержанность; хотя он и бывал у Петрашевского, но не симпатизировал большинству его гостей и нередко высказывал мне свое несочувствие к тем резкостям, которые позволяли себе там более крайние и неосторожные люди. Сколько я знал, на него не могло быть сделано никаких серьезно опасных показаний, да притом в последнее время он почти совсем отстал от кружка. Поэтому я надеялся, что арест его не будет продолжителен, в чем и не ошибся[21].

В конце мая месяца (1849 г.) я нанял небольшую летнюю квартиру в Колтовской, поблизости от Крестовского острова, и взял погостить к себе старшего сына М. М. Достоевского, которому тогда было, если не ошибаюсь, лет семь. Мать навещала его каждую неделю. Однажды, кажется в середине июля, я сидел в нашем садике, и вдруг маленький Федя бежит ко мне с криком: «Папа, папа приехал!» В самом деле, в это утро моего приятеля освободили, и он поспешил видеть сына и повидаться со мною. Понятно, с какой радостью обнялись мы после двухмесячной разлуки. Вечером пошли мы на острова, и он рассказал мне подробности о своем аресте и содержании в каземате, о допросах в следственной комиссии и данных им показаниях. Он сообщил мне и то, чт*о* именно из данных ему вопросных пунктов относилось к Федору Михайловичу. Мы заключили, что хотя он обвиняется только в либеральных разговорах, порицании некоторых высокопоставленных лиц и распространении запрещенных сочинений и рокового письма Белинского, но если делу захотят придать серьезное значение, что по тогдашнему времени было очень вероятно, то развязка может быть печальная. Правда, несколько человек из арестованных в апреле постепенно были освобождены, зато о других ходили неутешительные слухи. Говорили, что многим не миновать ссылки.

Лето тянулось печально. Одни из близких моих знакомых были в крепости, другие жили на дачах, кто в Парголове, кто в Царском Селе. Я изредка видался с И. И. Вве-

денским и каждую неделю с М. М. Достоевским. В конце августа переехал я опять в город, и мы стали бывать друг у друга еще чаще. Известия о наших друзьях были очень неопределенные: мы знали только, что они здоровы, но едва ли кто-нибудь из них выйдет на свободу. Следственная комиссия закончила свои заседания, и надобно было ожидать окончательного решения дела. Но до этого было, однако, еще далеко. Прошла осень, потянулась зима, и только перед Святками решена была участь осужденных. К крайнему удивлению и ужасу нашему, все приговорены были к смертной казни расстрелянием. Но, как известно, приговор этот не был приведен в исполнение. В день казни на Семеновском плацу, на самом эшафоте, куда введены были все приговоренные, прочитали им новое решение, по которому им дарована жизнь, с заменою смертной казни другими наказаниями. По этому приговору Ф. М. Достоевскому назначалась ссылка в каторжные работы на четыре года, с зачислением его, по окончании этого срока, рядовым в один из сибирских линейных батальонов. Все это случилось так быстро и неожиданно, что ни я, ни брат его не были на Семеновском плацу и узнали о судьбе наших друзей, когда все уже было кончено и их снова перевезли в Петропавловскую крепость, кроме М. В. Петрашевского, который прямо с эшафота отправлен был в Сибирь.

Осужденных отвозили из крепости в ссылку партиями по два и по три человека. Если не ошибаюсь, на третий день после экзекуции на Семеновской площади М. М. Достоевский приехал ко мне и сказал, что брата его отправляют в тот же вечер и он едет проститься с ним. Мне тоже хотелось попрощаться с тем, кого долго, а может быть и никогда, не придется видеть. Мы поехали в крепость, прямо к известному уже нам плац-майору М<айдел>ю, через которого надеялись получить разрешение на свидание. Это был человек в высокой степени доброжелательный. Он подтвердил, что действительно в этот вечер отправляют в Омск Достоевского и Дурова, но видеться с уезжающими, кроме близких родственников, нельзя без разрешения коменданта. Это сначала меня очень огорчило, но, зная доброе сердце и снисходительность генерала Набокова, я решился обратиться к нему лично за позволением проститься с друзьями. И я не ошибся в своей надежде: комендант разрешил и мне видеться с Ф. М. Достоевским и Дуровым.

Нас провели в какую-то большую комнату, в нижнем этаже комендантского дома. Давно уже был вечер, и она

освещалась одною лампою. Мы ждали довольно долго, так что крепостные куранты раза два успели проиграть четверть на своих разнотонных колокольчиках. Но вот дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки. Несмотря на восьмимесячное заключение в казематах, они почти не переменились: то же серьезное спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка у другого. Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках. Крепостной офицер скромно поместился на стуле, недалеко от входа, и нисколько не стеснял нас. Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз. На вопросы о том, каково было содержание в крепости, Достоевский и Дуров с особенной теплотою отозвались о коменданте, который постоянно заботился о них и облегчал, чем только мог, их положение. Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшила их, и, конечно, в это время они не предчувствовали, как она отзовется на их здоровье. <...>

Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.

— Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, — и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня... Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, — я даже не сомневаюсь, что увидимся... А вы пишите, да, когда обживусь — книг присылайте, я напишу каких; ведь читать можно будет... А выйду из каторги — писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, — будет о чем писать...

Можно было подумать, что этот человек смотрел на свою будущую каторгу, точно на какую-нибудь поездку за границу, где ему предстоит любоваться красотами природы и памятниками искусства и знакомиться с новыми, привле-

кательными людьми, при полной свободе и со всеми средствами и удобствами путешественника. Он как будто не думал о том, что должен провести четыре года в «Мертвом доме», в цепях, вместе с людьми, выброшенными из общества за страшные преступления; а может быть, его именно занимала как бы врожденная и всегда присущая ему мысль найти в самых низко падших преступниках те человеческие черты, ту глубоко под пеплом затаившуюся, но не погасшую искру огня Божия, которая живет, как он верил, в самом закоренелом злодее и последнем отверженце.

Более получаса продолжалось наше свидание, но оно показалось нам очень коротким, хотя мы много-много переговорили. Печально перезванивали колокольчики на крепостных часах, когда вошел плац-майор и сказал, что нам время расстаться. В последний раз обнялись мы и пожали друг другу руки. Я не предчувствовал тогда, что с Дуровым никогда уже более не встречусь, а Ф. М. Достоевского увижу только через восемь лет. Мы поблагодарили М<айдел>я за его снисхождение, а он сказал нам, что друзей наших повезут через час или даже раньше. Их повели через двор с офицером и двумя конвойными солдатами. Несколько времени мы помедлили в крепости, потом вышли и остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные. Ночь была не холодная и светлая. На крепостной колокольне куранты проиграли девять часов, когда выехали двое ямских саней, и на каждых сидел арестант с жандармом.

— Прощайте! — крикнули мы.

— До свидания! до свидания! — отвечали нам.

III

Теперь приведу собственный рассказ Ф. М. Достоевского о его аресте. Он написал его уже по возвращении из ссылки в альбоме моей дочери, в 1860 году. Вот этот рассказ, слово в слово, в том виде, как написан:

«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: «Вставайте!»

Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — спросил я, привстав с кровати.

— По повелению...

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля...

«Эге! Да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте ж мне... — начал было я.

— Ничего, ничего! одевайтесь... Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но всё перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли? — спросил я.

— Гм... Это, однако же, надо исследовать... — бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел солдат, я, пристав и полковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал... беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне кто-то на ухо.

23 апреля был действительно Юрьев день.

Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем господина Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу».

«Так это Антонелли!» — подумали мы[22].

Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать...

Вошел Леонтий Васильевич... (Дубельт).

Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек.

Ф. Достоевский.

24 мая 1860».

IV

Известно, что в ряду милостей, какими ознаменовано начало царствования императора Александра Николаевича, было прощение всех пострадавших по делу М. В. Буташевича-Петрашевского. Царская милость застала одних в каторжных работах в разных местах Сибири, других на поселении или в военной службе в сибирских батальонах и на Кавказе. Все поспешили воспользоваться дарованной свободой и мало-помалу возвратились из ссылки, кроме П. Н. Филипова, тяжело раненного при штурме Карса и умершего в александропольском госпитале, и Петрашевского, который отказался от помилования, требуя пересмотра своего дела, и остался в восточной Сибири[23]. Но не для всех освобожденных каторжная жизнь прошла бесследно: некоторые поплатились за нее здоровьем. Больше других пострадал С. Ф. Дуров, сосланный, как я уже говорил, вместе с Ф. М. Достоевским в Омск. Кто читал «Записки из Мертвого дома», тот знает, при каких условиях должны были провести четыре года молодые люди, не знакомые до тех пор ни с нуждой, ни с принудительной работой. Какое нужно было здоровье и запас нравственных сил, чтобы вынести переход от жизни в развитом кружке столичного общества к страшному быту каторжного острога! Люди, посвятившие себя литературе, страстные любители театра и музыки, один даровитый поэт, другой высокоталантливый романист — вдруг брошены были в смрадную арестантскую казарму, в толпу представителей всевозможных пороков и преступлений, оторванные от всего, что было дорого для них в Божьем мире, и лишенные всякой умственной жизни. Как мучительна была для них одна мысль о том, что придется надолго оставить литературные занятия, видно из письма Досто-

евского к брату из Петропавловской крепости, писанного 22 декабря, по возвращении с эшафота. Говоря о предстоящей каторге, он пишет: «Лучше пятнадцать лет в каземате с пером в руке», и при этом прибавляет: «Та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих» [24].

Дуров не выдержал тяжести арестантской жизни. «Он гас в остроге, как свечка, — говорит Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома». — Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой». По возвращении из Сибири, он последние годы жизни провел у А. И. Пальма больным и расслабленным калекой. При известии о том, что он едет в южную Россию, А. Н. Плещеев писал ему:

Уедешь ты на теплый юг,
И где лазурью блещет море; —
Тебя покинет злой недуг,
Покинет сердце злое горе.

Там отдохнет в семье друзей
Душа, изведавшая муки,
И песен, выстраданных ей,
К нам долетят святые звуки.

Господь тебя благослови
За годы долгие несчастья,
И тихой радостью любви,
И дружбы ласковым участьем [25].

Но теплое участие и постоянная заботливость А. И. Пальма не могли уже сохранить разбитой жизни несчастного.

Ф. М. Достоевский, благодаря своей энергии и никогда не покидавшей его вере в лучшую судьбу, счастливее перенес тяжкое испытание каторжной жизни, хотя она отразилась и на его здоровье. Если до ссылки у него были, как говорят, припадки падучей болезни, то, без сомнения, слабые и редкие [26]. По крайней мере, до возвращения его из Сибири я не подозревал этого; но когда он приехал в Петербург, болезнь его не была уже тайною ни для кого из близких к нему людей. Он говорил однажды, что здоровье Дурова особенно пошатнулось с тех пор, когда осенью посылали их разбирать на реке старую барку, причем иные арестанты стояли по колена в воде. Может быть, это подействовало и на его здоровье и ускорило развитие болезни до той степени, в какой она обнаружилась впоследствии.

В первое время после помилования Достоевскому разрешено было жить только в провинции, и он поселился в Твери, чтобы быть ближе к родным, из которых одни жили в Петербурге, а другие в Москве. Брат получил от него письмо и тотчас же поехал повидаться с ним[27]. В это время Федор Михайлович был уже человеком семейным: он женился в Сибири, на вдове Марье Дмитриевне Исаевой, которая умерла от чахотки, если не ошибаюсь, в 1863 году[28]. Детей от этого брака у него не было, но на его попечении остался пасынок[29]. В Твери Достоевский прожил несколько месяцев. Он готовился возобновить свою литературную деятельность, прерванную каторгой, и много читал. Мы посылали ему журналы и книги. Между прочим, по просьбе его я отправил к нему «Псалтырь» на славянском языке, «Коран» во французском переводе Казимирского и «Les romans de Voltaire» *. Он говорил потом, что задумывал какое-то философское сочинение, но после внимательного обсуждения отказался от этой мысли[30].

В это время у М. М. Достоевского была собственная табачная фабрика, и дело шло не дурно: его папиросы с сюрпризами расходились по всей России. Но занятия по фабрике не отвлекали его, однако же, от литературы. Между прочим, по моей просьбе, он перевел роман Виктора Гюго «Le dernier jour d'un condamné» ** для журнала «Светоч», который я тогда редактировал вместе с издателем, Д. И. Калиновским. Однажды Михаил Михайлович пришел ко мне утром с радостной вестью, что брату его разрешено жить в Петербурге и он должен приехать в тот же день. Мы поспешили в вокзал Николаевской железной дороги, и там наконец я обнял нашего изгнанника после десятилетней почти разлуки. Вечер провели мы вместе. Федор Михайлович, как мне показалось, не изменился физически: он даже как будто смотрел бодрее прежнего и не утратил нисколько своей обычной энергии. Не помню, кто из общих знакомых был на этом вечере, но у меня осталось в памяти, что при этом первом свидании мы обменивались только новостями и впечатлениями, вспоминали старые годы и наших общих друзей. После того видались мы почти каждую неделю. Беседы наши в новом небольшом кружке приятелей во многом уже не походили на те, какие бывали в дуровском

* «Романы Вольтера» (*фр.*).
** «Последний день приговоренного к смерти» (*фр.*).

обществе. И могло ли быть иначе? Западная Европа и Россия в эти десять лет как будто поменялись ролями: там разлетелись в прах увлекавшие нас прежде гуманные утопии, и реакция во всем торжествовала, а здесь начинало осуществляться многое, о чем мы мечтали, и готовились реформы, обновлявшие русскую жизнь и порождавшие новые надежды. Понятно, что в беседах наших не было уже прежнего пессимизма.

Мало-помалу Федор Михайлович начал рассказывать подробности о своей жизни в Сибири и нравах тех отверженцев, с которыми пришлось ему прожить четыре года в каторжном остроге. Большая часть этих рассказов вошла потом в его «Записки из Мертвого дома». Сочинение это выходило при обстоятельствах довольно благоприятных: в цензуре веял уже в то время дух терпимости, и в литературе появились произведения, какие недавно еще были немыслимы в печати. Хотя новость книги, посвященной исключительно быту каторжных, мрачная канва всех этих рассказов о страшных злодеях и, наконец, то, что сам автор был только что возвращенный политический преступник, смущали несколько цензуру; но это, однако ж, не заставило Достоевского уклониться в чем-нибудь от правды. И «Записки из Мертвого дома» производили потрясающее впечатление: в авторе их видели как бы нового Данта, который спускался в ад тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности[31]. По условиям тогдашней цензуры, Федор Михайлович принужден только был выбросить из своего сочинения эпизод о ссыльных поляках и политических арестантах[32]. Он передавал нам по этому предмету немало интересных подробностей. Кроме того, я помню еще один рассказ его, который тоже не вошел в «Записки», вероятно, по тем же цензурным соображениям, так как затрогивал щекотливый в то время вопрос о злоупотреблениях крепостного права. Как теперь помню, что однажды на вечере у брата, вспоминая свою острожную жизнь, Достоевский рассказал этот эпизод с такой страшной правдою и энергией, какие никогда не забываются. Надобно было слышать при этом выразительный голос рассказчика, видеть его живую мимику, чтобы понять, какое он произвел на нас впечатление. Постараюсь передать этот рассказ, как помню и умею.

«В казарме нашей, — говорил Федор Михайлович, — был один молодой арестант, смирный, молчаливый и несообщительный. Долго я не сходился с ним, не знал,

давно ли он в каторге и за что попал в особый разряд, где числились осужденные за самые тяжкие преступления. У острожного начальства был он по поведению на хорошем счету, и сами арестанты любили его за кротость и услужливость. Мало-помалу мы сблизились с ним, и однажды по возвращении с работы он рассказал мне историю своей ссылки. Он был крепостной крестьянин одной из подмосковных губерний и вот как попал в Сибирь.

— Село наше, Федор Михайлович, — рассказывал он, — не маленькое и зажиточное. Барин у нас был вдовец, не старый еще, не то чтобы очень злой, а бестолковый и насчет женского пола распутный. Не любили его у нас. Ну вот, надумал я жениться: хозяйка была нужна, да и девка одна полюбилась. Поладили мы с ней, дозволение барское вышло, и повенчали нас. А как от венца-то вышли мы с невестой, да, идучи домой, поравнялись с господской усадьбой, выбежало дворовых никак человек шесть или семь, подхватили мою молодую жену под руки да на барский двор и потащили. Я рванулся было за ней, а на меня набросились людишки-то; кричу, бьюсь, а мне руки кушаками вяжут. Не под силу было вырваться. Ну, жену-то уволокли, а меня к избе нашей потащили, да связанного как есть на лавку бросили и двоих караульных поставили. Всю ночь я прометался, а поздним утром привели молодую и меня развязали. Поднялся я, а баба-то припала к столу — плачет, тоскует. «Что, говорю, убиваться-то: не сама себя потеряла!» И вот с самого этого дня задумал я, как мне барина за ласку к жене отблагодарить. Отточил это я в сарае топор, так что хоть хлебы режь, и приладил носить его, чтобы не в примету было. Может, иные мужики, видя, как я шатался около усадьбы, и подумали, что замышляю что-нибудь, да кому дело: больно не любили у нас барина-то. Только долго не удавалось мне подстеречь его: то с гостями, бывало, он хороводится, то лакеишки около него... все несподручно было. А у меня словно камень на сердце, что не могу я ему отплатить за надругательство: пуще всего горько мне было смотреть, как жена-то тоскует. Ну, вот иду я как-то под вечер позади господского сада, смотрю — а барин по дорожке один прохаживается, меня не примечает. Забор садовый был невысокий, решетчатый, из балясин. Дал я барину-то немного пройти, да тихим манером и махнул через загородку. Вынул топор я да с дорожки на траву, чтобы загодя не услыхал, и по траве-то крадучись, пошел за ним шагать. Совсем

уж близко подошел я и забрал топор-то в обе руки. А хотелось мне, чтоб барин увидал, кто к нему за кровью пришел, ну, я нарочно и кашлянул. Он повернулся, признал меня, а я прыгнул к нему да топором его прямо по самой голове... трах! Вот, мол, тебе за любовь... Так это мозги-то с кровью и прыснули... упал и не вздохнул. А я пошел к контору и объявился, что так и так, мол. Ну, взяли меня, отшлепали, да на двенадцать лет сюда и порешили.

— Но ведь вы в особом разряде, без срока?

— А это, Федор Михайлович, по другому уж делу в бессрочную-то каторгу меня сослали.

— По какому же делу?

— Капитана я порешил.

— Какого капитана?

— Этапного смотрителя. Видно, ему так на роду было написано. Шел я в партии, на другое лето после того, как с барином-то покончил. Было это в Пермской губернии. Партия угонялась большая. День выдался жаркий-прежаркий, а переход от этапа до этапа большой был. Смаяло нас на солнопеке, до смерти все устали: солдаты-то конвойные чуть ноги двигали, а нам с непривычки в цепях страсть было жутко. Народ же не весь крепкий был, иные, почитай, старики. У других весь день корки хлеба во рту не было: переход такой вышел, что подаяния-то дорогой ни ломтя не подали, только мы раза два воды попили. Уж как добрались, Господь знает. Ну, вошли мы на этапный двор, да иные так и полегли. Я нельзя сказать, чтоб обессилел, а только очень есть хотелось. В эту пору на этапах, как партия подойдет, обедать дают арестантам; а тут смотрим — никакого еще распоряжения нет. И начали арестантики-то говорить: что же, мол, это нас не покормят, мочи нет отощали, кто сидит, кто лежит, а нам куска не бросят. Обидно мне это показалось: сам я голоден, а стариков-то слабосильных еще больше жаль. «Скоро ли, — спрашиваем этапных солдат, — пообедать-то дадут?» — «Ждите, говорят, еще приказа от начальства не вышло». Ну, рассудите, Федор Михайлович, каково это было слышать: справедливо, что ли? Идет по двору писарь, я ему и говорю: «Для чего же нам обедать не велят?» — «Дожидайся, говорит, не помрешь». — «Да как же, — говорю я, — видите, люди измучились, чай, знаете, какой переход-то был на этаком жару... покормите скорее». — «Нельзя, говорит, у капитана гости, завтракает, вот встанет от стола и отдаст приказ». — «Да скоро ли это

будет?» — «А досыта покушает, в зубах поковыряет, так и выйдет». — «Что же это, говорю, за порядки: сам прохлаждается, а мы с голоду околевай!» — «Да ты, — говорит писарь-то, — что кричишь?» — «Я, мол, не кричу, а насчет того сказываю, что немочные у нас есть, чуть ноги двигают». — «Да ты, говорит, буянишь и других бунтуешь; вот пойду капитану скажу». — «Я, говорю, не буяню, а капитану как хочешь рапортуй». Тут, слыша разговор наш, иные из арестантов тоже стали ворчать, да кто-то ругнул и начальство. Писарь-то и обозлился. «Ты, — говорит мне, — бунтовщик; вот капитан с тобой справится». И пошел. Зло меня такое взяло, что и сказать не могу; чуял я, что дело не обойдется без греха. Был у меня в ту пору нож складной, под Нижним у арестанта на рубашку выменял. И не помню теперь, как я достал его из-за пазухи и сунул в рукав. Смотрим, выходит из казармы офицер, красный такой с рожи-то, глаза словно выскочить хотят, надо быть, выпил. А писаришко-то за ним. «Где бунтовщик? — крикнул капитан да прямо ко мне. — Ты что бунтуешь? А?» — «Я, говорю, не бунтую, ваше благородие, а только о людях печалюсь, для того морить голодом ни от Бога, ни от царя не показано». Как зарычит он: «Ах ты такой-сякой! я тебе покажу, как показано с разбойниками управляться. Позвать солдат!» А я это нож-то в рукаве прилаживаю, да изноравливаюсь. «Я тебя, говорит, научу!» — «Нечего, мол, ваше благородие, ученого учить; я и без науки себя понимаю». Это уж я ему назло сказал, чтоб он пуще обозлился да поближе ко мне подошел... не стерпит, думаю. Ну, и не стерпел он: сжал кулаки и ко мне, а я этак подался да как сигну вперед и ножом-то ему снизу живот, почитай, до самой глотки так и пропорол. Повалился, словно колода. Что делать? неправда-то его к арестантам больно уж меня обозлила. Вот за этого самого капитана и попал я, Федор Михайлович, в особый разряд, в вечные».

Все это, по словам Достоевского, арестант рассказывал с такой простотой и спокойствием, как будто речь шла о каком-нибудь срубленном в лесу гнилом дереве. Он не фанфаронил своим преступлением, не оправдывался в нем, а передавал это точно какой-нибудь обыденный случай. Между тем это был один из самых смирных арестантов во всем остроге. В «Записках из Мертвого дома» есть несколько похожий на это эпизод об убийстве этапного майора;[33] но рассказ, приведенный мною, я слы-

шал от Федора Михайловича лично и передаю если не совсем его словами, то, во всяком случае, близко, потому что он тогда сильно поразил меня и живо остался в моей памяти. Может быть, кто-нибудь из наших общих знакомых помнит его.

Из всех рассказов Достоевского о его житье в каторге можно было видеть, какое он вынес оттуда впечатление. Если прежде своей ссылки он особенно любил подмечать теплое чувство и симпатичные черты в бедной и приниженной среде, то теперь, кажется, еще внимательнее всматривался в людей, отверженных обществом, и старался отыскать в них ту искру Божию, о которой говорил в своих позднейших сочинениях. Вспоминая о преступниках, каких ему пришлось видеть в каторжном остроге, он не относился к ним с брезгливостью и презрением человека, который по образованию стоял неизмеримо выше их, а старался найти какую-нибудь человеческую черту в самом ожесточенном сердце. С другой стороны, он не жаловался никогда на свою собственную судьбу, ни на суровость суда и приговора, ни на загубленные цветущие годы своей молодости. Правда, и от других возвратившихся из каторги петрашевцев мне не случалось слышать резких жалоб, но у них это, кажется, происходило от присущего русскому человеку свойства не помнить зла; у Достоевского же соединялось еще как будто с чувством благодарности к судьбе, которая дала ему возможность в ссылке не только хорошо узнать русского человека, но вместе с тем и лучше понять самого себя. О долгих лишениях в остроге говорил он неохотно и только с горечью вспоминал о своем отчуждении от литературы, но и тут прибавлял, что, читая по необходимости одну Библию, он яснее и глубже мог понять смысл христианства.

V

С начала шестидесятых годов возобновляется литературная деятельность Ф. М. Достоевского, прерванная более чем на десять лет его ссылкою. Еще в сентябре 1860 г., извещая меня о готовности быть крестным отцом моего сына, он пишет между прочим: «Приступаю к писанию и не знаю еще, что будет, но решаюсь работать, не разгибая шеи». И действительно, он принялся за литературную работу с усиленной энергией. Кроме того, что он принял деятельное участие в журнале «Время»,

который вскоре после того был основан его братом, явились один за другим романы его: «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково», «Униженные и оскорбленные», задуманные еще в Сибири или в Твери. Читающая публика вспомнила автора «Бедных людей», а «Записки из Мертвого дома» приковали к нему внимание всего образованного общества. Между тем с самого приезда в Петербург он начал мечтать о поездке за границу, но это было затруднительно, так как он состоял под надзором полиции и Третье Отделение не разрешало выдачи ему паспорта. Целые два года он напрасно хлопотал, чтобы сняли с него это тяжелое veto. Наконец, благодаря участию нашего доброго знакомого Н. И. Г-о Г-о, у которого были влиятельные связи, вожделенное дозволение было получено, и в 1862 году Федор Михайлович уехал за границу [34]. Поездка эта, как потом оказалось, не столько поправила его здоровье, сколько оживила нравственно и повлияла на его убеждения. При личном знакомстве с европейским бытом, последние симпатии его к так называемому западному направлению ослабели, вера в необходимость самобытного развития русской жизни укрепилась, и он воротился почти славянофилом. Его ждали новые невзгоды.

Журнал «Время» был неожиданно запрещен за несколько невинных и неправильно истолкованных страниц о польском вопросе[35]. Это так поразило М. М. Достоевского, который употребил на издание все свои средства, что здоровье его сильно пошатнулось. Хотя ему скоро и разрешено было возобновить журнал под новым названием «Эпоха», но катастрофа с первым изданием и сомнительная надежда на успех второго постоянно мучали его, и он умер летом 1864 г., в Павловске. Смерть брата поставила Федора Михайловича в затруднительное положение. Решась продолжать журнал под своей редакцией, он, вместе с тем, принял на себя и все долги, какие были на издании. Дело не пошло: громкое литературное имя редактора не могло уже поддержать журнала, который, при всей своей благонамеренности, подвергался усиленному надзору и, кроме того, по самостоятельности своего направления, встретил недоброжелательное противодействие в особенно авторитетных тогда литературных органах. Достоевский не мог долго бороться с враждебной кликой и принужден был прекратить издание[36]. Уплатив часть своих и братниных долгов из небольшого наследства, полученного после одной близкой родствен-

ницы[37], он, в начале 1865 года, снова уехал за границу отдохнуть от пережитых им тревог[38].

Средства его на этот раз были так ограниченны, что он мог взять с собой только сорок два полуимпериала да обещание редакции «Библиотеки для чтения» высылать ему по пятидесяти рублей в месяц в счет гонорара за повесть или другую литературную работу, которую он обязывался прислать осенью. Но денег этих ему не высылали, и в начале сентября Федор Михайлович очутился в Висбадене без всяких средств. «Сижу в отеле, — писал он мне, — кругом должен и мне грозят; денег ни гроша». При этом он сообщает, что сюжет задуманной им литературной работы «расширился и разбогател», и просит «запродать повесть хоть куда бы ни было, но только с условием выслать немедленно 300 рублей». О содержании повести он не говорит, но замечает только: «ведь на нее внимание обратят, заговорят... в этом роде ничего у нас никогда не было; за оригинальность ручаюсь, да и за занимательность тоже». Я не могу теперь сказать утвердительно, над каким именно работал он тогда сочинением, но, кажется, это был его знаменитый роман «Преступление и наказание»[39].

Я тотчас же отправился с его письмом в редакцию «Библиотеки для чтения», куда прежде всего просил он адресоваться. Там мне сказали, что дела журнала идут весьма дурно, почему и прежде не могли высылать Достоевскому денег и теперь не могут исполнить его просьбы, не зная наверное, будет ли продолжаться издание в будущем году. После того был я в редакции «Современника», куда Федор Михайлович просил меня обратиться, если встречу неудачу в «Библиотеке». Но тут с первых слов меня отразили замечанием, что не желают вовсе принимать сочинений того, кто бросал камушки в Чернышевского. Под этими камушками, конечно, разумелись полемические заметки, которые печатались в «Эпохе», когда ею заведовал Федор Михайлович[40]. Оставалась последняя надежда на «Отечественные записки», с редакцией которых я был давно уже знаком. И здесь, однако, не удалось мне ничего сделать. На другой день после моего визита, мне написали от имени Дудышкина: «Во-первых, у нас есть запас беллетристики до нового года, и, во-вторых, денежные обстоятельства не так блестящи, чтобы можно было давать деньги вперед, когда предстоит еще три с половиною месяца платить взад». Таким образом, все попытки получить триста рублей за повесть,

которая, разумеется, стоила несравненно больше, оказались неудачными. Тогда Достоевский написал М. Н. Каткову, с которым сначала, по каким-то соображениям, не хотел вступать в переговоры, и ему немедленно выслали пятьсот рублей. Он расплатился с долгами в Висбадене, воротился в Петербург[41], и вслед за тем в «Русском вестнике», вместо повести, начал печататься роман «Преступление и наказание», который произвел сильное впечатление на все общество и придал новый блеск имени талантливого автора. Конечно, никто не будет оспаривать, что у нас не было ничего подобного в этом роде, и романист не напрасно ручался за оригинальность и занимательность своего лучшего произведения.

В «Русском вестнике» Федору Михайловичу платили хорошо; нередко высылали значительные суммы вперед, и если у него бывали иногда недоразумения с редакциею, то в одном только литературном отношении, при разнице в понятиях о приличии и нравственности, в чем, мне кажется, он не всегда был прав [42]. Впрочем, до самой кончины своей он, как известно, был в самых хороших отношениях с московской редакцией. Если Достоевский часто нуждался в деньгах, то не от недостатка работы или утомления, а потому, что принужден был уплачивать и свои собственные долги, и те, которые остались после брата по журналу и даже по табачной фабрике. Это в продолжение нескольких лет не давало ему покоя и не раз грозило долговым отделением. Чтобы погашать в сроки векселя, он должен был входить иногда в сделки, чрезвычайно невыгодные, можно сказать, безрассудные, если бы они не оправдывались крайней необходимостью и непременным желанием честно покончить дела и не оставить пятна на добром имени брата. Поэтому он продавал право на отдельные издания своих сочинений на условиях очень отяготительных, лишь бы получить вперед деньги, чем ловкие люди обыкновенно и пользовались.

Особенно тягостна была для него сделка с книгопродавцем-издателем Стелловским, который в 1866 году приобрел у него право на полное издание его сочинений. Перед отъездом в Москву Федор Михайлович как-то вскользь сказал мне, что летом должен написать для этого издания новый роман. В июле он писал мне из села Люблина, куда, по его словам, бежал из гостиницы Дюссо, потому что номер, его в жаркие дни «походил на русскую печку, когда начнут в нее сажать хлебы», и, следовательно, работать там не было никакой возмож-

ности. В этом письме, говоря о своем образе жизни, занятиях и сношениях с редакциею «Русского вестника», он в заключение прибавляет: «За роман Стелловскому я еще и *не принимался,* но примусь. Составил план — весьма удовлетворительного романчика, так что будут даже признаки характеров. Стелловский беспокоит меня до мучения, даже вижу во сне» [43]. В это время я не знал, в чем дело, но впоследствии оказалось, что в контракте с книгопродавцем было, между прочим, одно условие, которое, в случае невыполнения обязательства, должно было отдать Достоевского в безвыходную кабалу его предусмотрительному издателю. Только по возвращении Федора Михайловича в Петербург узнал я, отчего этот издатель порождал в нем мучительные сны. Между тем этот «романчик», о котором он писал, имел решительное влияние на всю его последующую жизнь. Вот в чем дело.

В праздник Покрова Богородицы, то есть 1-го октября, зашел я к Достоевскому, который незадолго приехал из Москвы. Он быстро ходил по комнате с папиросой и, видимо, был чем-то очень встревожен.

— Что вы такой мрачный? — спросил я.

— Будешь мрачен, когда совсем пропадаешь! — отвечал он, не переставая шагать взад и вперед.

— Как! что такое?

— Да знаете вы мой контракт с Стелловским?

— О контракте вы мне говорили, но подробностей не знаю.

— Так вот посмотрите.

Он подошел к письменному столу, вынул из него бумагу и подал мне, а сам опять зашагал по комнате. Я был озадачен. Не говоря уже о незначительности суммы, за которую было запродано издание, в условии заключалась статья, по которой Федор Михайлович обязывался доставить к ноябрю того же года новый, нигде еще не напечатанный роман в объеме не менее десяти печатных листов большого формата, а если не выполнить этого, то Стелловский имеет право перепечатывать все будущие его сочинения без всякого вознаграждения.

— Много у вас написано нового романа? — спросил я.

Достоевский остановился передо мною, резко развел руками и сказал:

— Ни одной строки!

Это меня поразило.

— Понимаете теперь, отчего я пропадаю? — сказал он желчно.

— Но как же быть? ведь надобно что-нибудь делать! — заметил я.

— А что же делать, когда остается один месяц до срока. Летом для «Русского вестника» писал, да написанное должен был переделывать, а теперь уж поздно: в четыре недели десяти больших листов не одолеешь.

Мы замолчали. Я присел к столу, а он заходил опять по комнате.

— Послушайте, — сказал я, — нельзя же вам себя навсегда закабалить; надобно найти какой-нибудь выход из этого положения.

— Какой тут выход! я никакого не вижу.

— Знаете что, — продолжал я, — вы, кажется, писали мне из Москвы, что у вас есть уже готовый план романа?

— Ну, есть, да ведь я вам говорю, что до сих пор не написано ни строчки.

— А не хотите ли вот что сделать: соберемте теперь же нескольких наших приятелей; вы расскажете нам сюжет романа, мы наметим его отделы, разделим по главам и напишем общими силами. Я уверен, что никто не откажется. Потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку: вы отдадите роман Стелловскому и вырветесь из неволи. Если же вам своего сюжета жаль на такую жертву, придумаем что-нибудь новое.

— Нет, — отвечал он решительно, — я никогда не подпишу своего имени под чужой работой.

— Ну, так возьмите стенографа и сами продиктуйте весь роман: я думаю, в месяц успеете кончить.

Достоевский задумался, прошелся опять по комнате и сказал:

— Это другое дело... Я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно... Да, другого средства нет, не удастся — так пропал... Спасибо вам: необходимо это сделать, хоть и не знаю, сумею ли... Но где стенографа взять? Есть у вас знакомый?

— Нет, но найти не трудно.

— Найдите, найдите, только скорее.

— Завтра же похлопочу.

Федор Михайлович был в возбужденном состоянии: он, очевидно, начал надеяться на возможность выйти из своего тяжелого положения, но в то же время не совсем еще был уверен в успехе новой для него работы. На другой день я обратился к одному из моих сослуживцев, Е. Ф. В—ру, с вопросом: нет ли у него знакомого стено-

графа, и объяснил ему при этом, в чем дело. Он обещал съездить к своему знакомому, П. М. Ольхину, который за несколько месяцев перед тем открыл курсы стенографии, преимущественно для женщин. Я просил сделать это не мешкая — и вот на другой же день к Достоевскому явилась по рекомендации Ольхина, в качестве стенографки, одна из лучших его учениц, Анна Григорьевна Сниткина. После объяснения относительно подробностей работы и условий, с следующего же утра, 4-го октября, началось стенографирование романа «Игрок». Я изредка заходил к Федору Михайловичу в такие часы, когда не мог помешать работе, и видел, что он мало-помалу становился покойнее и веселее, и надежда на успех дела превращалась у него уже в положительную уверенность. Наконец, роман был окончен и переписан ровно к 30-му октября. Несмотря на возбужденное состояние автора и новый для него способ работы, сочинение вышло замечательным в литературном отношении: нравы городка Рулетенбурга очерчены в оригинальной картине, и при этом раскрылись не только «признаки характеров», как выразился Достоевский, но цельные, бойко и смело написанные лица, как, например, типичная старуха-самодурка Тарасевичева, которая в пух проигрывается в рулетку.

Но роман этот, как я уже заметил, не только освободил Достоевского от эксплуатации издателя, а вместе с тем имел решительное влияние на всю остальную жизнь автора. Во время ежедневной работы над сочинением Федор Михайлович и его сотрудница хорошо узнали и оценили друг друга; он сделал ей предложение, не умолчав конечно ни о своих денежных нуждах, ни о роковой болезни, — и 15-го февраля 1868 г. мы были уже на их венчании в Троицком Измайловском соборе. Я позволю себе прибавить, что этот второй брак Достоевского был вполне счастлив, и он приобрел в Анне Григорьевне и любящую жену, и практическую хозяйку дома, и умную ценительницу своего таланта. Если Федор Михайлович, при своей житейской непрактичности, успел выплатить более двадцати пяти тысяч своих и братниных долгов, то это могло сделаться только при распорядительности и энергии его жены, которая умела и вести дело с кредиторами, и поддерживать мужа в тяжелые дни. На следующее лето после свадьбы Достоевские уехали за границу и прожили до 1871 года, большею частию в Германии и Италии[44]. Там были задуманы романы «Бесы» и «Идиот».

VI

Прибавлю несколько подробностей, которые могут пояснить и личный характер Ф. М. Достоевского, и отношения его к литературе и к нашему обществу.

По возвращении из ссылки в Петербург Федор Михайлович горячо интересовался всеми сколько-нибудь замечательными явлениями в нашей литературе. С особенным участием всматривался он в молодых начинающих писателей и, видимо, радовался, когда подмечал в ком-нибудь из них дарование и любовь к искусству. Когда я заведовал редакцией журнала «Светоч», у меня каждую неделю собирались по вечерам сотрудники, большею частию молодежь. Между прочим, постоянным моим посетителем был известный романист Всеволод Владимирович Крестовский, тогда только что оставивший университет и начинавший свою деятельность лирическими стихотворениями, замечательными по свежести мысли и изяществу формы. Однажды он в присутствии Достоевского прочел небольшую пьесу «Солимская Гетера», сходную по сюжету с известной картиною Семирадского «Грешница». Федор Михайлович, выслушав это стихотворение, отнесся к автору с самым теплым сочувствием и после того не раз просил Крестовского повторять его. Еще с бо́льшим участием любил он слушать его поэтические эскизы, связанные в одну небольшую лирическую поэму, под общим названием «Весенние ночи». Стихотворения эти так нравились ему, что некоторые эпизоды он удержал в памяти. Однажды, когда В. В. Крестовский почему-то не был на моем обычном вечере, Достоевский за ужином сам продекламировал отрывок из его «Ночей»:

Здесь-то, Боже, сколько ягод,
Сколько спелой земляники.
Помнишь, как мы ровно за год
Тут сходились без улики?
Только раз, кажись, попался
Нам в кустах твой старый дядя,
И потом, когда встречался,
Все лукаво улыбался,
На меня с тобою глядя...[45]

Я мог бы рассказать еще несколько случаев, как с одной стороны его радовал всякий новый талант, а с другой — возмущало проявление в молодых людях испорченности вкуса или равнодушия к литературе. Он

скорее извинял легкомысленное увлечение какой-нибудь ложной идеей, чем индифферентизм в искусстве или неуважение к таланту. В суждениях Достоевского о капитальных произведениях литературы выражалась та же тонкая наблюдательность, какую мы находим и в типах, созданных им в собственных романах. Это отчасти видно и в его речи на московских празднествах, при открытии памятника Пушкину; но еще ярче обнаруживалась эта своеобразность, когда дело шло об иностранных авторитетах, утвержденных на мнениях присяжных критиков: тут он был оригинально смел и если не во всем справедлив, то всегда самобытен и чужд обыденной рутины. В его критических и публицистических отзывах, несмотря на их парадоксальность, часто выражался психологический анализ и виднелись такие же неуловимо-тонкие черты, как и в оригинальных лицах лучших его произведений.

Позднейшие отношения Федора Михайловича к обществу и нашему молодому поколению известны из его «Дневника». Он всегда готов был выслушать молодого человека, ободрить его и помочь добрым советом, хотя никогда не заискивал перед «новыми людьми» для приобретения популярности. Я знаю, как однажды пришел к нему незнакомый студент, не в видах получения какого-нибудь покровительства, а только с желанием открыть свои религиозные и нравственные сомнения симпатичному человеку, и после довольно продолжительной беседы с ним вышел в слезах, ободренный и обновленный душевно. И кажется, это не единственный случай в таком роде. Можно ли было так действовать на молодежь без горячей любви к ней?

С особенной симпатией относился Ф. М. Достоевский к детям, не только в знакомых ему семействах, но и совершенно посторонним. Нередко видал я, с каким участием следил он за детскими играми, входил в их интересы и вслушивался в их наивные разговоры. Не удивительно, что в сочинениях его мы находим несколько детских фигур, прелестных, как головки Грёза. У меня остался в памяти один случай, который дает наглядное понятие о том, как ему близко было все, что касалось интереса детей. Однажды я рассказал ему, что был свидетелем маленькой сцены на нашей улице. Как-то летом сидел я вечером у открытого окна. Пастух гнал несколько коров и, остановясь перед нашим домом, пустил резкую трель из своей двухаршинной трубы, хорошо известной

всем петербургским жителям, не уезжающим на лето за город. И вот какой-то мальчик-мастеровой, в пестрядевом халатишке и без сапог, подошел к пастуху и предложил ему грош за то, чтоб он позволил ему поиграть немного на своем мусикийском орудии. Пастух согласился, передал ему трубу и начал объяснять, как за нее приняться. Ребенок едва держал этот уродливый и не по силам его тяжелый инструмент. Сначала щеки его надулись, как пузырь, но ничего не выходило, потом мало-помалу начали слышаться хотя слабые, однако довольно резкие отрывистые звуки. Мальчик, видимо, был очень доволен. Но в самом жару этого музыкального упражнения, когда у него вырвалась такая звонкая трель, что коровы дружно замычали, откуда-то явился городовой, взял ребенка за ухо и крикнул: «Что ты, постреленок, балуешь! вот я тебя!» Мальчик оторопел, бросил трубу и побежал, опустя печально голову.

Когда я рассказал это Федору Михайловичу, он быстро заходил по комнате и заговорил с жаром:

— Неужели вам этот случай кажется только забавным? Да ведь это драма, серьезная драма! Бедный мальчишка этот родился в какой-нибудь деревне, по целым дням был на свежем воздухе, бегал в поле, ходил с ребятишками в лес по грибы или за ягодами, видел, как овцы пасутся, слышал, как птицы поют. Может быть, тятька или там дядя какой-нибудь на телегу с сенокоса посадит его или даже верхом на кобылке даст проехаться. Там у ребенка была какая-нибудь свистулька, а может, и дудка, и он насвистывал на ней во всю силу своей детской груди. И вот привезли этого ребенка в Петербург и отдали на года в ученье, или, лучше сказать, на мученье, к какому-нибудь слесарю или меднику, и сидит он с раннего утра до ночи в подвале душной мастерской, в непроглядном дыму и копоти, и не слышит ничего, кроме стука молотков по меди и железу да ругани подмастерьев. Ведь это маленький «Мертвый дом», где суждено ему вести каторжную жизнь много лет, а вернее, бессрочно, как там, в сибирском особом разряде. Все развлечение его в том только, что хозяин пошлет его сбегать в кабак за водкой, да в Светлый праздник он с другими малолетними каторжниками-ремесленниками пошатается на вонючем дворе, да может постоять у ворот, если не прогонит дворник. И вот теперь у этого мальчишки завелся грош, и он не проел его на прянике, не пропил на грушевом квасу, а видит — гонят коровушек и у пастуха какая-

то большая дудка. Он уж слыхал ее. Захотелось ему удовлетворить высшей, эстетической потребности, так или иначе присущей всякому человеку, и отдает он свой последний грош пастуху, чтобы дал ему минуту, одну только минуту, поиграть, хоть несколько звуков выжать из этой, придавленной в душной мастерской, детской груди. Какое удовольствие! какое наслаждение! труба его звучит, он сам на ней наигрывает, и корова-то замычала, — откликается ему по-деревенски. Вдруг полицейский блюститель городского порядка и тишины хватает бедного ребенка за вихор, отнимает у него трубу, грозит ему... Да поймите же, сколько в этом трогательного, какая это драма! Славный ребенок, бедный ребенок!

В последние годы мне случалось слышать, что Достоевского обвиняли в гордости и пренебрежительном обращении не только с людьми, мало ему известными, но даже и с теми, кого он давно и хорошо знал. Говорили, будто, проходя по улице, он умышленно не узнавал знакомых и даже, встречаясь с ними где-нибудь в доме, не отвечал на поклоны и иногда про человека, давно ему известного, спрашивал: кто это такой? Может быть, подобные случаи и действительно были, но мне кажется, это происходило не от надменности или самомнения, а только вследствие несчастной болезни и большею частию вскоре после припадков. Кто был свидетелем жестокости этих часто повторявшихся припадков, видел и какие следы оставляли они на несколько дней, тот поймет, отчего он не узнавал иногда людей довольно близких. Я помню вот какой случай. Когда я жил в Павловске, Федор Михайлович пришел ко мне как-то вечером. Мы пили чай. Только что дочь моя подала ему стакан, он вдруг вскочил, побледнел, зашатался, и я с трудом дотащил его до дивана, на который он упал в судорогах, с искаженным лицом. Его сильно било. Когда через четверть часа он очнулся, то ничего не помнил и только проговорил глухим голосом: «Что это было со мною?» Я старался успокоить его и просил остаться у меня ночевать, но он решительно отказался, говоря, что должен непременно воротиться в Петербург. Зачем воротиться — он не помнил, но знал только, что нужно. Я хотел послать за извозчиком, но он и это отклонил. «Лучше пройдем пешком до вокзала; это меня освежит», — говорил он. Мы вышли, когда уже было довольно темно. Квартира моя была у самого выезда на Колпинскую дорогу, так что нам предстояло пройти через весь парк, в эти часы почти

безлюдный. Не доходя еще до так называемой Сетки, Достоевский вдруг остановился и прошептал: «Со мной сейчас будет припадок!» Кругом не было ни души. Я посадил его на траву у самой дорожки. Он посидел минут пять, но припадка, к счастию, не было. Мы пошли дальше, но у самой лестницы, которая недалеко от дворца спускается к мостикам через Славянку, он снова остановился и, смотря на меня помутившимися глазами, сказал: «Припадок! сейчас припадок!» Однако ж и теперь обошлось тем, что мы минут десять просидели на скамейке. И это повторялось еще раза два, прежде чем мы дошли до вокзала. Оттуда послал я сторожа на дачу за его родственником, который тотчас же приехал и проводил его в Петербург. Когда, на другой день, я поехал навестить его, он был слаб, как будто после болезни, и в первую минуту не узнал меня. Я думаю, он сам догадывался, что его напрасно подозревают в гордости.

По рассказам старшего брата, Федор Михайлович еще в детстве был мальчик крайне впечатлительный и нервный, но впоследствии припадки должны были еще больше развить в нем чувствительность и раздражительность. Мне кажется, они имели даже большое влияние на самый характер его творчества. Если, при жизненной правде и психической верности большей части созданных им лиц, особенно в последних сочинениях, на них лежит печать какой-то болезненной фантазии, если они представляются нам точно сквозь какое-то цветное стекло, в странном колорите, придающем им призрачный вид, — то на все это, как и на его личный характер, действовала, без сомнения, его несчастная болезнь, особенно развившаяся по возвращении из Сибири. Я уверен, что близкие друзья покойного Достоевского, которые знали его хорошо и долго, согласятся со мною, что заметная в нем иногда несообщительность и резкость вовсе не были следствием гордости или слишком высокого мнения его о себе. Если теперь неловкие почитатели сделали из него какого-то обличительного пророка, то в этом он вовсе не виноват. Для критической оценки его воззрений и таланта факты готовы в его произведениях, но собрание материалов для его биографии и подробностей к определению его личного характера лежит на обязанности людей, которые знали его и сохранили о нем память. Мне кажется, из воспоминаний о нем выступит такая же высокая личность человека, как и образ высокоталантливого писателя.

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

ИЗ «МЕМУАРОВ»

ИЗ ТОМА 1 — «ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ (1827—1855 гг.»

Николай Яковлевич Данилевский, с которым так тесно были сплетены мои университетские годы, так как мы не только жили вместе, но и делили между собою все свои занятия, был в высшей степени оригинальной и симпатичной личностью[1]. Сын бойкого и типичного гусара, часто переменявшего, в особенности при командовании полком, а потом и в генеральском чине, место своего жительства, Данилевский был отдан своим отцом в ранние годы в очень хороший пансион в Дерпте и оттуда уже поступил в Царскосельский лицей, где в своем классе был самым талантливым и самым разносторонне образованным из лицейских воспитанников. После выпуска из Лицея он не удовольствовался полученным им образованием и захотел дополнить его университетским. В университетские годы произошла в нем резкая перемена: из человека консервативного направления и набожного он быстро перешел в крайнего либерала сороковых годов, причем увлекся социалистическими идеями и в особенности теорией Фурье. Данилевский обладал огромной эрудициею: перечитали мы с ним кроме книг, относившихся к нашей специальности — естествознанию, целую массу книг из области истории, социологии и политической экономии, между прочим все лучшие тогда исторические сочинения о французской революции и оригинальные изложения всех социалистических учений (Фурье, Сен-Симона, Овена и т. д.). <...>

Во время моей совместной жизни с Данилевским, после отъезда брата и дяди из Петербурга, круг нашего

знакомства значительно расширился, главным образом потому, что Данилевский, не имея никакого состояния, должен был обеспечивать свое существование литературным трудом и писал обширные, очень дельные научные статьи в «Отечественных записках». Это ввело его в знакомство не только с Краевским (редактором их), но и с многими другими литературными деятелями и критиками — Белинским и Валерианом Майковым. Они оценили необыкновенно логичный ум Данилевского, его изумительную диалектику и обширную, разностороннюю эрудицию. Таким образом, кружок даже наших близких знакомых был во время посещения нами университета не исключительно студенческий, а состоял из молодой, уже закончившей высшее образование интеллигенции того времени. К нему принадлежали не только некоторые молодые ученые, но и начинавшие литературную деятельность молодые литераторы, как, например, лицейские товарищи Данилевского: Салтыков (Щедрин) и Мей, Ф. М. Достоевский, Дм. В. Григорович, Ал. Ник. Плещеев, Аполлон и Валериан Майковы и др. [2]. Посещали мы друг друга не особенно часто, но главным местом и временем нашего общения были определенные дни (пятницы), в которые мы собирались у одного из лицейских товарищей брата и Данилевского — Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. Там мы и перезнакомились с кружком петербургской интеллигентной молодежи того времени, в среде которой я более других знал из пострадавших в истории Петрашевского — Спешнева, двух Дебу, Дурова, Пальма, Кашкина и избегших их участи — Д. В. Григоровича, А. М. Жемчужникова, двух Майковых, Е. И. Ламанского, Беклемишева, двух Мордвиновых, Владимира Милютина, Панаева и др. Все эти лица охотно посещали гостеприимного Петрашевского главным образом потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать подобные очень интересные для нас вечера, хотя сам Петрашевский казался нам крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным, Как лицеист, он числился на службе, занимая должность переводчика в министерстве иностранных дел; единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в качестве переводчика при процессах иностранцев, а еще более при составлении описей их выморочного имущества, особливо библиотек. Это последнее занятие было крайне на руку Петрашевскому: он выбирал из этих библиотек все запрещенные иностранные книги, заменяя

их разрешенными, а из запрещенных формировал свою библиотеку, которую дополнял покупкою различных книг и предлагал к услугам всем своим знакомым, не исключая даже и членов купеческой и мещанской управ и городской думы, в которой сам состоял гласным[3]. Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республиканцем и социалистом, он представлял замечательный тип прирожденного агитатора: ему нравились именно пропаганда и агитаторская деятельность, которую он старался проявить во всех слоях общества. Он проповедовал, хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями городской думы. Стремился он для целей пропаганды сделаться учителем и в военно-учебных заведениях, и на вопрос Ростовцева, которому он представился, какие предметы он может преподавать, он представил ему список одиннадцати предметов; когда же его допустили к испытанию в одном из них, он начал свою пробную лекцию словами: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения», и действительно изложил все двадцать, но в учителя принят не был[4]. В костюме своем он отличался крайней оригинальностью: не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя внимание публики, которую он привлекал в с я ч е с к и, — например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек и т. п., а потом вступал с нею в конфиденциальные разговоры. Один раз он пришел в Казанский собор переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него внимание соседей, и когда наконец подошел к нему квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина», он ответил ему: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина». Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой.

Весь наш приятельский кружок, конечно не принимавший самого Петрашевского за сколько-нибудь серьезного и основательного человека, посещал, однако же, его по

пятницам и при этом видел каждый раз, что у него появлялись все новые лица. В пятницу на Страстной неделе он выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляема закуска, — кулич, пасху, красные яйца и т. п. На пятничных вечерах, кроме оживленных разговоров, в которых в особенности молодые писатели выливали свою душу, жалуясь на цензурные притеснения, в то время страшно тяготевшие над литературою, производились литературные чтения и устные рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем либеральным освещением, которое недоступно было тогда печатному слову. Многие из нас ставили себе идеалом освобождение крестьян из крепостной зависимости, но эти стремления оставались еще в пределах несбыточных мечтаний и были более серьезно обсуждаемы только в тесном кружке, когда впоследствии до него дошла через одного из его посетителей прочитанная в одном из частных собраний кружка и составлявшая в то время государственную тайну записка сотрудника министра государственных имуществ Киселева, А. П. Заблоцкого-Десятовского, по возбужденному императором Николаем I вопросу об освобождении крестьян[5].

Н. Я. Данилевский читал целый ряд рефератов о социализме и в особенности о фурьеризме, которым он чрезвычайно увлекался, и развивал свои идеи с необыкновенно увлекательной логикою. Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и высказывался страстно против злоупотреблений помещиками крепостным правом. Обсуждался вопрос о борьбе с ненавистной всем цензурою, и Петрашевский предложил в виде пробного камня один опыт, за выполнение которого принялись многие из его кружка. Они предприняли издание под заглавием: «Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык», и на каждое из таких слов писались часто невозможные с точки зрения тогдашней цензуры статьи[6]. Цензировали этот лексикон, выходивший небольшими выпусками, разные цензора, а потому если один цензор не пропускал статью, то она переносилась почти целиком под другое слово и шла к другому цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя бы и с некоторыми урезками; притом же Петрашевский, который сам держал корректуру статей, посылаемых цензору, ухитрялся расставлять знаки препинания так, что после получения рукописи, пропущенной цензором, он достигал,

при помощи перестановки этих знаков и изменения нескольких букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропущенных цензурою. Основателем и первоначальным редактором лексикона был офицер, воспитатель одного из военно-учебных заведений, Н. С. Кирилов, человек совершенно благонамеренный с точки зрения цензурного управления и совершенно не соображавший того, во что превратилось перешедшее в руки Петрашевского его издание, посвященное великому князю Михаилу Павловичу.

Петрашевскому было в то время двадцать семь лет. Почти ровесником ему был Н. А. Спешнев, очень выдающийся по своим способностям, впоследствии приговоренный к смертной казни[7]. Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотою. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя. Замечательно образованный, культурный и начитанный, он воспитывался в Лицее, принадлежал к очень зажиточной дворянской семье и был сам крупным помещиком. Романическое происшествие в его жизни заставило его провести несколько лет во Франции в начале и середине сороковых годов. Когда ему был 21 год, он гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика С, и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьезный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезапно дом С-х, оставив предмету своей страсти письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но госпожа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь временным отсутствием своего мужа, она уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда... Уехали они за границу без паспортов и прожили несколько лет во Франции, до той поры, пока молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная трогательными попечениями своего верного любовника.

Эта жизненная драма наложила на Спешнева неизгладимый отпечаток: Спешнев обрек себя на служение гуманитарным идеям. Всегда серьезный и задумчивый, он поехал после этого прежде всего в свое имение, где приложил заботы к улучшению быта своих крестьян, но скоро убедился, что главным средством к такому улучшению может служить только освобождение от крепостной зависимости и что такая крупная реформа может осуществиться не иначе, как по инициативе верховной власти.

Шестилетнее пребывание во Франции выработало из него типичного либерала сороковых годов: освобождение

крестьян и народное представительство сделались его идеалами. Обладая прекрасным знанием европейских языков и обширною эрудицией, он уже во время своего пребывания во Франции увлекался не только произведениями Жорж Занда и Беранже, философскими учениями Огюста Конта, но и социалистическими теориями Сен-Симона, Овена и Фурье; однако, сочувствуя им как гуманист, Спешнев считал их неосуществимыми утопиями. Получив амнистию за свой беспаспортный побег за границу, он прибыл в Петербург и, найдя в кружке Петрашевского много лиц, с которыми сходился во взглядах и идеалах, сделался одним из самых выдающихся деятелей этого кружка. Будучи убежден, что для воспринятая идеи освобождения крестьян и народного представительства необходимо подготовить русское общество путем печатного слова, он возмущался цензурным его притеснением и первый задумал основать свободный заграничный журнал на русском языке, не заботясь о том, как он попадет в Россию[8]. Спешнев непременно бы осуществил его предприятие, если бы не попал в группу лиц, осужденных за государственное преступление.

Пробыв шесть лет в каторге и потеряв свое имение, перешедшее при лишении его всех прав состояния к его сестре, Спешнев был помилован с возвращением ему прав состояния только при вступлении на престол императора Александра II. Верный своим идеалам, он с восторгом следил за делом освобождения крестьян и после 19 февраля 1861 года сделался одним из лучших мировых посредников первого призыва[9]. В этом звании я видел его в 1863 году в первый раз после его осуждения: он казался, несмотря на то что был еще в цвете лет (ему было сорок два года), глубоким, хотя все еще величественным старцем.

Выдающимися лицами в кружке были братья Дебу, из которых старший, Константин, был начальником отделения в азиатском департаменте министерства иностранных дел. В противоположность Спешневу, они не имели корней в земле, а принадлежали к столичной бюрократической интеллигенции. Оба Дебу окончили курс университета и в 1848 году уже занимали административные должности в министерстве иностранных дел. Как и многие либеральные чиновники того времени, хорошо образованные и начитанные, они отдались изучению экономических и политических наук и поставили себе идеалом отмену крепостного права и введение конституционного

правления. Но о революционном способе достижения этих идеалов оба Дебу и не думали. Они примкнули к кружку Петрашевского потому, что встретили в нем много людей, сочувствовавших их идеалам, и живой обмен мыслей с людьми, гораздо лучше их знающими быт русского народа. Старший Дебу слишком хорошо изучил историю французской революции, а с другой стороны, имел уже слишком большую административную опытность, чтобы не знать, что в то время в России революции произойти было неоткуда. Столичной интеллигенции предъявлять какие бы то ни было желания, а тем более требования было бы напрасно и даже безумно, а народ, порабощенный тою же, но земскою, интеллигенцией, был связан по рукам и ногам крепостным правом.

При всем том движение, происходившее в конце сороковых годов во всей Европе, находило себе отголосок и встречало сочувствие именно в столичной интеллигенции не только Петербурга, но и Москвы, и ее настроение тогда выразилось очень определенно в следующих стихах И. Аксакова:

. . . .
Вставала Венгрия, славянские народы...
Все оживало, шло вперед;
Тогда мы слушали с восторженным вниманьем
Далекий шум святой борьбы,
Дрожала наша грудь тревожным ожиданьем
Перед решением судьбы.
Мы братьев видели в защитниках свободы,
Мы не могли их не любить...
Могучий дух тогда воспламенял народы!
И нас он мог ли не пленить? [10]

Но подобные братьям Дебу либеральные интеллигентные бюрократы того времени (а их было много) только прислушивались с восторженным вниманием к далекому шуму борьбы за свободу, а сами никакой борьбы не затевали и революционерами не были, ограничиваясь борьбою за некоторую свободу печатного слова.

Самым оригинальным и своеобразным из группы осужденных был Ф. М. Достоевский, великий русский писатель-художник.

Данилевский и я познакомились с двумя Достоевскими в то время, когда Федор Михайлович сразу вошел в большую славу своим романом «Бедные люди», но уже рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно

оставил их литературный кружок и стал посещать чаще кружки Петрашевского и Дурова[11]. В это время Достоевский, по обыкновению, боролся с нуждою. Успех «Бедных людей» сначала доставил ему некоторые материальные выгоды, но затем принес ему в материальном же отношении более вреда, чем пользы, потому что возбудил в нем неосуществимые ожидания и вызвал в дальнейшем нерасчетливые затраты денег. Неуспех следующих его произведений, как, например, «Двойник», над которым он так много работал, и «Хозяйка», от которой так много ожидал, привел его к заключению, что слава, по выражению Пушкина, только

. . . . яркая заплата
На ветхом рубище певца[12].

Биография Достоевского прекрасно разработана, но с двумя выводами некоторых его биографов я никак не могу согласиться. Первое — это то, что Достоевский будто бы был очень начитанный, но необразованный человек. Мы знали близко Достоевского в 1846—1849 годах, когда он часто приходил к нам и вел продолжительные разговоры с Данилевским. Я утверждаю вместе с О. Ф. Миллером[13], что Достоевский был не только начитанным, но и образованным человеком. В детские годы он имел прекрасную подготовку от своего научно образованного отца, московского военного медика. Ф. М. Достоевский знал французский и немецкий языки достаточно для того, чтобы понимать до точности все прочитанное на этих языках. Отец обучал его даже латинскому языку. Вообще воспитание Ф. М. велось правильно и систематично до поступления его в шестнадцатилетнем возрасте в высшее учебное заведение — Инженерное училище, в котором он также систематически изучал с полным успехом, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику и технические предметы, относящиеся до инженерного искусства. Он окончил курс в 1843 году, двадцати двух лет от роду. Таким образом, это было хотя и специальное, но высшее и систематическое образование, которому широким дополнением служила его начитанность. Если принять в соображение, что он с детских лет читал и много раз перечитывал всех русских поэтов и беллетристов, а историю Карамзина знал почти наизусть, что, изучая с большим интересом французских и немецких писателей, он увлекался в особенности Шилле-

ром, Гете, Виктором Гюго, Ламартином, Беранже, Жорж Зандом, перечитал много французских исторических сочинений, в том числе и историю французской революции Тьера, Минье и Луи Блана и «Cours de philosophie positive» Огюста Конта, что читал и социалистические сочинения Сен-Симона и Фурье, то нельзя было не признать Ф. М. Достоевского человеком образованным. Во всяком случае, он был образованнее многих русских литераторов своего времени, как, например, Некрасова, Панаева, Григоровича, Плещеева и даже самого Гоголя.

Но всего менее я могу согласиться с мнением биографов, что Ф. М. Достоевский был «истерически-нервным *сыном города»* [14]. Истерически-нервным он действительно был, но был им от рождения и остался бы таким, если бы даже никогда не выезжал из деревни, в которой пробыл лучшие годы своего детства [15].

В эти-то годы он был ближе к крестьянам, их быту и всему нравственному облику русского народа, чем не только интеллигентные и либеральные столичные бюрократы, никогда не бывавшие в деревне в свои детские и юношеские годы, но даже, может быть, и многие из зажиточных столичных столбовых русских дворян, например, граф Алексей Толстой, граф Соллогуб и даже Тургенев (последний ближе познакомился с деревнею уже в более поздний период своей жизни, во время своих охотничьих экскурсий), которых родители намеренно держали вдали от всякого общения с крестьянами.

Стоит вспомнить показания Андрея Михайловича Достоевского о детстве его брата [16], слышанное нами сознание самого Ф. М. Достоевского о том, что деревня оставила на всю его жизнь неизгладимые впечатления, и его собственные рассказы о крестьянине Марее [17] и страстные сообщения на вечерах Петрашевского о том, что делают помещики со своими крестьянами, его идеалистическое отношение к освобождению крестьян с землею и, наконец, его глубокую веру в русский народ, разумея под таковым сельское население — крестьян, чтобы убедиться в том, что Ф. М. Достоевский был *сыном деревни,* а не города.

Особенностью высокохудожественного творчества Ф. М. Достоевского было то, что он мог изображать, притом с необыкновенной силою, только тех людей, с которыми освоился так, как будто бы влез в их кожу, проник в их душу, страдал их страданиями, радовался их радостями. Таким он был, когда еще в детские годы привез жбан воды жаждущему ребенку и когда помогал

крестьянам в их работах. Когда же он впервые писал свой роман «Бедные люди», то у него случайно не было под рукою другого объекта для его творчества, кроме «городского разночинца-пролетария».

Но сам Достоевский не был ни разночинцем, ни пролетарием. Он чувствовал себя дворянином даже и на каторге, и не с действительной нуждою он боролся, а с несоответствием своих средств даже не с действительными потребностями, а нередко с психопатическими запросами его болезненной воли; вот хотя бы, например, его запросы отцу на лагерные расходы [18]. Я жил в одном с ним лагере, в такой же полотняной палатке, отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы тогда еще не были знакомы), всего только в двадцати саженях расстояния, и обходился без *своего* чая (казенный давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казенными, и без сундука для книг, хотя я читал их не менее, чем Ф. М. Достоевский. Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук. В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили в среднем рублей триста на лагерь, а были и такие, которых траты доходили до 3000 рублей, мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, и я не тяготился безденежьем.

По окончании Инженерного училища, до выхода своего в отставку, Достоевский получал жалованье и от опекуна, всего пять тысяч рублей ассигнациями, а я получал после окончания курса в военно-учебном заведении и во время слушания лекций в университете всего тысячу рублей ассигнациями в год.

Только в первый год после выхода в отставку (1844) и до успеха его «Бедных людей» Достоевский мог быть в действительной нужде, потому что уже не имел ничего, кроме своего литературного заработка. Н. Я. Данилевский, не имея ничего и ничего ниоткуда не получая, жил таким же заработком с 1841 по 1849 год и не был в нужде, хотя тот же Краевский оплачивал его статьи меньшей платою, чем беллетристические произведения Достоевского. Но хроническая, относительная нужда Достоевского не прекращалась и после того, как он в 1845 году вошел сразу в большую славу: когда мы с ним сблизились, он жил «предвосхищением вещественных получе-

ний», а с действительной нуждою познакомился разве только после выхода из каторги с 1854 года. По возвращении в 1859 году из ссылки, Достоевский вошел уже окончательно в свою столь заслуженную славу, и хотя все еще нуждался в средствах, но не был, однако, и не мог быть пролетарием.

О том, какое несомненное влияние имело на Достоевского его пребывание на каторге, я буду говорить в другом месте. Здесь же могу сказать только то, что *революционером* Достоевский никогда не был и не мог быть, но, как человек чувства, мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными, что и случилось, например, когда он увидел или узнал, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка. Только в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем, о чем, впрочем, почти никто из кружка Петрашевского и не помышлял.

Помоложе Достоевского был уже составивший себе имя как лирический поэт Алексей Николаевич Плещеев. Он был блондин, приятной наружности, но «бледен был лик его туманный»...[19] Столь же туманно было и направление этого идеалиста в душе, человека доброго и мягкого характера. Он сочувствовал всему, что казалось ему гуманным и высоким, но определенных тенденций у него не было, а примкнул он к кружку потому, что видел в нем более идеалистические, чем практические стремления. В кружке Петрашевского он получил прозвание André Chenier.

Младший из всех осужденных был Кашкин, лицеист XV курса, только что окончивший Царскосельский лицей и до того получивший прекрасное домашнее образование, так как принадлежал к зажиточной дворянской семье, владевшей значительными поместьями. Кашкин был в высшей степени симпатичный молодой человек с очень гуманными воззрениями. Одним из главных идеалов жизни он ставил себе освобождение крестьян. Верный этому идеалу, он, так же как Спешнев, после 1861 года сделался мировым посредником первого призыва.

Григорьев, Момбелли, Львов и Пальм были офицеры гвардейских полков.

Три первые отличались своей серьезной любознательностью. Они перечитали множество сочинений, собранных Петрашевским в его «библиотеке запрещенных

книг», которой он хотел придать общественный характер и сделать доступною. Он радовался присутствию в своем кружке офицеров и возлагал надежду на их пропаганду не между низшими чинами, о чем никто и не думал, кроме разве автора, впрочем, очень умеренной «Солдатской беседы» Григорьева[20], а между своими товарищами, которые принадлежали к лучшим в России дворянским фамилиям.

Четвертый из гвардейских офицеров — Пальм, человек поверхностный и добродушный, примкнул к кружку по юношескому увлечению, безо всякой определенной цели.

Из группы осужденных, кроме Петрашевского, разве только одного Дурова можно было считать до некоторой степени революционером, то есть человеком, желавшим провести либеральные реформы путем насилия. Однако между Петрашевским и Дуровым была существенная разница. Первый был революционером *по призванию;* для него революция не была средством к достижению каких бы то ни было определенных результатов, а *целью;* ему нравилась деятельность агитатора, он стремился к революции для революции. Наоборот, для Дурова революция, по-видимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем. Для него это тем более было необходимо, что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка (дуровцев), нераздельного, но и не слившегося с кружком Петрашевского[21]. Известно, что, когда Дуров и Достоевский очутились на каторге в одном «Мертвом доме», они оба пришли к заключению, что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению[22].

Из лиц, близких кружку Петрашевского (я повторяю — к кружку, потому что организованного, хотя бы и тайного, общества в этом случае никогда не было), не внесены были следственной комиссиею в группу осуждаемых еще двое только потому, что они окончили свою жизнь как раз в то время, когда следственная комиссия только что приступала к своим занятиям. Это были: Валериан Николаевич Майков, принимавший самое дея-

тельное и талантливое участие в издаваемом кружком Петрашевского словаре Кирилова и умерший летом 1847 года от удара в купальне, и Виссарион Григорьевич Белинский (скончавшийся весною 1848 г.), пользовавшийся высоким уважением во всех кружках сороковых годов (где не пропущенные цензурою его сочинения читались с такой жадностью, что член одного из кружков был даже присужден к смертной казни за распространение письма Белинского к Гоголю)[23]. Остальные же посетители кружка ускользнули от внимания следствия только потому, что не произносили никаких речей на собраниях, а в свои научные статьи и литературные произведения не вводили ничего слишком тенденциозного или антицензурного, кроме, может быть, Михаила Евграфовича Салтыкова, который, к своему счастию, попал под цензурно-административные преследования ранее начала арестов и был сослан административным порядком в Вятку ранней весною 1848 года[24].

Уже в конце апреля 1849 года быстро разнесся между нами слух об аресте Петрашевского и многих лиц, его посещавших, об обыске их квартир, об обвинении их в государственном преступлении. Мы в особенности были огорчены арестом Спешнева, Достоевского, Плещеева и Кашкина, так же как и некоторых лиц, впоследствии освобожденных, как, например, Беклемишева, молодая жена которого сильно заболела и, сколько мне помнится, умерла от испуга, а также Владимира Милютина, при обыске квартиры которого была взята секретная записка, представлявшая отчет министру государственных имуществ, графу Киселеву, А. П. Заблоцкого-Десятовского по секретной командировке для исследования отношений помещиков к крепостным в разных частях России. Записка эта была первым весьма смелым обвинительным актом против крепостного права в России, и чтение ее произвело сильное впечатление в кружках, стремившихся к освобождению крестьян. Из Милютиных только один Владимир часто посещал кружок Петрашевского[25]. Братья его, будучи родными племянниками графа Киселева, очень опасались, чтобы нахождение в кружке Петрашевского записки Заблоцкого не послужило к аресту многих лиц, тем более что записка эта не была известна императору Николаю I, которому Киселев не решился представить ее, так как заметил в государе с 1848 года сильное охлаждение стремлений освободить крестьян из крепостной зависимости. На семейном совете Милютиных

решено было постараться получить как-нибудь записку обратно, для того чтобы она не попала в руки следственной комиссии. Поручение это было возложено на самого осторожного и осмотрительного из семейства, Дмитрия Алексеевича (впоследствии графа и фельдмаршала). Милютин, бывший тогда полковником Главного штаба, отправился к очень уважавшему графа Киселева князю Александру Федоровичу Голицыну, бывшему статс-секретарем комиссии принятия прошений и назначенному самим государем членом следственной комиссии. К счастью, князь Александр Федорович был страстный любитель редких манускриптов. На предложенный Д. А. Милютиным в самой деликатной форме вопрос о том, не встретился ли князю в делах следственной комиссии манускрипт записки Заблоцкого о положении в разных губерниях России крепостных крестьян, кн. А. Ф. Голицын не ответил ни слова, но пригласил Милютина в свою спальню и, открыв потайной шкаф, показал ему лежавший в одном из ящиков шкафа манускрипт со словами: «Читал я один. Пока я жив — никуда отсюда не выйдет». <...>

Через месяц (в декабре 1849 г.) потрясающее впечатление произвел на меня суровый приговор, постигший всех лиц, окончательно осужденных судною комиссией. Все они одинаково были приговорены к смертной казни и выведены 22 декабря 1849 года на эшафот, устроенный на Семеновском плацу. <...>

Передо мною, естественно, возник вопрос: в чем же, собственно, состояло преступление самых крайних из людей сороковых годов, принадлежавших к посещаемым нами кружкам, и в чем состояло их различие от всех остальных, не судившихся и не осужденных?

Живо вспоминаю, с каким наслаждением стремились мы к облегченному нам основательным знанием европейских языков чтению произведений иностранной литературы, как строго научной, философской, исторической, экономической и юридической, так и беллетристической и публицистической, конечно в оригинале и притом безо всяких до абсурда нелепых цензурных помарок и вырезок, и в особенности тех серьезных научных сочинений, которые без достаточных оснований совсем не пропускались цензурою. Не изгладится из моей памяти, как отрадно было самым талантливым писателям из нашей среды выливать перед нами всю свою душу, читая нам как свои произведения, так и произведения самых люби-

мых нами других современных писателей не в том виде, как они выходили обезображенными из рук тогдашней цензуры, а в том виде,

Как песнь зарождает души глубина.

Как охотно и страстно говорили многие из нас о своих стремлениях к свободе печатного слова и к такому идеальному правосудию, которое превратило бы Россию из полицейского государства в правовое! И, прислушиваясь к таким свободным речам, мы радовались тому, что «по воздуху вихрь свободно шумит», не сознавая, «откуда и куда он летит». Конечно, были в произносимых перед нами речах и увлечения, при которых случалось, что и «минута была нашим повелителем». Но все-таки, чувствуя, что самое великое для России может произойти от освобождения крестьян, мы желали достичь его не путем революции, а «по манию царя»[26].

Таково было общее настроение людей сороковых годов, сходившихся в то время в либеральных кружках Петрашевского и других. Присужденные к смертной казни мало чем отличались по своему направлению и стремлениям от других. Только на одного Петрашевского можно было указать как на несколько сумасбродного агитатора, старавшегося при всех возможных случаях возбуждать знакомых и незнакомых с ним лиц против правительства. Все же остальные, сходившиеся у него и между собою, не составляли никакого тайного общества и не только не совершали, но и не замышляли никаких преступных действий, да и не преследовали никаких определенных противогосударственных целей, не занимались никакой *преступной* пропагандою и даже далеко не сходились между собою в своих идеалах, как показали впоследствии отношения заключенных в одной и той же арестантской роте Достоевского и Дурова.

Единственное, что могло бы служить судебным обвинением, если бы было осуществлено, было бы намерение издавать за границей журнал на русском языке без цензурных стеснений и без забот об его распространении в России, куда он неминуемо проник бы сам собою. Но и к осуществлению этого предположения не было приступлено, и оно осталось даже совершенно неизвестным следственной комиссии. Затем единственным обвинением оставалось только свободное обращение в кружке Петрашевского запрещенных книг и некоторая формальность, введенная в беседы только в последние годы на

вечерах Петрашевского, а именно — избрание при рассуждениях о каких бы то ни было предметах председателя, который с колокольчиком в руках давал голос желающим говорить. Потрясающее на меня впечатление произвело присуждение к смертной казни целой группы лиц, вырванных почти случайно из кружка, в действиях и даже убеждениях которых я не мог, по совести, найти ничего преступного. Очевидно, что в уголовном уложении, в законе о смертной казни и вообще о политических преступлениях было что-то неладное...

ИЗ ТОМА 2 — «ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЯНЬ-ШАНЬ»

В Семипалатинске, где мне не было никакого дела, кроме посещения губернатора, так как я ему был рекомендован генерал-губернатором, и где город, как и ближайшие его окрестности, не представляли для меня интереса, я определил пробыть только сутки. При этом я встретил самый предупредительный прием со стороны губернатора, генерал-майора Главного штаба Панова, который, будучи предупрежден о моем приезде, выслал мне навстречу своего адъютанта, блестящего армейского офицера Демчинского, любезно пригласившего меня остановиться у него, так как в Семипалатинске в то время никаких гостиниц не было. Но всего более обрадовал меня Демчинский деликатно устроенным сюрпризом: он мне представил совершенно неожиданно у себя на квартире одетого в солдатскую шинель дорогого мне петербургского приятеля Федора Михайловича Достоевского, которого я увидел первым из его петербургских знакомых после его выхода из «Мертвого дома»[27]. Достоевский наскоро рассказал мне все, что ему пришлось пережить со времени его ссылки. При этом он сообщил мне, что положение свое в Семипалатинске он считает вполне сносным, благодаря добрым отношениям к нему не только своего прямого начальника, батальонного командира[28], но и всей семипалатинской администрации. Впрочем, губернатор считал для себя неудобным принимать разжалованного в рядовые офицера как своего знакомого, но не препятствовал своему адъютанту быть с ним почти в приятельских отношениях. Надо заметить, что в Сибири вообще к находившимся уже на свободе ссыльным или поднадзорным начальство в то время относилось благодушно. Так «завсегдатаем» у генерала Панова,

составлявшим по вечерам постоянную его партию в вист, был медик, который вместе с тем наблюдал за слабым здоровьем губернатора. Когда вышел коронационный манифест Александра II, Панову было сообщено официально, что с этого медика, достигшего по его представлениям чина статского советника, снимается надзор полиции, о существовании которого губернатор узнал по этому поводу впервые, полагая, как он сказал мне в шутку, что со времени его назначения губернатором не медик состоял под его надзором, а, наоборот, он состоял под надзором медика.

Федор Михайлович Достоевский дал мне надежду, что условится со мной, при моем обратном проезде, посетить меня на моих зимних квартирах в Барнауле, списавшись со мной по этому предмету заранее.

Выехав из Семипалатинска 6 августа, я направился в своем тарантасе по почтовой пикетной дороге в город Копал. В это время путешественники не могли иначе ездить по этой дороге, как с конвоем от двух до пяти казаков. Станции по дороге состояли из выстроенных в степи на расстоянии от двадцати пяти до тридцати пяти верст один от другого домиков из необожженного кирпича и занятых пикетом из двенадцати казаков. Лошадей на этих станциях содержалось немного, а в случае необходимости они брались прямо из табунов кочующих вблизи киргизов. Пойманную в табуне тройку, не видевшую никогда упряжи, запрягали так, что лошадям завязывали глаза и ставили их мордой к тарантасу, а потом уже повертывали как следует и, когда все было готово, снимали с глаз лошадей повязки и пускали всю упряжку по дороге. Лошади мчались, как бешеные, по степи. Казак-кучер не старался даже их удерживать, но верховые казаки мчались по обе стороны тарантаса и только отгоняли тройку от опасных мест, соблюдая общее направление. Промчавшись таким образом верст десять, лошади, значительно утомившись, бежали уже ровнее и спокойнее, и ими легко было управлять.

6 августа, около полудня, я подъехал с Демчинским к переправе через Иртыш, где нас уже ждал мой тарантас и где нас встретил Ф. М. Достоевский. Переправа была довольно продолжительная, потому что летом вместо одной их бывает две: одна через семипалатинский рукав Иртыша, а другая — через самый Иртыш. Переехав через обе переправы, простился со старым и новым своими приятелями, получив от них искренние пожелания успеха,

и сел в свой тарантас, тронувшийся в путь в сопровождении четырех конвойных. Вид из-за Иртыша на Семипалатинск был привлекательнее внутренности города, состоявшего из некрасивых деревянных домов и растянутого вдоль берега реки. Направо торчали острые верхушки пяти или шести некрасивых деревянных минаретов, а налево возвышались лучшие в то время каменные строения города: белый каменный госпиталь и единственная кирпичная православная церковь. Еще левее тянулась вдоль берега длинная казацкая слобода, состоявшая из таких же невзрачных деревянных домов, как и город. В то время (в 1856 г.) в городе было менее девяти тысяч жителей; к концу века число их почти учетверилось (до тридцати пяти тысяч). Не было в городе в то время и никаких древесных насаждений. Все заречное левое прибрежье Иртыша, песчаное и пыльное, имело вид совершенной пустыни, и только на островах реки были видны высокие деревья — осины и тополи.

В Копале я пробыл только один день и распростился с дорогим мне Абакумовым, которому был обязан своей интересной поездкой в Кульджу, и после трехдневного беспрерывного переезда по почтовому тракту вернулся в Семипалатинск, где остановился по-прежнему у радушного Демчинского, и на этот раз, пробыв у него дней пять, имел отраду проводить целые дни с Ф. М. Достоевским.

Тут только для меня окончательно выяснилось все его нравственное и материальное положение. Несмотря на относительную свободу, которой он уже пользовался, положение было бы все же безотрадным, если бы не светлый луч, который судьба послала ему в его сердечных отношениях к Марье Дмитриевне Исаевой, в доме и обществе которой он находил себе ежедневное прибежище и самое теплое участие.

Молодая еще женщина (ей не было и тридцати лет), Исаева была женой человека достаточно образованного, имевшего хорошее служебное положение в Семипалатинске и скоро, по водворении Ф. М. Достоевского, ставшего к нему в приятельские отношения и гостеприимно принимавшего его в своем доме. Молодая жена Исаева, на которой он женился еще во время своей службы в Астрахани, была астраханская уроженка, окончившая свой курс учения с успехом в Астраханской женской гимназии, вследствие чего она оказалась самой образо-

ванной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была «хороший человек» в самом высоком значении этого слова. Сошлись они очень скоро. В своем браке она была несчастлива. Муж ее был недурной человек, но неисправимый алкоголик, с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости. Поднять его нравственное состояние ей не удалось, и только заботы о своем ребенке, которого она должна была ежедневно охранять от невменяемости отца, поддерживали ее. И вдруг явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души и с такими тонкими чувствами, как Ф. М. Достоевский. Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись, какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах и каким и она в свою очередь служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем никаких духовных интересов городе Семипалатинске.

Во время моего первого проезда через Семипалатинск в августе 1856 года Исаевой уже там не было, и я познакомился с ней только из рассказов Достоевского. Она переехала на жительство в Кузнецк (Томской губернии), куда перевели ее мужа за непригодность к исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске. Между нею и Ф. М. Достоевским завязалась живая переписка, очень поддерживавшая настроение обоих. Но во время моего проезда через Семипалатинск осенью обстоятельства и отношения обоих сильно изменились. Исаева овдовела[29] и хотя не в состоянии была вернуться в Семипалатинск, но Ф. М. Достоевский задумал о вступлении с ней в брак. Главным препятствием к тому была полная материальная необеспеченность их обоих, близкая к нищете.

Ф. М. Достоевский имел, конечно, перед собой свои литературные труды, но еще далеко не вполне уверовал в силу своего могучего таланта, а она по смерти мужа была совершенно подавлена нищетой.

Во всяком случае, Ф. М. Достоевский сообщил мне все свои планы. Мы условились, что в самом начале зимы, после моего водворения в Барнауле, он приедет погостить ко мне и тут уже решит свою участь окончательно, а в случае если переписка с ней будет иметь желаемый результат и средства позволят, то он поедет к ней в Кузнецк, вступит с ней в брак, приедет ко мне уже с ней и ее ребенком в Барнаул и, погостив у меня,

вернется на водворение в Семипалатинск, где и пробудет до своей полной амнистии.

Этими предположениями и закончилось мое свидание с Федором Михайловичем и путешествие 1856 года, и я вернулся на зимовку в Барнаул в начале ноября 1856 года.

В январе 1857 года я был обрадован приездом ко мне Ф. М. Достоевского. Списавшись заранее с той, которая окончательно решилась соединить навсегда свою судьбу с его судьбой, он ехал в Кузнецк с тем, чтобы устроить там свою свадьбу до наступления Великого поста. Достоевский пробыл у меня недели две в необходимых приготовлениях к своей свадьбе. По нескольку часов в день мы проводили в интересных разговорах и в чтении, глава за главой, его в то время еще не оконченных «Записок из Мертвого дома», дополняемых устными рассказами.

Понятно, какое сильное, потрясающее впечатление производило на меня это чтение и как я живо переносился в ужасные условия жизни страдальца, вышедшего более чем когда-либо с чистой душой и просветленным умом из тяжелой борьбы, в которой «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»[30]. Конечно, никакой писатель такого масштаба никогда не был поставлен в более благоприятные условия для наблюдения и психологического анализа над самыми разнообразными по своему характеру людьми, с которыми ему привелось жить так долго одной жизнью. Можно сказать, что пребывание в «Мертвом доме» сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога.

Но не легко достался ему этот способ развития своих природных дарований. Болезненность осталась у него на всю жизнь. Тяжело было видеть его в припадках падучей болезни, повторявшихся в то время не только периодически, но даже довольно часто. Да и материальное положение его было самое тяжелое, и, вступая в семейную жизнь, он должен был готовиться на всякие лишения и, можно сказать, на тяжелую борьбу за существование.

Я был счастлив тем, что мне первому привелось путем живого слова ободрить его своим глубоким убеждением, что в «Записках из Мертвого дома» он уже имеет такой капитал, который обеспечит его от тяжкой нужды, а что все остальное придет очень скоро само собой. Оживленный надеждой на лучшее будущее, Достоевский поехал в Кузнецк и через неделю возвратился ко мне

с молодой женой и пасынком в самом лучшем настроении духа и, прогостив у меня еще две недели, уехал в Семипалатинск[31].

После отъезда Достоевского главной моей заботой был своевременный переезд в конце зимы в Омск для переговоров с генерал-губернатором и с ранней весны для обеспечения твердо задуманного мной путешествия 1857 года в глубь уже открытого мной для научных исследований Тянь-Шаня.

Выехал я из Омска 21 апреля вечером на почтовых. За городом дорога почти обсохла, но местами были снежные поляны. Ночь и утро были холодны и пасмурны. Только к двум часам пополудни 22-го просияло солнце и потеплело, но кое-где были видны еще замерзшие изгибы Иртыша, на берегах которого поднимались высокие песчаные яры; кругом расстилалась голая, однообразная степь, в которой органическая природа еще не просыпалась.

23 апреля поутру я был в Чернорецкой станице. Погода была ясная и довольно теплая. Через замерзший Иртыш с трудом переправляли мою повозку. В Ямышевской станице я видел старые чугунные пушки и ядра, свидетельствовавшие о прежнем стратегическом значении этой крепости.

24 апреля утром я был в Грачевской станице. Утром шел дождь, но к одиннадцати часам погода разгулялась и сделалось жарко. На южной стороне Иртыша расстилалась унылая степь, но далее подошел к нему с севера сосновый бор.

26 апреля к вечеру я уже доехал до Семипалатинска на колесах. В Семипалатинске я увидел Достоевского в самом лучшем настроении: надежды на полную амнистию и возвращение ему гражданских прав были уже несомненны; тяготила его еще только необеспеченность его материального положения.

Д. Д. АХШАРУМОВ

ИЗ КНИГИ
«ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ (1849—1851 гг.)»

Жизнь моя текла мирно и покойно до двадцатипятилетнего возраста, когда я был, в один день, по обстоятельствам, почти от меня не зависевшим, лишен свободы и заключен безвыходно в одинокое жилище, отделенное снутри толстою, окованною железом, дверью и снаружи железною решеткою у окна. Это было в Петербурге, в 1849 году, в конце апреля, когда начинали зеленеть деревья. Я помню этот день: поздно вечером стемнело, я ехал от Цепного моста в карете, не зная, куда меня везут. Мосты на Неве были разведены, и объезд был долгий. Я был в легкой одежде теплого весеннего дня, и мне было свежо, — жутко и тяжело на душе. После продолжительной езды, через Васильевский остров, Тучков мост и Петербургскую сторону, карета въехала в крепость и остановилась. Было совершенно темно. В сопровождении двух человек я переходил какой-то мостик и за ним темные своды; потом введен был в коридор полуосвещенный; в коридоре передо мною отворилась толстая дверь в боковую темную комнату, — мне предложили в нее войти: темнота, спертый воздух, неизвестность, куда я вошел, произвели на меня потрясающее впечатление; я потребовал свечу. Желание мое было исполнено сейчас же, и я увидел себя в маленькой, узкой комнате, без мебели, — у стены стояла кровать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, табуретка и ящик. Затем мне предложено было раздеться совершенно и надеть длинную рубашку из грубого подкладочного холста и из такого же холста сшитые, высокие, выше колен,

чулки. Мне указали на туфли и на халат из серого сукна. Платье мое и все вещи, бывшие на мне, были у меня взяты. По просьбе моей оставлена была у меня только моя холодная шинель. Затем зажжена была на окне какая-то светильня, висящая с края глиняного блюдечка; свеча унесена, дверь захлопнулась на ключ, и я остался один в полумраке, в изумлении и в страхе от того, что со мною случилось. Я сидел на кровати, смотря на тяжелую дверь, в которой несколько секунд еще ворочался ключ, запиравший меня, потом слышны были шаги уходивших людей и гремевшая связка больших ключей.

Смутное чувство убийственной тоски, мрачные зловещие предчувствия овладели мною, — мне казалось, я стою на пороге конца моей жизни; несколько минут я был без мысли, как бы ошеломленный ударом в голову. Опомнившись несколько, я стал осматриваться, но обстановка вся была столь мала и отвратительна, что я вновь погрузился в свои мысли: «неужели это и конец моей жизни», — думал я. Причина, подвергшая меня заключению, была мне известна; я был, в то время, совершенный юноша, несмотря на мой 25-летний возраст, мечтающий, увлекающийся, исполненный горячих и несбыточных желаний, то болезненно оживленный, то так же быстро упадающий духом. На душе не было ни угрызения совести, ни преступления. Мысли убийства, насилия были мне вовсе незнакомы; я смотрел на жизнь с своей идеальной точки зрения и вовсе не знал, не умел различать людей, а в размышлениях моих стремился найти истинный путь ко всеобщему благу человечества, — и вот, как государственный преступник, за эти помышления мои был я обвинен и заключен в каземат. В голове моей толпились различные мысли и чувства: невозможность оправдаться, строгость закона, страх заключения и слухи, распространенные в народе об ужасах жизни в сырых, холодных казематах, — все это вместе слилось в смутное ощущение, объявшее меня внезапно. Я осматривал в потемках жилище мое, и виденное мною поражало меня своей мрачной пустотой, и халат, на мне надетый, был заношенный, местами изорванный, из солдатского серого сукна. В комнате было одно окно, большое. Вдвинув ноги в широкие старые туфли, я встал с кровати, на которой неловко было сидеть — я скатывался с нее. Мысли перебивались в голове, то осматривал я жилище, то стоял вновь в раздумье. Боковую часть стены, справа от двери, составляла печь, затапливающаяся снаружи —

из коридора; вид печи был мне утешителен. Моя шинель была единственным остатком от жизни моей, кроме моего собственного тела. Я сбросил с себя на пол грязный халат и надел мою шинель. Подойдя к окну, я был поражен видом мрачного светильника моей комнаты: это был какой-то черепок в виде плошки, с края которой висел кончик светильни; застывшая сальная масса наполняла его. Не зная, куда приютиться, — и в мыслях моих и в жилище моем, — я заплакал и стал молиться; несколько минут стоял я на коленях и горько плакал, опустившись на пол. Мне вспоминались потерянные дни свободы и дом родной, — братья, сестра, старушка тетушка и все близкие нашему семейству. — Казалось мне, все они стояли, обступив меня, и, смотря на меня с жалостью, плакали надо мною, как над погибшим.

Декабрь месяц был совершенно бесцветен и не был прерываем никакими новыми освежающими или отягчающими впечатлениями. Все выгоды, какие можно было извлечь из новой местности моего помещения, были уже исчерпаны мною, более нельзя было выдумать, и оставалось ожидать пришествия чего-либо снаружи, извне в мою тюремную гробницу, где я пропадал с тоски и терял, казалось мне, мои последние жизненные силы. И теперь, когда я вспоминаю это ужасное мое положение, и теперь, по прошествии стольких лет, кажется мне, что без тяжелого повреждения или увечья на всю жизнь в моем мозговом органе я не мог бы долее выносить одиночного заключения, а между тем известно же, что многие и прежде и после меня выносили еще и дольшие таковые же. Переносчивость у людей, конечно, различна; вообще здоровый человек живуч, и жизнь нас убеждает нередко, что мы на самом деле можем перенести гораздо более, чем полагаем. Сидение мое перешло уже на восьмой месяц, томление и упадок духа были чрезвычайные, занятия не шли вовсе, я не мог более оживлять себя ничем; перестал говорить сам с собою, как-то машинально двигался по комнате или лежал на кровати в апатии. По временам являлись приступы тоски невыносимые, и чаще и дольше прежнего сидел я на полу. Сон был тревожный, сновидения все в том же печальном кругу и с кошмарами. Так дожито было до 22 декабря 1849 года. В этот день, как во все прочие дни, проведя ночь беспокойно, до света, часов в шесть, я поднялся с постели

и, по установившемуся уже давно разумному обычаю, инстинктивно направился к окну, стал на подоконник, отворил фортку, дышал свежим воздухом, а вместе с тем и воспринимал впечатления погоды нового дня. И в этот день я был в таком же упадке духа, как и во все прочие дни.

Было еще темно, на колокольне Петропавловского собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой часов, возвестивший половину седьмого. Вскоре разглядел я, что земля покрыта была новым выпавшим снегом. Послышались какие-то голоса, и сторожа, казалось, чем-то были озабочены. Заметив что-то новое, я дольше остался на окне и все более замечал какое-то происходящее необыкновенное движение туда и сюда и разговоры спешивших крепостных служителей. Между тем рассветало все более, и хождение, и озабоченность крепостного начальства обозначались все явственнее. Это продолжалось с час времени. При виде такого небывалого еще никогда явления в крепости, несмотря на упадок духа, я вдруг оживился, и любопытство и внимание ко всему происходившему возрастали с каждой минутой. Вдруг вижу, из-за собора выезжают кареты — одна, две, три... и всё едут и едут, без конца, и устанавливаются вблизи белого дома и за собором. Потом глазам моим предстало еще новое зрелище: выезжал многочисленный отряд конницы, эскадроны жандармов следовали один за другим и устанавливались около карет... Что бы это все значило? Уж не похороны ли снова какие? Но для чего же пустые кареты?! Уж не настало ли окончание нашего дела?.. Сердце забилось... да, конечно, эти кареты приехали за нами!.. Неужели конец?! Вот и дождался я последнего дня!.. С 22 апреля по 22 декабря, восемь месяцев сидел я взаперти. А теперь что будет?!

Вот служители в серых шинелях несут какие-то платья, перекинутые через плеча, они идут скоро вслед за офицером, направляясь к нашему коридору. Слышно, как они вошли в коридор; зазвенели связки ключей, и стали отворяться кельи заключенных. И до меня дошла очередь; вошел один из знакомых офицеров с служителем; мне принесено было мое платье, в котором я был взят, и, кроме того, теплые, толстые чулки. Мне сказано, чтобы я оделся и надел чулки, так как погода морозная. «Для чего это? Куда нас повезут? Окончено наше дело?» — спрашивал я его, на что мне дан был ответ уклончивый и короткий при торопливости уйти. Я оделся скоро,

чулки были толстые, и я едва мог натянуть сапоги. Вскоре передо мною отворилась дверь, и я вышел. Из коридора я выведен был на крыльцо, к которому подъехала сейчас же карета и мне предложено было в нее сесть. Когда я вошел, то вместе со мною влез в карету и солдат в серой шинели и сел рядом — карета была двухместная. Мы двинулись, колеса скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно замерзлые, видеть через них нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные кареты. Затем началось общее и скорое движение. Мы ехали, я ногтем отскабливал замерзший слой влаги от стекла и смотрел секундами — оно тускнело сейчас же.

— Куда мы едем, ты не знаешь? — спросил я.

— Не могу знать, — отвечал мой сосед.

— А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на Выборгскую?

Он что-то пробормотал. Я усердно дышал на стекло, отчего удавалось минутно увидеть кое-что из окна. Так ехали мы несколько минут, переехали Неву; я беспрестанно скоблил ногтем или дышал на стекло.

Мы ехали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кирочную и на Знаменскую, — здесь опустил я быстро и с большим усилием оконное стекло. Сосед мой не обнаружил при этом ничего неприязненного — и я с полминуты полюбовался давно не виданной мною картиной пробуждающейся в ясное, зимнее утро столицы; прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище — быстрый поезд экипажей, окруженный со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами домов поднимались повсюду клубы густого дыма только что затопленных печей, колеса экипажей скрипели по снегу. Я выглянул в окно и увидел впереди и сзади карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ моей кареты жандарм подскочил к окну и повелительно и грозно закричал: «Не отгуливай!» Тогда сосед мой спохватился и поспешно закрыл окно. Опять я должен был смотреть в быстро исчезающую щелку! Мы выехали на Лиговку и затем поехали по Обводному каналу. Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повернули направо и, проехав немного, остановились; карета отворилась предо мною, и я вышел.

Посмотрев кругом, я увидел знакомую мне местность — нас привезли на Семеновскую площадь. Она бы-

ла покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на нас; была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим, красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Солнца не видал я восемь месяцев, и представшая глазам моим чудесная картина зимы и объявший меня со всех сторон воздух произвели на меня опьяняющее действие. Я ощущал неописанное благосостояние и несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвенья в созерцании природы выведен я был прикосновением посторонней руки; кто-то взял меня бесцеремонно за локоть, с желанием подвинуть вперед, и, указав направление, сказал мне: «Вон туда ступайте!» Я подвинулся вперед, меня сопровождал солдат, сидевший со мною в карете. При этом я увидел, что стою в глубоком снегу, утонув в него всею ступнею; я почувствовал, что меня обнимает холод. Мы были взяты 22 апреля в весенних платьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.

Направившись вперед по снегу, я увидел налево от себя, среди площади, воздвигнутую постройку — подмостки, помнится, квадратной формы, величиною в три-четыре сажени, со входною лестницею, и все обтянуто было черным трауром — наш эшафот. Тут же увидел я кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки. Когда я взглянул на лица их, то был поражен страшною переменой; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами. Особенно поразило меня лицо Спешнева; он отличался от всех замечательною красотою, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились и под ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо.

Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись, — он был обросший большой шевелюрою и густою, слившеюся с бакенбардами бородою. «Должно быть, всем было одинаково хорошо», — думал я. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали,

и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус... все исхудалые, замученные, а вот и милый мой Ипполит Дебу, — увидев меня, бросился ко мне в объятия: «Ахшарумов! и ты здесь!» — «Мы же всегда вместе!» — ответил я. Мы обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой. Вдруг все наши приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего к нам на лошади генерала, как видно распоряжавшегося всем, увековечившего себя в памяти всех нас... следующими словами:

— Теперь нечего прощаться! Становите их, — закричал он. Он не понял, что мы были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей нам смертной казни; многие же из нас были связаны искреннею дружбою, некоторые родством — как двое братьев Дебу. Вслед за его громким криком явился перед нами какой-то чиновник со списком в руках и, читая, стал вызывать нас каждого по фамилии.

Первым поставлен был Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли, и затем шли все остальные — всех нас было двадцать три человека[1] (я поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, став перед нами, сказал: «Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела, — последуйте за мною!» Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход, как я узнал после, назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку, — Момбелли, Львов...[2] Священник, с крестом в руке, выступал впереди, за ним мы все шли один за другим по глубокому снегу. В каре стояли, казалось мне, несколько полков, потому обход наш по всем четырем рядам его был довольно продолжительный. Передо мною шагал высокий ростом Павел Николаевич Филиппов, впоследствии умерший от раны, полученной им при штурме Карса в 1854 году, сзади меня шел Константин Дебу. Последними в этой процессии были: Кашкин, Европеус и Пальм. Нас интересовало всех, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне помнится, много... Мы шли, переговариваясь: «Что с нами будут делать? — Для чего ведут нас по снегу? — Для чего столбы у эшафота? — Привязывать будут, военный суд —

казнь расстрелянием. — Неизвестно, что будет, вероятно, всех на каторгу...»

Такого рода мнения высказывались громко, то спереди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, мы столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С нами вместе взошли и нас сопровождавшие солдаты и разместились за нами. Затем распоряжались офицер и чиновник со списком в руках. Начались вновь выкликивание и расстановка, причем порядок был несколько изменен. Нас поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота, там были: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев, Толь, Ястржембский, Достоевский...

Другой ряд начинался кем не помню, но вторым стоял Филиппов, потом я, подле меня Дебу-старший, за ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский, Ханыков, Головинский, Кашкин, Европеус и Пальм. Всех нас было двадцать три человека, но я не могу вспомнить остальных... Когда мы были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было «на кара-ул», и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался но всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам «шапки долой!», но мы к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды, тогда повторено было несколько раз: «снять шапки, будут конфирмацию читать» — и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату. Нам всем было холодно, и шапки на нас были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось, — читалось скоро и невнятно, да и притом же мы все содрогались от холода. Когда дошла очередь до меня, то слова, произнесенные мною в память Фурье, «о разрушении всех столиц и городов», занимали видное место в вине моей.

Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с меня была сдернута рукою стоявшего за мною солдата. По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась

словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему».

Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: «Каковы мы в этих одеяниях!»

Взошел на эшафот священник — тот же самый, который нас вел, — с Евангелием и крестом, и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном входу конце, он обратился к нам с следующими словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди...»

Никто из нас не отозвался на призыв священника — мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас — Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в раздумье. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: «Батюшка! Вы исполнили все, вам больше здесь нечего делать!..»

Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли[3], взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание «колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опущены были на

лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац» — и вслед за тем группа солдат — их было человек шестнадцать, — стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли . . . .
. . . Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них, почти в упор, ружейные стволы и ожидать — вот прольется кровь и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно . . . .
Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. «Вот конец всему!..» Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж — оттуда вышел офицер — флигель-адъютант — и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание.

Конфирмация эта была напечатана в одном из декабрьских номеров «Русского инвалида» 1849 года, вероятно, в следующий день, 23 декабря, потому распространяться об этом считаю лишним, но упомяну вкратце. Сколько мне помнится, Петрашевский ссылался в каторжную работу на всю жизнь, Спешнев — на двадцать лет[4], и затем следовали градации в нисходящем, по степени виновности, порядке. Я был присужден к ссылке в арестантские роты военного ведомства на четыре года, а по отбытии срока рядовым в Кавказский отдельный корпус. Братья Дебу ссылались тоже в арестантские роты, а по отбытии срока в военно-рабочие роты. Кашкин и Европеус назначались прямо рядовыми в Кавказский корпус, а Пальм переводился тем же чином в армию. По окончании чтения этой бумаги с нас сняли саваны и колпаки.

Затем взошли на эшафот какие-то люди, вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны, — их было двое — и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совершенно безразличное для всех, только продержало нас, и так уже продрогших, лишние четверть часа на морозе. После этого нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти, тулупы и такие же сапоги. Тулупы, каковы бы они ни были, нами были поспешно надеты, как спасение от холода, а сапоги велено было самим держать в руках.

После всего этого на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского и, выведя его на середину, двое, по-видимому кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и, сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы. Что побудило его накладывать самому на себя руки, что хотел он выразить тем — трудно сказать, но мы были все в болезненном настроении или экзальтации.

Между тем подъехала к эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее, но он, посмотрев на поданный экипаж, сказал: «Я еще не окончил все дела!»

— Какие у вас еще дела? — спросил его как бы с удивлением генерал, подъехавший к самому эшафоту.

— Я хочу проститься с моими товарищами! — отвечал Петрашевский.

— Это вы можете сделать, — последовал великодушный ответ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное и он по своему разумению исполнял выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но под конец уже и его сердцу было нелегко.)

Петрашевский в первый раз ступил в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку, как мы стояли, к каждому из нас и каждого поцеловал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подойдя ко мне, он, обнимая меня, сказал: «Прощайте, Ахшарумов, более уже мы не увидимся!» На что я ответил ему со слезами:

«А может быть, и увидимся еще!» Только на эшафоте впервые полюбил я его!

Простившись со всеми, он поклонился еще раз всем нам и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жандарм с саблею и пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз.

Слова его сбылись — мы не увиделись более; я еще живу, но его доля была жесточе моей, и его уж нет на свете!

Он умер скоропостижно от болезни сердца, 7 декабря 1868 года, в городе Минусинске Енисейской губернии, и похороны его были 4 января 1869 года[5].

В 1882 году на могиле его поставлен временно деревянный крест проживавшим с ним вместе в Бельском г. Никитою Всеволожским. Заметка о смерти его и о последнем году его тяжелой ссылки в Минусинском округе напечатана в «Русской старине», 1889, май, за подписью М. Маркса, и оканчивается словами: «Gravis fuit vita, laevis sit ei terra» («Тяжела была жизнь его, пусть будет легка ему земля!»).

Пораженные всем, что происходило на наших глазах, по отъезде Петрашевского стояли мы еще на своих местах, закутавшись в шубы, отдававшие противным запахом. Дело было кончено. Двое или трое из начальствующих лиц взошли на эшафот и возвестили нам, по-видимому, с участием, о том, что мы не уедем прямо с площади, но еще прежде отъезда возвратимся на свои места в крепость и, вероятно, позволят нам проститься с родными. Тогда мы все перемешались и стали говорить один с другим...

Впечатление, произведенное на нас всем пережитым нами в эти часы совершения обряда смертной казни и затем объявления заменяющих ее различных ссылок, было столь же разнообразно, как и характеры наши. Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не говорил; Ипполит Дебу, когда я подошел к нему, сказал: «Лучше бы уж расстреляли!»

Что касается до меня, то я чувствовал себя вполне удовлетворенным как тем, что просьба моя о прощении,

меня столь после мучившая, не была уважена, так и тем, что я выпущен наконец из одиночного заключения, жалел только, что назначен был в арестантские роты куда-то неизвестно, а не в далекую Сибирь, куда интересовало меня дальнее весьма любопытное путешествие. Сожаление мое оправдалось впоследствии горькою действительностью: сосланным в Сибирь в общество государственных преступников, в страну, где уже привыкли к обращению с ними, было гораздо лучше, чем попавшим в грубые, невежественные арестантские роты, в общество воров и убийц и при начальстве, всего боящемся.

Я был все-таки счастлив тем, что тюрьма миновала, что я сослан в работы и буду жить не один, а в обществе каких бы то ни было, но людей, загнанных, несчастных, к которым я подходил по моему расположению духа.

Другие товарищи на эшафоте выражали тоже свои взгляды, но ни у кого не было слезы на глазах, кроме одного из нас, стоявшего последним по виновности, избавленного от всякого н а к а з а н и я, — я говорю о Пальме. Он стоял у самой лестницы, смотрел на всех нас, и слезы, обильные слезы, текли из глаз его; приближавшимся же к нему, сходившим товарищам он говорил: «Да хранит вас Бог!»

Стали подъезжать кареты, и мы, ошеломленные всем происшедшим, не прощаясь один с другим, садились и уезжали по одному. В это время один из нас, стоя у схода с эшафота в ожидании экипажа, закричал: «Подавай карету!» Дождавшись своего экипажа, я сел в него. Стекла были заперты, конные жандармы с обнаженными саблями точно так же окружали наш быстрый возвратный поезд, в котором недоставало одной кареты — Михаила Васильевича Петрашевского!

Ш. ТОКАРЖЕВСКИЙ

ИЗ КНИГИ «КАТОРЖАНЕ»

Работа «при алебастре» относилась к лучшим и более легким, из числа тех работ, на которые в Омской крепости назначали нас, каторжан — так называемых «чернорабочих», то есть не знающих никакого ремесла.

«Алебастр» находился в заведовании общества инженеров, которые, будучи образованными и культурными, вполне сочувствовали политкаторжанам и, до некоторой степени, благоволили им.

Поэтому нас, поляков, и русского писателя Федора Достоевского постоянно назначали на работу при «алебастре».

На самом берегу реки Иртыша, в бараке, для этой цели построенном, мы выжигали и толкли алебастр, под наблюдением квалифицированного в этом цехе старшего мастера Андрея Алмазова.

При растопке печи, укладке в нее и при выемке перегорелого алебастра было много хлопот, и каждый из нас, при разделении труда, молча исполнял свою работу. Но когда перегорелый алебастр рассыпан бывал в ящики, то каждый брал свой ящик и молот, и, при разбитии новых алебастровых глыб, наша беседа возобновлялась.

Разговор между нами и Федором Достоевским всегда имел политическую подкладку. Начинался в минорном тоне, с обмена мнений в вопросах для нас и для него более или менее индифферентных, но он скоро переходил в острую полемику и страстный спор по другим вопросам[1].

Слова из уст быстро вылетали, под аккомпанемент наших энергичных ударов молота, из-под которого разлеталась пыль по воздуху, наполняя барак миллиардами белых, блестящих, как бы живых, искорок.

При таком запальчивом, возбуждающем нервы и волнующем кровь споре мы ударяли молотами с таким размахом, что даже инструктор наш, человек весьма добродушный, Андрей Алмазов, восклицал: «Легче, ребята! Легче!» — и часто предлагал нам отдых раньше назначенного часа.

Тогда мы брали молоты, делали перерыв спорам и, зимою или летом, выходили из барака на воздух, где, во все времена года, и воздух чистый и тишина пустынная, которая, после беспрерывной сутолоки и криков, испытываемых в тюрьме, благотворно отражалась на наших нервах.

На противоположном берегу Иртыша, на пространстве двух тысяч верст, пролегает унылая степь, разнообразие которой придают только многочисленные кибитки и юрты кочующих по ней киргизов.

Каким же роскошным простором она представлялась нашим глазам после тесного и душного заключения: зимою — ослепительной белизной простора, а летом — залитая солнечными лучами.

К свободе, к подвижности, к жизни — тяготели сердца наши, когда грустными глазами следили мы за свободным полетом и реянием в воздухе степных орлов...

— Идите на обед, уже пора! — из сферы скромных идеалов, из мечтательной фантасмагории на грустную, прозаическую землю каторги и ссылки сбрасывал нас голос Алмазова, который хотя и представлялся, по внешности, простачком, однако же, очевидно, отгадывал наши чувства, если, глядя на нас и покачивая головой, с иронической жалостью произносил: «На свободе вы не умели жить, а теперь вам скучно! Ой, вы паны безумные!..»

Временами, на каком-нибудь повороте дороги, мы встречали другую партию возвращавшихся с работы каторжан, которые приветствовали нас с саркастическим восклицанием:

— Как вам работалось, «алебастровцы»?

И так, побрякивая кандалами, ватага из нескольких сот человек, сопровождаемая конвойными солдатами, с заряженными ружьями, возвращалась с работ, на ночлег, в Омскую тюрьму.

Но часто мы, «алебастровцы», возвращались с Алмазовым, сопровождаемые только одним конвойным солдатом.

Однажды, в один из холодных, осенних дождливых дней, в наш барак вошла приблудная собака. Боязливо

задержалась она в дверях и скулила, давая знать о своем присутствии.

Но мы, однако, углубленные в какой-то политический спор, не заметили ее и только тогда увидели, когда Алмазов, из-за угла печки, возле которой он обогревался, оглушенный ударами наших молотов, проговорил своим стереотипным голосом:

— Легче, ребята, легче! отдохните!

Большой любитель животных, Федор Достоевский, удрученный трагической судьбой прежнего своего воспитанника и фаворита — Культяпки, первым обнаружил присутствие гостя собачьего рода и по-приятельски стал к нему обращаться.

Собака доверчиво к нам приблизилась. Была чрезвычайно худа, кости торчали через промокшую, шероховатую шерсть неопределенного цвета. Очевидно, она была очень изнурена и голодна, так как с трудом волочила ноги. Когда же Достоевский ее приласкал, то, приблизившись к его коленям, она начала от радости визжать.

Мы имели обыкновение брать с собою запас хлеба, так как в короткие осенние и зимние дни к обеду в тюрьму не возвращались. Следовательно, было чем накормить четвероногого нашего друга. Достоевский напоил ее из какого-то черепка, после чего уже освоившаяся собака закопалась в куче соломы, разбросанной в углу барака, и там заночевала. И вот, немым признанием разрешения Андрея Алмазова, собака оставалась в нашем бараке до тех пор, пока мы работали при алебастре.

Продовольствовались мы на собственный свой счет; тогда фунт мяса в Омске, в зимнее время, стоил ½ копейки, летом 1½ копейки, и тюремные кашевары, за тридцать копеек в месяц, недурно нас кормили; поэтому и на долю нашего приблудного пса всегда оставалось мясо. Кормили его хорошо, и, в непродолжительное время, он пополнел, приобрел мягкую, шелковистую, лоснящуюся шерсть и пушистый лисий хвост; словом, наш пес на удивление похорошел и был чрезвычайно сообразителен. Все за ним пропадали, а в особенности Достоевский, которому он, своим умом и сходством, напоминал любимую собаку — Культяпку.

Бывало, в часы отдыха, сядет собака на пол барака, Достоевский обоймет ее за шею и, склонившись над ней, долго сидит в задумчивой позе... И я убедился, что приблудный пес заметно выделял его из среды всех наших товарищей. Если он нарочито скрывался,

то обеспокоенный пес повсюду бегал, с визгом отыскивая своего патрона, навстречу которого всегда выбегал с радостным лаем, поднимая передние лапы на грудь Достоевского, порываясь лизать его в лицо, а когда он ласково старался отстранить от себя собаку, то она, с таким же порывом, лизала арестантскую сермягу, любовно поглядывая в его глаза и от удовольствия помахивая хвостом.

Наш безыменный приблудный товарищ получил от нас имя «Suango», — это потому, что, прогоняемый Алмазовым, он всегда укрывался в углу барака, а так как угол носит название «angut», то, по нашей терминологии, пес назван был «Suango».

После этого возбуждался вопрос, что делать с Суанго, когда нас загонят на другие работы и запрут барак с алебастром?..

Вопрос этот стал предметом весьма оживленных споров и загадочных обсуждений, которые, благодаря присутствию Достоевского, велись на русском языке; а слушатель и свидетель их, Алмазов, понюхивая табак из роговой табакерки и покуривая из короткой трубки, сострадательно на нас поглядывая, с саркастической улыбкой, говорил тихим голосом: «Ой, паны! паны», а шепотом прибавлял: «Дурные, дурные паны!»

В результате остановились на том, что нельзя Суанго вводить в крепость, где, несомненно, он погиб бы насильственной смертью.

Каторжанин Неустроев, по профессии сапожник, постоянно получал из города заказы на обувь; а чтобы больше заработать с наименьшими расходами, он придумал способ добывания и изготовления такого материала, которым не брезгали невзыскательные его городские клиенты: он сманивал собак, вешал их, сдирал с них шкуры и выделывал кожу на обувь, а мясо выбрасывал в большой ров, находившийся в углу злополучной нашей тюрьмы. Ров этот редко очищался, а так как он служил местом отбросов и вместилищем нечистот, то из него выделялся такой заразительный, убийственный воздух, что зачастую делалось дурно, а между тем им дышало все население тюрьмы. Часто владельцы пропавших собак, а в особенности породистых, проведав о проделках Неустроева, обращались к дежурному по тюрьме офицеру с жалобами на «гицеля» Неустроева, но последний, сделав удивленную физиономию безвинно обвиняемого человека, отделывался «ничегонезнанием» и жалобу не

признавал основательной. «Я кожу купил у еврея Соломонки, — говорил он, — свидетелями могут быть: товарищ Матвеев, Гаврилко, товарищ Арефьев», — и он переименовывал сто «товарищей», готовых каждую минуту и на каждое требование показать в пользу Неустроева.

Таким образом Неустроев всегда имел возможность оправдаться от взводимых на него проступков.

От руки Неустроева погиб также и «Культяпка» Федора Достоевского, который поэтому энергично сопротивлялся взятию Суанго в крепость, чтобы и он не сделался жертвой Неустроева.

Пока выработалось какое-либо решение о дальнейшей участи нашего четвероногого товарища, тем временем над Омском проносился ужасающий ураган, беспрерывно над ним витавший в течение трех суток. Он опрокидывал деревянные дома, как картонные домики, повырывал деревья с корнями, засыпал все улицы снегом и затруднил вход в дома. Город казался вымершим. Только верхние половины домов выглядывали из-под снега. Кто не имел в кладовых достаточных запасов, неминуемо должен был терпеть голод. Но как только затих снежный ураган, едва стал рассветать первый день тихой погоды, как из тюрьмы прислали ватагу каторжан раскапывать и расчищать город.

Вооруженные лопатами, ломами и колунами, мы должны были исправлять повреждения, причиненные разгулом урагана.

Прежде всего мы разбивали ломами ледяные горы и расчищали дороги для свободного санного проезда. Ледяные глыбы со снегом накладывали в сани и увозили и откапывали покрытые снегом дома.

Это были кровавые труды, тяжесть которых усугублялась понудительными криками наблюдавших за работами:

— Скорее, ребята, скорее! — и, чтобы понудить на более интенсивную работу, помахивали нагайками над нашими головами.

Действительно, можно было ошалеть при таком крике надзирателей, свисте их нагаек и проклятьях, доводивших до бешенства измученных каторжан...

И только с наступлением сумерек мы возвращались в тюрьму изнуренными после тяжкой дневной, превосходившей человеческие силы работы. Прозябшие, голодные, после суточного поста, мы просили кашеваров дать нам какой-нибудь теплой пищи, как вдруг услышали

голос Достоевского, что «у него потемнело в глазах и силы ему изменяют», и он рухнул перед нами на пол в бессознательном состоянии.

После тяжелого и продолжительного воспаления легких Достоевский стал поправляться в тюремной больнице Омской крепости, по выходе из которой, о пребывании в ней, нам рассказал:

— Из нескольких тысяч дней, проведенных в Омской тюрьме, те, которые я провел в больнице, были самыми спокойными и наилучшими, за исключением одного неприятного инцидента.

В обширной и похвально содержимой палате наслаждался я чистым воздухом и пользовался относительной свободой.

После коротких зимних дней, с наступлением сумерек, всякое движение в больнице прекращалось. В дремотно-мечтательном состоянии из моих сонных очей улетучивались: Сибирь, Омск, каторга, а на их место, в приятном забытьи я находился в кругу своих родных, где счастлив был, и мнилось мне, что отдыхаю под крышей родного дома. Будь благословенна мечтательность такая, я жажду осуществления ее. Молодой доктор Борисов с большим вниманием относился к больным политкаторжанам, а ко мне — в особенности. Часто просиживал у моей кровати, беседуя со мной. Интересовался делом, которое наградило меня каторгой, и успокоил известием, что Неустроев, получив два рубля, обеспечил меня «словом каторжанина», — что никогда не покусится на жизнь нашего четвероногого друга — Суанго...

Раз как-то, в неурочное время, в палату вбежал доктор Борисов, закутанный в шубу, сказав, что неожиданно едет в казачью станицу, отстоящую от Омска в ста сорока верстах, дня на четыре, куда командировал его губернатор, князь Горчаков, по случаю появления там какой-то подозрительной болезни, и что в его отсутствие за больными наблюдать будет фельдшер, а услуживать — служитель Антоныч; при этом доктор сунул мне в руку запечатанный конверт и, попрощавшись, ушел из палаты.

Лежавший рядом со мною уголовный каторжанин Ломов по внешности был Геркулесом, но с отвратительной, отталкивающей физиономией и свирепыми глазами. Про него говорили, что он способен убить всякого человека, лишь бы ценою убийства угоститься водкой. Следя за моими движениями, Ломов видел, как я, распечатав

конверт, обнаружил в нем три рубля, которые сунул под подушку. Среди ночи меня разбудил крик соседа с другой стороны, старика-старовера из Украины, и, в то же время, под моею подушкой, я ощутил косматую руку. Старик кричал: «Помни шестую заповедь — не укради!» — и рукой указывал на Ломова при свете ночного каганца. Взволнованный этой сценой, я не спал уже до утра. Я не хотел вспоминать о происшествии, только Ломов угрожающе и свирепо поглядывал на старика, поднявшего ночную тревогу.

С того времени я стал замечать, что между фельдшером, служителем Антонычем, также бывшим каторжанином, и моим соседом Ломовым существует какая-то связь, что-то общее; они часто шептались, удаляясь от других, и со дня выезда доктора какая-то тяжелая атмосфера нависла над больницей...

На ужин принесена была больным размазня из манной каши, а для меня Антоныч принес молока. За всеми моими движениями следил пронзающий взор Ломова. Мне казалось, что он желает позаимствовать у меня молока. В это время скрипнула дверь... Слышны были легкие и быстрые шаги по полу... Раздался радостный лай... Это Суанго, пользуясь незапертой дверью, бросился в палату и вскочил на мою кровать, выталкивая из рук мисочку с молоком. Каскад белых капель обрызгал меня и мою постель... А Суанго, находившийся в моих объятиях, радостно скулил и лизал мне лицо, шею и руки и с жадностью выпил оставшееся в миске молоко.

Возвратившийся Антоныч схватил Суанго за шею и, ударяя кулаком по голове, выбросил его за дверь, где, поддав ногой, сбросил с лестницы. Слышно было только жалостное вытье нашего любимца...

Я погнался было за служителем, но, по слабости сил, упал на средине палаты, и меня уложили в постель. На другой день после этого события возвратился доктор Борисов, на вопрос которого о причине ухудшения моей болезни я только мог с глубоким вздохом ответить — Суанго!

— Ах! — вздохнул доктор, — кто же вам сообщил?

— Неужели опять Неустроев? — прервал я доктора, волнуясь.

— Где там! Неустроев сдержал свое слово...

— Ну, так что же случилось?..

— Суанго после моего отъезда... перестал жить, — сказал добрый доктор Борисов, не желая из деликатности и моей привязанности к Суанго выразиться — сдох.

А старик-старовер, подойдя к нам, своим мелодичным голосом произнес:

— Видите, господа, как чудесное провидение свыше, посредством немой твари, избавило от смерти правдивого человека.

Ломов приподнялся на постели, оперся на локоть и показал свои сжатые, мощные кулаки, как бы готовясь броситься на старика...

В то же время по полу палаты раздался стук сапог, подбитых гвоздями. Это вошел служитель Антоныч. Увидав, что доктор Борисов, старовер и я мирно беседуем, он повернулся и исчез... Исчез из больницы, из города и окрестностей Омска; никто и никогда уже не слышал о больничном служителе Антоныче.

А между тем в городе, крепости и в больнице каторжан долго удерживался слух, что Антоныч, по уговору с фельдшером и Ломовым, намеревался меня отравить с целью воспользоваться тремя рублями. Очевидно, фельдшер снабдил его ядом... За отсутствием доктора, конечно, он выдал бы свидетельство, что — умер естественной смертью...

Но Суанго разрушил преступный план злоумышленников!

П. К. МАРТЬЯНОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «В ПЕРЕЛОМЕ ВЕКА»

В октябре 1849 года, в жизни Морского кадетского корпуса совершилось одно из тех грустных событий, воспоминания о которых, несмотря на давность прошедшего времени, все еще тяжелы и болезненны.

В один из холодных, осенних, ненастных дней, утром часов в одиннадцать (точная дата числа неизвестна), в квартире директора корпуса, вице-адмирала Казина, были собраны содержавшиеся под арестом в различных укромных уголках корпуса, как то: карцере, цейхгаузе, бане, мертвецком покое и других местах, по одиночке, семь старших гардемаринов, кончавших в том году курс и только что в сентябре месяце возвратившихся из последнего практического плавания в Балтийском море *, а именно: Александр Лихарев, Семен Левшин, князь Михаил Хованский, барон Вильгельм фон-Геллесем, Михаил Коссаговский, Павел Брылкин и Арсений Калугин, каждый в сопровождении особо назначенного для того обер-офицера.

Причины ареста молодых людей, состоявшегося, впрочем, не одновременно, но в течение нескольких недель, были следующие: а) первые трое — Лихарев, Левшин и князь Хованский, арестованы за то, что заявили во время ужина неудовольствие на дурную пищу. Неудовольствие это было заявлено всей гардемаринской ротой, но арестованы только трое, как зачинщики; б) барон

---

* Гардемарины в 1849 году плавали на судах 2-й флотской дивизии: «Полтаве», «Выборге», «Воле», «Георгии Победоносце», «Фер-Шемпенуазе» и «Константине». (*Примеч. П. К. Мартьянова.*)

фон-Геллесем подвергнут аресту за речь, сказанную в дортуаре, по поводу несправедливых притязаний начальства, что признано было за возбуждение товарищей к протесту; в) Коссаговский привлечен к ответственности за ответ в дортуаре, где он приготовлял уроки, офицеру, приказавшему ему застегнуться на все пуговицы: «что он не на службе, а при занятиях», что признано было грубостью и дерзостью; г) Брылкин — за то, что, идя в праздничный день с обеда, не исполнил приказания дежурного офицера — идти в ногу и равняться, и когда последний хотел взять его за руку, устранил это движение, что признано было неповиновением начальству, и д) Калугин — за то, что, желая пожаловаться ротному командиру на одного из дежурных офицеров, приказавшего никого не выпускать из помещения роты, оттолкнул от дверей служителя и вышел, поддержанный в этом некоторыми товарищами, что признано было чуть ли не воззванием к бунту.

Гардемаринов привели в старых куртках и выстроили в ряд в приемной директора. Это все были молодые люди 17—20 лет от роду, прошедшие почти весь искус обучения и ждавшие чрез несколько месяцев производства в офицеры. Неожиданная строгость, выказанная по отношению к ним со стороны корпусного начальства, не могла, конечно, не волновать юношей, и в ряду их проносились возгласы: «смотрите ж, духом не падать!..» или «отвечать, братцы, смелей!..». Когда же им сделалось известным, что приехал в корпус его императорское высочество, молодой генерал-адмирал, великий князь Константин Николаевич, незадолго перед тем назначенный шефом морского кадетского корпуса и имевший его в непосредственном своем командовании, для личного разбирательства их дела, раздался крик: «тем лучше!», и гардемарины повели между собой тихий разговор шепотом. <...>

Через несколько дней после описанного нами посещения корпуса его императорским высочеством, генерал-адмиралом, арестованные гардемарины были собраны вновь в рекреационном зале, а рядом, в соседней комнате музеума, стояла во фронте вся гардемаринская рота. Часа в три дня приехал в корпус исправлявший в то время временно должность морского министра, граф Лев Алексеевич Перовский. Поздоровавшись с гардемаринской ротой, он подошел к арестованным и объявил им высочайшую конфирмацию в следующих выражениях:

— Я просил у государя императора разрешения всех вас перепороть и этим ограничить взыскание. Но на это высочайшего соизволения не последовало. В пример всему заведению, дабы это было памятно и внушительно для всех, повелено: старших гардемаринов: Михаила Коссаговского, Александра Лихарева, Семена Левшина, Арсения Калугина, князя Михаила Хованского, Павла Брылкина и барона Вильгельма фон-Геллесема, разжаловать в рядовые, с назначением: первого в оренбургские, а остальных шести — в сибирские линейные батальоны, сроком: первых пятерых — на два, и последних двух — на четыре года. <...>

Разжалованных тотчас барабанщики остригли по-солдатски, сняли с их курток погоны с якорями и надели на них серые солдатские шинели. Им не дали даже проститься с товарищами и отправили их в Аракчеевские казармы, откуда они чрез несколько дней и отбыли к новым местам служения.

Так погибло семь молодых жизней, которые, если бы не были сломаны в корне, может быть, принесли бы своей специальной службою много пользы отечеству.

Разжалованные гардемарины прибыли в Омск 6 января 1850 года и зачислены рядовыми: Лихарев и Левшин в 4-й, князь Хованский и Калугин в 5-й, Брылкин и барон фон-Геллесем в 6-й сибирские линейные батальоны, квартировавшие в Омской крепости. <...>

Город Омск в то время был центром военного и гражданского управления Западной Сибири, со старой крепостью в изгибе реки Иртыша, при впадении в него речки Оми, и несколькими форштадтами с трех сторон крепости, по четвертому же фасу крепости протекал Иртыш, за которым тогда начиналась уже степь. Крепость представляла из себя довольно большой, в несколько десятин, параллелограмм, обнесенный земляным валом со рвом и четырьмя воротами: а) Иртышскими — к реке Иртышу; б) Омскими — к устью реки Оми; в) Тарскими — к городскому саду и присутственным местам, и г) Тобольскими — к изгибу реки Иртыша. При каждых воротах находились гауптвахты и содержался военный караул. Вообще крепость, как укрепленное место для защиты от врага, никакого значения не имела, хотя и была снабжена достаточным числом помнивших царя Гороха чугунных ржавых орудий, с кучками сложенных в пирамидку ядер,

в отверстиях между которыми ютились и обитали тарантулы, фаланги и скорпионы. Центр крепости занимала большая площадь, на которой в недальнем от Тарских ворот расстоянии высился массивный православный крепостной собор с церковнослужительским домом, а по краям площади красовались равнявшиеся чинно и стройно в шеренги каре различные казенные здания обычной старинной казарменной архитектуры. Тут были: генерал-губернаторский дворец, комендантское управление, инженерное управление, корпусный штаб, дома, где помещались начальства сказанных управлений и служащий персонал с семьями, а сзади их — казармы 4, 5 и 6-го линейных батальонов и знаменитый Омский каторжный острог. Все эти постройки, за исключением двухэтажного корпусного штаба и батальонных казарм, были одноэтажные и заезжему случайно петербуржцу казались такими мизерными и жалкими, что невольно пробуждали мысль о мифических постройках тех, нахлынувших когда-то на Европу, варварских народов, о которых профессор Харьковского университета Михаил Петрович Клобуцкий, на лекциях в 1840 году, говорил: «Черт знает откуда пришли, черт знает чт*о* понаделали и черт знает куда провалились». В крепости господствовал исключительно военный элемент: офицеры, солдаты, казаки, денщики, служители, фурлеты и каторжные арестанты. Слышался лязг оружия, вызов караула в ружье, отдание чести, стук нагруженных провиантских телег, скрип артельных повозок и бряцание громыхающих арестантских кандалов.

На форштадтах, или в так называемом городе, тоже преобладал военный элемент, но преимущественно — служебный или казачий. За речкой Омью располагалось управление наказного атамана, казачьи полки и батареи, кадетский корпус с особым домом для директора, дворянское собрание, казенная суконная фабрика, на которой работали каторжные гражданского ведомства, и дом откупщика, который, как известно, в то время был персоной grata. За городским садом находились присутственные места, провиантское ведомство, военный госпиталь, гражданский острог и при нем больница. Но были и частные дома, гостиный двор, лавки, трактиры, магазины и солдатские слободки на окраинах. Положим, что, за исключением некоторых казенных зданий, как, например, кадетского корпуса и двух-трех купеческих домов, порядочных строений и здесь было очень мало, но здесь жили

уже граждане... Здесь можно было видеть порой соперничество Европы с Азией, и зоркий глаз мог отличить луч света в темном царстве неподвижности и застоя: здесь рядом с кочевником, пригнавшим для продажи на рынок баранов, можно было видеть европейский костюм и порой услышать речь о политике и других животрепещущих вопросах, что для человека, брошенного судьбой за грань цивилизованного мира, было, по тогдашнему времени, дороже золота. <...>

Самою тяжелою службой в это время для молодежи была караульная, в особенности при наряде ее за офицеров в крепостной острог. Это тот знаменитый острог, который описал Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома»; в нем содержались в то время из числа петрашевцев двое: Федор Михайлович Достоевский и Сергей Федорович Дуров. Была ли с ними знакома молодежь в Петербурге, неизвестно, но во время заключения их в остроге она принимала в судьбе их самое горячее участие и делала для них все, что только могла.

Крайне печальное зрелище представляли из себя тогда эти когда-то блестящие петрашевцы. Одетые в общий арестантский наряд, состоявший из серой пополам с черным куртки, с желтым на спине тузом, и таковой же мягкой без козырька фуражки — летом и полушубка с наушниками и рукавицами — зимой, закованные в кандалы и громыхающие ими при каждом движении, — по внешности они ничем не отличались от прочих арестантов. Только одно — это ничем и никогда не стирающиеся следы воспитания и образования — выделяло их из массы заключенников. Ф. М. Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего, хорошо выправленного и поставленного военной дисциплиной. Но сознанье безысходной, тяжкой своей доли как будто окаменяло его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю. Каторга его не любила, но признавала нравственный его авторитет; мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась[1]. Видя это, он сам сторонился ото всех, и только в весьма редких случаях, когда ему было тяжело или

невыносимо грустно, он вступал в разговор с некоторыми из арестантов. С. Ф. Дуров, напротив, и под двуцветной курткой с тузом на спине казался баричем. Высокого роста, статный и красивый, он держал голову высоко, его большие, черные, навыкате глаза, несмотря на их близорукость, смотрели ласково и уста как бы улыбались всякому. Шапку он носил с заломом на затылке и имел вид весельчака даже в минуты тяжелых невзгод. С каждым арестантом он обходился ласково, и арестанты любили его. Но он был изнурен болезнию и зачастую едва мог ходить. Его ноги тряслись и с трудом носили хилое, расслабленное тело. Несмотря на это, он не падал духом, старался казаться веселым и заглушал боли тела остроумными шутками и смехом.

Но прежде чем коснемся мы отношений «морячков» к содержавшимся в остроге петрашевцам, сделаем несколько пояснений к рассказам о некоторых наиболее выдающихся личностях «Мертвого дома». Ф. М. Достоевский говорит об Акиме Акимыче, что он служил на Кавказе прапорщиком и был старшим начальником какого-то укрепления, где он соседнего мирного князька, за сделанное этим князьком ночное на его крепость нападение и поджог ее, зазвавши, спустя после того несколько времени, в гости, расстрелял... Это был Белов, есаул Кавказского казачьего войска, который, по его рассказу «морячкам», временно заведовал одной из пограничных казачьих станиц, вообще по тому времени укрепленных. На станицу эту никто не нападал и ее не зажигал, но из-под стен ее горцы угнали выпущенный казаками на пастьбу скот. Произведя под рукой дознание и узнав, что это сделали мирные горцы, жившие по соседству, он зазвал семь человек, из числа наиболее влиятельных среди этих горцев лиц, к себе в гости и не расстрелял, а повесил их на гласисе укрепления. Вот за это-то его судили и сослали на каторгу, а если бы он расстрелял князька за нападение и поджог крепостцы, то он скорее бы получил награду, а не кару в высшей мере[2]. Присланный за отцеубийство дворянин был подпоручик Ильин, служивший в Тобольске в линейном батальоне. По решению суда, за дурное поведение он был приговорен к разжалованию в рядовые, а по обвинению в отцеубийстве, за неимением достаточных доказательств, суд полагал оставить его в сильном подозрении. Но император Николай Павлович, на утверждение которого восходила конфирмация военного суда, изволил положить резолюцию:

«Отцеубийца не должен служить в рядах войск. В каторжные работы на двадцать лет»[3]. Художник, доносчик и друг плац-майорского денщика Федьки — был Аристов, когда-то принадлежавший к кучке золотой молодежи. Прокутив в молодости состояние и исподличавшись потом на добытии средств, он поступил в сыщики. Здесь, желая сделать поскорее карьеру, оговорил до десятка неповинных людей в противоправительственном заговоре, и когда оказалось по расследовании, что это все ложь, понес то наказание, которое злоумышленно готовил другим[4]. Поляки, пользовавшиеся наибольшими симпатиями в остроге, были Мальчевский и Жуковский, сосланные в каторгу за участие в польском жонде[5]. Первый принадлежал к числу богатых помещиков, владел несколькими имениями и был, как говорили, «паном-маршалком». Ненависть его к русским не знала границ, но он был весьма образованный и тактичный человек, который и в среде нелюбимых людей имел вес и силу авторитета. Второй был профессор упраздненного Виленского университета, фанатик польской идеи, но, как человек и христианин, действительно заслуживал полного уважения.

От караула при остроге требовали, по тому времени, большого внимания, энергии и бдительности. Он должен был не только сопровождать арестантов на работы, но и следить за ними во время их нахождения в остроге. Утренняя и вечерняя поверка личного состава, наблюдение за чистотой и порядком в казармах, за недопущением проноса вина, табаку, карт и других запрещенных предметов, за тишиной и спокойствием среди заключенных, нечаянные осмотры у них и обыски и тому подобное — делали службу начальника караула весьма тяжелой и ответственной. Но «морячки» с особенным удовольствием шли по наряду за офицеров в караул при остроге, так как они имели возможность быть на виду у начальства и, вместе с тем, облегчать, хотя несколько, тяжелую участь возбуждавших всеобщее сожаление заточников. Сверх наряда арестантов на работы по крепости и в ее окрестностях, несколько арестантов назначалось еще и для работ при остроге. Эти последние арестанты находились в распоряжении караула и оставлялись до посылки куда нужно — или в кордегардии, или в своих камерах. При таких условиях «морячки» всегда могли, для работ при остроге, оставлять тех заключенных, кого они хотели. <...> Желавший оставить кого-либо из арестантов для работ при

остроге писал о том накануне записку начальнику караула, которого он должен был наутро сменить, и тот оставлял просимого арестанта в остроге. Таким образом, Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров часто оставлялись для работ при остроге и, по смене старого караула, требовались новым начальником в кордегардию и находились некоторое время в комнате караульного офицера, где им сообщались новости дня, передавались от сердобольных людей пожертвования и дозволялось чтение приносимых молодежью книг и получаемых от родственников или сотоварищей писем из Петербурга. Время вызова сообразовалось с часами, когда посещений начальства не ожидалось; но на всякий случай в кордегардии всегда находился наготове назначенный для сопровождения их на работы конвойный. Генералам Бориславскому, как заведовавшему всеми работами арестантов, и де Граве, как коменданту крепости, было даже сообщено об этом в частном разговоре доктором Троицким, но они только посмеялись, посоветовав ему передать юношам, чтобы они все-таки были осторожными.

Характер Ф. М. Достоевского, по рассказам одного из «морячков», был вообще несимпатичен, он смотрел волком в западне; не говоря уже об арестантах, которых он вообще чуждался и с которыми ни в какие человеческие соприкосновения не входил, ему тяжелы казались и гуманные отношения лиц, интересовавшихся его участию и старавшихся по возможности быть ему полезными. Всегда насупленный и нахмуренный, он сторонился вообще людей, предпочитая в шуме и гаме арестантской камеры оставаться одиноким, делясь с кем-нибудь словом, как какой-нибудь драгоценностью, только по надобности. Будучи вызван «морячками» в офицерскую комнату, он держался с ними более чем сдержанно, на приглашение присесть и отдохнуть часто отказывался и уступал только настоятельной просьбе, отвечал на вопросы неохотно, а в интимные разговоры и сердечные излияния почти никогда не пускался. Всякое изъявление сочувствия принимал недоверчиво, как будто подозревал скрытую в том неблагоприятную для него цель. Он отказывался даже от чтения приносимых молодежью книг и только раза два заинтересовался «Давидом Копперфильдом» да «Замогильными записками Пиквикского клуба» Диккенса, в переводе Введенского, и брал их в госпиталь для прочтения[6]. Доктор Троицкий объяснял его нелюдимость и мнительность болезненным состояни-

ем его организма, подвергавшегося, как известно, эпилептическим припадкам, и расшатанностью всей нервной системы, хотя на вид он казался здоровым, бодрым и крепким и на все работы ходил наравне с другими. По мнению же «морячка», нелюдимость его происходила из боязни, чтобы какие-нибудь отношения к людям или нелегальные поблажки не сделались известными начальству и не отягчили бы, вследствие того, его положения. С. Ф. Дуров, напротив, вызывал к себе всеобщее сочувствие. Несмотря на крайне болезненный и изнуренный вид, он всем интересовался, любил входить в соприкосновение с интересовавшею его общею, внеострожною, людскою жизнию и был сердечно благодарен за всякое посильное облегчение или материальную помощь. Говорил он обо всем охотно, даже вступал в споры и мог увлекать своим живым и горячим словом слушателя. В нем чувствовалась правдивая, искренно убежденная и энергичная натура, которую не могло сломить несчастие, и за это он пользовался большей, чем Ф. М. Достоевский, симпатиею. Бывали, однако, случаи, когда его какое-нибудь слово выбивало из колеи, горячность овладевала им, и он увлекался до самозабвения. Стоило, например, употребить при нем, хотя бы невзначай, в разговоре имя его родственника, генерала (впоследствии граф) Якова Ивановича Ростовцева — и он забывал всякую меру сдержанности и впадал, по отношению к нему, даже в несправедливость. Чтение любил, но с особенною жадностию бросался на французские романы, как, например, «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Парижские тайны» и «Вечный жид» Е. Сю, «Сын дьявола» Поля Феваля и др. Он выпрашивал эти романы, проглатывал их в несколько вечеров и приходил просить другие*. Но просьбу его не всегда можно было исполнить, так как богатством книг Омск не щеголял. Поражало «морячков» в характере этих двух петрашевцев то, что они ненавидели друг друга всею силою души, никогда не сходились вместе и в течение всего времени нахождения в Омском остроге не обменялись между собой ни единым словом[7]. Вызванные вместе для бесед в офицерскую комнату, они оба сидели насупившись в разных углах и даже на вопросы юношей отвечали

* Он не дожидался даже вызова, но в случае надобности, возвращаясь с работ и узнав, что в карауле стоит кто-нибудь из «морячков», заходил сам в кордегардию с конвойным. (*Примеч. П. К. Мартьянова.*)

односложными «да» или «нет»; так что их стали вызывать не иначе как поодиночке. С. Ф. Дуров, на сделанный ему по сему предмету вопрос, отвечал, что ни один из них не начнет говорить первым, так как острожная жизнь сделала их врагами. В «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский распространяется обо всех наиболее замечательных арестантах, бывших вместе с ним в остроге, замаскировывая только некоторых под начальными буквами их фамилий; но С. Ф. Дурова ни полным именем, ни под инициалами фамилии нигде, как будто его в остроге не было, не упоминает. В тех же случаях, когда решительно нельзя было умолчать о нем, он отзывался так: «Нас, то есть меня и другого ссыльного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали...», или: «Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой...» Большое участие в петрашевцах принимал старший доктор госпиталя Троицкий. Он иногда сообщал им через «морячков», что они теперь могут (тот или другой) прийти в госпиталь на передышку, и они отправлялись и вылеживали там по нескольку недель, получая хороший сытный стол, чай, вино и другие предметы, частию с госпитальной, частию с докторской кухни. «Записки из Мертвого дома», как рассказывал одному из юношей И. И. Троицкий, начал писать Достоевский в госпитале, с его разрешения, так как арестантам никаких письменных принадлежностей, без разрешения начальства, иметь было нельзя, а первые главы их долгое время находились на хранении у старшего госпитального фельдшера. Покровительствовал петрашевцам и генерал Бориславский, через адъютанта своего управления, подпоручика Иванова*. Он разрешил назначать их на самые легкие работы (кроме тех случаев, когда они, как, например, Достоевский, сами хотели идти на работы вместе с прочими арестантами, в особенности в начале прибытия на каторгу) и в крепости и вне оной, к числу которых относились: малярные работы, верчение колес, обжигание алебастра, отгребание снега и прочие. Федору Михайловичу даже было позволено ходить в канцелярию инженер-

* Константин Иванович Иванов впоследствии служил в Главном инженерном управлении. Он был женат на дочери декабриста Анненкова и старался сделать для Достоевского все, что только мог. (*Примеч. П. К. Мартьянова.*)

ного управления для письменных занятий, от которых его велено было, впрочем, скоро уволить, по докладу полковника Мартена корпусному командиру о несоответствии подобных занятий для людей, сосланных в каторжные работы за политические преступления. Немалую услугу оказал Ф. М. Достоевскому также и один из «морячков». Оставленный однажды для работ в остроге, он находился в своей казарме и лежал на нарах. Вдруг приехал плац-майор Кривцов — этот описанный в «Записках из Мертвого дома» зверь в образе человека.

— Это что такое? — закричал он, увидя Федора Михайловича на н а р а х . — Почему он не на работе?

— Болен, ваше высокоблагородие, — отвечал находившийся в карауле за начальника «морячок», сопровождавший плац-майора в камеры о с т р о г а , — с ним был припадок падучей болезни.

— Вздор!.. я знаю, что вы потакаете им!.. в кордегардию его!.. розог!..

Пока стащили с нар и отвели в кордегардию действительно вдруг заболевшего со страху петрашевца, караульный начальник послал к коменданту ефрейтора с докладом о случившемся. Генерал де Граве тотчас приехал и остановил приготовления к экзекуции, а плац-майору Кривцову сделал публичный выговор и строго подтвердил, чтобы больных арестантов отнюдь не подвергать наказаниям[8]. <...>

Но если общественная жизнь не была развита в Омс к е , — доносы на действия начальства имели в нем громадное применение. Не было учреждения, на которое бы кто-нибудь не доносил или не жаловался. Даже доктор Троицкий и тот должен был испытать на себе все неприятности подобной эпидемии. Один из его помощников, ординатор Крыжановский, сделал на него донос в Петербург, что он оказывает слишком большое снисхождение и потворство политическим арестантам. Вследствие этого было прислано особое лицо для расследования, и омскому начальству не мало стоило трудов, чтобы замять дело, сильно раздутое доносчиком. Но при всем том, что доктор Троицкий не был признан виновным, ему объявили строгий выговор, а доносчика только перевели из Омска в другой госпиталь, расположенный где-то на пограничной линии.

Расследование это, однако ж, не обошлось без курьезов. Присланный из Тобольска для производства след-

ствия, советник уголовной палаты барон Шиллинг принялся за дело горячо, держал себя авторитетно и от знакомств с омским обществом сторонился. Это, конечно, не могло понравиться местным властям, они приняли против него свои меры, и бедный следователь к раскрытию истины надлежащего содействия не получил. Спрошенные им, по указанию ординатора Крыжановского, свидетели не подтвердили сделанных доносчиком заявлений. Политические арестанты, при допросе их, давали такие уклончивые иносказательные ответы, что следователь становился в тупик и только бранился. Так, Ф. М. Достоевский на сделанный ему следователем вопрос: не писал ли он чего-либо в остроге или когда находился в госпитале? — ответил:

— Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю.

— Где же материалы эти находятся?

— У меня в голове.

А. Е. ВРАНГЕЛЬ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ В СИБИРИ»

В средине ноября 1854 года я отправился в Семипалатинск. Дорога шла прямая на юг вдоль Иртыша, голою необозримою Киргизскою степью. Нигде ни рощ, ни холмов не *видно*, — полное тоскливое однообразие природы. То там, то сям чернеют юрты киргизов, тянутся вереницы верблюдов, да изредка проскачет всадник. <...>

На почтовых станциях в казацких станицах (в Сибири вдоль границы поселены были линейные сибирские казаки) есть было нечего. Кроме чаю и хлеба, ничего не было, и меня спасли от голода замороженные щи и пельмени, взятые на дорогу в Омске.

20-го ноября светлою, морозною лунною ночью, проехав версты три сосновым бором, достигли мы наконец цели моего длинного путешествия. Несколько тысяч верст разделяло меня от Петербурга, от родного крова! Семипалатинск в то время был ни город, ни деревня, а нечто среднее. Одноэтажные, бревенчатые, приземистые домишки, бесконечные заборы, на улице ни одного фонаря, ни сторожей, ни одной живой души, и если бы не отчаянный лай собак, город показался бы вымершим. Он кишел собаками, которые охраняли жителей и исполняли санитарную часть. Служителей полиции в течение двух лет моего пребывания в Семипалатинске — я не видел, кроме Базилевича, носившего громкое звание полицеймейстера. Гостиниц в то время в Семипалатинске не было. Приезжим отводилась по очереди квартира в лучших домах обывателей, и нужно сказать, что хозяева принимали очень радушно и хлебосольно приезжих, осо-

бенно из столицы. «Как же, батюшка, не радоваться *вам*, — говорили *они*, — ведь без вас не знали бы, не ведали, что и творится на белом свете». Они всячески старались задержать случайного гостя как можно долее. Газета в Сибири в то время была редкостью, очень немногие ее выписывали. Она переходила из рук в руки, а в день прихода почты, раз в неделю, собирались у знакомого, получавшего ее, чтобы узнать, что творится в Крыму — под Севастополем[1]. <...>

Через несколько часов я уже перебрался в свой новый «home», разложился, поехал обедать к губернатору, разузнал, где и как разыскать Ф. М. Достоевского, и послал просить его к себе вечером пить чай. Достоевский в то время жил уже в своей частной квартире-лачуге.

Достоевский не знал, кто и почему его зовут, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно-бледным лицом, покрытым веснушками[2]. Светло-русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими умными, серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в *душу*, — что, мол, я за человек? Он признался мне впоследствии, что был очень озабочен, когда посланный мой сказал ему, что его зовет «господин стряпчий уголовных дел». Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письма, посылки и поклоны[3] и сердечно разговорился с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив. Часто после он говорил мне, что, уходя в этот вечер к себе домой, он инстинктивно почуял, что во мне он найдет искреннего друга.

Читая письма брата и сестер, я помню, он прослезился, а на меня в то же время нашло опять то же чувство отчаяния, жуткой тоски и одиночества, которое так нередко со времени моего длинного странствования нападало на меня. Во время моей беседы с Федором Михайловичем я получил собравшуюся целую груду писем из Петербурга от моих близких, родных и друзей. Порывисто вскрыв их, я набросился на них и, читая их, вдруг разрыдался; был я в то время юноша экспансивный, очень привязанный к семье своей. Мне так оказалась невыносимой моя оторванность от всего дорогого и сделалось так жутко за будущее! Мы оба стояли друг перед другом, оба забытые судьбой, одинокие... Мне так было тяжко, что я, несмотря на высокое мое звание «господина

областного стряпчего по уголовным делам», как-то невольно, не долго думая, бросился на шею стоявшему передо мной с устремленным на меня грустным, задумчивым взором Федору Михайловичу. Он сердечно приласкал меня, дружески, горячо, как старому знакомому, пожал мне руку, и мы дали слово как можно чаще видеться.

Весною 1854 года, по освобождении из каторги, Достоевский, как известно, был переведен солдатом без выслуги в Семипалатинск, куда и был доставлен по этапу вместе с другими [4]. Первое время, очень недолго, он жил вместе с солдатами в казарме, но вскоре, по просьбе генерала Иванова и других, ему разрешили жить особо, близ казарм, за ответственностью его ротного командира Степанова. Он, кроме того, состоял под наблюдением своего фельдфебеля, который за малую «мзду» не особенно часто беспокоил его.

Первое время было для него трудное — полное одиночество... Но, мало-помалу, он познакомился с некоторыми офицерами и чиновниками, хотя был далек от тесного сближения с ними[5]. Конечно, после каторги новое его положение, тяжелое с материальной стороны, все же, благодаря относительной свободе, казалось ему раем: так он сам мне говорил[6]. <...>

Семипалатинск лежит на правом высоком берегу Иртыша, широкой рыбной реки, тогда еще не видавшей не только пароходов, но и барок-то на ней не бывало. Город получил свое название от семи палат, развалины которых еще существовали в XVIII столетии и изображены в описании путешествий ученого натуралиста Палласа. В мое время и следов не было от этих руин. Древний Семипалатинск был, вероятно, монгольский город, так как при раскопках найдены были медные изображения Будды, бараньи лопатки с монгольскими письменами и предметы буддийского культа. За неимением в древности бумаги писали на бараньих лопатках.

В мое время Семипалатинск, как я уже сказал выше, был полугород, полудеревня. Все постройки были деревянные, бревенчатые, очень немногие обшиты досками. Жителей было пять-шесть тысяч человек вместе с гарнизоном и азиатами, кокандскими, бухарскими, ташкентскими и казанскими купцами. Полуоседлые киргизы жили на левом берегу, большею частью в юртах, хотя

у некоторых богачей были и домишки, но только для зимовки. Их насчитывали там до трех тысяч.

В городе была одна православная церковь, единственное каменное здание, семь мечетей, большой меновой двор, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей, казармы, казенный госпиталь и присутственные места. Училищ, кроме одной уездной школы, не было. Аптека — даже и та была казенная. Магазинов, кроме одного галантерейного, где можно было найти все, — от простого гвоздя до парижских духов и склада сукон и материй, — никаких: все выписывалось с Ирбитской и Нижегородской ярмарок; о книжном магазине и говорить нечего, — некому было читать. Я думаю, во всем городе газеты получали человек десять — пятнадцать, да и немудрено, — люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами. Не забывайте, что в это время шла Крымская война, но ею мало интересовались: уж слишком было далеко, да это и не было свое, «сибирское» дело. Сибиряки держали себя тогда особняком и говорили: «Он из России».

Я выписал три газеты: «С.-Петербургские академические ведомости», «Augsburger Allgemeine Zeitung», «Indépendance Belge», к великому удовольствию Федора Михайловича, который с особенной любовью читал «Indépendance Belge», не говоря уже о русской газете. «Augsburger Zeitung» он не трогал, мало понимая тогда по-немецки и не любя этого языка.

Семипалатинск делится на три части, разделенные песчаными пустырями. На север лежала казацкая слободка, самая уютная, красивая, чистая и благообразная часть Семипалатинска. Там был сквер, сады, довольно приглядные здания полкового командира, штаба полка, военного училища и больницы. Казарм для казаков не было — все казаки жили в своих домах и своим хозяйством.

Южная часть города, татарская слобода, была самая большая; те же деревянные дома, но с окнами на двор — ради жен и гарема. Высокие заборы скрывали от любопытных глаз внутреннюю жизнь обывателя-магометанина; кругом домов ни одного дерева — чистая песчаная пустыня. Вообще во всем Семипалатинске не было ни одной мощеной улицы, но мало и грязи, так как сыпучий песок быстро всасывал воду. Зато ходить было трудно, увязая по щиколку в песке, а летом, с палящей жарой в 30° в тени, просто жгло ногу в раскаленном песке.

Среди этих двух слобод, сливаясь с ними в одно, лежал собственно русский город с частью, именовавшеюся еще крепостью, хотя о ней в то время уже и помину не было. Валы были давно снесены, рвы засыпаны песком, и только на память оставлены большие каменные ворота. Здесь жило все военное: помещался линейный батальон, конная казачья артиллерия, все начальство, главная гауптвахта и тюрьма — мое ведомство. Ни деревца, ни кустика, один сыпучий песок, поросший колючками.

Здесь жил и Достоевский. У меня сохранился рисунок его хаты.

Я жил на самом берегу Иртыша, близ губернатора; неподалеку был остров с огородами и бахчами дынь и арбузов. Против моих окон, по ту сторону реки, было киргизское поселение и расстилалась необозримая степь с синими горами Семитау, за семьдесят верст вдали на горизонте. <...> Я платил за квартиру в три комнаты с переднею, конюшнею, сараем и еще помещением для троих людей, за нашу еду, отопление — тридцать рублей в месяц. Федор Михайлович за свое помещение, стирку и еду пять рублей. Но какая вообще была его еда! На приварок солдату отпускалось тогда четыре копейки, хлеб особо. Из этих четырех копеек ротный командир, кашевар и фельдфебель удерживали в свою пользу полторы копейки. Конечно, жизнь тогда была дешева: один фунт мяса стоил грош, один пуд гречневой крупы — тридцать копеек. Федор Михайлович брал домой свою ежедневную порцию щей, каши и черного хлеба, и если сам не съедал, то давал своей бедной хозяйке. <...>

Правда, Федор Михайлович часто обедал у меня, да и знакомые его приглашали. Хата Достоевского находилась в самом безотрадном месте. Кругом пустырь, сыпучий песок, ни куста, ни дерева. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, и без единого окна наружу, ради опасения от грабителей и воров. Два окна его комнаты выходили на двор, обширный, с колодцем и журавлем. На дворе находился небольшой огородик с парою кустов дикой малины и смороды. Все это было обнесено высоким забором с воротами и низкою калиткою, в которую я всегда влезал нагибаясь, — тоже исторически установившийся в то время расчет строить низкие калитки: делалось это, как мне говорили, для того, чтобы легче рубить наклоненную голову случайно ворвавшегося врага. Злая цепная собака охраняла двор и на ночь спускалась с цепи.

У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены; вдоль двух стен шла широкая скамья. На стенах там и сям лубочные картинки, засаленные и засиженные мухами. У входа налево от дверей большая русская печь. За нею помещалась постель Федора Михайловича, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевою перегородкою. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно когда-то красные. Вся комната была закопчена и так темна, что вечером с сальною свечою — стеариновые тогда были большою роскошью, а освещения керосином еще не существовало — я еле-еле мог читать. Как при таком освещении Федор Михайлович писал ночи напролет, решительно не понимаю. Была еще приятная особенность его жилья: тараканы стаями бегали по столу, стенам и кровати, а летом особенно блохи не давали покоя, как это бывает во всех песчаных местностях.

С каждым днем мы ближе и ближе сходились с Федором Михайловичем. Он стал все чаще и чаще заходить ко мне во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба, зачастую обедал у меня, но особенно любил заходить вечерком пить чай — бесконечные стаканы — и курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) из длинного чубука. Сам же он обыкновенно, как и большинство в России, курил «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку, от которой после каждого визита моего к нему у меня адски болела голова. <...>

Развлечений в Семипалатинске не было никаких. За два года моего пребывания туда не заглянул ни один проезжий музыкант, да и фортепьяно было только одно в городе, как редкость. Не было даже и примитивных развлечений, хотя бы вроде балагана или фокусника. Раз, помню, писаря батальона устроили в манеже представление, играли какую-то пьесу. Достоевский помогал им советами, повел и меня смотреть. <...>

По мере сближения с Достоевским все теснее, отношения наши стали самые простые и безыскусственные, — двери мои для него всегда были открыты, днем и ночью. Часто, возвращаясь домой со службы, я заставал у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня или с учения,

или из полковой канцелярии, в которой он исполнял разные канцелярские работы. Расстегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось нечто новое. Как сейчас вижу его в одну из таких минут; в это время он задумал писать «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» (см. письмо Майкову) *[7]. Он был в заразительно веселом настроении, хохотал и рассказывал мне приключения дядюшки, распевал какие-то отрывки из оперы, но, увидав внесенную моим Адамом янтарную стерляжью уху, стал тормошить Адама, чтобы он скорее давал есть. Адама Федор Михайлович любил, впрочем, как и всех обиженных судьбою, защищал и одарял деньгами, когда заводилась у него самого лишняя копейка, что давало моему Лепорелло[8], горчайшему пьянице, возможность лишний раз выпить. <...>

Федор Михайлович очень любил читать Гоголя и Виктора Гюго[9]. Старое поколение тогда Гоголя недолюбливало, мы же, молодежь, восхищались им. В Лицее были товарищи, которые целые страницы его сочинений знали наизусть; многим из товарищей мы давали клички из «Мертвых душ», так, например, у нас был Чичиков, были Селифонт[10] и Коробочка. Как-то раз, хваля и восхищаясь Гоголем в присутствии одного моего высокопоставленного родственника, я вызвал его негодование: «Надо было давно ему запретить *писать*, — говорил он *нам*, — сослать и сжечь эти «Мертвые души»; я постараюсь ужо об этом у государя. До чего дойти! Сметь топтать в грязь чиновников, облеченных властью и доверием правительства, да и вам, молодежи, только затемняет *головы*». — Вот какое отношение было тогда к великому Гоголю.

Когда Федор Михайлович был в хорошем расположении духа, он любил декламировать, особенно Пушкина; любимые его стихи были «Пир Клеопатры» («Египетские ночи»). Лицо его при этом сияло, глаза горели.

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир;
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир!

Как-то вдохновенно и торжественно звучал голос Достоевского в такие минуты.

---

* Сборник Н. Н. Страхова. (*Примеч. А. Е. Врангеля.*)

Должен, впрочем, сказать, что я в то время мало занимался литературой; я весь предался сухой науке и подчас этим возмущал Достоевского. «Да бросьте вы ваши профессорские книги», — приставал он ко мне. Во время наших бесед о Сибири он горячо доказывал мне, что у Сибири нет будущности, так как все ее реки впадают в Ледовитый океан и другого выхода в море нет. О приобретениях Н. Н. Муравьева на берегах Великого океана[11] в Семипалатинске никто и не знал, а о железном пути в Сибирь и во сне не видели и думать не смели — сочли бы за умопомешанного. Я сам хохотал, когда несколько лет спустя, в 1858 г., будучи на Амуре, познакомился с знаменитым Бакуниным, который развивал мне эту мысль. <...>

Но вернемся к дорогому Федору Михайловичу, которого я от души уже в то время полюбил; а как высоко я его ценил, лучшим подтверждением могут служить сохранившиеся до сих пор мои письма к родным из Сибири. Вот что я читаю в одном из них, помеченном вторым апреля, Семипалатинск: *«Судьба сблизила меня с редким человеком, как по сердечным, так и умственным качествам; это наш юный несчастный писатель Достоевский. Ему я многим обязан, и его слова, советы и идеи на всю жизнь укрепят меня. С ним я занимаюсь ежедневно, и теперь будем переводить философию Гегеля и «Психию» Каруса. Он человек весьма набожный, болезненный, но воли железной. Узнайте, добрый папенька, Бога ради, не будет ли амнистии. Сколько несчастных ожидают и надеются, как утопающие хватаются за соломинку. Неужели сердце нашего нового государя, доброго и милостивого, не поймет, что великодушие лучшее средство победить недоброжелателей».*

В другом письме к сестре от 15-го мая читаю:

«Попроси отца, умоляю, узнать через Александра Федоровича Вейман, будет ли при коронации амнистия политическим некоторым преступникам и не можно ли шепнуть слово Дубельту или князю Орлову о Достоевском; неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах. Это было бы ужасно. Горько и больно за него — я полюбил его, как брата, и уважаю, как отца».

Выяснив мои отношения к Достоевскому, в искренности которых нет повода сомневаться, перехожу к моему дальнейшему повествованию.

Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Он находил извинение

самым худым сторонам *человека*, — все объяснял недостатком воспитания человека, влиянием среды, в которой росли и живут, а часто даже их натурою и темпераментом.

«Ах, милый друг, Александр Егорович, да такими ведь их Бог *создал*», — говаривал он. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Кто не помнит его заботливости о семье его брата Михаила Михайловича (см. его письма ко мне)[12], его попечения о маленьком Паше Исаеве[13] и о многих других.

Бывали у нас с ним беседы и на политические темы. О процессе своем он как-то угрюмо молчал, а я не расспрашивал. Знаю и слышал от него только, что Петрашевского он не любил, затеям его положительно не сочувствовал и находил, что политический переворот в России *пока* немыслим, преждевременен, а о конституции по образцу западных — при невежестве народных масс — и думать смешно. Я как-то раз писал ему из Копенгагена и сказал, что не доросла еще Россия до конституции и долго еще не дорастет, что один земский собор совещательный необходим. На это Достоевский ответил письмом, что во многом он согласен со мною[14].

Из товарищей своих Федор Михайлович часто вспоминал Дурова, Плещеева и Григорьева. Ни с кем из них в переписке не состоял, через мои руки шли только письма к брату его Михаилу, раз к Аполлону Майкову, тетке Куманиной и молодому Якушкину[15]. <...>

Случалось, что и я сам изредка проводил вечер у Достоевского, но и я и он предпочитали мой дом, так как больно уж неуютно и неприглядно было у него. Его упрощенное хозяйство, стирку, шитье и убранство комнаты вела старшая дочь хозяйки — вдовы солдатки, девушка лет двадцати. У нее была сестра лет шестнадцати, очень красивая. Старшая ухаживала за Федором Михайловичем и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем; я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай en grand négligé, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Бедность у них была большая, так как, кроме маленького огорода, они ничего не имели, и мать открыто эксплоатировала молодость и красоту дочерей. Впрочем, тогда в Сибири

это никого не удивляло и было в порядке вещей. Я помню ответ старухи Федору Михайловичу, который упрекал ее за ее распущенность с младшею шестнадцатилетнею дочерью. «Эх, барин, все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель, и честь!.. ведь с чиновниками не всякой выпадет счастье...» На таковую практическую логику трудно нам было отвечать.

Теперь не обойду молчанием и то, что мне известно о припадках падучей болезни Федора Михайловича. Бог миловал, я лично никогда свидетелем их не был. Но знаю, что припадки бывали довольно часто; обыкновенно его хозяйка немедленно давала мне знать. После припадка он чувствовал себя всегда дня два-три разбитым, вялым, мысли не вязались, голова не работала. Первые признаки болезни, как он утверждал, появились еще в Петербурге, а развилась она на каторге[16]. В Семипалатинске припадки случались через три месяца. Приближение их он чувствовал и говорил, что перед приступом его тело охватывает какое-то невыразимое чувство сладострастия. Жутко было видеть в эти минуты этого страдальца, да еще при таких жизненных условиях; жалок и беспомощен он был после каждого пароксизма!

Однообразно-томительно текла наша жизнь. Я мало кого посещал, сидел более дома, много читал, много писал. С кем только я тогда не переписывался, даже имел смелость написать знаменитому ученому барону Александру Гумбольдту по поводу его писем о Сибири. В 1857 г. в Берлине, на пути в кругосветное плавание, мне довелось и познакомиться с ним лично.

Федор Михайлович общался немного более меня, особенно часто он навещал семью Исаевых. Сидел у них по вечерам и согласился давать уроки их единственному ребенку — Паше, шустрому мальчику восьми-девяти лет. Мария Дмитриевна Исаева была, если не ошибаюсь, дочь директора гимназии в Астрахани и вышла там замуж за учителя Исаева. Как он попал в Сибирь — не помню. Исаев был больной, чахоточный и сильно пил. Человек он был тихий и смирный. Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице,

и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу [17]. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он «без будущности», говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости. Достоевский пропадал у Исаевых по целым дням, усиленно тащил и меня, но несимпатична мне была та среда ради мужа ее. <...>

Летом Семипалатинск невыносим: страшно душно, песок накаляется под палящими лучами солнца донельзя. Малейший ветер подымает облака пыли, и тончайший песок засыпает глаза и проникает повсюду. Жара в тени в июне доходила до 32° Реомюра. Я решил переехать за город в апреле, как только степь и деревья зазеленеют. Во всем Семипалатинске была одна дача с огромным садом, за Казацкою слободкою близ лагеря. Это было па руку и Федору Михайловичу, и я предложил ему переехать ко мне из своей берлоги. Дача эта принадлежала богатому купцу-казаку и именовалась «Казаков сад» (см. письмо ко мне Федора Михайловича [18]). <...>

Я еще зимою выписал всевозможных семян цветов, овощей и луковиц из Риги. В городе на дворе уже заблаговременно мы устроили парники и подготовили рассаду. Достоевского это чрезвычайно радовало и занимало, и не раз вспоминал он свое детство и родную усадьбу.

В начале апреля мы с Федором Михайловичем переехали в наше Эльдорадо — в «Казаков сад». Деревянный дом, в котором мы поселились, был очень ветх, крыша текла, полы провалились; но он был довольно обширный, и места у нас было вдоволь. Конечно, мебели никакой — пусто, как в сарае. Большое зало выходило на террасу, перед домом устроили мы цветники. Одна большая аллея прорезала весь сад с старыми деревьями. Цветущих кустов никаких: сирени, жасмина, роз — в Семипалатинске тогда и не видывали. Был у нас и огород, который дал нам тоже массу овощей, доселе тоже неведомых в стране.

Среди сада находились ключи чистейшей студеной воды и было вырыто три водоема, в которых я держал стерлядь и маленького осетра, чтобы иметь под рукою

рыбу для стола. Раков в то время во всей Сибири не водилось. При доме были конюшни, сараи и обширный двор. Все это обнесено высоким дощатым забором, а весь сад и огород высоким частоколом.

Усадьба наша расположена была на высоком правом берегу Иртыша, к реке шел отлогий зеленый луг. Мы тут устроили шалаш для купанья; вокруг него группировались разнообразные кусты, густые заросли ивы и масса тростника. То там, то сям среди зелени виднелись образовавшиеся от весеннего разлива пруды и небольшие озерки, кишевшие рыбой и водяной дичью. Купаться мы начали в мае.

Цветниками нашими мы с Федором Михайловичем занимались ретиво и вскоре привели их в блестящий вид.

Ярко запечатлелся у меня образ Федора Михайловича, усердно помогавшего мне поливать молодую рассаду, в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшего от стирки; на шее болталась неизменная, домашнего изделия, кем-то ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием и, видимо, находил в этом времяпрепровождении большое удовольствие.

Дни стояли уж очень жаркие. Нередко в заботах наших о цветниках принимали живое участие обе дочери хозяйки Достоевского (его городского обиталища). Они занимались обыкновенно поливкой цветов. Потрудившись часок-другой, мы шли купаться и затем располагались на террасе пить чай или обедать. Читали газеты, покуривая трубки, вспоминали с Федором Михайловичем о Петербурге, о близких и дорогих нам лицах, бранили Европу. Ведь шла еще война под Севастополем, и мы скорбели и тревожились. <...>

Катаясь верхом, — я уговорил наконец и Достоевского сесть на одну из моих лошадей, самую смирную; по-видимому, это довелось ему в первый раз, и как он ни был смешон и неуклюж в роли кавалериста в своей серой солдатской шинели, но скоро вошел во вкус, и мы с ним делали верхом длинные прогулки в самый бор, в окрестные зимовья и в степь с разбросанными по ней юртами киргизов и их ставками. А как чудно хороша была степь! В эту пору вся она была в цвету, благоухала, — яркая зелень, испещренная цветами, как дивный ковер расстилалась на необозримое пространство. Что за прелесть

степь раннею весною, пока жгучие лучи солнца не коснулись ее, не иссушили ее! <...>

Однажды Федор Михайлович является домой хмурый, расстроенный и объявляет мне с отчаянием, что Исаев переводится в Кузнецк, верст за 500 от Семипалатинска[19]. «И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно!» — горько твердил он.

Действительно, вскоре состоялся перевод Исаева в Кузнецк. Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что все для него в жизни пропало. А тут у Исаевых оказались долги, пришлось все распродать — и двинуться в путь все же было не на что. Выручил их я, и собрались они наконец в путь-дорогу (смотри письмо Достоевского ко мне по этому поводу[20]).

Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок. Много лет спустя он напоминает мне об этом в своем письме от 31 марта 1865 года. Да! памятный это был день.

Мы поехали с Федором Михайловичем провожать Исаевых, выехали поздно вечером, чудною майскою ночью; я. взял Достоевского в свою линейку. Исаевы поместились в открытую перекладную телегу — купить кибитку у них не было средств. Перед отъездом они заехали ко мне, на дорожку мы выпили шампанского. Желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной, я еще у себя здорово накатал шампанским ее муженька. Дорогою, по сибирскому обычаю, повторил; тут уж он был в полном моем распоряжении; немедленно я его забрал в свой экипаж, где он скоро и заснул как убитый. Федор Михайлович пересел к Марии Дмитриевне. Дорога была как укатанная, вокруг густой сосновый бор, мягкий лунный свет, воздух был какой-то сладкий и томный. Ехали, ехали... Но пришла пора и расстаться. Обнялись мои голубки, оба утирали глаза, а я перетаскивал пьяного, сонного Исаева и усаживал его в повозку; он немедленно же захрапел, по-видимому, не сознавая ни времени, ни места. Паша тоже спал. Дернули лошади, тронулся экипаж, поднялись клубы дорожной пыли, вот уже еле виднеется повозка и ее седоки, затихает почтовый колокольчик... а Достоевский все стоит как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Я подошел, взял его руку — он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж. Мы

вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег — все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой...

Время взяло свое, и это болезненное отчаяние начало улегаться. С Кузнецком началась усиленная переписка, которая, однако, не всегда радовала Федора Михайловича. Он чуял что-то недоброе. К тому же в письмах были вечные жалобы на лишения, на свою болезнь, на неизлечимую болезнь мужа, на безотрадное будущее — все это не могло не угнетать Федора Михайловича. Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. Он даже бросил свои «Записки из Мертвого дома», над которыми работал так недавно с таким увлечением. Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом. Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом, но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи. Чудные минуты пережил я с ним. Как много дало мне сближение с такой чудной, богато одаренной натурой. Между нами за все время нашего совместного житья не пробежала ни одна тучка, не было ни одного недоразумения. Он был десятью годами старше и много опытнее меня. Не раз, когда я, по молодости моих лет и житейской неопытности, приходил в отчаяние от окружающей меня гнусной среды, в которой я принужден был работать, когда подчас, казалось, силы оставят меня в борьбе со злом, Федор Михайлович всячески поддерживал во мне энергию, подбодрял меня своими советами и участием. За многое я ему благодарен. На многое он открыл мне глаза, и особенно я чту его память за чувство гуманности, которое он вселил в меня. После всего выше-

изложенного читатель поймет, что я не мог оставаться безучастным зрителем подавленности духа, причиненного Федору Михайловичу его злосчастным романом.

Я решил, что буду всячески его развлекать. При всяком удобном случае тащить его всюду за собою. Познакомил его с горными инженерами ближайших свинцово-серебряных заводов: Локтевского и Змеиногорского. Трудно давалось мне отвлекать его от грустных дум. <...>

Теперь <...> я хочу сказать только несколько слов о том, с какой чуткостью и достоинством, несмотря на свое крайне щекотливое общественное положение, держал себя Достоевский в обществе. Ведь та среда, в которой мы вращались, не отличалась особенной культурностью. Кроме того, начальство там было типа «бурбонов», грубое и заносчивое.

Никогда, конечно, Федор Михайлович не проявлял ни малейшего заискивания, лести, желания проникнуть в общество и в то же время был в высшей степени сдержан и скромен, как бы не сознавая всех выдающихся своих достоинств. Благодаря своему такту, он, как я упомянул уже в начале своего рассказа, пользовался всеобщим уважением.

Вернувшись из Локтевского завода, мы застали город в большом возбуждении. Из Омска пришло известие, что, ввиду тревожного положения на южной границе и волнений среди *киргизов*, — едет сам генерал-губернатор, произведет смотр войскам, по случаю выступления в поход, будет также, говорили, произведена ревизия присутственных мест.

Необходимо было приготовиться на всякий случай и Достоевскому в поход; нужно было озаботиться купить сапоги, подошвы, непромокаемую куртку, самое необходимое из *белья*, — одним словом, экипироваться с ног до головы, так как у него, можно сказать, всего имущества было только то, что на нем. Опять нужны деньги, опять заботы и тревога, откуда их ему взять? Проклятый денежный вопрос никогда не давал ему покоя. Брат Миша и тетка прислали ему недавно малую *толику*, — просить еще и еще было тяжело, а деньги у Достоевского как-то не держались к тому же. Конечно, нужда материальная изводила его, а тут еще из Кузнецка шли безотрадные вести, одна тревожнее другой. М. Д. Исаева,

уехав в глушь с мужем, пьяным и вечно больным, томилась и скучала. Все письма ее были переполнены жалобами на свое полное одиночество, на страшную потребность обменяться живым словом, отвести душу. В последующих письмах все чаще и чаще ею стало упоминаться имя нового знакомого в Кузнецке, товарища мужа Марии Дмитриевны, симпатичного молодого учителя[21]. С каждым письмом отзывы о нем становились все восторженнее и восторженнее, восхвалялась его доброта, его привязанность и его высокая душа. Достоевский терзался ревностью; жутко было смотреть на его мрачное настроение, отражавшееся на его здоровье.

Мне страшно стало жаль его, и я решился устроить ему свидание с Марией Дмитриевной на полпути между Кузнецком и Семипалатинском в Змиеве, куда еще недавно нас так радушно зазывал горный генерал Гернгросс. Очень я рассчитывал также, что эта встреча и объяснение положат конец несчастному роману Достоевского. Но вот в чем была задача: как довезти Федора Михайловича туда, за 160 верст от Семипалатинска, так, чтобы эта поездка осталась тайной. Как я уже говорил выше, начальство таких дальних поездок не разрешало. Губернатор и батальонный командир Федора Михайловича наотрез уж два раза отказали отпустить его со мною в Змиев. Ну, думаю, была не была. Открыл мой план Достоевскому. Он радостно ухватился за него; совсем ожил мой Федор Михайлович, больно уж влюблен был бедняга. Немедля я написал в Кузнецк Марии Дмитриевне, убеждая ее непременно приехать к назначенному дню в Змиев. В городе же распустил слух, что после припадка Федор Михайлович так слаб, что лежит. Дал знать и батальонному командиру Достоевского; говорю: «болен бедняга, лежит, и лечит его военный врач Lamotte». A Lamotte, конечно, за нас, друг наш был, чудной, благородной души человек, поляк, студент бывшего Виленского университета, выслан был сюда на службу из-за политического какого-то дела. Прислуге моей было приказано всем говорить, что Достоевский болен и лежит у нас. Закрыли ставни, чтобы как будто не потревожить больного. Велено никого не принимать. На счастье наше все высшее начальство, начиная с военного губернатора, только что выехало в степи.

Словом, все благоприятствовало. Благословясь, двинулись в путь в 10 часов вечера. Можно сказать, не ехали,

а вихрем неслись, чего, по-видимому, совсем не замечал мой бедный Федор Михайлович; уверяя, что мы двигаемся черепашьим шагом, он то и дело понукал ямщиков. Миновав Локтевский завод, мы наутро были в Змиеве. Каково же было разочарование и отчаяние Достоевского, когда стало известно нам, что Мария Дмитриевна не приедет; вместо же нее Федору Михайловичу было передано письмо, в котором Мария Дмитриевна извещала, что мужу значительно хуже, отлучиться не может, да и приехать не на что, так как денег нет. Настроение Достоевского описывать не берусь: я только ломал себе голову, каким способом я его успокою.

В тот же день мы поскакали обратно и, отмахав 300 верст в 28 часов «по-сибирски», счастливо добрались домой, переоделись и, как ни в чем не бывало, пошли в гости. Так никто никогда в Семипалатинске и не узнал о нашей проделке.

Потекла наша жизнь по-старому: Федор Михайлович хандрил или порывисто работал; я, как умел, его развлекал. Да больно уж бедна впечатлениями была наша унылая жизнь. После томительных часов ежедневной службы, к роду которой ни Федора Михайловича, ни мое сердце не лежало, чем заполняли мы наши дни?

Все те же прогулки вдоль Иртыша, уход за цветами, купанье, чаепитие на балконе с длинными чубуками. Впрочем, я, как страстный рыболов, еще удил рыбу, а Достоевский, лежа тут же на траве, читал зачастую вслух, перечитывая большею частью в бессчетный раз скудный запас наших книг. Читал он мне, помню, между прочим, «для руководства», Аксакова «Уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника». Библиотеки в городе не было. Множество привезенных мною книг по геологии и естественным наукам и другим специальным предметам я дочитал, кажется, до того, что знал наизусть. Достоевский больше предпочитал литературу, и на каждую новую книгу мы набрасывались с жадностью. Но монотонность наших дней искупалась теми минутами, когда на Федора Михайловича находил порыв творчества. Настроение его делалось в то время такое приподнятое, что возбуждение его невольно отражалось и на мне. Казалось, и жизнь семипалатинская становилась как будто сноснее; по настроение это так же внезапно, к сожалению, падало в те времена, как и приходило. Достаточно было невеселой вести из Кузнецка — и все пропало, хирел и завядал мой Федор Михайлович. <...>

Однажды, попивая с Достоевским чай на террасе, смотрели мы, как наши девы цветы поливали; прибегает Адам и докладывает, что пришла молодая женщина и желает видеть Федора Михайловича, «да и твоего барина».

Ее впустили садом; уже издали Достоевский узнал в ней свою острожную знакомую — Ваньку-Таньку. Она была дочь цыганки, сосланной за убийство своего мужа из ревности. Сама Танька была замешана в деле ссыльных поляков и венгерцев и бегстве двух из них из Омского острога в 1854 году.

Цель этого побега была крайне сумасбродна: пробраться в степь, поднять недовольных киргизов, присоединиться к ханским войскам и идти с ними освобождать товарищей — что-то уж больно несуразное.

И вот шумно и радостно вбежала к нам наша новая гостья. Это была смуглая женщина лет двадцати — двадцати двух; глаза черные, как горящие уголья, жгли, волосы непослушными завитками обрамляли ее лицо; она все время улыбалась, сверкая своими, как отборный жемчуг, зубами. Среднего роста, сухощавая, гибкая и в высшей степени подвижная — такова была наша посетительница. Встрече с Достоевским, видимо, искренне обрадовалась и, по острожной привычке, говорила ему «ты». Со мной не церемонилась, смело, первая, не ожидая вопросов, подсела к нам, заливаясь звонким смехом и, видимо, желая на меня, как незнакомого еще ей, произвести впечатление. Кокетка она, говорят, была отчаянная и мысли не могла допустить, что кто-нибудь может пройти мимо нее не очарованный. <...>

Достоевскому же эта встреча послужила поводом занести новую главу в свои «Записки из Мертвого дома» (глава IX. Побег)[22]. Я уже упоминал выше, что в этот период нашей совместной жизни Федор Михайлович работал над своим знаменитым произведением — «Записками из Мертвого дома». Мне первому выпало счастье видеть Федора Михайловича в эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого бесподобного произведения, и еще теперь, спустя долгие годы, я вспоминаю эти минуты с особенным чувством. Сколько интересного, глубокого и поучительного довелось мне черпать в беседах с ним. Замечательно, что, несмотря на все тяжкие испытания судьбы: каторгу, ссылку, ужасную болезнь и непрестанную материальную нужду, в душе Федора Михайловича неугасимо теплились самые свет-

лые, самые широкие человеческие чувства. И эта удивительная, несмотря ни на что, незлобивость всегда особенно поражала меня в Достоевском. <...>

После долгих просьб мне удалось наконец, при посредстве военного губернатора, получить согласие батальонного командира на поездку Достоевского со мною в Змеиногорск, куда нас приглашал генерал Гернгросс. Это было недалеко от Кузнецка, и Федор Михайлович мечтал о возможности повидать Марию Дмитриевну, да и побывать в кругу образованных людей в Змеиногорске немало прельщало нас.

По дороге в Локтевском заводе прихватили с собою Демчинского, адъютанта военного губернатора. Так как с ним был близко знаком Федор Михайлович и нередко пользовался его мелкими услугами и в своих письмах ко мне упоминает его имя, скажу несколько слов о нем. Кроме двух артиллерийских офицеров, это был единственный молодой человек, с которым мы вели в Семипалатинске знакомство. Из юнкеров-неучей он был произведен в офицеры и благодаря протекции скоро надел аксельбанты адъютанта. Это был красавец лет двадцати пяти, самоуверенный фат, веселый, обладавший большим юмором; он считался неотразимым Дон-Жуаном и был нахалом с женщинами и грозой семипалатинских мужей. Видя, что начальник его и прочие власти принимают так приветливо Достоевского, желая подъехать и ко мне за протекцией, он проявлял большое внимание к Федору Михайловичу. Искреннего же чувства у него не было: он сам слишком гнался за внешним блеском, и серая шинель и бедность Федора Михайловича были, конечно, Демчинскому далеко не по душе. Он недолюбливал вообще всех политических в Семипалатинске. Впоследствии он поступил в жандармы, или, как их тогда называли, «синие архангелы», и, имея поручение сопровождать партию ссыльных политических в Сибирь, проявлял большую грубость к ним и бесчеловечность. Достоевский не мог с ним не знаться хотя бы потому, что, ввиду служебного положения Демчинского — адъютантом, Достоевскому то и дело приходилось обращаться к нему, и действительно тот не раз был ему полезен. Проведя день на Локтевском заводе, мы двинулись дальше. <...>

Мы прогостили в Змиеве пять дней; согласно обычаю, нам отвели квартиру у богатого купца. Радушно встретило нас горное начальство; не знали уж, как нас и развлечь, — и обеды, и пикники, а вечером даже и танцы.

У полковника Полетики, управляющего заводом, был хор музыкантов, организованный из служащих завода. Все были так непринужденно веселы, просты и любезны, что и Достоевский повеселел, хотя М. Д. Исаева и на этот раз не приехала, — муж был очень плох в то время, но, впрочем, и письма даже Достоевскому она не прислала в Змиев. А Федор Михайлович был на этот раз франт хоть куда. Впервые он снял свою солдатскую шинель и облачился в сюртук, сшитый моим Адамом, серые мои брюки, жилет и высокий стоячий накрахмаленный воротничок. Углы воротничка доходили до ушей, как носили в то время. Крахмаленная манишка и черный атласный стоячий галстук дополняли его туалет.

Общество «горных», как называли их, резко отличалось тогда от всего сибирского общества. Это были всё люди науки, образованные и культурные. Большая часть из них, кончив Горный корпус, ныне институт, в Петербурге, отправлялись доканчивать свое образование за границу в знаменитую Горную академию в Фрейберге, близ Дрездена. Жены «горных» были или из Петербурга, или иностранки. Получая громадные деньги, они жили чрезвычайно широко. <...>

Говоря о Змеиногорске, я не могу умолчать о знаменитом Колыванском озере, находившемся в 18 верстах от рудника. Все посещавшие Змеиногорск считали долгом побывать на его берегах. Знаменитый барон А. Гумбольдт при виде этой чудной картины природы был очарован и говорил, что, изъездив весь свет, не видел более красивого места.

Не мог я устоять, чтобы не побывать там. Федору Михайловичу нездоровилось; он был опять не в духе и остался дома.

Мы же большой компанией двинулись в путь, но, как я уже говорил, у «горных» был во всем широкий размах. Забрали запасы всякой еды и пития, повара, палатки, музыку, — одним словом, раздолье полное. Чудный солнечный день способствовал общему приподнятому настроению, и мужья и жены все были веселы и беззаботны.

Колыванское озеро небольшое, очень узкое в ширину, а в длину извивается среди высоких скал и ущелий на несколько верст. День был чудный, солнечный, тихий; поверхность озера была неподвижна и, как зеркало, отражала голубую синеву безоблачного неба.

Мы расположились на плоской стороне озера, близ высокой, сажен в двадцать, одинокой скалы, окруженной

зеленым ковром пушистой травы. На противоположном берегу тянулись очень высокие скалы, по которым было разбросано все, что воображению угодно представить: замки, башни, зубчатые стены крепости, величественные статуи, — словом, какое-то фантастическое зрелище.

Одинокая скала, у подножья которой мы расположились лагерем, заканчивалась башней с огромным природным окном посередине. Забрался я на самую вершину с величайшим трудом, — пришлось карабкаться вверх, держась за веревку, спущенную сверху; ко мне присоединилась еще одна неустрашимая дама, нарядившаяся для удобства восхождения в особую обувь с крупными гвоздями на подошве.

Много горных озер видел я на своем веку, но того очарования, которое охватило меня здесь, я и теперь забыть не могу. Просто как завороженные смотрели мы, не отрывая глаз, сил не было уйти. Я очень пожалел, что с нами не было Достоевского; полагаю, что такая дивная красота природы пробудила бы влечение к ней у самого равнодушного. А что меня всегда поражало в Достоевском, — это его полнейшее в то время безразличие к картинам природы — они не трогали, не волновали его. Он весь был поглощен изучением человека, со всеми его достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для него второстепенным. Он с искусством великого анатома отмечал малейшие изгибы души человеческой... <...>

Из немногих посещавших нас последнее время лиц, помню, между прочим, заехал проездом, чтобы повидать Достоевского, молодой, премилый офицер-киргиз, воспитанник Омского кадетского корпуса, внук последнего хана Средней орды Мухамед Ханафия-Валиханов (имя Валиханова упоминается в последних письмах Достоевского ко мне)[23].

Он познакомился с Федором Михайловичем в Омске у Ивановых и очень полюбил его. <...> Валиханов имел вид вполне воспитанного, умного и образованного человека. Мне он очень понравился, и Достоевский очень был рад повидать его. Впоследствии я встречал его в Петербурге и Париже. Как я узнал, вскоре он погиб, бедняга, от чахотки — петербургский климат доконал его. <...>

Еще в половине августа, находясь по делам службы в Бийске, я неожиданно получил очень возбужденное письмо от Достоевского. Он извещал меня о смерти

Исаева. Все письмо дышит самой трогательной заботливостью о Марии Дмитриевне[24]. <...>

Привязанность Достоевского к Исаевой всегда была велика, но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель В<ергунов>[25], товарищ ее покойного мужа, личность, как говорили, совершенно бесцветная. Я его не знал и никогда не видал. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклоняться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счастии и спокойствии Исаевой.

А как тягостно было его состояние духа, удрученное желанием устроить Марию Дмитриевну, видно из его писем; например, вот несколько строк из письма Достоевского к Майкову от 18 января 1856 года:

«Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня».

Да и все письма ко мне Достоевского, после моего отъезда из Семипалатинска, в этот период его жизни переполнены тревогой о Марии Дмитриевне (письма эти помещаются ниже). Он доходил до полного отчаяния. 13 апреля 1856 года он пишет мне, в каком грустном, ужасном положении он находится; что если не получит от брата нужные для поездки в Кузнецк сто рублей, то это доведет его до «отчаяния». «Как знать, что случится». Надо полагать, он намекает на нечто трагическое, а что он допускал исход в подобных случаях трагический — возможно предполагать: не раз на эту тему бывали у нас с ним беседы, и в письме ко мне от 9 ноября 1856 года он говорит:[26] *«Тоска моя в последнее время о Вас возросла донельзя (я в последнее время сверх того был часто болен). Я и вообразил, что с Вами случилось что-нибудь трагическое, вроде того, о чем мы с Вами когда-то говорили».* В письме ко мне от 13 апреля 1856 года он прибавляет: *«Не для меня прошу, мой друг, а для всего, что только теперь есть у меня самого дорогого в жизни».*

В письме от 23 мая 1856 года он пишет: *«Дела мои ужасно плохи, и я почти в отчаянии. Трудно перестрадать, сколько я выстрадал».* В письме от 14 июля 1856

года: *«Я как помешанный... теперь уж поздно».* В письме от 21 июля: *«Я трепещу, чтоб она не вышла замуж... Ей-богу — хоть в воду, хоть вино начать пить».*

«Если б Вы знали, как я теперь нуждаюсь в Вашем сердце. Так бы и обнял Вас, и, может быть, легче бы мне стало. Так невыносимо грустно. Я хоть и знаю, что если Вы не приедете в Сибирь, то конечно потому, что Вам гораздо выгоднее будет остаться в России, но простите мой эгоизм: и сплю и вижу, чтоб поскорее увидеть Вас здесь. Вы мне нужны, так нужны!..»

Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике — учителе В<ергунове>. В одном письме ко мне, о котором упоминает Орест Миллер в своем сборнике и которое затеряно, Достоевский пишет: *«на коленях» готов за него (за учителя В<ергунова>) просить.* Теперь он мне дороже брата родного, не грешно просить, он того стоит... Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь — подумайте, и будьте мне братом родным»[27]. Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого.

Но вот 21 декабря 1856 года судьба, наконец, улыбнулась Федору Михайловичу. В письме от 21 декабря 1856 года Достоевский пишет мне: *«Если не помешает одно обстоятельство,* то я до масленицы ж е н ю с ь, — Вы знаете на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сама мне сказала: «Да». *То, что я писал Вам об ней летом,* слишком мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо мое. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности... Еще летом по письмам ее я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»

Так благополучно, наконец, завершился роман Достоевского, который захватил его всего, стоил ему бессонных ночей, тревоги, здоровья и денег, но... едва ли дал ему настоящее счастье. <…>

Вернувшись в Семипалатинск из Барнаула, я нашел Достоевского осунувшимся, похудевшим, грустным, совсем убитым. С моим приездом Федор Михайлович приободрился, но мне пришлось его огорчить, сообщив ему о моем скором отъезде из Семипалатинска.

Последние дни перед отъездом пролетели быстро. В конце декабря[28] я собрался в путь. Федор Михайлович весь день со мной не расставался, помогал мне укладываться...

Оба мы были в грустном, тревожном состоянии. Невольно набегала мысль... увидимся ли?!

Мы оба, смею думать, в эти два года тесно сжились, полюбили друг друга, привязались, делили радости и горести сибирской жизни, выкладывали, как говорится, друг другу душу. А как это дорого в тяжелые минуты оторванности от всего дорогого, как облегчает это — поймет всякий, кому случалось быть в таких условиях.

И вот, действительно, по отъезде моем он пишет мне ряд дружеских, трогательных писем, он томится в одиночестве. В письме ко мне от 21 декабря он пишет:

«Хочу говорить с Вами по-прежнему, как бывало в Семипалатинске, когда Вы для меня были всем: и другом и братом, и когда мы оба делили друг с другом свои заботы... *сердечные»*.

Жутко мне было покидать его!

Я был молод, здоров, полон розовых надежд.

А он?.. он, этот Богом отмеченный великий талант, волею судеб оставался здесь, в этих дебрях, бессрочным солдатом, заброшенный, больной, одинокий, без опоры, без слова сочувствия, лишаясь во мне последнего друга! От всей души было мне жаль его...

Но... настал и час моего отъезда.

Уже смеркалось.

Вышел Адам, забрал чемоданы, мы обнялись крепко-крепко. Расцеловались и дали слово друг друга не забывать. Как умел, старался я его ободрить и обнадежить.

Оба мы, как и в первое свидание, прослезились.

Уселся я в кибитку, обнял в последний раз моего бедного друга.

Ямщик дернул вожжи, рванулась вперед моя тройка... и поскакал я.

Я оглянулся еще раз назад: в вечернем мраке еле виднелась понурая фигура Достоевского.

Я мчался... куда?.. на что?..

Не раз думы мои возвращались в Семипалатинск, в унылую избушку покинутого друга.

Но Бог милостив, думал я со свойственным молодости оптимизмом и мчался дальше и дальше, по необозримой степи, необозримой и таинственной, как ожидавшая судьба нас обоих.

З. А. СЫТИНА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Известный наш писатель Федор Михайлович Достоевский, отбыв установленный срок в Омском крепостном остроге, был определен на службу рядовым в 7-й линейный батальон, расположенный в городе Семипалатинске. Получив вскоре первый чин прапорщика, он женился на вдове, Марье Дмитриевне Исаевой. Я в первый раз увидала Федора Михайловича, когда он с молодой женой приехал с визитом к моему отцу, Артемию Ивановичу Гейбовичу, который был его ротным командиром; мне было тогда десять лет.

Глубоко сожалею, что нет давно в живых моих отца и матери, которые были очень дружны с Федором Михайловичем и Марьей Дмитриевной и могли бы много рассказать о нем, так как знали его коротко и часто вели с ним задушевные беседы. Знакомство их продолжалось три года, и они расстались друзьями. Печатаемое ниже письмо Достоевского, посланное из Твери к моему отцу в город Аягуз, ныне Сергиополь, достаточно выясняет их теплые, дружеские отношения. Сибирские друзья Достоевского и его сослуживцы большею частью умерли, оставшиеся же в живых, прочтя сообщаемое мною в редакцию «Исторического вестника» в подлиннике письмо и увидев портрет Федора Михайловича в офицерском платье, подаренный моему отцу, наверно, вспомнят своего бывшего товарища и сослуживца, этого добрейшего высоконравственного человека, хорошего семьянина и доброго, верного друга. По крайней мере, таким был Достоевский в Сибири и таким мы все его помним.

Федор Михайлович очень уважал и любил все наше семейство; особенным же вниманием и расположением

его пользовались я и моя сестра, Лиза. Достоевские часто нас приглашали к себе, и мы бывали у них с отцом или матерью; иногда случалось, что заедут к нам Федор Михайлович или Марья Дмитриевна и увезут нас к себе. Мы очень любили бывать у Достоевских потому, что они были всегда очень добры и ласковы к нам, кормили нас всевозможными сластями и дарили нам разные вещицы. В то время у нас, в Семипалатинске, были в большой моде папиросы фабрики Михаила Михайловича Достоевского, брата покойного писателя, продававшиеся в ящиках. Ящик для папирос был длинный и не широкий, вроде сигарного; не знаю, сколько там было сотен папирос, но ящик был разделен пополам перегородкой — в одной половине были папиросы, в другой какой-нибудь сюрприз: фарфоровая вещица, ложка или тому подобное. Эти папиросы продавались в Семипалатинске, кажется, по четыре рубля за ящик. Федор Михайлович часто покупал эти папиросы, и тогда для нас был праздник: все прилагаемые к ним подарки Федор Михайлович дарил нам. У меня и до настоящего времени хранится из этих подарков маленькая корзинка из перламутра, оправленная в бронзу с красным камнем на ручке. Но больше всего нам нравилось у Достоевского то, что Федор Михайлович позволял нам сидеть в своем кабинете, давал нам книги, и мы, погруженные в чтение, забывали все на свете.

В одно из таких наших посещений, когда мы были углублены в чтение священной истории Нового Завета, Зонтаг, — Федор Михайлович вынул из шкафа книгу в переплете[1] и, подавая ее нам, сказал:

— Вот вам, дети, книга, когда придете домой, то прочтите ее со вниманием, и, когда я приеду к вам, вы мне скажете, понравится она вам или нет.

Придя домой, мы тотчас раскрыли книгу, и одна из нас начала читать вслух, а другая со вниманием слушать. Первой в этой книге была повесть «Бедные люди». Мы прочли страницу, другую, и нас одолела страшная скука! Бросив скучное чтение, мы заглянули в конец книги, и, о радость! там были всё стихи. Одни из них носили заглавие «Помещик»[2] и, кажется, начинались так:

Приятной летнею порой,
Под липками, часу в десятом,
Сидел помещик столбовой,
Покрытый стеганым халатом,
Курил он молча, не спеша, — и проч.

Это было большое стихотворение, но мы все-таки его выучили наизусть, слово в слово. Далее были еще стихи, воспевавшие, как обманутая девушка идет ворожить к колдунье, и когда она входит в дверь, то:

На дворе собаки, кошки, —
Оглушил их дикий хор;
Показался свет в окошке,
Дверь шатнулась, дверь скрипит.
Дева входит и дрожит.
Долгоносая чухонка
На красавицу глядит;
На руках ее болонка,
Скалит зубы и ворчит...
Вишь, тебя в какую пору
Сила вражья принесла!
Ну, зачем сюда пришла?.. — и проч.

В течение следующего утра мы вытвердили и эти стихи наизусть. Через несколько дней, как теперь помню, это было после обеда, часа в четыре, день был летний, хороший, Федор Михайлович и Марья Дмитриевна приехали за нами и увезли нас за город смотреть медведя. Когда мы возвращались оттуда, в самом хорошем настроении духа, Федор Михайлович спросил нас:

— Читали вы книгу, которую я дал вам?

— Как же, Федор Михайлович. Читали.

— Понравились вам «Бедные люди»? Расскажите мне, какое произвели на вас впечатление, когда читали их?

— Мы их вовсе не читали, Федор Михайлович, — отвечали мы на его вопрос, — начали было, да уж очень скучно показалось, так и бросили читать; но зато какие в этой книге стихи есть, мы все их выучили наизусть: как помещик, осматривая свое хозяйство, нашел беспорядки и распек мужиков:

Пришел в ужасное волненье,
Клялся, что будущей зимой
Всё с молотка продаст имение, —
И медленно пошел домой... — и проч.

Все это мы рассказывали с большим увлечением, перебивая одна другую, как вдруг заметили, что лицо у него сделалось бледное, печальное. Мы сейчас же присмирели и, разумеется, остальных стихов не досказали. А Марья Дмитриевна засмеялась и говорит:

— Не огорчайся, Федечка, — они еще дети, и понятно, что им больше нравятся стихи.

Памятен мне домик, где жил Достоевский в городе Семипалатинске. Он состоял из четырех комнат: первая

маленькая комната была столовой, рядом спальня, налево из первой комнаты гостиная — большая угловая комната, а из гостиной налево дверь в кабинет. Меблированы комнаты были просто, но очень удобно: в гостиной диван, кресла и стулья были обиты тисненым дорогим ситцем, с красивыми букетами, перед диваном стоял стол, а возле кабинетной двери налево диванчик в виде французской буквы S и несколько маленьких столиков. У углового окна стояло кресло, на котором любил сидеть Федор Михайлович, и близ окна куст волкомерии в деревянной кадочке. На окнах и дверях висели занавеси; в остальных комнатах также было убрано мило, просто и уютно.

Прислугой у Достоевских был один денщик, по имени Василий, которого они раньше отдавали учить кулинарному искусству; в продолжение всей военной службы Достоевского он был у них поваром, лакеем и кучером; Достоевские отзывались о нем как о человеке незаменимом. Во время болезни Федора Михайловича, когда с ним случались припадки эпилепсии, Василий ходил за ним, как за ребенком. Уезжая, Федор Михайлович передал его отцу моему, и он жил у нас долго, с 1859 и по 1865 год, почти ежедневно вспоминая о своих добрых господах Достоевских.

При скромной обстановке, Федор Михайлович вел и жизнь самую скромную, бывал у своих избранных друзей и хороших знакомых, но большею частью проводил время дома за литературным трудом. В карты Достоевский не играл, хотя часто имел порядочные деньги.

Читая разные мнения о Федоре Михайловиче Достоевском, в особенности те, которые основаны на тех его письмах к брату и друзьям, где он просит денег или говорит о деньгах, из чего выводится заключение, что он был жадный человек, — я нахожу такой вывод ошибочным. Не знаю последующей жизни Достоевского в России, но жизнь его в Сибири показала, что это был за человек и зачем ему нужны были деньги. Получаемые им из России деньги расходовались, кроме домашних нужд, которые были очень умеренны, большею частью на бедных. Я очень хорошо знаю, что Достоевский долго содержал в Семипалатинске слепого старика татарина с семейством, и я сама несколько раз ездила с Марьей Дмитриевной, когда она отвозила месячную провизию и деньги этому бедному слепому старику.

Достоевский делал много таких благодеяний, о которых, конечно, я не знала.

Бывая у Достоевских, я часто находила там одного солдата. Это был поляк по фамилии Нововейский. Не знаю, был ли он разжалован в солдаты, или просто служил по набору, но Федор Михайлович очень любил его. Когда он приходил, Достоевский всегда приглашал его садиться, разговаривал с ним долго, угощал чаем или оставлял обедать. Нововейский был тихий, скромный, болезненный человек. Вскоре он женился, и я встречала его несколько раз у Достоевских вместе с женой; она носила повязку, какие носят у нас в Сибири все женщины из простого народа. Федор Михайлович и Марья Дмитриевна были очень любезны к обоим Нововейским, и я слыхала от моей покойной матери, что Федор Михайлович много помогал им в материальном отношении.

У Федора Михайловича было немало знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще, для нас, сибиряков, Достоевский личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моих отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все, знавшие его в Сибири. В 1872 году, в первых числах сентября, я проезжала чрез город Семипалатинск, посетила своих старых знакомых, и в том числе капитана М. В. К., товарища моего покойного отца и сослуживца Достоевского. Мы пошли осматривать Семипалатинск. Проходя по одной улице, К. остановил меня и сказал: «Вот в этом домике жил Достоевский». Это было сказано с такой любовью, с таким благоговением, что трудно передать впечатление, какое произвели на меня эти простые слова.

В 1858 году Федор Михайлович подарил моему отцу свой портрет, и он в продолжение 25 лет свято хранился в нашем семействе... Копия с него прилагается к настоящей книжке «Исторического вестника».

Уезжая, Федор Михайлович подарил моему отцу б*о*льшую часть своей библиотеки и целую коллекцию древних чудских вещей, состоявшую из колец, монет, серебряных и медных, браслет, серег, различных бус, изломанных копий и разных мелких вещиц из серебра, меди, железа и камня. Отец мой сделал для этих вещей особый ящик из нескольких отделений, где они были разложены в порядке.

В 1863 или 1864 году, через город Сергиополь, где в то время мой отец был городничим, проезжал начальник штаба, полковник Бабков. Явясь по службе к полковнику, который был очень любезен с отцом, последний в разговоре, между прочим, упомянул, что имеет древние вещи от Достоевского. Г. Бабков просил показать их и, увидев, посоветовал отправить в Петербург в Археологическое общество и даже любезно предложил взять эти вещи с собой и при случае, когда будет в Петербурге, показать кому следует. Мой отец к этим вещам прибавил еще несколько замечательно художественных изделий из глины, работы сосланного в город Тобольск известного Цейзика. Из этих изделий я помню только образ святой Варвары-великомученицы и несколько миниатюрных картин из сельской жизни. Отец мой в 1865 году умер, так и не дождавшись никакого ответа от г. Бабкова, и дальнейшая участь этих древних вещей, подаренных моему отцу Федором Михайловичем Достоевским, мне до сих пор не известна. Вот все, что я знаю из жизни Достоевского. Воспоминания мои о Достоевском не обильны какими-нибудь важными или особенно интересными фактами, но я пишу их в надежде, что, читая эти строки, прежние знакомые и сослуживцы Федора Михайловича, которые еще остались в живых и хорошо его помнят, откликнутся и, может быть, также напишут свои воспоминания о нем, более любопытные, нежели мои.

Н. Н. СТРАХОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Считаю своим долгом записать все сколько-нибудь важное и интересное, что сохранила мне память о Федоре Михайловиче Достоевском. Я был довольно долгое время очень близок к нему, особенно когда работал в журналах, которых он был руководителем. Поэтому от меня больше всего можно требовать и ожидать изложения его мнений и настроений во время этой его публичной деятельности. Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и чувства, и я постараюсь изложить их, как умею, насколько помню и насколько успел понять. Судьбу этих журналов, историю их превратностей едва ли кто другой может теперь рассказать с такою полнотой, как я; а эта история имела важное значение в жизни Федора Михайловича и составляет важную сторону его писательства. Постараюсь также со всею искренностию и точностию указать его личные свойства и отношения, какие мне довелось узнать. Но главным моим предметом будет все же литературная деятельность нашего писателя. В истории литературы он останется памятным не только как художник, как автор романов, но и как журналист; и всего удобнее мне начать свои воспоминания именно с указания на его журналистику.

I

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Журнальная деятельность Федора Михайловича, если взять все вместе, имеет очень значительный объем. Он питал к этого рода деятельности величайшее

расположение, и последние строки, им написанные, были статьи последнего номера его «Дневника».

Издания, в которых он являлся как журналист, то есть как редактор, публицист и критик, были следующие:

1) «Время», ежемесячный толстый журнал, издававшийся под редакциею брата Федора Михайловича, Михайла Михайловича Достоевского, с января 1861 по апрель 1863 (включительно).

2) «Эпоха», такой же журнал, выходивший с начала 1864 года по февраль 1865 (включительно), сперва под редакциею того же Михайла Михайловича Достоевского, а с июня 1864 года, после его смерти, под редакциею А. У. Порецкого (ныне уже покойника) [1].

3) «Гражданин», издание, основанное в 1872 году князем В. П. Мещерским, еженедельная газета. Редактором ее в первый год был *Г. К. Градовский,* а в следующий, 1873, — Федор Михайлович [2]. Здесь Федор Михайлович начал писать фельетоны под заглавием «Дневник писателя»; это был зачаток следующего издания.

4) «Дневник писателя». Ежемесячное издание. Выходил в 1876 и 1877 годах. В 1880 году вышел один номер за август; в 1881 вышел январский номер уже по смерти своего редактора [3].

Дух и направление этих журналов составляют совершенно особую полосу в петербургской журналистике, отличающейся, как известно, большою однородностию в своих стремлениях, вероятно, вследствие однородности тех условий, среди которых она развивается. Деятельность Федора Михайловича шла вразрез с этим общим петербургским настроением, и преимущественно он, силою таланта и жаром проповеди, дал значительный успех другому настроению, более широкому, — русскому, а не петербургскому.

Попытаюсь последовательно указать ход этого дела. Мое знакомство с Федором Михайловичем началось именно на журнальном поприще, притом еще раньше, чем стало выходить «Время». В конце 1859 года было объявлено об издании в следующем году нового ежемесячного журнала «Светоч», под редакциею *Д. И. Калиновского.* Главным сотрудником в этом журнале был А. П. Милюков, в то время мой сослуживец по одному из учебных заведений [4]. Я предложил ему для первого же номера свою статью, первую большую статью, с которою я выступал на петербургское журнальное поприще [5].

К великой радости, статья была одобрена, и Александр Петрович пригласил меня в свой литературный кружок, на свои вторники, в Офицерской улице, в доме Якобса. С первого вторника, когда я явился в этот кружок, я считал себя как будто принятым, наконец, в общество настоящих литераторов и очень всем интересовался. Главными гостями Александра Петровича оказались братья Достоевские, Федор Михайлович и Михаил Михайлович, давнишние друзья хозяина и очень привязанные друг к другу, так что бывали обыкновенно вместе. Кроме их, часто являлись А. Н. Майков, Вс. Вл. Крестовский, Д. Д. Минаев, доктор С. Д. Яновский, А. А. Чумиков, Вл. Д. Яковлев и другие. Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович: он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал. Кружок был невелик, и члены его были очень близки между собою, так что стеснения, столь обыкновенного во всех русских обществах, не было и следа. Но и тогда была заметна обыкновенная манера разговора Федора Михайловича. Он часто говорил с своим собеседником вполголоса, почти шепотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос. Впрочем, в то время его можно было назвать довольно веселым в обыкновенном настроении; в нем было еще очень много мягкости, изменявшей ему в последние годы, после всех понесенных им трудов и волнений. Наружность его я живо помню; он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица. Помню также, как я в первый раз увидел, почти мельком, его первую жену, Марью Дмитриевну; она произвела на меня очень приятное впечатление бледностию и нежными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки; видно было и расположение к болезни, которая свела ее в могилу[6].

Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мне довелось пройти, школа, во многом расходившаяся с теми мнениями и вкусами, которые у меня сложились. До того времени я жил тоже в кружке, но в своем, не публичном и литературном, а совершенно частном. Таких кружков всегда существует очень много в Петербурге, кружков часто любознательных, читающих, вырабатывающих себе свои особенные

пристрастия и отвращения, но иногда вовсе не стремящихся к публичности.

Мое знакомство этого рода состояло из людей моложе меня возрастом; назову из живых Д. В. Аверкиева, из покойных М. П. Покровского, Н. Н. Воскобойникова, В. И. Ильина, И. Г. Долгомостьева, Ф. И. Дозе *. Тут господствовало большое поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке; настроение было очень серьезное и хорошее. И тут сложились взгляды, с которыми я вступил в чисто литературный кружок.

В то время я занимался зоологиею и философиею и потому, разумеется, прилежно сидел за немцами и в них видел вождей просвещения. У литераторов оказалось другое; все они очень усердно читали французов и были равнодушны к немцам. Всем известно было, что М. М. Достоевский составляет исключение, владея немецким языком так, чтобы читать на нем и делать переводы. Федор же Михайлович хотя, конечно, учился этому языку, но, как и другие, совершенно его забросил и до конца жизни читал только по-французски. В ссылке он, как видно, предполагал взяться за серьезные занятия и просил брата выслать ему историю философии Гегеля в подлиннике; [7] но книга осталась нечитаною, и он подарил ее мне вскоре после первого знакомства.

Естественно, что и направление кружка сложилось под влиянием французской литературы. Политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы. Художник, по этому взгляду, должен следить за развитием общества и приводить к сознанию нарождающееся в нем добро и зло, быть поэтому наставником, обличителем, руководителем; таким образом, почти прямо заявлялось, что вечные и общие интересы должны быть подчинены временным и частным. Этим публицистическим направлением Федор Михайлович был вполне проникнут и сохранял его до конца жизни.

Дело художественных писателей полагалось главным образом в том, чтобы наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием *среды,* под влиянием окружающих обстоятельств[8]. У литераторов было в привычке заходить при случае в самые грязные

---

* Эти имена потом все стали принадлежать литературе, хотя участие иных было и чрезвычайно малое, даже вовсе незаметное. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

и низкие места, вступать в приятельские разговоры с людьми, которыми гнушается купец и чиновник, и сострадательно смотреть на самые дикие явления[9]. Разговор в кружке беспрестанно попадал на тему различных типов такого рода, и множество остроумия и наблюдательности было обнаруживаемо в этих *физиологических* соображениях. На первых порах меня очень удивляло, когда суждения о человеческих свойствах и действиях произносились не с высоты нравственных требований, не по мерилу разумности, благородства, красоты, а с точки зрения неизбежной власти различных влияний и неизбежной податливости человеческой природы. Особенное настроение мыслей Федора Михайловича, стоящее выше этой физиологии, открылось мне ясно только впоследствии, и сначала я не замечал его в общем потоке новых для меня взглядов.

Очевидно, это направление мыслей сложилось под влиянием французской литературы, было одно из направлений *сороковых годов,* тех плодовитых годов, когда Европа, кипевшая особенно сильно духовною жизнью, производила на нас, русских, большое влияние и посеяла у нас семена, которые долго потом развивались. Впоследствии мне стал понятен и часто удивлял меня этот процесс *отставания* от Европы, беспрестанно у нас повторяющийся. После 1848 года на Западе совершился перелом настроения: радостные надежды потускли, нравственный уровень опустился, обнаружилась страшная болезнь и стали господствовать тоска и пессимизм. Чуткий Герцен, видевший эту историю своими глазами, высказывал безвыходное отчаяние[10]. Между тем в России ничего этого не было заметно; едва ли было когда у нас в литературе такое радостное и оживленное настроение, как с 1856 по 1862 год, до петербургских пожаров;[11] мы нимало и ни в чем не были разочарованы, и каждый спокойно отдавался любимым мыслям, проповедуя то, что уже потеряло вес или получило уже новый смысл в Европе. Что касается до меня, то я в литературном отношении тоже принадлежал к одному из направлений сороковых годов, но еще более старому, чем литературный кружок, о котором идет речь, к тому направлению, для которого верхом образования было *понимать Гегеля* и *знать Гете наизусть.* Поэтому, и по другим причинам разногласия, настроение кружка резко бросилось мне в глаза.

В основании этого настроения, конечно, лежало прекрасное чувство, гуманность, сострадание к людям,

попавшим в трудное положение, и прощение им их слабости. В самом деле, легко провиниться в некоторой жестокости, когда мы указываем ближним неисполненные требования, — даже если это нравственные требования. Поэтому литературный кружок, в который я вступил, был для меня во многих отношениях школою гуманности. Но другая черта, поразившая меня здесь, представляла гораздо большую неправильность. С удивлением замечал я, что тут не придавалось никакой важности всякого рода *физическим* излишествам и отступлениям от нормального порядка. Люди, чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большею частию сами чуждые какой-нибудь физической распущенности, смотрели, однако, совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили об них как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно в свободную минуту. Безобразие духовное судилось тонко и строго; безобразие плотское не ставилось ни во что. Эта странная *эманципация плоти* действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспомнить. Из числа людей, с которыми пришлось мне сойтись на литературном поприще, особенно в шестидесятых годах, некоторые на моих глазах умирали или сходили с ума от этих физических грехов, которыми они так пренебрегали. И погибали вовсе не худшие, а часто те, у кого было слабо себялюбие и жизнелюбие, кто не расположен был слишком бережно обходиться с собственною особой. О некоторых случаях этого рода, может быть, придется мне далее говорить. Но придется, конечно, умолчать о многих других бедах, порожденных вредным учением, бедах не довольно страшных для печати, но в сущности иногда не уступающих смерти и сумасшествию.

Что касается взглядов на искусство, на задачи художников, то тогда, в начале моего знакомства с литературным миром, меня не могло не удивлять господство узкой теории, требовавшей служения современной минуте. Сам я держался обыкновенной немецкой теории *свободы художника,* той теории, которая сложилась в немецкой философии, проникла к нам еще при жизни Пушкина и которой много обязана наша литература. Люди с художественным талантом, под влиянием этого эстетического учения, берегли и холили свой талант, давая ему простор,

и потому привыкали к искренности, правдивости, к широкому, беспристрастному взгляду на предметы. Итак, я не без удивления и не без противоречия слушал разговоры о современном значении различных литературных явлений и об усилиях уловить последнюю и новейшую черту в общественной жизни. Федор Михайлович был также чрезвычайно этим занят; из его литературной деятельности уже видно, как он был предан такому служебному направлению. Эта деятельность ясно распадается на два отдела: первый, от «Бедных людей» до «Преступления и наказания», ясно носит на себе влияние Гоголя — по кругу предметов и задач; второй, более самостоятельный, от «Преступления и наказания» и до конца, весь посвящен нарождающимся общественным явлениям и главной нашей внутренней болезни, нигилизму.

Но, твердо держась этого служения минуте, беспрестанно вдумываясь в современные явления и гордясь их уловлением в своих произведениях, Федор Михайлович в то же время готов был ставить выше всего строгие требования искусства и был почти безукоризненно чист от всякой исключительности. Хотя он всегда искал в произведениях искусства какого-нибудь современного или национального значения, но художество само по себе восхищало его без всяких условий, и под конец жизни он прямо стал твердить знаменитую формулу *искусства для искусства.* Это противоречие постоянно жило в нем, как и многие другие противоречия в мыслях и действиях, конечно, находившие себе примирение в глубине его души и во многих случаях, очевидно, спасавшие его от ложных и ненормальных путей; подымаясь над этими противоречиями, он восходил на те высоты, которые дали такое прекрасное настроение всей его деятельности. В настоящем случае это как нельзя яснее: постоянное стремление к настоящей художественности дало произведениям Федора Михайловича ту ширину и глубину, которой никогда бы в них не было при узком понимании задачи.

Здесь кстати вообще сказать, что читатель в этих и следующих заметках не должен видеть попытки вполне изобразить покойного писателя; прямо и решительно отказываюсь от этого. Он слишком для меня близок и непонятен. Когда я вспоминаю его, то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души. В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли

и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться. Поэтому и литературная деятельность его растет и расширяется какими-то порывами, не подходящими под обыкновенную форму развития. После ровного ее течения, и даже как будто ослабления, он вдруг обнаруживал новые силы, показывался с новой стороны. Таких подъемов можно насчитать четыре: первый — «Бедные люди», второй — «Мертвый дом», третий — «Преступление и наказание», четвертый— «Дневник писателя». Конечно, всюду это тот же Достоевский, но никак нельзя сказать, что он вполне высказался; смерть помешала ему сделать новые подъемы и не дала нам увидеть, может быть, гораздо более гармонических и ясных произведений.

С чрезвычайной ясностию в нем обнаруживалось особенного рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неколеблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства. Он сам иногда говорил об этом свойстве и называл его рефлексиею. Следствием такого душевного строя бывает то, что человек сохраняет всегда возможность судить о том, что наполняет его душу, что различные чувства и настроения могут проходить в душе, не овладевая ею до конца, и что из этого глубокого душевного центра исходит энергия, оживляющая и преобразующая всю деятельность и все содержание ума и творчества.

Как бы то ни было, Федор Михайлович всегда поражал меня широкостию своих сочувствий, уменьем понимать различные и противоположные взгляды. При первом знакомстве он оказался величайшим поклонником Гоголя и Пушкина и безмерно восхищался ими с художественной стороны. Помню до сих пор, как в первый раз услышал я его чтение стихов Пушкина. Его заставил читать Михаил Михайлович, очевидно благоговевший перед братом и с наслаждением его слушавший. Федор Михайлович читал два удивительных отрывка: «Только что на проталинах весенних» и «Как весенней теплою порою», которые ценил очень высоко и из которых последний потом выбрал для чтения и на *Пушкинском празднике*[12]. В первый раз я их услышал от него за двадцать лет до этого праздника, и помню мое разочарование: Федор Михайлович читал очень хорошо, но тем несколько подавленным, пониженным голосом, которым

обыкновенно читают стихи неопытные чтецы. Помню и другие его чтения стихов и прозы: положительно он не был тогда вполне искусным чтецом. Упоминаю об этом потому, что в последние годы жизни он читал удивительно и совершенно справедливо приводил публику в восхищение своим искусством [13].

Гоголь был в конце пятидесятых годов еще в свежей памяти у всех, особенно у литераторов, употреблявших беспрестанно в разговоре его выражения. Помню, как Федор Михайлович делал очень тонкие замечания о выдержанности различных характеров у Гоголя, о жизненности всех его фигур, Хлестакова, Подколесина, Кочкарева и пр. Вообще литература, в те времена, имела еще для всех такое значение, какого она уже не имеет для нынешних поколений. Сам же Федор Михайлович был предан ей всем сердцем, и не только воспитался на Пушкине и Гоголе, но и постоянно ими питался. Когда его речь на Пушкинском празднике затмила все другие речи и доставила ему торжество, о котором трудно составить понятие тому, кто не был сам его свидетелем, мне не раз приходило на мысль, что эта награда далась Федору Михайловичу по всей справедливости, что из всей толпы хвалителей и почитателей, конечно, никто больше его не любил Пушкина.

II

ОСНОВАНИЕ «ВРЕМЕНИ»

Весь 1860 год мы только почти у А. П. Милюкова виделись с Федором Михайловичем. Я с уважением и любопытством слушал его разговоры и едва ли сам что говорил; но в «Светоче» шел ряд небольших моих статей натурфилософского содержания, и они обратили на себя внимание Федора Михайловича [14]. Достоевские уже собирали тогда сотрудников: в следующем году они решились начать издание *толстого* ежемесячного журнала «Время» и заранее усердно приглашали меня работать в нем. Хотя я уже имел маленький успех в литературе и обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова [15] и Ап. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Федору Михайловичу, который с тех пор отличал меня, постоянно ободрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинства моих писаний. Читатели могут, конечно, смотреть на это как на ошибку с его стороны, но я должен был

упомянуть об этом факте, хотя бы как образчике его литературных пристрастий, и охотно сознаюсь, что, несмотря на подшептывания самолюбия, часто сам видел преувеличение в важности, которую придавал Федор Михайлович моей деятельности.

В сентябре 1860 года при главных газетах и при афишах было разослано объявление об издании «Времени». Так как это объявление несомненно писано Федором Михайловичем и так как оно представляет изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей, то мы приведем его целиком.

«С января 1861 года будет издаваться «ВРЕМЯ»

журнал литературный и политический ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата

Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Всё это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. *Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным* * и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

---

* Курсива нет в подлиннике; здесь печатаются курсивом места, которые, по моему мнению, всего яснее выражают главные мысли объявления. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя — иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями, показывает, какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, чт*о* он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. *Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена.* Все,

последовавшие за Петром, узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. *Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал.* Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. *Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности.* Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь, кажется, и *мы вступаем в новую жизнь.*

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным

началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны, наконец, понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом *согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее — вот наша передовая мысль, вот девиз наш.*

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с н и м , —вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, *кому дорого русское имя,* всеми, кто любит народ и дорожит его счастием. А счастие его — счастие наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но, пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования, усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую п р и ч и н у , — побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но, заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда

даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрогиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках

и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки — наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской. Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:

ПРОГРАММА

I. *Отдел литературный.* Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. *Критика и библиографические заметки,* как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

III. *Статьи ученого содержания.* Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.

IV. *Внутренние новости.* Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

V. *Политическое обозрение.* Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

VI. *Смесь,* а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. b) Фельетон. с) Статьи юмористического содержания.

Из этого перечня видно, что все, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.

Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.

«Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.

Редактор *М. Достоевский.*

«Печатать позволяется. СПб. 6-го сент. 1860 г. Цензор А. Ярославцев».

Федор Михайлович, конечно, желал бы быть и объявить себя прямым редактором журнала; но он тогда состоял под надзором полиции, почему и потом не мог быть утвержден редактором «Эпохи». Только в 1873 году это препятствие было устранено, и он был официально объявлен редактором «Гражданина». Так как оба брата жили душа в душу, то сначала вышло прекрасное раз-

деление труда; все материальные хлопоты принял на себя Михайло Михайлович, а умственное руководство принадлежало Федору Михайловичу.

Это объявление заслуживает величайшего внимания. Без сомнения, оно было старательно обдумано и обработано Федором Михайловичем, и, очевидно, оно содержит некоторые мысли и стремления, характеризующие всю его дальнейшую деятельность. Как я уже заметил, направление его было своего рода славянофильством; и в подтверждение этого можно сослаться в объявлении на признание разрыва между народом и интеллигенциею, произведенного реформою Петра, на заявление, что нам, русским, суждено особое, самобытное развитие, на требование вернуться к своей почве, к народным началам. Но читатели, знакомые с образом мыслей наших литературных партий, легко заметят, что это, однако, еще не настоящее славянофильство. Во-первых, исходная точка, очевидно, другая. Мысль Достоевского состоит в том, что нужно примирить образованные классы с народом, объединить их, причем ни образованные классы не должны отказываться от начал своей образованности, ни народ от своих почвенных начал. Требуется совершить некоторый синтез, который совместил бы в себе те и другие начала. В возможности этого синтеза Достоевский нимало не сомневался; он пошел еще далее: он предполагал, что русскому народу даны духовные силы, с которыми он может совершить *всемирный синтез,* то есть найти исход и примирение для всех противоречий, какие обнаружились в историческом человечестве. Мысль о таком свойстве и предназначении русского народа составляет содержание *Пушкинской речи* Федора Михайловича, и, следовательно, исповедовалась им до конца.

Мысль эта для него очень характерна. Она свидетельствует о той ширине симпатий, которою он отличался. Он не отказывался от сочувствия к самым разнородным и даже, по-видимому, противоречащим явлениям, как скоро раз сочувствие к ним успело в нем возникнуть. Он не сумел бы логически согласовать свои сочувствия, усмотреть противоречия, к которым они могут повести в дальнейших выводах, и найти формулу, устраняющую эти противоречия; но он мирил в себе свои сочувствия психологически и эстетически. Такого рода настроение играло большую роль в его деятельности и было для нее очень благоприятно. Общею чертою этой деятельности, чрезвычайно важною, нужно считать — отсутствие злобы

и презрения в постановке нашей великой распри между западною и русскою идеею. Эта черта составляла сущность того электрического действия, которое произвела речь Достоевского на Пушкинском празднике; она же, как мы увидим, характеризует собою его романы и «Дневник».

Другая черта, которой нельзя не заметить в объявлении, есть неопределенность тех начал, принципов, на которые оно ссылается. Так и следовало этому быть при исходной точке и умственном настроении Достоевского. Мысль его явилась ему пока только в самом общем своем виде. Между тем как славянофилы прямо заявляли некоторые определенные религиозные, философские, политические понятия, Достоевский еще только ищет тех начал, которые поведут к желаемому им примирению. Тем не менее, он говорит об этих искомых началах с большою твердостию и настойчивостию. Это также одно из его отличительных свойств. Мысли самые общие и отвлеченные нередко действовали на него с большою силою, и он воодушевлялся ими чрезвычайно. Вообще он был человек в высокой степени восторженный и впечатлительный. Простая мысль, иногда давно известная и обыкновенная, вдруг зажигала его, являясь ему во всей своей значительности. Он, так сказать, необыкновенно живо *чувствовал мысли.* Тогда он высказывал ее в различных видах, давал ей иногда очень резкое, образное выражение, хотя и не разъяснял логически, не развертывал ее содержания. Прежде всего он был все-таки художник, мыслил образами и руководился чувствами.

Третья знаменательная черта «Объявления» есть, конечно, та живая надежда на скорость и возможность достижения поставленных целей, которая в нем высказывается. Это также нужно отнести к живости чувства, наполнявшего Достоевского. Между тем, как славянофилы, поставивши свою задачу во всей ее глубине, видели трудность ее исполнения и, чем громче был шум литературного и общественного движения, тем яснее видели, что исполнение заветных их желаний отодвигается самым этим движением, — Достоевский, увлекаясь сам господствующим возбуждением и не видя в нем элементов, вполне враждебных своему идеалу, смело поднял знамя и думал, что увлечет за собою эту волнующуюся массу. Эта способность горячей веры и надежды не оставляла его до последних дней. Всегда он увлекался стремительностью своих мыслей и готов

был думать, что неминуемо и скоро совершится то, что так ясно видел его умственный взор.

Впрочем, тогда, когда писалось «Объявление», редко кто мог воздержаться от увлечения. Это было именно время надежд и порываний. Все умы были в таком возбужденном состоянии, все пришло в такое брожение, что, по-видимому, могли совершиться самые невероятные вещи. Чувство действительности потерялось; казалось, чего мы захотим, то и сделаем.

Вся вторая половина «Объявления» посвящена уже не изложению направления журнала, а чисто литературным делам того времени. Одною из причин основания нового журнала выставляется измельчание и рутинность критики, рабство журналистики перед литературными авторитетами, отсутствие вполне независимых голосов, господство ходячих мнений, обратившихся в несомненные афоризмы, и безнаказанное существование литературных скандальных и странных явлений. Конечно, все указанные здесь черты того времени справедливы: к сожалению, не могу припомнить частных случаев, к которым относятся слова «Объявления». Достоевские, составляя особый кружок, не примыкавший ни к какому журналу, но в то же время всею душою преданный литературе, естественно должны были строго судить об ее явлениях и составлять об них свои собственные приговоры; поэтому их раздражало чужое пристрастие и замалчивание. Но частных поводов, к сожалению, указать не могу. Скажу только вообще, что сама печать питала тогда к себе некоторое уважение и представляла такое единодушие, которому трудно поверить в настоящее время; казалось, что в существенных вопросах все согласны и что никто не даст другого в обиду. Существовал целый ряд имен, которые считались украшением русской литературы; это были большею частию поэты и романисты; говорить об них без уважения, без очевидного признания их достоинств, считалось неприличным по тогдашним литературным нравам. Разумеется, тут могло встречаться и раболепство, и потворство, особенно когда вся литература сосредоточивалась в журналах, которые больше или меньше питались громкими именами.

Достоевский, выступая с новою мыслию, очень верно понимал свое публицистическое дело; поэтому он так решительно заявил, что «сила журнала не заключается в знаменитостях», что он будет прямо и смело обсуживать литературные авторитеты, даже «дразнить гусей»

и вести полемику. Тут, если очень не ошибаюсь, имелись в виду преимущественно суждения о художественных достоинствах писателей, во всяком случае беспристрастье здесь разумелось в самом широком смысле. Но положительно можно сказать, что, несмотря на эту похвальбу, «Время» не отличилось никаким походом на авторитеты. Оно вело войну с «Современником», но это была полемика с направлением, а не развенчание того или другого из известных писателей. Да «Время» было и слишком мягкосердечно, смотрело на вещи слишком широко для подобного занятия. Поход на авторитеты и разрушение литературного единодушия совершены были другою литературною партиею, именно тою, во главе которой стоял «Современник».

Эта печальная история мне гораздо живее памятна, чем счастливый период, ей предшествовавший. Понемногу начались действия, которые, кажется, всего лучше назвать *литературными казнями.* Эти казни сначала были редки и совершались сперва с тем единодушием, которое тогда было свойственно литературе. Если какой-нибудь писатель оказывался виновным, то, бывало, вся литература набрасывалась на эту жертву, набрасывалась так же, как на взятки, побои или какой-нибудь другой безобразный поступок, выплывший на свет Божий. По всем журналам сыпались бесчисленные насмешки, и несчастному писателю приходилось плохо. Такое времяпровождение очень понравилось, и нашлось много охотников до такой расправы, производимой в собственном литературном кругу. Партия «Современника», имевшая сильный вес в публике, загорелась особенным усердием; она стала действовать как некоторого рода *комитет общественного спасения,* и этот комитет, отличавшийся великою и возрастающею жестокостию, долго сохранял, однако же, полнейший авторитет.

Литературные имена одно за другим были уничтожаемы; каждая книжка журнала совершала несколько казней и угрожала тем, кто еще не подвергся гибели. Память об этих временах литературного террора теперь почти вовсе изгладилась; но тогда шум стоял большой и дело нимало не казалось смешным. Если не ошибаюсь, один из первых был уничтожен Розенгейм, потом стерт с лица земли Н. Львов, автор какой-то комедии, низринут в прах Погодин, погибли во цвете лет Случевский, Кусков и многое множество других; очередь дошла наконец и до Костомарова и до самого Тургенева... Катастрофа с Тур-

геневым, случившаяся в начале 1862 года[16], есть, конечно, самое громкое происшествие этой истории, и если читателям ничего не говорит напоминание и этого события, то им трудно будет составить себе живое понятие о волнениях этой литературной эпохи.

Для пояснения тогдашнего состояния дел припомню здесь случай не столь значительный, но очень характеристический и бывший незадолго до казни Тургенева. Случилось, что вдруг подвергся опасности Писемский. Первый звук грозы, направленной против такого известного писателя, сейчас же обратил общее внимание, то есть в литературных кружках; дело казалось важным и неслыханно дерзким. Гром выходил хотя не из центрального комитета, но из небольшого журнала с карикатурами («Искры»), который мог считаться отделом комитета. В этом журнале вдруг заговорили о Писемском так, как прежде никто не смел говорить; сказали, что он пишет *«гнусную дичь».* Не знаю, рассердился ли и испугался ли Писемский, но очень ясно помню, что за него многие рассердились. Подняли толки, было предположено составить *протест* за Писемского, как это было тогда в обычае, и стали уже собирать подписи для этого протеста. Протест — это значило: заявить всею массою, от лица *всей литературы,* что такой-то поступок считается низким, неблагородным, возбуждающим негодование. На этот раз число протестующих и их негодование не достигли, однако же, нужной величины, протест не состоялся[17], и скоро это происшествие было заглушено шумом новых событий. Вот каковы были литературные нравы еще в начале 1862 года; если сравнить их с теперешними, разница выйдет поразительная. Теперь никого не удивишь никакою бранью; ни казни, ни протесты не возможны, потому что нет ни единой и нераздельной публики, ни единой и нераздельной литературы.

III

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. — ПОЧВЕННИКИ

Обращаюсь опять к той главной руководящей мысли, с которою выступило «Время». Чтобы понять настроение, в котором мы все находились и под влиянием которого сложились и мнения журнала братьев Достоевских, нужно вспомнить, в какое время все это происходило. Это был 1861 год, то есть год освобождения

крестьян, самая светлая минута прошлого царствования, мгновение истинного восторга. Казалось, что в России должна была начаться новая жизнь, что-то не похожее на все прежнее; казалось, сбываются и могут сбыться самые смелые и радостные надежды; вера во все хорошее была легка и естественна.

Всем было известно, что происходят работы по крестьянскому делу и что они близки к концу. В третьей, мартовской книжке журнала уже был напечатан манифест 19 февраля, который был объявлен 5 марта, в прощальное воскресенье, накануне чистого понедельника. Все с нетерпением и волнением ожидали великой минуты. Говорили тогда, что объявление манифеста было нарочно отложено до этого дня, чтобы сообщить народу весть о перевороте в его судьбе не среди разгула масленицы, а как раз накануне Великого поста. Тут были какие-то опасения, вероятно со стороны тех, кто расположен видеть в народе «буйного зверя»; но во всяком случае минута выбрана была прекрасно. Все мы потом делились между собою впечатлениями, какие каждому удалось собрать в этот знаменательный день. Оказывалось, что в народе весть об освобождении была встречена глубокою тишиною; шумная и пьяная масленица затихла; видно было, что людьми овладели те важные чувства, которые мы так охотно переживаем в молчании.

После этой радостной минуты быстро наступили, как известно, минуты тяжелые; в конце того же года — студентская история;[18] в следующем 1862 году — петербургские пожары;[19] в начале 1863 года — польское восстание[20]. Но до 1861 года ничего подобного не было, и начиная с самого 1855 года радостное оживление без всякой помехи разрасталось в обществе и литературе. В продолжение семи лет постепенно и непрерывно шли всякие облегчения и дозволения, нововведения и преобразования, и все шло благополучно.

Цензура с каждым годом становилась снисходительнее, и число книг и журналов быстро росло. В это время высказались и договорились до конца те мнения и настроения, которые сложились и окрепли в период молчания до 1855 года; на просторе и среди общего оживления, они смело пускались в приложение и развитие своих начал; давнишняя же привычка и легкий надзор цензуры давали всему вид и очень приличный и очень завлекательный. Таким образом, в эти семь лет сложились те направления, которые господствуют до сих пор. Последним явлением этого рода было направление «Времени», пу-

щенное в ход Федором Михайловичем. По его предположению, это было совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая видимо начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников и славянофилов. Неопределенность самой мысли не пугала его, потому что он твердо надеялся на ее развитие. Но — что всего замечательнее — в тогдашнем состоянии литературы были странные черты, которые позволяли ему думать, что давнишние литературные течения, западническое и славянофильское, иссякли или готовы иссякнуть и что готово возникнуть что-то новое. Дело в том, что тогда партии не выделялись ясно и вся литература сливалась во что-то единое. Мне еще памятно то почти дружественное чувство, которое тогда господствовало между пишущими. Получивши лишь недавно голос, имея в виду общего своего смотрителя, цензуру, некогда столь грозную, литераторы считали себя обязанными беречь и поддерживать друг друга. Вообще предполагалось, что литература делает некоторое общее дело, перед которым должны отступать на задний план разногласия во мнениях. Действительно, все одинаково стояли за просвещение, свободу слова, снятие всяких уз и стеснений и т. п. — словом, за самые ходячие либеральные начала, понимаемые совершенно отвлеченно, так что под них подходили самые разнообразные и противоречащие стремления. Конечно, представители различных направлений знали про себя границы, их отделяющие, но для обыкновенных читателей и для большинства пишущих литература составляла нечто целое. В сущности, это был хаос, бесформенный и многообразный, и потому легко могло возникнуть желание — дать ему форму, или, по крайней мере, выделить из него некоторое более определенное течение. Что касается прямо до Федора Михайловича, то, взглянув на всю его журнальную деятельность, нельзя не сказать, что он успел в своем желании. Среди петербургской литературы иногда его голос раздавался громко, особенно в последние годы его жизни, когда он даже перевешивал другие голоса, протестуя и указывая другой путь.

Как бы то ни было, тогда, при начале «Времени», решено было, что славянофилы и западники уже отжили и что пора начать нечто новое. В добавление к тому, что сказано об этом пункте в «Объявлении», приведем еще заметку, появившуюся в № 1 «Времени» 1861 г. на задней странице обертки.

«ОТ РЕДАКЦИИ

Первый номер нашего журнала явился перед публикой. Мы не могли еще в нем разъяснить вполне основную мысль нашу. Осветить все ее стороны, оправдать в обществе ее потребность и жизненность можно только целым годом или даже годами издания журнала. Мы веруем только в одно — что наша мысль отзывается на потребности общества. Да и не мы первые провозгласили ее. Она давно уже вырывалась наружу и искала заявить себя: и в горячем слове, и в надеждах на будущее, и в охлаждении к обеим старинным партиям, еще так недавно разделявшим всю мыслящую часть нашего общества. Но общество поняло, что с западничеством мы упрямо натягивали на себя чужой кафтан, несмотря на то, что он уже давно трещал по всем швам, а с славянофильством разделяли поэтическую грезу воссоздать Россию по идеальному взгляду на древний быт, взгляду, составившему вместо настоящего понятия о России какую-то балетную декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную. И хотя в славянофилах было много любви к родине, но чутье русского духа они потеряли. Они так же ошиблись, как ошибаются те господа, большею частию чистые и наивные сердцем, которые, надев на себя древний кафтан, бархатную поддевку и шелковую рубашку с золотыми галунами, воображают, что они соединились с народным началом. Общество смотрит на них с недоумением, а народ равнодушно. Но теперь мы хотим жить и действовать, а не фантазировать. Общество ищет деятельности и всеми силами своими стремится угадать и определить ее.

Мы особенно будем обращать внимание в нашем журнале на все современные явления, которыми хоть сколько-нибудь можем оправдать и доказать нашу мысль. Кроме того, мы усиленно будем следить за движением всех современных идей. С будущих номеров нашего журнала мы надеемся открыть в нем отдел для разбора и беспристрастной оценки, по возможности, всех тех ходячих идей, современных предположений и вопросов, которые появятся в других русских журналах.

«Ряд статей о русской литературе» (в первой книге мы напечатали лишь введение) будет следовать, по возможности, непрерывно. Со второго же номера мы обратимся к одному из самых современных вопросов нашей литературы, вопросу о *значении искусства и о настоящем от-*

ношении его к действительной жизни. Это самый горячий из современных литературных вопросов, который настоятельно требует разрешения. Вообще наш журнал употребит все усилия, чтоб не быть отвлеченным, и, повторяем, будет преимущественно заниматься тем, что относится к самым современным явлениям жизни. Он не отказывается от споров, от возражений. Кроме того, он сторонник гласности и понимает скандал только в умышленном намерении оскорбить личность, в заносчивости авторитетов, в бесстыдной лжи перед публикой, в обличении не для пользы общества, а единственно для личного оскорбления обличаемого. Такие действия, если они будут совершаться в литературе, мы будем сами обличать всеми нашими силами.

Особенное внимание обратим мы на отделы Внутренних новостей и Политического обозрения. Последний отдел особенно для нас важен».

Существенный повод к этой заметке, очевидно, состоял в том, что в «Объявлении» слишком бегло было сказано о западничестве и славянофильстве, и нужно было яснее выразить мысль об упразднении этих двух направлений. Кроме Федора Михайловича эта мысль нашла полную поддержку у *Ап. Григорьева,* который стал усердно писать во «Времени», начиная со второй книжки. Привлечению его к журналу отчасти содействовал я, считавший и считающий его до сих пор лучшим нашим критиком. Помню самый разговор. От меня непременно желали статей по литературной критике; я отказывался и стал настойчиво указывать на Григорьева. К моей неожиданной радости, Федор Михайлович объявил, что он сам очень любит Григорьева и очень желает его сотрудничества. Но приглашение состоялось уже немножко поздно, и первая книжка явилась без статьи того критика, которого потом мы все, до самой его смерти, признавали своим вождем в суждениях о литературе. Статья Григорьева начиналась так:

«К числу несомненных, купленных опытом, фактов нашего времени принадлежит тот факт, что в сущности нет уже более теперь у нас двух направлений, лет за десять тому назад резко враждебно стоявших одно против другого, — *западного* и *восточного.* Факт этот пора засвидетельствовать для общего сознания, ибо для сознания отдельных лиц, для сознания каждого из нас,

пишущих и мыслящих людей, он уже засвидетельствован давно» («Время», 1861, № 2)[21].

Такое решительное мнение об *упразднении* двух главных литературных направлений было внушено Григорьеву конечно *желанием* такой перемены. Вспомним, что он принадлежал к так называемой *молодой редакции* погодинского «Москвитянина», к кружку, членами которого некогда (1850—1855) были А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов. Кружок этот, как и сам Погодин, имел в сущности славянофильское направление, но был очень свободен в своих симпатиях и понемногу отделился от чистого славянофильства. Погодин, имевший в свое время влияние и на Пушкина и на первых славянофилов, пользовался великим уважением и у *молодой редакции* за свой глубочайший патриотизм, за живость и глубину чисто русских симпатий; но он, оставаясь при своих мнениях и называя себя *старою редакциею,* предоставил в своем журнале простор молодому кружку, с великим энтузиазмом работавшему на литературном поприще. Главным отличием этого кружка было восторженное поклонение художественной литературе; в ней они видели наилучшее выражение народного духа и духа времени, в ней искали откровений и правил. Тут Островский был провозглашен *новым словом* в литературе; тут господствовало благоговение к Гоголю и Пушкину и совершался отпор *натуральной школе* и другим уклонениям петербургской литературы. Славянофильство, как известно, было гораздо строже и скупее в своих симпатиях, и молодая редакция, упрекая его в холодности к литературе и мечтая занять место во главе литературного движения, слегка обособилась в отдельную партию. К этой-то партии принадлежал Ап. Григорьев, и своим желанием отделиться от славянофилов он значительно поддержал мысль Федора Михайловича о создании нового направления[22]. Для всех нас авторитет Ап. Григорьева в этом деле имел решительное значение; его мы почитали настоящим судьею в вопросах критики и направлений. Так образовалась та партия, которая долго была известна в петербургской литературе под именем *почвенников;* выражения, что мы *оторвались от своей почвы,* что нам следует *искать своей почвы,* были любимыми оборотами Федора Михайловича и встречаются уже в первой его статье[23]. Выражение это, очень образное и живое, имело ту выгоду, что было в то же время очень обще, не

указывало прямо определенного принципа. Под него, конечно, подходило и славянофильство, но «Время» давало постоянно чувствовать, особенно сначала, что оно разумеет здесь другое, хотя и родственное направление.

Отношения к славянофилам были следующие. Ап. Григорьев всегда говорил об них и устно и печатно с величайшим уважением. От него и мы все научились этому уважению, которого невозможно было почерпнуть из петербургской литературы, никогда не упоминавшей о славянофилах без насмешки и презрения. Припомню здесь маленький случай, который как нельзя яснее покажет положение дел. В 1866 г. литераторы вздумали сделать подарок Комиссарову, спасшему государя от смерти[24], именно подарить ему коллекцию лучших русских книг. Образовался маленький комитет, чтобы составить список лучших книг, и я был приглашен. Когда, между прочим, я предложил внести сочинения Хомякова, Киреевского и Аксакова, то встретил живейшее противодействие; члены комитета, люди очень почтенные и сведущие, говорили, что это писатели с *странными* мнениями, никем не разделяемыми, и мне едва удалось настоять на своем, и то потому, что членам пришли на мысль совершенно побочные соображения. Так стояли дела в петербургской литературе, да и теперь они стоят едва ли многим лучше.

Достоевские были прямыми питомцами петербургской литературы; это всегда нужно помнить при оценке их литературных приемов и суждений. Михайло Михайлович был, разумеется, более подчинен и был холоден или даже предубежден против славянофилов, что и отразилось в его вопросе: «Какие же глубокие мыслители Хомяков и Киреевский?», так задевшем за живое Ап. Григорьева. В своем первом письме из Оренбурга Григорьев выставляет этот вопрос чуть не прямою причиною, почему он, после своей четвертой статьи, задумал покинуть журнал и уехать*. Федор Михайлович, хотя и был тогда почти вовсе незнаком с славянофилами, конечно не был расположен противоречить Григорьеву и своим широким умом чувствовал, на чьей стороне правда. Как бы то ни было, очевидно, направление «Времени» чрез Ап. Григорьева примыкает к одной ветке

* См. «Эпоха», 1864 г., октябрь. «Воспоминания об Ап. Григорьеве»[25]. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

погодинского славянофильства; и Григорьеву же принадлежит твердое признание за чистым славянофильством великого, существенного значениям нашей умственной жизни.

Но самая важная и плодотворная роль во всем этом деле, конечно, принадлежит Федору Михайловичу. Он сознательно и прямо пошел навстречу сперва Ап. Григорьеву, а потом славянофилам. При быстроте и гибкости своего ума он легко понимал эти мнения в самых их основаниях; главное же тут было то, что он уже сам, по складу убеждений, воспитанных в нем сближением с народом и внутренним поворотом мыслей, был бессознательным славянофилом. Славянофильство ведь не есть надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление, с положительной стороны — как консерватизм, то есть приверженность к давнишним началам русской жизни, с отрицательной — как реакция, то есть желание сбросить умственное и нравственное иго, налагаемое на нас Западом. Таким образом произошло и то, что Федор Михайлович создал себе целый ряд взглядов и симпатий совершенно славянофильских и выступил с ними в литературу, сперва не замечая своего сродства с давно существующею литературною партиею, но потом прямо и открыто примкнул к ней. Такие союзники, как известно, в каждом деле считаются самыми дорогими; это не вышколенные последователи, не ученики, рабски повторяющие слова учителей, а люди самостоятельные, способные сами крепко стоять за идею и развивать ее дальше. С большою тонкостию Федор Михайлович угадывал приложения своих начал и открывал их различные стороны; случалось, ему потом и указывали, что то или другое было уже сказано славянофилами, и тогда он откровенно признавался: «я этого не знал».

Для полноты картины прибавлю несколько слов о себе самом. В журналистику я вступил, сколько помню, с некоторым равнодушием и даже ленью и потому не принимал большого участия в вопросе о направлении. Мысль о *новом направлении,* однако же, сперва занимала меня, особенно вследствие влияния Ап. Григорьева; но очень скоро, может быть, по своему нерасположению к неопределенности, я порешил, что нужно прямо признавать себя славянофилом, когда признаешь существенные начала этого учения. Таким образом, некоторое время я расходился с направлением «Времени», причем не могу сказать, чтобы горячо проповедовал или отстаивал свое

расхождение. И без того дело шло своим естественным путем и пришло к необходимому выводу.

Не то было с сотрудниками, которые были помоложе. Они всего теснее группировались около Ап. Григорьева, привлекавшего их не только умом, но и детскою простотою и добродушием. Молодые люди долго носились с мыслью о новом направлении. Дело, конечно, состояло в том, чтобы дать некоторый б*о*льший простор славянофильскому взгляду, захватить в него те явления, которые он ревниво исключал, например, текущую литературу или разные западные влияния. Тут происходили бесконечные споры и делались попытки ежедневно перестроивать или исправлять свое миросозерцание чуть не с самых основ. Картина этого умственного брожения предстала мне однажды с такою ясностию, что я позволю себе рассказать этот случай. Один из сотрудников «Времени» и «Эпохи», Иван Григорьевич Долгомостьев, умный и благородный молодой человек, на моих глазах подвергся сумасшествию, за которым скоро последовала смерть. Это было в 1867 году, два или три года после прекращения «Эпохи» и рассеяния всего ее кружка. Я давно знал Ивана Григорьевича, знал все его мысли и занятия; некоторое время после падения «Эпохи» мы жили вместе с ним. На этот раз он жил отдельно, но в начале декабря, при наступлении жестоких морозов, он вдруг является ко мне и со слезами жалуется на нестерпимые козни и преследования, которым он будто бы подвергается в своей меблированной комнате. Чтобы успокоить его, я предложил ему остаться у меня, довольно ясно понявши его состояние. Через несколько дней, когда я, около часу ночи, вернулся домой, он, против обыкновения, еще не спал и стал из своей комнаты говорить мне что-то, довольно странное, как и все его речи в последнее время. Я настоятельно попросил его не разговаривать и спать, улегся сам и заснул. Через час или полтора меня разбудил какой-то говор. В темноте слушаю и слышу, что мой гость лежа говорит сам с собою. Разговор, очевидно, начат был шепотом, но становился с каждою минутою громче и громче; наконец, он сел на своей постели и все продолжал говорить. Я понял, что это полный бред сумасшествия. Что было делать? Толкаться среди ночи к доктору или в больницу было бы для всех большим беспокойством, и едва ли бы я выгадал много времени. Я решился ждать рассвета. И вот в продолжение пяти или шести часов, лежа в темноте, я

слушал этот бред. Так как мне известны были все мысли и всякий способ выражения моего приятеля, то для меня с удивительною ясностию открылась тайна сумасшествия, по крайней мере этого сумасшествия. Это был хаос давно знакомых мне слов и мыслей; как будто вся душа несчастного Ивана Григорьевича, все его мысли и чувства были изорваны в клочки, и эти клочки путались и перепутывались самым неожиданным образом. Нечто подобное бывает с нами, когда мы засыпаем и когда образы и слова, наполняющие наш ум, приходят в странные, бессмысленные сочетания.

Но во всем этом бреде была, однако же, руководящая мысль; больной уже не имел власти над своим воображением и своими понятиями, но в нем неизменно действовало желание подгонять этот беспорядочный поток к известной цели. Эта цель, эта мысль была — новое направление *почвенников.* Читатель едва ли себе представит, с каким ужасом и с какою жалостию я слушал этот бред; в этих исковерканных и изорванных в клочки мыслях отражались споры и рассуждения, которые несколько лет, днем и ночью, занимали небольшой кружок людей. Для меня не могла быть тайною причина сумасшествия; причина заключалась в тех невероятных излишествах, которым предавался когда-то наш приятель и которые совершенно его истощили; но, когда этому организму пришлось погаснуть, последняя его вспышка показала только, чт*о* всего больше его интересовало, чем питался его ум. Повторяю, Иван Григорьевич был человек умный и благородный, и в его сумасшествии это было для меня ясней, чем когда-нибудь.

Итак, направление *почвенников* имело своих исповедников и, как я уже заметил, имело и некоторые основания для своего особого существования. Оно было, во всяком случае, русское, патриотическое направление, искавшее себе определения и, как того требовала логика, наконец примкнувшее к славянофильству. Но некоторое время оно держалось особняком, и на это была двоякая причина: во-первых, желание самостоятельности, вера в свои силы; во-вторых, желание проводить свои мысли в публику как можно успешнее, интересовать ее, избегать столкновений с ее предубеждениями. Братья Достоевские прилагали большие старания к тому, чтобы журнал их был занимателен и больше читался. Заботы о разнообразном составе книжек, о произведении впечатления, об избегании всего тяжелого и сухого были существенным делом.

Этим объясняется появление в журнале таких статей, как «Бегство Жана Казановы из венецианских Пломб», «Процесс Ласенера»[26] и т. п., а также стремление других статей к легкой и шутливой говорливости, бывшей тогда в ходу во всей журнальной литературе. «Время» не хотело никому уступить в легкости чтения и в интересе, и хлопотало об успехе, не только вообще признавая его обоюдно полезным и для себя и для публики, но и прямо для того, чтобы дать возможно большее распространение той идее, с которою оно выступило в литературу. И вот почему прямая ссылка на славянофилов была бы неудобна, если бы даже журнал был расположен ее сделать. Вот где и настоящая причина небольших разногласий, возникавших у журнала с Ап. Григорьевым. Статьи Григорьева усердно читались нами, сотрудниками «Времени», вероятно читались и серьезными литераторами других кружков; но для публики они, очевидно, не годились, так как для своего понимания требовали и умственного напряжения и знакомства с литературными преданиями, не находящимися в обиходе. Для журнала представляли некоторое неудобство и его резкие ссылки на славянофильство. В чем тут было дело, всего лучше объяснит следующая статья самого Федора Михайловича, помещенная вслед за моими «Воспоминаниями об Аполлоне Григорьеве». Статья эта и вообще так полна разных автобиографических подробностей, что здесь ей настоящее место.

(«Эпоха» 1864. Сентябрь.)

«ПРИМЕЧАНИЕ

Никак не могу умолчать о том, чт*о* в первом письме Григорьева касается меня и покойного моего брата. Тут есть ошибки, и по некоторым из них полную правду могу восстановить только я; я был тут сам деятелем, а по другим фактам личным свидетелем.

1) Слова Григорьева: «Следовало не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически...» — никоим образом не могут быть обращены в упрек моему брату, любившему меня, ценившему меня, как литератора, слишком высоко и пристрастно и гораздо более меня радовавшемуся моим успехам, когда они мне доставались. Этот благороднейший человек не

мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь. В этом письме Григорьева очевидно говорится о романе моем «Униженные и оскорбленные», напечатанном тогда во «Времени». Если я написал фельетонный роман * (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал все, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но *непременно* должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными», но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. *Я сам* уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из-за денег. Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки **, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и *выноска* идей в уме и в душе). В то время, как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия; 2) что будет два-три места горячих и сильных; 3) что два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и *даже* художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики. Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но...

Да простит мне читатель эту рацею о себе и о *«высоком даровании»* моем, хотя бы в том уважении, что я первый раз в жизни заговорил теперь сам о своих сочинениях. Но, повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный

---

* Намек на выражение Григорьева. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

** Тоже. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

и великодушный брат мой не мучил меня работой... Добрый Аполлон Александрович, с которым я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда следил за моей работой с горячим участием, и это объясняет слова его. Он только не знал на этот раз, в чем дело.

2) Н. Н. Страхов хоть и представляет далее в статье своей комментарий на слова моего брата, приведенные Аполлоном Григорьевым, о Киреевском, Хомякове и о. Феодоре, но так как я сам был тут, при этом разговоре, то считаю, как личный свидетель, не лишним разъяснить эти слова в их настоящем смысле.

Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во «Времени» о Хомякове и Киреевском, и упоминал всегда так, как хотел, потому что сама редакция «Времени» вполне ему сочувствовала. Но то было худо, что часто он *неумело* упоминал об этих лицах, потому что говорил о них голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону; про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они *ретрограды,* хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала. Следовало знакомить с ними читателей, но знакомство это делать осторожно, *умеючи,* постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами. Оттого-то какой-нибудь тогдашний прогрессист, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: «великие мыслители Хомяков, Киреевский, о. Феодор» — с презрением закрывал журнал не читая, а Григорьева называл сумасшедшим и смеялся над ним.

Покойный брат мой, излагая все это Григорьеву в совершенно дружеском разговоре, при котором я тогда присутствовал и в котором участвовал, заключил такими словами: «Помилуйте, да каждый читатель после этого совершенно вправе вас спросить: какие же глубокие мыслители Киреевский и Хомяков?» (то есть когда вы не объяснили этого, а написали голословно).

Но Григорьев никогда не понимал таких требований. В нем решительно не было этого такта, этой гибкости, которые требуются публицисту и всякому *проводителю идей.* Даже так случалось, что после подобных объяснений ему иногда казалось, что от него требуют отступничества от прежних убеждений.

3) Совершенная правда, что в журнале, в первые годы его существования, были колебания, — не в направлении, а в способе действия. Были тоже ошибки в некоторых убеждениях. Но направление могло только *формулироваться* с годами. Иметь направление и уметь его ясно

и всем понятно формулировать — дело розное. Последнее приобретается опытом, временем, жизнию и находится в прямом отношении к развитию самого общества. Отвлеченная формула не всегда годится. Кому есть что сказать, тот знает, как иногда трудно высказаться. Рутинные формулы, взятые напрокат, да еще задним числом, то есть когда уже все о них имеют некоторое понятие, гораздо более удаются, более нравятся обществу, чем незнакомые ему убеждения. Только обносившиеся идеи *очень* понятны *. В прежних ошибках мы готовы сознаться искренно; но ведь мы не могли их тогда видеть сами, именно потому, что и тогда действовали по твердому убеждению.

4) Что же касается до того: пускать ли того или другого в сотрудники или до требования человека нового и свежего для Политического обозрения и проч. и проч., то этими требованиями Аполлон Григорьев только доказал, что он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала. Если, положим, К<усков> и М<инаев>, с образом мыслей которых журнал вполне не согласен, представят к напечатанию в редакцию журнала такие статьи, которые на этот раз не противуречат его главной идее, его направлению, а между тем сами по себе любопытны и даже талантливы, то эти статьи, разумеется, можно напечатать. Иначе ни один журнал не состоится. Так же точно нельзя не ошибиться, хоть раз, в напечатании какой-нибудь неудачной драмы или повести. Ошибался и Аполлон Григорьев, и такое требование с его стороны было слишком строго. Требование же «нового и свежего человека» для Политического обозрения — было еще строже. Требовать вдруг *всего* — было невозможно. Впоследствии Политическое обозрение во «Времени» составлялось весьма талантливо и замечательным сотрудником; но и оно далеко не выражало направления журнала. Трудно сразу отыскать для каждого отдела людей с талантами, равносильными таланту Островского, да еще начинающему журналу. Уже довольно того, что журнал ищет этих людей и сознает их необходимость. Но всего досаднее в подобных случаях то, что такого сотрудника, в данный момент, может и совсем на свете не быть.

---

* Очень глубокие замечания, — истины, которых публика вовсе не подозревает и которых обыкновенно не считают нужным открывать ей журналисты. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

Сделаю еще одно последнее, общее замечание. В этих великолепных, *исторических* письмах *, в которых не звучит ни одной фальшивой (неискренней) ноты и в которых так типично, хотя все еще не вполне, обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов), — в этих великолепных письмах, говорю я, не все и теперь может быть взято редакциею «Эпохи» без оговорок. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен и порывист, как страстный поэт. Я не о том собственно говорю, что он *увлекался,* — фраза, которую некрологисты его (из которых, без сомнения, редкий и читал Григорьева) обратили в пошлое выражение. Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали. Человек он был непосредственно, и во многом даже себе неведомо — почвенный, кряжевый. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура (не говорю: как идеал; это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того *кровным* и необходимым для *всего* дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так кик раздваивался жизненно он менее других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием и с некоторым гастрономическим наслаждением — то и заболевал тоской своей весь, целиком, *всем человеком,* если позволят так выразиться. В этом настроении написаны и письма его.

«Я критик, а не публицист», — говорил он мне сам несколько риз и даже незадолго до смерти своей, отвечая ни некоторые мои замечания. Но всякий критик должен

---

* Дело идет об одиннадцати письмах Ап. Григорьева из Оренбурга ко мне, письмах, составляющих главное содержание моих «Воспоминаний». (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

быть публицистом, в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твердые убеждения, но *уметь* и проводить свои убеждения. А эта-то *умелость* проводить свои убеждения и есть главнейшая *суть* всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове *публицист* с предубеждением, — по некоторым частным примерам бывших у нас публицистов, — не хотел даже и понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мнительности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества.

Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания*. Но я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать по этим письмам Григорьева, какой это был правдивый, высоко честный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения.

Федор Достоевский».

IV
БОЛЕЗНЬ. — ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТРУД

Эта статья возвращает нас опять к самому началу журнала. Федор Михайлович принялся работать с удивительным жаром. Он печатал с первой книжки свой роман «Униженные и оскорбленные» и вел критический отдел, который открыл статьею: «Ряд статей о русской литературе. Введение». Но кроме того, он принимал участие в других трудах по журналу, в составлении книжек, в выборе и заказе статей, а в первом номере взял на себя и фельетон. Фельетон поручен был, собственно, Д. Д. Минаеву; но, не знаю почему, содержание написанного им фельетона не удовлетворило Федора Михайловича; тогда он наскоро написал свою статью, под заглавием «Сновидения в стихах и прозе» [27], и вставил в нее все стихотворения, которыми был пересыпан фельетон Д. Д. Минаева, по тогдашней моде, введенной, кажется, Добролюбовым, именно его знаменитым «Свист-

* Эти рассуждения о том, как следует вести журнальное дело, очень характерны и для того времени, и для Федора Михайловича, как журнального деятеля. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

ком» в «Современнике»[28]. Такого труда, наконец, не выдержал Федор Михайлович и на третий месяц заболел. В апрельской книжке «Времени» вместо пяти или даже шести печатных листов явилось только восемнадцать страниц его романа, с примечанием от редакции о болезни автора. Болезнь эта была страшный припадок падучей, от которого он дня три пролежал почти без памяти.

Помню нашу общую тревогу, — несмотря на то что вообще его припадки были делом привычным для его близких.

Дорого обходился ему литературный труд. Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктора одним из главных условий ставили — прекратить вовсе писание. Сделать этого, разумеется, не было возможности, даже если бы он сам мог решиться на такую жизнь, на жизнь без исполнения того, что он считал своим призванием. Мало того — не было возможности даже и отдохнуть хорошенько, год или два. Только перед самой смертью дела его, благодаря больше всего заботливости Анны Григорьевны, устроились так, что отдых был возможен; но перед самой же смертью он меньше чем когда-нибудь был расположен остановиться на своем пути.

Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц, — таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границею, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. В романе «Идиот» есть подробное описание ощущений, которые испытывает в этом случае больной. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресенья. Поздно, часу в одиннадцатом, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов

для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты.

Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя, и я проводил его пешком домой, что было недалеко.

Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния. «На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастие, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».

Следствием припадков были иногда случайные ушибы при падении, а также боль в мускулах от перенесенных ими судорог. Изредка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терял память и дня два или три чувствовал себя совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своей тоскою и впечатлительностию. Характер этой тоски, по его словам, состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство.

Понятно, как вредно было для Федора Михайловича все то, что производит приливы крови к голове, — следовательно, по преимуществу писание. Это один из множества примеров тех страданий, которые вообще приходится выносить писателям. Кажется, можно считать исключением тех из них, у которых их труд не связан с нарушением равновесия в организме, не сопровождается впечатлительностию и напряжением, граничащими с болезнью и потому неизбежно ведущими к страданию. Радости творчества и умственного наслаждения имеют свою оборотную сторону, и редко кому удается избежать ее. Чем выше полет, тем больнее падение; тонкая чувствительность часто бывает выработана мучительными обстоятельствами, но, во всяком случае, делает мучительными даже обыкновенные обстоятельства.

Скажу здесь и о манере писания, о которой с невольной жалобой упоминает Федор Михайлович в начале «Примечания».

Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать к сроку, гнать работу и нередко опаздывать с работою. Причина состояла в том, что он жил одною литературою и до последнего времени, до последних трех или четырех лет, нуждался, поэтому забирал деньги вперед, давал обещания и делал условия, которые потом и приходилось выполнять. Распорядительности и сдержанности в расходах у него не было в той высокой степени, какая требуется при житье литературным трудом, не имеющим ничего определенного, никаких прочных мерок. И вот он всю жизнь ходил, как в тенетах, в своих долгах и обязательствах и всю жизнь писал торопясь и усиливаясь. Но была еще причина, постоянно увеличивавшая его затруднения и гораздо более важная. Федор Михайлович всегда откладывал свой труд до крайнего срока, до последней возможности; он принимался за работу только тогда, когда оставалось уже в обрез столько времени, сколько нужно, чтобы ее сделать, делая усердно. Это была леность, доходившая иногда до крайней степени, но не простая, а особенная, *писательская леность,* которую с большою отчетливостию пришлось мне наблюдать на Федоре Михайловиче. Дело в том, что в нем постоянно совершался внутренний труд, происходило нарастание и движение мыслей, и ему всегда трудно было оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он, в сущности, работал неутомимо. Люди, у которых эта внутренняя работа не происходит или очень слаба, обыкновенно скучают без внешней работы и со сластью в нее втягиваются. Федор Михайлович с тем обилием мыслей и чувств, которое он носил в голове, никогда не скучал праздностию и дорожил ею чрезвычайно. Мысли его кипели; беспрестанно создавались новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и развивались. «Кстати, — говорит он сам на первой странице «Униженных и оскорбленных», где вывел на сцену самого себя, — мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?»

Попробуем отвечать за него. Писание было у него почти всегда перерывом внутренней работы, изложением того, что могло бы еще долго развиваться до полной

законченности образов. Есть писатели, у которых расстояние между замыслом и выполнением чрезвычайно мало; мысль у них является почти одновременно с образом и словом; они могут дать выражение только вполне сложившимся мыслям, и, раз сказавши что-нибудь, они сказать лучше не могут. Но большинство писателей, особенно при произведениях крупного объема, совершают долгую и трудную работу; нет конца поправкам и переделкам, которые все яснее и чище открывают возникший в тумане образ. Федор Михайлович часто мечтал о том, какие бы прекрасные вещи он мог выработать, если бы имел досуг; впрочем, как он сам рассказывал, лучшие страницы его сочинений создались сразу, без переделок, — разумеется, вследствие уже *выношенной* мысли.

Писал он почти без исключения ночью. Часу в двенадцатом, когда весь дом укладывался спать, он оставался один с самоваром и, попивая не очень крепкий и почти холодный чай, писал до пяти и шести часов утра. Вставать приходилось в два, даже в три часа пополудни, и день проходил в приеме гостей, в прогулке и посещениях знакомых.

На Федоре Михайловиче можно было ясно наблюдать, какой великий труд составляет писание для таких содержательных писателей, как он. В свои произведения он вкладывал только часть той непрерывной работы, которая совершалась в его голове. Читатели, как известно, иногда питают легкомысленное мнение, что писание ничего не стоит даровитым людям, и обманываются в этом случае тою легкостию, с которою течет стих или проза готового произведения. Но, в сущности, читатели редко ошибаются в оценке авторского труда, потому что обыкновенно их занимает или трогает только то, что занимало или трогало самого автора, и насколько души и труда он вложил в свое произведение, настолько оно и действует на читателей.

Что касается до поспешности и недоделанности своих произведений, то Федор Михайлович, как видно из «Примечания», очень ясно видел эти недостатки и без всяких околичностей сознавался в них. Мало того; хоть ему и жаль было этих «недовершенных созданий», но он не только не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и непол-

ное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной отделки, но когда-нибудь после, когда будет иметь больше досуга, когда времена будут спокойнее. А пока он писал и писал полуобработанные вещи, — с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя своими мыслями. Об этой журнальной манере писания есть одно место у Добролюбова, которое кстати здесь привести. Разбирая «Униженных и оскорбленных», Добролюбов говорит:

«Г. Достоевский, вероятно, не будет на меня сетовать, что я объявляю его роман, так сказать, *ниже эстетической критики.* Я ведь имел в виду вообще современную нашу литературу, и если проверил свою мысль несколькими беглыми замечаниями о его романе, так это потому, что он мне попался под руку. А если бы взять другие из творений, имевших у нас успех в последние годы, так многие из них оказались бы, может быть, еще более несостоятельными. Г. Достоевский по крайней мере, — как нам кажется, судя по некоторым местам его сочинений, — не имеет таких претензий, не придает себе такой важности, как другие. Он изобразил некоторые свои литературные отношения в записках Ивана Петровича: я не считаю нескромным сказать это, потому что сам автор явно не хотел скрываться. Он с такими подробностями рассказывает там содержание «Бедных людей», как первой повести Ивана Петровича, — что нет возможности ошибиться. Так тут-то он, между прочим, сознается, что писал многое вследствие необходимости, писал к сроку, написывал по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи; называет себя почтовою клячей в литературе; смеется над критиком, уверявшим, что от его сочинений пахнет потом и что он их слишком обделывает *. Словом, г. Достоевский смотрит, по-видимому, на свои произведения, *как мы все, обыкновенные люди, — не как на несокрушимый памятник для потомства, а просто — как на журнальную работу. А уж известно, что такое журнальная работа:* тут не до обработки, не до подробностей, не до строгости к себе

* Такой именно отзыв был когда-то о г. Достоевском, и даже, если не ошибаюсь, в «Современнике». (*Примеч. Н. А. Добролюбова.*)

в развитии мысли... Довольно того, что хоть *кое-как успеешь бросить эту мысль на бумагу.* Можно это сравнить вот с чем: вы поэт, в вас сейчас родилось чувство, вас поразило впечатление, которое вы можете изобразить великолепными стихами. У вас уже мелькают в голове образы, готово несколько стихов, несколько метких выражений... Но вам мешают, от вас требуют немедленного отчета в вашем впечатлении, у вас, наконец, вовсе отнимают возможность предаться влечению вашего чувства и приискать для него живые звуки. Делать нечего, вы берете карандаш и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остов того прекрасного стихотворения, которое уже слагалось у вас в голове. *Так поступает постоянно, в течение всей своей карьеры, журнальный работник»*[29] («Современник» 1861 г. № 9. Сочинения Добролюбова, т. III, с. 604).

В этих признаниях слышится, кажется, и некоторая жалоба Добролюбова на то, что ему пришлось растратить свои силы в такой работе. Это была его последняя статья. Но как бы то ни было, здесь указывается на очень обширный и важный факт нашей литературы. Она давно и до сих пор отличается преобладанием журналов, а журналы отличаются спешностию работы; они и сами привыкли и читателей приучили к тем жидким и бесформенным разглагольствиям, к тем рассуждениям, имеющим только начала, но не имеющим ни конца, ни середины, которые почти без исключения наполняют журнальные книжки. Такого рода склад литературы зависит, конечно, от того, что публика читает только новое, свежее; а в новом она ищет не удовлетворения своей любознательности или своих эстетических вкусов, а только указаний и намеков на то, в чем состоят в каждую минуту самые современные и самые передовые мнения на западе, или, пожалуй, в наших передовых кружках. Публика наша состоит не из судей, а из учеников, не из людей, имеющих свое мнение, а из людей, боящихся, как бы не отстать от чужих мнений. Ей нужен авторитет, нужно чтение легкое и в то же время поддерживающее ее в уверенности, что она знает дух и направление самого нового, самого последнего просвещения. Таким образом развилась и развивается до сих пор эта огромная журнальная литература, в которой приемы писания могут падать до величайшей небрежности, до самой низшей степени, какая только возможна. Не имея самостоятельности, исполняя служебную роль, литература, естественно, должна была испортиться, потерять строгость формы и мысли.

Тем не менее эта литература не была ни бесполезною, ни неблагородною. Она воспитывала публику, и в большинстве случаев была одушевлена искренним усердием к своим целям. Поэтому нет ничего удивительного, что Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей, разумеется ясно сознавая, чт*о* он делает и в чем отступает от строгой формы мысли и искусства. Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою, и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном. В случаях нужды он без всякой щепетильности обращался с просьбами к различным редакциям. Не раз, когда его не было в Петербурге, мне случалось, по его просьбе, вести с разными редакциями переговоры о деньгах, которые он хотел получить за *будущую* повесть. Большею частию переговоры оканчивались отказом, и мне иногда было очень больно от мысли, кому он делает предложения, и притом напрасные предложения. Но он смотрел на эти случаи как на неизбежные неудобства своей профессии и хорошо понимал, что они никак не могут быть поставлены ему в упрек. Зависимость от редакций и книгопродавцев, всякие торги и переговоры составляют всегда дело полюбовное, сделку равных между собою людей и потому никогда не могут быть так тяжелы, как другие людские отношения.

Таким образом, литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер, достиг громкой известности, распространения своих идей, а под конец жизни и материального достатка.

Понятно поэтому, как он любил литературу, особенно вначале, когда еще не выразилось резко то различие,

15 Заказ 3052

которое поставило его в оппозицию к общему настроению петербургской журналистики. Вот причина, почему он не мог сразу сойтись с славянофилами. Он живо почувствовал ту враждебность, которую они искони, в силу своих принципов, питали к ходячей литературе. В 1861 году И. С. Аксаков начал издавать «День» и в первых же статьях красноречиво выразил осуждение господствовавших в журналах направлений. Федор Михайлович по этому случаю горячо вступился за литературу (см. Сочинения, т. X, с. 131 и сл.). В этой статье очень характерна следующая выходка, обращенная к славянофилам:

«Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас *, как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. *Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы!»* (с. 137, 138) [30].

Здесь очень верно сказалось различие одного и другого отношения и очень живо выражается собственное чувство Федора Михайловича, чувство полной принадлежности к текущей литературе. Славянофилы, действительно, не вполне принадлежали к завзятым литераторам и смотрели на дело со стороны.

Приведу, наконец, для б*о*льшего пояснения, и себя. Мне пришлось поздно вступить в литературу, и сперва я готовился к ученому поприщу. Поэтому и я смотрел на журналистику со стороны и принес в нее некоторое высокомерие. Всячески старался я избежать многописания и заботился о полной отделке своих статей. Эти заботы обыкновенно возбуждали насмешки Федора Михайловича. «Вы все стараетесь для «Полного собрания» своих сочинений!» — говорил он. «Да никогда не будет этого собрания!» — отвечал я. Но скоро я втянулся в литературу и стал гораздо живее принимать к сердцу ее интересы. Пренебрежение к журналистике уступило место более серьезному отношению, когда оказалось, что на подкладке этих разглагольствий вырастают такие явления, как нигилизм; вражду, которую я чувствовал, я старался передать и Федору Михайловичу.

---

* То есть на деятелей литературы. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

Как бы то ни было, результат, к которому пришли его литературные отношения, известен; в конце своего поприща, когда он признавал себя вполне славянофилом, он готов был отзываться о нашей интеллигенции и ее стремлениях почти с такою же горечью, какая некогда так обидела его на страницах «Дня». Что касается до пристрастия к фельетонной манере журналов, то оно никогда вполне у него не исчезало. Сам он иногда даже насиловал себя, стараясь быть борзописцем и фельетонистом ради принесения общей пользы. С годами писание его становилось, однако, все строже и строже, да и прежде в его фельетонных писаниях встречалось немало страниц, явно показывавших художественную силу и строгие приемы, далеко превышающие задачи фельетона.

V

УСПЕХ «ВРЕМЕНИ». — СОТРУДНИКИ

Журнал «Время» имел решительный и быстрый успех. Цифры подписчиков, которые так важны были для всех нас, мне твердо памятны. В первом, 1861, году было 2300 подписчиков[31], и Михайло Михайлович говорил, что он в денежных счетах успел свести концы с концами. На второй год было 4302 подписчика; список их по губерниям был напечатан во «Времени» 1863 года, январь, стр. 189—210. На третий год издания, в апреле месяце, было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом, дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход, так как 2500 подписчиков вполне покрывали издержки издания; авторский гонорар был тогда менее нынешнего, он редко падал ниже пятидесяти рублей за печатный лист, но редко и подымался выше, и почти никогда не переходил ста рублей.

Причинами такого быстрого и огромного успеха «Времени» нужно считать прежде всего имя Ф. М. Достоевского, которое было очень громко; история его ссылки в каторгу была всем известна; она поддерживала и увеличивала его литературную известность — и наоборот. «Мое имя стоит миллиона!» — сказал он мне как-то в Швейцарии с некоторою гордостию.

Другая причина была — прекрасный (при всех своих недостатках) роман «Униженные и оскорбленные», достойно награждавший читателей, привлеченных именем

Федора Михайловича. По свидетельству Добролюбова, в 1861 году этот роман был самым крупным явлением в литературе. «Роман г. Достоевского, — писал критик, — очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою...» И дальше: «Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор *(это значит до сентября 1861 г.)* представляет лучшее литературное явление нынешнего года» (Сочинения Добролюбова, т. 3, стр. 590—591)[32].

Третьей причиною нужно считать общее настроение публики, никогда так жадно не бросавшейся на литературные новинки, как в то время. За первым увлечением иногда следовало быстрое разочарование; но на этот раз дело пошло прекрасно. Журнал оказался очень интересным; в нем слышалось воодушевление и, кроме того, заявилось направление вполне либеральное, но своеобразное, не похожее на направление «Современника», многим уже начинавшее набивать оскомину. Но вместе с тем «Время», по-видимому, в существенных пунктах не расходилось с «Современником». Не только в 9-й книжке «Современника» роман Федора Михайловича разбирался с большими похвалами, из которых мы привели несколько строк[33], но при самом начале «Времени» «Современник» дружелюбно его приветствовал. Первая книжка «Современника» вышла в конце января, недели через три после первого нумера «Времени», и в этой книжке был помещен «Гимн «Времени» (вероятно, Добролюбова или Курочкина), в котором новый журнал предостерегался от врагов и опасностей[34]. В то время слово «Современника» много значило; он достиг в это время самой вершины своего процветания и решительно господствовал над петербургскою публикою; его привет был действительнее всяких объявлений. В октябрьской книжке «Времени» 1861 года явилось даже стихотворение *Некрасова* «Крестьянские дети» вместе с комедиею *Островского* «Женитьба Бальзаминова»;[35] в апрельской книжке «Времени» 1862 года явились сцены *Щедрина*[36]. Таким образом, самые крупные сотрудники «Современника» по части изящной словесности, и даже Некрасов и Щедрин, отдававшие все свои силы этому журналу, ясно выказали свое особенное расположение ко «Времени». Тут можно видеть, конечно, и отражение успеха «Времени», и даже некоторое уважение к его направлению, уважение, которое, как мне думается, Некрасов сохранял до конца.

Так или иначе, но только «Время» быстро поднялось в глазах читателей, и в то время, как старые журналы, «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» и т. п., падали, «Время» процветало и стало почти соперничать с «Современником», по крайней мере имело право, по своему успеху, мечтать о таком соперничестве. Этот успех ни в каком случае не был обманчивым явлением, то есть не был одним минутным увлечением, столь обыкновенным в нашей публике. Далее я расскажу, как наступил после него упадок, а теперь только замечу, что быстрый успех породил в нас большую самоуверенность, которая при счастливых обстоятельствах очень способствовала делу, но зато при несчастных очень ему повредила.

Тогда, в 1861 году, все мы очень радовались и собирались усердно работать. Я подал в отставку из гимназии, и Михайло Михайлович собирался закрыть свою табачную фабрику. Эта фабрика заведена была им после 1849 года, когда литература была в очень стесненном положении. Фабрика имела сперва порядочный успех; отставной литератор придумал уловку, давшую вдруг большой ход его папиросам; он стал изготовлять *папиросы с сюрпризами,* то есть в ящик папирос вкладывать какую-нибудь недорогую вещицу, которая неожиданно в виде прибавки доставалась покупателю. Но понемногу фабрика падала, и Михайло Михайлович решился вполне посвятить себя одному журналу. Один Ап. Григорьев огорчил нас среди лета своим непонятным отъездом в Оренбург. Причиною были, впрочем, очевидно, его домашние обстоятельства, а не неверие в журнал, который всегда очень дорожил им и в котором, спустя год, он стал по-прежнему ревностно участвовать[37].

Во все существование «Времени» сотрудники его составляли две группы[38]. Одна держалась вокруг Ап. Григорьева, умевшего удерживать около себя молодых людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно же искренним участием к их литературным занятиям; он умел будить их способности и приводить их в величайшее напряжение. Другую группу составляли Федор Михайлович и я; мы особенно подружились и виделись каждый день и даже не раз в день. Летом 1861 г. я переехал с Васильевского Острова на Большую Мещанскую (ныне Казанскую) в дом против Столярного переулка. Редакция была у Михайла Михайловича, жившего в Малой Мещанской, в угольном

доме, выходившем на Екатерининский канал; а Федор Михайлович поселился в Средней Мещанской. Ап. Григорьев с своею молодою компаниею ютился в меблированных комнатах на Вознесенском проспекте, очень долго в доме Соболевского. Я написал это, чтобы сказать, что нам было близко друг к другу; но мне живо вспомнился тогдашний низменный характер этих улиц, грязноватых и густо населенных петербургским людом третьей руки. Во многих романах, особенно в «Преступлении и наказании», Федор Михайлович удивительно схватил физиономию этих улиц и их жителей.

Среди этих мест, наводящих тоску и отвращение, все мы прожили очень счастливые годы. Когда дело идет хорошо, ничего не может быть занимательнее и возбудительнее журнальной работы. В ней соединяется вся привлекательность общественной публичной жизни со всею прелестию уединенных размышлений и усилий. Страницы, старательно обдуманные и изготовленные в тишине, вдруг выступают на свет на глаза множества читателей и делаются предметом суждений, из которых многие тотчас же до вас доходят. Особенно тогда было в привычке, что каждый журнал говорил о всех других журналах, так что впечатление всякой статьи обнаруживалось очень быстро. Достоевский, Ап. Григорьев и я могли быть уверены, что в новой книжке журнала непременно встретим свое имя. Соперничество разных изданий, напряженное внимание к их направлениям, полемика, — все это обращало журнальное дело в такую интересную игру, что, раз ее испытавши, нельзя было потом не чувствовать большого желания опять в нее пуститься.

Часа в три пополудни мы сходились обыкновенно в редакции с Федором Михайловичем, он после своего утреннего чаю, а я после своей утренней работы. Тут мы пересматривали газеты, журналы, узнавали всякие новости и часто потом шли вместе гулять до обеда. Вечером в седьмом часу он опять иногда заходил ко мне, к моему чаю, к которому всегда собиралось несколько человек, в промежуток до наступающего вечера. Вообще он чаще бывал у меня, чем я у него, так как я был человек холостой и меня можно было навещать, не боясь никого обеспокоить. Если у меня была готовая статья или даже часть статьи, он обыкновенно настаивал, чтобы я прочел ее. До сих пор слышу его нетерпеливый и ласковый голос, раздававшийся среди шумных разговоров: «Читайте, Николай Николаевич, читайте!» Тогда я, впрочем, не вполне понимал, как много лестного было для меня в этом нетерпении. Он никогда мне не противоречил; я помню

всего только один спор, который возник из-за моей статьи. Но он и никогда не хвалил меня, никогда не выражал особенного одобрения.

Наша тогдашняя дружба хоть имела преимущественно умственный характер, но была очень тесна. Близость между людьми вообще зависит от их натуры и при самых благоприятных условиях не переходит известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту, за которую никого не допускает, или — лучше — не может никого допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших душевных свойствах, причем я вовсе не думаю брать на себя меньшую долю этого препятствия. На Федора Михайловича находили иногда минуты подозрительности. Тогда он недоверчиво говорил: «Страхову не с кем говорить, вот он за меня и держится». Это минутное сомнение показывает только, как твердо мы вообще верили в наше взаимное расположение. В первые годы это было чувство, переходившее в нежность. Когда с Федором Михайловичем случался припадок падучей, он, опомнившись, находился сперва в невыносимо тяжелом настроении. Все его раздражало и пугало, и он тяготился присутствием самых близких людей. Тогда брат его или жена посылали за мной — со мной ему было легко, и он понемножку оправлялся. Вспоминая об этом, я возобновляю в своей памяти некоторые из лучших своих чувств и думаю, что я, конечно, был тогда лучше, чем теперь.

Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни. Он говорил тем простым, живым, беспритязательным языком, который составляет прелесть русских разговоров. При этом он часто шутил, особенно в то время; но его остроумие мне не особенно нравилось — это было часто внешнее остроумие, на французский лад, больше игра слов и образов, чем мыслей. Читатели найдут образчики этого остроумия в критических и полемических статьях Федора Михайловича. Но самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет

никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и гордость. Главным предметом их были, конечно, журнальные дела, но, кроме того, и всевозможные темы, очень часто самые отвлеченные вопросы. Федор Михайлович любил эти вопросы, о сущности вещей и о пределах знания, и помню, как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов, известные нам из истории философии. Оказывалось, что новое придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях с тем или другим великим мыслителем.

VI

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ КАК РОМАНИСТ И ЖУРНАЛИСТ

Не стану говорить о его взглядах и чувствах, относящихся к окружающим делам и явлениям. В своих произведениях он сам выразил лучшую часть своей души. Скажу только, ради некоторых неопытных читателей, что это был один из самых искренних писателей, что все, им писанное, было им переживаемо и чувствуемо, даже с великим порывом и увлечением. Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему. Полной объективности он редко достигал. Для меня, близко его знавшего, субъективность его изображений была очень ясна, и потому всегда наполовину исчезало впечатление от произведений, которые на других читателей действовали поразительно, как совершенно объективные образы.

Часто я даже удивлялся и боялся за него, видя, что он описывает иные темные и болезненные свои настроения. Так, например, в «Идиоте» описаны приступы падучей, тогда как доктора предписывают эпилептикам не останавливаться на этих воспоминаниях, которые могут повести к припадку, как приводит к нему зрелище чужого припадка. Но Достоевский не останавливался ни перед чем, и, что бы он ни изображал, он сам твердо верил, что возводит свой предмет в перл создания, дает ему полную объективность. Не раз мне случалось слышать от него, что он считает себя совершенным реалистом, что те преступления, самоубийства и всякие душевные извращения, которые составляют обыкновенную тему его романов, суть постоянное и обыкновенное явление в действительности и что мы только пропускаем их без внима-

ния[39]. В таком убеждении он смело пускался рисовать мрачные картины; никто так далеко не заходил в изображении всяких падений души человеческой. И он достигал своего, то есть успевал давать своим созданиям настолько реальности и объективности, что читатели поражались и увлекались. Так много правды, психологической верности и глубины было в его картинах, что они становились даже понятными для людей, которым сюжеты их были совершенно чужды.

Часто мне приходило в голову, что если бы он сам ясно видел, как сильно окрашивает субъективность его картины, то это помешало бы ему писать; если бы он замечал недостаток своего творчества, он не мог бы творить. Таким образом, известная доля самообольщения тут была необходима, как почти у всякого писателя.

Но каждый человек имеет, как известно, не только недостатки своих достоинств, но иногда и достоинства своих недостатков. Достоевский потому так смело выводил на сцену жалкие и страшные фигуры, всякого рода душевные язвы, что умел или признавал за собою уменье произносить над ними высший суд. Он видел Божию искру в самом падшем и извращенном человеке; он следил за малейшею вспышкою этой искры и прозревал черты душевной красоты в тех явлениях, к которым мы привыкли относиться с презрением, насмешкою или отвращением. За проблески этой красоты, открываемые им под безобразною и отвратительною внешностью, он прощал людей и любил их. Эта нежная и высокая гуманность может быть названа его музою, и она-то давала ему мерило добра и зла, с которым он спускался в самые страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя и в человека, и вот почему был так искренен, так легко принимал даже свою субъективность за вполне объективный реализм.

Как бы то ни было, зная его по его личным чувствам и мыслям, я могу свидетельствовать, что он питал своих читателей лучшею кровью своего сердца. Так поступают призванные, настоящие писатели, и в этом заключается их неотразимое действие на читателей, хотя публика часто и воображает, что писатели только хорошо выдумывают и сочиняют, а критика иногда готова предписывать им даже какую-нибудь свою цель, а не ту, какую указывает им их собственное сердце. Поэтому мне думается, что Достоевский, несмотря на несовершенства своих созданий, долго останется глубоко

интересным писателем, гораздо долее тех, чья муза представляет, по-видимому, больше гармонии и стройности, но зато не имеет такой искренности, такого своеобразия и сердечного порыва. Под музою я разумею тот идеализированный характер, тот склад ума и сердца, который принимает человек, когда начинает писать и творить. Муза и сам человек — два существа различные, хотя они и выросли из одного и того же корня, хотя и срослись теснее сиамских близнецов. Из того, что я сказал, видно, что в Достоевском муза и человек сливались необыкновенно тесно.

Обращаюсь к чисто личным чертам. Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был безусловно чист от всякого дурного чувства по отношению к власти; авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только литературный; авторитет же *пострадавшего* человека никогда не выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью. Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая на редакционные вечера Михайла Михайловича (кажется, они были по воскресеньям), с большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и наконец сказала: «Смотрю на вас и, кажется, вижу на вашем лице те страдания, какие вы перенесли...» Ему были видимо досадны эти слова. «Какие страдания!..» — воскликнул он и принялся шутить о совершенно посторонних предметах. Помню также, как, готовясь к одному из литературных чтений, бывших тогда в большой моде, он затруднялся, что ему выбрать. «Нужно что-нибудь новенькое, интересное», — говорил он мне. «Из «Мертвого дома»?» — предложил я. «Я уж часто читал, да и не хотелось бы мне. Мне все тогда кажется, как будто я жалуюсь перед публикою, все жалуюсь... Это нехорошо».

Вообще он не любил обращаться к прошлому, как будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чем-нибудь радостном, как будто хвалился им. Вот почему из его разговоров трудно было составить понятие о случаях его прежней жизни.

В отношении к власти он всегда твердо стоял на той точке, которая так ясна и тверда у всех истинно русских людей. Он давал полную строгость своему суждению, но откладывал всякую мысль о непокорности. Ни сплетничества, ни охоты злословить у него не было, хотя ему случалось с великою горечью и негодованием говорить об иных лицах и распоряжениях. На себе же он переносил и неудобные существующие порядки не только беспрекословно, но часто с совершенным спокойствием, как дело не его лично касающееся, а составляющее общее условие, свойство которого не зависит от этого частного случая. Так, например, я не помню, чтобы он когда-нибудь сильно раздражался против цензуры. Тогда существовала предварительная цензура, то есть каждая статья в корректуре подвергалась исключениям и поправкам цензора[40]. Цензора, конечно, делали при этом много лишнего, по тому естественному побуждению, что им хотелось исполнять долг, совершать некоторый труд, то есть непременно делать поправки и исключения, — если нельзя больших, то хоть маленькие. С другой стороны, они были вообще люди очень любезные, обыкновенно смотревшие с уважением на литературу и очень доступные для авторов. Каждый автор, получивши корректуру с помарками красных чернил, нередко отправлялся с нею к цензору и торговался, отстаивая свои строчки и выражения. Такие случаи были беспрерывны, и тут было поприще для всяких раздражений. Но я не помню, чтобы Федор Михайлович когда-нибудь особенно негодовал на подобные случаи. Вообще мы вовсе не старались в нашем журнале о том, чтобы произвести какой-нибудь скандал, обойти цензуру. Что же касается, в частности, до Федора Михайловича, то он принадлежал к числу тех писателей, которые обыкновенно остаются в пределах цензуры, нимало об ней не думая, а только потому, что слишком серьезны, чтобы позволить себе резкости и личности, останавливающие внимание цензоров.

VII

ЛИБЕРАЛИЗМ. — СТУДЕНТСКАЯ ИСТОРИЯ

Вообще никакого следа революционного направления не было в кружке «Времени», то есть не только каких-нибудь помыслов, но и сношений с людьми, замышлявшими недоброе, или какого-нибудь им потворства и одобрения[41]. Все мы, и Федор Михайлович во главе,

в самый разгар сумятицы, желали и думали ограничиться только литературною ролью, то есть трудиться для того нравственного и умственного поворота в обществе, какой считали наилучшим. Мы, в сущности, были очень отвлеченные журналисты, говорили только об общих вопросах и взглядах, в практической же области мы останавливались на *чистом либерализме,* то есть на таком учении, которое менее всего согласно с мыслью о насильственном перевороте и если настаивает на каких-нибудь изменениях существующего порядка, то добивается этих изменений одним лишь убеждением и вразумлением. Чистый либерализм, как известно, есть вера в то, что отсутствие принудительных мер ведет к наилучшим результатам в общественной деятельности, что тогда интересы всего правильнее уясняются и взаимно уравновешиваются. Словом, это те начала, которых держатся проповедники свободы мысли, свободы слова, свободы торговли и т. д., начала, очевидно, далеко не объемлющие своего предмета, но такие, которых следует держаться во множестве случаев, везде, где нет ясных оснований для иного образа действия. Поэтому либеральная проповедь возможна и полезна при всякой форме правления, хотя она не дает полной и определенной теории никакого общества. Над этими началами должны господствовать другие начала, имеющие большую силу и неотложность.

Неопределенный, общий либерализм был у нас тогда в большом ходу. Им пробавлялись все журналы, им больше и больше проникалось общество и даже правящие сферы. «Русский вестник», начавшийся с 1856 года, был, можно сказать, школою либерализма; по его книжкам вся Россия училась глядеть на вещи с этой точки зрения, подвергать критике те следствия, какие проистекали от принудительных мер и порядков. Самые реформы прошлого царствования имели преимущественно освободительный характер, снимали юридические и административные стеснения, связывавшие народ и общество. Понятно, что либеральный дух овладел всеми, и так как сперва в этом движении не замечалось ничего дурного, то оно росло все больше и больше.

Невозможно было не заразиться общим оживлением, радостным чувством нарастающей деятельности, простора мыслей и занятий. Нужно вспомнить при этом подвижность и восторженность нашей публики, обыкновенно не знающей меры своим увлечениям. Все кипело и неслось шумным потоком. Нет сомнения, что правительство

покойного государя было расположено давать все больше и больше свободы этому движению и что мы далеко бы ушли по этому пути, если бы это движение держалось в границах того настоящего либерализма, во имя которого оно совершалось. Но мы оказались недостойными той свободы, какая нам давалась. Или можно сказать — либеральные начала оказались недостаточными для управления нашим обществом, именно слишком трудными для своего понимания и исполнения и нимало не парализующими силы других начал, нисколько на них не похожих. Наступило быстрое и ужасное разочарование. Чем кончилась либеральная эпоха, так называемая *заря возрождения?* Вдруг стали являться прокламации, взывавшие к бунту и разрушению; за прокламациями следовали пожары; за пожарами польское восстание, а через три года первое покушение на жизнь государя[42].

Привожу все это для того, чтобы со всею точностию обозначить, в чем состоял тот либерализм, которого держалось «Время» и который, следовательно, был разделяем Федором Михайловичем. К сожалению, несмотря на всякие исторические опыты, несмотря на всякие публицистические толки, печатные и устные, у нас господствует величайшая путаница в понятиях, конечно, поддерживаемая нашею учительницею, Европою, и истинный смысл либерализма почти утратился. Что либерал, по сущности дела, должен быть в большинстве случаев консерватором, а не прогрессистом и ни в каком случае не революционером, это едва ли многие знают и ясно понимают. Такой настоящий либерализм Федор Михайлович сохранял до конца своей жизни, как должен его сохранять всякий просвещенный и не ослепленный человек.

Расскажу здесь один из важных случаев того времени, так называемую *студентскую историю,* разыгравшуюся в конце 1861 года и как нельзя лучше рисующую тогдашнее состояние общества[43]. В этой истории, вероятно, действовали разные внутренние пружины; но я не буду их касаться, а расскажу ее наружный, публичный вид, имевший главное значение для большинства и действующих лиц и зрителей. Университет, вследствие наплыва либерализма, кипел тогда жизнью все больше и больше, но, к несчастию, такою, которая топила учебные занятия. Студенты составляли сходки, учредили свою кассу, библиотеку, издавали сборник, судили своих товарищей и т. д.; но все это так их развлекало и возбуждало, что большинство, и даже многие из самых умных и спо-

собных, перестали учиться. Было немало и беспорядков, то есть выходов за границы всевозможных льгот, и начальство решилось, наконец, принять меры для прекращения этого хода дел. Чтобы заручиться непререкаемым авторитетом, оно исходатайствовало высочайшее повеление, которым запрещались сходки, кассы, депутаты и тому подобное. Повеление вышло летом, и, когда студенты осенью явились в университет, нужно было привести его в исполнение. Студенты задумали противиться, но решились на то единственное сопротивление, какое допускается либеральными началами, то есть на *чисто пассивное.* Так они и сделали; они привязывались ко всяким предлогам, чтобы только дать как можно больше работы властям и гласности всему делу. Они очень искусно добились величайшего скандала, какого только можно было добиться. Власти вынуждены были два или три раза забирать их днем, на улице, огромными толпами. К пущей радости студентов, их посадили даже в Петропавловскую крепость. Они беспрекословно подчинились этому аресту, потом суду и, наконец, ссылке, для многих очень тяжкой и долговременной. Сделавши это, они думали, что сделали все, что нужно, то есть что они громко заявили о нарушении своих прав, сами не вышли из пределов законности и понесли тяжкое наказание как будто только за неотступность своих просьб.

Хотя эти юридические понятия в сущности неприменимы к учащимся, но студенты, для поучения остальных граждан, разыграли эту либерально-юридическую драму безукоризненно и с истинным увлечением. Это вовсе не был бунт, хотя бы и в маленьких размерах. Всего интереснее и характернее то, что тогда же. нашлись люди, которым очень хотелось обратить эту историю в бунт, что со студентами делались совещания в этом роде, что им предлагалось, например, совершить злодейство, которым правительство было бы поставлено в безвыходное положение, и т. п. Революционные элементы уже назрели в обществе; но на сей раз либерализм сохранил свою чистоту и была лишь совершена громкая демонстрация, как бы публичная жалоба общественному мнению. Ради этого многие молодые люди с веселым сердцем испортили навсегда свое житейское поприще.

Разумеется, весь город только и говорил о студентах. С заключенными дозволялись свидания, и потому в крепость каждый день являлось множество посетителей. И от редакции «Времени» был им послан гостинец. У Ми-

хайла Михайловича был зажарен огромный ростбиф и отвезен в крепость с прибавкою бутылки коньяку и бутылки красного вина. Когда студентов, признанных наиболее виновными, стали, наконец, увозить в ссылку, их провожали далеко за город родные и знакомые. Прощание было людное и шумное, и ссыльные большею частию смотрели героями.

История эта потом продолжалась совершенно в том же духе. Университет закрыли, с тем чтобы подвергнуть полному преобразованию. Тогда профессора стали просить позволения читать публичные лекции и без труда получили разрешение. Дума уступила для лекций свои залы, и вот университетские курсы открылись вне университета почти в полном своем составе. Все хлопоты по устройству лекций и все смотрение за порядком студенты взяли на себя и очень были довольны и горды этим новым, вольным университетом.

Но мысли их были заняты не наукой, о которой они, по-видимому, так хлопотали, а чем-то другим, и это испортило все дело. Поводом к разрушению Думского университета был знаменитый «литературно-музыкальный вечер» *в зале Руадзе, 2* марта 1862 [44]. Этот вечер был устроен с целью сделать как бы выставку всех передовых, прогрессивных литературных сил. Подбор литераторов сделан был самый тщательный в этом смысле, и публика была самая отборная в том же смысле. Даже музыкальные пьесы, которыми перемежались литературные чтения, были исполняемы женами и дочерьми писателей хорошего направления. Федор Михайлович был в числе чтецов, а его племянница в числе исполнительниц. Дело было не в том, чт*о* читалось и исполнялось, а в овациях, которые делались представителям передовых идей.

Шум и восторг был страшный, и мне всегда потом казалось, что этот вечер был высшею точкою, до которой достигло либеральное движение нашего общества, и вместе кульминациею нашей воздушной революции. Один из эпизодов этого вечера был началом быстрого падения и разочарования в нашем тогдашнем прогрессе. Профессор П<авло>в читал на вечере свою статью, которая, как и все, что исполнялось, была предварительно процензурована; он прочитал ее без изменения, но с такими выразительными интонациями и жестами, что смысл получился вовсе нецензурный. Поднялся радостный гвалт, восторг, невозможный для описания.

И вот на другой день разносится всюду весть, что

профессор арестован и выслан из Петербурга. Как тут быть? Как протестовать против такой меры? Студенты довольно последовательно придумали, что высылка одного профессора представляет угрозу другим профессорам, что поэтому они не могут продолжать своих чтений, если не желают показать, что считают своего сотоварища виновным и что сами желают быть невинными перед правительством. Решено было закрыть Думский университет и тем протестовать против стеснений. Это был протест вроде выхода профессоров в отставку, — дело, как известно, беспрестанно повторявшееся в русских университетах, нечто похожее на японское самоубийство. Студенты предполагали, что все общество будет поражено скорбью и гневом, когда вдруг закроется главный источник его просвещения. Профессора согласились на желание студентов и отказались от чтения, кроме одного или двух, которым зато слушатели стали делать скандалы. Наконец, вмешалось начальство и прекратило все дело, запретив вообще профессорам читать публичные лекции.

Какой же был результат всей истории? Тотчас же обнаружилось, что хитрые замыслы возбудить общество и вооружить его против правительства потерпели полную неудачу. Общество не тронулось, и волнение, вместо того, чтобы возрастать, вдруг погасло. Руководители дела слишком наивно воображали, что шум, происходящий в их кружках, есть выражение общего настроения и что так легко будет обмануть публику. В сущности никто серьезно не мог поверить, что правительство есть враг и притеснитель просвещения. Подкладка дела была всем слишком видна, особенно когда в то же время стали одна за другою появляться прокламации, из которых первая считала в России сто тысяч человек помехою общему благополучию, а последняя уже прямо угрожала — «залить улицы кровью и не оставить камня на камне»[45].

Как бы то ни было, правительство, постоянно желавшее сохранить либеральный образ действий, было поставлено в очень трудное положение; оказывалось, что всякая либеральная мера возбуждает в обществе движение, которое пользуется этою мерою для своих целей, не либеральных, а весьма радикальных. Затруднение это прекращено было только петербургскими пожарами и польским восстанием, когда, наконец, стало ясно, что нельзя терпеть и предоставлять естественному течению зло, принявшее такие ужасающие размеры.

VIII

ПОЛЕМИКА. НИГИЛИЗМ

Во всяком случае, состояние умов в это время, в 1861 и 1862 годах, было в высшей степени возбужденное и *почвенники* естественно разделяли это возбуждение. Казалось, все старые формы жизни готовы исчезнуть и видоизмениться, и может начаться новая жизнь, народный дух может обнаружиться в новом свободном творчестве. Этим объясняется, почему мы так легко переносили неопределенность нашего катехизиса. Мы пользовались теми преимуществами, которые общество так охотно дает писателям и за которые так усердно держатся сами писатели. Они, как известно, ничему не подчинены и ни к чему не обязаны, кроме внушений своего ума и своей совести. Мы не примыкали ни к какой партии, имеющей практическое дело, практические интересы; мы ясно видели, что нам нужно оставаться в сфере общих отвлеченных вопросов, и так как мы были горячие патриоты и русофилы, то перед нами было множество дела и в литературной критике, и в понимании русской истории и русского быта, и во всевозможных суждениях о Западе и его умственных и политических явлениях, имеющих у нас такое могущественное влияние. В этом отношении нельзя не видеть, что «Время» работало усердно и никак не уклонялось от общей своей задачи.

Неизбежной частью этой задачи была полемика, так как все огромное большинство литературы было западническое, а самое решительное влияние принадлежало журналам, прямо расположенным к нигилизму. Поэтому нигилизм сделался некоторого рода специальностью «Времени»; оно постоянно следило за ним и анализировало его с различных сторон. В промежуток от начала «Времени» до появления романа Тургенева «Отцы и дети» («Русский вестник» 1862 года, февраль) «Время» успело уже указать на существенные черты нигилизма, на те самые черты, которые в живых образах и сценах с такою меткостию изобразил Тургенев.

Начало борьбы с нигилистическим направлением положил сам Федор Михайлович в своей статье: «—бов и вопрос об искусстве» («Время» 1861 г., февраль), в которой он опровергал стремление сделать из искусства чисто служебное средство. Он начал с довольно мягких возражений; главным образом он восставал против нарушения законов искусства и против мысли о бесполез-

ности таких художественных произведений, которые не имеют ясной тенденции [46]. Но мне не терпелось и хотелось скорее стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим учениям. Могу сказать, что во мне было постоянно какое-то органическое нерасположение к нигилизму и что с 1855 года, когда он стал заметно высказываться, я смотрел с большим негодованием на его проявления в литературе. Уже в 1859 и 1860 году я делал попытки возразить против нелепостей, которые так явно и развязно высказывались; но редакторы двух изданий, куда я обращался, люди хорошо знакомые, решительно отказались печатать мои статьи и сказали, чтобы и вперед я об этом не думал. Я понял тогда, какой большой авторитет имеют органы этого направления, и очень опасался, что такая же участь меня постигнет и во «Времени». Поэтому для меня было большою радостью, когда моя статья «Еще о петербургской литературе», разумеется благодаря лишь Федору Михайловичу, была принята («Время» 1861 г., июнь); тогда я стал писать в этом роде чуть не в каждой книжке журнала [47]. Рассказываю обо всем этом для характеристики литературы того времени. Сам же я искренно считал эти статейки более забавою, чем делом, и тем веселее они выходили. Со стороны редакции было, впрочем, сначала маленькое сопротивление. В моих статьях иногда редакция приставляла к имени автора, на которого я нападал, какой-нибудь лестный эпитет, например, *талантливый, даровитый,* или в скобках: (*впрочем, достойный уважения*). Были и вставки; так, в статье «Нечто о полемике» было вставлено следующее место:

«Вольтер целую жизнь свистал, и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердились на него, и именно за свист.)» [48]

Эта похвала свисту вообще и Вольтеру в частности нарушает тон статьи и выражает вовсе не мои вкусы. Но редакция не могла не вступиться за то, что имело силу в тогдашних нравах и на что признавала и за собою полное право. Вставка принадлежит Федору Михайловичу, и я уступил его довольно горячему настоянию. Скоро, впрочем, всякие поправки такого рода вовсе прекратились.

Статьи эти писались под псевдонимом *Косицы,* — я имел дерзость выбрать себе образцом *Феофилакта Косичкина* и прилагал большие старания о добросовестности и точности в отношении к предмету своих нападе-

ний [49]. Свиста у меня не было никакого, но тем больше силы получали статьи и тем больше интересовало Федора Михайловича то разъяснение вопроса, которое из них выходило.

Рассказываю обо всем этом потому, что дело это имело чрезвычайно важные последствия: оно повело к совершенному разрыву «Времени» с «Современником», а затем к общей вражде против «Времени» почти всей петербургской журналистики.

Вообще же для нашей литературы, для общественного сознания вопрос о народившемся у нас отрицании был ясно поставлен преимущественно романом Тургенева «Отцы и дети», тем романом, в котором в первый раз появилось слово *нигилист,* с которого начались толки о *новых людях,* и, словом, все дело получило определенность и общеизвестность. «Отцы и дети», конечно, самое замечательное произведение Тургенева — не в художественном, а в публицистическом отношении. Тургенев постоянно следил за видоизменениями господствовавших у нас настроений, за теми идеалами *современного героя,* которые складывались в передовых и литературных кружках, и на этот раз совершил решительное открытие, нарисовал тип, которого прежде почти никто не замечал и который вдруг все ясно увидели вокруг себя. Изумление было чрезвычайное, и произошла сумятица, так как изображенные были застигнуты врасплох и сперва не хотели узнавать себя в романе, хотя автор вовсе не относился к ним с решительным несочувствием [50]. Но молодому поколению этого было мало; оно требовало, наоборот, безусловного сочувствия и с великим шумом объявило Тургенева, первое имя в литературе, человеком отсталым и противником общего дела. Среди тогдашних беспрерывных разговоров и споров много раз мне приходилось доказывать разным нигилистам, что если они хотят быть последовательными, то должны держаться именно тех мнений, какие исповедует Базаров, герой Тургенева. Большинство публики, как всегда, очень горячилось, но имело сбивчивые, пестрые понятия о деле, и самые ярые приверженцы нигилистического направления вовсе не подозревали, например, что наука и искусство тоже должны быть приносимы в жертву их идолу.

Во «Времени» была напечатана (1862 г., апрель) моя статья, в которой превозносился Тургенев, как чисто объективный художник, и доказывалась верность изображаемого им типа. Тотчас после появления статьи

приехал в Петербург Тургенев, по обыкновению собравшийся проводить лето в России[51]. Он навестил и редакцию «Времени», застал нас в сборе и пригласил Михайла Михайловича, Федора Михайловича и меня к себе обедать, в гостиницу Клея (что ныне Европейская). Буря, поднявшаяся против него, очевидно, его тревожила. За обедом он говорил с большою живостью и прелестью, и главною темою были отношения иностранцев к русским, живущим за границею. Он рассказывал с художественной картинностию, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских, присвоить себе их имущество, добиться завещания в свою пользу и т. д. Много раз потом мне приходил на мысль этот разговор, и я жалел, что эти тонкие наблюдения и, конечно, множество подобных им, собранных во время долгого житья за границею, остались не рассказанными печатно.

Известно, как затем разыгралось дело об нигилизме. На Тургенева сыпался в продолжение нескольких лет целый дождь всяких упреков и брани. Сам он был долго смущен и целые пять лет, до «Дыма» (1867 г.), ничего не писал в роде своих прежних публицистических романов, да и вообще очень мало писал. Между тем в 1866 году появилось «Преступление и наказание», в котором с удивительною силой изображено некоторое крайнее и характерное проявление нигилизма [52], и с этого романа до предсмертной «Легенды об великом инквизиторе» идет у Достоевского разнообразный и глубокий анализ нашего нравственного и умственного шатания. Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то за Достоевским нужно признать огромную заслугу литературе и обществу. Он один взял задачу во всей глубине и ширине, — захватил все виды и крайности той глупости и безнравственности, которая развивается в русских людях, когда они покидают родную почву, то есть отрекаются от покорности России и преданности христианскому духу. Он заглянул в душу этих людей и изобразил борьбу их заблуждений с добрыми началами, еще живущими в их душе. Религиозный элемент, а также склад народной нравственности, народного патриотизма ясно выступают как противовес, как убежище и спасение от хаоса и бессмыслицы выветрившегося слоя общества. Все дело взято широко, тонко, глубоко, притом с постоянным обращением к вековечным задачам души человеческой, с художественными попытками уловить и самые возвышенные, и самые смрад-

ные тайны людских сердец. Не мудрено, что такой писатель, такой публицист стал, наконец, чрезвычайно занимать читателей, несмотря на то, что по художественным достоинствам его произведения уступали некоторым из современных им произведений других авторов.

При этом общем очерке отношений нашей литературы к нигилизму я указываю и свою маленькую роль — прошу читателя верить — не столько для похвальбы, сколько для уяснения хода дела. Тотчас после обеда у Тургенева вышла апрельская книжка «Современника» с большою статьею «О духе «Времени», в высшей степени резкою и направленною исключительно против меня, так что по тогдашним литературным понятиям я был убит окончательно. Сперва я принял это нападение совершенно хладнокровно, но, признаюсь, я потом немножко уныл, когда увидал, что многие добрые мои знакомые, даже из числа наиболее любивших меня, стали посматривать на меня с сожалением и вовсе не хотели разделять моей бодрости. Между тем, судя по всему, а особенно издали, теперь, можно сказать, что статья против «Времени» была, так сказать, одною из первых *осечек* «Современника». Он тогда был в самом воинственном духе и с начала года принялся за казни; в первой книжке совершена была казнь над московским профессором философии *Юркевичем,* во второй — над славянофилами, в третьей — над Тургеневым, в четвертой — над «Временем»[53], то есть именно надо мною. В статье было даже тщательно заявлено, что ее упреки и порицания не простираются на роман «Униженные и оскорбленные» и на «Записки из Мертвого дома». Таким образом, мне досталось весьма почетное место в числе главных врагов, или, пожалуй, главных жертв «Современника». Эта честь заслужена мною именно тем анализом нигилистического направления, которым я с таким усердием занимался. И к этому же анализу больше, чем к некоторым положительным взглядам, я отношу то лестное слово, которое мне сказал однажды Федор Михайлович, уже гораздо позже, когда наша дружба была холоднее, во времена редактирования им «Гражданина». Он требовал от меня, чтобы я больше писал, и когда я сказал, что у меня мало мыслей, для того чтобы так много писать, он возразил: «Как мало мыслей? Да половина моих взглядов — ваши взгляды!» Понятно, что это замечание, сказанное сердитым тоном, сохранилось в моей памяти как большая похвала, и я приписываю ее больше всего

моему упорному стоянию против нигилизма. Люди с художественным складом ума часто видят большое достоинство в логическом развитии мыслей, к которому сами они мало расположены, и когда в основах есть совпадение, как в большинстве случаев было у нас с Федором Михайловичем, то художникам бывает очень приятна отвлеченная формулировка их идей и чувств.

Я отвечал «Современнику» в майской книжке «Времени»[54]. Но «Современнику» угрожала в это время гораздо большая беда. Тогда уже шло дело Н. Г. Чернышевского, подвергшегося подозрению, что он участвовал в прокламациях. И, почти вслед за самою ярою из прокламаций, обещавшею *залить улицы кровью и не оставить камня на камне,* начались петербургские пожары. Это была самая ужасная минута нашей *воздушной революции,* брожения, возникшего в оторвавшихся от почвы умах и душах. По какой-то связи, по подозрению или обвинению, «Современник» был признан вредным изданием и в июне был закрыт на восемь месяцев[55].

Это закрытие истинно огорчило нас. У нас был отнят противник, борьбе с которым мы приписывали важное значение. Мы знали очень хорошо, что, несмотря на его молчание и даже в силу этого вынужденного молчания, его направление продолжает все усиливаться и развиваться; но у нас не было уже под руками самого авторитетного и ясного представителя этих мнений. Таким образом, вмешательство власти разрушало наши внутренние, так сказать, домашние расчеты. Предварительная цензура, под которою тогда все писали, конечно, была помехою для ясного выражения всяких взглядов и была больше всего благоприятна для учений отрицательных, для которых достаточно намека, насмешливого оборота речи, фигуры умолчания, чтобы читатель прочел между строками несложную и удобопонятную формулу отрицания. Вся масса нигилистических учений со всеми их видами прошла в нашу литературу под предварительною цензурою. Положительным учениям было труднее; но при небольшой литературной ловкости мы мало тяготились цензурою и работали довольно весело, принимая борьбу даже при неравных условиях. Закрытие же «Современника» выбивало нас совершенно из колеи.

Но кроме этого домашнего огорчения, общее течение дел было очень тяжелое и грустное. Пожары наводили ужас, который трудно описать. Помню, мы вместе с Федором Михайловичем отправились для развлечения кудато на загородное гулянье. Издали, с парохода, видны

были клубы дыма, в трех или четырех местах подымавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане. Но, как мы ни старались позабавиться, тяжелое настроение не проходило, и я скоро стал проситься домой. В поджогах трудно сомневаться, но это дело, как и другие страшные события той эпохи, почему-то осталось совершенно покрытым мраком[56].

IX

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Летом этого года (1862), 7-го или 8-го июня, Федор Михайлович пустился в свою первую поездку за границу. Припомню, что могу, из этой поездки; сам он описал ее впечатления в статье «Зимние заметки о летних впечатлениях». Он поехал в Париж, а потом в Лондон, где виделся с Герценом, как сам о том упоминает в «Дневнике» «Гражданина»[57]. К Герцену он тогда относился очень мягко, и его «Зимние заметки» отзываются несколько влиянием этого писателя; но потом, в последние годы, часто выражал на него негодование за неспособность понимать русский народ и неумение ценить черты его быта. Гордость просвещением, брезгливое пренебрежение к простым и добродушным нравам — эти черты Герцена возмущали Федора Михайловича, осуждавшего их даже и в самом Грибоедове, а не только в наших революционерах и мелких обличителях.

Из-за границы я получил тогда от Федора Михайловича письмо, которое привожу здесь вполне, как носящее на себе следы всех тогдашних обстоятельств.

Париж, «26 июня /8 июля/ 62.

Вы в первых числах июля трогаетесь за границу, дорогой Николай Николаич. С Богом; уж одно то, что к тому времени Вы непременно попадете на прекрасную погоду, так как теперь она везде, по всей Европе скверная; но как вспомню: на кого ж Вы оставите Михаила Михайловича, так даже жутко станет. Голубчик Николай Николаевич, пора теперь скверная, как Вы *пишете*, — пора томительного и тоскливого ожидания. Но ведь журнал дело великое; это такая деятельность, которою нельзя рисковать, потому что, во что бы ни стало, журналы как выражение всех оттенков современных мнений должны остаться. А деятельность, то есть что́ именно делать,

о чем говорить и что *писать*, — всегда найдется. Господи! как подумаешь, сколько еще не сделано и не сказано, и потому сижу здесь и рвусь отсюда, из так называемого прекрасного далека, хоть не телом, так духом, к Вам, в Россию. Всякий, всякий должен делать теперь и, главное, попасть на здравый смысл. Слишком у нас перепутались в обществе понятия. Недоумение наступило какое-то. Вы пишете, дорогой Николай Николаевич, что хотите съездить предварительно в Москву. Чтоб не опутали Вас там сенаторы журналистики! Чего доброго, Катков соблазнит Вас какой-нибудь разлинованной по безбрежному отвлеченному полю доктриной... Нет, нет, я ведь шучу. Ах, голубчик, родной мой, как бы хотелось с Вами здесь увидеться! И знаете что: мне кажется, это совершенно возможная и должная вещь. Штука в том, чтоб не сбиться в адресах. Главное дело в том, чтоб помнить числа. 15-го июля (нашего стиля), но не раньше, я выезжаю из Парижа в Кельн. День пробуду в Дюссельдорфе, потом на пароходе вверх по Рейну до Майнца, а там в Oberland, то есть, может быть, в Базель и проч. Значит, 18 или 19-го числа нашего стиля я в Базеле, а 20, 21 или 22-го в Женеве. Следственно, всякое письмо Ваше, откуда бы то ни было, если придет в Париж не позже 15-го июля, застанет меня там, и я буду знать, где Вас найти. Даже так, например, Вы мне напишете, положим, из Берлина или Дрездена, что такого-то числа будете там-то (а это Вы можете рассчитать всегда, дней на десять вперед), там я и буду Вас искать. А если Вы сделаете еще такую вещь: купите себе guide Рейхарда, так что в каждом городе будете знать, какие отели (и какие в них цены), то, например, будучи в Берлине и пиша ко мне, напишите: остановлюсь в Женеве такого-то числа и в такой-то гостинице. Так что я и буду уж спрашивать о Вас в этой гостинице. Вы, может быть, приехав в Женеву, и не остановитесь в этой гостинице, найдете ее неудобной и остановитесь в другой, но это Вам нисколько не помешает оставить в прежней (условленной) гостинице свой адрес, для тех, кто о Вас спросит (то есть для меня), и дадите за это portier гостиницы какой-нибудь франк на водку, и таким образом я Вас непременно найду. Как любопытно мне тоже узнать Ваш маршрут. Ах, Николай Николаевич, Париж прескучнейший город, и если б не было в нем очень много действительно слишком замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки. Французы, ей-богу, такой народ, от которого тошнит. Вы говорили о самодовольно-наглых и *г<--->ных* лицах, свирепствующих на

наших минералах *. Но клянусь Вам, что тут ст*о*ит нашего. Наши — просто плотоядные подлецы и большею частию сознательные, а здесь он вполне уверен, что так и надо. Француз тих, честен, вежлив, но фальшив и деньги у него — всё. Идеала никакого. Не только убеждений, но даже размышлений не спрашивайте. Уровень общего образования низок до крайности (я не говорю про присяжных ученых. Но ведь тех немного; да и, наконец, разве ученость есть образование, в том смысле, как мы привыкли понимать это слово?). Вы, может быть, посмеетесь, что я так сужу, всего еще только десять дней пробыв в Париже. Согласен; но 1) то, чт*о* я видел в эти десять дней, подтверждает покамест мою мысль, и во 2-х) есть некоторые факты, которых заметить и понять достаточно полчаса, но которые ясно обозначают целые стороны общественного состояния, а именно тем, что эти факты возможны, существуют.

Заедете ли Вы в Париж? Заметьте: на три дня в Париж ехать не стоит, а посвятить ему две недели, если Вы *только турист,* будет скучно. За делом сюда ехать можно. Много есть чего посмотреть, изучить. Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его не ленясь, сколько возможно для простого туриста, каков я есмь. Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется, почему не написать и о Париже, но вот беда: времени тоже нет. Для порядочного письма из-за границы нужно все-таки дня три труда, а где здесь взять три дня? Но там что будет.

Еще, голубчик Николай Николаевич: Вы не поверите, как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! Положим, Вы одинокий человек, и Вам особенно жалеть будет некого. Но опять-таки: чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной, родной канители, от текущих собственных семейных вопросов. Правда, до сих пор всё мне не благоприятствовало за границей: скверная погода и то, что я все еще толкусь на севере Европы и из чудес природы видел один только Рейн с его берегами (Николай Николаич! Это действительно чудо). Что-то будет дальше, как спущусь с Альпов на равнины Италии. Ах, кабы нам вместе: увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего

* Тут разумеются «Минеральные воды», загородное гулянье, устроенное *Излером* и долго бывшее единственным и модным. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (А? Николай Николаевич?). Но... «ничего, ничего, молчанье», как говорит, в этом же самом случае, Поприщин.

До свидания, Николай Николаевич. О заграничных впечатлениях моих не сообщаю Вам никаких подробностей. Всего не опишешь в письме, а по частям и не могу. Да и какие еще мои впечатления-то! Я еще всего девятнадцать дней за границей. Обнимаю Вас от всей души. Передайте мой поклон добрейшему, милому Тиблену (которого, я не знаю за что, я как-то стал любить в последнее время) и милой, бесконечно уважаемой Евгении Карловне. Как ее здоровье? * Да кстати: если Вы поедете в Москву, то, пожалуй, письмо мое и не застанет Вас в Петербурге. Во всяком случае и адресую в редакцию «Времени».

Прощайте. Впрочем, лучше: до свидания. Быть того не может, чтоб мы за границей не встретились! Я никогда не простил бы себе этого. Крепко жму Вам руку. Поклонитесь от меня всем общим нашим знакомым. Как ведет себя Ваш неблаговоспитанный кот? Addio.

Ваш *Ф. Достоевский».*

На это письмо я обещал быть к сроку в Женеве. Я выехал в половине июля, остановился дня на два, на три в Берлине, потом столько же в Дрездене и прямо проехал в Женеву[58]. Чтобы отыскать Федора Михайловича, я употребил известный способ: пошел гулять по набережной и заходить в самые видные кофейни. Кажется, в первой же из них я нашел его. Мы очень обрадовались друг другу, как люди давно скучавшие среди чужой толпы, и принялись так громко разговаривать и хохотать, что встревожили других посетителей, чинно и молчаливо сидевших за своими столиками и газетами. Мы поспешили уйти на улицу и стали, разумеется, неразлучны. Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать; его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление улич-

* Евгения Карловна Тиблен, жена Николая Львовича Тиблена, известного издателя шестидесятых годов. Его издания отличались хорошим выбором и имели большой ход; им изданы Маколей, Бокль, Спенсер, Куно-Фишер и т. д. Он был прежде военным и был под Севастополем. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

ной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. И мы действительно ничего не осматривали, а только гуляли, где полюднее, и разговаривали. У меня не было определенной цели, и я тоже старался уловить только общую физиономию этой ни разу еще мною не виданной жизни и природы. Женеву Федор Михайлович находил вообще мрачною и скучною. По моему предложению, мы съездили в Люцерн; мне очень хотелось видеть *озеро Четырех Кантонов,* и мы делали увеселительную поездку на пароходе по этому озеру. Погода стояла прекрасная, и мы могли вполне налюбоваться этим несравненным видом. Потом мне хотелось быть непременно во Флоренции, о которой так восторженно писал и рассказывал Ап. Григорьев[59]. Мы пустились в путь через Монсенис и Турин в Геную; там сели на пароход, на котором приехали в Ливорно, а оттуда по железной дороге во Флоренцию. В Турине мы ночевали, и он своими прямыми и плоскими улицами показался Федору Михайловичу напоминающим Петербург. Во Флоренции мы прожили с неделю в скромной гостинице Pension Suisse (Via Tornabuoni). Жить здесь нам было недурно, потому что гостиница не только была удобна, но и отличалась патриархальными нравами, не имела еще тех противных притязаний на роскошь и тех приемов обиранья и наглости, которые уже порядочно в ней процветали, когда в 1875 году я опять остановился в ней по старой и приятной памяти. И тут мы не делали ничего такого, что делают туристы. Кроме прогулок по улицам, здесь мы занимались еще чтением. Тогда только что вышел роман В. Гюго «Les Misérables», и Федор Михайлович покупал его том за томом. Прочитавши сам, он передавал книгу мне, и тома три или четыре было прочитано в эту неделю. Однако мне хотелось не упустить случая познакомиться с великими произведениями искусства, попробовать при спокойном и внимательном рассматривании угадать и разделить восторг, созидавший эту красоту, и я несколько раз навестил galleria degli Uffizi. Однажды мы пошли туда вместе; но так как мы не составили никакого определенного плана и нимало не готовились к осмотру, то Федор Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется не добравшись даже до Венеры Медицейской. Зато наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Федор Михайлович и находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку, и хотя мы ни

разу не навестили *Кашин*[60]. Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина. Упомянув о. вине (которое на этот раз было малым чем крепче пива), замечу вообще, что Федор Михайлович был в этом отношении чрезвычайно умерен. Я не помню во все двадцать лет случая, когда бы в нем заметен был малейший след действия выпитого вина. Скорее он обнаруживал маленькое пристрастие к сластям; но ел вообще очень умеренно.

За обедом в нашем Pension Suisse произошла и та сцена, которая описана в «Заметках» на стр. 423 («Сочинения», т. III)[61]. Помню до сих пор крупного француза, первенствовавшего в разговоре и действительно довольно неприятного. Но речам его придана в рассказе слишком большая резкость; и еще опущена одна подробность: на Федора Михайловича так подействовали эти речи, что он в гневе ушел из столовой, когда все еще сидели за кофе.

Из «Заметок» самого Достоевского читатели всего яснее увидят, на что было направлено его внимание за границею, как и везде. Его интересовали люди, исключительно люди, с их душевным складом, с образом их жизни, их чувств и мыслей.

Во Флоренции мы расстались; он хотел, если не ошибаюсь, ехать в Рим (что не состоялось), а мне хотелось хоть неделю провести в Париже, где он уже побывал. К тем чертам бдительности французской полиции, которые приводит Федор Михайлович[62], прибавлю еще черточку. На пароходе, на котором я ехал из Генуи в Марсель, через несколько часов после отъезда, когда уже совсем стемнело, вдруг от меня потребовали мой вид, и только от меня одного. Помню, как это удивило некоторых пассажиров и как кто-то предложил мне объяснение, что во Франции боятся разных приезжих. Может быть, полицию обмануло в этом случае какое-нибудь сходство.

X

ТРЕТИЙ ГОД ЖУРНАЛА. — ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

В сентябре, когда мы вернулись в Петербург, редакция наша оказалась в полном сборе: еще в середине лета вернулся из Оренбурга Ап. Григорьев. Все принялись работать как могли и как умели, и дело шло так хорошо, что можно было радоваться. Первым делом Федора Ми-

хайловича было написать для сентябрьской книжки то длинное объявление об издании «Времени» в 1863 году, которое читатели найдут в «Приложениях» к этому тому [63]. Оно очень хорошо написано, с искренностью и воодушевлением. Главное содержание, кроме настоятельного повторения руководящей мысли журнала, состоит в характеристике противников. По терминологии Ап. Григорьева, одни из них называются *теоретиками* — это нигилисты; другие *доктринерами* — это ортодоксальные либералы, например, тогдашний «Русский вестник». Почти все объявление посвящено именно теоретикам и обличителям. Есть, однако, и оговорка об уважении, так же как и в предыдущем объявлении на 1862 год. Объявление на 1863 год имело большой успех, то есть возбудило литературные толки, большею частию враждебные. Живописное выражение об «кнутике рутинного либерализма» было подхвачено мелкими журналами, понявшими, что речь идет об них.

Следующий год, 1863-й, был важною эпохою в нашем общественном развитии. В начале января вспыхнуло польское восстание и привело наше общество в великое смущение, разрешившееся крутым поворотом некоторых мнений. При либеральном настроении не только общества, но и правительственных лиц на польский вопрос сперва никак не умели установить правильного взгляда. Вопрос распадался на две части: во-первых, что делить с поляками? во-вторых, что такое Западный край? Польша, лишенная самостоятельности, представлялась источником неизбежных потрясений; немало патриотов давно говорили, что, присоединив к России Польшу, мы *приняли ее внутрь,* как какое-нибудь вредно действующее лекарство. Поэтому и в «Дне» и в «Московских ведомостях», начавших с этого года выходить под нынешнею рсдакциею, сначала было высказано замечание, что, может быть, лучший способ развязать узел — откинуть от себя Польшу, предоставить ее своей судьбе. Но открылись притязания поляков на Западный край, и эти притязания, с одной стороны, показали невозможность какой бы то ни было полюбовной развязки дела, а с другой — смутили многое множество образованных людей, которые, по своему глубокому невежеству в этом деле, готовы были сдаться на эти притязания. Две названные московские газеты скоро установили правильный взгляд на дело, особенно «День» был тогда чрезвычайно полезен своими толкованиями и также сведениями с самого места событий. Произошел

резкий перелом в обществе: патриотизм заговорил очень горячо; «Московские ведомости» своими энергическими статьями поддержали решения правительства; беспочвенные либералы потеряли вес, и Герцен, вздумавший стоять за поляков, навсегда упал в мнении читателей[64].

Петербургская литература с самого начала восстания почти сплошь молчала, или потому, что не знала, что говорить, или даже потому, что со своих отвлеченных точек зрения готова была даже прямо сочувствовать притязаниям восставших[65]. Это молчание очень раздражало московских патриотов и людей, настроенных патриотически в правительственных сферах. Они чувствовали, что в обществе существует настроение, враждебное государственным интересам той минуты, и справедливо питали гнев против такого настроения. Этот гнев должен был обрушиться на первое такое явление, которое достаточно ясно обнаруживало бы тайные чувства, выражаемые пока одним молчанием. Он и обрушился, но по недоразумению упал не на виновных: неожиданная кара поразила журнал «Время».

Нужно прямо сознаться, что этот журнал дурно исполнял обязанности, предлежавшие тогда всякому журналу, а особенно патриотическому. «Время» 1863 было замечательно интересно в литературном отношении; книжки были не только очень толсты, но и очень разнообразны и наполнены хорошими вещами. Но о польском вопросе ничего не было написано. Первою статьею об этом деле была моя статья «Роковой вопрос» в апрельской книжке, и она-то была понята превратно и повела к закрытию журнала[66].

Разумеется, ни у братьев Достоевских, ни у меня не было и тени полонофильства или желания сказать что-нибудь неприятное правительству. Мысль статьи была та, что нам следует бороться с поляками не одним вещественным, но и духовными орудиями и что окончательное разрешение дела наступит лишь тогда, когда мы одержим над поляками духовную победу. Польский вопрос, больше чем всякий другой, требует участия и всех наших внутренних сил, напоминает нам наше различие от Европы, требует уяснения и развития наших самобытных начал. На деле, в жизни, мы бесконечно превосходим поляков; нужно привести эту нашу мощь к сознанию, нужно почерпнуть из нее ясные формы умственного и культурного развития.

Достоевские оба были сначала очень довольны моею статьею и хвалились ею. В сущности, она была продол-

жением того дела, которым мы вообще занимались, то есть возведением вопросов в общую и отвлеченную формулу. Но жизнь со своими конкретными чувствами и фактами шла так горячо, что на этот раз не потерпела отвлеченности. Эта несчастная статья в этом отношении, конечно, была очень дурно написана. После запрещения журнала Федор Михайлович слегка попрекнул меня за сухость и отвлеченность изложения, и меня тогда слегка обидело такое замечание; но теперь охотно признаю его справедливость. Если сам И. С. Аксаков был на минуту введен в недоразумение, то, конечно, я был виноват.

Мне горько подумать о том огорчении, которое я невольно причинил многим патриотическим людям. Но еще великим наказанием мне было то, что меня принимали часто за полонофила и по этой причине обращались со мною с особым уважением. Это мне было больнее всех тех презрительных взглядов и холодностей, которых столько я вынес, даже от иных близких знакомых, за противоположные свойства, за то, что был в их глазах консерватором и ретроградом. Это смутное состояние умов, эта крутая и узкая постановка всех вопросов, эта поразительная скудость категорий для суждения встречается во всяком обществе и имеет большую силу в нашем. Конечно, это есть великое зло, мешающее развитию мысли и литературы. На цензуру тут нельзя особенно жаловаться; она едва ли может быть выше того общества, среди которого существует. Напротив, справедливее укорять тех, кто вообще не расширяет, а обостряет вопросы, не раскрывает дело, а старается его скомкать.

Чтобы пояснить неприятное впечатление, произведенное тоном моей статьи, решаюсь прибавить еще несколько строк. С детства я был воспитан в чувствах безграничного патриотизма; я рос вдали от столиц, и Россия всегда являлась мне страною, исполненною великих сил, окруженною несравненною славою, первою страною в мире, так что я в точном смысле слова благодарил Бога за то, что родился русским. Поэтому я долго потом не мог даже вполне понимать явлений и мыслей, противоречивших этим чувствам; когда же я, наконец, стал убеждаться в презрении к нам Европы, в том, что она видит в нас народ полуварварский и что нам не только трудно, а просто невозможно заставить ее думать иначе, то это открытие было мне невыразимо больно, и боль эта отзывается и до сегодня. Но я никогда и не думал отказываться от своего патриотизма и предпочесть родной земле и ее

духу — дух какой бы то ни было страны. Если мне часто казалось, говоря словами Тютчева, что

> Умом России не понять[67],
> . . . .
> В Россию можно только верить, —

то, с другой стороны, я, однако же, начинал все яснее уразумевать, как и почему

> Не поймет и не заметит
> Гордый взор иноплеменный,
> Что сквозит и тайно светит
> В наготе ее смиренной[68].

Презрение европейцев было только постоянным жалом, сильнее возбуждавшим и преданность родному духу и понимание этого духа. Эту-то преданность и это-то понимание мне хотелось возбудить и у других, и вот почему я разговорился о высокомерии поляков, указывая на то, что поставить себя выше их притязаний мы можем только твердою верою в себя, сознанием того духа, который в себе носим.

Несчастие наше пока только в трудности и неясности этого сознания, но это несчастие гнетет только нас, оторвавшихся от почвы. А за этим исключением Россия, конечно, есть самая могучая, самая здоровая, самая твердая и спокойная духом, а потому и самая счастливая страна в мире. Кто хочет спастись, пусть ищет этого духа и направит свой ум на его уразумение.

Польский аристократизм и вообще, и особенно в приложении к захваченным русским областям, отвратителен для каждого русского человека; да он-то больше всего и погубил Польшу. Между тем этот аристократизм и был развит и поддерживается давним усвоением европейской образованности. Из этого следует, что зло может заключаться даже в столь хорошем деле, как просвещение, что иногда лучше отстать в культуре, но сохранить духовное здоровье и не попасть в тот безвыходный разлад стремлений и чувств, в котором находятся поляки. Вот в каком смысле я назвал свою статью «Роковым вопросом»; я готов был прямо сказать, что полякам уже нет спасения, что история осудила их на гибель.

Повторяю, это было слишком отвлеченно, было неясно написано, не подходило под ходячие понятия, и статья была превратно понята.

Когда разнеслись слухи, что журналу угрожает опасность, мы не вдруг могли этому поверить, — совесть у нас

была совершенно чиста. Когда слухи стали настойчивее, мы только задумывали писать объяснения и возражения в следующей книжке «Времени». Но наконец оказалось, что нельзя терять ни одного дня, и тогда Федор Михайлович составил небольшую заметку об этом деле, чтобы тотчас же напечатать ее в «Петербургских ведомостях» [69]. Заметка была принята, набрана, но — цензор уже не решился ее пропустить. Вот что стояло в ней:

«ОТВЕТ РЕДАКЦИИ «ВРЕМЕНИ» * НА НАПАДЕНИЕ «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

В № 109 «Московских ведомостей» есть против нас статья по поводу нашей статьи «Роковой вопрос» («Время» № 4), полная клевет и... намеков. Подписано Петерсон.

Вот эта статья от слова до слова:

«Такая статья, как «Роковой вопрос», не должна была явиться без подписи автора. Только бандиты наносят удары с маской на лице. Quand on a son opinion, il faut en avoir le courage **.

Вся статья основана на ложных показаниях, а следовательно, и выводы должны быть ложны. Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще? Разве не ложь говорить, что поляки с целью распространить цивилизацию завладели Украйной и Москвой? Странно, что с подобною благородною жаждой относительно *чужих* народов поляки с своими собственными крестьянами обращались как с скотами? Неужели поляки считали средством цивилизации отдачу на откуп жидам церквей Малороссии? Никогда Польша *вся* не восставала; восставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, то есть крестьяне, никогда не сочувствовали панам, потому что раб своему угнетателю сочувствовать не может. Вся история Польши доказывает, что этот цивилизованный народ никогда не имел политического такта, а варварская Россия еще в 1612 году доказала, что в высшей степени обладает этим тактом. На чьей же стороне перевес государственного ума? Теперь бунтует только частица Польши,

---

* Мы получили эту статью при следующем письме:

Милостивый государь Валентин Федорович!

В № 109 «Московских ведомостей» помещена против нас статья, требующая немедленного ответа. В ней нас обвиняют в том, что мы стоим за польский интерес в ущерб русскому. Надо быть крайне несведущим в русской журналистике, чтобы взвести на нас подобное обвинение. Скорее можно обвинить «Время» в ультрарусском народном направлении, и конечно уж в польском вопросе «Время» не станет противоречить своей трехлетней деятельности.

Так как статья «Московских ведомостей» требует немедленного ответа, а следующий № «Времени» выйдет еще через несколько дней, то Вы меня премного обяжете, поместив мой ответ в Вашей газете.

Примите, милостивый государь, уверение в моем искреннем к Вам уважении. *М. Достоевский»*. (*Примеч. ред. «С.-Петербургских ведомостей».*)

** Обладая собственным мнением, нужно иметь смелость его защищать (*фр.*).

и *вся* Россия единодушно дает ей отпор. Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: «Русский» таится коварный умысел? Разумеется, поляки поторопятся перевести эту статью на все языки Европы и скажут: «Вот видите ли, как сами русские думают. Не правы ли мы?» Поди потом разуверяй Европу. Она и без того закидала нас грязью и клеветой.

Редакция журнала «Время» имела полное право напечатать статью «Роковой вопрос», но, печатая статью безымённого автора, она сделала бы очень хорошо, если б оговорилась: согласна ли она или нет с мнением автора, имя которого, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским».

Мы бы, разумеется, не стали отвечать г-ну Петерсону ни даже «Московским ведомостям». Мы давно уже стараемся ничего не говорить ни о «Русском вестнике», ни о «Московских ведомостях». Но... обстоятельства. Надо предупредить дурные последствия.

Итак, г-н Петерсон, вы изволите говорить, во-первых, что статья наша основана на ложных показаниях. Что же в ней ложно? Вы не потрудились объяснить, в чем состоят эти ложные показания. Вы только говорите: «Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще?»

Но что же это означает и какая ж тут может быть ложь? Почему ложь?

Для нас, между прочим, тем-то и важен этот вопрос, что поляки со всей своей (бесспорной) европейской цивилизацией «носили смерть в самом своем корне». В статье нашей это сказано ясно, слишком ясно, и указано, почему это так. Именно: потому, «что эта цивилизация была не народною, не славянскою, что в ней не было никакой самобытности, и потому она не могла слиться в крепкое целое с народным духом» *. Вот тут невозможно не сопоставить, что цивилизация в Польше была цивилизацией общества высшего и лишена была земских элементов, удалилась от народного духа, как у нас сказано.

И что же мы проповедовали целые три года в нашем журнале? Именно то, что наша (теперешняя русская) заемная европейская цивилизация, в тех точках, в которых она не сходится с широким русским духом, не идет русскому народу. Что это значит втискать взрослого в детское платье. Что, наконец, у нас есть свои элементы, свои начала, народные начала, которые требуют самостоятельности и саморазвития. Что русская земля скажет

* Слова в кавычках — из «Рокового вопроса». (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира. Мы так верим, мы так говорили. В элементах нашей народной цивилизации мы всегда видели признаки земщины, тогда как в европейской — признаки аристократизма и исключительности. Мало того, мы признаем, что мы, то есть все цивилизованные по-европейски русские, оторвались от почвы, чутье русское потеряли, до того, что не верим в собственные русские силы, не верим в свои особенности, падаем ниц, как рабы, перед петровской Голландией, смеемся над словом «народные начала», считаем его ретроградством, мистицизмом.

Таковы и вы, г-н Петерсон. Мы в нашей статье посягнули на то, на что бы вы и во сне не решились, на то, что серьезно и искренно уважал даже император Александр I, который именно во имя уважения к польской цивилизации дал полякам высшее устройство, чем русским, считая русских гораздо ниже образованными поляков.

Ну так вот мы даже на это посягнули, на самую их европейскую цивилизацию, на самую их образованность, на самую их гордость и славу. Если для поляков и для вас, г-н Петерсон, она все еще гордость и слава, то мы-то ее, эту польскую цивилизацию, в грош не ставим. Для того-то и вся статья наша написана. А вы и не догадались? Мы вам скажем, почему вы не догадались: потому именно, что вы сами благоговеете перед польской цивилизацией, потому что вы ревнуете к ней, завидуете ей. Вы обиделись. «И мы, дескать, тоже образованные»... А почему вы обиделись? Да именно потому, что у вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации quand même *. Вы ее только одну и признаете. Вы не признаете национального развития, вы не признаете самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя вашего англизированного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов. Да ведь это-то и хорошо; но ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже пет воскресения, хотя бы они и сделались политически независимыми.

---

* во что бы то ни стало (*фр.*).

Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте в Е в р о п е , — в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше. Что же вы пишете: «Разве не ложь говорить, что поляки с целью распространить цивилизацию завладели Украйной и Москвой?» А то как же? Неужели вы этого не понимали до сих пор? У них вся цивилизация обратилась в католицизм, а мало ли они жгли да кожи сдирали с русских за католицизм? Мало ли они донимали нас, плевали на нас как на хлопов и за людей нас не считали? Из-за чего это было, как вы думаете? Именно из католической пропаганды, из ярости уловлять прозелитов, из ярости ополячить и окатоличить. Ясное дело, что народ, который за людей не считает людей другой веры, не уважает ничего так высоко, как себя и свою веру, а следовательно, и способен употребить всё, чтоб обратить всех в свою веру. Обращенные русские дворяне становились тотчас же панами, а прочие были только хлопами. Само собою разумеется, что поляки должны были считать это не только благородным, но даже святейшим делом, гордиться им, теперь этим славятся, а вы и теперь считаете это благородным и прекрасным поступком, то есть пропаганду, да не с точки зрения поляков, а *сами от себя* считаете. Это ясно в вашей статье высказано, г-н Петерсон.

Мы в нашей статье «Роковой вопрос» стали на точку зрения поляков и сказали, что они, страстно преданные и верующие в свою (аристократическую и католическую) цивилизацию, должны надмеваться ею, гордиться ею перед нами, которых они до сих пор считают за хлопов и варваров, и даже тем более гордиться, чем более они принижены перед нами, считать наше первенство за вопиющую несправедливость судьбы и восставать против этой судьбы; что ж, разве это именно не так, с их точки зрения? Ведь это факт, ведь факта не спрячешь в карман. Да в этом весь и вопрос, может быть, заключается, именно весь, весь! Где ж им понять, допустить и уверовать, что русская земля, может быть, заключает в себе земские начала, не низшие начал западной цивилизации? Ведь этого и Европа не допускает и нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда

с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу с и л у , — и эта физическая, материальная сила (так по крайней мере Европа должна была смотреть на пас) всегда возбуждала в ней негодование. Да ведь и не одна Европа. Разве вы сами не судите о русских точно так же, как судит о нас Европа? Мы еще два года назад укоряли «Русский вестник», что он русской народности не признает. Теперь московский теймс горячится и не замечает, что вся эта горячка есть пародия на английский теймс и что самый патриотизм его — англизированный патриотизм. Как хотите, а мы отличаем патриотизм и, главное, русизм «Московских ведомостей» от высокого и искреннего патриотизма Москвы. Мы никак не можем их сливать вместе. Тот патриотизм, который в самостоятельность русского развития не верит, может быть искренний, но во всяком случае смешной патриотизм. Между прочим, у вас вот какая логика:

Поляки не должны славиться своей цивилизацией, а, следственно, они и не славятся своей цивилизацией.

Разве это логика?

Я-то, положим, не нахожу ничего, чем поляки могут славиться — но в том-то и трагедия, что поляки верят в эту ядовитую свою цивилизацию слепо. Как в величайшую славу свою верят. Вот это как вы порешите?

Наша статья подписана «Русский». Вы изволите говорить:

«Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: «Русский» таится коварный умысел». И прибавляете: «Разумеется, поляки поторопятся перевести и скажут: «Вот как сами русские» и т. д.

Отвечаем: очень может быть, что поляки поторопятся перевести, тем более, что они все-таки поляки, а вы русский, да ничего не поняли в нашей статье.

А что касается до подписи, то писал статью действительно русский, а именно: Н. Н. Страхов, наш сотрудник. Это объявляем с позволения г-на Страхова, а вместе с тем прибавляем уже собственно от себя, что русский Страхов ст*о*ит по крайней мере русского Петерсона. Это уже наше личное мнение.

Само собою, что редакция «Времени» совершенно и вполне согласна с статьею своего сотрудника. Это мы во всеуслышание объявляем.

Наконец, чтоб заключить:

Г-н Петерсон говорит: «Имя автора, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским».

Отвечаем:

Вашему имени, г-н Петерсон, мы не придаем никакого значения, да и статья ваша, собственно в литературном смысле, чрезвычайно пустая статья. Мы бы на нее ни за что не стали вам отвечать, как уже и заявили выше. В том-то и дело, что в другом, то есть не в литературном смысле, ваша статья — нехорошая статья, именно тем, что поневоле требует ответа. Она даже и не статья. Она просто — дурное дело, г-н Петерсон. Очень дурное дело. Вот почему мы и посоветуем вам обратить внимание скорее на свое имя, г-н Петерсон, и поберечь его. Право, не худо будет, г-н Петерсон.

Редакция «Времени».

Цензура не пропустила этой статьи, потому что было уже известно, что дело доведено до государя и что журнал положено закрыть[70]. Мы были признаны виноватыми, и нам не позволялось оправдываться. Журнал был закрыт без всяких условий, навсегда. Понятно, что чем грубее была ошибка, тем неудобнее было, после строгой меры, раскрывать, что мера была принята по недоразумению.

С своей стороны, я сделал все, что можно и что мне советовали. Я тотчас написал М. Н. Каткову[71] и И. С. Аксакову, составил объяснительную записку для министра внутренних дел и предполагал подать просьбу государю. Ничего не удавалось, ничего не действовало. И М. Н. Катков, и И. С. Аксаков отозвались сейчас же и принялись действовать с великим усердием. Нужно было печатно объяснить недоразумение. Но ни тому, ни другому цензура не пропускала ни строчки по этому делу; приходилось обращаться к министру и настаивать у него. Я написал большую статью для «Дня» — она не была пропущена. О просьбе государю я советовался с покойным А. В. Никитенко и предполагал подать ее через него. После нескольких совещаний он дал мне решительный совет отказаться от этого намерения.

Положение наше было не только в высшей степени досадно, но отчасти и тяжело. Несколько времени я предполагал, что меня вышлют куда-нибудь из Петербурга. Все работавшие в журнале потеряли место для своих работ, а редактор имел перед собою прекращение дела, на которое им возлагались большие расчеты. Но, несмотря на все это, нельзя сказать, чтобы мы горевали. Никто не унывал, и все готовы были смотреть на это происшествие только как на один из крупных случаев обыкновенных

литературных превратностей. До сих пор дело у нас шло очень весело и успешно; поэтому мы рассчитывали, что и вперед мы успеем еще десять раз поднять его и добиться еще лучших результатов. Гром, который поднялся в литературных кружках и в обществе, представлял и свою выгодную сторону — распространение нашей известности в публике. Этим утешениям и надеждам, однако же, далеко не суждено было сбыться в таких размерах, как мы предполагали.

Решительный поворот делу дала наконец заметка, помещенная в «Русском вестнике». Редакция «Московских ведомостей», чувствуя себя в некоторой мере виноватою, усиленно хлопотала о том, чтобы помочь беде, и после всяческих настояний у министра П. А. Валуева добилась наконец того, что ей, но только ей одной, дана была возможность объяснить возникшую путаницу. Это объяснение явилось в майской книжке «Русского вестника»; но так как хлопоты долго тянулись, а редакция не хотела выпускать книжки без своего объяснения, то эта майская книжка была подписана цензором лишь 28-го июня, следовательно, явилась в свет в начале июля. Заметка называлась «По поводу статьи «Роковой вопрос» и отличалась обыкновенным мастерством. В ней я был осыпан упреками, очень резкими по форме, но мало обидными по содержанию; решительно отвергались и опровергались все положения моей статьи, но вместе столь же решительно утверждалась и доказывалась ее невинность. Таким образом, было сделано полное удовлетворение всем, негодовавшим на статью и доведшим дело до запрещения журнала, и в то же время редакция «Времени» и я были ограждены от всяких дальнейших дурных последствий[72]. Только настояниям «Русского вестника» и его заметке следует, кажется, приписывать и то, что никого из пас больше не трогали, и то, что через восемь месяцев Михаилу Михайловичу Достоевскому дозволено было начать новый журнал[73].

Однако же я с этих пор попал на замечание и состоял на нем лет пятнадцать, так что два или три раза, когда издатели журналов предлагали мне редакторство, цензура отказывалась утвердить меня в звании редактора.

Этот случай, как и многие другие, показывает, до какой степени трудно цензурное дело. Люди с чистыми намерениями способны бывают, по этому самому, впадать в наивности и неловкости, за что и подвергаются строгостям и запрещениям; люди же не совсем чистые

в правительственном смысле обыкновенно очень ловки и неспособны к наивностям, почему преспокойно процветают, вдобавок уверяя и других и самих себя, что они истинные мученики. В настоящем случае мы, то есть редакция «Времени», очень горевали особенно потому, что потеряна была возможность выразить наше патриотическое настроение. Если бы «Время» не было запрещено, мы бы подняли горячую полемику с московскими изданиями, стараясь перещеголять их в патриотизме, споря о том, кто лучше и глубже понимает русские интересы. Когда же «Время» замолчало, то потом из Петербурга не было слышно уже никакого отзыва по польскому делу.

Кстати, приведу здесь небольшие выдержки из письма ко мне И. С. Аксакова, важные для характеристики «Времени» и тогдашней литературы вообще.

От 6-го июля 1863 г. он писал:

«Вы напрасно ссылаетесь на *направление* «Времени». Хотя оно постоянно кричало о том, что у него есть направление, но никто на это направление не обращал внимания. Оно имело значение как хороший беллетристический журнал, более чистый и честный, чем другие, но претензии его были всем смешны. Там могли быть помещаемы и помещались и хорошие статьи.............. , — но все это не давало «Времени» никакого цвета, никакой силы. Ему недоставало высших нравственных основ, честности высшего порядка. Оно имело бесстыдство напечатать в программе, что первое в русской литературе провозгласило и открыло существование русской народности! Нет такого врага славянофилов, который бы не возмутился этим. Потом — это наивное объявление, что славянофильство — момент отживший, а пути к жизни, новое слово теперь у «Времени»! Славянофилы могут все умереть до одного, но направление, данное ими, не у м р е т , — и я разумею направление во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу петербургской канканирующей публики. Вот это волокитство за публикой, это желание служить и нашим и вашим, это трактование славянофилов *свысока* во «Времени» и с презрением в первой программе «Времени», это уронило журнал в общем мнении публики, а славянофилы, как вы знаете, *нигде,* ни единым словом даже не задели «Времени», потому что убеждения их не вопрос личного самолюбия. Например, «Время» о повестях Кохановской объявляет, как о явлениях, пропущенных нашей критикой, забывая,

что «Русская беседа» в статьях моего брата и Гилярова первая определила ее значение в литературе!!? В Петербурге, впрочем, не может издаваться журнал с народным направлением, ибо первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем и всеми помыслами своими. Да и вообще, нельзя креститься в христианскую веру (а славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь), не отдувшись, не отплевавшись, не отрекшись от сатаны».

Чем горячее это письмо и чем живее негодует оно на «Время», тем больше цены имеют сказанные здесь похвалы нашему журналу, что это был *хороший беллетристический журнал, более чистый и честный, чем другие.* Упреки же — некоторые вполне основательны, а другие преувеличены, впрочем не без вины самого «Времени», именно по неясности того духа, в котором велся журнал. Об отношениях к славянофильству я уже подробно говорил. Очень справедлив упрек в *волокитстве за публикою,* но это волокитство имело вовсе не злостный, а скорее самый чистый характер, и под ним вовсе не скрывалось *желания служить и нашим и вашим.* Что касается до *высших нравственных основ,* до *христианской проповеди,* то эти основы, действительно, высказывались в журнале всего менее и выражались разве только одним отрицательным образом, например в том, что в журнале не было ничего ни материалистического, ни антирелигиозного. Крутом царило такое ярое вольнодумство, что не одно «Время» приберегало до более удобного случая публичное выражение своих заветнейших убеждений. Мало т о г о , — из наших частных разговоров мне не припоминается почти ни одного случая, когда бы Федор Михайлович прямо высказывал то религиозное настроение, которое, по-видимому, не угасало в нем ни в один период его жизни. Помню, впрочем, как, говоря со мной о революции, он с особенной силой сослался на слова Евангелия: «поднявшие меч мечом и погибнут». Но неуважение к религии или кощунственные шутки над нею нимало не были в ходу во всем нашем кружке, несмотря на то, что были обыкновеннейшим явлением у тогдашних просвещенных людей, и строго относиться к ним было невозможно. Наконец, что касается приверженности к Петербургу, о которой можно было заключить по петербургскому тону и всем литературным приемам «Времени», то и ее в сущности не было. Братья Достоевские

и Ап. Григорьев были москвичи по рождению, я приехал в Петербург шестнадцати лет, да и из других сотрудников я не помню чистых петербуржцев, людей, часто действительно бывающих влюбленными в свою родину и обыкновенно болеющих проказою того особенного просвещения, которое в ней завелось и укоренилось. Провинциалы, постоянно пополняющие собою петербургское население, бывают свободнее от этой заразы и составляют иногда некоторое ей противоядие.

«Роковой вопрос», по недоразумению, нравился не только тем русским, которые стыдятся патриотизма и не понимают его, но и полякам и всяким врагам России. В «Revue des deux Mondes», 1 Août 1863, появилась статья Мазада, в которой целиком и очень точно был переведен «Роковой вопрос». Французский журнал находил в нем подтверждение своей мысли, той точки зрения, с которой он сам смотрел на польское восстание; а он утверждал, что польское дело есть дело цивилизации и порядка, ибо русские распространяют-де всюду варварство и коммунизм. Статью мою Мазад приписал Достоевскому и, по этому случаю, говорил об его ссылке и его сочинениях. Там было сказано, между прочим: il a écrit des livres navrants sur sa patrie *; Федору Михайловичу доставило маленькое удовольствие то, что он известен за границею. Смеясь, он замечал, однако, что слово navrants напоминает ему русское слово *наврал* **.

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Летом 1863 года, вероятно к концу лета, Федор Михайлович уехал за границу [74]. Предыдущая поездка была так полезна для его здоровья, что он, с тех пор, постоянно стремился за границу, когда чувствовал нужду попра-

* он написал скорбные книги о своем отечестве (*фр.*).

** Вот отрывок из моего письма к Федору Михайловичу за границу от 18 сентября 1863 г.: «Вероятно вы читали («Revue des deux Mondes», 1 Août), ссылку на мою статью, которая приписана вам. Статейка Мазада дурно написана, но в ней есть доля правды. Я слышал от приезжих из-за границы, что моя статья служила для тамошних русских патриотов орудием против увлечения польским делом, что на нее указывали, как на истинно патриотический взгляд... Это странное известие меня порадовало. Нашлись же понимающие люди!» (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

питься и освежиться. Какая тут была п р и ч и н а, — перемена ли воздуха или перемена его изнурительного образа жизни, но только эти поездки были для него спасением; польза их доказывалась мерилом, в котором не могло быть никакого с о м н е н и я, — быстрым уменьшением числа припадков.

Судя по всему, что могу припомнить, и по всем обстоятельствам дела, Федор Михайлович взял с собою достаточно денег для поездки, но за границею попробовал поиграть в рулетку и проигрался. Он познакомился с рулеткой еще в первую поездку, прежде чем доехал до Парижа, и тогда выиграл тысяч одиннадцать франков, что, разумеется, было очень кстати для путешественника. Но эта первая удача уже больше не повторялась, а разве только вводила его в соблазн. В рулетке он не видел для себя ничего дурного, так как романисту было не лишнее испытать эту забаву и познакомиться с нравами тех мест и людей, где она происходит. Действительно, благодаря этому знакомству, мы имеем повесть «Игрок», где дело изображено с совершенною живостью.

Как бы то ни было, в конце сентября я получил от него следующее письмо, которое привожу вполне, так как оно рисует почти все тогдашние обстоятельства и характеризует его собственные приемы и обычаи *.

«Рим 18(30) сентября.

Любезнейший и дорогой Николай Николаевич, брат в последнем письме своем, которое я получил дней 9 тому назад в Турине, писал мне, что Вы будто бы хотите мне написать письмо. Но вот уже я два дня в Риме, а письма от Вас нет. Буду ожидать с нетерпением **. Теперь же я сам пишу к Вам, но не для излияния каких-нибудь вояжёрских ощущений, не для сообщения кой-каких идей, во весь этот промежуток пришедших в голову. Все это будет, когда я сам приеду и когда мы нет-нет да и поговорим, как между нами часто бывало. Нет; теперь я обращаюсь к Вам с огромною просьбою и впредь предупреждаю, что имею

* Письма свои Федор Михайлович почти без исключения писал очень разборчиво, отчетливо, не пропуская ни одной буквы, ни единого знака препинания. А адрес всегда отличался особенною красотою почерка, полнотою и точностью. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

** Относится к письму, из которого я привел выше выдержку. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

нужду во всем расположении Вашем ко мне и во всех тех дружеских чувствах (Вы мне позвольте так выразиться), которые, как мне показалось, Вы ко мне не раз выказывали.

Дело в том, что, исполнив просьбу мою, Вы, буквально, спасете меня от многого, до невероятности неприятного.

Все дело вот в чем:

Из Рима я поеду в Неаполь. Из Неаполя (дней через 12 от сего числа) я возвращусь в Турин, то есть буду в нем дней через пятнадцать. *Б Турине* у меня иссякнут все мои деньги, и я приеду в него *буквально без гроша.*

Я не думаю, чтоб в настоящую минуту было разрешено «Время». Да и во всяком случае я имею основание думать, что брат ничем не в состоянии мне теперь помочь.

Без денег же нельзя, и, приехав в Турин, надо бы, чтоб я нашел в нем непременно деньги на почте. Иначе, повторяю, я пропал. Кроме того, что воротиться будет не на что, у меня есть и другие обстоятельства, то есть другие здесь траты, без которых мне совершенно невозможно обойтись.

И потому, прошу Вас Христом и Богом, сделайте для меня то, что Вы уже раз для меня делали, перед самым моим отъездом.

Вы тогда ходили к Боборыкину («Библиотека для чтения»). Боборыкин, по запрещении «Времени», сам письменно звал меня в сотрудники. Следственно, обращаться к нему можно. Но в июле Вы обращались к нему с просьбою о 1500-х рублях, и он их Вам не дал, потому что июль для издателей время тяжелое. Впрочем, помнится, оп Вам что-то говорил об осени. Теперь же конец сентября. Время подписное, и деньги должны быть. И не 1500 рублей я прошу, а всего только 300 (триста руб.).

NB. Пусть знает Боборыкин, так же как это знают «Современник» и «Отечественные записки», что я еще (кроме «Бедных людей») во всю жизнь мою ни разу не продавал сочинений, не брав вперед деньги. Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаю. Но так завелось и, кажется, никогда не выведется. Но продолжаю:

Теперь готового у меня нет ничего. Но составился довольно счастливый (как сам сужу) план одного рассказа. Большею частию он записан на клочках. Я было даже начал писать, — но невозможно здесь. Жарко и,

во-2-х) приехал в такое место, как Рим, *на неделю;* разве в эту неделю, *при Риме,* можно писать? Да и устаю я очень от ходьбы.

Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Все это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится вся современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить,* восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокоивает себя тем, что ему *нечего делать* в России, и потому — жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. Но всего не расскажешь. Это лицо живое (весь как будто стоит передо мною) — и его надо прочесть, когда он напишется. Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость — пошли на *рулетку.* Он — игрок, и не простой игрок — так же, как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. (Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности.) * Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность *риска* и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке.

Если «Мертвый дом» обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал *наглядно* до «Мертвого дома», то этот рассказ обратит непременно на себя внимание как НАГЛЯДНОЕ и подробнейшее изображение рулеточной игры. Кроме того, что подобные статьи читаются у нас с чрезвычайным любопытством, — игра на водах, собственно относительно заграничных русских, имеет некоторое (может, и немаловажное) значение.

Наконец, я имею надежду думать, что изображу все эти чрезвычайно любопытные предметы с чувством, с толком и без больших расстановок.

Объем рассказа будет minimum 1½ печатных листа, но, кажется, наверно два, и очень может быть, что больше.

Срок доставки в журнал 10 ноября, это крайний срок, *но может быть и раньше.* Во всяком случае, никак не

---

* Слова в скобках приписаны после, между строками. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

позже десятого, так что журнал может напечатать его в ноябрьской книжке. В этом даю *честное мое слово,* а я имею уверенность, что в честном моем слове еще никто не имеет основания сомневаться.

Плата 200 руб. с листа. (В крайнем случае 150.) Но никак не хотелось бы сбавлять цену. И потому лучше настаивать на двустах. Вещь может быть весьма недурная. Ведь был же любопытен «Мертвый дом». А это — описание своего рода ада, своего рода каторжной «бани». Хочу и постараюсь сделать картину.

Теперь вот что.

Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что прямо и бесцеремонно Вас беспокою. Я понимаю, что это — беспокойство. Но что ж мне делать? Если я, приехав дней через 15 или 17 (maximum) в Турин, не найду в нем денег, то я буквально пропал. Вы не знаете всех моих обстоятельств, а мне слишком долго их теперь описывать. К тому же Вы были уж раз слишком добры ко мне; а потому спасите меня еще раз.

Вот что надо.

По получении этого письма, прошу Вас (как последнюю надежду), сходите немедленно к Боборыкину. Скажите, что я Вас уполномочил. Покажите часть моего письма, если надо; сделайте предложение. (Разумеется, так, чтоб мне было не очень унизительно, хотя за границей очень можно זануждаться. Да к тому же Вы *не* можете повести дело без достоинства.) Получите деньги и тотчас же вышлите их мне, то есть выдайте брату. Он уж знает, как послать.

Если нельзя кончить дело с Боборыкиным, то хоть в газеты, хоть в «Якорь» (поцелуйте за меня Ап. Григорьева) *, хоть во *всякий* другой журнал (разумеется, не в «Русский вестник»), и по возможности избегая «Отечественных записок». Ради Бога, избегите. Даже лучше не надо и денег. Даже можно в «Современник», хотя, может быть, там Салтыков и Елисеев не пустят[75]. (А почем знать, я, может быть, грешу.) Статья моя «Современника» наверно не изуродует. Во всяком случае, можно обратиться прямо к Некрасову. Это *sine qua non* **, и с ним решить дело. Это бы даже очень недурно. Даже

* «Якорь» была еженедельная газета, с приложением карикатурного листка «Оса». Издателем был Стелловский, редактором Ап. Григорьев. «Якорь» стал выходить в 1863 г. и существовал года полтора. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

** непременное условие (*лат.*).

лучше «Библиотеки». Некрасов, может быть, не очень на меня сердит. Да и человек он, по преимуществу, *деловой.* Разумеется, голубчик Николай Николаевич, все дело надо бы было окончить дня в два, много в три. Я пропал, пропал буквально, если не найду в Турине денег. В Неаполь мне не пишите, а пишите теперь прямо в Турин, и умоляю Вас написать *во всяком случае.* Получив деньги, снесите их брату. Мне собственно надо 200 р., но никак не меньше, *сто* же рублей остальных брат отошлет Марье Дмитриевне. Итак, достать надо триста. Теперь все написал. Вверяю Вам себя и почти судьбу мою. Так это для меня важно. Может быть, я Вам потом расскажу. Но теперь умоляю Вас, затем обнимаю от всего сердца и остаюсь Ваш

Достоевский».

(Приписка на 1-й страниц.) «Странно: пишу го *Рима* и ни слова о Риме! Но что бы я мог написать Вам? Боже мой! Да разве это можно описывать в письмах? Приехал третьего дня ночью. Вчера утром осматривал Св. Петра. Впечатление сильное, Николай Николич, с холодом по спине. Сегодня осматривал *Forum* и все его развалины. Затем *Колизей*! Ну что ж я Вам скажу...»

(Приписка на 2-й странице.) «Поклонитесь от меня всем: Григорьеву и всем. Брату Вашему особенно. Да еще прошу Вас очень, непременно передайте мой привет и поклон от всей души Юлии Петровне. Сделайте это при первом же свидании.

Славянофилы, разумеется, сказали *новое слово,* даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано. Но какая-то удивительная *аристократическая сытость* при решении общественных вопросов».

(Приписка на 3-й странице.) «Не поможет ли Вам в чем-нибудь Тиблен, разумеется в самом крайнем случае. Ему и *Евгении Карловне* мой поклон. Передайте ей при первом свидании».

В этом письме отражаются и обыкновенные затруднения, среди которых жил Федор Михайлович, и его манера кабалить себя для добывания средств, и приемы его просьб, излагаемых с волнением и настойчивостию, с повторениями, подробными пояснениями и вариациями. Из письма видно также, что наша редакция была в дурном положении. Дело в том, что Михаил Михайлович, как

и многое множество наших дворян, имел очень мало свойств *делового* человека. Жизнь он вел скромную и был гораздо осмотрительнее Федора Михайловича; но он имел большое семейство и фабрика его давно уже шла в убыток, давая ему только опору для поддержания кредита и постепенного наращения долгов. Когда журнал пошел с чрезвычайным успехом, он постарался развязаться с невыгодным делом, уплатил долги и продал фабрику. В начале 1863 года я помню, как он похвалился этим, показывая кипу разорванных векселей. Расчет его был очень хороший, но когда неожиданно стряслось запрещение журнала, он оказался вдруг и без денег, и без всякого торгового дела. Удар для него был страшный; между тем мы, сотрудники, не зная его дел и занятые нашими литературными мечтаниями, не догадывались об его беде и даже сердились на него, рассчитывая, что деньги четырех тысяч подписчиков не могли же все уйти на первые четыре книжки журнала и что, следовательно, он напрасно охает и жалуется.

Получив приведенное письмо, я сейчас же отправился к П. Д. Боборыкину, и он объявил мне, что дело самое подходящее и что он может дать денег. Он был в это время редактором «Библиотеки для чтения» и с великим усердием старался *поднять* этот журнал. К 1863 году знаменитая «Библиотека» так упала, что у нее оказалось только несколько сотен подписчиков. Если не ошибаюсь, с третьей книжки редакторство принял на себя Петр Дмитриевич. Поднимать падающее и начинать дело совершенно не вовремя было в высшей степени не расчетливо; и действительно, много денег и трудов были погублены в этом деле. Но работа шла тогда горячо, и редактор постарался не упустить такого сотрудника, как Федор Михайлович.

На другой день зашел ко мне Михайло Михайлович и выведал у меня и данное поручение, и мои переговоры. Он просил меня приостановиться, говоря, что, может быть, успеет сам найти деньги. Разумеется, ему жаль было и брата и повести, которая без этого пошла бы в его собственный, ожидаемый им журнал. Я имел жестокость отвечать, что не могу ждать, и вечером же сказал П. Д. Боборыкину, чтобы он не медлил. На третий день дело было кончено; Михайло Михайлович отказался от соперничества и послал брату чужие деньги.

Этой запроданной повести, однако, не суждено было явиться в «Библиотеке для чтения». Редактор долго ее

ждал, наконец, когда началась «Эпоха», стал требовать денег назад и не скоро их получил. Такой ход дела был очень неприятен, и, по неведению, я винил тут всё бедного Михайла Михайловича. Что касается до Федора Михайловича, то исполнить обещание ему помешали самые уважительные причины. Его жена, Марья Дмитриевна, умирала, и он должен был находиться при ней, то есть в Москве, куда доктора посоветовали перевезти ее. Вопрос был уже не об излечении, а только об облегчении болезни; чахотка достигла последней степени.

XII

РАЗРЕШЕНИЕ НОВОГО ЖУРНАЛА

Не могу сказать, когда именно Федор Михайлович вернулся из-за границы и переехал в Москву к Марье Дмитриевне. Но сохранилось его письмо к Михаилу Михайловичу из первых дней этого времени. Вот оно:

«19 ноября / 63 года. Москва.

Я очень хорошо знаю, любезный брат, что у тебя хлопот и забот теперь по горло, да что ж мне-то делать: столько навалилось забот и на меня, что и конца не вижу. Ты пишешь, что после 20-го приедешь в Москву. Когда же? *После 25-го, разумеется.* Если раньше, то мы можем разъехаться, потому, что все-таки я надеюсь до 25-го быть в Петербурге. А нам о многом и как можно скорее надо друг с другом переговорить. Главное, чтоб не обманывали обещаниями и *действительно* позволили бы поскорее «Правду». Я признаюсь тебе, что не очень в отчаянии, что совершенно нельзя воскресить «Время», «Правда» может произвести такой же эффект, если не больше, разумеется, при благоприятных обстоятельствах, — это главное. Что же касается до названия «Правда», то, по-моему, оно превосходно, удивительно и можно чести приписать выдумку названия. Это прямо в точку. И мысль *наиболее подходящую* заключает, и к обстоятельствам идет, а главное — в нем есть некоторая *наивность, вера,* которая именно как раз к духу и к направлению нашему, потому что наш журнал («Время») был все время до крайности наивен и, черт знает, может быть, и взял наивностью и верой. Одним словом, название превосходное. Обертку можно ту же, как и у «Времени», чтобы напоминало собою «Время», раздел в журнале один, как в «Revue des deux Mondes»,

а в Объявлении о журнале, на 1-й строчке, в начале фразы напечатать что-нибудь вроде: «Время требует правды... вызывает на свет правду...» и т. д.; так, чтоб ясно было, что это намек, что «Время» и «Правда» — одно и то же. За одно боюсь, за объявление. Друг мой, тут нужно не искусство даже, не ум, а просто вдохновение. Самое первое — избежать рутины, так свойственной в этих случаях всем разумным и талантливым людям. Напишут умно, кажется ни к чему нельзя подкопаться, а выходит вяло, плачевно, и, главное, похоже на все другие объявления. *Оригинальность* и приличная, то есть натуральная *эксцентричность* — теперь для нас первое дело. Пишешь, что уже сел писать объявление. Знаешь, какая моя идея? Написать лаконически, отрывочно, гордо, даже не усиливаясь делать ни единого намека, — одним словом, выказать полнейшую самоуверенность. Само объявление (о духе журнала и проч.) должно состоять из 4-х — 5-ти строк. А там расчет с подписчиками, тоже крайне лаконический. Надобно поразить *благородной* самоуверенностию *. *—у *—у не понравилось название «Правда». Но ведь это страшный рутинер, и даже добрый знак, что не понравилось. Эти господа сначала завопят: не так, нехорошо, а потом вдруг, смотришь, все разом и начинают пощелкивать языком: хорошо, дескать, прекрасно. Это жрецы минутного. Что Страхову и Разину понравилось — это я понимаю. Люди с толком и главное — с некоторым чутьем. Но остальные должны забраковать.....

Мы здесь нанимаем квартиру, и как только перееду, как только устроимся, — тотчас же я и в Петербург. Хлопоты не дают мне ровно ни капли времени писать. Припадков было у меня здесь уже два, из которых один (последний) сильный.

Другая фирма журнала («Правда») не будет иметь никакого влияния на *передовую статью*. Разбор Чернышевского романа и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи, и обеим по носу. Значит, правда. Я думаю, что все эти три статьи (если только хоть 2 недели будет работы спокойной) я напишу. Здесь я никого не видал, кроме Писемского, которого случайно вчера встретил на улице и который обратился ко мне с большим радушием.

---

* В таком духе, как увидим дальше, и было написано объявление. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

Вчера же вечером шла его «Горькая судьбина» в 1-й раз. Я не был. Об участи драмы — не знаю. Он говорил, что Английский клуб и вся помещичья партия собирает кабалу. Прихвастнул, должно быть. Прощай, обнимаю тебя. Во всяком случае, скоро увидимся. Кланяйся всем, кому следует. О разделе наследства здесь ничего не знают, кроме того, что в конце ноября».

О хлопотах по журналу, которые упоминаются в этом письме, память сохранила мне мало подробностей. Помню только, что цензурное ведомство оказалось необыкновенно тугим. Случай с «Роковым вопросом», очевидно, сбил цензуру с толку. Так как промах оказался там, где она вовсе не ожидала (статья была процензурована, как всё, что тогда печаталось, и не встретила ни малейшего затруднения), то цензура уже не знала, чт*о* ей останавливать и чт*о* запрещать, и удесятерила свою строгость. Название «Правда» показалось прямым намеком и не было допущено; точно так было признано опасным название «Дело» и другие подобные; после долгих переговоров редакция, скрепя сердце, остановилась на неудачном названии «Эпоха», в котором, наконец, цензура не нашла ничего неудобного. Нерусское название было очень неприятно; нас сердило, когда попадались читатели, которые с трудом его запоминали, произносили «Эпоха», смешивали с «Эхо» и т. д.

Кроме того помню, что разрешение журнала все оттягивалось и оттягивалось. Почему-то принят был срок *восьми месяцев* со времени запрещения. По этому счету новому журналу позволено было выходить с января 1864 года; но за разными проволочками, измучившими всех нас, объявление об издании «Эпохи» могло появиться в «С.-Петербургских ведомостях» только 31 января 1864 года. После указания объема книжек, срока выхода, программы, цены и пр., в объявлении было сказано:

«В заключение М. Достоевский считает долгом заявить следующее.

Во-первых, он приносит искреннюю благодарность своим прежним подписчикам. Несмотря на то, что с его стороны до сих пор не было никаких объявлений, к нему поступило не более сотни писем от подписчиков «Времени» с требованием расчета.

Во-вторых, мы уже слишком долго толковали о почве, о соединении общества с чисто народными, естественными

его интересами *, чтобы объяснять теперь еще раз направление нашего нового журнала. Великие события последнего времени, заявившие собой первые признаки (после эпохи двенадцатого года) соединения общества с земством, так что та и другая сторона начали почти понимать друг друга — составляют наглядный пример того, чего мы всегда желали и к чему стремилось наше направление. Придет же, наконец, время, когда направление всех истинно русских будет слишком ясно без всяких разъяснений, без всяких печальных недоразумений».

Объявление мастерское, именно такое, о каком питал замыслы Федор Михайлович. Ничего яснее нельзя было желать, особенно когда вверху стояло крупными буквами: «О подписке на журнал «Эпоха» и о расчете с подписчиками «Времени». Но тут же видна и ошибка, сделанная прежде. Если только сто подписчиков требовали возвращения денег, то тысячи других, не писавших писем в редакцию, наверное ждали, однако, от нее какого-нибудь удовлетворения или хоть отзыва и, конечно, сердились, не находя в газетах никакого обращения к себе. За этим последовал целый ряд других ошибок и несчастий и дело стало идти все хуже и хуже.

Постараюсь перечислить этот ряд несчастий и неудач, отчасти потому, что они имели большое значение для Федора Михайловича, отчасти для того, чтобы указать черты тогдашнего хода литературы и даже вообще черты *падения* журналов, — дела, как известно, очень обыкновенного у нас.

Братья Достоевские принадлежали к числу людей *непрактичных* или мало практичных. Может быть, есть лучшее слово для обозначения свойств, о которых хочу говорить, но, кажется, годится и это. Непрактичность очень часто встречается у русских людей, не только у одних дворян, у которых она стала как будто наследственною. Это свойство часто очень милое, достойное зависти и могущее иметь в основе высокие душевные настроения. Оно состоит в том, что люди *живут минутою,* что для них может исчезать все их прошедшее и все их будущее. Такие люди никак не могут завести правильного порядка в своей жизни. Они принимают свои решения или делают обещания с величайшей искренностию, но редко могут их выполнить. В случае невыполнения обязательств, приня-

* Эта нескладная фраза отзывается цензурными поправками, о которых у меня сохранилось смутное воспоминание. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

тых в отношении к себе или к другим, они или вдруг находят для этого тысячи самых ясных оснований или же горько мучатся и упрекают себя; но прошла тяжелая минута, и они опять готовы — искренно решаться и обещать и столь же искренно не сдерживать своего намерения. Они часто составляют прекрасные планы и очень живо воодушевляются этими планами, но потом забывают делать, что нужно для их выполнения. Они непритворно каются в своих ошибках и промахах и потом впадают в них при первом же искушении. Они беспрестанно падают и воскресают духом; спокойная и светлая минута сейчас же изглаживает из их памяти все прошлое, а будущее для них почти не существует.

Такие люди, если они умны, добры, талантливы, бывают чрезвычайно привлекательны, и мне думается, что способность жить минутою даже не может быть свойственна совершенно дурному человеку. Но такие люди не могут быть практичными, не могут соблюдать условий, требующихся каждым сложным и долговременным делом. С ними можно иногда жить с большим наслаждением, но приходится смотреть и ухаживать за ними как за детьми; их можно любить и, может быть, крепче, чем всяких других, но вести с ними дело, то есть дела — невозможно.

Распространяюсь об этой непрактичности не только потому, что она в некоторой мере отзывалась у братьев Достоевских, но что она вообще часто встречается на литературном поприще и что от нее погибло на моих глазах не одно журнальное дело и не одна семья дошла до разорения, не имевшего часто никакой другой причины. Что касается до Достоевских, то Михайла Михайловича нельзя было считать человеком вполне непрактичным; он был довольно осмотрителен и предусмотрителен. Федор же Михайлович, несмотря на свой быстрый ум, несмотря на возвышенные цели, которых всегда держался в своей деятельности и в своем поведении, или, скорее — именно по причине этих возвышенных ц е л е й , — чрезвычайно страдал непрактичностию; когда он вел дело, он вел его очень хорошо; но он делал это порывами, очень короткими, легко утешался и останавливался, и хаос возрастал вокруг него ежеминутно. «Эпоха» была начата *ни с чем*; через год, когда она кончилась (второю книжкою 1865), на нее была убита не только вся подписка, но и та доля наследства, которая приходилась братьям от богатой московской родственницы (кажется, по

10000 руб. на каждого)[76] и которую они выпросили вперед, и, сверх того, 15000 руб. долга, с которым остался Федор Михайлович после прекращения журнала.

XIII

«ЭПОХА» И ЕЕ ПАДЕНИЕ

Началась «Эпоха» в очень неблагоприятных обстоятельствах. Федор Михайлович был в Москве, у постели умирающей жены, и сам больной, так что не успел ничего написать. Мою статью «Перелом»[77] запретила напуганная цензура, вообще очень подозрительно следившая за «Эпохою», а меня считавшая чрезвычайно опасным, так что не пропускала тех самых моих статей, в которых я рвался заявить свой патриотизм и снять с себя обидное обвинение. Все сотрудники были в каком-то разброде. Но главное — переменилось настроение публики и литературы.

В 1863 году совершился глубокий перелом общественного настроения[78], самый глубокий и важный из всех подобных поворотов, происходивших в прошлое царствование. В этом году простодушная публика в первый раз заметила, куда ее ведет известная партия литературы, и отшатнулась от этой партии, а потому и вообще от литературы. Герцен совершенно упал; «Московские ведомости», начавшие выходить с 1-го января под нынешнею редакциею, скоро заявили то патриотическое и руководительное направление, которое так блистательно развивают до сих пор; словом, после величайшего прогрессивного опьянения наступило резкое отрезвление и какая-то растерянность. По всей России в первый раз в то царствование заговорил тот патриотизм, которым так бесконечно сильна наша земля. И так как литература была не очень патриотична, то она потеряла вкус для читателей. В Петербурге значительно затихла та болтовня, те противуправительственные пересуды и затеи, которые составляют главную забаву многого множества, и стало скучно. Начался даже отлив населения из Петербурга, продолжавшийся все шестидесятые годы. Общий упадок этого бесцельного движения отразился везде, и точно так же на «Эпохе». Редакционные собрания ее не походили на собрания «Времени»; они были малолюдны и неоживленны.

При таких обстоятельствах требовалась особенная энергия со стороны редакции. Между тем Михайло Михайлович действовал вяло, может быть измученный пред-

шествовавшими волнениями, а может быть уже носивший в себе ту болезнь, которая скоро должна была свести его в могилу. Тут очень повредило делу и воспоминание о блестящем успехе «Времени». Во все продолжение «Эпохи» оба Достоевские никак не хотели верить, чтобы их могла постигнуть неудача, и были поэтому часто очень небрежны. Как бы то ни было, первая книжка «Эпохи», которая могла бы явиться уже в феврале, особенно если бы была заранее подготовлена, не явилась и в первой половине марта; вместо того решено было издать двойную книжку за январь и за февраль, но и эта двойная книжка явилась лишь к началу апреля. Объявление об ее выходе напечатано в «С.-Петербургских ведомостях» 24 марта 1864 года. Разумеется, тогда подписка на журналы давно состоялась, и публика, выбитая из старой колеи, не обратила никакого внимания па новое литературное явление.

Чтобы дать понятие об этой книжке и о тогдашнем ходе дел, сделаю выдержку из письма Федора Михайловича из Москвы от 26 марта.

«Любезный брат, у Черенина я достал 3-го дня «Эпоху», которую он неизвестно как получил так скоро, и 1½ дни читал я ее и пересматривал. Вот мое впечатление: издание могло бы быть понаряднее, опечатки бесчисленные, до *крайнего* неряшества, ни одной руководящей, вводной, хотя бы намекающей на направление статьи, кроме статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера нового журнала — недостаточной). Знаю, что все это от запрещения «Ряда статей». Но мне-то тем нестерпимее, потому что эти 2 номера решительно имеют теперь вид сборника. Есть и ёрничество, совершенно, впрочем, извинительное, когда издаешь 2 номера на скорую руку, а именно: роман Шпильгагена, «Процесс» и «Записки помещика»; все три статьи занимают целую половину 2-х книг. Жаль, что не читал Ержинского. Если хорошо — так все спасено, а если нехорошо, то очень плохо. Теперь о хорошей стороне: все статьи, которые я прочел, занимательны (Шпильгагена я не читал; может, и хорошо. Я говорю только об ужасном объеме). Обертка пестра, и названия статей завлекательны. Некоторые статьи очень порядочны, то есть «Призраки»[79]... Статьи Страхова, Ап. Григорьева, Аверкиева, «Что такое польские восстания», компиляция из Смита, «Ерши» и «Бедные жильцы» Горского мне очень понравилась. В защиту на все нападения на Горского можно сказать, что это совсем не литература и с этой

точки глупо рассматривать, а просто *факты* и полезные. Не читал еще «Савонароллы». Очень бы желалось знать, какого рода эта статья. Но все это меркнет оттого, что запрещен «Ряд статей». Ради Бога, проси Страхова выправить свою статью в цензурном отношении для следующего № или написать новый «Ряд статей». Как можно скорей статью руководящую!

Пожалуюсь и за мою статью; опечатки ужасные, и уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противуреча самой себе *. Но что ж делать! С......и [80] цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду* — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?»

Из этого отрывка ясно видны и жалкий вид нашего двойного номера, и одна из причин этого жалкого вида — строгость и растерянность цензуры. Но другая причина была небрежность редакции: и дурная обертка, и избитый шрифт, и плохая бумага, и обилие опечаток — все было до крайности неприятно и ничем не извинялось. Подобных неисправностей никогда не допускали журналы, умевшие пользоваться успехом и поддерживать его. Например, «Современник», какие бы слабые и пустые книжки ни случалось ему выпускать, всегда отличался блестящею наружностию и по части корректуры был замечательно исправен.

Так потянулась «Эпоха» и дальше: вяло, неопрятно, запаздывая книжками. Она велась, собственно, так же, как и «Время», но прежде все *само собою* шло хорошо, а теперь точно так же все само собою шло дурно. Между тем последовал ряд смертей: Марьи Дмитриевны, Михаила Михайловича и Ап. Григорьева [81]. Марья Дмитриевна умерла 16-го апреля, и Федор Михайлович сейчас же переехал в Петербург. 10-го июня неожиданно умер Михайло Михайлович, хворавший очень недолго и бывший почти все время болезни на ногах.

Это было жестоким ударом. Журнал, и без того запоздавший, остановился на два месяца, — пока был найден и утвержден новый редактор и приведены дела в порядок. Задержка со стороны цензуры, не имевшей

---

* Дело идет о первой части «Записок из подполья». (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

никакой причины торопиться, была очень значительна по времени. Подходящие литературные имена состояли в подозрении у цензуры, и потому редактором попросили стать Александра Устиновича Порецкого, служившего в Лесном департаменте, человека неизвестного в литературе, но очень умного и образованного, отличавшегося, сверх того, редкими душевными качествами, безукоризненной добротою и чистотою сердца. Сочувствуя всею душою направлению «Эпохи», он взял на себя официальное редакторство, тогда как всем делом заправлял, разумеется, Федор Михайлович. Кстати: в публике, не слишком внимательной к именам, произошла путаница, и многие считали тогда умершим Федора Михайловича, то есть *знаменитого* Достоевского. Поэтому Федор Михайлович должен был употреблять даже особые старания, всячески давая знать, что он, известный писатель, жив, а умер его брат.

В руках Федора Михайловича дело тотчас пошло иначе; он повел его довольно энергически, с тою заботливостию, которою он отличался в этого рода работах. К сожалению, эта энергия должна была устремиться на цели несущественные для дела и была потрачена понапрасну. Предполагалось, что главная задача состоит в том, чтобы додать книжки за начатый год и, войдя в сроки, собрать новую подписку, то есть, судя по-прежнему, получить тысячи четыре подписчиков или больше. Тогда все дело пошло бы опять хорошо и все затраты и хлопоты были бы вознаграждены. И вот книжки выходили за книжками; в последние месяцы 1864 года редакция выпускала по две книжки в месяц, так что январь 1865 года вышел уже 13-го февраля, а февраль — в марте. Типография и бумага были также изменены; корректура была исправная; мало того — книжки очевидно росли в объеме, и январская книга 1864 года дошла чуть не до сорока печатных листов вместо обещаемых двадцати пяти *.

---

* Приведу здесь время цензурных разрешений, *как оно помечено на книжках.* Мартовская книжка разрешена 23 апреля, майская — 7 июля, июньская — 20 августа, июльская — 19 сентября, августовская — 22 октября, сентябрьская — 22 ноября, октябрьская — 24 октября (!), ноябрьская — 24 декабря, декабрьская — 25 января 1865 года. Эти пометки не могут, однако, точно указывать времени, потому что делались то при начале печатания книжки (на первом ее листе), то при конце (на последнем листе). Беспорядок был так велик, что на октябрьской книжке поставлено: 24 октября, очевидно вместо 24 ноября; на обертке июньской книжки стояло: № 6, *июль,* и выше: журнал, издаваемый *семейством* М. М. Достоевского. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

Но чем старательнее были выполнены внешние условия издания, тем меньше имела редакция времени и сил для выполнения внутренних его условий, и публика не могла этого не заметить, особенно при таких огромных размерах всего этого литературного явления. Книжки составлялись с большим толком и вкусом; Федор Михайлович не мог поместить какой-нибудь вполне негодной вещи; но и ничего выдающегося в них не было, — сам он не мог писать и неоткуда было взять замечательных вещей для стольких номеров. Главное же, эти книжки не представляли никакой современности, ничего важного для текущей минуты; это были простые сборники, хотя и возможные для чтения, но ничем к себе не привлекающие. Чем чаще они выходили, чем толще были, тем яснее это становилось. Публика не могла чувствовать к ним расположения, так как она в значительной мере читает *по обязанности,* для того, чтобы иметь понятие об авторе или книге, чтобы следить за вопросами, чтобы иметь возможность говорить и судить и т. д. Следовательно, книга не будет читаться, если у читателя нет заранее никаких побуждений для ее чтения. И вот таких-то восемь или десять книг было издано редакциею «Эпохи». Частое появление их только утомляло внимание публики и литературы, которого ни одна из них и не могла и не успевала остановить на себе.

Содержанию книжек вредили не только совершенно ненужная строгость цензуры и отсутствие статей самого Федора Михайловича. В сентябре 1864 года умер Ап. Григорьев, статьи которого были так важны для журнала. Правда, публика почти не читала их, как не читает и до сих пор; но в наших глазах и для серьезных литераторов они придавали вес и цвет журналу. Два ряда его писем, напечатанные мною после его смерти, принадлежат конечно к истинным украшениям «Эпохи»[82].

Наконец, была еще сторона, необыкновенно вредившая ходу дела, — именно беспорядок в хозяйственной части, в рассылке журнала, в скором и точном удовлетворении подписчиков. Дело шло так плохо, что пришлось публично извиняться перед подписчиками. В объявлении о подписке на 1865 год («Эпоха», 1864, № 8) мы читаем:

«Редакция обратит особенное внимание на рассылку своего журнала в губернии и доставку его подписчикам. Хотя жалоб на неправильную доставку книг получалось в редакции не более, чем в прежнее время, но тем не менее редакция сознается, что должны быть произведены улучшения, и она непременно займется ими».

В этих сдержанных выражениях слышится большое горе. Зло, которым страдала редакция, очевидно, досталось Федору Михайловичу по наследству, и при нем оно не только не исцелилось, а увеличилось. Хозяйство не было непосредственно в его руках, и он не хотел брать его крепче в свои руки, не чувствуя к нему охоты и считая литературную сторону важнее. Касса редакции в это время была очень скудна, часто совсем пуста; следовательно, всякое движение в хозяйстве задерживалось. Под конец, в самую важную минуту новой подписки, было много случаев, что требования подписчиков, поступавшие в редакцию, вовсе не доходили до редактора.

И при всем этом — дело удивительное! — на «Эпоху» 1865 года все-таки набралось 1300 подписчиков, то есть число, с которым мог бы с некоторым трудом начинать и вести издание новый журнал. Но старый журнал, обремененный сделанными затратами, не мог выдержать. После февральской книжки в редакции не оказалось ни копейки денег, никакой возможности платить сотрудникам, за бумагу, в типографию. Все рассыпалось и разлетелось; семейство Михаила Михайловича осталось без всяких средств, и Федор Михайлович остался с огромным долгом в пятнадцать тысяч.

Так погибла «Эпоха». Рассказывая ее историю, я не упомянул об одном обстоятельстве, имевшем тоже свое значение, — именно об отношении к журналу остальной литературы, то есть главным образом петербургских изданий, составлявших, как и до сих пор, огромное большинство периодической печати. Отношение это с начала и до конца было враждебное, и, вследствие стараний самой «Эпохи», вражда эта возрастала и разгоралась с каждым месяцем. Во «Времени», несмотря на бывшую полемику с «Современником», в конце 1862 года (в сентябрьской книжке) была еще помещена статья Щедрина, а в первой книжке 1863 года явилось стихотворение Некрасова «Смерть Прокла». Но «Эпоха» уже не имела ничего общего с «Современником». Направление ее было уже сознательно славянофильским; припоминаю, как однажды Федор Михайлович по поводу какой-то статьи в защиту «Дня» прямо сказал: «Это хорошо; нужно помогать ему сколько можем». Разрыв с нигилистическим направлением был полный, и против пего исключительно направилась полемика, до которой Федор Михайлович вообще был большой охотник. Он имел

дар язвительности, иногда очень веселой, и еще в последних книжках «Времени» очень остроумно задел Щедрина, хотя не по вопросу, касавшемуся направления. Между тем не только Щедрин, бывший с 1863 года присяжным сотрудником «Современника», внес в него свое остроумие и глумление, но в 1864 году этот журнал вообще стал заниматься полемикою в не слыханных дотоле и не повторявшихся потом размерах[83]. Поднялась ужасная война, которую «Эпоха» сперва весело поддерживала, но в которой, наконец, принуждена была остаться позади своих противников, так как не могла поравняться с ними ни в задоре и резкости выражений, ни во множестве печатных листов, усыпанных этими выражениями. За «Современником» тянули в ту же сторону другие издания. Для людей, исполненных гражданских порывов и не имеющих ни уменья, ни возможности в чем-нибудь их выразить, ничего не могло быть удобнее, как отыскать себе врага в собственной сфере и приняться всячески его казнить. Полемика становится, таким образом, гражданским занятием, и вот благороднейшая причина, по которой она иногда так разрастается. В этой чернильной войне «Эпоха» вела себя почти безукоризненно, оставаясь на чисто литературной почве и имея в виду всегда принципы, и потому, конечно, была слабее противников, которым не было счета и которые разрешали себе не только всякое глумление и ругательство, например, называли своих оппонентов *ракалиями, бутербродами, стрижами* и т. п., но и позволяли себе намеки на то, что мы не честны, угодники правительства, доносчики и т. д. Помню, как бедный Михаил Михайлович был огорчен, когда его «расчет с подписчиками» был где-то продернут и доказывалось, что он обсчитал своих подписчиков.

И эти крайности — дело естественное, потому что нравственное достоинство есть высшая цена людей и их дел, так что только в этой оценке можно найти последнее основание, окончательное оправдание и своей любви, и своей злобы. Вся эта буря в стакане воды очень мало нас волновала и, при других заботах, мы не придавали ей значения. Понятно, что она имела свое действие на читателей, но мы знали, что она же содействовала и известности журнала. Вот почему, рассказавши о падении «Эпохи» и его причинах, как свидетель и участник дела, я не внес в число этих причин полемики, поднявшейся против этого издания, хотя найдутся, может быть, люди, кото-

рые увидят в этом падении победу петербургской журналистики над органом, имевшим несогласное с нею направление.

После многих опытов, к числу которых принадлежит и судьба «Времени» и «Эпохи», во мне составилось твердое убеждение, что в Петербурге может иметь полный успех самый консервативный и патриотический журнал. Публики для него довольно; конечно, в публику часто набивается по дороге всякий сор выражений и понятий, но этот сор не крепко в ней держится и легко выскакивает при первом слабом встряхивании. Одного нельзя найти для такого журнала — редактора, хозяина, то есть человека, не только душевно преданного добрым началам, но и практического, деятельного. Наши патриоты и консерваторы, кажется, чем прекраснее и достойнее любви, тем менее годны для какого-нибудь дела.

Как поучительный пример успеха можно привести «Дневник» Федора Михайловича. Это издание было вовсе не по сердцу Петербургу, но шло превосходно. Правда, хозяйственная часть на этот раз лежала не на редакторе, а на его жене. И редактор, как мне приводилось самому быть свидетелем, не раз упрекал свою жену, что она слишком мелочна в своих хлопотах и расчетах, что у нее недостает широкого взгляда на дело, размаха... Эти недостатки, однако, оказались очень полезными для этого прекрасного издания.

XIV

РАССКАЗ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА О ДЕЛАХ «ВРЕМЕНИ» И «ЭПОХИ»

В подтверждение и дополнение своего рассказа о делах «Времени» и «Эпохи» приведу свидетельство Федора Михайловича. Сохранилось драгоценное письмо, в котором он излагает по порядку все эти события. Оно писано к Александру Егоровичу Врангелю, бывшему тогда секретарем русского посольства в Копенгагене.

«Петербург 31 марта/65.

Милый, добрый друг мой, Александр Егорович, я понимаю, что Вы должны были очень удивиться и конечно, судя по чувствам Вашим ко мне, оскорбиться моим молчанием в ответ на оба Ваши задушевные, добрейшие письма. Не удивляйтесь и не оскорбляйтесь. Я Вам

тотчас же хотел тогда ответить и *не мог.* Почему? прочтете ниже. Но Вас, друга моего в то время, когда у меня не было друзей, свидетеля и моего бесконечного счастья, и моего страшного горя (помните ту ночь в лесу, под Семипалатинском, когда мы их провожали?); друга моего и потом здесь, в Петербурге, ходатая за меня — Вас мог ли бы я забыть? Напротив, во все эти годы много раз я об Вас думал и вспоминал. Но чт*о* была моя жизнь в это время. Я Вам обязан объяснением и даже отчетом, чтоб разъяснить мое недавнее молчание на Ваши письма. Слушайте же: напишу Вам всю мою историю за все время, — впрочем не *всю,* этого нельзя, потому что в подобных случаях в письмах главнейшего никогда не расскажешь. Иное просто не могу рассказывать. А потому расскажу Вам лучше, по возможности вкратце, последний год моей жизни.

Вы знаете, вероятно, что брат затеял четыре года назад журнал. Я ему сотрудничал. Все шло прекрасно. Мой «Мертвый дом» сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию. У брата были огромные долги при начале журнала, и те стали оплачиваться, — как вдруг в 63-м году, в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную против правительственных действий и общественного тогдашнего настроения. Правда, и писатель был отчасти виноват (один из наших ближайших сотрудников), слишком перетонил, и его поняли обратно. Дело скоро поняли как надо, но уж журнал был запрещен. С этой минуты дела брата приняли крайнее расстройство, кредит его пропал, долги обнаружились, а заплатить было нечем. Брат выхлопотал себе позволение продолжать журнал, под новым названием «Эпоха». Позволение вышло только в конце февраля 64-го. 1-й номер не мог появиться раньше 20-го марта *. Журнал, значит, опоздал, подписка уже повсеместно кончилась, потому что публика подписывается на все журналы по старой привычке только в 3 месяца, в декабре, январе и феврале. Надо было удовлетворить прежних подписчиков, которые не получили расчету при прекращении «Времени». Им объявлено было, чтоб они досылали по шести рублей за «Эпоху» 1864-го года. Так как новых подписчиков почти не было,

---

* Эти указания не точны; они очевидно сделаны по памяти. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

а были всё старые, досылавшие по шести рублей, то, стало быть, брат должен был издавать журнал себе в убыток. Это окончательно его расстроило и доконало. Он начал делать долги, здоровье же его стало расстроиваться. Меня подле него в это время не было. Я был в Москве, подле умиравшей жены моей. Да, Александр Егорович, да, мой бесценный друг, Вы пишете и соболезнуете о моей роковой потере, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила! Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чахотки. Я переехал — вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64-го года, и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас. Передаю Вам ее поклон, старый, добрый друг мой. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Все расскажу вам при свидании, — теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру) — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, — я, хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается... Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к брату, — он один у меня оставался, но через три месяца умер и он, прохворав всего месяц и слегка, так что кризис, перешедший в смерть, случился почти неожиданно, в три дня.

И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое, и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально — мне не для чего оставалось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать!

Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут *в первый раз* почувствовал, что *их* некем заменить, что я *их* только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. И вот, когда я три месяца назад получил Ваше горячее, доброе письмо, полное прежних воспоминаний, мне стало так грустно, что и не знаю, как Вам выразить. Но слушайте далее.

9 апреля / 65.

Девять дней прошло с тех пор, как я начал к Вам письмо, и *буквально* в эти девять дней я не имел ни минуты времени, чтоб его кончить. Можете ли Вы мне поверить, Александр Егорович, что в эти три месяца, после Ваших обоих писем, и особенно после второго, при котором мне больно стало от мысли: чт*о* Вы обо мне подумаете, — можете ли Вы мне поверить, что я *ни одной минуты,* буквально, не мог уделить, чтоб отвечать Вам, и оттого молчал до сих пор? Верьте — не верьте, и однако ж это было так, это — истина. А почему это так? — сейчас узнаете.

Продолжаю прежнее:

После брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять тысяч долгу отдаленного, который не мог обеспокоить его семейство, но пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты. Вы спросите: какими же средствами мог бы он додать шесть книг журнала за остальную половину года (он умер в июле 64 года)? Но у него был чрезвычайный и огромный кредит; сверх того, он вполне мог занять, и заем уже был в ходу. Но он умер и весь кредит журнала рушился. Ни копейки денег, чтоб издавать его, а додать надо было шесть книг, что стоило 18 000 руб. minimum, да сверх того удовлетворить кредиторов, на что надо было 15 000, — итого надо было 33000, чтоб кончить год и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств, — хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой, и они все, и вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, — мог ли я их оставить? Предстояло две дороги: 1) прекратить журнал, предоставить журнал (так как журнал все-таки именье и чего-нибудь ст*о*ит) кредиторам вместе с мебелью

и с домашним хламом и взять семейство к себе. Затем работать, литературствовать, писать романы и содержать вдову и сирот брата. 2-й случай) Достать денег и продолжать издание во что бы ни стало. Как жаль, что я не решился на первое! Кредиторы, конечно, не получили бы и 20 на сто. Но семейство, отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить. Я же во все эти пять лет, работая у брата и в журналах, заработывал от восьми до десяти тысяч в год. Следственно, мог бы прокормить и их и себя, — конечно, работая с утра до ночи всю жизнь. Но я предпочел второе, то есть продолжать издание журнала. Не я, впрочем, один предпочел это. Все друзья мои и прежние сотрудники были того же мнения.

14 апреля.

Опять перерыв был. Если б только Вы могли знать, Александр Егорович, в каких ужасных и давящих меня занятиях проходит все мое время!

Продолжаю прежнее:

К тому же надо было отдать долги брата: я не хотел, чтоб на его имя легла дурная память. Средство было: дойти до годовой подписки, оплатить часть долгу, стараться, чтоб журнал был год от году лучше, и года через три-четыре, заплатив долги, сдать кому-нибудь журнал, обеспечив семейство брата. Тогда бы я отдохнул, тогда бы я опять стал писать то, что давно хочется высказать. Я решился. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей тетки 10000, которые она назначала на мою долю в своем завещании, и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено; требовалось выпросить разрешение цензурное издавать журнал. Дело протянули так, что только в конце августа могла появиться июльская книга журнала. Подписчики, которым ни до чего нет дела, стали негодовать. Имени моего не позволила мне цензура поставить на журнале, ни как редактора, ни как издателя. Надобно было решиться на меры энергические. Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра и спал по 5 часов в сутки, и хоть ввел в журнал порядок, но уже было поздно. Верите ли: 28 ноября вышла сентябрьская

книга, а 13 февраля генварская книга 1865-го года, значит, по 16 дней на книгу, и каждая книга в 35 листов. Чего же это мне стоило! Но главное, при всей этой каторжной черной работе я сам не мог написать и напечатать в журнале ни строчки своего. Моего имени публика не встречала, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, что я редактирую журнал.

И вдруг последовал у нас всеобщий журнальный кризис. Во всех журналах разом подписка не состоялась. «Современник», имевший постоянных 5000 подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас осталось только 1300 подписчиков.

Много причин этого журнального нашего, по всей России, кризиса. Главное, они ясны, хотя и сложны. Но об нем после. Посудите, каково положение наше. Каково, главное, мое положение! Чтоб старые братнины долги не беспокоили хода дела, я перевел их тысяч на десять на себя. Я рассчитывал, что если б журнал имел в этом году, при несчастьи, хотя бы только 2500 подписчиков вместо прежних четырех, то и тут все бы уладилось. По крайней мере, свои долги расплатили бы. Я рассчитывал верно: никогда еще не бывало с самого начала нашего журнализма, с тридцатых годов, чтоб число подписчиков убавилось в один год более, чем на 25 процентов[84]. Приписывать худому ведению дела я не могу. Ведь и «Время» *Я* начал, а не брат, я его направлял и я редактировал. Одним словом, с нами случилось то же самое, как если бы у владельца или купца сгорел бы дом или его фабрика и он из достаточного человека обратился бы в банкрута.

При начале подписки долги, преимущественно еще покойного брата, потребовали уплаты. Мы платили из подписных денег, рассчитывая, что за уплатою все-таки останется чем издавать журнал, но подписка пресеклась, и, выдав два номера журнала, мы остались без ничего.

В этакое-то время и застали меня Ваши письма. Я ездил в Москву доставать денег, искал компаньона в журнал на самых выгодных условиях, но, кроме журнального кризиса, у нас в России денежный кризис. Теперь мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10000 вексельного долгу и 5000 на честное слово.

Из них три тысячи надо заплатить во что бы то ни стало. Кроме того, 2000 нужно для того, чтоб выкупить право на издание моих сочинений, которые в закладе,

и приступить к их изданию самому. Книгопродавцы дают мне за это право 5000 рублей. Но это мне невыгодно. Если я буду издавать их сам, — будет выгоднее. Теперь, чтоб заплатить долги, хочу издавать новый роман мой выпусками, как делается в Англии. Кроме того, хочу издавать «Мертвый дом» тоже выпусками и с иллюстрацией, роскошным изданием, и наконец, в будущем году, полное собрание моих сочинений. Все это, надеюсь, даст тысяч пятнадцать, — но какова каторжная работа.

О, друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из денег задавила и съела меня.

И все-таки для начала мне нужно теперь хоть три тысячи. Бьюсь по всем углам, чтоб их достать, — иначе погибну. Чувствую, что только случай может спасти меня. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок — один, — прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть!

Описал я Вам все и вижу, что главного — моей духовной, сердечной жизни я не высказал и даже понятия о ней не дал. Так будет и всегда, пока мы в письмах. Я письма не умею писать и *об себе* не умею *в меру* писать. Впрочем, оно и трудно: много лет легло между нами, да и каких лет!

И как кстати Вы теперь отозвались мне. *Всё* Вы мне напомнили прежнее. Я люблю Вас прежнего, молодого, доброго, и таким Вас буду представлять себе всю мою жизнь. Кстати: я Вас еще совсем не знаю *как семьянина.* Кажется мне (припоминая прежнее), что Вы должны быть теперь счастливы. Но очень хочу угадать, какой новый оттенок, мне неизвестный, положила семейная жизнь на Вашу душу.

Благодарю Вас за фотографии Вашего семейства. Я долго рассматривал карточки, вглядывался и угадывал.

За границей я был два раза — летом 62 и 63 года. Каждый раз ездил на три месяца, был в Германии (почти во всей), в Швейцарии, Франции и в Италии (тоже во всей). Здоровье мое за границей, в оба раза, воскресало с быстротой удивительной. Я положил ездить каждый год на три месяца, тем более, что это ничего не значит

в денежном отношении, при дороговизне нашей здешней жизни. Ездить же я хотел для поправки здоровья, чтоб отдыхать, поправляться и тем удобнее работать остальные 9 месяцев года в России. Но в прошлом году смерть брата заставила меня остаться, а нынешние долги и занятия доконают меня здесь окончательно. А как бы хотелось хоть на месяц съездить проветрить голову, освежиться, воскреснуть. К Вам бы заехал непременно. И кто знает, может быть, это и случится. Издание «Мертвого дома» может идти без меня, а за границей я постоянно пишу, потому что там времени и спокойствия больше, чем здесь, особенно если жить на одном месте. К Вам бы заехал непременно.

Карточку пришлю непременно, если скоро ответите — не сердясь за долгое молчание. Да и за что же, Боже мой, сердиться, разве я виноват!

Я живу один, при мне Паша, мой пасынок. Ему уже семнадцатый год, учится, Вас очень помнит и Вам кланяется.

А многое бы я Вам порассказал, если б мы свиделись.

Прощайте, добрый друг мой, обнимаю Вас от всей души, горячо. Будьте счастливы. Теперь буду аккуратно отвечать. Пишите скорей.

Боюсь, застанет ли Вас письмо это в Копенгагене.

Ваш весь прежний и всегдашний
Федор Достоевский».

Этим письмом можно заключить очерк отдельного периода в жизни Федора Михайловича, именно периода от возвращения в Петербург из ссылки до той минуты одиночества, когда он остался без жены, без брата и без журнала. Чувство живучести, о котором он говорит, не обмануло его. Отсюда начинается лучшая половина его жизни; его ожидали впереди величайшие труды и затруднения, но вместе с тем новые, высшие создания его таланта, новая прекрасная семейная жизнь, непрерывные литературные успехи, возрастающая известность и, наконец, в последние годы, уплата всех долгов, достаток и порядок в денежных делах.

Когда мы видим, что в 1866 году является «Преступление и наказание», в 1868 «Идиот», в 1870 «Бесы», то невольно приходит на мысль, что падение «Эпохи» было счастливым событием для литературы, что Федор Михайлович, поставленный в необходимость писать как

можно больше и как можно лучше, достиг в этих произведениях наибольшего напряжения своих сил. Если бы «Эпоха» существовала, эти силы пошли бы на нее.

Всю остальную жизнь Федора Михайловича можно разделить на два периода. Первый (1865—1871), когда созданы были эти романы, очень трудный, наиболее плодотворный и проведенный большею частию за границею. Последний, начинающийся с возвращения в Петербург (1872—1881), представляет новые журнальные попытки, в виде редактирования — «Гражданина», «Дневника»; но это — период менее трудный, относительно спокойный и все более и более счастливый с внешней стороны, по порядку в делах и по успехам в публике.

XV

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Летом 1865 года, в конце июля, Федор Михайлович уехал за границу. В сентябре и октябре он жил в Висбадене (см. письма к Врангелю). В ноябре он уже опять был в Петербурге и оставался здесь весь 1866 год [85]. Этот год имел в его жизни большое значение. С января стал появляться в «Русском вестнике» роман «Преступление и наказание», а осенью, 4-го октября 1866 года, Федор Михайлович познакомился с Анной Григорьевной Сниткиной, своею будущею женою.

В продолжение всего этого времени мы с ним не видались. У нас вышла первая размолвка, о которой не стану рассказывать[86]. Отчасти, но лишь в самой ничтожной части, тут участвовали и те неудовольствия и затруднения, которые бывают при падении общего дела. Приходится делить общее несчастие, и каждый из участников естественно старается, чтобы его доля была как можно меньше. Грустно вспоминать черты эгоизма, которые таким образом обнаруживаются. Но повторяю, *дела* не имели при нашей размолвке никакого существенного значения. Нечего и говорить, что Федор Михайлович был очень внимателен к своим сотрудникам, так что все они сохранили к нему уважение и расположение. Но он сам был в тисках и невольно раздражался. Эта тень неудовольствия, однако же, быстро прошла. Д. В. Аверкиев и я были свидетелями со стороны Федора Михайловича на его свадьбе, и много других сошлись в церкви и у него на дому после совершения таинства.

Впрочем, всего лучше привести ту записку, которая когда-то так тронула и обрадовала меня.

«Добрейший и многоуважаемый
Николай Николаевич,

В воскресенье, 12-го февраля, если не произойдет чего-нибудь слишком необычайного, будет моя свадьба, вечером, в 8-м часу, в Троицком (Измайловском) соборе. — Если Вы, добрейший Николай Николаевич, захотите припомнить многие годы наших близких и приятельских отношений, то, вероятно, не подивитесь тому, что я, в счастливую (хотя и хлопотливую) минуту моей жизни, припомнил об Вас и пожелал сердцем видеть Вас в числе моих свидетелей и потом в числе гостей моих, по возвращении *молодых* домой.

Я имел твердое (и давнишнее) намерение просить Вас лично; но в настоящую минуту я, во-первых, захворал, а во-вторых — столько хлопот, столько еще не сделанных и не исполненных мелочей, покупок, распоряжений, что, при скверной моей памяти, просто растерялся, и потому простите великодушно, что приглашаю Вас запиской. К тому же я до того одичал в последний год затворнической жизни и отупел от 44-х печатных, написанных мною в один год, листов, что даже и записку-то эту написал с чрезвычайным трудом, несмотря на то, что чувствую искренно и о слоге не старался.

А давненько-таки мы не видались.

До свидания же. Крепко жму Вам руку.

Ваш искренний *Федор Достоевский».*

По болезни Федора Михайловича свадьба была отложена и происходила только 15-го февраля, в среду.

Из этой записки уже видно, как тяжелы были для Федора Михайловича эти два года, 1865 и 1866. И нельзя не удивляться той энергии, которую он обнаружил в этом случае. Больной, одинокий, притесняемый кредиторами, обремененный заботами о семье покойного брата, он успевает справиться со всеми этими тягостями и пишет лучшее свое произведение «Преступление и наказание». Как будто все эти потери и гнетущие обстоятельства только давали ему более глубокий взгляд, только усиливали строгость и силу его творчества. Чрезвычайно характерны его слова (в предыдущем письме к Врангелю):

«А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть!» И действительно, его ждала новая жизнь — новый период деятельности и известности, новая семья. Может быть, приведенные слова даже прямо относятся к его мечтам о женитьбе. Ставши вдовцом, он иногда, несмотря на всю тяжесть своих обстоятельств, действительно смотрел женихом — так, по крайней мере, замечали зоркие в этом отношении женские глаза. Эта энергия и эти жизненные стремления достигли своей цели. Новая женитьба скоро доставила ему в полной и даже необычайной мере то семейное счастие, которого он так желал; тогда стала легче и успешнее и жестокая борьба с нуждою и долгами, борьба, однако же, долго тянувшаяся и кончившаяся победою разве лишь за два, за три года до смерти неутомимого борца. Чтобы дать ясное понятие о трудах и усилиях Федора Михайловича, приведем опять его письмо, писанное в этот трудный период его жизни к тому же А. Е. Врангелю.

«Петербург 18 февраля / 66.

Добрейший и старый друг мой, Александр Егорович, — я перед Вами виноват в долгом молчании, но виноват без вины. Трудно было бы мне теперь описать Вам всю мою теперешнюю жизнь и все обстоятельства, чтобы дать Вам ясно понять все причины моего долгого молчания. Причины сложные и многочисленные, и потому их не описываю, но кой-что упомяну. Во-1-х, сижу над работой как каторжник. Это тот роман в «Русский вестник». Роман большой в 6 *частей.* В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю я дни и ночи и все-таки работаю мало. По расчету выходит, что каждый месяц мне надо доставить в «Русский вестник» до 6-ти печатных листов. Это ужасно, но я бы доставил, если б была свобода духа. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними, и еще не знаю наверно, — улажу ли? — хотя многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить им уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух

и сердце, расстроивает на несколько дней, а тут садись и пиши. Иногда это невозможно. Вот почему и трудно найти минуту спокойную, чтоб поговорить с старым другом. Ей-богу! Наконец, болезни. Сначала, по приезде, страшно беспокоила падучая; казалось, она хотела наверстать мои три месяца за границей, когда ее не было. А теперь вот уж месяц замучил меня геморрой. Вы об этой болезни, вероятно, не имеете и понятия и каковы могут быть ее припадки. Вот уже третий год сряду она повадилась мучить меня два месяца в году, в феврале и в марте. И каково же: *пятнадцать дней* (!) должен был я пролежать на моем диване и 15 дней не мог взять пера в руки. Теперь в остальные 15 дней мне предстоит написать 5 листов! И лежать совершенно здоровому всем организмом потому собственно, что ни стоять, ни сидеть не мог от судорог, которые сейчас начинались, только что я вставал с дивана! Теперь дня три, как мне гораздо легче. Лечил меня Besser. Бросаюсь на свободную минуту, чтоб поговорить с друзьями. Как меня мучило, что я Вам не отвечал! Но я и не Вам, я и другим, которые имеют право на мое сердце, не отвечал. Упомянув Вам о моих хлопотливых дрязгах, я ни слова не сказал о неприятностях семейных, о хлопотах бесчисленных по делам покойного брата и его семейства и по делам покойного нашего журнала. Я стал нервен, раздражителен, характер мой испортился. Я не знаю, до чего это дойдет. Всю зиму я ни к кому не ходил, никого и ничего не видал, в театре был только раз, на первом представлении «Рогнеды». И так продолжится до окончания р о м а н а, — если не посадят в долговое отделение.

Не знаю еще, что буду делать, когда кончу роман. Главное, тогда подновится мое литературное имя, и можно будет к осени что-нибудь предпринять. У меня есть план, но надо быть благоразумным.

Вот Вам еще факт: страшно усиливается подписка на все журналы и книжная торговля. Это последние сведения от книгопродавцев, да и сам имею факты [87].

Теперь — ответ на Ваши слова. Вы пишете, что мне лучше служить в коронной службе; вряд ли? Мне выгоднее там, где денег больше можно достать. Я в литературе имею уже такое имя, что верный кусок хлеба (кабы не долги) всегда бы у меня был, да еще сладкий, богатый кусок, как и было вплоть до последнего года. Кстати расскажу Вам о теперешних моих литературных занятиях, и из этого вы узнаете, в чем тут дело. Из-за границы,

будучи придавлен обстоятельствами, я послал Каткову предложение за самую низкую для меня плату 125 р. с листа ихнего, то есть 150 р. с листа «Современника». Они согласились. Потом я узнал, что согласились с радостию, потому что у них из беллетристики на этот год ничего не было: Тургенев не пишет ничего, а с Львом Толстым они поссорились. Я явился на выручку (все это я знаю из верных рук). Но они страшно со мной осторожничали и политиковали. Дело в том, что они страшные скряги. Роман им казался велик. Платить за 25 листов (а, может быть, и за 30) по 125 р. их пугало. Одним словом, вся их политика в том (уж ко мне засылали), чтоб сбавить плату с листа, а у меня в том, чтоб набавить. И теперь у нас идет глухая борьба. Им очевидно хочется, чтоб я приехал в Москву. Я же выжидаю, и вот в чем моя цель: если Бог поможет, то роман этот может быть великолепнейшею вещью. Мне хочется, чтоб не менее 3-х частей (то есть половина всего) была напечатана, эффект в публике будет произведен, и тогда я поеду в Москву и посмотрю, как они тогда мне сбавят? Напротив, может быть, прибавят. Это будет к Святой. И, кроме того, стараюсь не забирать там денег вперед; жмусь и живу нищенски. Мое от меня не уйдет, а если забирать вперед, то я уже нравственно не свободен, когда буду впоследствии окончательно говорить с ними об уплате. Недели две тому назад вышла первая часть моего романа в первой январской книге «Русского вестника». Называется «Преступление и наказание». Я уже слышал много восторженных отзывов. Там есть смелые и новые вещи. Как жаль мне, что я Вам не могу послать! Неужели у Вас никто не получает «Русского вестника»?

Теперь слушайте: предположите, что мне удастся хорошо окончить, так, как бы я желал; ведь я мечтаю, знаете, об чем: продать его нынешнего же года книгопродавцу вторым изданием, и я возьму еще тысячи *две* или *три* даже. Ведь этого не даст коронная служба? А продам-то я вторым изданием наверно, потому что ни одно мое сочинение не обходилось без этого. Но вот в чем беда: я могу испортить роман, и я это предчувствую. Если посадят в тюрьму за долги, то наверно испорчу и даже не докончу; тогда все лопнет.

Но я слишком много разболтался о себе. Не сочтите за эгоизм: это бывает со всеми, которые слишком долго сидят в своем углу и молчат. Вы пишете, что Вы и все Ваше семейство перехворали. Это тяжело: хоть

здоровьем-то заграничная жизнь должна бы Вас была вознаградить! Что было бы с Вами и с Вашим семейством эту зиму в Петербурге! Это ужас, что у нас было, а летом еще, пожалуй, холера пожалует. Передайте Вашей жене мои искренние чувства уважения и желание всевозможного ей счастья, а главное — пусть начнется с здоровья! Добрый друг мой, Вы по крайней мере счастливы в семействе, а мне отказала судьба в этом великом и *единственном* человеческом счастье. Да, для семейства Вы многим обязаны. Вы мне пишете о предложении Вашего отца и что Вы отказались. Я не имею права ничего Вам тут советовать, собственно потому, что в *полноте* дела не знаю. Но вот в чем примите совет друга: не решайтесь поспешно, не говорите последнего слова и оставьте окончательное решение до лета, когда сами приедете. Эти решения делаются на всю жизнь; тут переворот всей жизни. Даже, если б Вы и порешили летом продолжать службу, то все-таки не говорите окончательного слова и оставьте разрешить впоследствии обстоятельствам.

Летом, я думаю, наверно буду в Петербурге; стало быть, мы увидимся. Тогда поговорим о многом. Кстати, я очень рад, что Вас так интересует наша внутренняя, русская, умственная и гражданская жизнь. Мне, как другу, очень приятно, что Вы такой, хотя не во всем с Вами согласен. На многое смотрите Вы несколько исключительно. Не черпаете ли Вы известия из иностранных газет? Там систематически искажают всё, что касается России. Но это обширный вопрос. По-моему, живя за границей, действительно подпадаешь под влияние иностранной прессе. Я это даже на себе испытал. Но однако ж во многом, и очень даже, я предчувствую, что с Вами согласен.

«Весть» издается двумя издателями-редакторами: *Скарятиным* и *Юматовым.* Прощайте, добрый друг мой, до свиданья! Надеюсь в будущем письме обменяться с Вами более счастливыми известиями. Дал бы Бог! А теперь

Ваш весь *Ф. Достоевский.*

Поцелуйте милых деток Ваших».

(Приписка сбоку.) «Все Ваши оставшиеся у меня вещи в целости и лежат в комоде. Друг мой, я Вам должен. Подождите несколько; отдам. Теперь же скряжничаю, а если б Вы знали, сколько уж должен был истратить здесь денег!»

Это письмо лучше всяких рассказов изображает и денежные дела, и литературные труды, и состояние духа и тела Федора Михайловича. Прибавлю несколько подробностей, сохранившихся в моей памяти. Впечатление, произведенное романом «Преступление и наказание», было необычайное. Только его и читали в этом 1866 году, только об нем и говорили охотники до чтения, говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелое впечатление, от которого люди с здоровыми нервами почти заболевали, а люди с слабыми нервами принуждены были оставлять чтение. Но всего поразительнее было случившееся при этом совпадение романа с действительностию. В то самое время, когда вышла книжка «Русского вестника» с описанием преступления Раскольникова, в газетах появилось известие о совершенно подобном преступлении, происшедшем в Москве. Какой-то студент убил и ограбил ростовщика и, по всем признакам, сделал это из нигилистического убеждения, что дозволены все средства, чтобы исправить неразумное положение дел. Убийство было совершено, если не ошибаюсь, дня за два или за три до появления «Преступления и наказания». Не знаю, были ли поражены этим читатели, но Федор Михайлович очень это заметил, часто говорил об этом и гордился таким подвигом художественной проницательности[88]. Припоминаю я также, что покойный М. П. Покровский, много лет спустя, рассказывал, как сильно подействовал этот роман на молодых людей, бывших в ссылке в одном из городов Европейской России[89]. Нашелся даже юноша, который стал на сторону Раскольникова и некоторое время носился с мыслью совершить нечто подобное его преступлению, и лишь потом одумался. Так верно была схвачена автором эта логика людей, оторвавшихся от основ и дерзко идущих против собственной совести.

Успех был чрезвычайный, но не без сопротивления. В начале 1867 года я поместил в «Отечественных записках» разбор «Преступления и наказания», разбор, писанный очень сдержанным и сухим тоном[90]. Эта статья памятна мне в двух отношениях. Федор Михайлович, прочитавши ее, сказал мне очень лестное слово: «Вы одни меня поняли». Но редакция была недовольна и прямо меня упрекнула, что я расхвалил роман *по-приятельски.* Я же, напротив, был виноват именно в том, что холодно и вяло говорил о таком поразительном литературном явлении.

XVI

ЖЕНИТЬБА

С Анной Григорьевной Федор Михайлович познакомился по тому поводу, что вздумал прибегнуть к стенографии. Осенью 1866 года ему нужно было к сроку исполнить одно обязательство. *Именно*, — он продал Стелловскому право на издание своих сочинений, с условием, что в это издание войдет повесть, нигде не напечатанная. Срок доставки повести был обозначен в контракте; Федор Михайлович начал писать «Игрока», но видя, что не поспеет, если будет писать обыкновенным порядком, пригласил к себе стенографку; к нему явилась незнакомая *девушка*, — которой суждено было стать его женою [91]. Впоследствии Анна Григорьевна постоянно продолжала ему помогать. Именно, когда у него были приготовлены черновые наброски со всевозможными поправками, помарками, вставками и т. д., он диктовал ей с этих набросков. Она записывала стенографически, а потом переписывала свою стенографию; получался четкий и отчетливый список.

Подробности о делах того времени, приведших к такому счастливому событию, сохранились в одном письме Федора Михайловича (к Василию Ивановичу Губину, из Дрездена, от 8-го мая 1871 года), из которого мы приведем здесь выдержки.

«Стелловский купил у меня сочинения летом 65 года следующим образом: я был в обстоятельствах ужасных. По смерти брата в 64 году я взял многие из его долгов на себя и 10000 руб. собственных денег (доставшихся мне от тетки) употребил на продолжение издания «Эпохи», братнего журнала, в пользу его семейства, не имея в этом журнале ни малейшей доли и даже не имея права поставить на обертке мое имя как редактора. Но журнал лопнул, пришлось оставить. Затем я продолжал платить долги брата и журнальные, чем мог. Много я надавал векселей, между прочим (сейчас после смерти брата) одному Д<емису>; этот Д<емис> пришел ко мне (он доставлял брату бумагу) и умолял переписать векселя брата на мое имя и давал честное слово, что он будет ждать сколько угодно. Я сдуру переписал. Летом 65 года меня начинают преследовать по векселям Д<емис>а и еще каким-то (не помню). С другой стороны, служащий в типографии (тогда у Праца) Гаврилов предъявил тоже свой вексель в 1000 рублей, который я ему выдал, нужда-

ясь в деньгах по продолжению чужого журнала[92]....... И вот в то же самое время он <Стелловский> вдруг присылает с предложением: не продам ли я ему сочинения за три тысячи, с написанием особого романа и проч. и проч. — то есть на самых унизительных и невозможных условиях. Подождать бы, так я бы взял с книгопродавцев за право издания по крайней мере вдвое, а если б подождать год, то конечно втрое, ибо через год одно «Преступление и наказание» продано было вторым изданием за 7000 долгу (всё по журналу, — Базунову, Працу и одному бумажному поставщику). №. Таким образом, я на братнин журнал и на его долги истратил 22 или 24 тысячи, то есть уплатил своими силами, и теперь еще на мне долгу тысяч до пяти.

Стелловский дал мне тогда 10 или 12 дней сроку думать. Это же был срок описи и аресте по долгам. Заметьте, что Д<емисов>ы векселя предъявил некто надворный советник Б<очаров>. Когда-то сам пописывал, переводил Гете; ныне же, кажется, мировым судьей на Васильевском Острове[93]...... В эти десять дней я толкался везде, чтоб достать денег для уплаты векселей, чтоб избавиться продавать сочинения Стелловскому на таких ужасных условиях. Был и у Б<очарова> раз 8 и никогда не заставал его дома. Наконец узнал (от квартального, с которым сблизился и которого фамилью теперь забыл), что Б<очаров> — друг Стелловского давнишний, ходит по его делам и проч. и проч. Тогда я согласился, и мы написали этот контракт, которого копия у Вас в руках. Я расплатился с Д<емисом>, с Гавриловым и с другими и с оставшимися 35 полуимпериалами поехал за границу.

Я воротился в октябре с начатым за границей романом «Преступление и наказание» и войдя в сношение с «Русским вестником», от которого и получил несколько денег вперед. *Теперь заметьте хорошенько:* по написании летом контракта с Стелловским, я прямо сказал Стелловскому, что я не поспею написать ему роман к 1-му ноября 65 года. Он отвечал мне, что он и не претендует, что он и издавать не думает раньше как через год, но просил меня, чтоб я к 1-му ноября 66-го года был аккуратнее. Всё это было на словах и между четырех глаз, но страшные неустойки, если я манкирую к 1-му ноябрю 66 года, остались в контракте».

Вот обстоятельства, по которым никакие отсрочки в писании романа оказывались невозможными и нужно

было прибегнуть к стенографии. Анну Григорьевну Сниткину рекомендовал Федору Михайловичу Павел Матвеевич Ольхин, известный преподаватель стенографии. Он в 1866 году в марте месяце открыл в здании шестой гимназии курс стенографии, на который сначала явилось множество желающих приобрести средство к независимому заработку, и в числе их Анна Григорьевна. Записалось сперва до 150 человек, но быстро стали отставать, так что к маю осталась едва ли половина начавших курс, а в сентябре всех желавших продолжать было не более 12-ти. Самою успешною ученицею была Анна Григорьевна. Она незадолго перед этими курсами кончила курс в Мариинской гимназии и в этом же году (28 апреля) потеряла отца; поэтому занятия были для нее и средством заглушить горе и надеждою на возможность что-нибудь зарабатывать.

На предложение П. М. Ольхина — взять работу у Федора Михайловича Анна Григорьевна согласилась с радостью. Достоевский был одним из любимых писателей ее покойного отца, — да и вся семья читала его с жадностию. У других своих родственников Анна Григорьевна даже получила название «Неточки Незвановой», на том основании, что приходила к ним иногда незваная[94].

Повесть «Игрок» была уже начата, но только начата Федором Михайловичем, и он стал диктовать Анне Григорьевне продолжение. Нужно было написать не менее 7 печатных листов. Название было первоначально «Рулетенбург», но потом, по просьбе Стелловского, переменено на «Игрок». Повесть эта появилась в издании: «Собрание сочинений русских авторов», в которое вошли сочинения А. Ф. Писемского, Вс. Вл. Крестовского, гр. Л. Н. Толстого и наконец Ф. М. Достоевского[95]. Большие томы в два столбца.

Анна Григорьевна обыкновенно приходила к Федору Михайловичу около полудня, и они работали до 2-х или 3-х часов. Сначала Федор Михайлович прочитывал то, что было им продиктовано накануне и теперь было принесено уже переписанное, а потом диктовал дальше. Так продолжалось с 4-го по 30-е октября, когда повесть была кончена. Этому окончанию очень радовался Федор Михайлович и даже затевал по этому поводу обед с близкими приятелями. 31-го октября он повез рукопись к Стелловскому, но не застал его дома и даже не мог узнать, где он находится. Тогда Федор Михайлович по-

ехал в магазин Стелловского (на Б. Морской) и хотел сдать рукопись под расписку приказчику, но тот отказался принять ее, говоря, что хозяин на это его не уполномочивал. Затруднение было не малое, и из него вывел Федора Михайловича один из знакомых, посоветовав ему отвезти рукопись в ту часть, где проживал Стелловский, и вручить приставу под расписку для передачи Стелловскому. Так и сделано было.

Свадьба Федора Михайловича и Анны Григорьевны состоялась 15 февраля 1867 года.

От этого брака было четверо детей. Первым ребенком была дочь, Софья, родившаяся в Женеве 22 февраля 1868 и там же скончавшаяся 12 мая того же года. Второе дитя, дочь Любовь, родилась в Дрездене 14 сентября 1869 года. Третье, сын Федор, родился в Петербурге 16 июля 1871 года. Последний ребенок, Алексей, родился в Старой Руссе 12 августа 1875 года[96] и умер в Петербурге 16 мая 1878 года.

XVII

ГОДЫ ЗА ГРАНИЦЕЮ

Через два месяца после свадьбы, именно 14-го апреля 1867 года, молодые уехали за границу, где им суждено было пробыть гораздо дольше, чем они предполагали и желали. Они вернулись в Петербург только 8-го июля 1871 года, следовательно, провели вне России *четыре* года с большим лишком. За это время у меня не может быть никаких воспоминаний, кроме заочных. Но зато к этому времени относятся два длинные ряда писем, один к А. Н. Майкову, другой ко мне. Читатель найдет эти письма в приложении[97] и из них всего лучше может познакомиться со многими чертами и внешней и внутренней жизни Федора Михайловича.

Скажу несколько слов вообще об этих письмах. В них постоянно слышится чистота намерений, искренность, прямота. Не забудем, что автор их был человек, в котором непрерывно совершались очень сильные и сложные душевные движения; но из писем ясно, что он легко становился выше этих движений и с этой высоты умел судить свои дела и отношения, себя и других, судить беспристрастным, великодушным судом. Он рассказывает свои слабости и затруднения, он волнуется и просит, жалуется и кается, но везде видно, что он никогда не

теряет совершенно ни твердости, ни правильного взгляда на обстоятельства и людей.

Письма эти составляли большую отраду тех, к кому они были писаны. Скажу, по крайней мере, про себя, что чем далее шло время, тем наши заочные отношения становились все лучше и теплее, тем оживленнее шла переписка. Всякие мелочи, случайности, посторонние чувства отбрасываются в сторону, когда мы обращаемся к отсутствующему, и потому тут люди сближаются лучшими своими сторонами, и сближаются иногда теснее, чем при свиданиях и разговорах. Но, кроме того, я совершенно убежден, что эти четыре с лишним года, проведенные Федором Михайловичем за границею, были лучшим временем его жизни, то есть таким, которое принесло ему всего больше глубоких и чистых мыслей и чувств. Он очень усиленно работал и часто нуждался; но он имел покой и радость счастливой семейной жизни, и почти все время жил в совершенном уединении, то есть вдали от всяких значительных поводов оставлять прямой путь развития своих мыслей и глубокой душевной работы. Рождение детей, забота об них, участие одного супруга в страданиях другого, даже самая смерть первого ребенка, — всё это чистые, иногда высокие впечатления. Нет сомнения, что именно за границей, при этой обстановке и этих долгих и спокойных размышлениях, в нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем. В его письмах под конец вдруг, раздались звуки этой струны; она стала звучать в нем так сильно, что он не мог оставлять эти звуки для себя одного, как это делал прежде. Об этой существенной перемене однако же письма не дают полного понятия. Но она очень ясно обнаружилась для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из-за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того; он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка. Помню маленькую сцену в Славянском комитете. Мы входили вместе, и с нами поздоровался И. И. Петров. «Кто это?» — спросил меня Федор Михайлович, или не знавший его, или забывший, как он беспрестанно забывал людей, с которыми даже часто встречался. Я сказал ему и прибавил: «какой чудесный, чудеснейший человек!» Глаза Федора Михайловича ласково заблестели, он с большою любовью

поглядел на других присутствовавших и потихоньку сказал мне: «Да, все люди — существа прекрасные!» Искренность и теплота так и светились в нем при этих словах.

Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства, которые все чаще и яснее выражались и в его сочинениях. Таким он вернулся из-за границы.

Указавши общий характер этого заграничного житья и его внутреннее значение, приведу теперь внешние обстоятельства и подробности, чтобы читатель имел руководящую нить при чтении писем.

В 1867 году (14 апреля), выехавши за границу, Достоевские через Берлин проехали в Дрезден и пробыли здесь два месяца. Федор Михайлович принялся тут за статью «Мои воспоминания о Белинском». Эта статья по условию приготовлялась им для литературного сборника «Чаша», который затеян был в Москве покойным К. И. Бабиковым, одним из молодых сотрудников «Времени» и «Эпохи», автором романа «Глухая улица» и других произведений, имевших некоторый успех и вполне его стоивших. Статья эта была кончена только в Женеве, уже в половине сентября, была отослана А. Н. Майкову, им передана А. Ф. Базунову и затем пропала без вести, как и другие статьи, приготовленные для «Чаши». Этому сборнику не суждено было явиться в свет.

В Дрездене Анна Григорьевна принялась усердно изучать «Галерею». Федор Михайлович также любил ходить туда, но останавливался преимущественно на своих любимых картинах. Это были: «Сикстинская Мадонна», «Ночь» Корреджио, «Христос с монетой» Тициана, «Голова Христа» Аннибала Караччи и «Abendlandschaft» Клод Лоррена. О последней картине с большим одушевлением говорится в «Подростке». Кроме того, он полюбил картины Рюисдаля, особенно его «Охоту»[98].

В половине июня 1867 года Достоевские выехали из Дрездена в Швейцарию, по дороге остановились в Баден-Бадене и вынуждены были прожить здесь полтора месяца. Федор Михайлович увлекся рулеткою, сперва выиграл, потом проигрался, и только благодаря деньгам, полученным от М. Н. Каткова, мог выехать из Баден-Бадена. В Женеву они приехали с 30-ю франками; но душевное настроение Федора Михайловича сейчас же поправилось, когда он избавился, наконец, от душившего его два месяца кошмара — мечты выиграть на рулетке.

В Женеве проведена была зима 1867—68 года. Федор

Михайлович писал в это время «Идиота», который стал появляться в «Русском вестнике» с января 1868 года. Жизнь Достоевские вели уединенную и однообразную. Федор Михайлович вставал в 11 или 12 часов, пил кофе, садился за работу и работал до 3-х; потом со своей черновой диктовал Анне Григорьевне. В четыре часа они шли обедать в какой-нибудь ресторан; после обеда Федор Михайлович шел читать русские газеты. Вечером перед чаем шли гулять; потом в 10 часов Федор Михайлович снова садился за работу и занимался до 4 или 5 часов утра.

Знакомых в Женеве не было никого, кроме Огарева, который иногда заходил и даже выручал Достоевских в случае крайней нужды, давая взаймы пять или десять франков. Рождение дочери (22 февраля 1868) было большим счастьем для обоих супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее движению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была страшным и неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней с сердечной болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле.

В Женеве, кроме того, что все напоминало Достоевским об их потере, было вообще неудобно и неприятно. В конце мая 1868 года им удалось, наконец, из нее выбраться, и они поселились в Vevey, на Женевском озере, и тут провели лето. В начале сентября перебрались через Симплон в Италию, пробыли два месяца в Милане и поселились на зиму (1868—69) во Флоренции. Все это время продолжалось писание «Идиота», окончание которого появилось отдельным приложением к «Русскому вестнику» 1869 (к январской или февральской книжке).

Жизнь во Флоренции была так же однообразна, как в Женеве. Но здесь были знаменитые галереи, и не только Анна Григорьевна, но и Федор Михайлович часто посещали Uffizi и Palazzo Pitti. Любимые его картины были: «Madonna della sedia» и «Иоанн Креститель» Рафаэля. Посещались также, разумеется всегда вдвоем, различные церкви и монастыри. Федор Михайлович особенно восхищался колокольнею (campanile) собора Maria del Fiore, а также удивительными дверями Battisterio, porta Ghiberti. Восхищение его доходило до того, что он не раз мечтал, как хорошо бы иметь столько денег, чтобы купить фотографию этих дверей в натуральную величину.

Во Флоренции была читальня, где получались и русские газеты и журналы. Кроме того, Федор Михайлович перечитывал здесь писателей сороковых и пятидесятых годов, особенно Бальзака и Жоржа Занда. Знакомых и во Флоренции никого не было, так что в течение десяти месяцев житья в Италии Достоевским не пришлось ни разу говорить с кем-нибудь по-русски. Федор Михайлович всегда, впрочем, с чрезвычайной симпатией относился к итальянцам, находил их простыми и добродушными, а людей из простого народа похожими на русских мужиков и баб.

Иногда Достоевские ходили и в театр, но очень редко, так как постоянно нуждались в деньгах.

В июле 1869 года они оставили Флоренцию и через Венецию, Триест, Вену и Прагу вернулись в Дрезден.

Венеция произвела на Федора Михайловича чарующее впечатление; часто он говорил потом, как о любимой мечте, о желании поехать опять в Венецию, а потом на восток, в Константинополь и Иерусалим.

Сначала решено было поселиться в Праге; Федор Михайлович очень интересовался тогда славянами и хотел познакомиться с Ригром и Палацким. По несчастию, в Праге невозможно было найти меблированной квартиры, а покупать мебель было не на что. Пришлось поселиться в Дрездене. Здесь 14 сентября родилась вторая дочь и наполнила жизнь скитающихся супругов новыми заботами и радостями. Федор Михайлович был очень счастлив, что родилась девочка, как он этого постоянно желал после смерти первой дочери. Он был занят новым дитятею беспрестанно, и первый вопрос его по пробуждении был: «Что Лиля?» Он угадывал и исполнял все ее малейшие желания.

В конце 1869 года писалась повесть «Вечный муж», а весь 1870 год роман «Бесы», который «Русский вестник» стал печатать с начала 1871 года.

Знакомых и в Дрездене было очень мало; Федор Михайлович вообще не любил сближаться с русскими за границею. Газеты читались по-прежнему; Федор Михайлович, как и вся Россия, живо интересовался военными действиями во время франко-прусской войны и приходил в отчаяние от поражения французов, на стороне которых были все его симпатии.

Федор Михайлович во все время пребывания за границею получал «Русский вестник», а с 1869 года и «Зарю». Но кроме того он читал и другие русские книги. Некоторые были взяты им с собою, например, «Странствия инока Парфения», «Сочинения» Белинского, «История России»

Соловьева; другие он выписывал, например, «Войну и мир» Л. Н. Толстого. Но постоянным чтением его было Евангелие; он читал его по той самой книге, которую имел в каторге и с которою никогда не расставался.

В Дрездене пришлось пробыть почти два года и, по свидетельству Анны Григорьевны, которой мы обязаны многими из предыдущих подробностей, житье за границею стало особенно тяжело в эти годы для Федора Михайловича. Он все больше тяготился мыслью, что отстал от России, не знает ее. В своих письмах он часто выражает эту мысль и тоску по России. Но воротиться было трудно, потому что нужно было сразу иметь порядочные деньги; приходилось бы не только расплатиться на месте, не только обзаводиться в Петербурге, но и платить по векселям и долгам, оставшимся от «Эпохи». Долго Достоевские поджидали благоприятных обстоятельств; но собрать сколько-нибудь денег им не удавалось. Несмотря на чрезвычайно скромную жизнь, все получавшиеся деньги уходили; значительная часть их шла на поддержку вдовы покойного брата, а также пасынка, кроме того на уплату процентов за заложенные при отъезде вещи (которые в конце концов все-таки пропали). Не видя выхода из этих затруднительных обстоятельств и в то же время чувствуя, что им стало совершенно невыносимо долее оставаться за границею, Достоевские решились наконец принять все тяжелые последствия своего приезда и вернулись в Петербург 8-го июля 1871 года. Здесь 16-го июля у них родился первый их сын, Федор.

XVIII

ЖИЗНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Последнее десятилетие своей жизни Федор Михайлович провел в Петербурге, делая конечно некоторые поездки, особенно летом. Характер этого периода — более и более порядка и определенности всех внешних обстоятельств, отсутствие всяких передряг и переворотов, лучшее и лучшее денежное положение, а вместе с тем все шире и шире развертывающаяся деятельность и все быстрее и быстрее возрастающая популярность.

Особенные эпизоды этого периода составляют редактирование «Гражданина» в 1873 году и издание «Дневника писателя» в 1876 и 1877 годах.

Редакция «Гражданина» была предложена Федору Михайловичу князем Вл. П. Мещерским, который, познакомившись с Федором Михайловичем, почувствовал к нему чрезвычайное расположение, охотно и искренно поддавался его влиянию. За редактирование Федор Михайлович получал 250 р. в месяц, сверх платы за статьи. Читатели, которые вздумают перечесть «Гражданин» за этот год, тотчас увидят, как много старания и труда положено было на журнал его редактором. Заботливость была величайшая. С своей стороны, несмотря на несколько охладившиеся отношения, я считал долгом усердно писать тогда в «Гражданине», в котором, впрочем, был сотрудником с самого его начала; только в первых месяцах 1873 года мне не пришлось участвовать в журнале, потому что меня не было в Петербурге. Около Святой, мне помнится, произошла в кружке «Гражданина» большая тревога; говорили, что издание невозможно продолжать, и Федор Михайлович был некоторое время в большом беспокойстве [99]. Но все кончилось благополучно, и журнал до конца года издавался под тою же редакциею и с тою же заботливостию. Не могу ничего сказать о том, какой успех имел «Гражданин» в этом году и по каким поводам и соображениям Федор Михайлович отказался потом от его редакции [100].

«Дневник писателя», который стал выходить с 1876 года, имел величайший успех и был истинно счастливой мыслью, вполне соответствовал потребностям и приемам писания Федора Михайловича. Это был собственно ряд фельетонов, касавшихся всевозможных предметов, но преимущественно посвященных общественным вопросам и литературе. Достоевский получал таким образом возможность высказывать в совершенно вольной форме те мысли, которые постоянно в нем кипели и были возбуждаемы его всегдашним пристальным вниманием к совершающейся вокруг него жизни. Тон этих фельетонов был необыкновенно живой и горячий, но под их волнением слышалась полная твердость убеждений и взглядов. Федор Михайлович говорил здесь с авторитетом, и его речи иногда достигали удивительного мастерства, соединяя серьезность с шутливостью, важность мысли с простотою и легкостию болтовни. Нигде, мне кажется, душевная бодрость и энергия Достоевского не выражается так ясно, как в «Дневнике».

При этих общих достоинствах, читатели были еще поражаемы и увлекаемы особым направлением издания. Это направление резко противоречило ходячим вкусам

и мнениям петербургской публики, было очевидным протестом против господствующих умственных течений. Можно себе представить, как такое издание должно было обрадовать всех тех, кто негодовал на господствующее направление и нигде не находил в литературе выражения своего протеста и своих любимых мыслей. Таких людей много у нас, и они принадлежат к тем, которые очень редко расположены сами пускаться в литературу.

Успех «Дневника» был чрезвычайный. Приведем цифры, которые всего яснее укажут этот успех:

«Дневник писателя» на 1876 год имел 1982 подписчика, и кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2000—2500 экземплярах. Некоторые номера потребовали 2-го и даже 3-го издания, например, январский.

В 1877 году было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже.

Один номер, выпущенный в 1880 году (август) и содержавший в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз. и разошлось без остатка.

«Дневник» на 1881 год печатался в 8000 экземплярах и имел в январе, прежде выхода первого номера, 1074 подписчика. Все 8000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6000 экземплярах и разошлось без остатка.

За три года, когда был веден «Дневник», за 1873 год (в «Гражданине») и за 1876 и 1877 годы (в особом издании), Достоевский, можно сказать, сам написал свою биографию, указал и объяснил то, чем он был занят, что думал и чувствовал в каждый из двенадцати месяцев этих трех годов. Тут выразилось главное содержание его жизни. Что же касается до внешних обстоятельств и до событий чисто личной жизни, то мы постараемся дать здесь канву или рамку, которая, вероятно, еще долго может наполняться воспоминаниями знавших его людей или вновь найденными письмами, записками и другими подобными материалами.

Все зимы, кроме одной (1874—75 гг.), были проведены в Петербурге. Первую зиму (1871—72 гг.) Федор Михайлович квартировал в Серпуховской улице Семеновского полка, в доме госпожи Архангельской. В 1872 году переехал во 2-ю роту Измайловского полка, в дом Мебе-

са. Зиму 1873—74 гг. жил на Лиговке, № 27, в доме Сливчанского (том самом, где делается это издание его сочинений). Три года, с сентября 1875 по май 1878 года, жил в доме Струбинского, против Греческой церкви, и три последние года, 1878—1881, в Кузнечном переулке, дом № 5, там, где умер.

Первое лето по возвращении из-за границы, лето 1872 года, Достоевские проводили в Старой Руссе, и с тех пор не только стали проводить там каждое лето, но в 1874—75 годах прожили там и всю зиму. Это была та зима, в которую Федор Михайлович писал «Подростка». Когда дела поправились, Достоевские нашли удобным даже купить себе в Старой Руссе дом, куда регулярно и переезжали вместо дачи. Исключение составляет лето 1877 года, проведенное в Курской губернии, в имении Ивана Григорьевича Сниткина, брата Анны Григорьевны (Суджанского уезда, деревня Малый Прикол). Дом в Старой Руссе был куплен в 1876 году, весной. При нем есть старый большой сад и заплачено за все 1150 рублей.

Оставляя в стороне переезды с квартиры на квартиру, — дело общераспространенное в Петербурге, мы видим, таким образом, что жизнь Федора Михайловича принимала под конец полную правильность и определенность, из скитальческой превратилась в совершенно оседлую.

Был еще у Федора Михайловича ряд отлучек из дома, регулярно повторявшихся. Это — его поездки в Эмс для лечения, ради которого он должен был покидать семью и навещать немилую ему Европу. Таких поездок было пять, в 1874, 1875, 1876, 1878 и 1879 годах. Вместе с проездом на это требовалось не менее семи недель и не более двух месяцев. Обыкновенно Федор Михайлович уезжал в начале июля и возвращался к концу августа. Сверх того, в 1879 году, в июне месяце была сделана вместе с Вл. С. Соловьевым поездка в Оптину Пустынь, где они оставались почти неделю[101]. Отражение этой поездки читатели найдут в описании монастыря в «Братьях Карамазовых».

XIX

ИЗДАНИЯ. ДОХОДЫ

Весь этот порядок, правильный уход за своим здоровьем и свобода в выборе места и времени стали возможны только потому, что поправились дела. А по-

правились они всего больше потому, что Анна Григорьевна взяла на себя делать новые издания прежних сочинений Федора Михайловича[102]. Эти издания, делаемые на собственный счет и потому доставлявшие наибольшую выгоду самому автору, начались с 1873 года и шли в следующем порядке.

В 1873 году 24-го января вышли «Бесы» в 3500 экземплярах.

В 1874 году, 24-го января «Идиот» в 2000 экземплярах, а 21-го декабря 1875 года «Записки из Мертвого дома» в 2000 экземплярах.

В 1876 году 18-го декабря «Преступление и наказание» в 2000 экземплярах.

В 1879 году 10-го ноября «Униженные и оскорбленные» в 2400 экземплярах.

В конце 1880 года «Братья Карамазовы» в 4000 экземплярах.

Федор Михайлович необыкновенно радовался поправлению своих денежных дел. Он истинно гордился не только успехом своих сочинений, но и тем, что они дают ему хороший доход, позволили ему расплатиться с долгами и принесли ему достаток. Вспоминая о тех трудах, в которых он прожил свою жизнь, он иногда горько жаловался на свою судьбу и особенно мучился мыслью, что, если скоро умрет (а плохое здоровье часто наводило на эти мысли), то оставит семью в бедности. Поэтому всякий успех в денежных делах был ему истинною отрадою, давал ему надежду на лучшую судьбу дорогих ему существ, утешал и оправдывал его в собственных его глазах. В одной из его записных книг сохранился листок, на котором он тщательно подводил итог *чистого дохода,* выручавшегося со всех его изданий. Во эта записка:[103]

«В 1877 году

«Преступление и наказание» продано на	487 р.	12 к.
Переплетенных экземпляров «Дневника» 1876 г. . . .	497 «	80«
«Бесы», «Идиот», «Записки из Мертвого дома»	561 «	63«
От 1876 года . . . .+	(295) «	40«
Итого	1841 р.	95 к.

В 1878 году

«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» . . .	1199 « 50«
«Преступление и наказание»	548 « 98«
Переплетенных экземпляров 1877 года	346 « 50«
Переплетенных экземпляров 1876 года	281 « 68«
Итого	2376 р. 66 к.

В 1879 году

«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» . . .	1271 « 99«
«Преступление и наказание»	797 « 16«
Переплетенных «Дневника» 1877 года	121 « 2«
Переплетенных «Дневника» 1876 года	98 « 61«
+ «Униженные и оскорбленные»	227 « 24«
Итого	2516 р. 2 к.

В 1880 году

«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» . . .	1287 « 20«
«Преступление и наказание»	933 « 99«
«Дневник» 1877 года	219 « 14«
«Дневник» 1876 года	247 « 6«
Итого	2687 р. 39 к.
+ «Униженные и оскорбленные»	548 « 51«
+ «Дневник» 1880 года	893 « 87«
Итого	4129 р. 77 к.
«Братья Карамазовы»	3681 « 50«
	7811 р. 27 к.»

Прибавим к этому для полного понятия о делах Федора Михайловича те суммы, какие получались за новые романы, печатавшиеся в журналах. За «Подростка», печатавшегося в «Отечественных записках», получалось по 250 р. с печатного листа; за «Братьев Карамазовых» по 300 р.

В 1878 году Федор Михайлович в последний раз обращался с просьбой о деньгах к редакции «Русского

вестника», так долго и радушно поддерживавшей своего сотрудника и большими и малыми ссудами. После 1878 года уже никаких займов не делалось и началось собирание небольшого капитала.

XX

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК (1880)

Как свидетель торжества, которое выпало на долю Федора Михайловича на Пушкинском празднике, той «пальмы первенства», которую он получил на этом мирном состязании, постараюсь рассказать это событие со всеми подробностями, какие успел заметить. Я не принимал никакого деятельного участия в этом чествовании памяти Пушкина, был лишь простым зрителем, но оно глубоко меня интересовало; поэтому для меня была яснее, чем для многих других, та внутренняя драма, которая разыгралась на этом празднике и в которой главная роль оказалась принадлежащею Федору Михайловичу.

Приготовиться к празднику было довольно времени. Открытие памятника назначено было на 26 мая, день рождения Пушкина; но за несколько дней до этого числа скончалась государыня и торжество было отложено на две недели глубокого траура. Между тем многие участники уже собрались в Москве и ожидали тут, когда дано будет разрешение. В числе их был и Федор Михайлович, приехавший из Старой Руссы, где проводил лето со своею семьею[104]. Он явился на праздник в официальном звании депутата от Славянского благотворительного общества[105]. Другим депутатом был И. Ф. Золотарев. Я приехал накануне самого открытия и только потом узнал, что во время этого ожидания в Москве почитатели Федора Михайловича давали ему обед, но не имел никакого понятия о том, что там говорилось и делалось*.

---

* Вот подробности, извлеченные из писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне. Федор Михайлович приехал в Москву 23 мая в 10 часов вечера и дорогой узнал о смерти государыни. В вокзале ждали его: Юрьев, Лавров, Н. Аксаков, Барсов и человек 10 других сотрудников «Русской мысли». Звали на ужин, он отказался; остановился в «Лоскутной гостинице», где, как потом оказалось, назначено было бесплатное помещение для депутатов. 25-го мая Федора Михайловича пригласили обедать в «Эрмитаж». На обеде было 22 человека, именно С. А. Юрьев, В. М. Лавров, И. С. Аксаков, Н. Аксаков, Н. Г. Рубинштейн, директор гимназии Поливанов, несколько человек профессоров и т. д. Гостю было сказано шесть речей, некоторые довольно длинные.

Собираясь на праздник, откровенно признаюсь, я не ожидал ничего особенно хорошего. Мне живо представлялось, что должен произойти большой шум и восторг, то явление, которое Федор Михайлович так хорошо называл — «увизжаться от восторга». Но легко могло случиться, что из этого воодушевления ничего не выйдет. Мы чрезвычайно легко приходим в энтузиазм, и нельзя не любить всею душою этой благородной способности, в основе которой, может быть, у нас лежат очень высокие задатки. Но этот энтузиазм, иногда вспыхивающий таким чистым пламенем, обыкновенно гаснет без следа; в большинстве случаев это энтузиазм бесплодный, сам собою питающийся и удовлетворяющийся, не порождающий ни твердых и определенных убеждений, ни усердной и определенной деятельности. Я предполагал, что, может быть, мне предстоит и теперь видеть подобное зрелище. Но на этот раз, к счастью, я обманулся; речь Федора Михайловича дала празднику некоторое существенное содержание и осталась после него как твердое и блестящее украшение, не улетевшее вместе с дымом и пламенем этого фейерверка.

6-го июня все мы с 10 часов утра собрались в Страстной монастырь слушать обедню и панихиду. Церковь наполнилась литераторами и вообще отборною интеллигенциею, которая сдержанно разговаривала под звуки сладкого пения. Служил митрополит Макарий; в конце службы он говорил проповедь на ту простую тему, что нужно благодарить Бога, пославшего нам Пушкина, и нужно молиться Богу, чтобы он даровал нам для всяких других поприщ подобных сильных деятелей. Проповедь показалась мне несколько холодною, и не было заметно, чтобы она произвела особенное впечатление. Первая минута восторга наступила, как мне кажется, когда мы вышли на площадь, когда был сдернут холст со статуи и мы, при звуках музыки, пошли класть свои венки

Говорили — С. А. Юрьев, оба Аксаковы, три профессора, Н. Рубинштейн. Тема была — великое значение гостя как художника «всемирно отзывчивого», как публициста и русского человека. Федор Михайлович отвечал речью, которая была восторженно принята и в которой он свел дело на Пушкина. За обедом получены были две приветственные телеграммы, одна от профессора, выехавшего внезапно из Москвы.

26-го мая Федор Михайлович был на званом вечере и ужине у В. М. Лаврова, который оказался страстным поклонником Федора Михайловича, многие годы питающимся его сочинениями. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

к подножию памятника. Церемония у памятника имела совершенно светский характер и состояла из этого положения венков и из чтения бумаги, которою комиссия, сооружавшая памятник, передавала его в собственность городу Москве. Бумагу читал с высокой эстрады Ф. П. Корнилов. Почему-то нельзя было совершить окропления памятника святою водою, как это принято при всяких сооружениях.

Начиная с этой короткой церемонии, всеми овладело радостное, праздничное настроение, не прерывавшееся целых три дня и не нарушенное никаким печальным или досадным случаем. Того, что называется скандалом, легко можно было ожидать; во-первых, легко могла обнаружиться вражда, которой всегда немало бывает между литераторами; во-вторых, кто-нибудь мог соблазниться случаем и сказать резкое словцо против дел и лиц, стоящих вне литературы. Литературные несогласия, правда, успели-таки сказаться и на этом празднике. В самой Москве обнаружилось у некоторых лиц враждебное настроение к «Московским ведомостям» и заявило себя настолько, что редакция этой газеты положила не присутствовать на празднике. Участие ее поэтому ограничилось только речью М. Н. Каткова на обеде, данном *думою*, — речью, после которой, как рассказывают, один из присутствовавших тоже сделал молчаливую попытку заявить свою вражду к говорившему. Следствием таких отношений было, что, в то время как петербургские газеты печатали множество телеграмм и писем обо всем, что происходило на празднике, «Московские ведомости» не только не описывали его и не рассуждали об нем, но даже вовсе не помещали никаких об нем известий[106].

Кроме этого прискорбного факта, некоторые другие разногласия заявили себя разве тем, что на общее торжество литературы не явились иные писатели;[107] затем все остальное прошло совершенно благополучно. Могу свидетельствовать, что в продолжение трех дней, когда я слушал с утра до вечера, не было сказано ни одного слова, действительно враждебного; напротив, были примеры дружелюбных отношений, завязавшихся между враждовавшими. Вот одно из чудес, которые совершило воспоминание о Пушкине. Общее впечатление праздника было чрезвычайно увлекающее и радостное. Многие говорили мне, что были минуты, когда они едва удерживали или даже не успевали удержать слезы. Эта ра-

дость все росла и росла, не возмущаемая ни единым печальным или досадным обстоятельством, и только на третий день достигла наибольшего напряжения, совершенного восторга.

«Ну, что-то будет сказано об Пушкине?» — думал я, когда ехал на праздник; и праздник сам собою все больше и больше направлялся на этот вопрос, все сильнее устремлялся к единой мысли — воздать нашему великому поэту самую высокую и самую справедливую похвалу. Это была цель мирного состязания, и соперники, наконец, действительно всё забыли, кроме этой цели. Участниками были люди самых различных направлений и кружков; тут были не только ученые и писатели, но и депутаты от всякого рода наших государственных и частных учреждений; прислан был депутат от французского министерства просвещения; тут читались телеграммы и письма от иностранных учреждений и писателей; особенно важны были телеграммы и приветствия от чехов, поляков и от других славянских земель, приветствия, искренность и теплота которых была невольно замечена. Но все это была только обстановка; главная роль, существенное значение, очевидно, принадлежали нашим ученым и литераторам; им предстояла трудная и важная задача — растолковать дух и величие Пушкина.

Первый день состоял из торжественного заседания в университете и из обеда, который Московская дума давала депутатам. От памятника все отправились в университет. Здесь академики и профессора читали свои статьи; в этих статьях были интересные факты, точные подробности и верные замечания, но вопрос о Пушкине не был поднимаем во всем своем объеме. Самою оживленною минутою заседания, конечно, была та, когда ректор провозгласил, что Тургенев избран почетным членом университета[108]. Тут раздались потрясающие, восторженные рукоплескания, в которых всего больше усердствовали студенты. Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накопляющийся энтузиазм. Каждый раз, когда и потом в течение праздника произносилось это знаменитое имя или упоминалось об его произведениях, толпа откликалась рукоплесканиями. Тургенева вообще чествовали, как бы признавая его главным представителем нашей литературы, даже как бы прямым и достойным наследником Пушкина. И так как Тургенев был на празднике самым видным

представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль и победа в предстоявшем умственном турнире. Известно было, что Тургенев приготовил речь и, как рассказывали, нарочно ездил в свое поместье, чтобы на свободе обдумать и написать ее[109].

За университетским заседанием следовал думский обед в залах Дворянского собрания, тех залах, которые с этой минуты и до конца были местом праздника, так как в них происходили и публичные заседания Общества любителей русской словесности (утром 7 и 8 июня), и литературно-драматические вечера. Никакого уличного торжества нельзя было устроить вследствие траура по императрице, и потому среди будничной Москвы празднование шло только в этих залах, где три дня с утра до вечера толпился народ и раздавались взрывы рукоплесканий. Думский обед был по всему истинно великолепен; а особенно приятно вспомнить, что сам Н. Г. Рубинштейн дирижировал оркестром, так что увертюра из «Руслана» была исполнена вполне художественно (дело редкое). За обедом были произнесены небольшие речи преосвященным Амвросием, М. Н. Катковым, И. С. Аксаковым и читал свои стихи А. Н. Майков. Все было к месту и содержало прекрасные мысли, но еще не захватывало всего предмета, то есть значения Пушкина. Больше всего мое внимание было поражено речью Аксакова. Как представитель славянофильства он сделал, как мне казалось, важный шаг, признав, в коротких, но ясных и торжественных словах, за Пушкиным значение «первого истинно русского, истинно великого народного поэта». Мне припомнились знаки некоторой холодности, обнаруженной к Пушкину прежними славянофилами; известно, что они истинно народного поэта готовы были видеть лишь в Гоголе, с такою резкостью показавшем полную оригинальность в творчестве. Теперь же, как то и указывал сам Аксаков, этим торжеством, принявшим неожиданно огромные размеры, «всевластно объявилось действительное, доселе, может быть, многим сокрытое значение Пушкина для русской земли». Эти мысли очень занимали меня, и я чувствовал большое любопытство к речи, которую Аксаков должен был говорить на другой день. Не могу однако же сказать, чтобы краткое заявление Аксакова многих поразило. После обеда толки шли больше об выходке против Каткова, о речи преосвященного Амвросия и т. д. Эту речь понемногу так переиначили, что,

наконец, кто-то рассказывал, будто преосвященный назвал Тургенева *первым нигилистом*[110].

Прошу читателя извинить мне эти подробности. Едва ли удастся мне, но очень хотелось бы изобразить то необыкновенное возбуждение, которое овладело всеми деятельными участниками торжества. Они волновались и напрягались, как борцы, которым предстоит победа или поражение. Рукоплескания публики, смотревшей на них с уважением и постоянно готовой к восторгу, поддерживали их оживление и силы. Мне встретились две дамы, приехавшие из Петербурга, большие поклонницы просвещения и литературы; они горько жаловались, что просто не узнают знакомых им литераторов: так они стали надменны и заняты лишь собою, своим участием в празднике.

Настоящее состязание и действительная литературная оценка Пушкина должна была начаться 7 июня, в первом публичном заседании нашего «Общества». В этот день, среди других речей, должен был читать свою речь Тургенев, а потом Аксаков, то есть оба представителя противоположных направлений. Но так как заседание затянулось за множеством речей, стихов, вызовов и т. д., то успел читать один Тургенев. Его речь, разумеется, была встречена и провожена громкими, восторженными рукоплесканиями. Но между литераторами поднялись оживленные толки о мыслях, высказанных в этой речи, и обнаружилось даже прямое желание как-нибудь возразить на нее и дополнить ее. Иначе и не могло быть в «Обществе», заключавшем в себе так много славянофильствующих писателей. Главный пункт, на котором остановилось общее внимание, состоял в определении той *ступени,* на которую Тургенев ставил Пушкина. Он признавал его вполне народным, то есть самостоятельным поэтом. Но он ставил еще другой вопрос: есть ли Пушкин поэт *национальный*? Национальным, по мнению оратора, может быть назван только поэт великий и всемирный; потому что, если поэт вполне выражает дух своей нации, то он тем самым есть великий поэт, а потому вместе и всемирный поэт, вносящий свой вклад в сокровищницу человечества. Так поставил оратор вопрос, но поставил только затем, чтобы отказаться отвечать на него. «Я не утверждаю, — сказал он, — такого значения Пушкина, но и не осмеливаюсь отрицать его»[111]. Эти слова возбудили большие толки; некоторые из сочленов собирались даже обратиться к Тургеневу с вопросом о причинах его

нерешительности; потому что в своей речи он ничего не сказал ни о том, почему не решается утверждать, ни о том, почему не осмеливается отрицать национальное значение Пушкина. Много говорили также о тех рассуждениях Тургенева, в которых он старался показать историческую необходимость порицаний и глумлений над Пушкиным, долго происходивших в нашей литературе и едва недавно затихших. Оратор упоминал также, что *муза мести и печали* имела свои права на внимание и, естественно, отвлекла умы от великого поэта[112].

Все это и другое подобное было иным не совсем по душе. В группе деятельных участников торжества пронеслось чувство некоторой неудовлетворенности, неясной досады. Одни критически разбирали слова Тургенева; другие, которым самим приходилось читать на следующий день, надеялись выразить мысли, ниспровергающие тургеневские взгляды; кто-то успел написать даже насмешливые стихи — конечно, не для публичного чтения. Но то, что случилось на другой день, превзошло все ожидания и расчеты. По порядку следовало бы читать сперва Аксакову и потом Достоевскому; но, не знаю по какой причине, решено было, что Достоевский будет читать в первую половину заседания, а Аксаков во вторую (эти половины разделялись маленьким антрактом); эта перемена порядка оказалась важнее, чем сперва думали сами ораторы. Как только начал говорить Федор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличается слог Федора Михайловича, вполне передавались и его мастерским чтением. Не говорю ничего о содержании речи, но, разумеется, оно давало главную силу этому чтению. До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голос: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!»

Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно зарядившаяся энтузиазмом и изливавшая его на все, что казалось для того удобным, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стих, эта толпа вдруг увидела человека, который сам был весь полон энтузиазма, вдруг

услышала слово, уже несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Федора Михайловича; несколько человек, вопреки правилам, стали пробираться из залы на эстраду; какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Федора Михайловича, упал в обморок[113].

Восторг толпы заразителен. И на эстраде и в «комнате для артистов», куда мы ушли с эстрады в перерыв заседания, все были в радостном волнении и предавались похвалам и восклицаниям. «Вы сказали речь, — обратился Аксаков к Достоевскому, — после которой И. С. Тургенев, представитель западников, и я, которого считают представителем славянофилов, одинаково должны выразить вам величайшее сочувствие и благодарность». Не помню других подобных заявлений; но живо осталось в моей памяти, как П. В. Анненков, подошедши ко мне, с одушевлением сказал: «Вот что значит гениальная художественная характеристика! Она разом порешила дело!»

Кстати, замечу здесь один маленький случай, очень характерный. В первой половине своей речи, говоря о пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал: «Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева...» При имени Тургенева зала, как всегда, загрохотала от рукоплесканий и заглушила голос Федора Михайловича. Мы слышали, как он продолжал: «...и Наташи в «Войне и мире» Толстого»[114]. Но никто в зале не мог этого слышать, и он должен был остановиться, чтоб переждать, пока утихнет вновь и вновь подымавшийся шум. Когда он стал продолжать речь, он не повторил этих заглушенных слов и потом выпустил их в печати, так как они действительно не были произнесены во всеуслышание. Такова была горячка этого заседания и так горячо шла внутренняя борьба в публике и в представителях литературы.

Приходилось затем еще говорить перед публикой И. С. Аксакову. Его речью должна была открыться вторая половина заседания. Он вышел и, как давнишний любимец Москвы, был встречен жаркими и долгими рукоплесканиями. Но вместо того чтобы начать речь, он вдруг объявил с кафедры, что не будет говорить. «Я не могу говорить, — сказал он, — после речи Федора

Михайловича Достоевского; все, что я написал, есть только слабая вариация на некоторые темы этой *гениальной* речи». Слова эти вызвали гром рукоплесканий. «Я считаю, — продолжал Аксаков, — речь Федора Михайловича Достоевского *событием* в нашей литературе. Вчера еще можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет; сегодня этот вопрос упразднен; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать!»[115] И Аксаков сошел с кафедры. Восторг опять овладел залою, восторг, относившийся и к благородной горячности Аксакова, и еще более к той речи, которою была она вызвана и которую публика слышала час тому назад. Аксаков высказал приговор, составившийся в массе читавших и слушавших, объявил, что словесный турнир кончился и что первый венок принадлежит Достоевскому, что его состязатели явно превзойдены.

Когда шум затих, Аксакова стали, однако, просить и понуждать прочесть свою речь. Он уступил и прочел б*о*льшую часть того, что написал. Прекрасное чтение часто вызывало рукоплескания. Например, когда, прочитав стихи:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья.
Для звуков сладких и молитв . . . —

Аксаков воскликнул: «какой же пользы еще нужно? Да ведь такие стихи — *благодеяние*!»

Речь его, по содержанию, конечно, не повторяла речи Достоевского, но вполне согласовалась с нею, содержала даже канву некоторых ее мыслей.

В конце заседания на эстраде вдруг появилась группа дам; они принесли огромный венок Достоевскому. Его упросили взойти на кафедру, сзади его, как рамку для головы, держали венок, и долго не смолкали рукоплескания всей залы.

Таким образом, Достоевский был чествуем как герой этого дня. Все чувствовали себя довольнее, все, очевидно, были благодарны ему за то, что он разрешил, наконец, томительные ожидания, дал всему празднику содержание и цвет. Поэтому публика уже не упускала его из виду и осыпала его наиболее громкими знаками одобрения. День этот, последний день торжества, кончился литературно-музыкальным вечером, на котором и Достоевский читал некоторые стихотворения Пушкина. Всего значитель-

нее было чтение стихотворения «Пророк». Достоевский дважды читал его, и каждый раз с такой напряженной восторженностию, что жутко было слушать. Зная его, я не мог без невольной жалости и умиления видеть его истощенное маленькое тело, охваченное этим напряжением. Правая рука, судорожно вытянутая вниз, очевидно удерживалась от напрашивающегося жеста; голос был усиливаем до крика. Чтение выходило слишком резким, хотя произношение стихов было прекрасное. В этом отношении я вполне разделял вкус Федора Михайловича, любившего напирать на музыкальность, на ритм стихов, — разумеется, без нарушения естественности. При конце жизни он достиг в таком чтении удивительного мастерства и любил читать и перед публикою и в частных кружках.

Этот второй и последний вечер заключился, как и первый, увенчанием бюста Пушкина на сцене, на которую выходили для этого все исполнители. В первый вечер венок был возложен Тургеневым, в последний — Достоевским, которого при всех пригласил к тому сам же Тургенев.

Так кончилось это торжество. Замолкли последние восторженные рукоплескания, и мы разошлись, утомленные и довольные. Впечатление было для меня не только сильное, но и совершенно ясное. Мне живо вспомнилось все литературное движение, в котором когда-то я так близко участвовал. Прежде всего вспомнилось то постоянное поклонение Пушкину, которое исповедовал Достоевский. Он еще в «Бедных людях» указал на Пушкина как на образец и руководство (в суждениях о «Станционном смотрителе»)[117] и потом всю жизнь питал и заявлял безграничный восторг к главному герою нашей литературы. Победа, думал я, досталась Федору Михайловичу по всей справедливости, потому что во всей этой толпе он, конечно, больше всех любил Пушкина.

Потом мне вспомнился весь наш литературный кружок, «Русское слово» (1859), «Время», «Эпоха», «Заря», «Гражданин»... Это были полосы и кучки людей, всегда придававших литературному художеству высокое значение и потому видевших в Пушкине свое главное светило. Никто лучше Аполлона Григорьева не писал о Пушкине, и никакие другие кружки не были больше преданы литературе. К этим кружкам примыкал Федор Михайлович, в иных из них был руководителем и когда-то дал этому направлению особое название *почвенников...* Вот какое

направление, думалось мне, одержало верх на Пушкинском празднике. Если тут Федор Михайлович победил западников и превзошел славянофилов, то, конечно, только в силу того широкого взгляда, который избегает некоторых крайностей тех и других, который, хотя отвергает безусловное преклонение перед Западом, но не столько чуждается его духовной жизни, как исключительное славянофильство, и видит и в современной нашей умственной жизни больше здорового содержания, чем успевали находить славянофилы. Итак, то, что случилось, было естественно и неизбежно. На Пушкинском торжестве должна была одержать верх та партия, которая во все продолжение последних тридцати лет питала и исповедовала поклонение Пушкину, и Достоевский, самый важный и деятельный представитель этой партии, должен был получить венок первенства как то, что ему принадлежало по всем правам и заслугам.

И, наконец, живо представилось мне, как в этом случае выступили и засияли перед всеми личные свойства ума и сердца Федора Михайловича, его широкая способность всему симпатизировать, его уменье примирять в себе, по-видимому, несогласимые настроения, его стремление ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться верным в любви к тому, что раз он полюбил.

Он представляет нам великий пример в двух отношениях: он образец истинного консерватора и образец того, как следует нам держать себя в отношении к тому, с чем мы враждуем, что считаем ложным и гибельным. По направлению, по духу он самый широкий из современных писателей, и потому естественна его любовь к самому широкому из наших гениев, к Пушкину.

Консерватизм, патриотизм часто понимаются, как нечто узкое, тупое, глупое. Так оно, конечно, нередко и бывает, потому что это душевное настроение свойственно огромным массам людей, а умы людские вообще слабы и ограниченны. Но это не относится к существу дела, точно так, как, например, глупые ученые или глупые книги, встречающиеся так часто, не составляют возражения против учености и книг вообще. По сущности же, что может быть естественнее и правильнее, чем любовь к тому, что нас окружает, и желание сохранить то, что мы любим? Мы и любить учимся на людях близких к нам, и понимать на том умственном содержании, которое сообщается нам сначала. Сердце чуткое, ум чуткий посте-

пенно открывает и усвояет положительную сторону окружающей жизни, то добро, тот свет ума, ту красоту, которые составляют главный нерв всякого человеческого существования, без которых это существование невозможно. А раз что-нибудь полюбивши, раз что-нибудь понявши, глубокая натура уже не забывает этого потом, уже не может этого выкинуть из себя, как ненужный сор. Таким образом процесс самый простой и обыкновенный может достигать в одаренных людях самого высокого значения. Люди, мало способные к консерватизму, легко и без следа отвергающие те чувства и мысли, которые некогда в них жили, очевидно, свидетельствуют этим о малой своей чуткости, о слабости своей сердечной памяти. Они обыкновенно увлекаются своею энергиею, и в ней заключается их оправдание; но зло непонимания, презрения, насилия неизбежно примешивается к их деятельности и часто искажает дела, совершаемые во имя благороднейших целей.

Достоевский был консерватором по натуре. В нем сильно, но быстро совершился тот процесс, которым почти неизменно характеризуется развитие всех значительных русских писателей: сперва они увлекаются отвлеченными мыслями, идеалами, заимствованными с Запада, потом возникает внутренняя борьба и разочарование и, наконец, пробуждаются — лишь на время подавленные чувства, любовь к родной святыне, к тому, чем жива и крепка русская земля. У каждого бывает минута возрождения, когда он говорит вместе с Пушкиным:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней [118].

Но, отказавшись от искания на Западе высших руководительных начал, Достоевский сохранил любовь и уважение к духовной жизни Европы. Да и у нас, среди разлива того крайнего западничества, которое называется нигилизмом, он умел видеть корень и этих извращенных стремлений, умел понимать и жалеть и эти заблудшие души. Этот взгляд, находящий возможность выхода и примирения, эта тонкая и широкая симпатия, обнимающая оба полюса нашей умственной жизни и ищущая соединения их в некотором высшем начале и деле, — есть прекрасная и характерная черта Достоевского. Его вражда, такая горячая и волнующаяся, никогда

не была безусловным отвержением. *Покаявшийся нигилист,* вот тема, которую он любил, на которую написано «Преступление и наказание» и которая отзывается во всех последующих его произведениях. Понятно, почему он имел такую привлекательность для молодых людей, почему на многих из них он успевал производить самое благотворное действие. Та же самая черта примиряющей симпатии обнаружилась и на Пушкинском празднике. Он нашел формулу, которая объединяла стремления западников и славянофилов, направляя их к общей высшей цели; естественно, что восторг овладел в эту минуту давнишними противниками, и они искренно подали друг другу руки.

XXI

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. — ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ. — ГЕРОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

После торжества на Пушкинском празднике, конечно, бывшего одною из лучших минут жизни Федора Михайловича, самым блестящим из тех литературных успехов, которыми он так дорожил, ему уже немного оставалось жить на свете. Между тем он находился в полном развитии сил и в самом разгаре своей деятельности. Во вторую половину 1880 года он кончил «Братьев Карамазовых» и составил «Дневник писателя, единственный выпуск за 1880 год. Август». В этом выпуске он поместил свою речь о Пушкине, обставил ее разными пояснениями и отвечал на поднявшиеся против нее возражения. В то время, когда в «Русском вестнике» еще не было кончено печатание «Карамазовых», было уже объявлено, что на следующий 1881 год будет выходить «Дневник». Январский номер уже печатался и был почти готов к выходу, когда, ни для кого не ожиданно, явилась смерть и прекратила эту кипучую деятельность.

Эта смерть, наступившая так быстро, имела характер довольно ясный для тех, кто знал Федора Михайловича в последнее его время. Он был необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся, он страдал от своей эмфиземы. Он жил, очевидно, одними нервами, и все остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог разрушить первый, даже небольшой толчок. Всего поразительнее была при этом неутомимость его умственной работы. Он был чрезвычайно занят. Он писал 25 или 30 печатных листов в год, а работа, как он сам мне

говорил, стала ему труднее. «Теперь мне нужно вдвое, втрое больше времени, чтобы написать столько же, как прежде». Жизнь, спокойная и правильная с внешней стороны, без переездов и помех, давала ему больше времени, но тем усерднее он отдавал это время своему призванию. Потом, в последние годы, особенно с начала «Дневника писателя», он был завален перепиской и замучен посетителями. К нему писали и шли люди совершенно незнакомые, со всех концов Петербурга и краев России. Приходили с просьбами о помощи, так как он усердно помогал бедным и принимал участие в чужих затруднениях и несчастиях; но также беспрерывно приходили с выражением своего поклонения, с вопросами, с жалобами на других и с возражениями против него. Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать, расспрашивать, отписываться, объяснять. Популярность его радовала; много он встретил заявлений, которые показывали, что слова его не пропали даром; много узнал людей, принесших ему отраду своими душевными качествами. Эти сношения он считал прямым долгом поддерживать и направлять в хорошую сторону. Особенно он был внимателен к молодым людям, к студентам, к курсисткам.

Затем — сыпались приглашения на заседания всяких обществ, на обеды по разным случаям, на литературные чтения с благотворительной целью. Нужно было сговариваться о времени, выбирать, что прочесть, готовиться и читать. Но нельзя было вовсе забросить и знакомых и хоть изредка да не побывать у них в заведенные среды или субботы. И все это помимо домашних, и семейных, и родственных дел и забот, тоже бравших время и силы. А когда же было думать и читать? То есть, когда было совершать дело, требующее очень много времени и не поддающееся никакому сокращению? Понятно, что он жил в постоянном напряжении, что внутри его кипела непрерывная работа, о которой не имеют понятия люди, не занимавшиеся писательством. Писателю нельзя, как профессору, из году в год повторять одно и то же; а писателю творческому приходится напрягать все силы своей души, отдаваться вдохновению до высшего полета, к какому оно способно. Вот почему писатель, погружающийся в свою работу, часто бывает совершенно другим человеком, чем в то время, когда не занимается писанием. Напряжение отзывается во всем, и в подъеме самолюбия, и в повышенной чуткости ко всем впечатлениям.

«Нельзя писать хорошие вещи, — говорил мне один первостепенный и знаменитый своею искренностию писатель, — не будучи убежденным в это время, что делаешь самое важное дело, какое есть на свете». Такова причина того глубокого обращения внутрь себя, той щекотливости и даже раздражительности, которые были заметны в Федоре Михайловиче, особенно в последние годы. В эти годы он почти уже не приходил в расположение духа, свойственное людям, спокойно и просто идущим по житейской дороге. Внутреннее напряжение почти не оставляло его. Это одно из тех бедствий, которыми сопровождается литературная карьера, бедствие иногда очень тяжелое и составляющее теневую сторону радостей творчества.

Мне хотелось объяснить здесь нормальную сторону той чрезвычайной впечатлительности, которую обнаруживал Федор Михайлович. Но ведь он сверх того был человек больной; припадки «священной болезни», так часто совмещающейся с высокими нервными организациями, отнимали у него память, приводили его в мрачное настроение и удвоивали его мнительность и щекотливость. Здесь было бы у места привести анекдоты о его забывчивости, неожиданных вспышках и резкостях, те анекдоты, из которых иные, конечно, сохранились в памяти множества людей, приходивших в соприкосновение с замечательным человеком. Не останавливаясь на этих случаях, замечу только, что соль подобных анекдотов состоит не только в противоречии между теми признаками раздражения, которые иногда обнаруживал Федор Михайлович, и тем большим и всеобщим уважением, которое его окружало в последнее время, но также в уме и меткости, которые пробивались и в этих, вовсе ненужных и странных выходках.

Я сам очень обижался на Федора Михайловича, тем более обижался, чем ближе мы когда-то были. Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня, как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень огорчало меня. «Он несправедлив, — думал я, — он мог бы знать мои чувства и верить в них». Я старался победить в себе раздражение, вероятно, чересчур самолюбивое, делал некоторые приступы к большему сближению и до последнего времени все мечтал, как о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше прежнее взаимное расположение. Охотно признаю себя

виновным, что не вполне сумел и успел в этом; с его стороны, я уверен, было такое же желание.

Дело в том, что вся эта внешность, вся сила этих наружных мелочей и слабостей почти вовсе не имели влияния на его поступки, на его образ чувств и действий, всегда сохранявший благородство и высоту. Он был строг к себе и даже щепетилен; его великодушие не могло помириться не только с темным или недобрым поступком, но и с темным или недобрым чувством. Он трудился и жил, постоянно воспитывая в себе наилучшие чувства и действуя не только безукоризненно и бескорыстно, а часто самоотверженно.

Но тяжесть его положения и той деятельности, которой он предавался всеми силами, была так велика, что он невольно сгибался под нею. Он умер в самый разгар своей деятельности, как будто эта тяжесть вдруг и неожиданно сломила его, когда он стоял на своем посту, когда боролся и напрягался, как того требовало его призвание. И нельзя отказать ему в нашем умилении и удивлении, если мы вспомним, сколько этот человек вынес труда и горя и сколько он сделал.

С низменной, пошлой точки зрения на Достоевского можно смотреть, как на заурядного литератора. Иные, пожалуй, скажут так: «Он шел самым обыкновенным путем, торною дорогою этого поприща. Еще в школе он почувствовал страсть писать, — очень обыкновенное явление в поре самолюбивой молодости. По выходе из школы он бросает профессию, к которой готовился, не продолжает своего образования, а весь отдается литературе. Он скоро увлекается противуправительственными мнениями и подвергается ссылке в каторгу. По возвращении он получает, в силу этого, особенный вес в либеральной публике и пользуется этим. Он пишет как можно больше и эффектнее, берется за различные литературные предприятия, обыкновенно неудачные, но усиленно и постоянно хлопочет об успехе. Он очень высокого мнения о себе, беспорядочен в делах, вечно в долгах и нуждается, и вечно погружен в литературные дрязги. Критики, газетные отзывы, соперники по ремеслу, полемика — вот чем он занят постоянно и усердно. Нападки на него его раздражают, как будто он только что начинающий фельетонист. Пишет он, вечно торопясь, не успевая ни вполне обдумать, ни вполне обделать свои произведения, потому что он живет одною только литературою. Так он достигает шестидесяти лет, написавши

очень много; понятно, что его вещи далеко не равного достоинства, и лишь некоторые действительно замечательны».

Так могут сказать иные. Но вспомним, что литература имеет две стороны и что мы ничего не поймем в ней, если станем смотреть не с того конца. Писание, конечно, есть дело пустое и даже презренное, когда оно делается из попугайства, по глупости, по самолюбию или из расчета. Но оно есть очень высокое дело, когда человек видит в нем свое действительное призвание. Федор Михайлович не только всегда был что называется завзятым литератором, но был, можно сказать, *урожденным* литератором. Может быть, еще мальчиком, но лет с пятнадцати наверное, он стал питать в себе и горячую веру в себя как писателя и горячую веру в литературу как великое и прекрасное поприще. И он до конца не изменил своей вере, и она оправдалась блистательным образом. Он был очень высокого мнения о своих дарах, но ведь он же имел на это и немалые права, да и без уверенности в себе нельзя было выступать на поприще проповедничества, к которому он чувствовал такое влечение. По правилу поэта:

> Стрела тогда летит далеко,
> Когда здорова тетива.

Он должен был сознавать свои силы. Но, хотя он и считал себя богато одаренным, хотя готов был в минуту вдохновения видеть в своих мыслях и чувствах нечто высшее, почти пророческое, он, при этом, с самого начала и до конца признавал своим поприщем только одну литературу, не литературу вообще, а именно нашу текущую литературу; он никогда не желал и не искал никаких других успехов, кроме успехов в нашей читающей публике и среди нашей пишущей братии. Он принимал литературу как она есть, со всеми ее условиями, никогда не становился от нее в стороне и не бросал на нее взглядов свысока. Это отсутствие малейшего *литературного аристократизма* есть в нем черта прекрасная и даже трогательная. Русская литература была как будто тоже *почвою,* на которой вырос Федор Михайлович, от которой он никогда не отрывался, к которой питал кровную любовь и преданность. Мне уже приходилось в начале указывать, что он был даже прямым питомцем петербургской литературы, разделял ее вкусы и употреблял ее приемы. Все литературные формы, от фельетонного дурачества до

высшего художественного творчества, имели в его глазах свою законность, свое место, и он готов был упражняться во всяких родах. Все чисто литературные способы действовать на публику, возбуждать ее внимание и иметь в ней успех он считал делом хорошим, так как это были условия его ремесла, и уже одно распространение чтения было в его глазах великою пользою. Журнал, который бы вечно блестел новизною, который бы и смешил, и развлекал, и серьезно наставлял читателя, был его постоянною мечтою. Он хорошо знал, что, выступая в публику и в литературную сферу, он выходит на базар, на площадь, и нимало не думал стыдиться ни своего ремесла, ни своих собратий по ремеслу. Напротив, он гордился этим делом, считал его великим, священным, — и вот где истинный смысл всего его поведения, всех его стараний и приемов.

Дело в том, что он нес на площадь свою мысль, свою душу. Он с самого начала выступил как *новый* писатель, глядящий на вещи с своей, с особенной стороны. Это тотчас поняли и признали Белинский и Некрасов, хотя и не вся глубина и ширина этой *новости* была им доступна. Сам Достоевский всю жизнь рвался выразить тот рой мыслей и чувств, которым полна была его голова, и все не успевал вполне высказаться, все оставался недоволен тем, что писал. Итак, не из подражания или расчета он писал, а, напротив, он был от начала твердо уверен, что другие должны ему подражать и что драгоценности, которые он предлагает читателям, несравненно выше всяких денег, всякой цены. Успех его был, однако же, медленный и очень трудный, отчасти потому, что талант его хотя и значительно обнаружился с первого же раза, но продолжал медленно зреть до полной силы, отчасти потому, что он не умел вести своих дел, а между тем брался за разные литературные предприятия, воображая, что может соперничать с иными из самых практичных своих собратий по профессии. Но наконец он все-таки достиг своего; после долгой и тяжкой борьбы он достиг огромной известности, достиг распространения в публике своих чувств и мыслей и, наконец, достатка, если не богатства, которого, конечно, стоил, хоть и не желал.

Если, таким образом, взять в целом эту жизнь и эту карьеру, то нельзя не быть пораженным. Ему досталась на долю тяжкая кара со стороны власти, которая не без причины подозрительно смотрит на иные кружки интеллигенции, но на этот раз была чересчур строга,

да и потом ошибалась по отношению к нему. Ему досталось на долю разоренье, то есть не только потеря всякого имущества, но еще большие долги и обязанность поддерживать большую семью покойного брата. Ему, наконец, досталось на долю все неустройство литературной жизни, десятки лет неверного, непостоянного заработка, забиранья денег вперед, выжиданья, выпрашиванья, нерасчетливых трат и сиденья без копейки. Все он перенес, все победил, не изменяя своей цели, не покидая своего поприща, не теряя ни бодрости, ни пламенного желания высказаться, оставаясь себе верным от «Бедных людей» и до «Братьев Карамазовых». Это не простой литератор, а настоящий герой литературного поприща. В его сочинениях много мыслей, приводящих в умиление; но и сам он, как человек, с таким трудом создавший свою судьбу, бодро вынесший столько тягостей и волнений, достоин умиления.

XXII

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ *

Дней за десять до той кратковременной болезни, которая свела Федора Михайловича в могилу, зашел к нему О. Ф. Миллер напомнить ему о данном им обещании участвовать в Пушкинском вечере 29-го января (в день смерти поэта)[119]. Незваный гость, как это и часто случалось с Федором Михайловичем, оказался для него хуже татарина. О. Ф. Миллер не сообразил, что Федор Михайлович как раз дописывал тогда январский номер возобновляемого им «Дневника писателя». Он выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный — отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах «Дневника», — в течение всего года. «Не пропустят этого, — говорил он, — и все пропало» (известно, что, не имея средств для внесения залога, он должен был издавать свой «Дневник» под предварительною цензурою). Строки, так его беспокоившие, надо думать, те, которыми открывается 5-й отдел 1-й главы «Дневника» (под заглавием: «Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сто-

* Глава эта составлена общими силами очевидцев. (*Примеч. Н. Н. Страхова.*)

ронке, единственно чтоб уму-разуму поучиться»): «На это есть одно магическое словцо, именно: «Оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду» [120].

Если в дальнейших номерах «Дневника» Федор Михайлович предполагал развивать эту мысль — подробно говорить о том, что называлось у Посошкова «народосоветием» и что, так сказать, прошло мимо ушей у нашей интеллигенции, то к самому Федору Михайловичу смело могут быть отнесены последние слова его речи о Пушкине: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» [121].

Как ни понятно было то возбужденное состояние, при котором Федор Михайлович не принял тогда для переговоров о литературном вечере Ореста Федоровича Миллера, из письма к последнему Анны Григорьевны, написанного день или два спустя, видно, что Федор Михайлович беспокоился, не обидел ли он неласковым приемом своего знакомого. «Вот и еще, пожалуй, человека потеряю», — говорил он Анне Григорьевне, поручая ей извиниться за себя в письме и сказать, что он непременно будет участвовать в Пушкинском вечере. В воскресенье, 25-го января, рассчитав, что «Дневник» уже должен быть дописан, О. Ф. Миллер отправился к Федору Михайловичу и застал у него А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова. Сдав работу, так его беспокоившую, и обнадеженный стоявшим тогда во главе управления по делам печати господином Абазой, что у цензуры рука не поднимется ни на одну его мысль, Федор Михайлович был в хорошем расположении духа [122]. Но когда речь зашла о чтении, он вдруг настоятельно заявил, что желает прочесть на вечере некоторые любимые им небольшие стихотворения Пушкина. О. Ф. Миллер заметил ему, что он заранее указал на отрывок из «Евгения Онегина», как уже и значится в афише вечера, и что выбор Федором Михайловичем другого предмета для чтения заставит опять хлопотать у попечителя учебного округа и у градоначальника. Федор Михайлович несколько раздражился и сказал, что кроме указываемых им теперь небольших стихотворений он ничего другого читать не будет. О. Ф. Миллер, в свою

очередь раздражившись, неосторожно попрекнул Федора Михайловича недостаточным вниманием к его, Миллера, нелегкому положению в качестве устроителя вечера. Тогда Федор Михайлович уже не раздражился, а огорчился. «И не грех в а м , — сказал о н , — говорить это; сколько раз я по вашей просьбе читал для студентов». Небольшая размолвка окончилась миролюбиво. О. Ф. Миллер дал слово выхлопотать разрешение на замену прежнего отрывка другими стихотворениями, только бы Федор Михайлович участвовал в вечере. Когда он уходил, хозяин, совершенно уже успокоенный, проводил до дверей О. Ф. Миллера, которому так и не пришлось уже более увидать живым Федора Михайловича. На другой же день узнал он о внезапной его болезни (разрыв легочной артерии) и поспешил к Анне Григорьевне в сильнейшем беспокойстве о том, не вчерашние ли объяснения повредили Федору Михайловичу. К успокоению своему, О. Ф. Миллер узнал, что, вслед за тем, Федор Михайлович был действительно сильно взволнован другим совсем посещением[123]. Вызвавшись съездить сейчас же за профессором Кошлаковым, О. Ф. Миллер отправился к нему снова в среду узнать его мнение о болезни Федора Михайловича. Профессор Кошлаков далеко не терял надежду на выздоровление больного, но когда несколько часов спустя О. Ф. Миллер отправился на квартиру к Федору Михайловичу, то к ужасу своему узнал, что его только что не стало. Сильный припадок обыкновенной его болезни сразу сокрушил давно надломленный организм.

Последние 9 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой вследствие катара дыхательных путей. Смертельный исход болезни произошел от разрыва легочной артерии и был случайностию, которой никто из докторов не предвидел. Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Федор Михайлович не обратил никакого внимания. 26 января он был, по-видимому, совершенно здоров, но хотел посоветоваться с докторами насчет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Якова Богдановича Фон-Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора после первого кровотечения, произошло второе, более сильное, причем больной потерял сознание. Когда он пришел в себя, то тотчас пожелал исповедаться и причаститься. До прихода священника он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше.

Кроме Фон-Бретцеля был приглашен еще доктор А. А. Пфейфер и потом, как уже сказано, профессор Кошлаков, который был трижды, 26, 27 и 28 января.

Весь день 27 января кровотечение не повторялось, и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы «Дневник писателя» вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты.

28 января до 12 часов псе шло благополучно, но затем опять полила кровь, и Федор Михайлович очень ослабел.

В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить.

Около двух часов ему было, по-видимому, лучше. Часу в пятом А. Н. Майков уехал домой обедать.

Во всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут и дал прочесть жене. Это было: Матф., гл. III, ст. 14: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: «Ты слышишь — «не удерживай», — значит я умру», — и закрыл книгу. Предчувствие вскоре оправдалось. За два часа до кончины Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде.

После обеда А. Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою, и при них, в 6½ часов вечера, случилось последнее кровотечение, за которым следовало беспамятство и агония. Анна Ивановна Майкова сейчас пустилась отыскивать еще доктора и привезла с собой Н. П. Черепнина, которого нашла у одного из его знакомых. Но когда они приехали, уже наступал конец, и Н. П. Черепнину довелось только услышать последние биения сердца Федора Михайловича.

Несколько ранее приехал Б. М. Маркевич, описавший потом печальную минуту смерти (см. «Русский вестник», 1881 г., февраль) [124].

Федор Михайлович скончался в 8 часов 38 минут вечера.

XXIII
ПОХОРОНЫ

Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило[125]. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон.

Всего яснее покажут дело цифры: в погребальной процессии, при выносе тела из квартиры (Кузнечный переулок, № 5) в церковь Св. Духа, в Невской лавре, было несено 67 венков и пели 15 хоров певчих. 67 венков — это значит 67 различных депутаций, 67 различных обществ и учреждений, пожелавших оказать почести умершему. 15 хоров певчих — значит 15 различных кружков и ведомств, имевших возможность для этого снарядить певчих. Каким образом составилась такая громадная манифестация — это составляет немалую загадку. Очевидно, она составилась вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время между неожиданным известием о ней и похоронами (три дня) было слишком коротко для каких-нибудь обширных приготовлений. Следовательно, почти каждая из 67 депутаций имеет свою особую историю, независимую от других. Свойство и смысл тех побуждений, по которым шли эти депутации, — вот что важно в высшей степени и о чем трудно говорить с определенностию, для чего требовалось бы больше сведений, чем мы имеем.

Известно, однако, что в разных местах города, в учебных заведениях, в церквах — служились по Достоевском панихиды по собственному желанию преподавателей и духовных лиц. Известно, что лица иных официальных ведомств едва успевали по краткости времени получить надлежащее разрешение для участия в церемонии, и были случаи, что даже обходились без разрешения. Накануне выноса Анне Григорьевне было известно о 8-ми депутациях, желавших нести венки, и она с радостию думала о таком великом почете, оказываемом покойному мужу. Между тем, к минуте похорон оказалось налицо 72 депутации. Главная масса провожавших состояла из разнообразнейших классов публики, и очень было заметно мно-

жество молодых людей, мужчин и женщин. Характер самой процессии был удивительно ясен. Она была несколько беспорядочна вследствие поспешности, с которою собралась, но без всякой тени волнения, без признаков того возбуждения, которое обнаруживается, когда толпа делает демонстрацию. Это была настоящая похоронная процессия. И такой же спокойный, чистый, грустный характер имели все обряды погребения и те речи, которые были сказаны в церкви и на могиле. Церковь Св. Духа была удивительно красива во время заупокойной обедни. Не только гроб, стоявший на высоком катафалке, был покрыт цветами и венками, но огромные венки подымались еще со всех сторон по сторонам и даже по стенам и давали всему храму особенный вид, необыкновенно прекрасный. Теснота была большая, но, несмотря на то, тишина была вполне благоговейная.

Так просто, спокойно и прилично делу совершились эти похороны, несмотря на то, что по своим размерам они были истинным событием, не меньшим, а даже несравненно большим, чем событие речи о Пушкине. Почести, которые отдавались покойному писателю, вдруг обнаружили, что он имел необычайно широкий круг искренних поклонников, и были изумительны для всех, и для его близких, и для литературной сферы, и даже для самих поклонников, неожиданно увидевших друг друга в таком множестве. В городе поднялись горячие толки и пересуды о значении и причинах этого события. Из людей подозрительных и равнодушных к литературе иные говорили, что публику привлекло больше всего желание почтить бывшего каторжника и таким образом выразить известного рода протест; но из людей, ближе знакомых с движением литературы и более преданных прогрессивным идеям, некоторые судили правильнее. Они огорчались этими знаками сочувствия писателю патриотическому и, по их мнению, ретроградному. Была, наконец, и третья странная категория судей, нашедшая выход из дилеммы в том, что Достоевский есть будто бы изобразитель всего мрака и ужаса русской жизни, что он уже не смеялся над нею, как Гоголь, а плакал.

Разумеется, в огромной толпе, провожавшей покойника, попадались люди, которые могли подать повод к каждому из этих толкований. Но главная масса, составлявшая ядро толпы и менее других расположенная ораторствовать, конечно, руководилась другими чувствами. Она очевидно хоронила в Достоевском наставника,

нравственного учителя, того, кто ей говорил: «Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!»[126] Проповедь любви и мира, с которою он выступил от начала и которая составила его особое направление среди литературы, не всегда отказывавшейся от распространения вражды и от возбуждения всякого рода страстей, — вот главная причина сочувствия к нему. Общество, утомленное пустым и ненавистным брожением, измученное господствующею смутою умов и сердец и жаждущее твердой нравственной опоры, видело в нем одного из руководителей, указывавшего на те пути, где можно и должно искать спасения. Действительно, поклонники чтили в нем человека пострадавшего, но не такого, который в силу этого питал бы какую-нибудь мысль о вражде или мести. Действительно, в нем чтили патриота и консерватора; но он был для многих отрадным явлением не потому, что как-нибудь бичевал и поражал революционные стремления, грозящие нарушить порядок и наше спокойствие, а потому, что умел сочувствовать самым высоким, чисто духовным интересам русских людей; в его словах обнаруживалось религиозное настроение, преданность учению Христа и православию; он благоговел перед нравственными силами и идеалами народа, не только верил в народ, а любил его, как родную почву, как родных людей; наконец, ему дорого было наше государственное могущество, наше единство и его политические задачи, ради которых издавна и всегда русские люди так много жертвовали и готовы жертвовать. Вот что делало его дорогим для людей, видевших и слышавших каждый день, как оскорбляются словом и делом самые святые для них предметы. Но всего меньше можно принять Достоевского за обличителя, толковать его писания в смысле обличений, — то есть употреблять излюбленный маневр, к которому прибегает наша критика в затруднительных случаях. Такое толкование было бы прямым извращением дела. С самого начала, с «Бедных людей», он выступил с мыслью, которая несравненно выше обличения и отвергает обличение, как слишком узкую точку зрения. Он стал доказывать, что всяким несчастным, всяким «униженным и оскорбленным» нужно сочувствовать не потому лишь, что они терпят страдания, что судьба искажает их, ломает, уродует, а, напротив, потому, что они бывают прекрасны, что в их душах иногда проявляются лучшие человеческие черты, что искра Божия в них не гаснет;

следовательно, что нужно не только сожалеть и горевать об них, а нужно их *любить.* На эту тему он писал от начала до конца; весь мрак и ужас, который он захватил в свои картины, служит ему для того, чтобы показать тот свет, который горит в этом мраке. Обличения в обыкновенном смысле, то есть обличения среды, обстоятельств, строя общества и т. п., тут никак не выйдет; скорее выйдет иногда старинная мысль, что страдание очищает душу, а счастие ее портит. Но во всяком случае выйдет постоянная проповедь любви, постоянный призыв к тому, чтобы мы в забитых, искаженных существах умели видеть и любить своих братьев.

Не нужно забывать притом, что Достоевский умер неожиданно, умер тогда, когда его голос стал раздаваться всего чаще и всего громче. Это была не смерть заслуженного литератора, на покое доживающего свои дни, а смерть журналиста, застигшая его накануне выпуска горячего номера. Популярность его росла в последние годы с удивительною быстротою, и он умер в минуту этого быстрого нарастания. Поэтому пробел, образовавшийся в литературе, был живо всеми почувствован, утрата была явная, поразительная. Его «Дневник» и по своему внутреннему весу и по внешнему влиянию на читателей, конечно, равнялся целому толстому журналу, самому популярному и живому. В последние годы Достоевский приобрел стариковскую уверенность и твердость в писании, выступал с настоящим авторитетным тоном, простым и живым, и поэтому производил могущественное впечатление. Точно так и его романы всегда стояли в первом ряду художественных произведений текущей литературы, были выдающимися ее явлениями. Размеры же всей этой деятельности были необыкновенные; никто еще из наших крупных писателей не писал так много. Поэтому понятно, что для многих читателей со смертью Достоевского сошла в могилу огромная доля, чуть не половина наличной литературы.

Подумайте сверх того, сколько было людей, для которых эта утрата была незаменима. Достоевский не был просто *частью* петербургской литературы; скорее он был ее *противовесом,* контрастом этой литературе. Он и вообще не был поклонником минуты, не плыл по ветру, а всегда был писателем независимым, следовал своим собственным мыслям. Но меньше всего он потворствовал каким-нибудь модным направлениям, ходячему лите-

ратурному настроению; напротив, он объявил себя их врагом, он открыто преклонялся перед началами, которые для нашей интеллигенции только «соблазн и безумие». Свою преданность искусству, свою любовь к народным началам, свое отвращение к язвам Европы, свою веру в бессмертие души, свою религиозность, все это он смело и настойчиво проповедовал, и всего смелее и настойчивее в ту минуту, когда его настигла смерть. Итак, не мода, не задние мысли собрали ту огромную толпу, которая шла за его гробом.

В этой толпе особенно важно и полно смысла появление множества молодых людей. Проповедник любви и прощения сделался им дорог потому, что он, жарко нападая на их заблуждения, жалел самих заблуждающихся, умел понимать их и указывать им выход на другую дорогу. Тут были, вероятно, и нераскаянные, но непременно были и *кающиеся нигилисты,* то есть люди, дающие нам надежду на исцеление от этого великого зла. Что касается до самого покойника, то в нем эта надежда горела постоянно. Он верил, что трудился для начал спасительных, животворных, и радовался своим успехам, и трудился неутомимо. Мне радостно вспомнить, что в последние годы и даже перед самою его смертью я выражал ему свое удивление перед его деятельностию, говорил ему, что он делает чудеса и что нельзя не восхищаться огромными успехами такой прекрасной проповеди. Зная настроение петербургской публики и литературы, я не мог не придавать великого значения той жадности, с которою расхватывался «Дневник писателя». Поэтому похороны хотя очень удивили и меня, но все же не так, как многих других. И я думаю, смысл их более или менее понятен был только тому, кто сохранил в себе следы патриотического и религиозного духа. Этот дух еще силен неизмеримо; он еще проявляется при каждом удобном случае, хотя большею частию чувством, а не мыслию, делом, а не словом. Если же окажется надобность в полном его напряжении, то те, кто не чужд этого духа, хорошо знают, что перед ним ничто не устоит и разлетятся, как пустая шелуха, все труды и созидания его противников.

КОММЕНТАРИИ

Настоящему двухтомному сборнику мемуаров о Достоевском предшествовало издание: «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1 и 2. М., 1964. Оно было составлено и комментировано одним из крупнейших специалистов по изучению биографии и творчества Ф. М. Достоевского — А. С. Долининым и группой его сотрудников.

Сейчас, по прошествии четверти века, настало время для нового издания воспоминаний о Ф. М. Достоевском, хотя сборник, составленный А. С. Долининым, не утратил ни научной ценности, ни интереса для широкого читателя.

За эти годы издано обстоятельно прокомментированное академическое Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, выходили сопровождающие это издание сборники «Материалов и исследований». Опубликован целый ряд книг о писателе. При этом, разумеется, сохранила свое значение биографическая хроника «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского», составленная Л. П. Гроссманом.

Накопление новых материалов и новых идей требует ныне изменений и в составе сборника, и в комментариях. Количество воспоминаний, включенных в сборник, увеличено, причем воспоминания, специально посвященные Достоевскому, как правило, печатаются без сокращений (Н. Н. Страхов, В. В. Тимофеева-Починковская, Вс. С. Соловьев и др.). Из других воспоминаний извлекаются части, рассказывающие о Достоевском. Из издания исключены фрагменты «Воспоминаний» А. Г. Достоевской, поскольку эти воспоминания сравнительно недавно вышли отдельными книгами, но зато включены отрывки из той части ее «Дневника», которая находилась в стенографической записи, а теперь расшифрована.

Тексты сверены с первоисточниками — прижизненными изданиями или рукописями. В ряде случаев тексты печатаются по наиболее авторитетным публикациям или специально подготовленным изданиям, вышедшим уже после смерти авторов.

Комментарии, по возможности, содержат дополнительный мемуарный и биографический, а также историко-литературный материал, обо-

гащающий и разъясняющий каждое данное воспоминание. Разумеется, в комментариях исправляются неточности и ошибки, имеющиеся в свидетельствах мемуаристов. Постраничным примечаниям к каждому мемуару предшествует краткая биографическая справка об авторе его, а также информация об источнике, по которому мемуар печатается в настоящем издании.

Было сочтено целесообразным отказаться от расчленения сборника на «разделы», соответствующие этапам биографии Достоевского, дабы сохранить целостность тех или иных мемуарных текстов (А. П. Милюков, Н. Н. Страхов и др.). Тем не менее хронологическое построение как принцип последовательно выдерживается. В основу его кладется основное временное «ядро» воспоминаний.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Белинский — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. I—XIII. М., 1953—1959.

Биография — Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского, т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883.

Венок — Венок на памятник Пушкину <Сборник, составленный Ф. Булгаковым>. СПб., 1880.

Волоцкой — Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского (1506—1933). М., 1933.

Дело петрашевцев — Дело петрашевцев, т. I—III. М.—Л., 1937—1951.

Долинин. Последние романы — Долинин А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.—Л., 1963.

Достоевская — Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Л., 1972—1990.

А. М. Достоевский — Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930.

Достоевский в воспоминаниях — Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 1, 2. М., 1964.

ЛН — Литературное наследство.

Материалы и исследования — Достоевский. Материалы и исследования, т. 1—8. Л., 1974—1988.

А. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Андрей Михайлович Достоевский (1825—1897) — младший брат Федора Михайловича. Будучи моложе его на четыре года, провел рядом с ним детство в лекарской квартире на Божедомке, летом — в маленьком и скудном имении Достоевских Даровом, затем недолго жил с братом в Петербурге перед поступлением в Училище гражданских инженеров (впоследствии — Строительное), виделся с ним в эти юношеские годы довольно часто, но впоследствии встречался очень редко. Вскоре после окончания в 1849 году Строительного училища переехал в Елисаветград (ныне — Кировоград), где, а затем и в ряде других городов, служил архитектором. Вышел в отставку в 1890 году и осенью 1896 года, незадолго до смерти, переселился из Ярославля в Петербург.

Андрей Михайлович начал писать свои воспоминания в 1875 году, предназначая их для своей семьи, тогда были написаны части, посвященные детству и юности. «Конечно, эти записки м о и , — писал А. М. Достоевский в предпосланной запискам з а м е т к е , — будут иметь интерес только для близких мне, то есть для жены и детей, но ни для кого больше, потому что могу наверное сказать (хотя и не знаю еще, чем они пополнятся), что содержание их будет самое незатейливое, а именно описание моей скромной жизни» (*А. М. Достоевский,* с. 12). Андрей Михайлович оказался не совсем прав. При всей действительной непритязательности его «Воспоминаний» они, как справедливо заметил А. С. Долинин, «не только главный, но, в сущности, почти единственный источник биографии молодого Достоевского» (*Достоевский в воспоминаниях,* I, 37).

Андрей Михайлович в упомянутой предисловной заметке к воспоминаниям объяснил и оригинальную их композицию — деление всего текста не на главы или части, а на «квартиры», ибо, при такой «разгруппировке», «удобнее будет припоминать многие эпизоды, которые могли бы ускользнуть из памяти, и легче будет не сбиться с хронологического порядка» (*А. М. Достоевский,* с. 12).

Написанная в 1875 году часть воспоминаний была предоставлена А. М. Достоевским в 1883 году О. Ф. Миллеру для его «Материалов для жизнеописания Ф. М. Достоевского» (*Биография*).

На этом работа Андрея Михайловича над «записками» прервалась до 1895 года, когда, по настоянию сына Андрея, Андрей Михайлович продолжил свое жизнеописание с приезда в Елисаветград. «Затем я положил написать историю своего детства и юности. Разыскал свои начатые записки в 1875 году, прочел их... и в результате мне стало очень жалко переиначивать их начало; а потому я решил начало своих записок о детстве сохранить то же самое, и переписать их, а потом далее продолжать записки в том же виде и в том же порядке» (*А. М. Достоевский,* с. 13). Закончил писание своих воспоминаний уже больной Андрей Михайлович 16 июля 1896 года, доведя повествование о своей жизни до 1871 года.

Андрей Андреевич Достоевский, известный статистик, ученый секретарь Русского географического общества, в предисловии к воспоминаниям отца совершенно верно отметил, что они «не претендуют на художественно-литературное изложение, не затрагивают широких политических или общественных вопросов, а представляют собой простой бесхитростный рассказ сначала о семье, в которой он вырос, затем о школе, где учился, и, наконец, о впечатлениях и наблюдениях в провинции, куда его забросила жизнь...». При этом «кристальная честность, правдивость, аккуратность и точность» Андрея Михайловича позволили ему, несколько обособленному от старших братьев, взглянуть на них как бы со стороны, «объективно». Разумеется, в годы, когда писались воспоминания, Андрей Михайлович не мог не понимать всей значительности личности и творчества своего гениального брата.

Главы из мемуарной книги А. М. Достоевского печатаются по изд.: *А. М. Достоевский,* с дополнениями и уточнениями по рукописи.

[1] С. 29. «Встарь считали *с**о**роками: первое с**о**рок, другое с**о**рок* и пр.» В Москве церкви разделены были *«по сорокам* на староства или благочиния» (В. И. Даль). Среди сороков был и Сретенский.

[2] С. 31. Село Достоев находилось не в Каменец-Подольской, а в Минской губернии, Пинского уезда, Поречской волости. Вероятно, с названием этого села связано возникновение в XVI в. фамилии Достоевских. Родился же М. А. Достоевский действительно в Каменец-Подольской губернии, где его отец Андрей служил священником и где Михаил Андреевич обучался в семинарии (см.: *Волоцкой,* с. 25, 42 и 47). Достоевские действительно внесены в «Российскую родословную книгу, издаваемую князем Петром Долгоруковым» (СПб., 1855, ч. 1, с. 34).

[3] С. 31. Московская Медико-хирургическая академия была в 1799 г. преобразована из Медико-хирургического училища; в 1844 г. слита с Медико-хирургической академией в Петербурге.

[4] С. 31. Московская больница для бедных была основана в 1803 г. первоначально как лечебница для приходящих; в качестве больницы была

открыта в 1806 г. С 1828 г. носит название Мариинской (Марьинской) — по имени скончавшейся в этом году императрицы Марии Федоровны.

[5] С. 32. Тема басни И. А. Крылова «Гуси» (1811) — родословная кичливость.

[6] С. 32. *Федор Тимофеевич Нечаев* (1769—1832) был выходцем из г. Боровска. Сначала служил сидельцем у одного из московских купцов. С 1799 г. «состоит в особом капитале». По переписи, в сентябре 1801 г. значится живущим «у Спаса на Устретенке, свой дом; торговля в суконном ряду». В десятых годах XIX в. жил в своем доме в Басманной части в приходе Петра и Павла, на Новой Басманной улице (*Волоцкой,* с. 69).

[7] С. 34. Эти миниатюры сохранились (см.: *Волоцкой,* вклейка между с. 64 и 65).

[8] С. 34. Как сообщается в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей имп. Московского университета» (М., 1855, ч. I, с. 430—431), Василий Михайлович Котельницкий (1770—1844) — «врачебного веществословия <то есть, по определению В. И. Даля, учения о врачебных, лекарственных веществах, снадобьях или зельях>, фармации и врачебной словесности профессор ординарный, медицины доктор». Неоднократно был избираем деканом медицинского факультета. «Защитником студенческим» называет Котельницкого приятель Белинского по Московскому университету П. П. Прозоров (см.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 108). О некоторых комических чертах личности и преподавания Котельницкого рассказывает слушавший его лекции Н. И. Пирогов (Пирогов Н. И. Посмертные записки. Детство и юность. — Русская старина, 1885, № 1, с. 42—43). См. также: *Волоцкой,* с. 84—87.

[9] С. 38. О няне *Алене Фроловне* см. примеч. 27 к с. 76.

[10] С. 43. *Сухарева башня* находилась на Садовом кольце, при пересечении его с улицей Сретенкой. Ныне не существует. При постройке первого московского водопровода там был сооружен чугунный резервуар.

[11] С. 45. То есть в церковные праздники.

[12] С. 46. В черновиках к роману «Подросток» фамилию Маркус носит хозяин квартиры Аркадия Долгорукого, любитель рассказывать анекдоты (см.: *Долинин. Последние романы,* с. 175—176).

[13] С. 47. *А. А. Альфонский* (1796—1869), известный в Москве врач, с 1819 г. — профессор Московского университета, впоследствии ректор (см.: Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета. М., 1855, ч. I, с. 1—3). В черновиках к задуманному роману «Житие великого грешника» фамилию Альфонский носит один из главных героев (*Достоевский,* IX, 127 и сл.).

[14] С. 47. *Александр Алексеевич Куманин* (1792—1863) — муж старшей сестры матери Достоевского; купец 1-й гильдии, славился своей широкой благотворительностью; был почетным членом совета Московского коммерческого училища, членом комитета Московской глазной больницы, занимал и другие почетные должности.

[15] С. 50. О смерти дяди Михаила Федоровича Достоевский пишет А. А. и А. Ф. Куманиным 28 января 1840 г. Поэтому можно предположить, что Михаил Федорович умер «в рождественские праздники» с 1839 на 1840 г.

[16] С. 50. В «Примечаниях» к «Идиоту» А. Г. Достоевская пишет: «В лице старушки Рогожиной Федор Михайлович описывает родную тетку (сестру матери) Александру Федоровну Куманину, жившую в Москве. После свадьбы мы с Федором Михайловичем были в Москве и навестили его тетку; она приняла нас чрезвычайно приветливо, но навряд ли сознавала, кто мы такие» (Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1923, с. 60). В связи с полученным от А. Н. Майкова известием о смерти А. Ф. Куманиной Достоевский в ответном письме от 14(26) августа 1869 г. из Дрездена писал, «что тетка была не в своем уме несколько лет (года 4 последних наверно)» (*Достоевский,* XXIX, кн. I, 48).

[17] С. 53. *Новинское* — название в XIV—XIX вв. местности на западе Москвы, между Садовым кольцом и левым берегом р. Москвы. Позднее здесь был разбит Новинский бульвар (район нынешней улицы Чайковского).

[18] С. 58. Это единственные сохранившиеся портреты родителей Достоевского.

[19] С. 61. По предположению А. А. Достоевского, по-видимому имеется в виду издание В. П. Авенариуса «Книга былин», распространенное среди юношества в начале 80-х гг.

[20] С. 64. Имеется в виду эпическая поэма Вольтера *«Генриада»* (1728).

[21] С. 64. *Троице-Сергиева лавра* — монастырь в семидесяти верстах от Москвы, основанный в середине XIV в. Сергием Радонежским. Сергиев посад при монастыре носит ныне название г. Загорска.

[22] С. 68. То есть на знаменитую Макарьевскую ярмарку в Нижегородской губернии близ Макарьева монастыря.

[23] С. 69. По сведениям, приводимым В. С. Нечаевой, Черемошня принадлежала Александру Ивановичу Хотяинцеву (Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, с. 35).

[24] С. 75. «Дневник писателя» за 1876 год. Февраль, гл. первая, III. Мужик Марей (*Достоевский,* XXII).

[25] С. 75. В «Братьях Карамазовых» имение Федора Павловича Карамазова называется «Чермашня».

[26] С. 76. В «Братьях Карамазовых» имя Григория Васильева присвоено слуге Федора Павловича Карамазова.

[27] С. 76. В связи со спором о народной нравственности Достоевский вспомнил этот эпизод в «Дневнике писателя» за 1876 год (Апрель, гл. первая, III): «Мне было всего еще девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день Светлого праздника, вечером, часу в шестом, все наше семейство, отец и мать, братья и сестры, сидели за круглым

столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге. — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев.

Описывать не стану, что за тем последовало; отец и мать были люди небогатые и трудящиеся — и вот такой подарок к Светлому дню! Оказалось, что все сгорело, все дотла: и избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится» — и вот она вдруг шепчет маме:

— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...» (*Достоевский,* XXII, 112).

[28] С. 79. Создавая образ Елизаветы Смердящей, Достоевский несомненно помнил о юродивой из Дарового. В «Братьях Карамазовых» говорится: «Ходила она всю жизнь, и летом и зимой, босая и в одной посконной рубашке» (*Достоевский,* XIV, 90). См. также: Кийко Е. И. Из истории создания «Братьев Карамазовых» (Иван и Смердяков) (*Материалы и исследования,* 2, 128).

[25] С. 79. Полное название этой книги: «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета в пользу юношества Иоанном Гибнером» (имелось несколько изданий). Эту же книгу читал в детстве Н. С. Лесков (см.: Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова. М., 1984, с. 108).

[30] С. 81. Имеется в виду «Латинская грамматика в пользу российского юношества, тщательно и ясно расположенная и с переводом российским изданная коллежским асессором Николаем Бантыш-Каменским». Первое издание вышло в Москве в 1779 г. Впоследствии неоднократно переиздавалась.

[31] С. 82. О пансионе Л. И. Чермака и о самом содержателе пансиона см. статью Г. А. Федорова «Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. (по новым материалам)» (*Материалы и исследования,* 1). Пансион Чермака (так же как и полупансион Драшусова-Сушара) упоминается неоднократно в черновых планах неосуществленного замысла

«Житие великого грешника», первая половина которого, как показал А. С. Долинин (*Долинин. Последние романы*), будет заметно использована в романе «Подросток». В тех же планах упоминаются имена двух гувернеров пансиона — Тайдера и Манго (*Достоевский,* IX).

[32] С. 83. «Пансион находился на Новой Басманной в доме кн. Касаткиной-Ростовской (на месте д. 31; не сохранился). С Божедомки путь в пансион для братьев Достоевских лежал от Самотеки Садовой улицей, мимо Сухаревой башни с толкучим рынком у ее подножия. Там у офеней можно было купить книги. У Красных ворот сворачивали в Новую Басманную. Проезжали дом, принадлежавший некогда покойному деду — Михаил и Федор бывали там в раннем детстве (до 1826 г.). В конце улицы слева, против Сиротского дома, совсем близко к Разгуляю, стоял красивый ампирный особняк с флигелями и службами, где помещался пансион; большой тенистый сад его спускался к ручью Елховец» (Федоров Г. А. Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. — *Материалы и исследования,* 1, 244).

[33] С. 84. По сообщению Г. А. Федорова (указ. статья, с. 245—247), этим учителем был Николай Иванович Билевич (1812—1860-е гг.), соученик Гоголя по Нежинской гимназии. В бытность свою в Москве сблизился с Н. И. Надеждиным, Н. А. Полевым, И. В. Киреевским и др.

[34] С. 85. Имеется в виду книга Кс. А. Полевого «Михаил Васильевич Ломоносов», т. I, II. М., 1836. Далее упоминаются «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) М. Н. Загоскина, «Ледяной дом» (1835) И. И. Лажечникова, «Стрельцы» (1832) К. П. Масальского, «Семейство Холмских» (1832) Д. Н. Бегичева.

[35] С. 86. *«Граф Габсбургский»* (1818) — баллада В. А. Жуковского; *«Смерть Олега»* — баллада А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822).

[36] С. 86. Персонаж под фамилией Умнов встречается в черновых записях «Жития великого грешника» (*Достоевский,* IX, 133 и др.). По мнению А. С. Долинина, «он оказывал большое влияние на центральное лицо поэмы, являющееся прообразом главного героя романа «Подросток» Аркадия Долгорукова» (*Достоевский в воспоминаниях,* I, 392).

[37] С. 86. Далее цитируются пятнадцать строф из сатиры А. Ф. Воейкова (первая редакция — 1814, дополнявшаяся вплоть до 1838 г.), в которой были даны памфлетные характеристики многих русских писателей и литературных деятелей десятых — тридцатых годов (в частности, В. А. Жуковского); получила самое широкое распространение в списках, впервые напечатана лишь в 1857 г.

[38] С. 88. См. далее письма родителей Достоевского.

[39] С. 90. Федор Иванович *Кистер* (1772—1849) родился в Германии, в 1795 году переехал в Россию; в 1797 году «принял присягу на подданство России» (Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Моск. университета. М., 1855, ч. I, с. 413). Содержал пан-

сион и преподавал немецкий язык и словесность в Московском университете. В пансионе Кистера некоторое время воспитывался Т. Н. Грановский, на что есть намек в «Бесах» (*Достоевский,* X, 16; XII, 280).

[40] С. 94. В 1804 г. в Петербурге была основана инженерная школа, в 1810 г. преобразованная в Инженерное училище с офицерскими классами; с 1819 г. — Главное инженерное училище. Находилось училище в Михайловском замке (б. дворце императора Павла) (см.: Максимовский М. Исторический очерк развития Главного инженерного училища. СПб., 1869).

[41] С. 94. Ответ статс-секретаря по IV Отделению собственной его величества канцелярии Г. И. Виламова был благоприятным. Однако ни Федор, ни Михаил на казенный счет приняты не были. За Федора внес необходимую сумму (950 руб. асс.) А. А. Куманин. Михаил в училище не поступил и стал служить с января 1838 года в Санкт-Петербургской, а с апреля — в Рсвельской инженерной команде (Ревель — ныне Таллинн).

[42] С. 95. Речь идет о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». Впервые под заглавием «На смерть Пушкина» — в «Полярной звезде на 1856 год» (Лондон, 1858, кн. 2). В России без последних шестнадцати стихов напечатано в «Библиографических записках» (1858, т. I), без одного стиха («Вы, жадною толпой стоящие у трона...») в Сочинениях Лермонтова под ред. С. С. Дудышкина, т. I (СПб., 1860).

[43] С. 95. Третья, четвертая и пятая строфы стихотворения минского гимназиста А. Керсновского «На смерть Пушкина» (Опыты в русской словесности воспитанников гимназий Белорусского учебного округа. Вильна, 1839, с. 3 и 4). А. М. Достоевский цитирует не совсем точно, вероятно по списку.

[44] С. 96. Стих из «Эпитафий» Н. М. Карамзина (1792). М. Ф. Достоевская похоронена в Москве на Лазаревском кладбище.

[45] С. 96. *Сдаточные* (или долгие). — *«Ехать на сдаточных,* на переменных лошадях, не на почтовых, а с передачей от ямщика к ямщику» (В. И. Даль).

[46] С. 96. А. М. Достоевский имеет в виду следующие строки из «Дневника писателя» за 1876 год (Январь, гл. третья, 1): «Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я бес-

прерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух» (*Достоевский,* XXII, 27—28).

[47] С. 97. Как пишет племянник Достоевского, А. А. Достоевский, «из сохранившегося в бумагах Андрея Михайловича чернового письма Михаила Андреевича по начальству видно, что ему в марте 1837 года было предложено занять место старшего врача в больнице, но что он, отказываясь от этого предложения, по расстроенному здоровью, просит представить его вовсе к отставке с пенсией и мундиром» (*А. М. Достоевский,* с. 412). В формулярном списке о службе М. А. Достоевского значится: «Произведен в коллежские советники со старшинством 18 апреля 1837 года и уволен со службы 1 июля 1837 года» (*Волоцкой,* с. 48).

[48] С. 98. Тексты писем родителей Достоевского уточнены по изданию: Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939.

[49] С. 98. *Ваза* — сорт озимой ржи.

[50] С. 103. Иван Николаевич Шидловский (1816—1872), приятель братьев Достоевских, с которым они познакомились вскоре после приезда весной 1837 г. в Петербург для поступления в Инженерное училище. В это время — чиновник Министерства финансов. Восторженное романтическое настроение Шидловского, характерное и для Достоевского, сблизило их, что отразилось во многих письмах Достоевского этого времени (подробнее см.: Алексеев М. П. Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921; Нечаева В. С. Ранний Достоевский. 1821—1849. М., 1979, с. 72—78; см. также воспоминания Вс. Соловьева во втором томе наст. изд.).

[51] С. 107. Речь идет о письме М. А. Достоевского от 26 мая 1835 г., где есть такие строки: «Прощай, дражайшая надежда жизни моей, не забывай меня в растерзанном моем положении души моей, какого я еще с начала жизни моей не испытал» (Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских, М., 1939, с. 101).

[52] С. 107. М. А. Достоевский писал в упомянутом письме: «...Я очень удивляюсь, откуда и ты так богата, разве ты имела свои деньги, о которых мне не сказала» (там же).

[53] С. 110. По сведениям, приводимым Волоцким, именно так охарактеризовала М. А. Достоевского А. Г. Достоевская, надо думать, со слов Федора Михайловича: «Отец его был угрюмый, нервный, ревнивый и подозрительный человек...» (*Волоцкой,* с. 50). О болезненно мнительном и крайне нервно-возбудимом характере Михаила Андреевича несомненно свидетельствует и его переписка с женой — как те письма, которые опубликовал в своих воспоминаниях Андрей Михайлович, так и те, что напечатаны в книге В. С. Нечаевой «В семье и усадьбе Достоевских». Однако эти особенности трудного характера

Михаила Андреевича вовсе не свидетельствуют против его действительно страстной любви к детям и жене, постоянно занимавших его забот о будущем детей. К приводимым Андреем Михайловичем далее словам Федора Михайловича о родителях можно было бы прибавить и другие. Например, в гл. XVI «Дневника писателя» за 1873 год он писал: «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей» (*Достоевский,* XXI, 134). А в письме от 10 марта 1876 г. к тому же Андрею Михайловичу читаем: «Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления *в лучшие люди* (в буквальном, самом *высшем* смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения» (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 76).

[54] С. 114. *«Epitome Historiae Sacrae»* — изложение эпизодов Ветхого и Нового заветов на латинском языке. Вышло несколько изданий.

[55] С. 116. М. А. Достоевский умер 6 июня 1839 г. О различных версиях причины его смерти см. примеч. 57 к с. 117.

[56] С. 116. В письме от 30 июня 1839 г. М. М. Достоевский просил стать опекуном малолетних сирот «дяденьку» А. А. Куманина, но тот просьбу эту отклонил. Отказался от опекунства и сам Михаил Михайлович. Тогда опекуном был назначен каширский исправник Николай Павлович Елагин, доведший хозяйство в Даровом и Черемошне до полного разорения. В начале 40-х гг. совместно с М. М. Достоевским опекуном стал муж старшей сестры Достоевского Варвары Михайловны — Петр Андреевич Карепин.

[57] С. 117. Интересно, что, повествуя далее о последних днях жизни и о смерти отца, Андрей Михайлович опирается, как он говорит, — «главное», на свидетельства няни Алены Фроловны, которая жила в это время в деревне, и крепостной девушки Ариши, жившей в Москве, но к которой «приходили родные из деревни, и от них-то она слышала все подробности, переданные мне впоследствии». Версия об убийстве Михаила Андреевича крепостными до последнего времени не вызывала сомнений у биографов и исследователей творчества Достоевского, подчас приводя к субъективным, недостоверным и прямо фантастическим концепциям (фрейдистским, вульгарно-социологическим). В работах Г. А. Федорова предпринята попытка на основании новых данных и иного толкования данных уже известных подвергнуть эту версию сомнению (см.: Литературная газета, 1975, № 25; Новый мир, 1988, № 10).

[58] С. 118. См. выше, с. 104.

[59] С. 120. М. М. Достоевский находился в отпуске из Ревельской инженерной команды, где он в это время служил начальником чертежной, с 6 октября 1841 г. По-видимому, где-то во второй половине октября он и привез младшего брата в Петербург, где тот поселился вместе с Федором Михайловичем. Вернулся М. М. Достоевский на службу в Ревель 23 ноября (см.: Конечный А. М. М. М. Достоев-

ский на службе в инженерных командах. — *Материалы и исследования,* 2, 235—236).

[60] С. 124. Ф. М. Достоевский писал М. М. Достоевскому 22 декабря 1841 г.: «Андрюша болен; я расстроен чрезвычайно. Какие ужасные хлопоты с ним. Вот еще беда. Его приготовление и его житье у меня вольного, одинокого, независимого, это для меня нестерпимо» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 79).

[61] С. 125. О К. А. Трутовском см. с. 551.

[62] С. 126. О Д. В. Григоровиче см. с. 554.

[63] С. 126. Строки из стихотворной драмы «Отец и дочь», переделанной с итальянского П. Г. Ободовским. Главную роль — Вильяма Доверстона — играл знаменитый трагик В. А. Каратыгин.

[64] С. 127. Неточно цитируемый фрагмент из трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской», д. V, явл. 2 — рассказ боярина Московского, роль которого исполнял П. И. Толченов.

[65] С. 133. См.: *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 77—78.

[66] С. 135. Училище гражданских инженеров, куда вскоре поступил А. М. Достоевский, в 1842 г. было объединено с Архитекторским училищем в Строительное училище. Упоминаемый далее граф П. А. Клейнмихель был главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями, и ему подчинялось Училище гражданских инженеров.

[67] С. 137. Басня И. А. Крылова «Ворона и Лисица» (1808).

[68] С. 139. Письма и записки Ф. М. Достоевского здесь и во всех случаях далее сверены с текстом: *Достоевский.* Все разночтения, имеющие принципиальный характер, оговариваются.

[69] С. 141. М. М. Достоевский вышел в отставку осенью 1847 г. и переселился в Петербург.

[70] С. 141. А. М. Достоевский окончил Строительное училище в 1847 г.

[71] С. 143. См. далее с. 270—272.

[72] С. 146. Г. П. Данилевский был прикосновенен к одной из побочных групп, складывавшихся вокруг кружка Петрашевского (см.: Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988, с. 135).

[73] С. 158. Приговор по делу петрашевцев был напечатан в газете «Северная пчела» 23 декабря 1849 г.

[74] С. 159. *Доминика Ивановна* — жена А. М. Достоевского (рожд. Федорченко).

[75] С. 159. См. эти письма: *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 181—183.

[76] С. 160. А. М. Достоевский приехал в Петербург и встретился с Федором Михайловичем в декабре 1864 г.

[77] С. 160. По справке, данной А. А. Достоевским в примечаниях к «Воспоминаниям» А. М. Достоевского, Николай Михайлович «в 1854 году окончил курс Строительного училища и был назначен в Эстляндскую строительную и дорожную комиссию архитекторским помощником для производства работ. Брат Михаил Михайлович в письме

к Андрею Михайловичу от 12 августа 1854 г. писал: «Николя вышел из училища X-м классом. Из него выйдет очень талантливый архитектор. Проекты его были лучшие». Из писем его к брату Андрею Михайловичу видно, что в 1858 году он уже служил в Петербурге, в 1862 году имел порядочную частную практику и жил довольно широко. Однако слабоволие и алкоголизм сбивали его с пути и он все более и более впадал в нищету, жил у сестры Александры Михайловны, как бы на призрении, братья и знакомые помогали ему кто сколько мог, но спасти его было уже нельзя, и он умер совершенно пропащим человеком 18 февраля 1883 года» (*А. М. Достоевский,* с. 410).

[78] С. 161. См. об этом далее в воспоминаниях Н. Н. Страхова.

А. И. САВЕЛЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Александр Иванович Савельев (1816—1907) — в годы учения Достоевского в Главном инженерном училище ротный офицер при училище, начавший там службу в 1837 году (Максимовский М. Исторический очерк развития Главного инженерного училища. СПб., 1869, с. 145).

По сведениям юбилейной заметки, напечатанной в т. XV «Исторического вестника» за 1884 год в связи с пятидесятилетием службы Савельева в офицерских чипах, он «часы досуга от многотрудных обязанностей военного педагога посвящал литературным и археологическим занятиям» (с. 691). Так, уже с 1841 года в «Военно-энциклопедическом лексиконе» Савельев печатал статьи по земляным работам и по истории инженерного дела в России. Участвовал также в журналах «Древняя и новая Россия», «Русская старина», «Исторический вестник». Был избран действительным членом Русского археологического и географического обществ.

Воспоминания А. И. Савельева о Достоевском в несколько иной редакции (см. далее примеч. 2 к с. 165 и 7 к с. 168) были использованы О. Ф. Миллером в «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского» (*Биография).* Савельевым написана также статья «Памяти Д. В. Григоровича (пребывание его в Главном инженерном училище)» (Русская старина, 1900, т. 103, № 8), где ряд страниц посвящен и Достоевскому (см. далее примеч. 5 к с. 167).

«Воспоминания о Ф. М. Достоевском» А. И. Савельева печатаются по журналу «Русская старина», 1918, № 1—2.

[1] С. 163. По предположению А. С. Долинина, это прозвище может быть «связано с только что скончавшимся (в 1838 году) архимандритом Фотием, которого принимали в высших кругах за святого, «смиренника», «не от мира сего» (*Достоевский в воспоминаниях,* I, 394).

[2] С. 165. В настоящих воспоминаниях отсутствуют некоторые сведения, сообщенные А. И. Савельевым О. Ф. Миллеру для его «Материалов для жизнеописания Ф. М. Достоевского». В частности, он запомнил, что Бережецкий «был под сильным влиянием Достоевского, слушался его и повиновался ему, как преданный ученик учителю» (*Биография,* с. 38).

[3] С. 165. *«Александрия»* — часть Петергофа, где находился дворец «Коттедж», летнее местопребывание царской семьи.

[4] С. 165. *Сампсониевский фонтан* — главный фонтан петергофской системы фонтанов. См. также воспоминания Д. В. Григоровича — с. 198 наст. тома.

[5] С. 167. Любопытное сопоставление характеров Григоровича и Достоевского находим в воспоминаниях А. И. Савельева о Григоровиче. «...Эти два человека,— пишет здесь Савельев, — с детства были две совершенно разнородные силы, анод и катод, положительные и отрицательные, так что то, что нравилось и занимало одного, не могло нравиться другому, что привлекало Григоровича (игры «загонки», танцы, песни, живые картины и пр.), Достоевскому казалось скучным. На то, что особенно сердило Григоровича: барабанный бой, вытягивание носка на маршировке и стояние, как он говорит, в журавлиной позе на одной ноге, пока не скомандуют ее опустить, — Достоевский смотрел равнодушно, усердно вытягивал носок, учился подходить на ординарцы, хотя сознавал, что, по его телосложению, болезненной структуре и по его бледному лицу, он уже по природе не был красавцем, чтоб быть представителем строевого кондуктора. <...> Как теперь помню мои частые беседы с Достоевским, Григоровичем и др. Как теперь слышу тихую, спокойную речь Достоевского, передаваемую им последовательно остановками, прерываемую им, по-видимому, с намерением или для облегчения груди или же размышления. Беседа Достоевского была для меня интересною по изобилию его начитанности и мастерскому ее изложению. Совсем другой характер имела речь Григоровича: как теперь, слышится его звонкий голос, его одушевленные, живые рассказы, пополняемые хотя мелкими, но яркими блестками остроумия» (Русская старина, 1900, т. 103, № 8, с. 331—333).

[6] С. 168. Речь идет о Михаиле Романовиче Шидловском (1826—1880), крупном царском бюрократе, человеке, полном неукротимой административной энергии и служебного азарта, хотя и не отличавшемся блеском умственных способностей, что не помешало ему, кроме Инженерного училища, закончить Императорскую военную академию. В 1860—1870 гг. Шидловский был тульским гражданским губернатором, затем (1870—1871) — начальником Главного управления по делам печати и, наконец, товарищем министра внутренних дел (1871—1874) и сенатором. В 1866—1867 гг. при Шидловском служил в Туле управляющим Казенной палатой М. Е. Салтыков-Щедрин, написавший, по воспоминаниям современника, на него тогда же «пам-

флет» под названием «Губернатор с фаршированной головой». Этот памфлет стал, по-видимому, широко известен, но в «Историю одного города» вошел в весьма преобразованном виде (см. об этом: Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М., 1977, с. 108 и сл.).

[7] С. 168. В воспоминаниях, предоставленных О. Ф. Миллеру, А. И. Савельев сообщает: «Любимым местом его <Достоевского> занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой каморе) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой каморе в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу, к молитве, снова расходились по каморам; Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф. М. у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, нисколько не предохраняли его от внешнего холода, особенно это было чувствительно подле окна, где Ф. М. любил заниматься. <...> Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф. М. никому об ней не говорил». В подстрочном примечании к этому месту Савельев ссылается на свой позднейший («сорок лет спустя») разговор с Достоевским, который сказал, что уже тогда писал роман «Бедные люди» (см. примеч. 6 к с. 225). «Часто, на дежурстве в училище, — продолжает свой рассказ Савельев, — я любил беседовать с молодежью и пользовался сочувствием ко мне. Но, признаюсь, ни одна из их бесед не оставляла во мне такого глубокого впечатления, как мои беседы с Достоевским. <...> Местом наших бесед была чаще всего так называемая комната для дежурного офицера, окнами выходящая на черный дворик. Должно заметить, что в Михайловском (инженерном) замке сохранилось до сих пор много устных преданий о первой четверти нынешнего столетия, касающихся истории замка: сохранились указания, где была тронная зала императора <Павла>, его спальня, столовая, кухня, не так давно заделан ход в стене, в котором шла лестница из среднего этажа в нижний, уничтожен коридор, шедший к дверям, ведущим к каналу, где когда-то стояла лодка; сохранился в одной из овальных комнат замка крюк, на котором висел голубь, принадлежавший секте хлыстов, под которым они совершали свои «радения» (*Биография,* с. 42—44).

[8] С. 168. *Секта «людей Божиих»,* или так называемых «духовных христиан» («христовщина», «хлыстовщина»), — русская мистическая секта, возникшая в XVII в. Достоевскому было известно о «радениях»

в Михайловском замке (см.: «Дневник писателя» за 1876 год. Март, гл. вторая, II — *Достоевский,* XXII, 99).

[9] С. 169. *Толь* (Толль) Феликс-Эммануил Густавович (1823—1867) — один из видных участников кружка Петрашевского. В 1845 г. окончил Главный педагогический институт. В Главном инженерном училище преподавал словесность с 1848 г. (Зиневич Н. А. Ф. Г. Толль. 1823—1867. М., 1964, с. 4). (Или в воспоминаниях Савельева, или в этих биографических сведениях о Толе — какая-то ошибка: непонятно, как Достоевский, окончивший училище в 1843 г., мог рассказывать Савельеву о лекциях Толя.) В 1849 г., так же как и Достоевский, Толь был приговорен к смертной казни, замененной двумя годами каторги. Автор романа «Труд и капитал», напечатанного в 1860 г. в журнале «Русское слово» (№ 10 и 11). В 1863—1864 гг. издал трехтомный «Настольный словарь для справок по всем отраслям знания».

[10] С. 169. Говоря о *настоящей, истинной религии,* Толь несомненно разумел утопический социализм, из всех «систем» которого ему ближе всего был фурьеризм. Впоследствии, на «пятницах» Петрашевского, он неоднократно выступал с докладами по истории религии. Поэтому естествен его, проявившийся уже смолоду, интерес к сложным нравственно-философским и религиозным построениям буддизма и даосизма. *Буддизм* — одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий. Возник в Древней Индии в VI—V вв. до н.э., распространился в особенности в Индии, Китае, Японии. *Даосизм* — одно из направлений древнекитайской философии, а также — китайская религия, возникшая во II в. н. э. на основе трактата «Лао-цзы», или «Дао да цзин» (по имени его автора, жившего в IV—Ш вв. до н.э.). Что касается интереса Толя к *коммунизму,* то речь, вероятнее всего, шла о французском утопическом коммунизме XVIII в. (Морелли, Бабёф).

[11] С. 170. По этому поводу О. Ф. Миллер писал: «К числу неприятностей, перенесенных Федором Михайловичем в Инженерном училище, относится и то, что со слов его записала Анна Григорьевна об отправлении его в ординарцах к великому князю Михаилу Павловичу. При этом он забыл отрапортовать слова: «К вашему императорскому высочеству». «Посылают же таких дураков», — заметил великий князь. Из рассказа этого образовался — своего рода lapsus memoriae — другой, будто бы на одном чертеже Федора Михайловича был какой-то пропуск и император Николай Павлович написал на нем: «Какой дурак это чертил», будто это было уже тогда, когда Ф. М. уже офицером занимался в чертежной Инженерного департамента и будто он подал в отставку вследствие того, что пометка государя была покрыта лаком и чертеж с нею отдан на сохранение в архив Инженерного управления. Между тем, после тщательных розысков в архиве при обязательном содействии А. И. Савельева, ничего подобного там не оказалось» (*Биография,* с. 45).

К. А. ТРУТОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Константин Александрович Трутовский (1826—1893) — русский и украинский живописец-жанрист; график; соученик Достоевского по Главному инженерному училищу. В 1847 году написал известный портрет молодого Достоевского, самый ранний из портретов писателя. В 1845—1849 годах посещал классы Академии художеств в Петербурге. Не завершив образование в Академии, в 1849 году уехал в родительское имение с. Поповка-Семеновка Харьковской губернии. Природа и народный быт Малороссии, как тогда называли Украину, произвели на него, по его собственным словам, «чарующее впечатление» и стали главными предметами его живописи. В 1861 году за картину «Хоровод в Малороссии» был удостоен звания академика. Иллюстрировал повести Гоголя, басни Крылова, поэмы Шевченко (см.: Верещагина А. Г. Константин Александрович Трутовский. М., 1955).

Будучи дальним родственником семьи Аксаковых, поддерживал с ними дружеские родственные связи, некоторое время жил в аксаковском Абрамцеве (см.: Русский художественный архив, 1892, вып. 2 и 3).

Наезжая в Петербург, вращался в литературном кружке, сложившемся вокруг журнала «Время» (см.: Орнатская Т. И. Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских (1860—1865). — *Материалы и исследования,* 8, 251).

К. А. Трутовский в последний раз виделся с Достоевским, когда принимал участие в Пушкинском празднике 1880 года. А. Г. Достоевская 9 мая 1901 года писала по этому поводу сыну Трутовского Владимиру: «Мой покойный муж чрезвычайно почитал и высоко ставил талант Вашего многочтимого отца и гордился тем, что был сотоварищем его по Инженерному училищу. Я помню, с какою радостью мой муж вспоминал свою последнюю с ним встречу...» (*ЛН,* 86, 507—508).

«Воспоминания о Федоре Михайловиче. Достоевском» К. А. Трутовского печатаются по журналу «Русское обозрение», 1893, январь; в «Щукинском сборнике», вып. 1 (М., 1902), напечатана, очевидно по рукописи, ранняя (1886) редакция воспоминаний.

[1] С. 172. См. примеч. 1 к с. 163.

[2] С. 173. См. примеч. 6 к с. 225.

[3] С. 174. Этого никак не могло быть «в конце» 1849 г., так как в апреле этого года Достоевский был арестован вместе с другими участниками кружка Петрашевского. Возможно, здесь описка или опечатка и следует читать: 1848.

[4] С. 175. Из ссылки Достоевский вернулся не в 1862, а в 1859 г.

А. Е. РИЗЕНКАМПФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ <ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ В ЗАПИСЯХ И ПЕРЕСКАЗЕ О. Ф. МИЛЛЕРА>

Александр Егорович Ризенкампф (1821—1895) — врач, ботаник. Приятель М. М. Достоевского по Ревельской инженерной команде. В 1838 году приехал в Петербург для поступления в Медико-хирургическую академию (окончил в 1843 году со званием лекаря). Тогда же познакомился с Федором Михайловичем, с которым, по свидетельству Ризенкампфа в письме к А. М. Достоевскому от 16 февраля 1881 года, с сентября 1843 года жил вместе «в доме Прянишникова на углу Владимирской улицы и Чернышева переулка и пользовал его; многие из мелочей его частной жизни мне более известны, чем кому-либо другому; затем в 1845 году я уехал в Сибирь, где служил попеременно в Иркутске, Нерчинске и, наконец, в Омском военном госпитале, в котором Федор Михайлович помещался вместе с Дуровым (он страдал костоедой и после — падучей болезнью). В Омске в нем принимал самое теплое участие бывший штаб-доктор Отдельного Санкт-Петербургского корпуса И. И. Троицкий и бывший товарищ по инженерной службе подполковник Мусселиус» (*ЛН,* 86, 549). Затем в этом же письме А. Е. Ризенкампф сообщает об экзекуции, которой подвергся Достоевский в Омском остроге, следствием чего был первый припадок падучей болезни (см. об этом далее, примеч. 4 к с. 235).

В ответ на обращение издателей первого посмертного Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского Ризенкампф — из Пятигорска, где он жил с 1875 года, — послал О. Ф. Миллеру первую тетрадь своих записей, частично использованных в «Материалах для жизнеописания Достоевского» (*Биография*). При этом он обещал прислать и вторую тетрадь (воспоминания о встречах с Достоевским в Сибири). Однако судьба этой тетради неизвестна (см. предисловие Г. Ф. Коган к публикации «Воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском» А. Е. Ризенкампфа. — *ЛН*, 86, 322).

В настоящем издании в извлечениях печатаются «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» А. Е. Ризенкампфа по тексту, опубликованному в *ЛН,* т. 86 (с уточнениями по рукописи), а также фрагменты его воспоминаний в записях и пересказе О. Ф. Миллера (*Биография*).

[1] С. 178. Ризенкампфу, вероятно, изменяет память. Он мог познакомиться с М. М. Достоевским только в 1838 г., после того как тот в конце апреля этого года прибыл в Ревель (см.: Конеч-

ный А. М. М. М. Достоевский на службе в инженерных командах. — *Материалы и исследования,* 2, 234—235).

[2] С. 178. Ошибка памяти, исправленная в публикации О. Ф. Миллера (см. далее с. 185).

[3] С. 179. М. М. Достоевский уехал не в Ревель, а в Нарву (см. письмо Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому от 27 февраля 1841 *т. — Достоевский,* XXVIII, кн. I, 77).

[4] С. 182. Точнее: «Nach Frankreich zogen zwei Grenadier'» — первая строка стихотворения Г. Гейне «Die Grenadiere» («Гренадеры») (1820) из цикла «Junge Leiden» («Юношеские страдания»).

[5] С. 182. Роман в стихах (1840) австрийского поэта Карла Бека (1817—1879).

[6] С. 184. В указанном номере газеты в «Письме к издателю» А. М. Достоевский писал: «Мне часто приходилось видеть записки его, оставляемые им на ночь, приблизительно следующего содержания: «Сегодня со мною может случиться летаргический сон, а потому не хоронить меня (столько-то) дней».

[7] С. 184. В 1844 г. шли на сцене переделанная Григоровичем драма Сулье «Eulalie Pontois» под названием «Наследство» и его же перевод (совместно с В. Р. Зотовым) водевиля «Шампанское и опиум» Л.-Ф. Клервиля и Ш. Варена (см.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987, с. 64). В том же 1844 г. Григорович опубликовал весьма слабый рассказ «Театральная карета» (Литературная газета, 1844, № 45).

[8] С. 184. О какой «сотне мелких рассказов» Достоевского пишет Ризенкампф, неясно. Достоевский работал в 1844 г. над переводами «Евгении Гранде» Бальзака, «Последней Альдини» Жорж Санд, задумывал перевод «Матильды» Сю. Из этих переводов был напечатан только перевод «Евгении Гранде» (Репертуар и Пантеон, 1844, № 6 и 7). В этом же году Достоевский усиленно трудился над своим первым романом «Бедные люди».

[9] С. 187. См. примеч. 6 к с. 225.

[10] С. 187. Представление оперы Глинки «Руслан и Людмила» Достоевский с Ризенкампфом посетили 18 апреля 1843 г. (см. с. 181; первое представление оперы состоялось в ноябре 1842). Несколько выше в этом абзаце и далее речь идет о событиях года 1843-го.

[11] С. 188. Достоевский отплыл на пароходе в Ревель 1 июля 1843 г. и прибыл туда 3 июля, отбыл из Ревеля пароходом 19 июля.

[12] С. 190. Письмо от 31 декабря не является единственным, до нас дошедшим, хотя действительно единственным из писем к брату. Попытка Достоевского организовать совместный перевод «Матильды» Сю, о чем он пишет в настоящем письме, имела откровенно коммерческий характер.

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) — писатель, близкий в 40-х годах к кругу Белинского, один из создателей характерного для натуральной школы жанра «физиологического очерка» («Петербургские шарманщики»), популярных в то время повестей «Антон-Горемыка», «Деревня». Был товарищем Достоевского по Главному инженерному училищу. Впоследствии — художественный критик (см.: Мещеряков В. П. Д. В. Григорович — писатель и искусствовед. Л., 1985).

Свои воспоминания начал писать в конце 80-х годов, в ряде случаев полемически их заострив против появившихся незадолго воспоминаний А. Я. Панаевой, в которых он усмотрел «клевету» и «злобу». «У меня нет злобы против кого бы то ни было, — писал Григорович А. С. Суворину 20 января 1892 года; — но я имею другой недостаток, неудобный для писания воспоминаний: мне все представляется не в саркастическом, а в смешном виде; я не умел этим хорошо воспользоваться, а то вышел бы из меня, быть может, изрядный комик; но не в этом дело. Брань легче прощается, чем насмешка; зная это, мне то и дело приходится ставить точку там, где рука зудит написать страницу. Деликатное чувство удерживает с одной стороны, — с другой робость» (Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927, с. 33). Свое отношение к воспоминаниям Панаевой он собирался выразить в письме к ней, которое, однако, осталось незавершенным и неотосланным (см.: Мещеряков В. П. Д. В. Григорович — писатель и искусствовед, с. 152—153).

Фрагменты из «Литературных воспоминаний» Д. В. Григоровича печатаются по Полному собранию сочинений Д. В. Григоровича, т. 12. СПб., 1896.

[1] С. 192. Григорович был зачислен в Главное инженерное училище 10 ноября 1836 г., приступил к занятиям 10 января 1837 г.

[2] С. 194. Баллада «Светлана» (1813).

[3] С. 196. *Федор Федорович Радецкий* (1820—1890), русский военный деятель, генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В тяжелых боях на Шипке русские войска, руководимые Радецким, отразили турецкое наступление и затем героически выдержали изнурительное и затяжное «шипкинское сидение». Торжественный обед в честь Ф. Ф. Радецкого состоялся 19 октября 1878 г. На обеде, среди прочих, выступили бывшие воспитанники Главного инженерного училища Д. В. Григорович, Ф. М. Достоевский, И. М. Сеченов (см.: Голос, 1878, № 293).

[4] С. 196. А. И. Савельев, помимо инженерного дела, занимался также и археологией. Поэтому, возможно, Григорович путает его здесь с другим, гораздо более известным Савельевым — Павлом Степановичем, автором многих исследований, секретарем Нумизматическо-архео-

логического общества (но был и еще один Савельев, Виктор Константинович, также занимавшийся археологией и нумизматикой).

[5] С. 197. Павильон *«Озерки»* был построен в 1848 г. Дворец *«Бельведер»* строился в 1853—1856 гг. по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера, отца Е. А. Штакеншнейдер (см. ее воспоминания о Достоевском в томе втором наст. изд.).

[6] С. 197. *Тотлебен* Эдуард Иванович (1818—1884) — впоследствии известный военный инженер, участник обороны Севастополя в 1854—1855 гг. и осады Плевны в русско-турецкую войну 1877—1878 гг.

[7] С. 198. *«Жизнь за царя»* («Иван Сусанин») — опера М. И. Глинки (1836).

[8] С. 200. М. М. Достоевский не был допущен до вступительных экзаменов в училище по причине слабости здоровья и близорукости и поступил в январе на службу в С.-Петербургскую инженерную команду, в апреле был откомандирован в Ревельскую инженерную команду. Произведен в полевые инженер-прапорщики позднее, в 1841 г. (см.: Конечный А. М. М. М. Достоевский на службе в инженерных командах. — *Материалы и исследования,* 2, 234—235). М. М. Достоевский перевел на русский язык поэму Гете «Рейнеке-Лис», драму Шиллера «Дон-Карлос» и др. В 1851 г. в «Отечественных записках» была напечатана его оригинальная комедия «Старшая и меньшая». В 1861—1863 гг. был редактором журнала «Время», а не «Эпоха». Последний издавался Ф. М. Достоевским в 1864—1865 гг., уже после смерти старшего брата. См. далее «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» Н. Н. Страхова.

[9] С. 201. Братья Достоевские приехали в Петербург уже после смерти Пушкина, в мае 1837 г., лишь собираясь поступать в Инженерное училище, но по дороге они говорили о Пушкине, о его смерти, о чем Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» за 1876 год (см. примеч. 46 к с. 96).

[10] С. 201. О пансионе Чермака см. в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского.

[11] С. 201. В юности Достоевский очень увлекался Гофманом, о чем неоднократно писал брату. *«Кот Мур»* — «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1820—1822).

[12] С. 201. Русские читатели этого романа, на самом деле принадлежащего перу английского писателя Томаса де Куинси (De Quincey), были введены в заблуждение публикацией этого романа в 1834 г. на русском языке под названием: «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум, сочинение Матюрина, автора «Мельмота». «Мельмот-скиталец» — роман Ч.-Р. Мэтьюрина (в русской транскрипции начала XIX в. — Матюрен).

[13] С. 201. Роман Вальтера Скотта называется: «Гай Мэннеринг, или

Астролог» (1815, рус. пер. 1824). *«Озеро Онтарио»* — роман Джеймса Фенимора Купера «Следопыт, или Озеро-море» (1840; в русском переводе М. Н. Каткова, М. А. Языкова и И. И. Панаева напечатан в 1840 г. в «Отечественных записках» под названием «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море»).

[14] С. 201. Вероятно, имеются в виду жизнеописания великих художников из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина (письмо от 12 июля 1789 г. из Дрездена).

[15] С. 202. Достоевский писал отцу, М. А. Достоевскому, 30 октября 1838 г.: «Наш экзамен приближался к концу; я гордился своим экзаменом, я экзаменовался *отлично,* и что же? Меня оставили на другой год в классе. <...> Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли *(по протекции)»* (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 52). Независимо от оценок по другим предметам Достоевский был признан «слабым» «по фронтовой службе» (Якубович И. Д. Достоевский в Главном инженерном училище. — *Материалы и исследования,* 5, 182).

[16] С. 202. Как пишет В. Е. Евгеньев-Максимов в книге «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова», т. 1 (М.—Л., 1947, с. 193), «Фермор, о котором здесь <то есть в этом месте воспоминаний Григоровича> говорится, это Николай Федорович Фермор, один из друзей Некрасова в первые годы его пребывания в Петербурге. Некрасов был близок со всей семьей Ферморов».

[17] С. 202. *«Мечты и звуки»* (1840) — первый стихотворный сборник Н. А. Некрасова, изданный под инициалами «Н. Н.».

[18] С. 203. Рассказ «Без вести пропавший пиита» был напечатан в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840, № 9) под псевдонимом «Н. Перепельский».

[19] С. 203. *«Шила в мешке не утаишь — девушки под замком не удержишь»* — водевиль Некрасова, поставленный на сцене Александринского театра 24 апреля 1841 г. (Репертуар русского театра, 1841, т. I, № 4; подпись: «Н. Перепельский»). *«Материнское благословение,* или Бедность и честь» — переделка Некрасовым пьесы А.-Ф. Деннери и Г. Лемуана «Божья милость, или Новая Фаншон» (1841). Поставлена на сцене Александринского театра 19 октября 1842 г.

[20] С. 204. Во вступлении к сборнику «Физиология Петербурга» (1845), инициатором издания которого был Некрасов, Белинский писал о необходимости появления в России «беллетрических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России...» (*Белинский,* VIII, 376—377). Белинский упоминает и называемое Григоровичем издание «Французы, описанные сами собою» — «Les Français peints par eux mêmes» (1840—1842).

[21] С. 205. Достоевский не только вышел из училища, но в начале лета 1844 г. уже подал в отставку со службы при С.-Петербургской

инженерной команде. Получил он отставку 17 октября того же года. Встреча Достоевского с Григоровичем, по-видимому, и произошла в ноябре—декабре.

[22] С. 205. Григорович учел замечание Достоевского в тексте «Петербургских шарманщиков», напечатанных в сборнике «Физиология Петербурга» (1845, ч. Г).

[23] С. 206. Перевод Достоевского, без подписи, был напечатан не в «Библиотеке для чтения», а в журнале «Репертуар и Пантеон» (1844, кн. VI и VII).

[24] С. 207. В «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский называет Бальзака в числе выдающихся французских писателей, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) он пишет, что «его <Бальзака> картины бедности и нищеты леденят душу своею ужасающею верностию», даже сопоставляет Бальзака с Шекспиром (*Белинский,* I, 279, 284). Но постепенно мнение его меняется на отрицательное (см., напр.: *Белинский,* IX, 396). Для Достоевского же, после первых его восторженных отзывов в ранних письмах к брату, Бальзак остался на всю жизнь одним из величайших художников.

[25] С. 207. См. примеч. 4 к с. 235.

[26] С. 208. «Бедные люди» были опубликованы в «Петербургском сборнике», вышедшем в январе 1846 г.

[27] С. 208. «Дневник писателя» за 1877 год. Январь, гл. вторая, IV (см. наст. том, с. 225—229).

[28] С. 209. История с «каймой» или «рамкой», которою будто бы требовал от Некрасова Достоевский «окружить» текст «Бедных людей» в «Петербургском сборнике», до сих пор остается неясной и загадочной. Сам Григорович писал о ней в своей «Записной книжке», опубликованной значительно позднее, причем речь шла уже не о «Бедных людях», а о «Двойнике» (Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1901 год, № 11, стлб. 393—394). Впервые же в печати сообщил об этом И. И. Панаев, не называя имени Достоевского, который в это время находился на военной службе в Семипалатинске (см.: Современник, 1855, № 12, с. 240). Затем П. В. Анненков писал об этой истории в журнальном тексте «Замечательного десятилетия» следующим образом: «Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе» (Вестник Европы, 1880, № 4, с. 479). Эта фраза, снятая Анненковым в издании «Воспоминания и критические очерки» (СПб., отд. III, 1883), хотя самое указание на этот эпизод и осталось, вызвала полемику между «Новым временем» и «Вестником Европы», так как никакой каймы вокруг «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» не оказалось. Об этом было сказано в «Новом времени» (1880, № 1473). Редакция «Вестника Европы» (Анненков в это время был за границей) отвечала, что «вся существенная сторона рассказа о «кайме» несомненна», но относила его не к «Бедным людям», а к другому произведению Достоевского — тому, которое должно

было появиться в подготавливавшемся Белинским альманахе «Левиафан» (Вестник Европы, 1880, № 5, с. 412—414). При этом редакция «Вестника Европы» ссылалась на «одно из лиц, весьма близко стоявших к редакции «Современника» той эпохи» (этим лицом мог быть или Григорович, или Тургенев, который в 1866 или 1867 гг. вспоминал о тех же «требованиях» Достоевского. — См. сб. «И. С. Тургенев». Орел, 1940, с. 53). Наконец, в «Новом времени», по поручению Достоевского, было заявлено, что ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» П. В. Анненковым насчет «каймы», не было и не могло быть» (Новое время, № 1515).

[29] С. 209. Чрезвычайно высокая оценка «Бедных людей» была дана Белинским в статье о «Петербургском сборнике» (*Белинский,* IX, 549—563). Но еще до этой статьи Белинский, не упоминая имени Достоевского, уведомил читателей о появлении «нового литературного имени, которому, кажется, суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим» (*Белинский,* IX, 407).

[30] С. 209. Чтение первых глав «Двойника» состоялось около 3 декабря 1845 г., но не у Некрасова, а у Белинского. Об этом чтении сам Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» за 1877 год (Ноябрь, гл. первая, II): «...кажется, в начале декабря 45-го года, Белинский настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. <...> Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей» (*Достоевский,* XXVI, 65—66). Об этом чтении см. также в воспоминаниях П. В. Анненкова, наст. том, с. 215. Напечатанная вскоре полностью в «Отечественных записках» (1846, № 2) повесть «Двойник» вызвала неприятие Белинского, о чем сам Достоевский сообщал в письме к М. М. Достоевскому от 1 апреля 1846 г., признавая при этом, что повесть ему в целом не удалась и что он «заболел от горя» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 119—120). Позднее, в «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский так оценил «Двойника»: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (там же, XXVI, 65).

[31] С. 210. Неточная цитата из письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. (*Белинский,* XII, 467). Но еще раньше, только что прочитав в октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1847 г. первую часть «Хозяйки», Белинский в письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября отозвался о новом произведении Достоевского крайне резко (*Белинский,* XII, 421). К этому времени разрыв Достоевского с кругом Белинского, намечавшийся уже с начала 1846 г., стал окончательным фактом, хотя случайные встречи Белинского и Достоевского и не были враждебными (см., напр., «Дневник писателя» за 1873 год, гл. «Старые люди». — *Достоевский,* XXI, 12).

[32] С. 210. Это место воспоминаний Григоровича явно полемично по отношению к соответствующему месту воспоминаний А. Я. Панаевой, где она в разрыве отношений Достоевского с кругом Белинского в значительной мере винит Тургенева (см. далее с. 219).

[33] С. 211. Это произошло, по-видимому, в 1846 г. Спор мог возникнуть на почве расхождения с кругом Белинского.

[34] С. 213. Алексей Николаевич Бекетов был товарищем Достоевского по Главному инженерному училищу (впоследствии А. Н. Бекетов стал известен как земский деятель в Пензенской губернии). Образовавшийся в начале 1846 г., почти одновременно с кружком Петрашевского, кружок Бекетовых имел явно выраженную социалистическую направленность, о чем свидетельствует, в частности, письмо Достоевского к брату от 26 ноября 1846 г.: «Брат, я возрождаюсь, не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мне столько обилия и ясности, столько ровности в характере, столько здоровья физического. Я много обязан в этом деле моим добрым друзьям Бекетовым, Залюбецкому и другим, с которыми я живу; это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером. Они меня вылечили своим обществом. Наконец, я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая, и все издержки, по всем частям хозяйства, всё не превышает 1200 руб. ассигнациями с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации!» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 134). К кружку принадлежали, кроме прочих, и будущие осужденные по делу Петрашевского А. Н. Плещеев и А. В. Ханыков. Кружок распался в связи с отъездом братьев Бекетовых в Казань (см. об этом: Поддубная Р. Н. Кружок Бекетовых в идейных исканиях Ф. М. Достоевского. — Вопросы русской литературы. Республиканский межведомственный научный сборник. Вып. 2(24). Львов, 1974).

П. В. АННЕНКОВ

ИЗ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Павел Васильевич Анненков (1812—1887) — мемуарист, историк литературы, литературный критик.

В ноябре 1843 года входит в кружок Белинского и оказывается вовлеченным в идейно-литературную борьбу, о которой подробно повествует в своей мемуарной книге «Замечательное десятилетие» (первая публикация — в «Вестнике Европы» за 1880 год). Ему также принадлежат воспоминания о Гоголе («Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года») и Тургеневе («Молодость И. С. Тургенева. 1840—1856», «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856—1862»).

Летом 1847 года Анненков становится свидетелем создания «Письма к Гоголю» Белинского. Позднее, в мемуарном отрывке «Две зимы

в провинции и деревне», он пишет: «Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 520—521).

Впоследствии Анненков активно выступает как литературный критик (ему, в частности, принадлежит обзор «Заметки о русской литературе прошлого года», напечатанный в первой книжке «Современника» за 1849 год и как бы продолживший традицию годичных обзоров Белинского); в пятидесятые годы видный представитель так называемой «эстетической» критики. Тогда же подготовил первое научное издание Сочинений А. С. Пушкина, т. 1—7 (СПб., 1855—1857).

Холодное, если не сказать — неприязненное отношение к Достоевскому, выражением чего явилось, в частности, обнародование пресловутой истории о «кайме» (см. выше, примеч. 28 к с. 209), сложилось у Анненкова под влиянием разрыва писателя с кругом Белинского.

Фрагмент о Достоевском из мемуарной книги «Замечательное десятилетие» печатается по изданию: Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983.

[1] С. 214. См. об этом воспоминания самого Достоевского, с. 225—229 наст. тома.

[2] С. 215. См. примеч. 30 к с. 209.

[3] С. 215. См. примеч. 28 к с. 209.

[4] С. 216. Достоевский так писал об этом в очерке «Старые люди» («Дневник писателя» за 1873 год): «В последний год его <Белинского> жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его» (*Достоевский,* XXI, 12). См. также примеч. к воспоминаниям Достоевского, с. 564—565 наст. тома.

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ»

Иван Иванович Панаев (1812—1862) — журналист и литератор; близкий друг Белинского и Некрасова, с которым вместе основал в 1847 году журнал «Современник», арендовав его у прежнего издателя П. А. Плетнева. До последних дней был одним из редакторов «Современника». Стоял у истоков «натуральной школы», автор «физиологических очерков» «Петербургский фельетонист» (1841), «Литературная тля» (1843), «Литературный заяц» (1844) и др.

Первым сообщил в печати об обстоятельствах передачи рукописи «Бедных людей» Белинскому (вероятно, со слов Некрасова; воспомина-

ния Григоровича были опубликованы значительно позднее). Писал, но не закончил «Литературные воспоминания» (1860—1861).

«Воспоминание о Белинском» И. И. Панаева впервые было опубликовано в журнале «Современник» (1860, № 1). Фрагмент из этого воспоминания печатается по изд.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.

[1] С. 217. Сам Достоевский вспоминал: «Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства» («Дневник писателя» за 1873 год, очерк «Старые люди». — *Достоевский,* XXI, 10).

А. Я. ПАНАЕВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Авдотья Яковлевна Панаева (Головачева; 1819—1893) — дочь известного актера-трагика Александринского театра в Петербурге Якова Григорьевича Брянского (Григорьева; 1790—1853); автор многих повестей и романов, под псевдонимом «Н. Н. Станицкий» (романы «Три страны света», 1848, и «Мертвое озеро», 1849, написаны совместно с Некрасовым). Особый интерес и историко-литературную ценность представляют ее талантливо написанные, хотя и не всегда достоверные, «Воспоминания» (писались они на склоне лет с опорой только на собственную память). Начав с рассказа о детстве и юности в театральной среде, Панаева, заинтересованная свидетельница литературно-общественной жизни 40—60-х годов, делает центром своих «Воспоминаний» круг литераторов, активных участников этой жизни, главным образом тех, кто группировался вокруг журнала «Современник».

Фрагменты из «Воспоминаний» А. Я. Панаевой печатаются по изданию: Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. М., 1972.

[1] С. 218. См. выше, с. 217.

[2] С. 218. В первый раз Достоевский посетил Панаевых 15 ноября 1845 г., о чем на другой день писал М. М. Достоевскому: «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 116). Известно свидетельство А. Г. Достоевской, что «увлечение Панаевой было мимолетно, но все же это

было единственным увлечением Достоевского в его молодые годы. В доме у них, где к Федору Михайловичу начали относиться насмешливо, неглупая и, по-видимому, чуткая Панаева пожалела Достоевского и встретила за это с его стороны сердечную благодарность и нежность искреннего увлечения» (Гроссман Л. Путь Достоевского. Л., 1924, с. 121).

[3] С. 218. Характерны в этом отношении письма Достоевского к брату от 16 ноября 1845 г. («Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более». — *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 115) и от 1 февраля 1846 г. («Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя», и т. п. — там же, 117).

[4] С. 219. Не исключено, что Панаева говорит здесь о Григоровиче, к которому чувствовала антипатию (как, в свою очередь, Григорович к ней; недаром он опасался публикации ее мемуаров; см. выше с. 554).

[5] С. 220. Такие «юмористические стихи» Тургенева неизвестны.

[6] С. 220. Вероятнее всего, речь снова идет о Григоровиче.

[7] С. 220. Впервые о романе «Двойник» Белинский печатно отозвался в статье о «Петербургском сборнике» (Отечественные записки, 1846, № 3), и этот отзыв был вполне положительным, хотя и с некоторыми оговорками относительно растянутости и однообразия языка героев (*Белинский,* IX, 563—565). Однако вскоре, по-прежнему высоко ставя талант Достоевского, Белинский сосредоточивает внимание на недостатках его произведений, написанных после «Бедных людей». Так, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», которую в данном случае и имеет в виду Панаева (Современник, 1847, № 1), Белинский пишет: «Все, что в «Бедных людях» было извинительными для первого опыта недостатками, в «Двойнике» явилось чудовищными недостатками, и это все заключается в одном: в неумении слишком богатого силами таланта определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи. <...> Но в «Двойнике» есть еще и другой существенный недостаток: это его фантастический колорит. Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов. <...> В десятой книжке «Отечественных записок» появилось третье произведение г. Достоевского, повесть «Господин Прохарчин», которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю...» (*Белинский,* X, 40—41).

[8] С. 221. О каком *разборе* идет речь, неясно. У Некрасова нет статей о сочинениях Достоевского.

[9] С. 221. *Пасквиль в стихах* — стихотворение Тургенева и Некрасова «Витязь горестной фигуры...» (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 1. М., 1978, с. 332, 544). В этом «пасквиле» также упоминается история о «кайме» (см. примеч. 28 к с. 209).

[10] С. 221. Спешнев, а также Петрашевский, Достоевский, Плещеев и Толь были арестованы в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г.

[11] С. 222. Переписка Достоевского с В. П. Боткиным неизвестна. Вряд ли в ней могло быть что-либо компрометирующее, если не считать самого факта ареста Достоевского, воспринятого Боткиным столь панически.

В. А. СОЛЛОГУБ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Владимир Александрович Соллогуб, граф (1813—1882) — беллетрист, водевилист, мемуарист. В 40-е годы, рядом своих повестей, в особенности повестью «Тарантас» (1840—1845), которой посвятил специальную антиславянофильскую статью-памфлет Белинский, сблизился с натуральной школой, но кругу Белинского остался чужд. В середине 50-х годов нашумела его благонамеренно-«обличительная» комедия «Чиновник» (1856) — о либеральном чиновнике-аристократе, борце со взяточничеством, высмеянная М. Е. Салтыковым-Щедриным в рассказе «Приезд ревизора» (1857).

Как вспоминал И. И. Панаев, Соллогуб «был увлечен «Бедными людьми» Достоевского и приставал ко всем нам: «Да кто такой этот Достоевский? Бога ради, покажите его, познакомьте меня с ним!» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 132). Как свидетельствует Достоевский в письме к брату от 16 ноября 1845 года, Соллогуб желал с ним познакомиться еще до выхода «Бедных людей» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 115). Сам Соллогуб пишет, что пришел к незнакомому ему еще Достоевскому, прочитав уже напечатанную повесть, то есть после 15 января 1846 года, когда «Бедные люди» появились в «Петербургском сборнике» (а не «в одном из тогдашних ежемесячных изданий»). О том, что Достоевский бывал у Соллогуба до своего ареста, мы узнаем из его письма к А. Е. Врангелю от 4 октября 1859 года из Твери (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 344).

Фрагмент из «Воспоминаний» В. А. Соллогуба печатается по журналу «Исторический вестник», 1886, июнь.

[1] С. 223. А. А. Краевский был издателем «Отечественных записок», где в феврале 1846 г. появился «Двойник».

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА 1877 ГОД

Ф. М. Достоевский неоднократно обращался в «Дневнике писателя» к воспоминаниям о годах своей юности, в частности и в особенности к своим отношениям с Белинским.

Можно сказать, что Белинский был «спутником» Достоевского всю его жизнь, то привлекая, то отталкивая его своими идеями, своими идеалами, всей своей нравственной личностью.

Впервые Достоевский обобщил смысл своих отношений с Белинским и причину расхождения с ним в «объяснении» следственной комиссии по делу петрашевцев (см.: *Достоевский,* XVIII, 126—128, 164—165).

Через двадцать лет после разрыва с кругом Белинского, в 1867 году, за границей, Достоевский пишет задуманную еще в России статью «Знакомство мое с Белинским». Именно в ней, как вспоминала А. Г. Достоевская, «мой муж хотел высказать о знаменитом критике все, что лежало у него на душе. Белинский был дорогой для Федора Михайловича человек» (*Достоевская,* с. 169). По-видимому, это противоречивое единство — «дорогой человек» и в то же время отрицаемый Достоевским после «перерождения убеждений» Белинский-атеист и социалист — составили стержень мучительно писавшейся статьи. К сожалению, статья пропала при пересылке. Однако, как предположил А. С. Долинин, статья эта «нашла свое отражение, хотя, быть может, и отдаленное, в статье тоже мемуарного характера — «Старые люди», в первом же номере «Дневника писателя» в «Гражданине» за 1873 год» (Достоевский Ф. М. Письма, т. 2. М.—Л., 1928, с. 388). В статье «Старые люди» тот же стержень, те же безмерно волновавшие Достоевского темы — социализм и христианство (кстати сказать, именно так — «Социализм и христианство» — называется заметка в записной тетради 1864—1865 годов. — *Достоевский,* XX, 191—194). В споре с Белинским проскальзывает здесь и враждебность к нему как к человеку.

Иначе окрашен печатаемый в настоящем сборнике рассказ в «Дневнике писателя» за 1877 год («Старые воспоминания») о первой встрече с Белинским, изложение глубоких высказываний критика, в связи с «Бедными людьми», о Достоевском-художнике. У писателя уже нет той неприязни, которую он питал к Белинскому десять лет назад. Он признается, что даже и теперь «укрепляется духом», вспоминая эту первую встречу. Изложение здесь не только фактически достоверно, но сделано великим художником, талант которого был так восторженно встречен Белинским. Достоевский хотел бы быть верным Белинскому, верным как художник, как нравственная личность. В этом смысле

в своих «старых воспоминаниях» он верен Белинскому. Но он, вероятно, подразумевал и другую верность — верность идеям Белинского, его общественному идеалу. Здесь дело обстоит сложнее, хотя несомненно, что в «Дневнике писателя» 1876—1877 годов Достоевский вновь заявил себя приверженцем утопического социализма в духе Жорж Санд, вновь повторил слова, вдохновлявшие его в молодости: «обновление человечества должно быть радикальное, социальное» (*Достоевский,* XXIII, 34).

Фрагмент из «Дневника писателя» за 1877 год (Январь, гл. вторая, IV) печатается по изд.: *Достоевский,* XXV.

[1] С. 225. В январской книжке «Отечественных записок» за 1877 г. напечатаны следующие стихотворения из «Последних песен» Некрасова: «Вступление», «Сеятелям», «Молебен», «З—не» («Зине»), «Пророк (Из Барбье)», «Дни идут... все так же воздух душен...», «Скоро стану добычею тленья...», «Друзьям».

[2] С. 225. Достоевский неоднократно посещал Некрасова в 1877 г., особенно в последние месяцы его предсмертной болезни (скончался Некрасов 27 декабря 1877 г.). Об одном из таких свиданий, 23 марта 1877 г., рассказывает в своем дневнике А. А. Буткевич: «Пришел Ф. М. Достоевский, брата связывали с ним воспоминания юности (они были ровесники), и он любил его. «Я не могу говорить, но скажите ему, чтобы он вошел на минуту, мне приятно его видеть». Достоевский посидел у него недолго. Рассказал ему, что был удивлен сегодня, увидав в тюрьме у арестанток «Физиологию Петербурга». В тот день Достоевский был особенно бледен и усталый; я спросила его о здоровии. «Нехорошо, — отвечал он, — припадки падучей все усиливаются; в нынешнем месяце уже пять раз повторились; последний был пять дней тому назад, а голова все еще не свежа; не удивитесь, что я сегодня все смеюсь; это нервный смех, у меня всегда бывает после припадка» (Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 441—442). См. также примеч. 11 к с. 229.

[3] С. 225. *Недоумения* — это и размолвка с Некрасовым по поводу памфлета «Витязь горестной фигуры...» (см. примеч. 9 к с. 221), и фактический отказ Некрасова напечатать в 1859 г. в «Современнике» написанную Достоевским в Сибири повесть «Село Степанчиково и его обитатели» (см.: Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. СПб., 1912, с. 275—278), и полемика некрасовского «Современника» с журналами «Время» и «Эпоха». Все это не помешало, однако, Достоевскому в марте 1874 г. предложить свой новый роман «Подросток» для публикации в журнале Некрасова, Салтыкова-Щедрина и Елисеева «Отечественные записки» (см. воспоминания В. В. Тимофеевой-Починковской, том второй наст. изд.). В связи с этим в апреле его посетил Некрасов (об отношениях Достоевского и Некрасова в период публикации в «Отечественных записках» романа «Подросток» см.:

Достоевская, с. 266—268; 272—273, 286—287; *Долинин. Последние романы*).

[4] С. 225. См. об этом воспоминания Григоровича.

[5] С. 225. См. примеч. 21 к с. 205.

[6] С. 225. Достоевский не совсем точен. Им до «Бедных людей» писались и другие произведения — драмы «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» (см. с. 185). Что касается «Бедных людей», то какие-то предварительные наброски были, возможно, сделаны еще в годы учения в Инженерном училище (см. примеч. 7 к с. 168). Однако свидетельства самого Достоевского, как в этом месте «Дневника писателя», так и в письмах, уверенно относят его основную работу над первым романом к 1844—1845 гг.

[7] С. 226. См. с. 204—205.

[8] С. 226. Григорович вспоминает, что Достоевский читал ему первому «Бедных людей» по рукописи. Григорович и отнес ее Некрасову (см. с. 208), Достоевский же пишет, что сам отнес рукопись Некрасову и что тогда произошла их первая встреча.

[9] С. 226. Речь идет о «Петербургском сборнике» (1846), в котором и были напечатаны «Бедные люди».

[10] С. 227. Некрасов приехал в Петербург в конце июля 1838 г., когда ему еще не исполнилось и семнадцати лет. В том же году в журнале «Сын отечества» (№ 5) было опубликовано первое его стихотворение. Однако и раньше, в гимназии, он писал сатирические стихи на своих товарищей и педагогов, за что и был из гимназии исключен (см.: Ашукин Н. С. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.—Л., 1935).

[11] С. 229. А. Г. Достоевская вспоминала: «Узнав, что Некрасов опасно болен, Федор Михайлович стал часто заходить к нему — узнать о здоровье. Иной раз просил ради него не будить больного, а лишь передать ему сердечное приветствие. Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим, и тогда тот читал мужу свои последние стихотворения и, указывая на одно из них, — «Несчастные» (под именем «Крота»), — сказал: «Это я про вас написал!», что чрезвычайно тронуло мужа» (*Достоевская,* с. 322). Не ошибаясь по существу, Анна Григорьевна неправильно относит поэму «Несчастные» к «последним стихотворениям». Позднее, уже после смерти Некрасова, в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год, Достоевский вновь рассказал об этом эпизоде, уточнив дату встречи, когда были сказаны эти слова: «...однажды, в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут об вас думал, когда писал это» (то есть об моей жизни в Сибири), «это об вас написано» (*Достоевский,* XXVI, 112).

[12] С. 229. Заключительная, четвертая строфа стихотворения «Скоро стану добычею тленья...» («Последние песни». — Отечественные записки, 1877, № 1). Курсив Достоевского.

[13] С. 229. Эта мысль была развита Достоевским в главе второй декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 год.

С. Д. ЯНОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ

Степан Дмитриевич Яновский (1815—1897) — врач, с 1877 года жил в Швейцарии, где и умер.

Достоевский обратился к нему за врачебной помощью в конце мая 1846 года. В течение следующих трех лет (до ареста Достоевского) Яновский постоянно наблюдал писателя как пациента. Об этих встречах, перешедших вскоре в дружеские, и рассказывается в его воспоминаниях. Это было время наиболее активного участия Достоевского в кружках Бекетовых и Петрашевского, но Яновский увидел лишь внешнюю сторону этого участия и истолковал ее превратно, хотя сообщаемые им факты ценны для биографии Достоевского. К тому же человеческий облик молодого Достоевского с его интересом к глубинам душевной жизни, благодаря доброжелательному и любовному отношению, Яновскому нарисовать удалось. Уже после смерти писателя он признавался А. Г. Достоевской: «Федор Михайлович сорок лет был для меня тот человек, в котором я постоянно видел идеал правды, чести и любви к ближнему и которого я любил и уважал беспредельно» (сб. «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы», т. II. Л., 1925, с. 379). Достоевский вспомнил Яновского в своем прощальном письме к брату от 22 декабря 1849 года из Петропавловской крепости (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 163).

О некоторых отрицательных сторонах характера Яновского, его самолюбии, раздражительности, ревности, Достоевский писал жене Яновского, актрисе А. И. Шуберт в письме от 12 июня 1860 года (*Достоевский,* XXVIII кн. II, 14). В конце 60-х годов «история Яновского и его характер» были положены Достоевским в основу образа Трусоцкого в «Вечном муже» (*Достоевский,* IX, 474—475).

«Воспоминания о Достоевском» С. Д. Яновского печатаются по журналу «Русский вестник», 1885, апрель.

[1] С. 230. Об этом *интеллигентном и артистическом обществе* см.: Поддубная Р. Н. Бекетовско-майковский круг в идейных исканиях Ф. М. Достоевского 1840-х годов. — Освободительное движение в России, вып. 8. Саратов, 1978.

[2] С. 233. Детство Достоевского, конечно, не было безоблачно-легким, но называть его «тяжелым и безотрадным» — явное преувеличение. Нежелание говорить об отце несомненно объясняется уверенностью в его позорно-трагической гибели (см. об этом с. 110 и 117 и примеч. к ним). Об особенной дружеской близости двух старших братьев Достоевских вспоминают многие мемуаристы (см. напр., с. 59). Об этом же свидетельствует и их переписка. Что касается Андрея Достоевского, он и сам не скрывал своей отдаленности от братьев.

[3] С. 233. В письме к О. Ф. Миллеру, хранящемся в рукописном отделе Пушкинского дома, Яновский привел ответы Достоевского на заданные ему вопросы о причинах выхода в отставку: «Отчего он не хочет, не оставляя литературы, служить и зачем он оставил именно инженерную карьеру?» На первый вопрос Достоевский будто бы ответил: «Прислуживаться тошно, да и не умею»; на второй: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь...» (*Достоевский в воспоминаниях,* I, 405—406). Миллер в «Материалах...», не называя Яновского, изложил его версию как несостоятельную, как lapsus memoriae, предпочтя версию А. Г. Достоевской (см. примеч. 11 к с. 170), о которой писал также и Савельев (см. с. 170). «Дневник» Яновского неизвестен.

[4] С. 235. В этом письме к А. Н. Майкову, напечатанном в газете «Новое время» (№ 1793 от 24 февраля/8 марта 1881 г.) под названием «Болезнь Ф. М. Достоевского», Яновский утверждал, что Достоевский страдал падучей болезнью (epilepsia) еще в Петербурге, до ссылки в Сибирь, но в легкой степени, хотя с ним и случались достаточно сильные припадки, вроде того, что описан Яновским в воспоминаниях. Письмо к А. Н. Майкову было ответом на «Письмо к издателю» А. М. Достоевского (Порядок, 1881, № 39) по поводу утверждения А. С. Суворина в статье «О покойном» (Новое время, № 1771; см. во втором томе наст. изд.), будто Достоевский страдал эпилепсией еще в детстве. Андрей Михайлович же доказывал, что «падучую болезнь брат Федор приобрел не в отцовском доме, не в детстве, а в Сибири». А. Е. Ризенкампф, «пользовавший» Достоевского до Яновского (то есть до 1845 г.) признаков падучей болезни у него не наблюдал и также полагал, что болезнь началась в Сибири, в Омском остроге. Вслед за приведенным выше (см. с. 552) фрагментом письма Ризенкампфа от 16 февраля 1881 г. к А. М. Достоевскому, вызванного как раз упомянутым «Письмом к издателю» последнего, следовало: «Несмотря на представительство этих лиц и вообще всех врачей, Федор Михайлович, однако, подвергся преследованию со стороны омского коменданта генерал-майора де Граве и ближайшего его сподвижника, тогдашнего плац-майора Кривцова. Последний дошел до того, что воспользовался первым случаем поправления его здоровья и выпискою из госпиталя, чтобы назначить его к исполнению самых унизительных работ вместе с другими арестантами, а вследствие некоторых возражений он даже подверг его телесному наказанию. Вы не представите себе ужас друзей покойного, бывших свидетелями, как, вследствие экзекуции, в присутствии личного его врага Кривцова, Федор Михайлович, при его нервном темпераменте, при его самолюбии, в 1851 году в первый раз поражен был припадком эпилепсии, повторявшимся после того ежемесячно...» (*ЛН,* 86, 549). В письме от 10 марта 1881 г. Ризенкампф ссылается в подтверждение своей версии на штаб-доктора Омского острога И. И. Троицкого, который говорил ему: «Жаль, жаль Достоевского!

дошло до того, что он у нас нажил падучую болезнь!» Впоследствии, во время службы моей при Омском остроге, он мне не раз повторял эти слова...» (там же, 551). В свидетельстве о прапорщике Достоевском от 16 декабря 1857 г. лекаря при Сибирском линейном батальоне Ермакова также констатировано, что тот «в первый раз подвергся припадку падучей болезни» во время пребывания в Омском остроге (Гроссман Л. П. Материалы к биографии Ф. М. Достоевского. — Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., 1958, с. 565). Возможно, что те нервные проявления, которые наблюдал Яновский у молодого Достоевского, определены им как признаки эпилепсии на том основании, что позднее эта болезнь писателя стала несомненным фактом: мемуарист как бы смотрит в прошлое из настоящего. По мнению Ризенкампфа, прочитавшего опубликованное в «Новом времени» «Письмо к А. Н. Майкову» Яновского, тот, «по преклонности лет», «многое позабыл и перепутал» (*ЛН,* 86, 550). Что касается «экзекуции», см. воспоминания П. К. Мартьянова, с. 343 наст. тома и примеч. к ней.

[5] С. 235. О спиритизме Достоевский писал в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год (гл. третья, II) (*Достоевский,* XXII, 32—37).

[6] С. 238. Подразумевается издатель «Отечественных записок» Андрей Александрович Краевский.

[7] С. 238. «Эпизод из неоконченного романа» *«Сон Обломова»* И. А. Гончарова был напечатан в «Литературном сборнике с иллюстрациями», вышедшем 26 марта 1849 г.

[8] С. 239. *Галл* (правильнее Галль, Gall) Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель так называемой френологии — учения о соответствии размеров и форм черепа психическим особенностям человека.

[9] С. 241. Яновский или ошибается, или приписывает молодому Достоевскому его позднейшие суждения о социализме, не вполне понимая их. Достоевский не только знал учения французских утопических социалистов, но и в период близости к Белинскому и Петрашевскому глубоко им сочувствовал.

[10] С. 242. Все описанное здесь Яновским происходило вечером 22 апреля 1849 г. По записи Достоевского в альбоме Л. А. Милюковой, он заходил в эту ночь еще к Н. П. Григорьеву (см. наст. том, с. 270). По возвращении домой в четвертом часу утра 23 апреля Достоевский был арестован.

[11] С. 242. См. примеч. 4 к с. 235.

[12] С. 243. *«Петербургские углы* (из записок одного молодого человека)» очерк Некрасова, извлеченный из неоконченного и не напечатанного при жизни его романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (опубликован очерк в сборнике «Физиология Петербурга», ч. I. СПб., 1845). Я. П. Буткову принадлежал сборник очерков и рассказов в двух частях под названием «Петербургские вершины» (СПб., 1845—1846). Впрочем, возможно, Яновский указывает

на характерную особенность тематики физиологических очерков натуральной школы вообще.

[13] С. 244. А. Н. Плещеев родился в ноябре 1825 г., так что ему в описываемое время должно было быть около двадцати двух лет.

[14] С. 244. М. М. Достоевский отбыл из Ревеля в Петербург 25 сентября 1847 г. и после трехмесячного отпуска вышел в отставку (см.: Конечный А. М. М. М. Достоевский на службе в инженерных командах. 1838—1847. — *Материалы и исследования,* 2, 236). По-видимому, к самому концу сентября и следует отнести начало совместного житья братьев Достоевских.

[15] С. 244. Речь идет о персонаже повести «Честный вор» Астафии Ивановиче (первоначально, до позднейшей переделки, под заглавием «Рассказы бывалого человека (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор» — в четвертой книжке «Отечественных записок» за 1848 г.).

[16] С. 244. Сам Достоевский о своем знакомстве с Петрашевским сообщил следственной комиссии следующее: «Я знаком с Петрашевским ровно три года. Я увидал его в первый раз весною 1846 года. <...> Знакомство наше было случайное. <...> Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство. Эта первая встреча с Петрашевским была накануне моего отъезда в Ревель <в Ревель Достоевский прибыл пароходом 25 мая 1846 г.>, и увидал я его потом уже зимою. Мне показался он очень оригинальным человеком, но не пустым; я заметил его начитанность, знания. Пошел я к нему в первый раз уже около поста, сорок седьмого года» (*Достоевский,* XVIII, 136—138).

[17] С. 245. Достоевский, конечно, не был анархистом в точном понимании этого слова, но «заговорщиком» он все же был (см. далее воспоминания А. Н. Майкова о замысле создания узкого по составу тайного общества с участием Достоевского — с. 252—255, а также с. 11—12 наст. тома).

[18] С. 245. Перед Антонелли (см. о нем примеч. 20 к с. 266), по сведениям А. Ф. Возного, «ставится задача: убедить Петрашевского, что у него, Антонелли, есть обширные связи среди племен Кавказа, недавно завоеванных и очень недовольных царизмом. Чтобы укрепить легенду, Антонелли с помощью Липранди создает из числа дворцовой стражи группу «свирепых черкесов», якобы временно гостящих у него, и знакомит с ними Петрашевского». Цель знакомства — пропаганда среди «черкесов» (Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. Киев, 1985, с. 61; ср.: *Дело петрашевцев,* III, 384—385, 408—409).

[19] С. 246. Достоевский прав. Таких слов в Евангелии нет. Выражение пошло от неверно понятого церковнославянского текста Библии (Псалтирь, XXXII, 17): «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется», то есть: «Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею».

[20] С. 246. Достоевский любил музыку не только до ареста, но и впоследствии, о чем рассказывала в «Дневнике» (см. том второй наст. изд.) и в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская. Особенным его пристрастием пользовалась музыка Моцарта и Бетховена.

[21] С. 248. Николай Александрович *Спешнев* (1821—1882) занимает особое место в русском социалистическом движении 40-х гг. Несомненно, он был организатором и вдохновителем той конспиративной группы, которая сложилась в рамках кружка С. Ф. Дурова и присоединиться к которой предложил Достоевский А. Н. Майкову (см. далее, с. 252). Идеи его, в сложной идейной амальгаме движения петрашевцев, были наиболее радикальны как в социальном, так и политическом отношении. Достоевский, конечно, не без глубоких размышлений и душевного волнения вошел в эту группу. Нервно-возбужденное состояние его было отмечено Яновским, но истинную причину такого состояния Достоевский не мог открыть своему приятелю, чуждому идей и деятельности петрашевцев (см.: Долинин А. С. Достоевский среди петрашевцев. В сб. «Звенья», т. 6. М., 1936; Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988, с. 156—165).

[22] С. 251. Яновский имеет в виду письмо Достоевского от 17 декабря 1877 г. (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 179). Его объяснение высказываний Достоевского в «Дневнике писателя» о «тайном обществе» и «заговоре» несостоятельно.

А. Н. МАЙКОВ

<ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВИСКОВАТОВУ>
<РАССКАЗ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ И ПЕТРАШЕВЦАХ В ЗАПИСИ А. А. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА>

Аполлон Николаевич Майков (1821—1897) — поэт, сын художника Николая Аполлоновича Майкова, ближайший друг Достоевского на протяжении всей его жизни. Посещал Белинского, высоко ценившего его стихотворения в антологическом роде (например, «Сон»). В 1846 году у Белинского он и познакомился с Достоевским. Особенно близко сошелся Достоевский с А. Н. Майковым в доме Майковых, в бекетовско-майковском кругу (см.: Поддубная Р. Н. Бекетовско-майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х годов. — Освободительное движение в России, вып. 8. Саратов, 1978). В 1846—1847 годах присутствовал на ряде «пятниц» Петрашевского. В последнем, перед отправлением на каторгу, письме к брату от 22 декабря 1849 года Достоевский особо отметил свою близость с семейством Майковых: «Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи, что я их всех благодарю за их постоянное участие к моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня, Евгении Петровне <матери Аполлона, Валерьяна

и Владимира Майковых>. Я ей желаю много счастия и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майкову; а затем и всем» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 163). 28 января 1881 года А. Н. Майков был свидетелем последних минут Достоевского.

Адресат письма Павел Александрович Висковатов (Висковатый) — историк литературы, профессор Дерптского университета; исследователь творчества Жуковского и Лермонтова; автор первой биографии Лермонтова, помещенной в т. 6 издававшегося им собрания сочинений поэта (1889—1891). Датируется письмо Майкова к Висковатову 1885 годом. В наст. изд. печатается часть письма к Висковатову, касающаяся событий, связанных с делом петрашевцев (*Достоевский,* XVIII).

Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913) — поэт, приятель Майкова. Записал рассказ Майкова в восьмидесятых годах. В наст. изд. рассказ печатается по тексту: *Достоевский,* XVIII.

[1] С. 252. См. с. 11—12 наст. тома.

[2] С. 252. Имеется в виду Валерьян Майков, умерший летом 1847 г. К этому кружку принадлежал и М. Е. Салтыков (впоследствии — Щедрин).

[3] С. 252. По-видимому, это произошло позднее, осенью 1848 г., а может быть, даже и в январе 1849 г. Ср. с. 255.

[4] С. 253. Б. Ф. Егоров выразил сомнение по поводу того, что станок находился у Мордвинова: «Мордвинов не был арестован, его не держали в крепости, а лишь вызвали на допрос в начале сентября; если тогда и был обыск в его квартире, неужели Мордвинов свыше четырех месяцев после арестов друзей спокойно держал станок в комнате, не подумав об его укрытии или уничтожении?! Не спутал ли Майков квартиры Мордвинова и Спешнева?» (Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988, с. 163). Мордвинов все же принимал участие в организации тайной типографии (см.: Лейкина-Свирская В. Р. Революционная практика петрашевцев. — Исторические записки, т. 47. М., 1954, с. 218). «Замысел организации тайной типографии был раскрыт, хотя и недооценен следственной комиссией» (там же, с. 217).

[5] С. 253. А. Н. Майков был арестован 2 августа 1849 г.

[6] С. 257. Участие в этом «особом тайном обществе» Вл. Милютина сомнительно, поскольку он уже давно не посещал кружок Петрашевского (см.: Егоров Б. Ф. Петрашевцы, с. 163).

А. П. МИЛЮКОВ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

Александр Петрович Милюков (1817—1897) — историк литературы, критик, педагог. Посещал кружок И. И. Введенского (см. далее, с. 260). Там сошелся с некоторыми из видных петрашевцев, в особенности

близко с А. Н. Плещеевым, который ввел его в кружок С. Ф. Дурова, где Милюков и познакомился зимой 1848 года с Достоевским. Собрания Петрашевского не посещал, а кружок Дурова увидел только с одной стороны — как собрание литераторов и музыкантов. Деятельность наиболее активной и конспиративной группы внутри кружка, куда входили Спешнев и Достоевский, осталась ему неизвестной (впрочем, так же как, в целом, и следствию). Поскольку его имя всплывало в показаниях петрашевцев, в августе 1849 года привлекался следственной комиссией к допросу, но ни арестован, ни привлечен к суду не был, хотя за ним и был установлен секретный надзор. Достоевский показал на допросе в следственной комиссии: «Г-н Милюков на вечерах Дурова был как и все гости. Так как он сам литератор, то знакомство его с Дуровым и с обществом, которое собиралось у Дурова, было литературным знакомством. Милюкова, казалось мне, все любили за веселый и добродушный характер <...> Раз он как-то сказал, — не помню, к какому разговору, — что у него есть переложение известной статьи Ламенне на славянский язык. Это показалось странным и любопытным и его просили показать. Милюков наконец принес ее и прочел» (*Достоевский,* XVIII, 168—169; о «статье» Ламенне см. далее, с. 264).

22 декабря 1849 года Милюков сопровождал М. М. Достоевского во время прощания с Достоевским и Дуровым в Петропавловской крепости, а впоследствии, в декабре 1859 года, вместе с М. М. Достоевским, встречал возвращавшегося из ссылки Достоевского на Николаевском вокзале.

В 1848 году вышла написанная под влиянием идей Белинского книга Милюкова «Очерки по истории русской поэзии», сделавшая его имя известным в литературных кругах. По поводу второго издания книги Н. А. Добролюбов написал свою концептуальную статью «О степени участия народности в развитии русской литературы».

О встречах Милюкова с Достоевским после возвращения в Петербург см. также далее в воспоминаниях Н. Н. Страхова.

Мемуарный очерк А. П. Милюкова «Федор Михайлович Достоевский», опубликованный в «Русской старине» за 1881 год (№ 3 и 5), в наст. изд. печатается по кн.: Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.

[1] С. 259. *Пий IX* — римский папа с 1846 по 1878 г. В 40-е гг. приобрел популярность своими либеральными реформами в Папском государстве, подписанием конституции, освобождением политических узников и т. п. А. И. Герцен в «Письмах из Франции и Италии» (письмо шестое от 4 февраля 1848 г.) так охарактеризовал начало деятельности Пия IX: «Пий IX в самом деле был одушевлен желанием добра, когда сел на престол, первое время его понтификата было истинно поэтической эпохой» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V. М., 1955, с. 105). Эти обстоятельства побудили некоторых участников италь-

янского национально-освободительного движения видеть в папе будущего объединителя Италии. Однако очень скоро, уже в январе 1849 г., в разгар революции, Пий IX бежал из Рима, где была провозглашена республика, и возглавил контрреволюцию. Позднее, в 60—70-е гг., возглавил воинствующий католицизм, при нем в июле 1870 г. Вселенский собор провозгласил догмат о непогрешимости папы. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год (Март, гл. первая, V) назвал этот собор «нечестивым» (*Достоевский,* XXII, 89). Римское католичество, писал он здесь, «продало Христа за земное владение» (там же, с. 88). Не исключено, что деятельность Пия IX сыграла свою роль в творческой истории поэмы «Великий инквизитор» (см.: Евнин Ф. И. Достоевский и воинствующий католицизм. — Русская литература, 1967, № 1).

[2] С. 259. Уже 23 февраля 1848 г. (старого стиля) начальник III Отделения и шеф жандармов граф А. Ф. Орлов представил Николаю I «всеподданнейший доклад» «О журналах «Современник» и «Отечественные записки». Император на этом документе начертал: «Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства <...> и которые журналы и в чем вышли из своей программы». Этот особый секретный комитет под председательством генерал-адъютанта князя А. Д. Меншикова (так называемый «меншиковский комитет») немедля приступил к «ревизии русской литературы» (по позднейшему выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина). Жертвой этого комитета пал как раз Салтыков, автор повестей «Противоречия» и «Запутанное дело». Несколько позднее, 2 апреля, был учрежден новый, постоянный комитет под председательством Д. П. Бутурлина («бутурлинский комитет»), для «высшего надзора за журналистикой и наблюдающими над нею учреждениями» (см.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература, изд. 2-е. СПб., 1909, с. 175—177). П. В. Анненков писал об этом времени в мемуарных заметках «Две зимы в провинции и деревне»: «По приезде из Парижа в октябре 1848 года состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ, оставление только что возникшего крестьянского вопроса в стороне, борьба между обскурантизмом и просвещением и ожидание войны» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 518).

[3] С. 259. Имеется в виду первый, так называемый «февральский период» революции (24 февраля — 4 мая 1848 г. нового стиля), когда была провозглашена республика, приняты декреты о «праве на труд», сокращении рабочего дня, введении всеобщего избирательного права и т. п. «Первый петрашевец» (по выражению Б. Ф. Егорова) М. Е. Салтыков-Щедрин через тридцать лет в цикле «За рубежом» вспоминал

о настроениях русского общества этого времени: «Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана. <...> Я помню, это случилось на масленой 1848 года <масленая неделя в 1848 году приходилась на 16—22 февраля старого стиля>. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. <...> Помнится, к концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобного рода известия доходили до публики как-то неправильно и по секрету). Затем, в течение каких-нибудь двух-трех дней, пало регентство, оказалось несостоятельным эфемерное министерство Одилона Барро <...> и в заключение бежал сам Луи-Филипп. Провозглашена была республика, с временным правительством во главе; полились речи, как из рога изобилия... Но даже ламартиновское словесное распутство — и то не претило среди этой массы крушений и нарождений. Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страною чудес» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 14. М., 1972, с. 113).

[4] С. 259. *Франкфуртский съезд,* или так называемый «Предварительный парламент» (Vorparlament) — собрание представителей немецкой либеральной буржуазии и интеллигенции, вызванное к жизни революционными событиями 1848 г. (открылось 31 марта). На Франкфуртском съезде было решено созвать парламент, избранный во всех германских государствах всеобщей подачей голосов. Этот парламент (Франкфуртское национальное собрание) собрался 18 мая 1849 г., заседал в Штутгарте, главном городе Баден-Вюртенбергского королевства, однако в связи со спадом революционного движения был разогнан вюртенбергскими войсками.

[5] С. 260. *Иринарх Иванович Введенский* (1813—1855) — переводчик, педагог, критик; земляк Н. Г. Чернышевского. В конце 40-х гг. у Введенского собирался кружок передовой молодежи, преимущественно студентов, учителей и литераторов из разночинцев, в той или иной мере причастных к идейным исканиям петрашевцев (подробнее см.: Медведев А. П. Н. Г. Чернышевский в кружке И. И. Введенского. — «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», вып. I. Саратов, 1958).

[6] С. 260. Первая книжка стихотворений А. Н. Плещеева вышла в 1846 г. В ней и были напечатаны стихотворения «Поэту» (с эпиграфом из популярного среди петрашевцев французского поэта О. Барбье: «Le poète doit être un protestant sublime // Du droit et de l'humanité» («Поэт должен быть возвышенным мятежником во имя правды и человечности») и «Вперед, без страха и сомненья...». С Достоевским Плещеев познакомился, по-видимому, еще в 1846 г. в бекетовско-майковском кругу. Плещееву Достоевский посвятил вскоре свою повесть о «мечтателе» «Белые ночи». Рядом с Плещеевым стоял Достоевский на Семе-

новском плацу во время обряда смертной казни. Их дружба сохранилась на всю жизнь.

[7] С. 261. Это тенденциозное утверждение А. П. Милюкова, по словам О. Ф. Миллера, «положительно отрицал» уже петрашевец И. М. Дебу (*Биография,* с. 91). Вообще отношение к Петрашевскому разных участников его кружка было сложным и неоднозначным, однако недаром близкий к петрашевцам, а позднее к Герцену В. А. Энгельсон назвал его «святым» (см.: Первые русские социалисты. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. Л., 1984, с. 60), а Салтыков в трудные годы вятской ссылки мысленно обращался к образу Петрашевского: «Помню я и тебя, многолюбимый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?» («Губернские очерки», очерк «Скука». — Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 2. М., 1965, с. 228).

[8] С. 261. По показаниям С. Ф. Дурова следственной комиссии, литературные собрания начались у него на квартире в начале марта 1849 г.; то же показал и Плещеев (см.: *Дело петрашевцев,* III, 200 и 309). Толкование деятельности кружка Дурова как литературно-музыкального поддерживали в своих показаниях многие петрашевцы, в частности, А. И. Пальм, живший с Дуровым на одной квартире. На вопрос следственной комиссии: «Чем занимались у вас на вечерах, какая была их цель и кто на них участвовал?» — Пальм отвечал: «Первоначально Пальм, Дуров, оба Достоевские, Плещеев, Филиппов и Кашевский, толкуя иногда о вечерах Петрашевского, находя, что они бывают иногда скучны и монотонны своими речами, вздумали устроить вечера, на которых бы кроме музыки и литературы ничего не было. <...> Когда Момбелли упомянул о том, не пригласить ли Петрашевского, то Дуров первый был против него: он сказал (подлинные его слова): «Петрашевский как бык уперся в философию и политику; он изящных искусств не понимает и будет только портить наши вечера» (*Дело петрашевцев,* III, 273). Однако подлинной причиной неприглашения Петрашевского на вечера у Дурова была иная: создание в рамках кружка строго законспирированной группы, о чем рассказывает в своих воспоминаниях А. Н. Майков (см. выше, с. 252—258).

[9] С. 262. Под названием «Уединение» при жизни Пушкина печаталась лишь первая часть (34 стиха) стихотворения «Деревня» (1819), полностью распространявшегося в списках. Вторую часть, со стиха «Но мысль ужасная здесь душу омрачает...», Пушкин заменял в печати четырьмя строками точек. О том, что Достоевский знал и читал полный текст стихотворения, свидетельствует приводимая Милюковым цитата из запрещенной к публикации заключительной части стихотворения.

[10] С. 262. В своем «Объяснении» следственной комиссии Достоевский писал: «Я говорил <на собраниях кружка Петрашевского> об цензуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об этом;

ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя, уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением. <...> Без литературы не может существовать общество, а я видел, что она угасала...» (*Достоевский,* XVIII, 123—124, 126).

[11] С. 263. Так называли Державина по известной его «Оде к Фели-е» — посланию к Екатерине II.

[12] С. 263. В библиотеке петрашевцев имелись две первые, запрещенные к распространению в России, книги французского мелкобуржуазного социалиста Пьера Жозефа Прудона «Qu'est-ce que la propriété?» («Что такое собственность?», 1840) и «Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère» («Система экономических противоречий, или Философия нищеты», 1846), так же как и книга К. Маркса «Нищета философии» (1847), с критико-аналитическим изложением политико-экономических идей Прудона (см.: Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Биография. 1. Изд. 2. М., 1951, с. 523—524). Сочинения Прудона, в частности, обсуждались на заседании у Петрашевского 8 апреля 1849 г. и наряду с одобрением вызывали и критические суждения (*Дело петрашевцев,* II, 171, 203). Так, выписки из бумаг Петрашевского, находившиеся в следственной комиссии, свидетельствуют, что в заметках о «Философии нищеты» Прудона, возможно, под влиянием Маркса, Петрашевский излагал свои сомнения относительно мыслей французского социалиста «о предметах, подлежащих суждению политической экономии, например, о капитале, его производительности, ценности вещей и проч.» (*Дело петрашевцев,* I, 514).

[13] С. 264. Имеется в виду коммуна, описанная в философском социальном романе французского утопического коммуниста Этьена Кабе «Путешествие в Икарию», вышедшем в Париже в 1840 г. В письмах «К старому товарищу» (Михаилу Бакунину) (1869) Герцен назвал утопическую социальную систему, созданную Кабе, «коммунистической барщиной». Речь идет также об описанном в сочинениях Фурье «фаланстере», или «фаланстерии» (фр. — phalanstère), общежитии членов «ассоциации» — земледельческой трудовой общины, или «фаланги».

[14] С. 264. Это был перевод введения к сочинению французского христианского социалиста аббата Фелисите Робера де Ламенне (1782—1854) «Слова верующего» (в переводе Милюкова этот текст был назван «Новое откровение митрополиту Антонию Новгородскому. СПб., и др.»). В показаниях С. Ф. Дурова следственной комиссии об этом сочинении говорилось: «Содержание этой статьи взято частию из Святого Евангелия, частию из пророчеств; смысл же тот, что слабые угнетаются сильными и что сам Иисус Христос предан был архиереями

и князьями на осуждение» (*Дело петрашевцев,* III, 202). Перевод Милюкова не сохранился, но зато сохранились все сорок три главы книги Ламенне (кроме введения), переведенные петрашевцами А. Н. Плещеевым и Н. А. Мордвиновым (см.: Никитина Ф. Г. Петрашевцы и Ламенне. — *Материалы и исследования,* 3, 256—258).

[15] С. 265. Письмо Белинского к Гоголю привез в марте 1849 г. из Москвы А. Н. Плещеев. Достоевский читал его на «пятнице» Петрашевского 15 апреля.

[16] С. 265. Имеется в виду резкий антимонархический фельетон Герцена «Москва и Петербург» (1842), распространявшийся в списках и читанный на вечере у Плещеева самим Милюковым (см.: *Дело петрашевцев,* III, 248).

[17] С. 265. Перевод поэмы О. Барбье «Chiaia» из сборника «Il Pianto» (*ит.* — «Плач»). (Киайя — морское побережье возле Неаполя.) Цензурные пропуски строк, которые могут быть истолкованы в революционном смысле, отмечены в публикации перевода многоточием (см.: Поэты-петрашевцы. Л., 1957, с. 176 н 359—360).

[18] С. 265. О Николае Адамовиче Кашевском как участнике литературно-музыкальных вечеров у Дурова упоминает в своих показаниях А. И. Пальм (см. примеч. 8 к с. 261; Кашевский привлекался к допросу, но арестован не был, а лишь подвергнут секретному надзору). Исполнение увертюры к «Вильгельму Теллю» Дж. Россини не является случайностью. Она, как и вся опера, шедшая в России, по требованию цензуры, под названием «Карл Смелый», была выражением оппозиционных настроений.

[19] С. 266. Об аресте Андрея Михайловича Достоевского см. в его воспоминаниях в наст. томе.

[20] С. 266. Позорным ремеслом агента-провокатора занимался Петр Дмитриевич Антонелли, сын довольно известного художника, академика живописи Д. И. Антонелли. П. А. Кузмин (1819—1885), арестованный по делу петрашевцев 23 апреля 1849 г. и выпущенный из крепости в сентябре того же года, вспоминал позднее о «негодяе» Антонелли, «по доносу которого выдумано дело Петрашевского и по которому так много невинно пострадавших» (Русская старина, 1895, апрель, с. 77).

[21] С. 267. М. М. Достоевский был арестован в ночь с 6 на 7 мая 1849 г., и в это же утро освобожден А. М. Достоевский. Освобождение Михаила Михайловича последовало 24 июня.

[22] С. 272. По предположению А. Ф. Возного, это не была «оплошность» со стороны помощника Дубельта, жандармского чиновника А. А. Сагтынского, распоряжавшегося в зале, где арестованные ждали вызова к Дубельту. Дело в том, что Антонелли был полицейским агентом, а не агентом III Отделения. Соперничество между двумя ведомствами политического сыска могло выразиться в намеренном раскрытии агента министерства внутренних дел, тем более что Салынский враждебно относился к шпионам-доносчикам (см.: Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. Киев, 1985, с. 61).

[23] С. 272. Петрашевский уже «на эшафоте объявил, что он подвергался пытке и будет требовать пересмотра дела и что приговор юридически недействителен» (Записка о деле петрашевцев. Рукопись Ф. Н. Львова с пометками М. В. Буташевича-Петрашевского. — *ЛН,* 63, кн. III, 188; эта запись сделана рукой Петрашевского). И впоследствии, уже выйдя на поселение после манифеста 26 августа 1856 г., Петрашевский продолжал упорно требовать пересмотра своего дела, разбирая в многочисленных прошениях и даже кассационных заявлениях в Сенат ход судопроизводства с точки зрения его законности. Эта деятельность стоила ему многих новых преследований — высылок и переселений с места на место в Сибири.

[24] С. 273. Неточные цитаты из письма к М. М. Достоевскому от 22 декабря 1849 г. (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 162, 163).

[25] С. 273. Цитируются не совсем точно три строфы из стихотворения Плещеева «С. Ф. Дурову», датированного 18 июля 1857 г.

[26] С. 273. См. примеч. 4 к с. 235.

[27] С. 274. Ф. М. Достоевский приехал в Тверь числа 18—19 августа 1859 г. М. М. Достоевский выехал к нему 27 августа.

[28] С. 274. Мария Дмитриевна Исаева-Достоевская умерла 15 апреля 1864 г. в Москве. Известна философски-трагическая запись Достоевского, сделанная им на другой день: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..» (*Достоевский,* XX, с. 172).

[29] С. 274. Павел Александрович Исаев (1848—1900), сын М. Д. и А. И. Исаевых; наделенный неуживчивым, беспокойным и эгоистичным характером, требовал постоянных забот Достоевского, часто вызывавших справедливое недовольство А. Г. Достоевской.

[30] С. 274. В письме к брату от 30 января — 22 февраля 1854 г. из Омска Достоевский писал о своем желании «писать романы и драмы» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 174). Вместе с тем он, возможно, задумывал и какое-то философское сочинение, поскольку в этом же письме просил брата прислать ему «Критику чистого разума» Канта и «непременно *Гегеля,* в особенности Гегелеву «Историю философии», прибавляя при этом: «С этим вся моя будущность соединена!» (там же, с. 173). Позднее, в начале 1856 г., Достоевский начал писать, но не закончил, статью «Письма об искусстве» («Это собственно о назначении христианства в искусстве». — *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 229; статья не сохранилась).

[31] С. 275. В таком духе высказались о «Записках из Мертвого дома» Тургенев и Герцен. Тургенев писал Достоевскому 26 декабря 1861 г. (7 января 1862 г.) из Парижа: «Очень Вам благодарен за присылку 2 № «Времени», которые я читаю с большим удовольствием. Особенно — Ваши «Записки из Мертвого дома». Картина *бани* просто дантовская...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма, т. 4. М., 1987, с. 394). Герцен в статье «Новая фаза в русской литературе» (1864) писал, что эпоха пробуждения после смерти Николая I «оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum

<ужасающую песнь>, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это «Мертвый дом» Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей-каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII. М., 1959, с. 219).

[32] С. 275. По-видимому, речь идет о главе «Товарищи», которая при публикации в майской книжке журнала «Время» за 1862 г. была заменена тремя строками точек. Однако в двенадцатой книжке она все же была напечатана, правда, неясно, в первоначальном ли ее виде или с цензурными пропусками.

[33] С. 278. Этот эпизод из главы VIII части первой действительно лишь «несколько», а точнее, весьма отдаленно, похож на рассказанный Достоевским устно.

[34] С. 280. Достоевский впервые уехал за границу 7 июня 1862 г., 4/16 июля в Лондоне посетил Герцена и вручил ему «Записки из Мертвого дома» (переплетенные в книгу главы, печатавшиеся во «Времени»). В Лондоне же познакомился с М. А. Бакуниным. Результатом этой поездки стали «Зимние заметки о летних впечатлениях» («Время», 1863, № 2 и 3), написанные под сильным впечатлением некоторых идей Герцена (см.: *Долинин. Последние романы.* Глава «Достоевский и Герцен»).

[35] С. 280. См. об этом в воспоминаниях Н. Н. Страхова и примеч. к ним.

[36] С. 280. Имеется в виду исключительно резкая полемика «Эпохи» с «Современником». Однако причиной прекращения издания была не невозможность «бороться с враждебной кликой», а тяжелые условия, в которых журнал издавался, его неуспех, финансовые затруднения.

[37] С. 281. См. воспоминания Н. Н. Страхова, с. 469—470.

[38] С. 281. Вскоре после прекращения журнала «Эпоха» на апрельской книжке за 1865 г. (вышла после 16 июня) Достоевский уезжает за границу.

[39] С. 281. Это письмо от начала сентября 1865 г. сохранилось только в тех фрагментах, которые опубликованы здесь Милюковым. Действительно, задуманная литературная работа — роман «Преступление и наказание».

[40] С. 281. В первую очередь речь идет о распространившемся в литературных кругах того времени мнении, будто памфлет Достоевского «Крокодил» (Эпоха, 1865, № 2; вышел в свет 22 марта) является пасквилем на сосланного в каторгу Чернышевского. Позднее, в главе IV «Дневника писателя» за 1873 год, Достоевский решительно отверг это мнение как несостоятельное: «Значит, предположили, — писал он здесь, — что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастного»; мало того — написал на этот случай радостный

пашквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории?» (*Достоевский,* XXI, 29). Сводку всех материалов, касающихся этой темы, см. в примеч. Е. И. Кийко к «Крокодилу». — *Достоевский,* V, 387—394.

[41] С. 282. Достоевский вернулся в Петербург около 10 октября 1865 г.

[42] С. 282. В начале 60-х гг. Достоевский нередко полемизировал в своих журналах «Время» и «Эпоха» с М. Н. Катковым не только по литературным вопросам. Размолвка с редакцией «Русского вестника» в описываемое время произошла по поводу публикации главы «Преступления и наказания» о чтении Соней Мармеладовой Евангелия Раскольникову. Сам Достоевский писал об этом Милюкову 10—16 апреля 1866 г.: «Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за *нравственность.* В этом я был прав, — ничего не было против нравственности и даже *чрезмерно напротив,* но они видят другое и, кроме того, видят следы *нигилизма»* (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 166). При публикации этого письма Достоевского Милюкову в «Русском вестнике» (1889, № 2, отдел «Сообщения и известия», с. 361) редакцией журнала было сделано примечание, в котором, в частности, говорилось: «Девятая глава второй части, где описывается посещение Раскольниковым Сони, несчастной женщины, поддерживавшей своим печальным ремеслом существование семьи, и чтение ими Евангелия, возбудила некоторые сомнения в редакции, и М. Н. Катков не решался печатать главу в том виде, как она была доставлена автором. <...> Из письма видно, что ему не легко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони, как женщины, доведшей самопожертвование до такой ужасной жертвы. Федор Михайлович значительно сократил разговор при чтении Евангелия». (Сокращенный Достоевским текст не сохранился.) И позднее, при печатании романа «Бесы», Катков, по тем же «нравственным» соображениям, воспротивился обнародованию главы «У Тихона».

[43] С. 283. Речь идет о романе «Игрок». Об обстоятельствах писания его с помощью стенографистки А. Г. Сниткиной, будущей жены Достоевского, см. в ее «Дневнике» (том второй наст. изд.). Цитаты из письма не вполне точны.

[44] С. 285. Достоевские уехали за границу 14 апреля 1867 г., вернулись в Петербург 8 июля 1871 г. Кроме Германии и Италии, Достоевские довольно долгое время прожили в Швейцарии, в Женеве. В этом городе у них родилась и умерла в возрасте двух с половиной месяцев дочь София.

[45] С. 286. Поэма В. В. Крестовского «Солимская Гетера» (1857), на евангельский сюжет, посвящена А. П. Милюкову (см.: Стихи Всеволода Крестовского, т. 1. СПб., 1862, с. 60—64). Стихотворение «Здесь-то, Боже! сколько ягод...» входит в цикл «Весенние ночи» (там же, с. 120).

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

ИЗ «МЕМУАРОВ»

Петр Петрович Семенов (1827—1914), государственный и общественный деятель; ученый-географ и статистик.

С 1842 по 1845 годы учился в военной школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, летние лагеря которой были расположены в Петергофе, невдалеке от лагерей Главного инженерного училища. С детства, проведенного в имении родителей, у него возникла любовь к природе, увлечение естествознанием. Отказавшись от военной карьеры, поступил вольнослушателем по разряду естественных наук в университет, где дружески общался с Н. Я. Данилевским, жил с ним на одной квартире. Через Данилевского познакомился со многими петрашевцами (в том числе с В. А. Милютиным, М. Е. Салтыковым, Ф. М. Достоевским, А. Н. Плещеевым, Ап. и Вал. Майковыми). Именно о них он с заинтересованностью и дружелюбием рассказывает в печатаемых далее фрагментах из первого тома «Мемуаров» (опубликован в 1917 г.).

В 1856—1857 годах П. П. Семенов предпринял смелое и трудное путешествие в «загадочную», недоступную тогда европейцам горную страну Тянь-Шань. Во время этого путешествия он дружески общался с Достоевским в Семипалатинске и Барнауле, а также во время совместных поездок по Прииртышью. По этому поводу Достоевский писал тогда Ч. Ч. Валиханову (см. о нем примеч. 23 к с. 365): «Семенов превосходный человек. Я его разглядел еще ближе» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 248).

В результате путешествия П. П. Семенова в Тянь-Шань был сделан ряд крупных географических открытий и создана новая методика исследований (в память путешествия на Тянь-Шань в 1906 году к его фамилии было присоединено почетное наименование Тян-Шанский). Второй том его обширных мемуаров, из которого в настоящем сборнике печатаются фрагменты о встречах с Достоевским в Сибири, посвящен рассказу об этом путешествии (написан в 1881 году по дневникам 1856—1857 годов; опубликован полностью в 1946 году).

П. П. Семенов явился вдохновителем и организатором многих других выдающихся экспедиций (Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, П. А. Кропоткина и др.). С 1873 года и до конца жизни возглавлял Русское географическое общество. Будучи председателем Центрального статистического комитета, руководил составлением фундаментального пятитомного Географическо-статистического словаря Российской империи (СПб, 1863—1885).

С 1858 года, вместе с братом, Н. П. Семеновым, П. П. Семенов принял активное участие в подготовке крестьянской реформы, с 1859 года

стал членом-экспертом Редакционных комиссий, готовивших Положение 19 февраля 1861 года, и заведующим их делами.

Большой знаток искусства, приятельски общавшийся с М. И. Глинкой и А. С. Даргомыжским, П. П. Семенов в 60-е гг. начал заниматься систематическим собиранием картин и гравюр, преимущественно фламандской и нидерландской школ, о которых создал особый труд «Этюды по истории нидерландской живописи на основании ее образцов, находящихся в публичных и частных собраниях Петербурга», ч. I—II (СПб., 1885—1890). Свою богатейшую коллекцию картин художников этих школ и собрание гравюр он передал в 1910 году в Эрмитаж.

Фрагменты из воспоминаний П. П. Семенова-Тян-Шанского печатаются по изд.: Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары, т. 1. Пг., 1917; т. 2. М., 1946.

[1] С. 291. Николай Яковлевич *Данилевский* (1822—1885) — петрашевец-фурьерист. Посещал «пятницы» Петрашевского с 1844 до мая 1848 г. Был арестован летом 1849 г. в Тульской губернии, где путешествовал вместе со своим другом П. П. Семеновым; доставлен в Петропавловскую крепость 22 июня, освобожден по ходатайству Военно-судной комиссии 10 ноября и выслан в Вологду, а затем Самару с отдачей под секретный надзор.

Учился Данилевский в Царскосельском лицее, где подружился со своим сокурсником, братом П. П. Семенова Николаем. Завершив обучение в Лицее, приятели поселились на одной квартире; осенью 1845 г., по окончании школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, к ним присоединился П. П. Семенов. В 1843—1847 гг. служил в канцелярии Военного министерства, где в это же время служил М. Е. Салтыков. Одновременно был вольнослушателем Петербургского университета.

Позднее, в 60-е гг., Данилевский разрабатывает особую теорию культурно-исторических типов, полагая одним из таковых славянский. На фундаменте этой теории строит он свои неославянофильские идеи (цикл статей, первоначально помещавшихся в журнале «Заря» в 1869 г под названием «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому»; отд. изд. — СПб., 1871; близкий друг Данилевского Н. Н. Страхов назвал эту книгу «кодексом славянофильского учения»).

[2] С. 292. Не все из названных «молодых литераторов» были лицеистами.

[3] С. 293. «В преобразованной <в 1846 г.> Петербургской городской думе Петрашевский предложил себя к выбору в секретари думы и налитографировал программу, из которой видно было, что полиция будет устранена от многих хозяйственных распоряжений по городу, а домохозяева получат определенные гарантии относительно неисправных жильцов и против притязания полиции. Министерство <внутренних

дел> предложило своего кандидата и неправильными выборами доставило ему место секретаря. Петрашевский завел с министерством по этому случаю процесс в Сенате и уже в крепости получил отказ на свою просьбу» (Записка о деле петрашевцев. Рукопись Ф. Н. Львова с пометками М. В. Буташевича-Петрашевского. — *ЛН,* 63, кн. III, 180). Исследовательница движения петрашевцев В. Р. Лейкина-Свирская писала по этому поводу: «Эта должность привлекала его; он считал возможным пробудить в избирателях общественную инициативу, вызвать обсуждение нужд населения, а затем и подачу правительству заявлений политического характера» (Лейкина-Свирская В. Р. Петрашевцы. М., 1965, с. 20—21).

[4] С. 293. Летом 1844 г. кандидат Петербургского университета Петрашевский предпринял попытку начать педагогическую деятельность (а осенью этого же года ему было выдано свидетельство о дозволении «заниматься в свободные от службы часы преподаванием уроков в казенных учебных заведениях»). Он подал прошение «о принятии его в должность воспитателя Лицея и о допущении к преподаванию юридических наук в сем заведении». Директор Лицея генерал-майор Броневский писал официально начальнику штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельту, что «входил в ближайшее сношение с Петрашевским» и не нашел в нем «надлежащих свойств к занятию этих должностей» (Семевский В. И. Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. 1. М., 1922, с. 52—53).

[5] С. 294. В кругах петрашевцев стала известна секретная, скрытая даже от императора Николая и оставшаяся неизвестной следствию записка чиновника министерства государственных имуществ экономиста и статистика А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» (была напечатана только в 1882 г. в т. 4 книги Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время», с. 271—345). Записка явилась результатом исследования крепостного хозяйства и быта внутренних губерний России во время поездки летом 1841 г. по поручению министра государственных имуществ П. Д. Киселева. В этом официальном и бесстрастном документе, на основании многочисленных наблюденных самим Заблоцким фактов, говорилось о «неотложной необходимости преобразования крепостного состояния»: «Требования века и настояния нужд государственных призывают самодержавную власть защитить крепостных людей от своеволия господ, поставив закон выше произвола, открыть широкие двери нравственному образованию народа». Вероятно, записка попала к петрашевцам через Вл. Милютина, племянника П. Д. Киселева. См. далее, с. 303.

[6] С. 294. Имеется в виду «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым». В первом выпуске, вышедшем в апреле 1845 г., основные статьи принадлежали молодому талантливому критику и экономисту Вал. Майкову, утонувшему летом 1847 г., другие Р. Р. Штрандману (привлекался к до-

просу по делу петрашевцев, но арестован и осужден не был). Как первый опыт, писал Белинский, имея в виду это издание, словарь «превосходен» (*Белинский,* IX, 61). Через год вышел второй выпуск словаря. На этот раз редакция и большая часть теоретических статей принадлежали Петрашевскому. Цензуровавший второй выпуск Н. Крылов доносил в С.-Петербургский цензурный комитет: «Главное затруднение проистекало из общего направления статей против существующего порядка в общественной жизни. Редакция видит во всем *ненормальное,* как она выражается, положение и напрягается всеми силами развивать способы к приведению общества в другое положение, *нормальное.* Для редакции кажется, что в христианском обществе должно быть равенство, потому что религия христианская есть религия братской любви» (<Щебальский П. К.> Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862, с. 67). Автор «Исторических сведений...» пояснял: «Инстинкт не обманывал цензора: перед ним были первые основания весьма полной системы, которую он только не умел назвать — социализма» (там же). В 1849 г., по повелению «бутурлинского комитета» (см. примеч. 2 к с. 259), признавшего второй выпуск словаря противоречащим «образу и духу нашего правления и гражданского устройства», большинство его экземпляров, хранившихся в цензуре, было сожжено. Второй выпуск «Карманного словаря...» перепечатан в изд.: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953.

[7] С. 295. О Н. А. Спешневе и его отношениях с Достоевским см. в воспоминаниях С. Д. Яновского и примеч. к ним.

[8] С. 296. О подобном намерении Спешнева см.: Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988, с. 161—162.

[9] С. 296. «Положением 19 февраля 1861 года», или, точнее, «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», устанавливался институт мировых посредников, назначавшихся губернатором из числа дворян-помещиков данной губернии. На них возлагалось непосредственное проведение в жизнь крестьянской реформы (утверждение так называемых уставных грамот, разбор споров между крестьянами и помещиками и т. п.). К числу посредников «первого призыва» принадлежали дворяне-помещики, настроенные сочувственно по отношению к крестьянским нуждам. Впоследствии состав этого института изменился.

[10] С. 297. На самом деле это стихотворение под названием «Отзыв на манифест», распространявшееся в списках, принадлежит П. Л. Лаврову (см. сб. «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Л., 1959, с. 619—627).

[11] С. 298. См. об этом выше, в воспоминаниях А. П. Милюкова.

[12] С. 298. Из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

[13] С. 298. См.: *Биография,* с. 41.

[14] С. 299. П. П. Семенов спорит с А. М. Скабичевским, писавшим,

что «Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерически-нервным сыном *города...»* (Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы (1848—1890). СПб., 1891, с. 183).

[15] С. 299. Это неточно: Достоевские выезжали в деревню на лето с 1832 по 1836 г.

[16] С. 299. Имеются в виду «показания» А. М. Достоевского, использованные О. Ф. Миллером в «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского» (*Биография,* с. 12—16). Ср. наст. том, с. 68 и сл.

[17] С. 299. «Дневник писателя» за 1876 год. Февраль, гл. первая, III.

[18] С. 300. П. П. Семенов ссылается на отрывки из письма Достоевского к отцу от 5—10 мая 1839 г., напечатанные О. Ф. Миллером с неправильной датировкой (1838) (*Биография,* с. 31—32; *ср.:Достоевский,* XXVIII, кн. I, 60).

[19] С. 301. Об А. Н. Плещееве см. примеч. 6 к с. 260.

[20] С. 302. Свое пропагандистское сочинение в форме рассказа старого солдата под названием «Солдатская беседа» поручик лейб-гвардии Конно-гренадерского полка Н. П. Григорьев читал на обеде у Спешнева в апреле 1849 г. О том, что его сочинение было признано, да и было на самом деле отнюдь не умеренным (названо в приговоре «злоумышленным»), свидетельствует и назначенная ему самая большая мера наказания (кроме Петрашевского) — 15 лет каторги. В «Солдатской беседе», например, содержится прямой намек на французскую революцию: «Король, слышь, больно деньги мотал, богачей любил, а бедных обижал. Да вот в прошлом году как поднялся народ да солдаты, — из булыжнику в городе сделали завалы, да и пошла потеха. Битва страшная. Да куда ты, король с господами едва удрал. Теперь они не хотят царей и управляются, как и мы же в деревне. Миром сообща и выборным», О России в «Солдатской беседе» говорилось: «Царь строит себе дворцы да золотит б... да немцев» (Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, с. 647, 648).

[21] С. 302. См. об этом кружке в воспоминаниях А. П. Милюкова.

[22] С. 302. Расхождение с С. Ф. Дуровым, определившееся в Омском остроге, может быть объяснено сложными переживаниями Достоевского, связанными с начавшимся процессом «перерождения убеждений». Однако это расхождение нельзя назвать ненавистью, как пишет, например, П. К. Мартьянов (см. далее, с. 341). В «Записках из Мертвого дома» Достоевский с болью и сочувствием рисует образ больного и страдающего Дурова (*Достоевский,* IV, 80). По выходе из каторги Достоевский и Дуров вместе «провели почти целый месяц» в доме О. И. и К. И. Ивановых (письмо Достоевского к П. Е. Анненковой, дочерью которой была О. И. Иванова, от 18 октября 1855 г. — *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 196). В письме к Ч. Ч. Валиханову от 14 декабря 1856 г. Достоевский просил поклониться Дурову и пожелать ему всего

лучшего: «Уверьте его, что я люблю его и искренно предан ему» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 250).

[23] С. 303. Этим «членом одного из кружков» был Достоевский.

[24] С. 303. М. Е. Салтыков был сослан в Вятку 28 апреля 1848 г. 24 сентября 1849 г. в Вятке с него был снят допрос по «вопросным пунктам», сформулированным следственной комиссией и «весьма секретно» препровожденным вятскому губернатору Л. В. Дубельтом. Этот допрос для Салтыкова не имел последствий, если не считать постоянных отказов в его просьбах о возвращении в Петербург.

[25] С. 303. Вл. Милютин и его друзья М. Салтыков и Вал. Майков перестали посещать кружок Петрашевского в начале 1847 г., образовав собственный кружок. Вл. Милютин к делу петрашевцев привлечен не был, хотя имя его и упоминалось в следственных делах.

[24] С. 305. Из стихотворения Пушкина «Деревня».

[27] С. 306. Эта встреча произошла в августе 1856 г.

[28] С. 306. Командиром семипалатинского 7 линейного Сибирского батальона был подполковник Белихов. Это «был простой, добродушный, холостой человек, любивший пожить... Сначала командир батальона требовал к себе Федора Михайловича для чтения ему вслух газет и журналов, а затем стал оставлять его у себя обедать и даже при гостях». Иметь у себя «в гостях нижнего чина было знаком особого внимания и участия...» (Скандин А. В. Достоевский в Семипалатинске. — Исторический вестник, 1903, № 1, с. 207).

[29] С. 309. Мария Дмитриевна Исаева овдовела раньше первой встречи П. П. Семенова с Достоевским в Семипалатинске. Ее муж, Александр Иванович Исаев, умер 4 августа 1855 г. в Кузнецке (историю взаимоотношений Достоевского с Исаевой до их женитьбы описал в своих воспоминаниях А. Е. Врангель).

[30] С. 310. Из поэмы Пушкина «Полтава».

[31] С. 311. 1 февраля 1857 г. Достоевский получил разрешение своего батальонного командира Белихова на вступление в брак с вдовой М. Д. Исаевой. Венчание состоялось 6 февраля в Кузнецке. 20 февраля молодые вернулись в Семипалатинск, побывав у Семенова в Барнауле.

Д. Д. АХШАРУМОВ

ИЗ КНИГИ «ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ (1849—1851 гг.)»

Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов (1823—1910) — фурьерист, участник кружка Н. С. Кашкина, близкого по своим идеям кружку Петрашевского, но не слившегося с ним (о Кашкине см.: Панкратов А. С. Последний петрашевец. — Исторический вестник, 1914, № 8). С декабря 1848 года Ахшарумов посещал также «пятницы» Петрашевского.

7 апреля 1849 года на квартире А. И. Европеуса «кашкинцы» устроили banquet social (общественный обед) в честь Фурье (это был день рождения французского социалиста), пригласив на обед и Петрашевского. На обеде выступили А. В. Ханыков, Петрашевский и Ахшарумов (см.: Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988, с. 132—134). «Фурьеристская» речь Ахшарумова была весьма радикальной по идеям и их яркому и страстному выражению. Оратор провозглашал «разрушенье» «дряхлого, громадного, векового здания» общественного порядка, который «противоречит главному, основному назначенью человеческой жизни». И далее: «Мы живем в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом <...> Мы должны гордиться тем, что природа нас выбрала для развития своих возвышенных целей в человеческом роде. Нас окружают сотни миллионов людей, которые оглушены бреднями и не знают о том, что ожидает их новая жизнь и что они должны приготовиться к принятию ее. Наше дело — высказать им всю ложь, жалость этого положения и обрадовать их и возвестить им новую жизнь. Да, мы, мы все должны это сделать и должны помнить, за какое великое дело беремся: законы природы, растоптанные учением невежества, восстановить, реставрировать образ Божий человека во всем его величии и красоте, для которой он жил столько времени. Освободить и организовать высокие стройные страсти, стесненные, подавленные. Разрушить столицы, города, и все материалы их употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах — вот цель наша, великая цель, больше которой не было на земле другой цели» (*Дело петрашевцев,* III, 110, 111, 112—113). Эта речь Ахшарумова послужила основой его обвинения. В описи бумагам Ахшарумова, обратившим особенное внимание следствия, его речь на обеде в честь Фурье была охарактеризована следующим образом: «Содержание этой речи обнаруживает стремление сочинителя и общества, в котором она была читана, к совершенному разрушению настоящего порядка» (там же, с. 114).

23 апреля 1849 года Ахшарумов, вместе с другими петрашевцами, был арестован, приговорен к смертной казни, замененной службой в арестантских ротах и последующей ссылкой. По отбытии наказания получил разрешение жить в столицах, поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, которую окончил в 1862 году. Впоследствии проявил себя как врач и ученый в области санитарии и социальной гигиены.

В 1905 году восьмидесятилетний Ахшарумов с энтузиазмом встретил известие о революционных событиях в Москве: «Там дерутся! Собирайтесь, я еду, я еду!.. Я хочу идти на баррикады!..» — говорил он

жене (Ветринский Ч. Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов. — Вестник Европы, 1910, № 5, с. 329).

В наст. изд. печатаются фрагменты из книги: Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний (1849—1851 гг.). СПб., 1905.

[1] С. 318. Из двадцати трех человек, находившихся к этому времени в Петропавловской крепости, на эшафот был выведен 21 человек: психически больной В. П. Катенев находился в больнице, Р. А. Черносвитов отправлен к месту отбывания наказания прямо из крепости.

[2] С. 318. На Семеновском плацу были выстроены также Егерский и Конно-гренадерский полки: в первом служил А. И. Пальм, во втором — Н. П. Григорьев.

[3] С. 320. Первыми привязали к столбам Петрашевского, Момбелли, Григорьева.

[4] С. 321. Спешнев был осужден на десять лет каторги.

[5] С. 323. В данные о смерти Петрашевского, сообщаемые Ахшарумовым, вкрались неточности. Как сообщается в упоминаемой далее самим Ахшарумовым заметке «Русской старины», Петрашевский умер 7 декабря 1866 г. и похоронен 4 января 1867 г. в селе Бельском Минусинского уезда.

Ш. ТОКАРЖЕВСКИЙ

ИЗ КНИГИ «КАТОРЖАНЕ»

Шимон Токаржевский (Szymon Tokarzewski, 1824—1899) — активный участник польского революционного движения; неоднократно арестовывался и ссылался. В Омском остроге находился с 31 октября 1849 года; там и познакомился с Достоевским. Достоевский несколько раз упоминает Токаржевского в «Записках из Мертвого дома», давая ему такую характеристику: «Т<окаржев>ский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек» (*Достоевский,* IV, 209). Токаржевский написал о каторге две книги: «Siedem lat katorgi» («Семь лет каторги», 1907) и «Katorznicy» («Каторжане», 1912). Фрагмент последней книги печатается в наст. томе по изд.: Звенья, т. VI. М.—Л., 1936 (перевод В. Б. Арендта).

[1] С. 325. Содержание этих споров в тенденциозно-неприязненном по отношению к Достоевскому духе Токаржевский излагает в книге «Семь лет каторги» (см.: Браиловский С. Н. Ф. М. Достоевский в Омской каторге и поляки. — Исторический вестник, 1908, № 4; Он же. Воспоминания поляка-каторжанина о Ф. М. Достоевском. — Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, 1908, т. XIII, кн. 3; Храневич В. Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка. — Русская старина, 1910, № 2).

П. К. МАРТЬЯНОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «В ПЕРЕЛОМЕ ВЕКА»

Петр Кузьмич Мартьянов (1827—1899) — писатель, поэт-юморист. Получив домашнее образование, до 1883 года служил на военной службе, вышел в отставку полковником. Автор многочисленных статей по военным, историческим, историко-литературным вопросам, печатавшихся в журналах «Всемирный труд», «Исторический вестник», «Нива» и др. Как поэт-юморист выступал под псевдонимами «Эзоп», «Эзоп-Кактус», «Бум-Бум» и др.

В анонимной рецензии на второй том его книги «Дела и люди века» говорилось: «Некоторые его поэтические произведения в свое время пользовались успехом, особенно те, которые были посвящены грустному быту дореформенного солдата. В свое время и Некрасов, и братья Курочкины, и Д. Минаев обратили на него внимание и некоторые из них приблизили его к себе. Равным образом и кое-какие его самостоятельные очерки-исследования не лишены известного интереса» (Русское богатство, 1894, № 5, отд. «Новые книги», с. 37). Действительно, можно, в частности, указать на ряд его публикаций, посвященных Лермонтову (см.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 272).

Сам Мартьянов в предисловии «От автора» к первому тому книги «Дела и люди века» (СПб., 1893) сообщал, что «чуть еще не с первых дней юности» записывал на отдельных листках или в небольших тетрадках «иногда подробно, иногда вкратце и сокращенным способом» «все, что поражало взор, мысль или сердце». Автор упомянутой рецензии «Русского богатства», вероятно, знавший Мартьянова лично, в несколько ироничном тоне пишет об этих его записях: «Человек он, что называется, бывалый — много видел на белом свете и много слышал, причем слушал он всегда очень внимательно да еще с таким расчетом, что сказанное при нем утром — уже вечером заносилось в записную книжку». Впоследствии из этих «листков» и «тетрадок» и составилась часть его достаточно эклектичного мемуарно-статейного сборника.

Однако записи, что называется, по свежим следам имели и свое достоинство — достоверность. Нам неизвестен источник записей Мартьянова о Достоевском на каторге, возможно, им являются рассказы разжалованных в солдаты бывших воспитанников Петербургского морского кадетского корпуса — гардемарин-«морячков», несших службу при Омском остроге.

Воспоминания П. К. Мартьянова «В переломе века (отрывки из старой записной книжки)» были опубликованы в журнале «Исторический вестник», 1895, № 10—11, и затем включены в т. III сборника «Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки» (СПб., 1896). По этому источнику в наст. изд. печатаются с сокращениями главы «Гардемарины» и «Морячки».

[1] С. 337. Враждебное отношение «черной» массы каторжан к дворянам вообще Достоевский лично, в силу особенностей своего характера и, возможно, начавшегося кризиса мировоззрения, переживал, по-видимому, особенно тяжело и обостренно, что могло выражаться с его стороны замкнутостью и отчужденностью, нарочито подчеркиваемым преувеличенным сознанием своей исключительности, даже своей принадлежности к дворянству (на эту особенность настроения и поведения Достоевского на каторге обратил внимание П. П. Семенов-Тян-Шанский, см. наст. том, с. 300; об этом же, кстати, пишет и Токаржевский в книге «Семь лет каторги», см.: Браиловский С. Н. Ф. М. Достоевский в Омской каторге и поляки. — Исторический вестник, 1908, № 4, с. 189—193). В письме к брату сразу же по выходе из каторги (30 января —22 февраля 1854 г.) Достоевский сам описал, если можно так сказать, весь социально-психологический трагизм своего острожного бытия: «С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностию всевозможных оскорблений. «Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» — вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостию их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 169—170). Думается, что положение на каторге Раскольникова имеет автобиографический подтекст.

[2] С. 338. Как пишет И. Д. Якубович, основываясь на документальных материалах, «прототипом того лица, которое Достоевский называет Акимом Акимычем, а Мартьянов — есаулом Беловым, был Ефим Белых, причем Достоевский более близко к действительности излагает его преступление, чем Мартьянов» (*Достоевский,* IV, 281, 286—287).

[3] С. 339. В «Записках из Мертвого дома» фамилия «отцеубийцы из дворян» не названа. Достоевский, описав преступление и характер этого «отцеубийцы», замечает со свойственной ему проницательностью: «Это феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление. Разумеется, *я* не верил этому преступлению. Но люди из его города <Тобольска>, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его дело. Факты были до того ясны, что

невозможно было не верить» (*Достоевский,* IV, 16). Достоевский оказался прав. Получив через несколько лет точные сведения о невиновности «отцеубийцы», Достоевский сообщил об этом в гл. VII второй части «Записок из Мертвого дома», прибавив: «Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением» (*Достоевский,* IV, 195). По-видимому, Достоевскому тогда же стала известна и настоящая фамилия этого человека — это был прапорщик тобольского линейного батальона Д. Н. Ильинский (а не Ильин, как пишет Мартьянов). Именно эту фамилию мнимого убийцы, со слов К. И. Иванова (см. о нем примеч. на с. 342), записала А. Г. Достоевская (Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1923, с. 69). См. также: *Достоевский,* IV, 284—285. Эта история глубоко запала в сознание Достоевского и сыграла свою роль в творческой истории «Братьев Карамазовых». В соответствующей записи прототип будущего Дмитрия Карамазова назван именно Ильинским (*Достоевский,* XVII, 5).

[4] С. 339. В «Записках из Мертвого дома» при первом упоминании Аристов никак не назван. Сказано только, что это «низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу» (*Достоевский,* IV, 26). В главе V. «Первый месяц» он назван «А—в», и дана ему гневно-презрительная характеристика (там же, с. 62—64). Об Аристове подробно рассказывает в своих воспоминаниях Ш. Токаржевский (см.: Браиловский С. Н. Ф. М. Достоевский в Омской каторге и поляки. — Исторический вестник, 1908, № 4). См. также: *Достоевский,* IV, 285—286 (примечания).

[5] С. 339. Мартьянов ошибается в раскрытии подлинных фамилий поляков, зашифрованных у Достоевского: «М—кий и старик Ж—кий» (*Достоевский,* IV, 209). «М—кий» — это Александр Мирецкий, осужденный за участие в заговоре 1845 г. Мирецкий, в отличие от Мальчевского, который в это время не мог находиться в Омском остроге, не был дворянином, как об этом и сказано в «Записках из Мертвого дома». «Ж—кий» — это Иосиф Жоховский, профессор математики Варшавского (а не Виленского, как сказано у Мартьянова) университета. За революционную речь был приговорен к смертной казни, замененной десятью годами каторги. Скончался на каторге. *«Жонд народовы»* («Rzad narodowy») — национальное правительство, организовывавшееся повстанцами во время восстаний 1830—1831, 1846, 1863—1864 гг.

[6] С. 340. Диккенс принадлежал к числу тех европейских писателей, которые были наиболее близки Достоевскому своей «реставрацией» человека, в особенности «униженного и оскорбленного», идеально-сострадательным началом творчества. Когда Достоевский размышлял о создании характера *«положительно* прекрасного» человека, его мысль обращалась и к образу мистера Пиквика, о чем он писал, например, своей любимой племяннице С. А. Ивановой 1(13) января 1868 г., сопоставляя Пиквика с Дон Кихотом (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 251).

В «Подростке» Достоевский по-своему истолковывает сцену из главы второй романа Ч. Диккенса «Лавка древностей» (*Достоевский,* XIII, 353). Ср.: *Долинин. Последние романы,* с. 182—184; Катарский И. М. Диккенс в России. М., 1966.

[7] С. 341. См. примеч. 22 к с. 302.

[8] С. 343. О наказании Достоевского в остроге существуют противоречивые свидетельства. А. Е. Ризенкампф, например, пишет об этом с полной уверенностью (см. выше, примеч. 4 к с. 235). Однако против этой версии энергично и, думается, обоснованно протестовал бывший старший адъютант корпусного штаба в Омске Н. Т. Черевин в заметке «Полковник де Граве и Ф. М. Достоевский» (Русская старина, 1889, № 2, с. 318).

А. Е. ВРАНГЕЛЬ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ В СИБИРИ»

Александр Егорович Врангель, барон (1833 — после 1912) — юрист, путешественник, дипломат; принадлежал к старинному дворянскому роду, выходец из Дании. Учился в Александровском кадетском корпусе, затем в Александровском лицее, который окончил в 1853 году. Прослужив год в министерстве юстиции, в 1854 году получил назначение прокурором («стряпчим по уголовным и гражданским делам», по тогдашней терминологии) в Семипалатинск, где и подружился с Достоевским, служившим там в то время солдатом. В Сибири Врангель познакомился с ссыльными поляками, декабристами И. И. Пущиным, М. И. Муравьевым, Н. В. Басаргиным, И. А. Анненковым, П. Н. Свистуновым; состоял с ними в переписке.

Проницательную характеристику Врангеля находим в письмах Достоевского к брату от 13—18 января 1856 года и к А. Н. Майкову от 18 января того же года. В письме к брату он просит того сойтись с Врангелем (покидавшим Семипалатинск и возвращавшимся в Петербург) «как можно короче», так как Врангель «очень подробно и очень интимно может уведомить тебя обо мне, если не во всех, то во многих отношениях». И далее — о человеческих свойствах своего молодого друга: «Это человек очень молодой, очень кроткий, хотя с сильно развитым point d'honneur <чувством чести>, до невероятности добрый, немножко гордый (но это снаружи, я это люблю), немножко с юношескими недостатками, образован, но не блистательно и не глубоко, любит учиться, характер очень слабый, женски впечатлительный, немножко ипохондрический и довольно мнительный...» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 199—200). В письме к А. Н. Майкову Достоевский добавляет: «...человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из Лицея с *великодушной* мечтой узнать край, быть полезным и т. д.» (там же, с. 207). Вернувшись

в Петербург, Врангель принял активное участие в хлопотах по освобождению Достоевского из ссылки.

В 1857—1859 годах привял участие в кругосветном плавании к берегам Восточного Китая, Японии и к устью Амура в качестве секретаря начальника экспедиции (такое путешествие советовал ему совершить в письме от 9 марта 1857 года Достоевский; по этому поводу Врангель писал в той части воспоминаний, которая не включена в наст. изд.: «...я последовал его совету. Могу сказать, что это мое долгое кругосветное плавание было лучшей порой моей многообразной, тревожной жизни и хорошей для меня школой. Я изучил свет и людей и дополнил свою житейскую опытность, вынесенную из Сибири». — Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—56 гг. СПб., 1912, с. 196; см. также письмо Врангеля М. М. Достоевскому от 20/8 февраля 1858 года из Бреста. — *ЛН,* 86, 375). В «Морском сборнике» (1859, № 1) в отделе «Смесь» был напечатан очерк А. Врангеля «С мыса Доброй Надежды». На обратном пути через Сибирь Врангель познакомился, вероятно, в Иркутске, с известным революционером Мих. Бакуниным (см. далее, с. 352).

Впоследствии, на службе в министерстве иностранных дел Врангель занимал ряд высоких дипломатических постов. По возвращении в Петербург Достоевский продолжал, хотя и нерегулярно, переписываться с Врангелем, когда тот жил за границей, встречался с ним в Петербурге. В начале октября 1865 года, возвращаясь в Петербург из Висбадена после лечения, Достоевский проводит неделю в Копенгагене у Врангеля, находившегося там в качестве секретаря русского посольства. Однако их отношения были теперь уже далеки от семипалатинской дружбы. Последняя их встреча в Петербурге в 1873 году была холодной, о чем сам Врангель вспоминал: «Я очень рад был опять его увидеть; встретились мы, казалось, сердечно по-прежнему, но... это не был уже мой прежний, дорогой семипалатинский — Федор Михайлович! Время и долгая разлука, конечно, наложили свою печать на наши отношения, к тому же в этот день он показался мне раздраженным и нервным: куда-то торопился <вспомним, что это было время редактирования Достоевским доставлявшего ему много хлопот журнала «Гражданин»>. О прошлом ни слова; он даже не сказал мне, что он вторично женился и как идут дела его» (Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—56 гг. СПб., 1912, с. 219). О Врангеле и его отношениях с Достоевским см. также: Достоевский Ф. М. Письма, т. 1. М.—Л., 1928, с. 517—518; *Достоевский в воспоминаниях,* I, 244—245; *Материалы и исследования,* 3, 258—281).

Свои «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Врангель писал в 1906—1908 годах, опубликованы они были отдельным изданием в 1912 году. Большое место в воспоминаниях уделено собственной прокурорской деятельности Врангеля в Семипалатинске, рассказам

о его встречах с ссыльными и каторжными на Урале и в Сибири, описанию сибирской природы, быта сибиряков и т. п. В наст. изд. отрывки из воспоминаний Врангеля печатаются по вышеназванному источнику.

[1] С. 346. Во время Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг. центральным событием явилась героическая оборона Севастополя от высадившихся в Крыму войск союзников (Англии, Франции, Турции).

[2] С. 346. Старожил Семипалатинска, сосед Достоевского по нарам в казарме Н. Ф. Кац вспоминал: «Как теперь вижу перед собой Федора Михайловича: среднего роста, с плоской грудью, лицо с бритыми, впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, никогда не видел на его лице полной улыбки. <...> Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. О своем прошлом никому в казарме не рассказывал. Вообще он был малоразговорчив. Из книг у него было только одно Евангелие, которое он берег и, видимо, им очень дорожил <это, несомненно, было то Евангелие, которое подарили Достоевскому в Тобольске, по пути на каторгу, жены декабристов>. В казарме никогда и ничего не писал; да, впрочем, и свободного времени у солдата тогда было очень мало. Достоевский из казармы редко куда уходил, больше сидел задумавшись и особняком» (Скандин А. В. Ф. М. Достоевский в Семипалатинске. — Исторический вестник, 1903, № 1, с. 203). Этот мемуарный рассказ подтверждается письмом Достоевского к брату от 30 июля 1854 г.: «...я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 180).

[3] С. 346. Врангель был знаком с М. М. Достоевским еще в Петербурге и, встретившись с ним и А. Н. Майковым перед отъездом в Сибирь, получил от них письма, книги и деньги для передачи Достоевскому.

[4] С. 347. Достоевский отбывал наказание в каторге до середины февраля, доставлен по этапу в Семипалатинск в марте 1854 г.

[5] С. 347. В частности, стал посещать командира батальона Белихова, см. примеч. 28 к с. 306.

[6] С. 347. Достоевский писал брату 27 марта 1854 г.: «Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось; вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжкой неволи» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 178).

[7] С. 351. Имеется в виду опубликованное Н. Н. Страховым в кн. *Биография* письмо к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. В этом письме Достоевский пишет о замысле «комического романа», никак

его не называя. Из этого замысла, по-видимому, действительно родились две упомянутые Врангелем повести (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 209).

[8] С. 351. *Лепорелло* — слуга Дон Жуана в разных вариациях легенды о Дон Жуане (например, в опере Моцарта «Дон Жуан», в маленькой трагедии Пушкина «Каменный гость»).

[9] С. 351. Достоевский знал произведения В. Гюго с юных лет (см., напр., его письмо к брату от 1 января 1840 г. — *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 69—70). В 40-е гг. к числу литературных произведений, особенно поразивших Достоевского, принадлежал психологический этюд В. Гюго «Последний день осужденного на казнь», который он вспомнил, стоя на эшафоте (*ЛН,* 63, кн. III, 188). «Фантастическую» форму этого этюда («шедевра», по словам Достоевского) он сопоставлял с формой своего «фантастического рассказа» «Кроткая» в предисловии к этому рассказу («Дневник писателя» за 1876 год. Ноябрь, гл. первая. —*Достоевский,* XXIV, 6). С увлечением читал он, конечно, и роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), который опубликовал в русском переводе в 1862 г. во «Времени». Именно в предисловии к этому переводу он высказал одну из своих заветнейших идей, которую находил и в творчестве Гюго: «Его <Гюго> мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» (*Достоевский,* XX, 28). Впоследствии Достоевский очень высоко ценил роман Гюго «Отверженные», сыгравший немаловажную роль в творческой истории его собственного романа «Идиот».

[10] С. 351. У Гоголя в «Мертвых душах» кучера Чичикова зовут Селифан.

[11] С. 352. Речь идет о графе Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском, с 1847 по 1861 г. иркутском и енисейском губернаторе, генерал-губернаторе Восточной Сибири. Муравьев содействовал изучению и освоению Дальневосточного края, в частности, известному путешественнику и ученому Г. И. Невельскому в его исследованиях Амура и Сахалина. Предпринимал энергичные усилия по устройству там русских поселений.

[12] С. 353. Имеются в виду письма Достоевского к Врангелю, которые Врангель приложил к своим воспоминаниям (см. их в изд.: *Достоевский*).

[13] С. 353. Достоевский действительно с большой заботливостью относился к своему пасынку П. Исаеву, ходатайствуя, например, в это время о принятии его в Сибирский кадетский корпус. См. также примеч. 29 к с. 274.

[14] С. 353. Вероятно, речь идет о письме Достоевского к Врангелю от 18 февраля 1866 г., где есть такие строки: «Кстати, я очень рад, что Вас так интересует наша внутренняя, русская умственная и гражданская жизнь. Мне, как другу, очень приятно, что Вы такой, хотя не во веем с Вами согласен. <...> Но, однако ж, во многом, и очень даже, я предчувствую, что с Вами согласен» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 152).

[15] С. 353. *Молодой Якушкин* — Евгений Иванович (1826—1905), сын декабриста И. Д. Якушкина; этнограф, юрист, активный участник проведения крестьянской реформы в Ярославской губернии. В 1853 г., еще когда Достоевский находился в остроге, побывал в Омске и, при содействии К. И. Иванова (см. с. 342), встретился с Достоевским. Известно его письмо к сыну, В. Е. Якушкину, от 14 декабря 1887 г., в котором рассказывается об этой встрече: «Его на другой день же привел конвойный очистить снег на дворе казенного дома, в котором я жил. Снега, конечно, он не чистил, а все утро провел со мной. Помню, что на меня страшно грустное впечатление произвел вид вошедшего в комнату Достоевского в арестантском платье, в оковах, с исхудалым лицом, носившим следы сильной болезни. Есть известные положения, в которых люди сходятся тотчас же. Через несколько минут мы говорили, как старые знакомые. Говорили о том, что делается в России, о текущей русской литературе. Он расспрашивал о некоторых вновь появившихся писателях, говорил о своем тяжелом положении в арестантских ротах. Тут же написал он письмо к брату, которое я и доставил по возвращении моем в Петербург <письмо это не сохранилось>. <...> При прощании со мной он говорил, что он ожил. Может быть, это и была главная моя услуга. Мое сердечное, теплое к нему участие, чувство уважения к нему, которое высказывалось в моих словах, мои молодые надежды на лучшее будущее, вероятно, его успокоили на время и оказали, может быть, действительную услугу. Мы расстались более чем знакомыми, почти друзьями» (см.: Любимова-Дороватовская В. Достоевский в Сибири. — Огонек, 1946, ноябрь, № 46-47, с. 27—28).

[16] С. 354. См. примеч. 4 к с. 235.

[17] С. 355. См. примеч. 28 к с. 274.

[18] С. 355. Имеется в виду письмо от 22 сентября 1859 г., напечатанное Врангелем в его воспоминаниях далее (см. также: *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 337).

[19] С. 357. А. И. Исаев был переведен из Семипалатинска в Кузнецк в мае 1855 г. заседателем по корчемной части.

[20] С. 357. По-видимому, имеется в виду упоминаемое далее письмо от 31 марта — 14 апреля 1865 г. (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 115 и сл.).

[21] С. 360. Речь идет о молодом кузнецком учителе Н. Б. Вергунове (род. 1832), дававшем уроки рисования Паше Исаеву. Мария Дмитриевна, в свою очередь, учила Вергунова французскому языку.

[22] С. 362. Ванька-Танька упоминается в девятой главе второй части «Записок из Мертвого дома» в связи с рассказом о побеге из острога, при ее содействии, двух арестантов (*Достоевский,* IV, 222).

[23] С. 365. Чокан Чингисович *Валиханов* (1835—1865), необыкновенно талантливый, рано умерший казахский просветитель-демократ, этнограф, путешественник, исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана, Западного Китая. Окончил Сибирский кадетский корпус. Во время знакомства с Достоевским в 1854 г. служил адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта. Между Достоевским и Валихановым установились добрые дружеские отношения, которые продолжались и в Петербурге, куда Валиханов был вызван для работы в Главном штабе для подготовки карты Азии. Напечатал ряд статей в «Записках Русского географического общества» (1861). Затем, после смерти, его труды издавались под редакцией П. П. Семенова, впоследствии Тян-Шанского (1868). В единственном дошедшем до нас письме к Валиханову Достоевский почти восторженно пишет о своей к нему любви и ожидающей его судьбе: «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам...» (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 248). Достоевский далее пишет о «великой цели», «святом деле» «быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и Ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине *просвещенным* ходатайством за нее у русских» (там же, с. 249). Достоевский действительно упоминал Валиханова в письмах к Врангелю, например, в письме из Твери от 31 октября 1859 г.: «Валиханов премилый и презамечательный человек. <...> Я его очень люблю и очень им интересуюсь» (там же, с. 371).

[24] С 366. Речь идет о письме от 14 августа 1855 г. (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 190—192).

[25] С. 366. О Вергунове см. выше, примеч. 21 к с. 360.

[26] С. 366. Курсив в цитируемых далее (не всегда точно) письмах Достоевского принадлежит Врангелю (кроме письма от 23 мая 1856 г., где слово «мои» подчеркнуто Достоевским, и письма от 21 декабря 1856 г . — см. с. 367 и 368).

[27] С. 367. Это письмо известно. О. Ф. Миллер цитирует его в «Материалах для биографии Ф. М. Достоевского» неточно и неправильно датирует 1-м декабря (*Биография,* с. 152—153, первой пагинации). Из этого же письма приводит далее цитату Врангель (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 250—254).

[28] С. 367. Врангель уехал из Семипалатинска в декабре 1855 г.

З. А. СЫТИНА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Зинаида Артемьевна Сытина, рожд. Гейбович, — дочь ротного командира 7 линейного Сибирского батальона Артемия Ивановича Гейбовича, под началом которого служил Достоевский. З. А. Сытина познакомилась с Достоевским во время его первого визита, уже в чине прапорщика, к Гейбовичу после женитьбы, то есть примерно в конце февраля 1857 года. С семейством Гейбовичей у Достоевского сложились теплые дружеские отношения, о чем свидетельствует и его письмо к А. И. Гейбовичу из Твери от 23 октября 1859 года, опубликованное Сытиной в приложении к ее воспоминаниям (подлинник письма не сохранился. — *Достоевский,* XXVIII, кн. I, 360—368). Ответом на это письмо Достоевского явилось письмо Гейбовича от 25 марта 1860 года с обстоятельным рассказом о семипалатинских знакомых писателя (Простор, 1971, № 11, с. 108—110). Сама З. А. Сытина напомнила Достоевскому о себе и своей семье в письме от 24 сентября 1875 года (см.: *Материалы и исследования,* 2, 299—301).

Воспоминания З. А. Сытиной печатаются по изд.: Исторический вестник, 1885, № 1.

[1] С. 370. Это был «Петербургский сборник» (СПб., 1846), где и опубликованы «Бедные люди» (ими действительно открывался сборник).

[2] С. 370. «Рассказ в стихах» И. С. Тургенева «Помещик» также был напечатан в «Петербургском сборнике». З. А. Сытина не совсем точно цитирует начальные строки «Помещика».

Н. Н. СТРАХОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Николай Николаевич Страхов (1828—1896) — литературный критик, публицист, философ. Учился в Белгородском духовном училище, а затем в Каменец-Подольской и Костромской семинариях. Хорошо знавший Страхова Б. В. Никольский характеризовал его следующим образом: «Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий...» (Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896, с. 6). Подобно другим своим сверстникам, выходцам из духовного звания, Страхов избирает не духовную академию, а университет, сначала так называемый камеральный (то есть юридический) факультет, а затем становится студентом математического отделения (в 1845 году). Интересны причины, побуди-

вшие его заняться естественными науками. «Отрицание и сомнение, в сферу которых я попал <в университете>, — писал Страхов в «Автобиографии», — сами по себе не могли иметь большой силы. Но я тотчас увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет, на который они опираются, именно — авторитет естественных наук. Ссылки на эти науки делались беспрерывно; материализм и всяческий нигилизм выдавались за прямые выводы естествознания. И вообще твердо исповедовалось убеждение, что только натуралисты находятся на верном пути познания и могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел «стать с веком наравне» и иметь самостоятельное суждение в разногласиях, которые меня занимали, мне нужно было познакомиться с естественными науками» (там же, с. 11). Иными словами, опору для своего идеализма гегельянского толка, своих религиозных убеждений и «антинигилизма» он пытается найти в естественных науках. И перейдя в 1848 году в Главный педагогический институт, Страхов продолжает заниматься естествознанием, а с 1851 года, по окончании института, преподает (до 1860 года) физику, математику и естественную историю в гимназиях.

Печататься Страхов начал в 1857 году как естественник (с этого года вел в «Журнале министерства народного просвещения» отдел «Новости естественных наук»). Написал магистерскую диссертацию по зоологии.

Познакомился с Достоевским в начале 1860 года в кружке А. П. Милюкова, редактировавшего тогда журнал «Светоч». В этом журнале напечатал в 1860 году ряд своих натурфилософских статей. Статьи привлекли внимание Достоевского, пригласившего Страхова сотрудничать в журнале «Время», издание которого должно было начаться с 1861 года. Страхов стал одним из самых активных сотрудников и идеологов «почвеннического» направления журнала вплоть до написанной им статьи «Роковой вопрос», вызвавшей в 1863 году запрещение «Времени». Достоевский, писал Страхов Л. Толстому, «был мой усерднейший читатель, очень тонко все понимал» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, с. 273). Переписка Достоевского и Страхова во время пребывания писателя за границей (1867—1871) была весьма активной и дружеской. Однако вскоре недовольство «антинигилиста» Страхова (а также А. Н. Майкова) вызвала публикация романа Достоевского «Подросток» в журнале Салтыкова-Щедрина и Некрасова «Отечественные записки» (1875). Достоевский писал об этом А. Г. Достоевской 6 и 11 февраля 1875 года (см.: *Достоевский,* XXIX, кн. II, 9 и 15—16; в последнем письме сказано: «...не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам Страхов; они оба со складкой»).

После 1873 года, когда Страхов стал служить в Публичной библиотеке, встречи его с Достоевским продолжались, но былой духовной близости между ними уже не стало; возникла, напротив, бóльшая близость между Страховым и Л. Толстым. Достоевский посещал ино-

гда Страхова на его квартире (см.: Стахеев Д. И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний). — Исторический вестник, 1907, № 1, с. 84—88). Страхов нередко бывал у Достоевских по воскресеньям (*Достоевская,* с. 325).

Когда Достоевский умер, Страхов, кажется, с полной искренностью писал Л. Толстому: «Чувство ужасной пустоты <...> не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 266).

Через два года Страхов создает «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» для первого тома Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (*Биография*). Писание это шло трудно, ибо он никак не мог найти соответствующую форму для выражения своего отношения к личности Достоевского, не мог сформулировать своего понимания отражения этой личности в художественном творчестве 6 июля 1883 года он пишет Толстому, что работа «идет плохо», хотя и «подвигается вперед порядочно», и дальше: «Как я ни стараюсь возобновить в памяти прошлую жизнь, интерес лиц и происшествий, все мне кажется таким ничтожным, что я каждый день думаю: зачем это писать?» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 303). И через день — Анне Григорьевне Достоевской: «Работа моя идет тяжело и не удается мне» (Байкал, 1976, № 5, с. 139; публикация С. В. Белова). Более откровенно о ходе работы, которая теперь идет лучше, и о своих чувствах — Л. Н. Толстому в письме от 16 августа: «...почти кончил свою «биографию». Не ожидал я, что это так меня увлечет, и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтется с интересом. Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 305).

Необходимо указать на обстоятельство, повлиявшее, конечно, на настроение Страхова во время писания воспоминаний и на глубоко антипатичную характеристику личности Достоевского в письме к Толстому от 28 ноября 1883 года (см.: Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. М., 1981, с. 42—45). А. Г. Достоевская предоставила Страхову и О. Ф. Миллеру, готовившим первое посмертное издание сочинений Достоевского, возможность ознакомиться с архивом писателя, где находилась, в частности, такая запись о Страхове: «Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит

в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно». *Достоевский,* XXIV, 240).

Так подготавливались тот тон и та тенденция, которыми будет проникнуто печально знаменитое письмо Страхова к Л. Толстому от 28 ноября 1883 года, уже по окончании «Воспоминаний» и по прочтении их Толстым, письмо, которое сам Страхов назвал «исповедью». Это была действительно исповедь, но она подтверждала только то, с чего Страхов начал свои «Воспоминания»: «Он слишком для меня близок и непонятен». Это противоречие, по-видимому, действительно мучившее Страхова и подспудно присутствующее в самих его «Воспоминаниях», с полной откровенностью выразилось в названном письме. Страхов смотрит на Достоевского сквозь призму своих идейных, моральных и эстетических представлений и остро чувствует в нем нечто непонятное и глубоко себе чуждое.

«Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство, — пишет Страхов. — Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы его смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. <...> Я мог бы записать и рассказать и эту сторону в Достоевском; много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 309).

Толстой ответил Страхову 5 декабря 1883 года с осторожным сочувствием и в то же время подспудным несогласием: «Письмо Ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но я Вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю Вам». И тут же Толстой дает свое объяснение ошибки Страхова: «Вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому» как пророку и святому, между тем он был «человек, умерший в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла». И несмотря на все «разоблачающие» откровения Страхова, Толстой подытоживает: «Из книги Вашей я первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 63. М.—Л., 1934, с. 142).

Публикация письма Страхова уже после его смерти и смерти Толстого вызвала резкий протест со стороны А. Г. Достоевской, назвавшей письмо клеветническим, в особенности по причине повторения Страховым гнусной сплетни о преступлении Достоевского по отношению к ребенку (см.: *Достоевская,* с. 394—405; анализ всех материалов,

относящихся к происхождению «сплетни» см.: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978, с. 75—109).

В настоящем издании «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» Н. Н. Страхова печатаются по изд.: *Биография.*

[1] С. 376. Еще в 1858 г., когда Достоевский находился в Семипалатинске, его брат, М. М. Достоевский, решив вернуться к литературной деятельности, получил разрешение на издание еженедельника «Время». Однако тогда это издание не состоялось. М. М. Достоевский возобновил свое ходатайство в июне 1860 г., уже предполагая издавать «толстый» ежемесячный журнал под тем же названием (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972, с. 31—33, 39). Несомненно, что в этом решении о новом издании роль Федора Михайловича была уже велика. В письме к А. Е. Врангелю от 31 марта — 14 апреля 1865 г. он писал: «Вы знаете, вероятно, что брат затеял четыре года назад журнал. Я ему сотрудничал». Через несколько страниц в том же письме, говоря о «журнальном кризисе» 1864—1865 гг., Достоевский уточняет: «Приписывать худому ведению дела <неуспех и прекращение журнала «Эпоха» уже после смерти брата> я не могу. Ведь и «Время» *Я* начал, а не брат, я его направлял и я редактировал» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 115, 119). Вместе с тем в заметке «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском» (Эпоха, 1864, № 6) Ф. М. Достоевский высоко оценивал именно инициаторскую, организаторскую и редакторскую деятельность брата (*Достоевский,* XX, 121 —124).

[2] С. 376. О работе Достоевского в «Гражданине» кн. В. П. Мещерского см. воспоминания В. В. Тимофеевой-Починковской и М. А. Александрова (второй том наст. изд.).

[3] С. 376. Этот выпуск «Дневника писателя» вышел 1 февраля 1881 г.

[4] С. 376. О кружке литераторов, группировавшихся вокруг журнала «Светоч», см. воспоминания А. П. Милюкова (с. 260—261 наст. тома), а также: Фридлендер Г. М. У истоков «почвенничества» (Ф. М. Достоевский и журнал «Светоч»). — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1971, № 5.

[5] С. 376. В первом же номере журнала «Светоч» за 1860 г. была напечатана статья Страхова «Значение Гегелевой философии в настоящее время». Однако еще раньше, в 1858 г., в журнале «Русский мир» появились его «Письма об органической жизни».

[6] С. 377. См. примеч. 28 к с. 274.

[7] С. 378. Имеется в виду письмо к М. М. Достоевскому от 30 января — 22 февраля 1854 г. (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 173).

[8] С. 378. Проблеме «среды» Достоевский посвятил в 1873 г. особую главу «Дневника писателя» (*Достоевский,* XXI, 13—23).

[9] С. 379. Член кружка «Светоча» и «Времени», впоследствии автор

знаменитого романа «Петербургские трущобы (Книга о сытых и голодных.)» (1864—1867), Вс, Крестовский уже в 1860 г. стал посещать всякого рода петербургские притоны, сопровождаемый художником М. О. Микешиным и обер-полицмейстером, будущим начальником петербургской сыскной полиции П. Д. Путилиным. Несомненно, что Крестовский рассказывал в кружке о своих «путешествиях» по притонам и злачным местам Петербурга (см.: Орнатская Т. И. Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских (1860—1865 гг.). — *Материалы и исследования,* 8, 259).

[10] С. 379. Глубоко пессимистическое отношение Герцена к возможностям европейского буржуазного развития после подавления революции 1848 г. сказалось уже во второй части «Писем из Франции и Италии» (1847—1848), в предисловии к которым 1858 г. он писал: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V. М., 1955, с. 10). Страхов мог учитывать в этих своих суждениях и книгу «С того берега» (1849), и соответствующие главы «Былого и дум», и более поздний цикл «Концы и начала» (1862—1863). Герцен возвратился в Париж из Италии 5 мая/23 апреля 1848 г. и был свидетелем разгрома восстания парижского пролетариата (так называемых «июньских дней»).

[11] С. 379. О петербургских пожарах и отношении к ним Достоевского и журнала «Время» см. примеч. к воспоминаниям Н. Г. Чернышевского (том второй наст. изд.).

[12] С. 382. Имеются в виду черновой набросок «Еще дуют холодные ветры...» (1828) и оставшееся в черновике начало «Сказки о медведихе» (ок. 1830). Оба эти текста были опубликованы П. В. Анненковым в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» (1855). О Пушкинском празднике и выступлениях на нем Достоевского см. далее, с. 506—518, а также том второй наст. изд.

[13] С. 383. См. том второй наст. изд., в частности, воспоминания В. А. Поссе.

[14] С. 383. См. выше, примеч. 5 к с. 376.

[15] С. 383. Во второй майской книжке «Русского вестника» за 1860 г. была напечатана статья Страхова «Об атомистической теории вещества».

[16] С. 395. Страхов имеет в виду критические выступления журнала «Современник» и его сатирического приложения — «Свистка», имевшие, однако, неоднозначный смысл и разные причины. Прежде всего, критике подвергалось либеральное «обличительство», например в статье Добролюбова «Стихотворения Михаила Розенгейма» (Современник, 1858, № 11), его же рецензии на комедию Н. М. Львова «Предубеждение» (Современник, 1858, № 7) и др. «Научная» полемика М. П. Погодина с Н. И. Костомаровым по поводу «норманской» теории происхож-

дения русского государства была высмеяна Добролюбовым в «Свистке» (Современник, 1860, № 3). Пародии на стихотворения П. А. Кускова и К. К. Случевского печатались в «Искре» и «Свистке». *Катастрофа с Тургеневым* — спор, развернувшийся вокруг опубликованного в 1862 г. (Русский вестник, № 2) романа Тургенева «Отцы и дети». Самой резкой и несомненно тенденциозной была отрицательная оценка романа и его главного героя Базарова в статье М. Антоновича «Асмодей нашего времени» (Современник, 1862, № 3). Иной характер имел анализ тургеневского героя, данный Д. И. Писаревым в статье «Базаров», хотя и он полагал, что, «создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения» (Русское слово, 1862, № 3, отд. «Русская литература», с. 52). Сам Страхов посвятил роману Тургенева статью в четвертой книжке «Времени» за 1862 г. Верный своей почти навязчивой идее «борьбы с нигилизмом», под этим знаком он строит и свою статью, утверждая, что Базаров как «нигилист» «побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни» (отд. II, с. 81).

[17] С. 395. Вся эта история была вызвана публикацией в «Библиотеке для чтения» (1861, № 12) фельетона А. Ф. Писемского за подписью «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов». Ответом на фельетон Писемского явилась статья сатирического журнала «Искра» (1862, № 5 от 2 февраля), автором которой был Г. З. Елисеев, обвинивший Писемского в измене «интересам современного движения русского общества». «Никогда еще русское печатное слово,— говорилось в статье,— не было низведено до такого позора, до такого поругания». Писемский предпринял шаги для организации протеста против выступления «Искры» и сам собирал подписи (см. его письмо к А. Н. Островскому от 7 февраля 1862 г. — Писемский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936, с. 149). «Протест» был подписан рядом литераторов, среди которых — А. А. Краевский, А. Н. Майков, Г. Е. Благосветлов, И. А. Гончаров. К протесту отказались присоединиться Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, А. Н. Пыпин, М. А. Антонович, И. И. Панаев, то есть вся группа «Современника». Уклонился от участия в этой истории и Тургенев. Протест, как и пишет Страхов, не состоялся.

[18] С. 396. Речь идет о студенческих демонстрациях осени 1861 г., в которых принимали участие сотни студентов; многие из них были арестованы и высланы, а Петербургский университет временно закрыт (см. также далее с. 429—432).

[19] С. 396. Л. Ф. Пантелеев вспоминал: «Начались они <то есть пожары> с 16 мая, но особенно выделились 22 и 23 числа, когда выгорели Большая и Малая Охты и огромное количество домов в Ямской — весь четырехугольник между Кобыльской улицей и Лиговской, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 276). См. также во втором томе наст. изд. воспоминание Чернышевского о встрече с Достоевским в 1862 г. и примеч. к нему.

[20] С. 396. Восстание началось в январе 1863 г.

[21] С. 400. Первая статья Ал. Григорьева, напечатанная во «Времени», — «Народность и литература» (1861, № 2).

[22] С. 400. Страхов в общем упрощает отношения «старой редакции» «Москвитянина» (М. П. Погодин, С. П. Шевырев) как с «классическим» славянофильством в лице И. В. и П. В. Киреевских и А. С. Хомякова, так и с «молодой редакцией» в лице А. Н. Островского, Ал. Григорьева, Т. И. Филиппова и др., игравшей активную роль в журнале с 1850 по 1853 г. (официально с 1841 по 1856 г. журнал выходил под редакцией М. П. Погодина). Но он прав в том отношении, что в основу своей деятельности «молодая редакция» действительно положила «восторженное поклонение» искусству, прежде всего народному. В этом смысле в драматургии Островского Ал. Григорьев и усмотрел «новое слово», «коренное русское миросозерцание». М. М. Достоевский в статье о «Грозе» Островского поддержал эту мысль Ап. Григорьева, в то же время сформулировав и одну из идей будущего «почвенничества»: «В русском человеке,— писал он здесь, — есть способность прямо подходить к истине и понять ее со всех сторон. Вместе с этой способностью он соединяет и всепримиряемость, то есть способность простить даже злую, враждебную обстановку, если только в ней заключается истина. <...> Это свойство русского человека <...> впервые выражено у нас в искусстве г. Островским, в чем и состоит вся сила его таланта, вся заслуга его перед русскою литературой. Это-то и есть новое слово, сказанное г. Островским...» (Светоч, 1860, кн. 3, отд. «Критическое обозрение», с. 8—9). Что касается «натуральной школы», то она претила Ап. Григорьеву своей теорией «среды» — аморальной и фаталистической, по его мнению, — хотя отрицание «натурализма» не было у него безусловным (см. примеч. 25 к с. 401). Ап. Григорьев действительно сыграл важную роль в формулировании идеологии «почвенничества». Об отношении Ап. Григорьева к Достоевскому и о его месте в редакции журналов братьев Достоевских см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972; ее же. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975.

[23] С. 400. Страхов имеет в виду статью «Введение» к «Ряду статей о русской литературе», напечатанную в первой книжке «Времени» за 1861 г., где есть, в частности, такие утверждения: «...цивилизация уже совершила у нас весь свой круг <...> мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве» (*Достоевский,* XVIII, 49).

[24] С. 401. Речь идет о покушении на Александра II Д. В. Каракозова. По официальной версии Александр был спасен крестьянином О. И. Комиссаровым.

[25] С. 401. Страхов ссылается на свои «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве», напечатанные, однако, не в октябрьской,

а в сентябрьской книжке «Эпохи» за 1864 г. В статье «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия» (Время, 1861, № 5) Ап. Григорьев писал: «...между обскурантизмом и религиею света, между застоем и учением любви — нет ничего общего...» Для того чтобы понять это, «нужны были и простая книга отца Парфения, поразившая своею простотою мудрых и разумных и жадно прочтенная толпою, и глубокое мышление И. Киреевского, и блестящие, оригинально-смелые и широкие взгляды Хомякова, и полное веры, любви и жизни слово архимандрита Феодора, и, позволю себе сказать, чисто земные литературные явления — явления натурализма, на который всего более нападали слепые поборники застоя» (отдел «Критическое обозрение», с. 4—5). Эти оценки идеологов славянофильства вызвали неприятие со стороны М. М. Достоевского, о чем Ап. Григорьев и писал в первом письме из Оренбурга Страхову 18 июня 1861 г. (Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917, с. 266—267). Григорьев упрекал «Время» и в том, что журнал завел «срамную дружбу с «Современником» (там же, с. 267). Причиной недовольства Григорьева было активное сотрудничество в журнале автора «Политического обозрения» (см. далее с. 408) публициста революционно-демократического направления А. Е. Разина, которого он называл не иначе как «Стенькой Разиным» (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», с. 58—62). Впрочем, мысль уехать в Оренбург и занять место преподавателя в кадетском корпусе явилась у Григорьева раньше его размолвки с редакцией «Времени» и была вызвана необходимостью вырваться из тисков крайней нужды (см.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 263—264 — письмо к М. П. Погодину от 13 февраля 1861 г.).

[26] С. 405. Имеются в виду «Заключение и чудесное бегство Жака Казановы из Венецианских темниц (пломб). (Эпизод из его мемуаров)» (Время, 1861, № 1) и «Процесс Ласенера. Из уголовных дел Франции» (Время, 1861, № 2). В редакционном предисловии к первой публикации, автором которого был Достоевский, указывалось на причины подобных публикаций: «Казанова выражает собою всего тогдашнего человека известного сословия, со всеми тогдашними мнениями, уклонениями, верованиями, идеалами, нравственными понятиями, со всем этим особенным взглядом на жизнь, так резко отличающимся от взгляда нашего девятнадцатого столетия. <...> Это рассказ о торжестве человеческой воли над препятствиями непреоборимыми» (*Достоевский,* XIX, 86—87). В редакционном примечании к публикации «Процесса Ласенера», также принадлежавшем Достоевскому, говорилось: «Мы думаем угодить читателям, если от времени до времени будем помещать у себя знаменитые уголовные процессы. Не говоря уже о том, что они занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом <...> В предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной.

Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века» (там же, с. 89—90).

[27] С. 410. Точное название «фельетона» — «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (Время, 1861, № 1).

[28] С. 411. Действительно, Добролюбов вводил в «фельетоны» «Свистка» стихотворения поэтов-«масок» (Конрада Лилиеншвагера, Якова Хама; автором этих стихотворений был он сам). Однако такая «мода» существовала и раньше, в «фельетонах» И. И. Панаева в «Современнике», Б. Н. Алмазова в «Москвитянине».

[29] С. 416. Цитата из статьи Добролюбова «Забитые люди» (см.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М.—Л., 1963, с. 240; курсив в цитате везде принадлежит Страхову).

[30] С. 418. Цитата из статьи Достоевского «Последние литературные явления. Газета «День», являющейся заключительной в цикле «Ряд статей о русской литературе» (Время, 1861, № 11). Достоевский рассматривает пять номеров еженедельной газеты И. С. Аксакова «День», которая начала выходить 15 октября 1861 г., и с горечью вынужден констатировать: «Это все те же славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, нимало не изменившееся, у которого идеалы и действительность до сих пор так странно вместе смешиваются; для которого нет событий и нет уроков. Те же славянофилы, с тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью» (*Достоевский,* XIX, 58). Достоевский полагает, что именно западничество, «через самосознание, воротилось-таки на народную почву и признало соединение с народным началом и спасение в почве» (там же, с. 61). Страхов упрощает и обедняет смысл статьи Достоевского, сводя все дело к разногласиям по литературным вопросам, между тем как Достоевский отвергает именно общественно-политическую программу славянофилов, утверждая: «Дурные «Дни» вы сулите нам впереди. Мы с симпатией думали встретить журнал ваш, но вы хоть какую симпатию потушите» (там же, с. 65).

[31] С. 419. По сведениям В. С. Нечаевой, основывающимся на документальных данных, подписчиков у «Времени» в 1861 г. было несколько меньше — около 1600 (Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», с. 42).

[32] С. 420. Цитата из статьи Добролюбова «Забитые люди» (см.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М.—Л., 1963, с. 228; слова в скобках принадлежат Страхову).

[33] С. 420. Речь опять-таки идет о статье Добролюбова «Забитые люди».

[34] С. 420. В первой книжке «Современника» за 1861 г. в разделе «Новые периодические издания» Н. Г. Чернышевский посвятил несколь-

ко в целом действительно «дружелюбных» страниц первому номеру «Времени», в частности роману Достоевского «Униженные и оскорбленные», хотя и отметил, что «Время» «расходится с «Современником» в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества» (см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, с. 956). По мере выхода новых книжек «Времени» эта разница начала выявляться и углубляться, в особенности благодаря стараниям Страхова (см. об этом далее). В той же первой книжке «Современника» (в «Свистке») было напечатано шутливое стихотворение Некрасова (без подписи) «Гимн «Времени» (см.: Свисток. Серия «Литературные памятники». М., 1982, с. 196—197).

[35] С. 420. Комедия А. Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь. Женитьба Бальзаминова. Картина московской жизни» была напечатана не в октябрьской, а в сентябрьской книжке «Времени» за 1861 г.

[36] С. 420. Имеются в виду «Недавние комедии. 1. Соглашение. 2. Погоня за счастьем». Подпись: Н. Щедрин. В 1863 г. Салтыков-Щедрин включил «Недавние комедии» в сборник «Сатиры в прозе».

[37] С. 421. Сотрудничество Ап. Григорьева во «Времени» 1862 г. возобновилось статьей «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья первая» (№ 1).

[38] С. 421. Это разделение сотрудников «Времени» на две группы по меньшей мере неточно. Переписка Страхова с Ап. Григорьевым, опубликованная в книге «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», свидетельствует, что и лично, и идейно Страхов был гораздо ближе в это время к Ап. Григорьеву, чем к Достоевскому (*Достоевский в воспоминаниях,* I, 423). В. С. Нечаева в книге о журнале «Время» предлагает несколько иную группировку его сотрудников. Во-первых, это друзья братьев Достоевских еще по 40-м гг., прежде всего — А. Н. Майков и А. Н. Плещеев, во-вторых, их сверстники, сотрудничавшие ранее в других изданиях, — Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов и др., и, наконец, молодые литераторы, начинавшие литературный путь именно в журнале «Время» (с. 48—70 названной книги).

[39] С. 425. О своеобразии своего реализма Достоевский писал, например, А. Н. Майкову 11/23 декабря 1868 г.: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего <реализма?>. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 329). И в конце жизни, в записной тетради 1881 г. Достоевский вновь возвращается к своему пониманию реализма: «При полном реализме найти в человеке человека», я «реалист в высшем

смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» (*Достоевский,* XXVII, 65).

[40] С. 427. Достоевский был противником цензуры, о чем он говорил еще в своих показаниях следственной комиссии по делу петрашевцев. Вряд ли спокойно воспринял Достоевский вмешательство цензуры в текст «Записок из Мертвого дома». О цензурных же искажениях в «Записках из подполья» Достоевский с возмущением писал брату 26 марта 1864 г.: «...уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противуреча самой себе. Но что ж делать! Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду,* — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа — то запрещено» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 73).

[41] С. 427. Страхов явно «выпрямляет» отношения, существовавшие в кружке «Времени». Как бы то ни было, вопрос о революции, о революционном движении, — как свидетельствует посещавший собрания редакционно-литературного кружка братьев Достоевских, печатавшийся во «Времени»» и вскоре ставший членом подпольной революционной организации «Земля и Воля» Н. Ф. Бунаков, — в кружке бурно обсуждался, и при этом высказывались разные мнения (см.: Орнатская Т. И. Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских (1860—1865 гг.) — *Материалы и исследования,* 8, 254).

[42] С. 429. Первые революционные прокламации появились еще в 1861 г.: это были «Великорусс» В. А. Обручева и «К молодому поколению» М. Л. Михайлова. 14 мая, накануне петербургских пожаров, была распространена наиболее радикальная по содержанию прокламация «Молодая Россия» П. Г. Заичневского. См. также примеч. 19 и 20 к с. 396, примеч. 24 к с. 401.

[43] С. 429. О «студентской истории» подробно рассказывает в своем дневнике Е. А. Штакеншнейдер (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки. М.—Л., 1934). Об этой же истории пишет в «Воспоминаниях» участник революционного движения 60-х гг. Л. Ф. Пантелеев. Он же комментирует рассказ Страхова о «людях, которым очень хотелось обратить эту историю в бунт». «В разгар истории, — пишет Пантелеев, — Г. З. Елисеев с другим, очень выдающимся, сотрудником «Современника» (М. А. Антоновичем) явились к студенту М. П. Покровскому (тоже члену <руководящего студенческим движением> кружка и притом наиболее возбужденному <...>) и поставили ему такой вопрос: «Есть у вас триста человек на все готовых?» — «Да», — ответил слишком самоуверенно Покровский. Но когда они развили ему один крайне фантастический проект (на него есть намек у Н. Н. Страхова в материалах для биографии Ф. М. Достоевского. На мой вопрос, откуда он это знает, Страхов ответил: «Да мне говорил о нем М. П. Покров-

ский»), то разговор кончился ничем». «Фантастический проект» — «захватить в Царском селе наследника (Н. А.) и за освобождение его предъявить царю (находился в Ливадии) требование конституции» (см.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 246). См. также примеч. 18 к с. 396.

[44] С. 431. Кроме Достоевского и его племянницы, выдающейся пианистки М. М. Достоевской, на этом вечере выступили Чернышевский, Некрасов, В. Курочкин и др. Речь о тысячелетии Русского государства произнес либеральный профессор-историк П. В. Павлов (1823—1895). По воспоминаниям Пантелеева, основная мысль его речи «была такая: как в древней, так и в новой России были известные общественные группы, пользовавшиеся теми или другими правами, только масса населения всегда стояла вне правового порядка, и положение ее постепенно настолько ухудшилось, что можно было ожидать страшного народного взрыва. К счастью, правительство это поняло и приступило к реформе». Экзальтированный тон чтеца, возбужденное настроение публики, наполнявшей залу, придали речи оппозиционный характер. «Вот он кончил, — продолжает Пантелеев; — начались вызовы. Павлов долго не выходил, наконец показался и дал знак, что хочет говорить; мгновенно воцарилась тишина. Что было у него на уме, трудно сказать; только он произнес: «Имеющий уши слышать да слышит». После этих слов в зале произошло нечто трудно описуемое, вероятно потом оказалось немало поломанных стульев. Многие тут же громко говорили, что Павлову несдобровать» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 227—228). Действительно, Павлов был вскоре арестован и выслан в Ветлугу. Достоевский пародировал речь Павлова и все его поведение в «литературной кадрили» в романе «Бесы» с таким комментарием: «...бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?» (*Достоевский,* X, 374).

[45] С. 432. См. примеч. 42 к с. 429.

[46] С. 434. Статья Достоевского, входившая в цикл «Ряд статей о русской литературе», была полемична по отношению к выступлениям Добролюбова. Добролюбов ответил Достоевскому в статье «Забитые люди».

[47] С. 434. Уже в статье «Нечто о петербургской литературе» (Время, 1861, № 4) можно обнаружить в скрытой форме страховский «антинигилизм». В статье же «Еще о петербургской литературе. Письмо к редактору «Времени» по поводу двух современных статей» (Время, 1861, № 6) он прямо обвинил Чернышевского как автора статьи «О причинах падения Рима» в *отрицании истории,* а Писарева как автора статьи «Схоластика XIX века» — в *отрицании философии.* «Современник» часто напоминает мне,— писал далее Страхов, — какой-то сказочный, баснословный мир, в котором совершаются большие чудеса. Г. Чернышевский или другой рыцарь, как новый Бова-королевич <явный намек на

Добролюбова>, делает в этом мире тысячи богатырских подвигов. Он свистнет — и десятки ученых уничтожены; махнет пером — смотришь, какой-нибудь науки как не бывало или история целого народа — развеяна прахом. Но все это кажется только в фантастическом мире «Современника». Если же оглядеться кругом в действительности, то окажется, что и ученые, и науки, и история здравы и невредимы и продолжают делать свое дело» (отдел «Критическое обозрение», с. 153—154). Следующей статьей Страхова была статья «Нечто о полемике» (Время, 1861, № 8), направленная, в частности, против «свистунов» «Современника». См. об этой статье также след. примеч.

[48] С. 434. Эта вставка сделана Достоевским (см: *Достоевский,* XIX, 139) и при перепечатке статьи в сборнике «Из истории литературного нигилизма» (СПб., 1890) Страховым снята. Следует отметить, что отношение Достоевского к Добролюбову в это время не совпадало с полемическими выпадами Страхова.

[49] С. 435. *Феофилакт Косичкин* — псевдоним Пушкина, которым он подписывал свои сатирические статьи.

[50] С. 435. См. примеч. 16 к с. 395.

[51] С. 436. Статья Страхова об «Отцах и детях» Тургенева была напечатана в апрельской книжке «Времени» (без подписи). Тургенев вернулся в Россию из-за границы 26 мая 1862 г.

[52] С. 436. Страхов кратко повторяет здесь свою трактовку романа Достоевского «Преступление и наказание», развернутую ранее в особой статье (Отечественные записки, 1867, март, кн. 2, и апрель, кн. 1).

[53] С. 437. Страхов не совсем точен. Полемике с философом-идеалистом, профессором Киевской духовной академии П. Д. Юркевичем была посвящена статья М. А. Антоновича «Современная физиология и философия», напечатанная не в первой, а во второй книжке «Современника» за 1862 г. Критический анализ славянофильства дан в статье Антоновича «Московское словенство» (рецензия на издания сочинений И. Киреевского, А. Хомякова, К. Аксакова) в первой книжке «Современника». В № 3 «Современника» напечатана статья Антоновича «Асмодей нашего времени» (см. примеч. 16 к с. 395). В № 4 все тот же Антонович опубликовал упомянутую выше статью «О духе «Времени» и о г. Косице как наилучшем его выражении».

[54] С. 438. Страхов говорит о своей статье «Нечто об «опальном журнале». (Письмо к редактору)»; подпись: Н. Косица.

[55] С. 438. Правительственным распоряжением от 15 июня 1862 г., изданным на основании Временных цензурных правил от 12 мая того же года, «Современник» был приостановлен на восемь месяцев. Чернышевский писал Некрасову 19 июня, что новые цензурные правила применены к «Современнику» и «Русскому слову» «без всякого нового особенного повода с их стороны, вследствие общих соображений, что их направление нехорошо. Мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правитель-

ством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер. Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1949, с. 454). 7 июля Чернышевский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. См. также примеч. к воспоминанию Чернышевского о встрече с Достоевским в мае 1862 г. (том второй наст. изд.).

[56] С. 439. Несмотря на многочисленные попытки исследовать причины петербургских пожаров мая 1862 г., тайна их до сих пор не раскрыта (см.: Розенблюм Н. Г. Петербургские пожары 1862 г. и Достоевский. — *ЛН,* 86, 16 и сл.).

[57] С. 439. Достоевский упоминает об этом в «Дневнике писателя» за 1873 год (гл. I. «Вступление»; *Достоевский,* XXI, 8). Достоевский встретился с Герценом в Лондоне по крайней мере дважды — 4/16 июля и 7/19 июля 1862 г. (см.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859 — июнь 1864. М., 1983, с. 340 и 343). Однако возможно, что этих встреч было больше (см.: *Материалы и исследования,* 8, 280—281). По мнению А. С. Долинина, «Зимние заметки о летних впечатлениях» «отзываются влиянием Герцена далеко не «несколько», как пишет Страхов. Они целиком проникнуты мыслями Герцена, его восприятиями, его способами доказательств. Позиция Герцена в ту пору была для Достоевского, в эволюции его воззрений, этапом крайне необходимым, до конца органичным; на кратковременном опыте, но конкретно, проверил Достоевский герценовские взгляды на Европу и держался их» (см.: *Долинин. Последние романы,* с. 217; также: *Достоевский в воспоминаниях,* I, 425—426).

[58] С. 442. Страхов встретился с Достоевским в Женеве около 22 июня/4 августа 1862 г., после чего они отправились во Флоренцию, где прожили неделю в августе месяце (см.: *Материалы и исследования,* 4, 174—175; 5, 206).

[59] С. 443. Ап. Григорьев жил во Флоренции с октября 1857 по май 1858 г. Писал о Флоренции в статье «Великий трагик» (Русское слово, 1859, № 1).

[60] С. 444. *Кашины* (Cashine), по описанию Ап. Григорьева в статье «Великий трагик», — «герцогский загородный скотный двор, с прекрасным парком, с прекрасными узенькими дорожками для пешеходов и с широкими для экипажей» (Григорьев Ап. Воспоминания. Л., 1980, с. 267).

[61] С. 444. «Зимние заметки о летних впечатлениях». Глава VII (*Достоевский,* V, 83—84).

[62] С. 444. Там же. Глава IV (*Достоевский,* V, 64—66).

[63] С. 445. См.: *Биография,* с. 28—34, третьей пагинации; ср.: *Достоевский,* XX, 206—212. Наряду с мыслью, уже раньше высказывавшейся Достоевским, но здесь еще более настойчиво подчеркиваемой, о том, что «нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно

крепче; что надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица», Достоевский, как никогда, резко пишет о «свистунах, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать; выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма» (*Достоевский,* XX, 209, 211). Страхов далее пишет, что «живописное выражение» о «кнутике рутинного либерализма» было адресовано мелким журналам, которые сразу на него и откликнулись (вероятно, речь шла об «Искре»). Однако главная полемическая стрела была пущена все же по адресу «Современника» со «Свистком». Поэтому уже в январско-февральской книжке за 1863 г. возобновленного «Современника» «Объявлению» «Времени» уделено столь много места, а затем оно так или иначе обсуждалось и обыгрывалось в разгоревшейся вскоре полемике между «Современником» и «Временем» (см. сводку материалов, относящихся к полемике по поводу «Объявления», в комментариях к нему В. А. Туниманова. — *Достоевский,* XX, 393—397).

[64] С. 446. Вскоре после начала польского восстания Герцен выступает с целым рядом статей в его защиту.

[65] С. 446. Отношение передовой русской журналистики к восстанию в Польше было сложным: наряду с подспудным сочувствием к восставшим, она не могла игнорировать влияния восстания на положение в России. Весь этот многообразный комплекс проблем был осторожно затронут Салтыковым-Щедриным в доцензурной редакции сентябрьской хроники «Нашей общественной жизни», где он писал: «Да; много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтоб развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспеяния. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 6. М., 1968, с. 114).

[66] С. 446. Статья Страхова «Роковой вопрос» по содержанию и стилю изложения является для него чрезвычайно показательной. Манеру Страхова-публициста ядовито охарактеризовал М. Н. Катков в заметке «По поводу статьи «Роковой вопрос» (см. о ней далее, примеч. 71 и 72 к с. 454 и 455): «...к сожалению, статьи его <то есть Страхова> всегда заключали в себе что-то туманное и неопределенное и как будто ничем

не оканчивались. В них чувствовалась мысль добрая по своему настроению, но воспитанная в праздных отвлеченностях, в бесплодном схематизме понятий» (Русский вестник, 1863, № 5, с. 401).

Страхов в статье «Роковой вопрос» уходит от той политической конкретности, о которой сам же говорит в начале статьи. Такое, политическое объяснение польских событий представляется ему по меньшей мере недостаточным. Он переносит проблему на общекультурную почву, на почву «духовной» борьбы двух цивилизаций — европейской, чуждой духу славянских народов (в том числе и польского, и в этом Страхов видит гибельность «высокой» европейской цивилизации для судеб самой Польши), — и самобытной, русской. При этом оба полюса этой борьбы как бы уравниваются: европейская цивилизация оказывается даже в более выгодном положении, поскольку русская фактически еще не выработалась. Страхов заключает статью утверждением об огромной сложности разрешения «рокового вопроса»: «Польский вопрос, вероятно, еще долго будет глубоким русским вопросом; чем он труднее и важнее, тем нужнее для нас сознавать в отношении к нему свой долг» (Время, 1863, № 4; отд. «Современное обозрение», с. 162—163).

Статья Страхова недаром понравилась Достоевским. Она отвечала стремлению редакции «Времени» к независимости суждений, к выражению собственной точки зрения. И надо подчеркнуть, что, как бы ни оправдывались Страхов в письмах к М. Н. Каткову и И. С. Аксакову и, одновременно, Достоевский в «Ответе редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей», точка зрения, выраженная в «Роковом вопросе», несомненно отличалась от официальной. Это сразу же было замечено газетой Каткова, что и вызвало ее донос на журнал братьев Достоевских.

67 С. 448. У Тютчева: «Умом Россию не понять...» (1866).

68 С. 448. Вторая строфа из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

69 С. 449. См.: *Достоевский,* XX, 97—101.

70 С. 454. См. рассказ самого Достоевского об обстоятельствах закрытия «Времени» в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского, с. 161—162 наст. тома.

71 С. 454. Это письмо Страхова Катков полемически цитирует и довольно грубо комментирует в заметке «По поводу статьи «Роковой вопрос» (Русский вестник, 1863, № 5).

72 С. 455. В этой своей «заметке» (см. предыд. примеч.) Катков назвал страховскую статью «странным голосом в пользу притязаний, враждебных России» (с. 400). «Никто не мог понять и оценить того безмерного великодушия,— писал здесь Катков, — той щедрости метафизика-патриота <!>, который, отдавая полякам европейскую цивилизацию, вознаграждал за то свое отечество фантастическими видами на будущее» (с. 411).

[73] С. 455. Начать новый журнал под названием «Эпоха» М. М. Достоевскому было дозволено 27 января 1864 г.

[74] С. 458. Достоевский уехал за границу в августе 1863 г. и возвратился в Петербург в начале ноября 1863 г., после чего отправился во Владимир и Москву к больной М. Д. Достоевской.

[75] С. 462. У Достоевского: «подгадят» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 52). Далее в письме к М. М. Достоевскому от 19 ноября 1863 г. (см. с. 466, строка 27) после слов «Но остальные» выпущены часть предложения: «(Может быть, и Милюков в том числе)» и вслед за этим несколько неодобрительных строк о Милюкове и сообщений бытового характера (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 57). В этом же письме **—у*—у* означает: «Александру Павловичу <Иванову>».

[76] С. 470. 31 марта — 14 апреля 1865 г., уже после смерти брата, Достоевский писал об обстоятельствах прекращения «Эпохи» и своем тяжелом положении А. Е. Врангелю (см. далее с. 477—484; ср.: *Достоевский,* XXVIII, кн. II, 115—121).

[77] С. 470. Статья «Перелом» предназначалась для первой книжки «Эпохи». Она была напечатана Страховым в его сб. «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1890, кн. II).

[78] С. 470. Слова Страхова о наступившем в 1863 г. «глубоком переломе общественного настроения» справедливы, но справедливы они прежде всего в том смысле, что именно этот год знаменует резкий поворот и правительства и общества к политической реакции. Страхов этот процесс явно упрощает. Ср. примеч. 65 к с. 446.

[79] С. 471. Далее в письме Достоевского следуют опущенные Страховым неодобрительные строки о Тургеневе и его «Призраках» и упоминание о Милюкове (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 73).

[80] С. 472. У Достоевского: «Свиньи» (там же).

[81] С. 472. М. Д. Достоевская умерла не 16, а 15 апреля, М. М. Достоевский — 10 июля, Ап. Григорьев — 25 сентября 1864 г.

[82] С. 474. Имеются в виду публикации писем Ап. Григорьева в статьях Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве» (Эпоха, 1864, № 9) и «Новые письма Аполлона Григорьева» (Эпоха, 1865, № 2).

[83] С. 476. О полемике «Эпохи» с «Современником» см. главу «Журнальная полемика» в кн.: Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е — 1870-е годы. М., 1984.

[84] С. 482. Пропущена одна фраза: «И вдруг почти у всех убавилось на половину, а у нас на 75 процентов» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 119).

[85] С. 485. Не совсем точно: лето 1866 г. Достоевский провел в дачной местности Люблино под Москвой у своих родственников Ивановых (см. во втором томе наст. изд. воспоминания Н. Фон-Фохта).

[86] С. 485. По поводу этой «первой размолвки» (на самом деле — второй, в связи с публикацией «Подростка» в «Отечественных

записках» Некрасова и Салтыкова-Щедрина) Достоевский писал 12 февраля 1875 г. А. Г. Достоевской: «...это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления и наказания» (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 16—17).

[87] С. 488. Два предшествующих абзаца представляют собой в автографе окончание письма (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 152—153).

[88] С. 491. Имеется в виду дело студента Данилова, судебный процесс над которым происходил в конце 1866 г. По-видимому, об этом же своем «предвидении» писал Достоевский А. Н. Майкову: «Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 329). Ср. примеч. 39 к с. 425.

[89] С. 491. М. П. Покровский, один из активнейших участников студенческого движения 1861 г., был выслан в Архангельскую губернию под строгий надзор полиции. Находился в приятельских отношениях со Страховым. См. выше примеч. 43 к с. 429, а также во втором томе наст. изд. воспоминания Е. А. Штакеншнейдер. Достоевский вспоминает Покровского в письме к Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879 г. (*Достоевский,* XXX, кн. I, 73).

[90] С. 491. Статья Страхова о «Преступлении и наказании» была напечатана в журнале «Отечественные записки» в 1867 г. (см. выше). Руководствуясь, как и в статье о романе Тургенева «Отцы и дети», своим пониманием «нигилизма», Страхов приходит к выводу, что Достоевский «изобразил нам нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием» (март, кн. 2, с. 331; ср.: Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984, с. 102).

[91] С. 492. См. в наст. томе воспоминания А. П. Милюкова и в томе втором наст. изд. «Дневник» А. Г. Достоевской.

[92] С. 493. Далее Страховым опущены несколько строк. (*Достоевский, XXIX,* кн. I, 211).

[93] С. 493. Далее Страховым выпущена характеристика Бочарова: «Между нами, человек весьма нечестный» (там же).

[94] С. 494. Об этом же рассказывает и сама Анна Григорьевна (см.: *Достоевская,* с. 104).

[95] С. 494. Роман «Игрок» был опубликован в изд.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Вновь просмотренное и дополненное самим автором издание. Изд. Ф. Стелловского, т. III. СПб., 1866.

[96] С. 495. Алексей Достоевский родился 10 августа 1875 г.

[97] С. 495. Названные письма напечатаны в разделе «Письма Ф. М. Достоевского к разным лицам» (*Биография*). Глава XVII составлена Страховым по этим письмам и, по-видимому, по рассказам А. Г. и Ф. М. Достоевских.

[98] С. 497. О впечатлениях Достоевского при посещении Дрезден-

ской галереи пишет А. Г. Достоевская в «Воспоминаниях» и «Дневнике» (см. том второй наст. изд.). *«Abendlandschaft»* — «Пейзаж с Асисом и Галатеей» Клода Лоррена, одна из любимейших картин Достоевского, отразившаяся в снах его героев как видение «золотого века», в частности, в «сне» Версилова в «Подростке» (*Достоевский,* XIII, 375).

[99] С. 501. По-видимому, речь идет об инциденте, связанном с публикацией в «Гражданине». заметки кн. В. П. Мещерского, в которой были напечатаны, без разрешения министра двора, слова царя, сказанные во время приема киргизской депутации. Это было признано нарушением цензурного устава. См. об этом во втором томе наст. изд. воспоминания А. Ф. Кони и примеч. к ним.

[100] С. 501. О работе Достоевского в «Гражданине» см. воспоминания В. В. Тимофеевой-Починковской и М. А. Александрова во втором томе наст. изд.

[101] С. 503. Эта поездка состоялась не в 1879, а в 1878 г., по настоянию А. Г. Достоевской и Вл. С. Соловьева, после смерти младшего сына Достоевского — Алексея. Достоевский пробыл в монастыре два дня (26 и 27 июня) и несколько раз беседовал со старцем иеросхимонахом Амвросием (в миру — Александром Михайловичем Гренковым), послужившим прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Во время этой поездки Достоевский передал Вл. Соловьеву «главную мысль, а отчасти и план своего нового произведения», то есть романа «Братья Карамазовы» (см.: Соловьев Вл. Три речи в память Достоевского. СПб., 1883; Соловьев В. С. Сочинения, в 2-х томах, т. 2. М., 1988, с. 301).

[102] С. 504. Первым таким предприятием А. Г. Достоевской было издание романа «Бесы». «Наступил знаменательный день в нашей жизни, 22 января 1873 года, — пишет она в «Воспоминаниях», — когда в «Голосе» появилось наше объявление о выходе в свет романа «Бесы» (*Достоевская,* с. 255). Впоследствии многие произведения Достоевского издавались Анной Григорьевной, и она даже давала советы С. А. Толстой по книгоиздательской деятельности (там же, с. 391). В начале 1880 г. по инициативе Анны Григорьевны была создана «Книжная торговля Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних)» (там же, с. 348). Об этой «книжной торговле» см. воспоминания П. Г. Кузнецова «На службе у Достоевского в 1879—1881 гг.». — *ЛН,* 86, 334—336.

[103] С. 504. Эта записка носит у Достоевского название «Памятного листка» (см. ее факсимильное воспроизведение: *ЛН,* 83, 689).

[104] С. 506. В 1880 г. Достоевский выехал в Старую Руссу в начале мая с тем, чтобы «в тишине и на свободе» обдумать свою речь на Пушкинском празднике.

[105] С. 506. 4 мая 1880 г. на общем собрании членов Славянского благотворительного общества Достоевский был избран депутатом от общества на открытие памятника Пушкину в Москве.

[106] С. 508. «Враждебное отношение» либеральной и демократической общественности к охранительно-консервативному курсу газеты М. Н. Каткова «Московские ведомости» выразилось в постановлении Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности не приглашать на Пушкинский праздник депутата от редакции этой газеты. Между тем в редакцию «Русского вестника» такое приглашение было послано, но возвращено Катковым, который, однако, присутствовал на торжествах как депутат от Московской городской думы. На думском обеде в зале Благородного собрания произошел инцидент, упоминаемый Страховым. «Катков позволил себе, — вспоминал М. М. Ковалевский, — протянуть бокал в его <Тургенева> направлении, но при всем своем добродушии Иван Сергеевич уклонился от этой дерзкой попытки возобновить старые отношения. «Ведь есть вещи, которых нельзя забыть,— доказывал он в тот же вечер Достоевскому,— как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?..» (Ковалевский М. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — Минувшие годы, 1908, № 8, с. 13). Информация о Пушкинских торжествах в «Московских ведомостях» появлялась, не говоря уже о том, что 13 июня именно в этой газете была напечатана впервые речь о Пушкине Достоевского.

[107] С. 508. На Пушкинском празднике не присутствовали М. Е. Салтыков, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров. См. во втором томе наст. изд. воспоминания Д. Н. Любимова и примеч. к ним.

[108] С. 509. Заседание в Московском университете состоялось в два часа дня 6 июня, после открытия памятника и возложения венков. Ректор университета, выдающийся филолог Николай Саввич Тихонравов объявил об избрании Тургенева, «обогатившего русскую литературу великими художественными произведениями», почетным членом университета. См. также во втором томе наст. изд. примеч. к статье Г. И. Успенского «Праздник Пушкина».

[109] С. 510. Тургенев работал над «Речью о Пушкине» в Спасском-Лутовинове с 5 по 10 мая 1880 г., предполагая также опубликовать ее с предисловием в журнале «Вестник Европы» (произнесена 7 июня, опубликована в «Вестнике Европы» в июльской книжке; ср.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 12. М., 1986, с. 341—350).

[110] С. 511. Изложение этих речей дано в сб. *Венок.*

[111] С. 511. В речи Тургенева были такие слова: «...быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаем его отнять у него» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 12. М., 1986, с. 349).

[112] С. 512. Упомянув об исторической закономерности появления в русской поэзии «музы мести и печали», Тургенев разумел поэзию

Некрасова (стихотворение Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали!..», 1855).

[113] С. 513. Об этом, упавшем в обморок, юноше вспоминают многие мемуаристы (см., напр., в воспоминаниях Е. П. Летковой-Султановой во втором томе наст. изд.).

[114] С. 513. Это свидетельство Страхова, не встречающееся ни у одного из мемуаристов, тем не менее подтверждается наличием слов о Наташе Ростовой в наборной рукописи «Речи о Пушкине», правда, зачеркнутых и не вошедших в опубликованный текст (см.: *Достоевский,* XXVI, 335, 496).

[115] С. 514. См.: *Венок,* с. 211—212.

[116] С. 514. Из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

[117] С. 515. Страхов говорит о «суждениях» Макара Алексеевича Девушкина в «Бедных людях»: «Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел <...> случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. <...> Нет, это натурально!» (*Достоевский,* I, 59).

[118] С. 517. Третья строфа стихотворения Пушкина «Возрождение» (1819).

[119] С. 524. А. Г. Достоевская вспоминала: «25 января было воскресенье, и у нас было много посетителей. Пришел профессор Ор. Ф. Миллер и просил моего мужа читать 29 января, в день кончины Пушкина, на литературном вечере в пользу студентов <судя по сообщению Страхова, это уже было второе посещение Миллера>. Не зная, какова будет судьба его статьи о Земском соборе <имеется в виду «Дневник писателя» за 1881 год, цитату из которого приводит далее Страхов> и не придется ли заменить ее другою, Федор Михайлович сначала отказывался от участия в вечере, но потом согласился» (*Достоевская,* с. 372).

[120] С. 525. См.: *Достоевский,* XXVII, 21.

[121] С. 525. См. там же, XXVI, 148—149.

[122] С. 525. В этот день, 25 января 1881 г., начальник Главного управления по делам печати Н. С. Абаза, взявший на себя цензурирование «Дневника писателя», сообщил Достоевскому о разрешении январского выпуска.

[123] С. 526. Вероятно, Страхов подразумевает тот инцидент, о котором сохранился рассказ в воспоминаниях Любови Федоровны Достоевской. У Достоевского 25 января обедала его любимая сестра Вера Михайловна Иванова, приехавшая из Москвы в Петербург с тем, чтобы уговорить брата уступить сестрам свою долю земельного имущества в наследстве тетки А. Ф. Куманиной. (После ее смерти в 1879 г. осталось имение в Рязанской губернии. На долю Ф. М. Достоевского приходилось около пятисот десятин.) После сильно взволновавшего Достоевского объяснения с сестрою у него началось кровотечение горлом (Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери. М.—Пг.,

1922, с. 96—97). Ранее о «крупном разговоре и почти ссоре» Достоевского с сестрой в этот день упомянула в письме к Страхову от 21 октября 1883 г. А. Г. Достоевская (см.: Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.—Л., 1935, с. 352).

[124] С. 527. А. Г. Достоевская отнеслась к этому «описанию», первоначально напечатанному в «Московских ведомостях», отрицательно. Она писала в «Воспоминаниях»: «Как бы для усиления моего горя в числе присутствовавших оказался литератор Бол. М. Маркевич, никогда нас не посещавший, а теперь заехавший по просьбе графини С. А. Толстой <вдовы поэта А. К. Толстого> узнать, в каком состоянии нашел доктор Федора Михайловича. Зная Маркевича, я была уверена, что он не удержится, чтобы не описать последних минут жизни моего мужа, и искренно пожалела, зачем смерть любимого мною человека не произошла в тиши, наедине с сердечно преданными ему людьми. Опасения мои оправдались: я с грустью узнала назавтра, что Маркевич послал в «Московские ведомости» «художественное» описание происшедшего горестного события. Чрез два-три дня прочла и самую статью (Московские ведомости, № 32) и многое в ней не узнала. Не узнала и себя в тех речах, которые я будто бы произносила, до того они мало соответствовали и моему характеру, и моему душевному настроению в те вечно печальные минуты» (*Достоевская,* с. 379).

[125] С. 528. О похоронах Достоевского см. в томе втором наст. изд.

[126] С. 530. Неточная цитата из «Речи о Пушкине» (*Достоевский,* XXVI, 139).

СОДЕРЖАНИЕ

Д70 **Достоевский Ф. М.** в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. / Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Вступ. статья, сост. и коммент. К. Тюнькина; Подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. — М.: Худож. лит., 1990. — 623 с. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-01023-5 (Т. 1)

ISBN 5-280-01024-3

Том первый сб. «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» включает воспоминания, посвященные детским годам писателя, учению в Инженерном училище, пребыванию на каторге и в ссылке, редактированию, по возвращении в Петербург, журналов «Время» и «Эпоха» (воспоминания А. М. Достоевского, А. Е. Врангеля, Н. Н. Страхова и др.).

Д $\frac{4702010101\text{-}222}{028(01)\text{-}90}$ 14-90 **ББК 84Р1**

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том первый

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректор *Г. Ганапольская*

ИБ № 5727

Сдано в набор 6.10.89. Подписано в печать 16.05.90. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76 +вкл.+ альб. = 33,65, Усл. кр-отт. 34,96. Уч.-изд. л. 36,64+вкл. + альб. = 37,41. Тираж 100000 экз. Изд. № II-3248. Заказ № 3052. Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28



М. А. Достоевский, отец писателя. С пастели Попова. 1823



М. Ф. Достоевская, мать писателя. С пастели Попова. 1823



Правый флигель Мариинской больницы для бедных, в котором родился Ф. М. Достоевский

В Октябре

3. родился младенецъ въ
домѣ больницы Бѣдныхъ
у штабъ лѣкаря Михай-
ла Андреича Достоев-
скаго Сынъ Феодоръ. Мо-
литвовалъ Священникъ
Василій Ивановъ причет-
никъ дьячекъ Герасимъ
Ивановъ. Крещенъ Ноя-
бря 4го дня воспріемники
были штабъ лекарь на-
дворный Совѣтникъ Гри-
горій Павловичъ Масло-
вичъ и княгиня Прасковья
Трофимовна Козловская
Московской купецъ Феодоръ
Тимофѣевъ Нечаевъ и
купецкая жена Алексан-
дра Феодоровна Куманина
оное крещеніе совершилъ
Священникъ Василій Ива-
новъ съ причтомъ.

В Ноябре

Метрическая запись о рождении Ф. М. Достоевского в книге записей рождения и смерти «Сретенского Сорока церкви св. Апостолов Петра и Павла»

Даровое. Дом Достоевских



И. Н. Шидловский,
друг
Ф. М. Достоевского.
Фотография. 1850-е гг.



Михайловский (Инженерный) замок. Главное инженерное училище





А. С. Пушкин. Художник О. Кипренский



Н. А. Некрасов.
Литография Бореля

БѢДНЫЕ ЛЮДИ.

Князь В. Ѳ. Одоевскій.

Апрѣля 8.

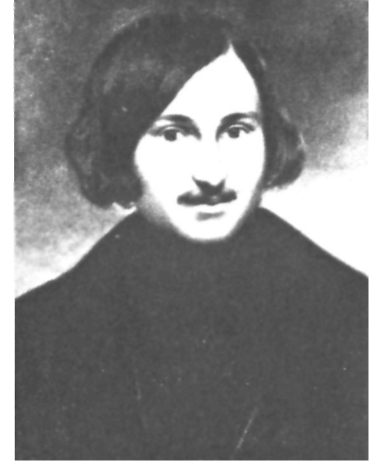
Безцѣнная моя Варвара Алексѣевна!

Вчера я былъ счастливъ, чрезмѣрно счастливъ, до нельзя счастливъ! Вы хоть разъ въ жизни, упрямица, меня послушались. Вечеромъ, часовъ въ восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочекъ-другой люблю поспать послѣ должности), свѣчку досталъ, приготовляю бумаги, чиню перо, вдругъ, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вотъ такъ и запрыгало! Такъ вы таки-поняли чего мнѣ хотѣлось, чего сердчишку моему хотѣлось! Вижу уголочекъ занавѣски у окна вашего загнутъ и прицѣпленъ къ горшочку съ бальзаминчикомъ, точнехонько такъ, какъ я вамъ тогда намекалъ; тутъ же показалось мнѣ, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мнѣ изъ комнатки вашей смотрѣли, что и вы обо мнѣ думали. И какъ же мнѣ досадно было, голубчикъ мой, что миловидного личика-то вашего я не могъ разглядѣть хорошенько! Было время когда и мы свѣтло видѣли, маточка. Не

«Бедные люди».
Первая страница
«Петербургского сборника». 1847



В. Г. Белинский.
Художник К. Горбунов. 1843



Н. В. Гоголь. Художник Моллер



Д. В. Григорович



А. Н. Майков.
Художник М. Барышев. 1846



В. Н. Майков.
Литография. 1840-е гг.



Жорж Санд



М. В. Буташевич-Петрашевский.
Акварель неизв. худ. 1840-с гг.

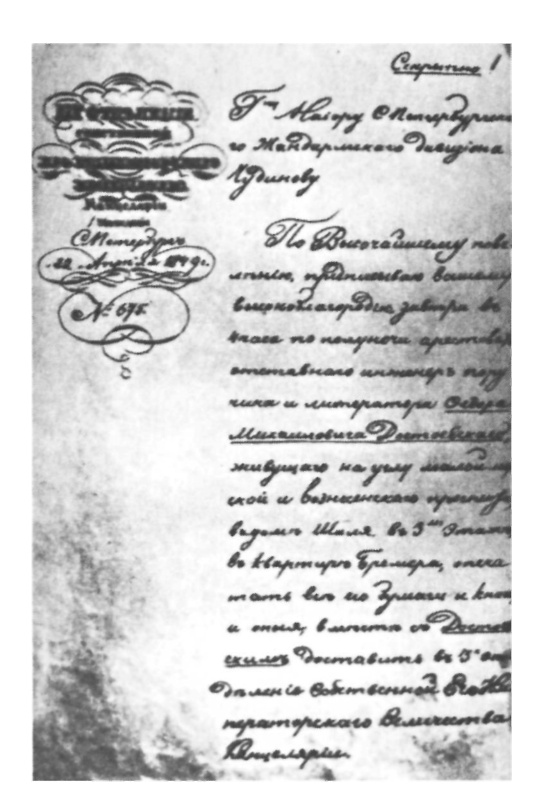


Н. А. Спешнев.
Акварель неизв. худ. 1840-е гг.



Дом Шиля на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской (ныне ул. Гоголя), где Ф. М. Достоевский жил с весны 1847 г. до ареста 23 апреля 1849 г. Рис. М. Добужинского. 1923

Предписание об аресте Ф. М. Достоевского


Секретно!

С.Петербургъ
22 Апрѣля 1849 г.
№ 675

Г-ну Майору С.Петербургска-
го Жандармскаго дивизіона
Чудинову

По Высочайшему пове-
лѣнію, предписываю вашему
высокоблагородію завтра въ
4 часа по полуночи арестовать
отставнаго инженеръ пору-
чика и литератора Федора
Михайловича Достоевскаго,
живущаго на углу малой мор-
ской и вознесенскаго проспекта
въ домѣ Шиля въ 3-мъ этаже
въ квартирѣ Бремера, опеча-
тать всѣ его бумаги и книги
и оныя, вмѣстѣ съ Достоев-
скимъ доставить въ 3-е от-
дѣленіе Собственной Его Им-
ператорскаго Величества
Канцеляріи.

Алексеевский равелин Петропавловской крепости



АРМАТУРНЫЙ СПИСОКЪ

Сибирскаго Линейнаго баталіона № 7-го

4-й роты

Унтеръ Офицера

Федора Достоевскаго

3-го отдѣленія

Съ 1-го января 1856 года

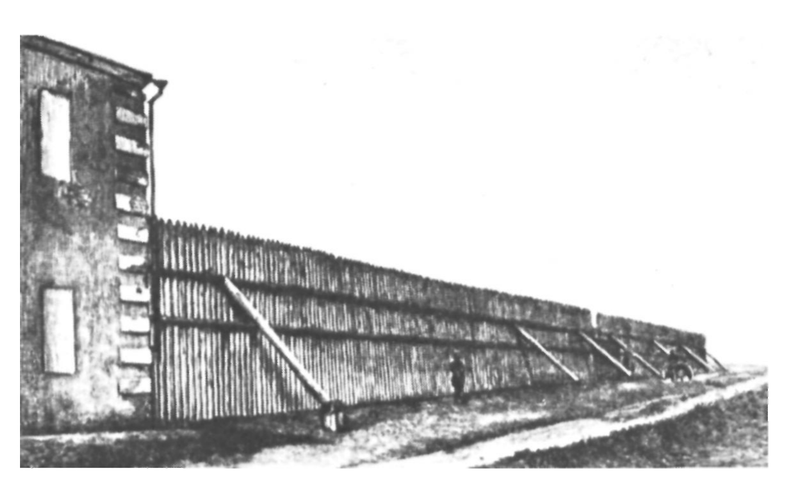
«Арматурный список» Ф. М. Достоевского, унтер-офицера



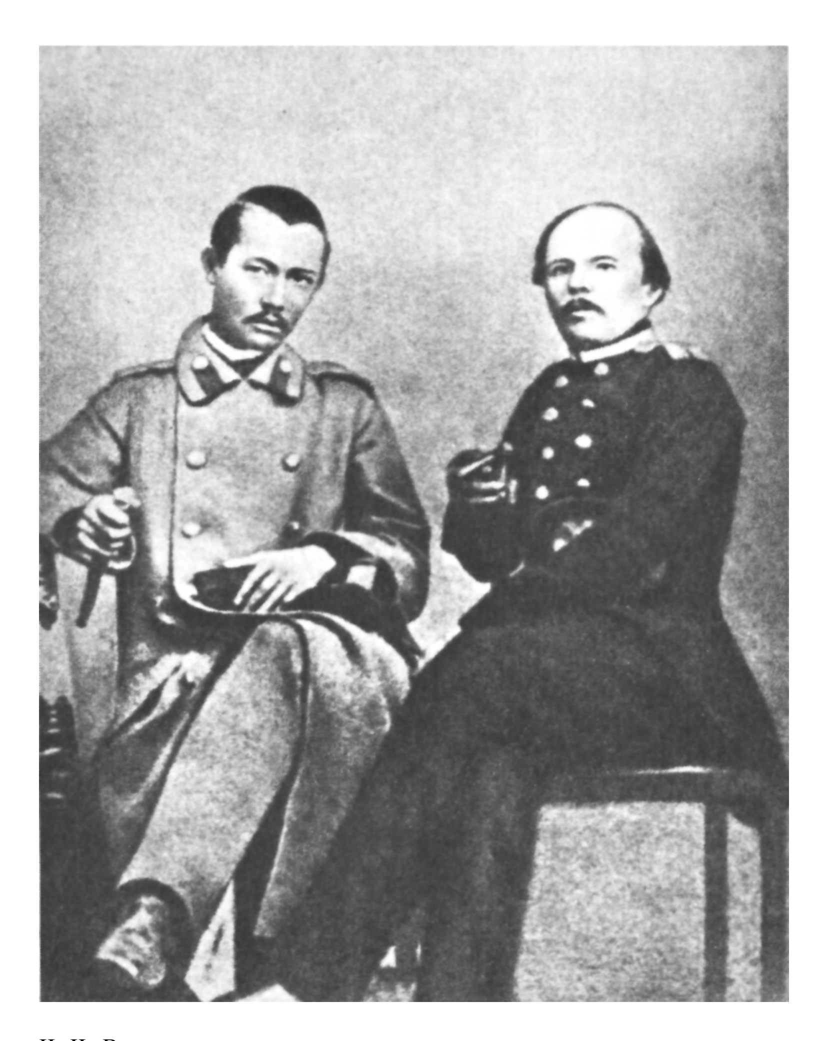
Семипалатинск. Фотография. Конец 1850-х гг.

Ф. М. Достоевский
в форме
унтер-офицера.
Фотография. 1858





Пали Омского острога. Гравюра по фотографии. 1897



Ч. Ч. Валиханов и
Ф. М. Достоевский.
Фотография. 1858

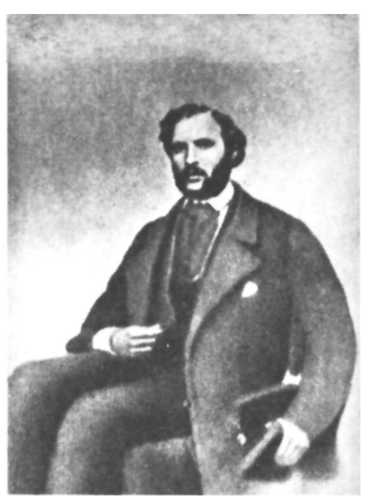
М. М. Достоевский.
Фотография. 1864

Письмо Ф. М. Достоевского к брату
от 22 декабря 1849 г.
из Петропавловской крепости





М. Д. Исаева, первая жена Ф. М. Достоевского. Фотография. Конец 1850-х гг.



А. Е. Врангель. Фотография. 1858



ГОСПОДА НАШЕГО

IИСУСА ХРИСТА

НОВЫЙ ЗАВѢТЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Евангелие, подаренное Ф. М. Достоевскому женами декабристов П. Е. Анненковой и Н. Д. Фонвизиной

А. И. Герцен.
Художник К. Горбунов. 1845



Дом, где Ф. М. Достоевский
жил в 1861—1863 гг.



Н. А. Добролюбов.
Гравюра
по фотографии.
1860





И. С. Тургенев